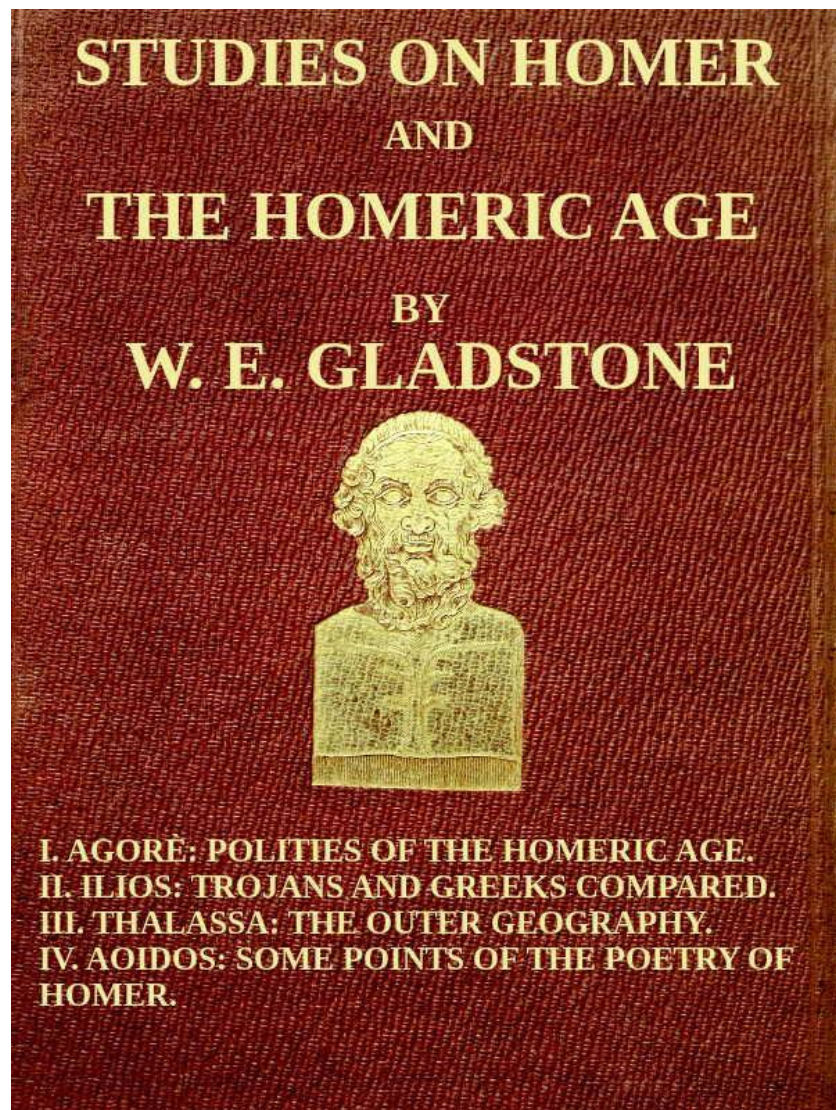


Исследования о Гомере и гомеровской
эпохе, Том 3 из 3. I. Агоре: Государства
гомеровской эпохи. II. Илиос:
сравнение троянцев и греков. III.
Таласса: Внешняя география. IV.
Аоидос: Некоторые моменты поэзии
Гомера

У. Э. Гладстон



Электронная книга проекта "Гутенберг", посвященная исследованиям Гомера и гомеровской эпохи, том 3 из 3

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и в большинстве других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Исследования о Гомере и Гомеровской эпохе, Том 3 из 3

Автор: У. Э. Гладстон

Дата выхода: 7 сентября 2016 г. [Электронная книга № 53004]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Генри Флауэром и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА" ИССЛЕДОВАНИЯ О ГОМЕРЕ И ГОМЕРОВСКОЙ ЭПОХЕ", ТОМ 3 Из 3 ***

Обложка электронной книги была создана путем добавления текста к оригинальной обложке и находится в общественном достоянии.

В html-версии этой книги карта связана с версией с более высоким разрешением.

**STUDIES ON HOMER
AND**

THE HOMERIC AGE

**BY
W. E. GLADSTONE**



**I. AGORÉ: POLITIES OF THE HOMERIC AGE.
II. ILIOS: TROJANS AND GREEKS COMPARED.
III. THALASSA: THE OUTER GEOGRAPHY.
IV. AOIDOS: SOME POINTS OF THE POETRY OF
HOMER.**

ИССЛЕДОВАНИЯ О ГОМЕРЕ И ГОМЕРОВСКОЙ ЭПОХЕ.

ОТ ДОСТОПОЧТЕННОГО У. Э. ГЛАДСТОНА, ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ
ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

В ТРЕХ ТОМАХ.

ТОМ III.

Plenius ac melius Chrysippo et Crantore.—Гораций.

ОКСФОРД:
ИЗДАТЕЛЬСТВО UNIVERSITY PRESS.
M.DCCC.LVIII.

[Право на перевод зарезервировано.]

ИССЛЕДОВАНИЯ О ГОМЕРЕ И ГОМЕРОВСКОЙ ЭПОХЕ.

I. АГОРЕ:
ГОСУДАРСТВА ГОМЕРОВСКОЙ ЭПОХИ.

II. ИЛИОС:
СРАВНЕНИЕ ТРОЯНЦЕВ И ГРЕКОВ.

III. ТАЛАССА:
ВНЕШНЯЯ ГЕОГРАФИЯ.

IV. ЭЙДОС:
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПОЭЗИИ ГОМЕРА.

ОТ ДОСТОПОЧТЕННОГО У. Э. ГЛАДСТОНА, доктора ФИЛОСОФИИ
ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Plenius ac melius Chrysippo et Crantore.—Гораций.

ОКСФОРД:
ИЗДАТЕЛЬСТВО UNIVERSITY PRESS.
M.DCCC.LVIII.

[Право на перевод зарезервировано.]

Реклама.

С тех пор как Разделы, относящиеся к этнологии, прошли через прессу, появился первый том "Геродота" мистера Роулинсона. Более раннее обладание этой важной публикацией придало бы мне смелости сделать еще один шаг в попытке определить вероятную форму первоначального этнического родства между пеласгами и эллинами Греческого полуострова, но обозначив последних как чистых арийцев, а первых - как ариан с примесью туранских элементов.

Также с тех пор, как был напечатан "Олимп", я познакомился с недавним и незаконченным "*Griechische Götterlehre*" Велькера (Геттинген, 1857). Я мог бы пожелать сослаться на это в различных местах, и особенно для того, чтобы воспользоваться более ясным представлением, которое дал ученый Автор, о положении κρόνος.

Частично основываясь на исключительном присвоении Гомером термина κρονίδης Юпитеру, он позволяет нам увидеть, как Юпитер, возможно, унаследовал исключительное использование титула "Древний от века"; и как κρόνος было образованием в мифологии, полностью вторичным и предшествующим его предполагаемому сыну. (Велкер, раздел 27, 8. стр. 140-7.)

Другая недавняя книга, *"История религий античной Греции"* М. Альфреда Мори, ставит перед собой полезную задачу в значительной степени раскрыть отношения греческой религии с Востоком. Но раздел, посвященный конкретно Гомеру, не является ни полным, ни точным и дает новую иллюстрацию положения, которое я главным образом хочу установить, а именно, что Гомера следует рассматривать как отдельный и независимый центр изучения.

Лондон, Карлтон-Хаус-Террас, 11,
15 марта 1858 года.

СОДЕРЖАНИЕ.

И. АГОРЕ:

ИЛИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ГОМЕРОВСКОЙ ЭПОХИ.

Политические идеи позднего Греция	разделе 1
их сильное развитие в героической Греции	2
ростка права	4
Гроте аккаунт героической политий	5
их особенности, Гласность и убеждения	6
функций короля в героическом политий	8
природу Пелопида империи	9
градусов в Царство и в Светлость	10
четыре формы суверенитета	12
Первый маркеры изменения в героической политий	12
показывает анализ каталоге	14
расширенной знаки в "Одиссее"	17
измененное чувство Βασιλεὺς царь или	18
новое имя королевы	20
дезорганизации, вызванной войной	21
приходом новой расы на мужское достоинство	22
увеличенная масса дворян	24
изменило представление о царской офис	25
первой инстанции при плохом царе	27

дальнейших преобразований во времена Гесиода	28
почитание долго придерживаясь имя	31
пяти отличительными нотами Βασίλῃς в "Илиаде"	32
девяти греческий Βασίλῃς Илиады	35
случае Мегеса	36
из Phœnix	37
Патрокла и Eurypylus	38
условия царская власть в Илиаде	39
личные красота царей	40
обычай отставку в преклонном возрасте	40
сил термина αἴζηος	41
гимнастические превосходство царей	44
погоне за музыку и песню	45
"Улисс" как ремесленник и земледелец	46
царей, как Джентльмены	47
Ахилла в частности,	48
умиление и слезы из греческих вождей	49
порядке наследственного правопреемства	50
право первородства	52
гомеровский царь (1) как священник	55
(2) в качестве судьи	56
(3) в качестве генерального	57
(4), как собственника: в τέμενος	58
его доходов, из четырех источников в	59
бремя на них	61
политической позиции Агамемнон	62
руководящих мотивов войны	64
положение Агамемнона в армии	66
свой личный характер,	67
отношения суверена и субъекта бесплатный	67
в личных слуг короля	69
аристократии или главного владельцев	69
торгов и профессий	70
рабов гомеровских возрасте	72
в θῆτες или наемников	74

предложения военной службы	75
, существует ли крестьянин-фирменная	77
политической экономии гомеровских возрасте	78
драгоценных металлов не является мерой	81
стоимости	
волов в какой-то степени мера стоимости	82
относительный дефицит некоторых металлов	84
режим правительственной армии	85
свое военное состав	88
начальника описания бойцы	91
бой и засады	92
в Βουλῆ или Совета греков	94
он существовал в мире и в войне	97
оппозиции в Βουλῆ	98
Агамемнон предложения о возвращении	99
влиянием речи в Героический век	102
было предметом регулярных тренировок	103
разнообразны описания ораторское искусство	104
у Гомера	
Ахиллес первостепенное оратор	105
молитвы стихи	106
силу остроумный	108
сила сарказма	109
факультета дискуссии в Гомер	111
обсуждения девятого Илиада	111
функций Ассамблеи в героической эпохи	114
официального использования большинство	116
неизвестного	
Великой решения о войне приняты там	117
он не был вызван исключительно Агамемнон	118
оппозиции в Αγορῆ начальники	119
оппозиции Терсит	120
Гроте суда по делу Терсит	123
как тот случай свидетельствует о популярных	126
принцип	
как Αγορῆ на щите	126
режиме Решения Собрания	129

свои решения в седьмой и девятой Iliads	129
деление на пьяные Ассамблеи	130
воззвания Телемаха к Ithacan Ассамблея	132
Phæacian Ассамблеи восьмого Одиссея	134
Ithacan Ассамблеи двадцать четвертой	136
советами или собраниями, Олимпа	137
судебных функций Ассамблеи	139
сборки центральной точке устройства	140
в общей душе или Τῷ σε в Гомер	141
несовершенной организации героический	143
политий	
второй. ИЛИОС.	
ТРОЯНЦЫ СРАВНИВАЛИ СЕБЯ С ГРЕКАМИ.	
Двоякая связь Трои и Греции	145
Греческие имена божеств, встречающиеся	147
также в Троаде	
, Включают почти всех великих божеств	150
Поклонение Вулкану в Троаде	151
Поклонение Юноне и Геи в Троаде	153
Поклонение Меркурию в Троаде	154
Поклонение Скамандру	155
Различный вид рек в Троаде	158
Существенный характер троянского речного	160
культа	
Троянские олицетворения природы редки	162
Бедность о мифологии троянцев	165
Их тощей доктрине будущего государства	166
Избыточности жизни в греческой системе	168
Богослужении с холмов	169
Народы по сравнению с внешним развитием	
религии.-	
1. Храмы	170
2. Что касается наделения землей, или τερμένεα	172
3. Что касается ὄλσεν Гровса	173
4. Что касается статуй богов	174
5. Что касается Провидцев или Гадалок	177
6. Как в священстве: Жречество в Греции	179

священства в поздней Греции	183
священства среди троянцев	184
сравнительный соблюдение жертву	187
троянцев более религиозных обрядов	189
Гомера различные режимы обработки по Грецией и Троей	190
нравственное превосходство его греки в целом	192
Гомера счет Похищение Елены	193
греческий оценка Париж	197
своем отношении к преобладающим видом браков	200
и греческий вид на убийство	202
в Троян оценка Париж	205
общественного мнения, менее развитых в троем	206
троянцев более чувственными и ложные	207
Троян идеи и обычаи брака	210
семьи Приама	211
строже идей среди греков	215
Троян государства менее высокоорганизованных	216
правило о правопреемстве в троем	217
престолонаследии Приама	219
Париже, скорее всего, его старший сын	221
положении Приама и его династии в Троаде	223
смысл Τροίη и Ἴλιος	224
доказательств от троянского каталога	225
степени своего суверенитета и верховенства	228
политии Илиона: в Βασιλεύς	232
сборки	232
большого веса, возраста в троем	234
отсутствие Βουλῆ в троем	236
большого веса ораторского искусства в Греции	239
трояны менее одаренных с собственной командой	242
и с интеллектом, как правило,	244
разница в занятиях знатных молодежи	245
разницы в том, к αἱ δὲ	246

резюме различий	247
III степени. ТАЛАССА.	
ВНЕШНЯЯ ГЕОГРАФИЯ "ОДИССЕИ".	
Почему это заслуживает расследования	249
основные головки расследования	251
двух сфер внутренней и внешней география	252
пределы внутренней географии	255
промежуточной или сомнительной зоны	257
сфере внешней география	260
двумя ключами внешний география	261
традиционных трактовки ценности	262
проявляются вывихи фактический характер	263
постулаты для изучения космического география	264
ветрам Гомера	265
специального уведомления Эурус и объявления	267
Зефира и Борей	268
стороны света для двух последних	270
за два первых	272
схемы Четырех Ветров	273
значение Эурус	273
гомерический расстояния и скорости	275
реквизиты свидетельства на скорости	277
Северного морского пути в Эвксинский	280
доказательства, с Ил. XIII. 1-6	281
У ОД. VII Устава. 319-26	282
От ОД. В. 44-57	283
от ОД. XXIV. 11-13	285
объединены доклады океан-рот	287
открытого моря, проход к океану-рот	289
обратный проход по проливам, почему предпочел	290
трех морских маршрутов к океану-рот	291
двух возможных оригиналов в природе	292
проливы Yenikalè как океан-рот	294
краткое изложение фактов от Phœnician	295

сообщает	
двух комплектов сообщает сливаются в одно	296
сайте Ἀἶα; Северо-западный гипотеза	298
Северо-Восточной гипотезы	300
аргумент от Πλάγκται	302
от острова Thrinacie	302
местного ноты Ἀἶα	303
сайте Оигия	304
аргумент от полета ртути	305
от плавучести Улисс	306
от его обратном проходе	308
сайте Сциллы относительно Дарданеллы	309
, почему Ἀἶα не может лгать Северо-Запад	311
строительства ОД. XII. 3, 4	312
строительства ОД. В. 276, 7	315
подлинность прохождение сомнительных	316
свой истинный смысл	317
Гомера признаки географических опасения	318
этапы путешествия Одиссея к Ἀἶα (я-ви.)	320
Ἀἶα и Эвксинского (от VI до VIII.)	325
остальные этапы (в VIII-XI вв.)	327
направления и расстояния от Ἀἶα года	329
туры Менелая и Одиссея по сравнению	331
земля Гомера, вероятно, овальные	334
точек соприкосновения с океана	337
Каспийского и Персидского залива	338
принадлежат океан	
сжатие и сжатие гомеровских Восточно -	340
наброски Гомера наземной системе	342
карта Земли по данным Гомера	343
экскурс И.	
<i>происхождение и добыча Миноса.</i>	
О подлинности Il. xiv. 317-27	344
О смысле строки Il. xiv. 321	346
Побочного свидетельства извлечения Миноса	347
ЭКСКУРС II.	
<i>В строке Odyss. v. 277.</i>	

Точки в вопросе сказано	349
чувства δεξιὸς и ἀριστερὸς	350
показано с Ил. XIII	352
на силу гомеровского ἐπὶ	354
силу ἐπὶ с ἀριστερὰ	356
показано с Ил. второй. 353. ОД. XXI век. 141	358
С Ил. я. 597. VII Устава. 238. XII. 239, 249	359
Ил. XXIII. 335-7	360
С Ил. второй. 526	362
приложения к ОД. В. 277	364
другой смысл возобладал в более поздних греческих	365
Ив. ЭОЙДОС.	
РАЗДЕЛ I.	
<i>О сюжете "Илиады".</i>	
Теория Грота о структуре стихотворения	366
Предложение, упомянутое в Девятой книге, и его отклонение	369
Реституция и подарки не были целью Ахилла	371
Предложение было радикально ущербным	373
В частности, требовались извинения	375
Последовательность, сохранявшаяся в Ил. ix и после него	377
Умелое согласование противоречивых целей	379
Слава, данная Ахиллесу	380
Слава, данная Греции	380
Неполноценность троянцев в основном в Вождях	382
Но это пронизывает стихотворение	384
В Вожди это вопиюще	385
Противоречивые требования плана	387
Превосходство греков даже без Ахилла	388
Гармония в относительном превосходстве Вождей	389
Карательное правосудие в двух стихотворениях	392
Страдания Ахилла	394
Двойная победа над его волей	395

РАЗДЕЛ II.

Чувство прекрасного у Гомера: человеческое, животное и неодушевленное.

Его чувство красоты было чистым и сильным	397
Началось вырождение популярной идеи	398
, проиллюстрированное серией дарданидских традиций, (1) Ганимед	398
(2) Титон, (3) Анхиз	400
(4) Парис и Венера	401
Чувство красоты Гомера в человеческом облике	402
Его отношение к красоте Парижа	402
Красота греческих вождей	404
Приписывается также для нации	405
Красота Нирея	406
Наст и Молочай	407
Красота, отнесенная к числу главных дарований человека	408
Чувство красоты Гомером животных	409
Особенно лошадей	410
Их движений	411
Их формы и цвета	413
Чувство красоты Гомером неодушевленной природы	416
Пример Итаки	417
Зародыш чувство живописности у Гомера	419
Тесная связь Порядка и Красоты	420
Обуславливает неблагоприятную для развития зародыша	421
Красоту материальных объектов, поглощенных своей Жизнью	423

РАЗДЕЛ III.

Восприятие числа Гомером и его использование.

Традиционный характер способностей	425
Представления о числе не всегда определялись в детстве	427
И даже в зрелом возрасте	428
Никаких вычислений у Гомера	430
Греческая оценка открытия Числа	431

Перечислительное сложение в Од. iv. 412, 451	432
Старшие цифры поэм	432
Триста шестьдесят жирных свиней	434
Гомеровский ἑκατομβῇ	435
Гомеровский числа, выражающие ценность	436
Его молчание относительно численности армий	439
Особенно в греческом каталоге	440
Случай троянского бивуака	442
Случай стад в Од. xiv.	443
"Эпоха нимф" Гесиода	444
Случай городов Крита	445
Отсутствие хронологической схемы у Гомера	446
Случай трех десятилетий	448
Значение об γενεῇ Гомера	449
Гомер считает время поколениями	451
Некоторые трудности десятилетий, понимаемых буквально	452
Использование предлагаемой интерпретации	455
РАЗДЕЛ IV.	
<i>Восприятие Гомером цвета и его использование.</i>	
Современные представления о цвете, как правило, определенный	457
признаки незрелого восприятия у Гомера	458
своего главного прилагательных цвета	459
его квази-прилагательные цвета	460
применения ξανθός, ἔρυθρός, πορφύρεος	460
из κύανος и κυάνεος	462
из φοῖνιξ	465
из πόλιος	466
квази-прилагательные цвета; χλωρός	467
на αἱ θαλόεις Гомера	468
в ῥοδόεις и ῥοδοδάκτυλος	469
в ἰ όεις, ἰ οειδής, ἰ οδνεφής	470
в οἷ νοψ и μιλοπάρηος	472
Αἶ θων и его родственников; также ἄργός, αἶ ολος	473

Γλαυκός, γλαυκῶπις, γλαυκίῳν	474
Χάροπος, σιγαλόεις, μαρμάρεος, ἥεροειδής	475
конфликта цветов назначается один и тот же объект	475
большим преобладанием белого и черного	476
замечательных бездействие чтобы указать цвет	477
в случае лошадь среди других	479
в случае человеческой красоты, и Ирис	482
в случае небес	483
причины этого своеобразного лечения цветом	483
лицензии поэзии в вопросе цвета	484
иллюстрировал Шекспира	485
Гомера контракту средств обучения в цветовой	487
его системе один из светлых и темных	488
цвета в более позднем греческом языке	491
греческой философии цвета	493
природа наше преимущество по сравнению с Гомера	495
<i>внимание на κύανος и χαλκός.</i>	
Значения для κύανος ранее предполагали, что	496
Вероятно, самородный синий карбонат меди	497
Χαλκός следует понимать как закаленную медь	499
РАЗДЕЛ V.	
<i>Гомер и некоторые из его преемников в эпической поэзии; особенно Вергилий и Тассо.</i>	
Милтон место среди эпических поэтов	500
сложности его сравнивали с Гомером	501
такие же, как для Данте	501
Æneid и "Илиада"; их сходства и контрасты	502
контраст между формой и духом в Æneid	503
каталога в "Илиаде" и в Æneid	504
герой Эней в Æneid	505
герой Эней в "Илиаде"	507
штрафа характер Турнус	508
ложное положение Вергилия до августа	509
трудность изучения поэта из стихотворения	510
свое ложное положение, как в религии,	511

свободы, и национальность	
ложь, следовательно, в результате чего	512
Гомер превратно через Вергилия	513
в дело десятое, Эл. г. Simois и Скамандер	513
Нѣкуѣ Гомера и Вергилия	515
этнологических и генеалогические дислокаций	516
действий двенадцатого <i>Aeneid</i>	520
неверная имитированные детали	521
жестокое обращение с гомеровских героев	522
и греческой мифологии и этики	523
Эней и Дидона в тени под	525
женщина героев Гомера и Вергилия	527
Вергилия недостаточном уходе несовершеннолетнего приличия	528
и заказа природных явлений	529
использование преувеличений в Гомер и у Вергилия	530
контрастность основные цели соответственно	531
характер бард; не нашли в Вергилия	532
пост-гомерический изменения в замысел поэта офис	533
Вергилия поэтические недостатки	534
сравнение Троянской войны с крестовыми походами	535
Ринальдо и Ахилл	535
преувеличений оптом в Гомере, и в ТАССе	536
г Суждение Халлама об Иерусалиме	537
Поэтические недостатки Тассо	538
Мужчина Ахилл по отношению к "Илиаде"	539
Освобождение гробницы по отношению к <i>Иерусалиму</i>	540
Вторжение несочетаемых элементов	542
Относительная известность Танкреди и Ринальдо	543
Женские персонажи Тассо	544
Армида Тассо	545
Ее сходство и неполноценность по отношению	546

к Дидоне	
Ее плохо выдержанная страсть	546
Навязчивость любовного элемента	548
Оскорбление Джернандо	549
Разница в способах описания персонажей	551
Битвы и сравнения Тассо	552
Неполноценность Возвращения в <i>Иерусалиме</i>	553
Величие Тассо, за исключением сравнения с Гомером	554
РАЗДЕЛ VI.	
<i>Некоторые главные персонажи Гомера в Трое.</i>	
<i>Гектор: Елена: Парис.</i>	
Сила, притягивающая характер Гомера	555
Искажение более поздней традиции	556
Почему в его случае это было особенно разрушительно	557
Обращение Мура с гомеровскими персонажами	558
Характер Гектора отличался обобщениями	558
Это стало основой для персонажа Орlando	559
Воинский героизм Гектора второсортен	559
Его хвастовство - его единственная моральная ошибка	561
Издевательство и Родомонтажизм	562
Чувство Гектором вины и стыда Париса	563
Его ответственность превыше его сил	565
Яркость его характера в отношении привязанностей	567
Его благочестие, мягкость и справедливость	568
Неравенство его характера в целом	569
Очевидная причина этого	569
Противоположные взгляды на характер Елены	571
Намерение Гомера по отношению к ней	572
Только два неблагоприятных упоминания о ней	574
Гомеровские эпитеты и сравнения для Елены	575
Случай с Вирсавией	576
О свободе воли Елены	577
Изображение Елены в Ил. iii.	572

В Ил. vi., Ил. xxiv., Од. iv.	581
Брак с Деифобом	583
Общая оценка гомеровской Елены	584
Характер Париса	585
Его апатия, легкомыслие и эгоизм	586
Его место на войне	587
Отношение его интеллекта к его морали	588
РАЗДЕЛ VII.	
<i>Склонение великих гомеровских персонажей в более поздней Традиции.</i>	
Физические условия греческого театра	590
Абсолютная зависимость от народного вкуса	592
Всеобщее стирание тончайших различий	593
Увечье гомеровской Елены	593
Елены Еврипида	595
Исократа и Вергилия	597
Персонажей Ахилла и Улисса у Гомера	598
Увечье гомеровского Улисса	601
гомеровского Ахилла	602
Характеры Ахилла и Улисса у Гомера Ахилл	604
Статийский	
Гомеровские персонажи у Сенеки	605
Новое взаимное расположение троянцев и греков	606
Троянство в Англии	608
Подражания гомеровским персонажам Тассо	609
Троил и Крессида	610
Аякс и Улисс Ширли	612
Ифигения Расина	613
Андромаха Расина	614
Заключение	615

I. АГОРА. ГОСУДАРСТВА ГОМЕРОВСКОЙ ЭПОХИ.

Есть жалобы, и, возможно, не без оснований, на то, что изучение древних историков не дает английской молодежи хороших политических моделей: что, если мы приведем наши симпатии

и антипатии в соответствии с разделением партий и классов, предложенным нашему взгляду в Риме, Афинах или Спарте, они не будут отлиты по английским образцам, а проявятся в более грубых формах олигархических или демократических предрассудков. Сейчас я не собираюсь откладывать вопрос о том, в какой степени эти недостатки могут быть восполнены политическими философами, и в частности замечательным трактатом Аристотеля. И, безусловно, верно, что в целом они представляют нам состояние политических идей и морали в крайне расстроенном состоянии: выбор лежит между злом на этой стороне в одной форме и на той стороне в другой форме: персонажи, которых можно рекомендовать в качестве примеров, обычно находятся в меньшинстве или в изгнании. Я также не спрашиваю, насколько мы должны быть довольны, имея в своих руках, так сказать, восхитительный ассортимент анатомических моделей, отбросить идею привязанности к тому, что мы видим. Я бы предпочел побудить возражающего изучить и рассудить, не можем ли мы найти замечательную государственную школу и увидеть, как ее фундаментальные идеи проявляются в наиболее истинных и масштабных формах там, где, возможно, этого меньше всего ожидаешь, а именно в сочинениях Гомера.

В том, что касается религии, искусства и нравов, греков героической эпохи можно сравнить с другими обществами младенческого возраста. Но что касается политической науки в ее основных зачатках и применения этих принципов посредством искусства к управлению человечеством, мы можем сказать почти буквально, что они являются ее отцами; и Гомер приглашает тех, кто изучает его, прийти и посмотреть на нее в колыбели, где младенец несет в миниатюре все черты, которые мы можем разумно пожелать увидеть развитыми в зрелом возрасте.

Сильное развитие политических идей.

Я не могу не осудить ассоциацию, установленную, возможно, непреднамеренно, Гротом, где, бросая Гомера, так сказать, в котел с "легендарной эпохой", он выражает себя в своем Предисловии^[1] следующим образом. "Следует признать, что сентиментальные качества греческого ума - его религиозная и поэтическая жилка — здесь проявляются непропорционально рельефно по сравнению с его более энергичными и мужскими способностями - с теми способностями действовать, организовывать, судить и спекулировать, которые будут раскрыты в следующих томах". Если сентиментальные качества противопоставлять силам, я не буду говорить о спекуляциях, но о действиях, организации и суждениях, то я не знаю ничего менее сентиментального в последующей истории Греции, чем характеры Ахилла и Улисса, чем отношения греческих вождей друг к другу и к своему народу, чем сила и простота, которые заложили в те ранние времена краеугольные камни греческого национального характера и институтов и сделали их в социальном порядке точными аналогами материальных структур, которые сейчас приписывают пеласгам. ; действительно простые по своим элементам, но настолько прочные и массивные в их сочетании, что являются чудом всех времен. Влияние, исходившее из этих источников, было настолько жизнеспособным и глубоким, что оно обеспечило незначительной стране господствующую мощь на столетия, сделало одну маленькую точку Запада эффективным бастионом против Востока и заставило Грецию разбрасывать направо и налево столько ветвей, каждая из которых больше ствола. Даже когда солнце ее славы зашло, все еще оставалась бессмертная искра древней жизненной силы, которая, выдержав все превратности судьбы, разгорелась ярким пламенем спустя две тысячи лет; и мы в наши дни видим греческую нацию, основанную заново ее собственной

энергией, ставшую центром желаний и надежды, по крайней мере, для Восточного христианского мира. Англичане не стыдятся признавать, что их политические предки жили в лесах на севере Европейского континента; и более поздние государственные деятели вместе с законодателями Греции были в свое время рады, и не без оснований рады, проследить смелые очертания и прочные зачатки своего собственного величия и величия своей страны в поэмах Гомера. Ничто в этих стихотворениях не представляется, по крайней мере для меня, более примечательным, чем глубокая проработка политических характеров; и что еще более важно, пронизывающий их напряженный политический дух. Я рискну сделать еще один шаг вперед и скажу, что из всех стран цивилизованного мира нет ни одной, жители которой должны были бы находить этот дух столь понятным и доступным, как Англия: потому что это дух, который все еще в значительной степени живет и дышит в наших собственных учреждениях и, если я не ошибаюсь, даже в особенностях этих учреждений. Там мы находим великие кардинальные идеи, которые лежат в самой основе всякого просвещенного правления; и затем мы находим также людей, сформировавшихся под влиянием таких идей; как говорит нам один из нас, впитавший их дух;

Мудрые, железные люди, бдительные, твердые,

Защита от неожиданности и внезапной паники.

И снова,

Мрачный аспект величественной заботы,

Одиноких мыслей, неразделенной решимости[2].

Несомненно, благотворным признаком действия свободы было то, что в ту раннюю эпоху, несмотря на распространенность пиратства, грекам была известна даже идея политической справедливости и общественного права, которая является зародышем международного права. Представляется, что война не может быть развязана без соответствующей причины, и что предложение возмещения ущерба возлагает на потерпевшего обязанность прийти к соглашению. Следовательно, предложение Париса в Третьей "Илиаде" сразу же принимается с готовностью: и, следовательно, даже после нарушения Договора возникает опасение Агамемнона в тот момент, когда он предвидит смерть Менелая, что в результате этого события претензии на восстановление Елены будут практически аннулированы, и грекам придется вернуться домой без возмещения причиненного вреда, из которого *корпус*, так сказать, исчезнет[3].

Прежде чем перейти к описанию греческих институтов в том виде, в каком они представлены у Гомера, я приведу краткий обзор интересного описания о них, предоставленного Гроте. Я привожу это скорее для контраста, чем для совпадения; но это существенно поможет прояснить те моменты, которые имеют наибольшее значение.

Рассказ Грота о Героических государствах.

Греческие государства исторических эпох, говорит Гроте, всегда представляли нам нечто вроде конституции, как условие народного уважения к правительству и чувства обязанности подчиняться ему[4]. Человек, нарушивший эту конституцию, как бы мудро он ни пользовался

своей несправедливо добытой властью, был заклеен именем τύραννος, или деспот, "как объект смешанного страха и неприязни". Но в героический век не было системы, а тем более какой-либо ответственности[5]: послушание зависит от личного почтения к королю или вождю. Этими "великими индивидуальными личностями поглощается раса или нация"[6]. Гласность действительно, посредством совета и ассамблеи, по существу, пронизывает всю систему[7]; но это огласка без последствий; для людей, когда они услышат, просто повинуйтесь приказам короля[8]. Либо сопротивление, либо критика обычно выставляются как одиозные, и о них вообще никогда не слышно, кроме как от тех, кто является, по крайней мере, младшими начальниками: хотя совет и ассамблея на практике стали бы ограничителями короля, у Гомера они не так представлены[9], а являются простыми *средствами массовой информации* для снабжения его информацией и обнародования его решений[10]. Люди могут слушать и сочувствовать, но не более того. В сборке "Второй Илиады" нам представлена "отталкивающая картина" "деградации народных масс перед вождями"[11]. Поскольку простые солдаты, в соответствии с "необъяснимой фантазией", высказанной Агамемноном, приготовились разойтись по домам, Улисс осыпает их ударами и осыпает презрительными упреками[12]; и непопулярность самонадеянного критика, даже когда он по существу прав, частично показана ударами, которые Улисс наносит Терситу, но еще больше отвратительными уродствами, которыми наделил его Гомер.

Я думаю, что в счастливом противоречии с этими представлениями историк продолжает утверждать, что с помощью βουλὴ ἰυῡορῇ мы можем проследить использование публичных выступлений в качестве постоянного двигателя правительства и непосредственной причины послушания "вплоть до социального младенчества нации"[13]. Но если для того, чтобы привести это предложение в соответствие с тем, что предшествует и следует за ним, мы должны понять, что гомеровские поэмы представляют нам не более чем сухой факт того, что публичные выступления были в ходу, и сделать вывод, что это не приобрело своего практического значения и силы до более позднего времени, тогда я должен включить это в общий протест, который я прошу разрешения зафиксировать против большей части предыдущих положений, по их букве и духу, как не оправданных выводами из Гомера и никоим образом не согласующихся с неоспоримыми фактами поэм.

Их использование публичности и Убеждения.

Личное почтение народа к государю, связанное с исполняемыми им обязанностями, с высокими качествами, которыми он обладает или должен обладать, и с божественной благосклонностью или предполагаемым отношением к богам, присущим ему, представляет собой примитивную форму, в которой отношения князя и подданного очень часто проявляются на ранних стадиях развития общества в других странах, кроме греков. То, что является сентиментальным, романтическим, архаичным или патриархальным в гомеровских политиях, является общим для них со многими другими патриархальными или правительствами горцев. Но то, что превосходит все, что характерно не только для Греции, но и для гомеровской Греции, так это то, что наряду с очертаниями суверенитета и общественными институтами, в высшей степени патриархальными, мы находим полное, постоянное и эффективное использование двух великих инструментов управления, с тех пор и до сих пор столь широко используемых человечеством, а именно гласности и убеждения. Я называю эти две важнейшие черты политики и институтов героической эпохи, чтобы сосредоточить на них то пристальное внимание, которого, как мне кажется, они заслуживают. И я рискну дать этому документу

название $\epsilon\upsilon\omicron\rho\eta$, потому что это было Греческое собрание тех дней, которое в основном придавало существующим политиям их особый дух, а также особенности. Среди неразвитых идей, грубых методов, несовершенной организации и подверженности частому вмешательству сильной руки в них заключается суть популярного принципа правления, который, я полагаю, не может ссылаться на какой-либо другой прецедент, столь древний и почтенный.

Каков мальчик, таков и мужчина. Каково семя, таково и растение. Голубь не зачинает и еще не вырастает в орла. Как получилось, что выдающиеся философы зрелой Греции отводили Политической науке самое высокое место на шкале человеческих знаний? Что они, короли в области абстрактного мышления, впервые и, возможно, единственный раз в мировой истории пришли к мысли, что разглядели в мутных водоворотах государственных дел образ самого благородного для человека, самого благородного, что только могут дать ему размышления, равно как и действия? Аристотель говорит, что из всех наук, Πολιτικὴ является $\eta\ \kappa\upsilon\rho\iota\omega\tau\acute{\alpha}\tau\eta\ \kappa\alpha\iota\ \mu\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\tau\alpha\ \acute{\alpha}\rho\chi\iota\tau\epsilon\kappa\tau\omicron\nu\iota\kappa\acute{\eta}$ ^[14]; и что этическая наука представляет, но одной из его ветвей, $\text{πολιτικὴ}\ \tau\iota\varsigma\ \omicron\upsilon\sigma\alpha$. Откуда, спрашиваю я, взялась эта греческая идея? Это не Греция, но исторический Рим, который мировое суждение и опыт избрали своим великим учителем в таких простых делах, как закон и политическая организация. Для столь возвышенной теории (теории, без сомнения, преувеличенной), исходящей от такого практичного человека, как Аристотель, мы должны предположить соответствующее возвышение источника. Я не могу отделаться от мысли, что источник следует искать скорее в младенчестве, чем в зрелости греческого общества. Когда я читал Гомера, настоящие первые основы политической науки были заложены в героическую эпоху, причем глубина и широта их превосходили по своим пропорциям любую ткань, какой бы внушительной она ни была, которую могла создать на них поздняя Греция. Это послевоенное, по правде говоря, было заражено духом политического преувеличения, от которого героическая эпоха была свободна.

Нам придется изучить политическую картину, представленную героической эпохой, применительно к различным классам, на которые делилось общество в его нормальном мирном состоянии: к организации армии во время войны и сочетанию гражданских и военных отношений; к институтам, которые воплощали в себе правительственный механизм, и к силам, с помощью которых этот механизм приводился в движение.

Функции короля.

Давайте начнем с короля, который представлял собой одновременно высший класс общества и центр его институтов.

Политический режим Греции, в период, непосредственно предшествовавший Троянской войне, по-видимому, было что описал Фукидид, когда говорит, что тираний, которые пришли с увеличением богатства, были предшествовать наследственной монархии с ограниченными прерогативами^[15]: $\text{πρότερον ἦσαν δὲ ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι}$. И снова у Аристотеля; $\text{βασιλεία ... ἢ περὶ τοὺς ἡρωικοὺς χρόνους ... ἢν ἐκόντων μὲν, ἐπὶ τισὶ δὲ ὑπισμένοις· στρατηγὸς γάρ ἢν καὶ δικάστης ὁ βασιλεὺς, καὶ τῶν περὶ τοὺς θεοὺς κύριος}$. Тройственная функция короля заключалась в командовании армией, отправлении правосудия главным образом, хотя и не исключительно, между людьми и отправлении религиозных обрядов^[16].

Независимо от сугубо местных суверенитетов, мы находим у Гомера следы морской критской империи, которая недавно исчезла: и мы находим существующую империю Пелопидов,

которая, по-видимому, была первой в своем роде, по крайней мере, на материковой Греции. Ибо скипетр Пелопидов не был заимствован у Персеид: он был получен через Меркурий, то есть, вероятно, хитростью, от Юпитера; и разница, вероятно, заключалась в одной или обеих из этих двух особенностей. Она охватывала весь ареал континентальной Греции, πᾶν Ἄργος, к которому добавляются, либо сразу, либо в постепенном расширении, πολλὰ νῆσοι (Ил. ii. 108) Минойской империи. Помимо этого, он состоял из двойного суверенитета: во-первых, сюзеренитета или превосходства над рядом вождей, каждый из которых осуществлял обычное управление своими собственными владениями; во-вторых, прямого, хотя, возможно, и не всегда эффективного контроля не только над наследуемой территорией, но и над не востребуемыми остатками мелких поселений и княжеств в стране. Я думаю, этот вывод можно сделать из того факта, что мы находим, что силы Агамемнона перед Троей черпались исключительно из его микенских владений, в то время как он требовал дани от городов на юго-западе Пелопоннеса, которые находились на некотором расстоянии от центра его власти и которые, по-видимому, не оказали никакой помощи в войне за Трою.

Феры Диокла лежали на пути из Пилоса в Спарту; и Фера - один из городов, которые Агамемнон обещал Ахиллу. Следует, однако, иметь в виду, что, поскольку семейство названий, к которому принадлежал Фера, было в значительной степени разрозненным, мы не должны однозначно предполагать идентичность этих двух городов.

Степени царствования и светлости.

Царствование у Гомера зависит от степени; одно дело местные суверенитеты, такие как у Нестора или Улисса, и совсем другое - великое превосходство Агамемнона, который их превзошел. Тем не менее, греческие βασιλῆες в "Илиаде" сами по себе составляют класс; класс, включающий великих лидеров и воинов, которые непосредственно окружают Агамемнона, главу армии.

Из стихотворения ясно, что даже для гораздо большей части вождей и командиров контингентов, хотя они и были лордами (ἄνακτες) определенного племени или территории, они не были βασιλῆες или королями.

Эти вожди и владельцы снова делятся на два класса: один состоит из тех, кто имел непосредственных местных руководителей, таких как Феникс, владыка Долопов, при Пелее во Фтии, вероятно, Стенел при Диомеде и, возможно, также Мерион при Идомее; другой - это класс вождей, к которому принадлежит подавляющее большинство, не подчиняющихся никакому князю, кроме Агамемнона. Среди них, опять же, вероятно, существует различие между теми наместниками, которые владели им как местным сувереном, и теми, кто подчинялся ему только как главе великой греческой конфедерации.

Вполне вероятно, что подчинение наместника своему местному суверену было более тесной связью, чем подчинение местного суверена главе Греции. Ибо, согласно доказательствам, представленным в "Обещаниях Агамемнона Ахиллесу" [17], городские лорды платили дань своему непосредственному политическому начальнику: не дань в чеканных деньгах, которых не существовало, и не дань с фиксированным количеством; но благотворительность (δωτίων), которая должна была состоять в товарах. Металлы, включая драгоценные металлы, однако, очень часто служат средством оправдания. Опять же, мы находим, что эти заместители вождей наделены властью местным сувереном, проживают при его дворе, выполняют подчиненное

командование в его армии. Все эти моменты объединяются в случае Феникса. С другой стороны, что касается реального долга или службы, мы не знаем ни о каком долге такого государя, как Нестор, перед Агамемноном, за исключением того, что он принимал участие в предприятиях национального значения под его руководством. Но различие в ранге между ними очевидно. Очевидно, из-за своего отношения к Агамемнону Менелай является βασιλεύτερος, выше по простому царствованию или в большей степени царем, чем другие вожди: Агамемнон может похвастаться[18], что он значительно превосходит Ахиллеса или кого-либо еще в армии; и в Девятой книге Ахиллес, кажется, ссылается на с язвительной, нет, скорее с убийственной иронией, к этому заявлению Пелопида о большей царственности, когда он отвергает предложение руки любой из дочерей Агамемнона; Нет! пусть он выберет другого зятя, который, возможно, достоин его и который больше царь, чем я[19];

ὅστις οἱ τ' ἐπέοικε, καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.

Но хотя один βασιλεύς, таким образом, может быть выше другого, ранг всей группы βασιλῆες в целом хорошо и четко отделен последовательным языком "Илиады" от всех низших рангов: и это сочетание может в какой-то степени напомнить нам о британском звании пэров, которое имеет свои собственные внутренние различия в рангах, но которое основано, по существу, на равенстве и резко отделено от всех других рангов сообщества. Сейчас мы увидим, как это предложение может быть реализовано.

На данный момент представляется, что мы обнаруживаем существенное, хотя и не очень определенное, различие между следующими формами большего и меньшего греческого суверенитета:

I. То, что принадлежало Агамемнону как главе Греции.

II. Местные короли, некоторые из них достаточно значительны, чтобы иметь под своим началом других лордов или принцев (ἄνακτες).

III. Второстепенные начальники контингентов; которые, хотя и не были царями, были принцами или лордами (ἄνακτες) и управляли отдельными собственными государствами: такими, как Тоас в Этолии и Менестей в Афинах.

IV. Мелкие и разрозненные вожди, о которых мы едва ли можем сказать, насколько широко они учтены в Каталоге, но которые в некотором смысле принадлежали Агамемнону, поскольку больше никому не принадлежали.

Первые признаки перемен в Героических государствах.

В самой "Илиаде" содержатся признаки того, что первобытные монархии, природа и дух которых будут сейчас рассмотрены, начали приходить в упадок еще во времена похода на Трою. Рост империи Пелопидов, вероятно, был неблагоприятен для их продолжения. В любом случае, признаки начинающихся перемен будут достаточно ясны.

Минос правил всем Критом как царь; но Идомений, его внук, нигде не упоминается как царь этой страны, которой он, по-видимому, правил лишь частью. Очевидными признаками этого факта являются следующие. Все города, снабжающие критский контингент, расположены на ограниченной части этого острова. Теперь, хотя используются общие слова (Ил. ii. 649.) для обозначения того, что силы были собраны не только из этих городов, все же Гомер, вероятно,

был бы более конкретен, если бы другие места внесли какой-либо значительный вклад, а не опускал их все названия. Опять же, Крит, хотя и такой большой и богатый, предоставляет меньший контингент, чем Пилос. И, опять же, если бы она была объединена сама по себе, то очень сомнительно, чтобы какой-либо правитель столь значительной страны был бы доволен тем, что она существовала только как провинция империи Агамемнона. Во многих отрывках обоих стихотворений, в которых упоминается Идомей, он никогда не украшен титулом, подразумевающим, подобно титулу Миноса (κρήτη ἐπίουρος), что он был правителем всего острова. Действительно, по крайней мере, один отрывок, по-видимому, содержит довольно убедительные доказательства обратного. Ибо Улисс в своем невероятном, но, конечно, непротиворечивом повествовании Минерве показывает нам, что даже критские войска в Трое не были полностью объединены в верности одному главе. "Сын Идомея, - говорит он, - пытался лишить меня моей доли добычи, потому что я не подчинился его отцу в Трое, а возглавил собственную банду".

οὐκ' ἄρ' οὐχ ὤπατρί χαρίζομενος θεράπευον

δῆμῳ ἔνι Τρώων, ἄλλ' ἄλλων ἦρχον ἐταίρων[20].

Точно так же в "Юности Нестора", два поколения назад, Авгий фигурирует как единственный царь эпейцев; но в Каталоге его внук Поликсейн командует только одним из четырех эпейских подразделений по десять кораблей в каждом, без каких-либо признаков превосходства: из трех других двумя командуют генералы из семьи Акторидов, которая в более ранней легенде фигурирует как часть двора или последователей Авгия[21]. И где бы мы ни находили в случае какого-либо значительного греческого контингента главное командование, разделенное между лицами, отличными от братьев, мы, вероятно, можем сделать вывод, что произошла ломка старой монархической и патриархальной системы. Этот момент заслуживает более пристального изучения.

Показано при анализе Каталога.

Всего в греческих вооруженных силах насчитывается двадцать девять контингентов.

Из них двадцать три подчинены одному руководителю; с помощниками или без них, которые там, где они появляются, описываются как второстепенные.

1. Локрийцы	с 40	корабли.
2. Жители Евпатории	40	
3. Афиняне	50	
4. Саламинцы	12	
5. Аргивяне	80	
6. Микенцы	100	
7. Лакедемоняне	60	
8. Пилианцы	90	
9. Аркадийцы	60	
10. Дуличиянцы и др.	40	
11. Кефалленцы	12	

12. Этолийцы	40
13. Критяне	80
14. Родосцы	9
15. Симеоны	3
16. Мирмидоняне	50
17. Филацийцы	40
18. Ферейцы и др.	11
19. Фтианцы из Метоны и ок.	7
20. Орменианцы и с.	40
21. Аргиссаны и др.	40
22. Послание к Шифрам и проч.	22
23. Магнезианцы	40
	966 корабли.

Под командованием brothers united in было еще четыре контингента:

1. Об Аспледоне и Орхомене,	с 30	корабли.
2. О фокейцах	40	
3. Из Нисуроса, Cos &c.	30	
4. О компании Tricce &c.	30	
	130	корабли.

Во всех этих случаях, включая все вооружение, за исключением двух государств, старая форма правления, по-видимому, сохранялась. Двумя исключениями являются:

1. Беотийцы; с 50 кораблями под командованием пяти командиров.
2. Элианцы; с 40 кораблями под командованием четырех лидеров.

Совершенно ясно, что эти два подразделения были безголовыми. Что касается элианцев, потому что Каталог четко делит 40 кораблей на четыре эскадрильи и ставит по одному под началом каждого командира, два из которых принадлежат к дому Акторидов, а третий происходит от Авгия. Что касается ботийцев, то Каталог указывает на равенство лидеров, помещая пять имен в ряд в одной категории.

Косвенное, но довольно убедительное подтверждение дает отрывок из Тринадцатой книги[22], где пять греческих рас или дивизий участвуют в попытке отбросить Гектора от вала. Они такие,

1. Беотийцы.
2. Афиняне (или ионийцы) под командованием Менестея при поддержке Фидаса, Стихия и Биаса.

3. Локрийцы.

4. Эпейцы (из Дулихия и ок.) под командованием Мегеса, сына Филея, с Амфионом и Дракием. Добавление отчества к Мегесу, по-видимому, в этом месте указывает на его положение; которое отчетливо определяется как главное в Каталоге, поскольку он упомянут там один.

5. Фтианцы при Медоне и Подарке. Они поставляли два контингента, пронумерованных соответственно 17 и 19 в только что приведенном списке; и они представляли собой отдельные команды, хотя и одной расы.

Следует отметить, что Поэт перечисляет военачальников афинян, эпейцев и фтианцев, но не локрийцев и беотийцев. Очевидно, что в случае с локрийцами причина в том, что их лидером был ойлейский Аякс, король и вождь первого ранга, человек, знакомый нам на каждой странице. Такого человека он никогда не смешивает на равных с второстепенными командирами и не назначает на второстепенные обязанности; и текст сразу же сообщает нам, что он был с теламонийским "Аяксом"[23]. Но почему в нем не назван ботийский лидер? Вероятно, как мы можем предположить, потому, что у этих сил не было единого главнокомандующего, они представляли собой совокупность независимых формирований, которых кровные узы или соседство объединяли в вооружении и в действиях.

Попытавшись таким образом отметить частичные и незначительные зачатки дезорганизации в древней форме правления, давайте теперь рассмотрим характер конкретных мест, где они проявляются. Эти районы ни в коем случае не отражают по своим физическим характеристикам среднестатистический характер Греции. Во-первых, они оба находятся на магистрали движения между Севером и Югом. Во-вторых, они обе являются открытыми и плодородными странами; различие, которое при определенных местных положениях, на определенных ступенях развития общества не только не способствует достижению политической власти, но почти исключает ее обладание. Элис Гомера отмечен двумя эпитетами имея прямой ссылкой на плодородие почвы; это ἰππόβοτος, верховая вскармливания, и это тоже εὐρύχωρος, широко расставленных, или открытые. Опять же, двадцать девять городов, отнесенных в Каталоге к ботийцам, намного превышают по количеству те, которые названы в честь любого другого подразделения Греции. У нас есть и другие параллельные указания; такие как богатство Орхомена[24]; и Орестия с пестрым поясом. Он жил в Хайле, одном из двадцати девяти, среди других беотийцев, которые владели районом чрезвычайной плодородности[25], μάλα τίονα δῆμον ἔχοντες. Теперь, когда мы находим у Гомера подобные признаки того, что Элида и Беотия впервые подверглись революции, не в форме простой смены династии, а в виде, так сказать, разложения их древних форм монархии, мы должны снова вспомнить Фукидида[26], когда он говорит нам, что лучшие земли претерпевали наиболее частые социальные изменения в результате прихода новых жителей, называет Беотию и "большую часть Пелопоннеса" в качестве примеров района, к которому применимо его замечание.

В целом, организация вооружения Трои показывает нам древнюю монархическую систему, сохранившуюся в неприкосновенности на большей части Греции. Но когда мы переходим к "Одиссее", мы обнаруживаем все возрастающие признаки серьезных перемен, которые, несомненно, тогда готовили путь к великому вторжению дорийцев путем свержения старых династий. И здесь стоит отметить большую разницу. Простое наступление одной расы на другую, переход от пеласгийского характера к эллинскому, по-видимому, не повлекло за собой столь существенных изменений в характере и стабильности эллинского правления, как

тroyанская экспедиция; которая, лишив общества их естественных руководителей и воинственных мужчин из населения, оставила открытое поле для действия дезорганизующих причин.

У Страбона есть замечательный отрывок, хотя и не содержащий особых ссылок на Гомера, на тему вторжений и вытеснений одной расы другой. Эти, говорит он[27], на самом деле были известны еще до Троянской войны: а это было сразу же после завершения войны, а после этого периода, которые они получили руководитель: *μάλιστα μὲν οὖν τὰ κατὰ Τρωικὰ, καὶ μετὰ ταῦτα, τὰς ἐφόδους γένεσθαι καὶ τὰς μεταναστάσεις συνέβη, βαρβάρων τῶν τε ἄμα καὶ τῶν Ἑλλήνων ὁρμῇ τινὶ χρησαμένων πρὸς τὴν τῶν ἄλλοτρίων κατάκτησιν*. В "Одиссее" есть несколько любопытных указаний на это.

Расширенные знаки в "Одиссее".

Среди многих якобы и некоторые реальные оттенки различия между стихотворениями, можно отметить два существенное политическое значение: слово *царя* в "Одиссее" приобрел более мягкую значение, а слово *королевы*, совершенно неизвестных в "Илиаде", в безвозмездное пользование.

Измененное значение слова "Король".

Будет показано, насколько строго в "Илиаде" термин *βασιλεὺς* с соответствующими эпитетами ограничен самими первыми лицами греческого вооружения. Итак, в "Одиссее" есть только два государства, с организацией которых мы имеем случай в какой-то степени ознакомиться: одно из них Схерия, другое Итака. О первом мы мало что знаем, и сила примера уменьшается из-за явно мифического или романтического характера описания: но факт заслуживает внимания, что в Схерии мы находим двенадцать королей страны, с Алкиноем[28], тринадцатым, как их начальником и главой. Гораздо важнее и исторически значимо то, что в ограниченных и сравнительно бедных владениях Улисса сейчас много королей. Ибо Телемах говорит, что[29],

ἄλλ' ἦτοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰ σὶ καὶ ἄλλοι
πολλοὶ ἐν Ἀμφιάλῳ θάκῃ, νέοι ἤδ' ἐπαλαιοί.

Его значение, должно быть, относится к количеству знати, которая сейчас была собрана на этом острове из Кефалонии и других владений Улисса. Это замечание сделано им в ответ Жениху Антиною, который жаловался на его смелый язык и надеялся, что он никогда не станет царем Итаки[30]:

μὴ σέ γ' ἐν Ἀμφιάλῳ θάκῃ βασιλῆα Κρονίων
ποιήσειεν, ὅτοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.

Я думаю, ясно, что в этом месте Антиной имеет в виду не просто: "Я надеюсь, ты не станешь одним из нас", что могло бы быть сказано просто в связи с возможностью принятия им управления своими отцовскими владениями, но что он имеет в виду суверенитет, собственно так называемый: ибо Телемах, сказав, что в Итаке много *βασιλῆες*, продолжает говорить: "Пусть один из них будет избран" или "один из них может быть избран преемником Улисса".

τῶν κέν τις τόδ' ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς.

‘но позволь мне,’ продолжает он, - быть хозяином моего собственного дома и собственности". Таким образом, в одном и том же отрывке мы имеем βασιλεὺς, имеющее два значения. Во-первых, оно означает дворянина, которых много в стране, и здесь оно, очевидно, употреблено в неподходящем смысле; во-вторых, оно означает человека, который правит всеми ними, и здесь оно, очевидно, употреблено в своем первоначальном и надлежащем значении. Однако представляется весьма сомнительным, появляется ли даже в "Одиссее" смягченный смысл когда-либо в виде простого названия в единственном числе. Единственными признаками этого являются следующие; Антиною говорят, что он *похож* на царя[31] по внешнему виду; и он также прямо назван βασιλεὺς в сильно и общепринято подозрительном[32]. Итак, царственный эпитет διотреφεὶς не используется в единственном числе ни для кого ниже ранга βασιλεὺς из "Илиады", за исключением одного раза, когда при обращении к Агелаю Жениху его использует Меланций, пастух коз, один из подчиненных приверженцев и паразитов этой партии[33].

Это смягчение в смысле βασιλεὺς, определенное и ограниченное, как и его применение в "Илиаде", не является незначительным признаком изменения.

Новое имя королевы.

Столь же или даже более примечательно введение в "Одиссею" слов δέσποινα и βασίλεια, а также измененное употребление νασσα.

1. δέσποινα применяется в Од. iii. 403 к жене Писистрата, сына Нестора; к Арете, царице феаков, в Од. vii. 53, 347; к Пенелопе, в Од. xiv. 9, 127, 451; xv. 374, 7; xvii. 83; xxiii. 2.

2. ἄνασσα применяется в "Илиаде", xiv. 326, только к Церере; но в "Одиссее", помимо Минервы, в Од. iii. 380 Улисс дважды применяет его к Навсикае, в Од. vi. 149, 175; очевидно, сомневаясь, божество она или смертная. Я бы, однако, не стал особо останавливаться на этом различии между стихотворениями; поскольку мы, кажется, находим существенное человеческое использование слова ἄνασσα в имени дочери Агамемнона, φιλίνασσα, которое используется в Il. ix. 145.

3. Βασίλεια используется много раз в "Одиссее"; и применяется к

а. Навсикая, Од. vi. 115.

б. Тайро, дочь Салмоней, Од. xi. 258; но только во фразе βασίλεια γυναῖκῳ, которая, по-видимому, напоминает δῖα γυναῖκῳ.

с. Арета, царица феаков, Од. xiii. 59.

ум. Пенелопа, Од. xvi. 332, 7: и в других местах.

Теперь нельзя сказать, что использование этого слова запрещено в "Илиаде" из-за нехватки подходящих людей для его употребления; поскольку Гекуба, как жена Приама, и Елена, как жена Париса, возможно, также Андромаха (хотя это гораздо более сомнительно[34],) все были высокого ранга, чтобы получить его: мы также не можем объяснить его отсутствие их появляясь только как троянцы; ибо титул βασιλεὺς часто применяется к Приаму, и он также присваивается Парису, хотя ни одному другому члену троянской царской семьи.

В "Илиаде" у нас есть также два других случая, когда женщины были своего рода королевами. Один из них принадлежит Гипсипилу, который, по-видимому, осуществлял верховную власть[35] на Лемносе, но нам остается сделать вывод о его характере: другой - мать Андромахи[36],

ἡ βασίλειον ὑπὸ Πλάκῳ ἠέσση.

Она была тем, кого мы называем королевой-консортом, поскольку ее муж Этион в то время был жив. В "Одиссее" нам рассказывается, что Хлорида, на которой женился Нелей, царствовала в Пилосе; ἡ δὲ Πύλου βασίλειον, Од. xi. 285. В этом месте слово βασίλειον, возможно, означает осуществление суверенной власти. Как бы то ни было, появление названия романа "Королева" свидетельствует о политическом движении.

Есть и другие признаки грядущих изменений в характере царствования, заметные из "Одиссеи", которые удобнее рассмотреть ниже. Между тем, два из них, которые уже находятся перед нами, находятся, как следует заметить, именно в том направлении, которого мы могли бы ожидать, исходя из природы троянской войны и традиции Страбона. Перед нами усилия страны, доходящие до неистовства, а также неестественно продолжающееся напряжение; длительное отсутствие ее лучших руководителей, ее сильнейших рук, ее самых почитаемых авторитетов: жены и маленькие дети, во многих случаях младенцы по необходимости, остаются дома. Несомненно, для правителя, покидающего свою страну, было обычным назначать какого-нибудь опекуна, который оставался бы при нем, как мы видим из случая с Агамемноном (Od. iii. 267) и из языка Телемаха (Od. xv. 89); но никакой регент, заместитель или советник не мог принести большой пользы на той стадии развития общества. Опять же, в каждом классе, в каждом сообществе есть мальчики, быстро становящиеся взрослыми; они, сами того не подозревая, формируют новое поколение, и жар их молодой крови в отсутствие энергичного и устоявшегося контроля будоражит, толкает вперед и вносит новшества. Опять же, как крайняя молодость, так и старость также обычно были препятствием для войны. И как мы видим, Лаэрта и Пелей, и Менелай, с Адмета, к тому же, вероятно, других государей, которым Гомер так и не назвали нам, оставил на этот счет, поэтому здесь должно быть много пожилых людей из класса знати (ἀριστῆες, ἑξοχοὶ ἄνδρες), кто получил освобождение от фактической службы в войне. Слишком очевидно, что в некоторых, если не во всех государствах Греции, были те, кто бежал от службы по другим причинам; возможно, либо из-за принадлежности к древней расе, которая была более родственной Трои, либо из-за местной зависти, либо из любви к праздности. Ибо на Итаке мы находим стариков, современников и старейшин Улисса, которые не принимали участия в экспедиции; и есть различные города, упомянутые в разных частях поэм, которые, как следует из Каталога, не внесли никакого вклада в силы. Возможно, таковы были различные места, носящие название Эфира, и, с большей вероятностью, города, предложенные Агамемноном для передачи Ахиллесу[37].

Дезорганизация, вызванная войной.

Опять же, поскольку Кинирес[38] правитель Кипра и Эчеполус[39] сын Анхиса, получил освобождение посредством подарков Агамемноном, возможно, так поступали и другие, как правители, так и частные лица. Но двумя главными причинами, которые, вероятно, вызвали бы волнения в связи с отсутствием армии, были, без особого сомнения, во-первых, прибытие новой

расы юношей в грубом и невозддержанном мужском возрасте; и, во-вторых, неурегулированные отношения в некоторых местах между древними пеласгами и новыми эллинскими поселенцами. Их разногласия, когда давление высшей установленной власти было устранено, естественно, во многих местах проявились бы с новой силой. В соответствии с первой из этих причин, Женихов как совокупность очень часто называют $\nu\epsilon\omicron\iota\ \dot{\upsilon}\pi\epsilon\rho\eta\nu\omicron\rho\acute{\epsilon}\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$ [40], "властные юноши". И обстоятельства, в которых оказывается Улисс, вернувшись на Итаку, по-видимому, связаны также с последней из вышеназванных причин. Но, каковы бы ни были причины, очевидно, что его положение стало чрезвычайно шатким. Несмотря на свое богатство, способности и славу, он не осмеливался обратиться к народу, пока полностью не уничтожил своих опасных врагов; и даже тогда только благодаря своей быстроте, силе рук и неукротимому мужеству ему удалось подавить самый грозный мятеж.

Таким образом, ничто не могло быть более естественным, чем то, что в отсутствие суверенов, часто в сочетании с младенчеством их детей, мать должна была стать хранительницей власти, из которой, как мы видим на других примерах, ее пол, по-видимому, не исключал ее: и что, если, как это вероятно, примеров было много и одновременно, этот систематический характер, придаваемый женскому правлению, должен был иметь своим формальным результатом в языке создание слова $Queen$ и его двойной фразы $\delta\acute{\epsilon}\sigma\tau\omicron\iota\nu\alpha$, или Госпожи. Распространение слова $\dot{\alpha}\nu\alpha\sigma\sigma\alpha$ с божеств на смертных может быть результатом второстепенного действия тех же причин.

Точно так же уменьшение силы власти в ее центре увеличило бы относительную известность тех представителей знати, которые остались дома. Достигнув зрелости, они в некоторых случаях, как на Итаке, оказывались практически независимыми. Естественным результатом было бы то, что, имея, хотя и в небольшом масштабе, то есть, вероятно, в той мере, в какой это касалось их собственной собственности и окрестностей соответственно, большую часть сущности суверенитета, фактически находящегося в их руках, они должны были бы присвоить себе его название. Отсюда происходят $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\eta\varsigma$ Итаки и близлежащих к ней островов; некоторые из них молодые люди, ставшие взрослыми после ухода Улисса, другие - старики, которые, оставшись позади него, обнаружили, что их положение существенно изменилось, если не из-за факта его ухода, то из-за продления его отсутствия.

Таким образом, непринужденное использование термина $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$ в "Одиссее" и появление термина $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\iota\alpha$ и других в аналогичной категории не обязательно квалифицируют приведенное выше утверждение относительно $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$ "Илиады". Он, как мы увидим из фактов стихотворения, занимает иную позицию и представляет нам живую картину истинно героической эпохи[41].

Изменившееся представление о королевской должности.

Это изменение значения слова "король" сопровождалось соответствующим изменением представления о великом poste, который оно символизировало. Он перешел от более благородного типа к менее благородному. Я не имею в виду, что теперь он впервые подчинился ограничениям. $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$ греков было всегда и существенно ограничено: и, вероятно, именно поэтому узурпатор единоличной и неограниченной власти в государстве был так существенно и глубоко ненавистен грекам, потому что считалось, что он отнял у народа сокровище, а именно свободное правление, которым они и их ранние предки обладали с незапамятных времен.

Именно в "Одиссее" мы впервые поражаемся, встречая не только более широкое распространение и более мягкое использование имени царя, но вместе с этим изменением другое, а именно более низкое представление о царской должности. Великолепие этого в "Илиаде" всегда ассоциируется с долгом. В сравнении, где Гомер говорит о коррумпированных правителях, которые обрушивают месть небес на землю несправедными решениями, стоит отметить, что он избегает использования слова βασιλεύς[42]:

ὅτε δὴ ῥ' ἄνδρεςσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
οἷ βίῃ εἰ ν ἄγορῃ σκολίας κρίνωσι θέμιστας.

Худшее, на что даже намекают в пределах возможного, - это небрежность при исполнении служебных обязанностей: она никогда не вырождается в инструмент угнетения человечества. Но в "Одиссее", которая, очевидно, с точностью отражает политическое состояние Греции после великого потрясения Троянской войны, мы находим, что царствование стало рассматриваться некоторыми главным образом в связи с наслаждением большими владениями, которые оно подразумевало или приносило, и как объект простого честолюбия. Не того, что мы могли бы назвать абсолютно порочным честолюбием: это не абсолютное извращение, но это явное отклонение от идеи, которое я здесь стремлюсь отметить

ἢ φῆς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευμένῃ· αἷ ψά τέ οἱ δῶ
ἀφνειὸν πέλεται, καὶ τιμῆστερος αὐτός.[43]

Этот общий взгляд на должность как на должность, предназначенную для личного удовольствия занимающего ее лица, в целом отличается от подобного случая в "Илиаде", где Агамемнон предлагает Ахиллесу семь городов[44], пытается соблазнить его индивидуально с помощью особого стимула, почерпнутого из его собственного, несомненно, довольно грязного ума;

οἷ κέ ἐ δωτίνῃσι θεὸν ὤδ τιμήσουσιν.

Моральные причины этого изменения в значительной степени прослеживаются в обстоятельствах войны, и мы, кажется, видим, как вышеизложенная концепция зародилась в сознании Ментора, когда он замечает[45], что теперь королю бесполезно быть мудрым и доброжелательным, как Улисс, который был нежен, как отец, со своим народом, в прикази, чтобы о нем, подобно Улиссу, забыли: чтобы он с таким же успехом мог быть незаконным по характеру и деспотичным в действиях. Те же идеи выражены Минервой[46] теми же словами на второй встрече олимпийцев в "Одиссее". Таким образом, представляется, что этот особый шаг вниз в характере правительств героической эпохи был обусловлен прекращением из-за длительного отсутствия влияния законных суверенов и последующим посягательством на их умеренную власть.

Пример плохого короля.

И, несомненно, стоит отметить, что в этой же самой поэме мы находим первый пример характера плохого и деспотичного монарха в лице некоего царя Эхета; о котором все, что мы знаем, это то, что он жил где-то на побережье Эпира и что он досаждал всем смертным, с

которыми имел дело. Вполне уместно, что именно беззаконные Поклонники, как показано, находятся с ним в каком-то родстве; ибо в Восемнадцатой "Одиссее" они угрожают[47] отправить Ируса, который досаждал им в качестве нищего, к царю Эхету, чтобы ему отрезали нос и уши и искалечили иным образом. Та же угроза повторяется в Двадцать первой книге против самого Улисса, и строка, передающая ее, снова появляется как одна из гомеровских формул[48];

εἰς ἔχeton βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων.

Вероятно, этот Эхет был покупателем рабов. Маловероятно, что Женихи взяли бы на себя труд отослать Ируса подальше, вместо того чтобы избавиться от него дома, разве что в надежде на цену; поскольку они предлагают Телемаху отправить Теоклимена и Улисса (все еще переодетых) сикелам, среди которых они будут хорошо продаваться[49].

Царствование в эпоху Гесиода.

Царственность, черты которой были так смело и справедливо определены в гомеровскую эпоху, вскоре исчезла; и вряд ли можно было найти что-либо представленное, кроме ее φθoρᾶ, τυραννὶς или деспотизма, который не признавал границ и не опирался на почитание или обычай, но имел силу в качестве своего основания, был по существу абсолютным и не мог, согласно условиям нашей природы, поступать иначе, как быстро и обычно вырождаться в положительные пороки, которые сделали имя тирана "проклятием и поношением". над землей. У Гесиода мы находим то, чего нигде нет у Гомера: одиозный эпитет, прилагаемый ко всему классу царей. В θεῖοι βασιλῆες героической эпохи исчезли: они и сейчас иногда αἱ δοῖοι до сих пор, но иногда δωρόφαγοι, дар-жадные, вместо того, чтобы. Они желают, чтобы судебные разбирательства увеличивались ради прибыли, которую они им приносят[50];

μέγα κυδαίνων βασιλῆας

δωροφάγους, οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι.

Теперь народ должен искупить злодеяния этих развращенных королей;

ὄφρ' ἀποτίσῃ

δῆμος ἀσασθαλίας βασιλέων·

Щит Ахиллеса, изготовленный по моде эпохи Гесиода, не дал бы нам в качестве образца царя того, кто стоял, улыбаясь, на своих полях позади своих жнецов, убиравших кукурузу[51]. И все же, хотя Гесиод ясно дает понять, что он видел, как царская власть была унижена злоупотреблениями, он также показал нам, что его эпоха сохранила идеи о том, что справедливость была его долгом, и что убеждение было главной основой его власти. Ибо, как он говорит в одном из своих немногих прекрасных отрывков[52], при рождении короля Музы орошают росой его язык, чтобы он обрел дар мягкой речи и мог вершить строгое правосудие над народом. Затем он, или древний писатель, вставивший его, переходит к описанию работы царского ораторского искусства, используя мысли, в основном заимствованные из поэм Гомера. Но рост богатства и умножение своего рода за счет торговли, издевался над простыми состоянием древние цари, и искушали их в алчности, перед которым барьеры древнему обычаю дали способ: и так, говорит Фукидид[53], τὰ πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καθίσταντο, προσόδων μειζόνων τῶν γιγνομένων. Зародыш этого зла как раз замечен в Агамемноне из "Илиады": и он

отмечен эпитетом Ахилла, который, когда сердится, все еще знает, как нанести удар по самому слабому месту своего характера, назвав его *δηρόβωρος βασιλεὺς*[54], царь, пожирающий или обнищавшие те, кто находится под его командованием. Было ли это обвинение в какой-либо степени заслуженным или нет, мы вряд ли можем сказать. Елена, безусловно, придает ахейскому царю характер получше[55]. Но как бы то ни было, упрек был сугубо личным для этого человека. Уважение, оказанное этому служению, должно быть, было огромным, когда Улисс, один и вооруженный только скипетром Агамемнона, смог остановить поток бегущих солдат и повернуть их обратно к месту встречи.

Почитание, надолго закрепившееся за этим именем.

Даже в "Илиаде" мы едва ли находим строго патриархального царя. Государственное устройство перестало в какой-либо степени строиться по образцу семьи. Различные классы объединены отношениями, которые, хотя и не определены и только зарождаются, все же носят чисто политический характер. Улисс в роли короля был нежен как отец[56]; но идею, которая даже метафорически делает короля отцом своего народа, я думаю, нигде нельзя найти у Гомера: она устарела. Этнические, местные и династические изменения, часто вызываемые войнами, стерли особые черты патриархальной королевской власти, за исключением старого титула *ναῦξ ἄνδρῶν*; и заменили те героические монархии, которые при более широком развитии сохранили многое из того, что было лучшего в еще более древней системе. Подобно тому, как даже эти монархии начали сотрясаться кое-где еще до Троянской войны, и поскольку "Одиссея" демонстрирует нам положение вещей, когда, по-видимому, прозвучал их последний звон, так и в эпоху Гесиода, в железный век, когда торговля в Греции практически установилась и породила конкуренцию между старшими детьми[57], они имели уйдут в прошлое. И все же их все еще помнили и все еще понимали. И вполне могло случиться, что еще долгое время после того, как общество переросло формы патриархальной жизни, люди, тем не менее, могли цепляться за его ассоциации; и пока эти ассоциации были представлены старыми наследственными суверенитетами, сохранявшими либо полную преемственность, либо связи и традиции, не разрушенные окончательно, большая часть духа древней системы могла продолжать существовать; политическая свобода уважала дерево, под сенью которого она сама выросла.

Англичанам должно быть легче, чем народам большинства других стран, представить себе эту картину реальной; ибо именно такая картина стоит перед нашими глазами в наше время и в нашей стране, где видимые следы патриархальной формы все еще сосуществуют в национальных институтах с политическими свободами более современной моды, потому что они сохраняют свою власть над всеобщими симпатиями.

И, действительно, есть признак, значительно предшествующий рассказу Гесиода о героической эпохе, а также отличный от явно благоприятного упоминания Фукидидом *πατρικαὶ βασιλεῖς*, который может привести к предположению, что старое имя царя оставило за собой хорошую репутацию. Это благоговение, которое продолжало сопровождать это имя, несмотря на дурную ассоциацию, которую события не могли не установить между ним и узурпаторами (*τυραννίδες*). Ибо, когда должность *βασιλεὺς* либо полностью исчезла, как в Афинах, либо претерпела существенные изменения, как в Спарте, так что *βασιλεία* больше не появляется у философских аналитиков как один из обычных видов правления, но заменяется *μοναρχία*, название все равно осталось[58], и носила на долгие-долгие века сохранились следы его первозданного достоинства, как и многих других почтенных символов, с которыми мы не хотим

расставаться даже после того, как перестали либо уважать то, что он обозначает, либо, возможно, даже понимать его значение.

Таков общий очерк истории управления. Давайте теперь попытаемся проследить его портрет, нарисованный в "Илиаде" Гомера.

Упоминания о царствовании в "Илиаде".

1. Класс βασιλῆες присвоен эпитет θεῖοι, который никогда не используется Гомером кроме разместить предметом ее в особое отношение с божеством; что касается (а) цари, (б) бардов, (с) двух главных героев, Ахиллес и Улисс, (д) несколько героев, кто пережил войну, (е) "Геральд" в Ил. Ив. 192; кто, как посол в наше время, лично представляет суверенного, и, следовательно, Διὸς ἄγγελος ἥδ' ἐ καὶ ἄνδρῶν, Ил. я. 334.

2. Этот класс отмечен исключительным применением к нему титульного эпитета διотреφής; который, благодаря выражаемым им связям с Юпитером, обозначает божественное происхождение суверенной власти. Слово διογενής имеет значение, аналогичное значению διотреφής, но, по-видимому, менее исключительное. Хотя на первый взгляд это может показаться странным, и нам, возможно, следовало бы ожидать, что порядок двух слов будет изменен на противоположный, на самом деле это соответствует действительности; ибо у богов было много прославленных сыновей, на которых они не обращали внимания, и поэтому быть воспитанным под опекой Юпитера было гораздо более высокой наградой, чем просто родиться или произойти от него.

3. βασιλεὺς, и никому другому, сказано, что Юпитер доверил скипетр, символ власти, вместе с прерогативами правосудия[59]. Скипетр или посох был эмблемой королевской власти в целом. Отсюда отчет о происхождении и последовательных поставках скипетра Агамемнона[60]. Поэтому Улисс воспользовался им, чтобы обуздать греков и вернуть их на собрание, ii. 186. Поэтому мы постоянно слышим о скипетре, который носили короли: следовательно, эпитет σκηπτοῦχοι применяется к ним исключительно у Гомера, и скипетр не носят никакие другие лица, кроме судей и глашатаев-сержантов, как их заместителей.

4. Ο βασιλῆς во многих местах говорится как о самостоятельном классе или ордене; и в этом качестве они образуют βουλὴ или совет армии. Таким образом, когда Ахилл описывает распределение призов Агамемноном среди главных лиц армии, он говорит[61],

ἄλλα δ' ἀριστήεσσι δίδου γέρα, καὶ βασιλεῦσιν.

В этом месте Поэт, кажется, явно проводит различие между классом королей и классом вождей.

Когда у него есть повод поговорить более высокого порядка вождей, которые обычно встречались на совете, он называет их γέροντες[62], или βασιλῆες[63]: но когда он говорит лидеров еще на свободе, он называет их другими именами, а в начале каталога, они ἄρχοι, ἡγεμόνες, или κοίρανοι: и, опять же, ἀριστῆες[64]. В двух местах, и действительно, он применяется фраза последних членов этого выберите класс начальников, которые были также королями: но есть выражение ἀριστῆες Παναχαιῶν[65], а фразы из них эффект, вероятно, так же, как βασιλῆες Ἀχαιῶν: смысл вроде бы те, кто был начальником над всеми орденами греки, то есть, начальники даже среди начальников. Таким образом, Агамемнон был бы, по сути, единственным βασιλεὺς Παναχαιῶν.

То же различие отмечено в деяниях Улисса, когда он собирает разогнанное Собрание: ибо он обратился умоляюще:

ὄντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἑξοχὸν ἄνδρα κίχρει,

какого бы короля *или* ведущего человека ему ни довелось обогнать[66].

5. Ранг греческого βασιλεῖς отмечен в Каталоге этой чертой; кажется, что ни один другой человек никогда не был связан с ними на равных правах в командовании силами, даже там, где это требовало младших командиров. Агамемнон, Менелай, Нестор, Улисс, два Аджакса, Ахилл - каждый назван по отдельности. Идомений назван единственным лидером, открывающим рассказ о критянах, ii. 645, хотя, когда он упоминается снова, также появляется Мерионес (650, 1), что, по-видимому, указывает на него как на самое большее квази-коллегу и ὁπάων. Стенел и Эвриал названы в честь Диомеда (563-6), но прямо добавлено,

συμπάντων δ' ἡγεῖ το βοῆν ἀγαθὸς Διομήδης.

Таким образом, его более высокий ранг не затушевывается. Опять же, мы знаем, что в случае с Ахиллесом было пять человек, каждый из которых командовал десятью из его пятидесяти кораблей (Il. xvi. 171), о которых нет упоминания в Каталоге (681-94), хотя он начинается с обещания перечислить всех, кто командовал флотом (493),

ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἑρέω νῆας τε προπάσας;

и в случае с элианами он называет четырех лидеров, которые имели точно такое же командование, каждый над десятью кораблями (618). Таким образом, представляется естественным отнести его молчание о пятерке к царскому званию, которое занимал Ахилл.

Вот и все примечания этого класса к "Илиаде".

Хотя мы не обязаны предполагать, что Гомер имел в виду столь жесткое определение класса царей, какое существует в случае с более современными формами титула, это ясно почти в каждом отдельном случае греческого вождя из "Илиады", был ли он βασιλεὺς или нет.

Девять греческих царей из "Илиады".

Класс четко понимает:

1. Агамемнон, Ил. i. 9, и во многих местах.

2. Менелай из Ил. xix. 310, 311, где они остаются с Ахиллом, в то время как другие βασιλῆες, ст. 309, отсылаются. Также об Улиссе см. xiv. 379; и различные места в "Одиссее".

3. Нестор

4. Улисс

5.
Идомений

6. Ахилл, Ил. i. 331. xvi. 211.

7. Диомед, Ил. xiv. 27, по сравнению с 29 и 379.

8. Аякс Теламоний, Ил. vii. 321, связанный с 344.

9. Аякс, сын Оилея.

Среди указаний, по которым показано, что последний названный вождь был βασιλεὺς, есть следующие. Он вызван Агамемноном (Ил. второй. 404-6) среди γέροντες ἀριστεῖς Παναχαϊῶν: где все вышеуказанному появляются лиц (за исключением Ахилла), и никакие другие. Теперь γέροντες или старейшины призваны ранее в ст. 53 той же книги, а в ст. 86 называются σκηπτοῦχοι βασιλῆες. Еще одним доказательством ранга ойлейского Аякса является знакомая манера, в которой его имя на равных правах ассоциируется на протяжении всего стихотворения с именем Аякса Теламония.

Но та часть поэмы, которая в целом дает наиболее четкое свидетельство о составе класса царей, - это Десятая книга.

Здесь мы начинаем со встречи Агамемнона и Менелая (ст. 34). Затем Менелай обращается к великому Аяксу и Идоменею (53), а Агамемнон - к Нестору (54, 74). Нестор пробуждает Улисса (137); а затем Диомеда (157), которого он посылает позвать Ойлеана Аякса вместе с Мегесом (175). Затем они вместе посещают φύλακες или стражу, которой командуют Фрасимед, Мерион и другие (ix. 80. x. 57-9). Нестор призывает стражу быть на чеку, а затем возвращается в ров, сопровождаемый аргейскими царями (194, 5);

τοῖ δ' ἄμ' ἔποντο

Ἀργείων βασιλῆες, ὅσοι κεκλήατο βουλήν.

Сила термина βασιλῆες, обозначающего определенный класс, усиливается следующими строками, которые говорят нам, что с ними, царями τοῖς δ' ἄμ', отправились Мерион и Фрасимед по специальному приглашению (196, 7);

αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάσθαι.

В этом повествовании не указано, что каждый из призванных присоединился к компании, посетившей стражу: но все, кто присоединился к ней, очевидно, являются βασιλῆες. Но мы уверены, что Олейский Аякс был среди них, потому что он упоминается в версии 228 как один из членов Совета, которые стремились сопровождать Диомеда в его предприятии.

Таким образом, Аякс Оилей становится девятым греческим царем в "Илиаде".

Эти девять царей-Вождей, конечно, за исключением Ахилла, присутствуют на каждом Совете и появляются либо совсем, либо почти в одиночку.

Граница между ними и всеми другими вождями в целом сохранена с большой точностью. Однако есть очень мало людей, в отношении которых, возможно, может быть поднят вопрос, прошли ли они его.

Некоторые сомнительные случаи.

1. Мегес, сын Филя и командир дулихийских эпеев, не был в первом ряду воинов; ибо он не был одним из десяти, которые, включая Менелая, были готовы принять вызов Гектора[67]. Не был он и членом обычного Совета; но однажды, на Ночной совет, его вызвали. Тех, кто присутствовал на этом мероприятии, также, как мы видели, называют королями[68]. И мы видели, что этот термин, по-видимому, не использовался в широком смысле: поскольку после упоминания о том, что цари последовали за Нестором на совет, добавляется, что с ними отправились Мерионес и Антилох[69].

Но когда Диомед продолжает просить спутника в своей экспедиции, упоминаются шесть человек (227-32), пожелавших сопровождать его. Это два Аякса, Мерион, Фрасимед, Менелай и Улисс. Идоменей и Нестор, конечно, исключены из-за возраста. Однако кажется очевидным, что намерением Гомера было включить в игру всю компанию, только с этими исключениями. Он не мог иметь в виду, что один-единственный из присутствующих здоровых воинов держался в стороне. И все же Мегес не упоминается; единственный из вызванных, кто не назван. Следовательно, я делаю вывод, что Гомер не имел в виду представлять его присутствующим; и, следовательно, он, по всей вероятности, не включен в число βασιλῆες ст. 195.

2. Феникс, наставница и подруга Ахилла, ласково названа им διотреφής[70] в Девятой книге; но ласковый и фамильярный характер речи и всех отношений между ними сделал бы опасным строить что-либо на основе этого свидетельства.

В Девятой книге может показаться вероятным, что он был среди старейшин, которые советовались с Агамемноном о миссии к Ахиллесу, но это не утверждается положительно; и, даже если бы это было так, его родство с этим великим вождем объясняло бы его появление там только по этому случаю (Ил. ix. 168). Примечательно, что, в один момент, Гомер говорит, что Агамемнон нас собраны не просто γέροντες, но γέροντες ἄλλῃες, как бы там не было лиц, которые не относятся к обычным Совета (Ил. ix. 89).

Опять же, в Девятнадцатой книге нам говорится (ст. 303), что Γέροντες Ἀχαιῶν собрались в лагере Ахилла, чтобы уговорить его поесть. Он отказался; и он отослал "других царей"; но остались две Атриды, Улисс, Нестор и Идоменей, "и старый Феникс, управлявший колесницами". Остальные упоминаются без эпитетов, вероятно, потому, что они только что были описаны как цари; и Феникс, по всей вероятности, описывается этими эпитетами по той причине, что термин βασιλῆες не включает его (xix. 303-12).

Таким образом, в целом, и принимая во внимание наше мнение, что Феникс был повелителем, или ἄναξ, подчиненным Пелея, и что он был заместителем командира в отряде Ахилла, мы можем быть почти уверены, что он не был βασιλεύς; если это слово имело, как, я думаю, было достаточно показано, определенное значение.

3. Хотя Патрокл был в первом ряду воинов, его нигде не называют βασιλεύς или διотреφής; но только διογενής, что, по-видимому, является словом, используемым с гораздо большей широтой. Подчиненное положение Ментия, отца Патрокла, делает маловероятным, что он фигурирует в "Илиаде" как царь. По-видимому, он был помощником Ахилла во всем войске мирмидонян.

4. Эврипил, сын Эвемона[71], командующий контингентом из сорока кораблей и один из десяти принявших вызов, в одном месте назван διотреφής. Сомнительно, должен ли он был быть представлен как βασιλεύς, или это небрежное использование эпитета; если это так, то это единственное исключение (кроме ix. 607) из правила, установленного более чем тридцатью отрывками "Илиады".

В целом, свидетельства "Илиады" ясно показывают, что титул βασιλεύς был определенным в греческой армии и что он был ограничен девятью лицами; возможно, с некоторой неясностью в вопросе, претендовали ли на это звание еще один или два человека.

Условия царствования в "Илиаде".

При рассмотрении состава класса царей, независимо от того, включаем мы в него или нет такие случаи, как случаи Мегеса или Эврипила, кажется, что он основывается на комбинированной основе

1. Реальный политический суверенитет, в отличие от подчинения вождю;
2. Заметная личная энергичность; и
3. *Либо, а.* Значительные территориальные владения, как в случае с Идомнеем и Оилейским Аяксом;
- б.* Экстраординарные способности, хотя и с небольшими владениями, как в случае с Улиссом; или, по крайней мере,
- с.* Выдающаяся личная сила и доблесть, принимаемые таким же образом в качестве компенсации за недостаточный политический вес, как в случае с теламоновским "Аяксом".

Хотя условие командования значительными силами, как мы видим, ни в коем случае не является абсолютным, все же, с другой стороны, каждый командующий такими большими силами, как пятьдесят кораблей, является βασιλεύς, за исключением только Менестея, исключение, которое, вероятно, имеет смысл. У Агапенора действительно шестьдесят кораблей; но тогда он непосредственно зависит от Агамемнона. У беотийцев тоже пятьдесят; но они разделены между пятью вождями.

Среди телесных качеств гомеровских принцев мы можем в первую очередь отметить красоту. Я думаю, что это свойство не приписывается в стихотворениях явно ни одному человеку, за исключением лиц княжеского ранга. Нет необходимости собирать все примеры, в которых оно таким образом приписывается. Из некоторых из них, где описание помечено, а личности незначительны, таких как Eurphorbus и Nireus[72], мы можем быть более убеждены, что Гомер следовал существующей традиции. Для троянской царской семьи это выдающаяся и своеобразная характеристика; и она остается в заметной степени даже в случае престарелого Приама[73]. Гомер осторожен[74], чтобы утверждать это о своих главных героях; Ахилл превосходит даже Нирея; Улисс обладает этим в изобилии, хотя и в менее выраженной степени; это прямо утверждается об Агамемноне; и об Аяксе, который в "Одиссее" почти соревнуется с Ниреем за вторые награды; однако термины описания следующие, отличимые одно от другого.

Опять же, что касается личной силы как условия суверенитета, Гроте[75], что 'старый вождь, такой как Пелей и Лаэрт, не может сохранить свое положение'. Похоже, что практика была несколько разнообразной. Нестор, будучи в очень преклонном возрасте и будучи не в состоянии сражаться, все еще занимает свой трон. Отрывок, процитированный Гротом в подтверждение своего утверждения относительно Пелея, не соответствует действительности: ибо это просто запрос духа Ахиллеса, находится ли его отец все еще на троне или был отстранен по возрасту, и сам вопрос показывает, что за все время жизни Ахиллеса Пелей, хотя и был стар, не был известен как сложивший с себя полномочия правительства. Действительно, его сохранение, по-видимому, предполагается в прекрасной речи Приама к Ахиллесу (Ил. xxiv. 486-92).

Обычай смирения в старости.

В то же время у Гомера имеется достаточно свидетельств, свидетельствующих о том, что для государя было более обычным делом по мере того, как он старел, либо присоединять к себе сына в своих заботах, либо удаляться на покой. Практика Трои, где мы видим Гектора, в основном выполняющего активные обязанности правительства — поскольку он кормит войска[76], а также командует ими — похоже, соответствует практике Греции. Ахилл в Девятой "Илиаде" ясно подразумевает, что он сам, как военачальник, не был простым представителем своего отца; поскольку он приглашает Феникса приехать и разделить с ним его царство.

Но обязанности советника продолжались и после того, как обязанности действия были переданы: ибо Приам председательствует в троянском $\alpha\gamma\omicron\rho\eta$ и появляется на стенах, окруженный $\delta\eta\mu\omicron\upsilon\epsilon\rho\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$, которые, по-видимому, все еще были его главными ораторами и проводниками. И Ахилл[77], когда командовал Троей, все еще надеялся, что Пелей обеспечит его женой.

Я нахожу ясное доказательство общего обычая ухода на покой, вероятно, постепенного, в применении к суверенам термина $\alpha\acute{\iota}\zeta\eta\omicron\varsigma$. У Гомера это слово обычно толкуется как обозначающее юношей; но истинное значение его - то, которое в "скромной жизни" мы передаем термином "трудоспособный"; то есть те, кто не находится ни в отрочестве, ни в старости, но во всей силе возмужания. Ошибка в значении термина создала трудности с его происхождением и побудила Дедерляйна вывести его из $\alpha\acute{\iota}\theta\omega$, имея в виду, я полагаю, пыл молодости, вместо более очевидной производной формы α и $\zeta\acute{\alpha}\omega$, выражающей высоту жизненной силы. Я думаю, одного отрывка будет достаточно, чтобы показать, что слово $\alpha\acute{\iota}\zeta\eta\omicron\varsigma$ имеет это значение: которое также представлено в двух местах парафрастическим выражением $\alpha\acute{\iota}\zeta\eta\omicron\varsigma\ \acute{\alpha}\nu\eta\rho$ [78]. В Шестнадцатой "Илиаде" Аполлон является Гектору в образе Асия (716):

$\acute{\alpha}\nu\epsilon\rho\iota\ \epsilon\acute{\iota}\ \sigma\acute{\alpha}\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma\ \alpha\acute{\iota}\zeta\eta\tilde{\omega}\tau\epsilon\ \kappa\rho\alpha\tau\epsilon\rho\tilde{\omega}\tau\epsilon.$

Итак, Асий, о котором идет речь, был родным братом Гекубы, матери Гектора и восемнадцати других детей; и поэтому нельзя предположить, что он был юношей. Смысл Поэта, по-видимому, состоит в том, чтобы предотвратить предположение, которое в противном случае было бы естественным в отношении дяди Гектора, что этот Асий, в образе которого появился Аполлон нестриженный, вышел из возраста силы и мужественной красоты, обозначаемого словом $\alpha\acute{\iota}\zeta\eta\omicron\varsigma$.

Значение термина $\alpha\acute{\iota}\zeta\eta\omicron\varsigma$.

Нет ни одного отрывка, где это слово использовалось бы с каким-либо указанием на то, что молодежь противопоставляется зрелым мужчинам. Но есть конкретный отрывок, который точно иллюстрирует значение, которое теперь было придано αἱ ζῆς. В Каталоге нам сказано, что Геркулес унес Астьяху[79]:

πέρσας ὅστας πολλὰ Διότρεφέων αἱ ζῆς.

Поуп передает это словами, которые, каковы бы ни были их внутренние достоинства, в качестве перевода являются одновременно расплывчатыми и дефектными:

Где могучие города в руинах раскинулись по равнине,

И видели, как рано были убиты их цветущие воины.

Каупер полностью опускает последнюю половину строки и говорит:

"После того, как многие города были повержены в прах"....

Чэпмен, прав в отношении эпитета, придает ошибочное значение существу:

"Где он сравнивал с землей многие города знатных юношей".

Фосс, как обычно, точен, и, кажется, несет в себе полный смысл:

‘Viele Städt’ austilgend der gottbeseligten Männer.’

Эта строка, по правде говоря, служит замечательным пробным камнем для понимания значения двух важных гомеровских слов. В вульгарном значении Διότρεφέων αἱ ζῆς означает просто прославленных юношей. Что мог иметь в виду Гомер, говоря о городах прославленных юношей? Это их правители или их воюющее население? Все ли их правители были молодыми? Все ли их воюющее население было знаменитым? Ни в одном другом месте "Илиады", кроме одного, где, очевидно, следует принять конкурирующее прочтение ὁρῖθόων, Поэт не применяет διότρεφῆς к массе людей[80]. Если, таким образом, имеются в виду государи, то ясно, что не все они могли быть юношами, и поэтому αἱ ζῆς не означает юношу. Но теперь давайте возьмем διότρεφῆς в его строгом смысле только как царский титул; затем давайте вспомним, что троны занимались только по достижении совершеннолетия, как это ясно из случая с Телемахом, который, хотя его отец, как и опасались, был мертв, не обладал верховной властью. "Пусть Юпитер, - говорит ему Антиной, - никогда не сделает тебя βασιλεὺς в Итаке: это твое право" или "которое достанется тебе по праву рождения"[81]:"

Ὅτοι γενεῇ πατρώϊον ἔστιν.

Когда Телемах отвечает, предлагая, чтобы один из знатных людей взял на себя верховную власть. Наконец, по достижении преклонного возраста она была, по большей части, либо посвящена более активным заботам, либо полностью оставлена. Тогда смысл Il. ii. 660 проявится с обычной для Гомера точностью и полнотой. Дело в том, что Геракл разграбил много городов принцев-воинов, или энергичных и воинственных принцев.

Таким образом, тогда требовалось, чтобы гомеровский βασιλεὺς был королем, *кенигом*, человеком, о котором мы могли бы сказать, что на самом деле, а не только условно, он *может* как мысленно, так и лично. Такова была теория и такова практика гомеровской эпохи. Нет ни одного греческого государя, за почетным исключением Нестора, который не вел бы своих подданных в бой; нет ни одного, кто не превосходил бы их всех силой рук, едва ли есть кто-нибудь, кто также не приводил бы доказательств превосходства интеллекта, где для этого есть простор в силу действия поэмы. Помимо сражений, принц также не имеет себе равных в Играх. Из восьми состязаний Двадцать третьей книги семь проводятся только принцами вооружения. Единственное исключение примечательно: это боксерский поединок, который Гомер называет πύρραχίη ἀλεγεινή[82], эпитет, который он не применяет ни к какому другому матчу, кроме рестлинга.

Но его низкая оценка бокса проявляется в другой форме - в ценности призов. Первый приз - необъезженный мул; второй - кубок с двумя боулдами, к которому не прилагается никакого эпитета, обозначающего ценность. Но для борцов (состязание менее опасное и, следовательно, не требующее в этом отношении большего поощрения) первым призом был треножник стоимостью в двенадцать быков, а вторым - женщина-рабыня стоимостью в четыре. Какова же тогда была относительная стоимость быка и мула, еще не разогнанных? Мулы, как и волы, использовались просто для тяги. Они были лучше, потому что быстрее тянули плуг[83]; но, с другой стороны, волы также были доступны в пищу, и у нас нет указаний на то, что первые представляли большую ценность. Поэтому, не останавливаясь слишком строго на числе двенадцать, мы можем сказать, что приз в борьбе был в несколько раз ценнее, чем в боксе. Опять же, вторым призом пешего забега был большой и жирный бык, равный, вероятно, первому призу боксерского поединка[84]. Эпей, выигравший боксерский поединок у принца Эвриала, третьего вождя аргивян, очевидно, был человеком традиционной славы, судя по победе, которую он одержал над противником высокого ранга. Но Гомер позаботился уравновесить это, приведя признание из уст самого Эпеуса, что он ни на что не годился в битве[85];

ἧ οὐχ ὅλις, ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι;

выражение, которое, я думаю, Поэт использовал, по всей вероятности, именно для того, чтобы скрыть превосходство своих князей, показав, что этот дар Эпея был единичным и, так сказать, жестоким достижением.

Достижения королей.

Как с играми, так и с более утонченными достижениями. Есть только четыре случая, в которых мы слышим об использовании музыки и песен Гомера, не считая случаев профессиональных бардов. Один из них - мальчик, который на Щите Ахилла играет и поет, дирижируя юношами и девушками, когда они выходят из виноградника с виноградом. Это бард, который играет для танцоров; но его достоинство и всегда присущее ему самообладание, вероятно, не позволили бы ему появиться в движении с таким телом, и по этой причине может быть заменен παῖς, о ранге которого мы ничего не знаем. В других случаях все три упомянутых лица являются принцами: Парис - первый, у которого были более легкие и внешние черты характера джентльмена, и который был самого высокого ранга, но, как можно заметить, ему был присвоен только инструмент, а не песня. Второй - возвышенный Ахилл, чья могучая натура, проникающая, подобно натуре его Поэта, в каждую струну человеческого разума и сердца, побуждает его

скрашивать Музой тревожное одиночество; и кто встречается в Девятой Илиаде[86] посланниками, успокаивающими его угрюмый дух игрой на лире и пением, под собственные мелодии, достижения ушедших героев. И, в-третьих, сама эта лира, как и железный шар из Двадцать третьей книги, была среди трофеев короля Итаона.

Но царственный и героический характер у Гомера, по крайней мере, когда он проявляется в кульминационном моменте, должен быть всеобъемлющим. Подобно тому, как оно воспаряет ко всему, что находится вверху, так же, не пригибаясь, оно должно быть хозяином всего, что находится под ним. Соответственно, Поэт придал ему последний штрих в свершениях Улисса. Поскольку он доказал, что является дровосеком и кораблестроителем на острове Калипсо, ему не привыкать к плугу и косе; и он честно бросает вызов[87] Эвримаху, Жениху, чтобы тот попробовал, кто из них быстрее очистит луг от травы, которая проложит самую прямую борозду на поле площадью в четыре акра.

Вот и все о материальных достижениях греческих королей и принцев; об их интеллектуальных способностях нам придется поговорить при рассмотрении характера правительств героической эпохи.

Короли как джентльмены.

Но Гомер не приписывает своим персонажам этих достижений, умственных и физических, вульгарно, как если бы они были подробно описаны в каталоге школы-интерната. Гомеровский царь должен обладать тем, что объединяет и гармонизирует их всех: он должен быть подчеркнуто джентльменом, и это в некотором смысле недалеко от того, что знакомо христианской цивилизации Европы. Нестор, Диомед, Менелай - в высшей степени джентльмены. Агамемнон в меньшей степени таков; но здесь Гомер проявляет свою обычную пронизательность, ибо в Агамемноне есть низменная жилка, которая больше всего портит этот своеобразный оттенок характера. Однако именно в двух героях стихотворений в превосходной степени мы видим сильнейшее развитие тех привычек чувствовать и действовать, которые присущи джентльмену. Следует признать, что одной из этих черт является любовь ко всему прямолинейному, правдивому и незаурядному. Согласно вульгарному представлению о характере Улисса, ему не приписывают этого качества. Но каким бы ни был Улисс Вергилия или Еврипида, Улисс Гомера, хотя и полон осмотрительности, сдержанности и даже хитрости в обращении с врагами и незнакомцами, в нем нет ничего эгоистичного, коварного или вероломного. И, соответственно, именно в его уста Гомер вложил те немногие и простые слова, которые обличают характер доносчика и рассказчицы с суровостью, возможно, даже большей, чем это было необходимо при данных обстоятельствах. Когда Эвриклея узнает его, он строго предписывает ей хранить молчание, от которого в тот момент зависела вся их жизнь. Уязвленная предположением, что она может (выражаясь нашим домашним языком) проболтаться, она отвечает, что будет держать себя в руках, твердая, как камень или как железо. Она добавляет, что укажет ему, какие из женщин во дворце верны, а какие виновны. Нет, отвечает он; Я буду наблюдать за ними сам; это не ваше дело[88]:

μαῖ α, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσῃ; οὐδὲ τί σε χρή·

εἴ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴ σοι' ἐκάστην·

ἄλλ' ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖ σιν.

Ахилл как джентльмен.

Как Гомер таким образом резко показал Улисса в образе джентльмена по отношению к истине[89], так и для Ахилла он продемонстрировал то же самое по отношению к вежливости: протестуя, так сказать, предвосхищая таким образом дегенеративные концепции тех персонажей, которые должны были воспроизвести и сделать текущими в мире Ахилла как животное, а Улисса - как демона. как отъявленный плут. Но давайте посмотрим на остаток доказательства.

В первой "Илиаде", когда гнев достигает своего пика, герольды Талтибий и Еврибат отправляются в его лагерь с ужасающим поручением забрать Брисеиду. Войдя, они остаются пораженными благоговейным страхом и безмолвствуют. Хотя в гораздо более поздние времена мы знаем, что

Вестник дурных вестей

У него всего лишь проигрышный пост,

он сразу же избавляет их от смущения и приветствует их лично;

χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι, ἦδ' ἐ καὶ ἄνδρῶν·

ἄσπον ἴτ' [90].

И он желает, чтобы Патрокл привел объект их поисков. Более экстраординарного самообладания и тактичности, чем эта, ни один автор никогда не приписывал ни одному персонажу.

Опять же, когда в Девятой книге его застают врасплох в его уединении посланцы Феникс, Улисс и Аякс, хотя он готов отклонить любое предложение, он приветствует их всех лично, не дожидаясь, пока к нему обратятся, и с предельной добротой[91], как самый дорогой ему из всех греков, даже в своем гневе; он, конечно, продолжает заказать для них развлечение. Но самое утонченное из всех его проявлений внимания - это то, что проявлено к Агамемнону в Двадцать третьей книге. Уступая "Аяксу", "Диомеду" и "Улиссу", Агамемнон не мог участвовать в главных матчах, потерпеть поражение от любого более способного соперника, не принижая своей должности: в то время как его соперничество со второстепенным лицом также было бы серьезным унижением другого рода. Соответственно, Ахилл в конце устраивает номинальное состязание в владении пращей — о котором мы нигде в поэмах не слышим — и, вступая после объявления кандидатов, но перед самим состязанием, вручает главный приз Агамемнону с таким комплиментом; что в испытании нет необходимости, поскольку каждый уже знает, насколько он превосходит всех остальных в этом упражнении.

И все же эти великие вожди, такие сильные, храбрые и мудрые, такие гордые и суровые, такие сведущие в искусстве, манерах и достижениях, иногда могут плакать, как женщина или ребенок. Улисс на острове Калипсо ежедневно изливает свои 'потoki воды', напрягая зрение над морем; и он закрывает голову в залах Алкиноя, пока Демодок поет, чтобы его слезы могли течь незаметно. И вот Ахилл, только что оправившийся от своей жестокой мести за труп Гектора, все же, когда троянский царь[92] вызвал в своем сознании образ своего отца Пелея, при мысли

то о своем престарелом родителе, то о своем убитом друге проливает слезы, столь же нежные, как у Приама, по своему сыну, и позволяет своему горю излиться в сердце. глубокое сострадание к пожилой просительнице, стоявшей перед ним. И не только в печали мы можем отметить высокую восприимчивость. Греческие вожди в целом остро чувствуют похвалу и порицание. Телемах[93] приходит в восторг, когда Египтий хвалит его как привлекательно выглядящего юношу: и даже Улисс, первый среди них по самообладанию, глубоко уязвлен замечанием дерзкого феакийца о его внешности и отвечает обидчику с отличным чувством юмора, но с необычайной резкостью[94]. Подобный настрой проявляется во всех ответах вождей Агамемнону, когда он объезжает армию[95].

Права наследования по наследству.

Наследственный характер королевской должности запечатлен почти на каждой странице стихотворений, поскольку почти все вожди, чью родословную мы можем проследить, очевидно, унаследовали власть своих отцов. Единственным исключением в ордене, о котором нам известно, является случай, когда, вероятно, из-за младенчества наследника, брат покойного государя принимает его скипетр. Таким образом, Фиест, дядя Агамемнона, наследовал своему отцу Атрею, а затем, очевидно, без какого-либо нарушения правил, передал его Агамемнону.

И это, вероятно, причина того, что Орест был всего лишь ребенком[96], часть достоинства Агамемнона передается Менелаю. В "Илиаде" он был квалифицированным превосходства; получает совместно с Ага -Мемнона настоящее Euneus; более королевский, выше по рангу, чем в других вождей: мы также рассказывали о нем[97], μέγα πάντων Ἀργείων ἦνασσε; и он пришел на вторую встречу γέροντες во второй книге αὐτόματος, без формальной повестки.

В случае, подобном случаю с Фиестом, если мы можем судить по тому, что произошло на самом деле, дядя, возможно, унаследовал бы трон вместо несовершеннолетнего, чьи наследственные права в таком случае были бы отложены до следующего этапа.

Случай с Телемахом в "Одиссее" интересен во многих отношениях, поскольку раскрывает перед нами отношения из семейной жизни того периода. Среди других моментов, которые это иллюстрирует, - вопрос о правопреемстве суверенитета. Женихи признали, что это перешло к нему от его отца[98]. И все же, очевидно, нужно было совершить какое-то особое, если не формальное действие, без которого он не мог быть царем. Антиной выражает надежду, что Юпитер никогда не сделает Телемаха царем Итаки. Не потому, что трон был полон, ибо, напротив, смерть Улисса была признана или предполагалась произошедшей[99]; но, очевидно, потому, что это действие, каким бы оно ни было, не было совершено в его случае.

Возможно, высказывания Антиноя подразумевают, что такая процедура была гораздо более чем формальной и что восшествие Телемаха на высший сан могло быть остановлено несогласием знати. Ответ также молодого принца[100] (τῷ κέν τις τόδ' οἶν), по-видимому, по крайней мере согласуется с идеей о том, что практика, либо приближающаяся к выборам, либо каким-либо образом предполагающая добровольные действия со стороны подданных или части из них, должна была быть пройдена. Но личное достоинство сына Улисса не подвергалось сомнению. Даже Женихи обращают на это определенное внимание в разгар своей дерзости: и когда молодой принц входит в место собрания[101], он занимает свое место на троне своего отца, старейшины спонтанно уступают ему место.

Права первородства.

Однако можно с уверенностью сказать, что Телемах был единственным сыном, и, соответственно, мы не можем судить по его делу, имел ли старший право наследования. Признавались ли права первородства среди греков героической эпохи - вопрос, представляющий большой интерес для нас самих. Ибо, с одной стороны, существует склонность к агитации и оспариванию этих прав. С другой стороны, мы живем в таком состоянии общества, которому они, вероятно, внесли больший вклад, чем любая другая конкретная причина, после христианской религии, в придание его специфической формы. Гомер предоставил нам лишь несколько примеров братства между его великими персонажами. Мы видим, однако, что Агамемнон повсюду носит характер старшего, и он, по-видимому, унаследовал в этом качестве трон Атрея, в то время как Менелай, младший, получает его наследство благодаря своей жене. Говорят, что Тиро в Одиннадцатой "Одиссее" родила на берегах Энипея близнецов Пелия и Нелея. В этом отрывке порядок, в котором названы имена детей, скорее всего, соответствует возрасту[102]. Мы находим Пелия правящим в Иолке, части первоначальной страны Эолидов: в то время как Нелей эмигрирует и, женившись на Хлориде или до этого, становится царем Пилоса на юге Греции[103]. Из двух братьев Протесилая и Подаркеса первый, который также является старшим, получает силу от Филака. Однако он был храбрее, а также старше. Это перечисление достоинств, возраста и должностей двух братьев поднимает вопрос, применимый к другим случаям, когда два брата объединяются без видимого различия в командовании. В Каталоге их насчитывается четыре. Первый - это Аскалафус и Иалмену, которых их мать Астиха тайно родила на Марс, πτερύϊον εἰ σαυαῖσσα. Выражение, по-видимому, подразумевает, что это было при одном рождении. Но даже этим предположением мы не избавляемся от идеи старшинства в данном случае; мы также не можем предположить, что все пары были близнецами. Поэтому мы, естественно, спрашиваем, подразумевало ли это соединение равенство в управлении? Вероятно, мы можем рискнуть ответить, без особых сомнений, отрицательно. С одной стороны, нет ничего невероятного в предположении, что названный первым из двух братьев был старшим и имел главное командование. Хотя, с другой стороны, несомненно, что нет ни одного случая двух равных командиров, кроме как среди этих четырех, которые все являются случаями братьев; и которые при интерпретации, которая кажется наиболее естественной, которую они могут получить, стали бы новым свидетельством распространенности обычая первородства. Опять же, среди сыновей Нестора, которые представлены нам как окружающие его в Третьей "Одиссее", мы, возможно, найдем, исходя из обязанностей, возложенных на них при торжественном жертвоприношении, и других важных признаков первородства. Писистрат выходит вперед, чтобы поприветствовать Телемаха по прибытии, и ведет его к его месту[104], спит рядом с ним под портиком и сопровождает его в путешествии. Но эти функции принадлежали ему, потому что он был холостяком (ῥήθεος) в семье, как нам уместно сказано в связи с тем, что он занимал диван рядом с гостем, в то время как женатые люди всегда спали в какой-то отдельной и более уединенной части дворца[105]. Следовательно, Писистрат, вероятно, был младшим сыном. Но также совершенно ясно, что Фрасимед был старшим. Ибо во время жертвоприношения он наносит смертельный удар быку: пока Стратий и Эхефрон поднимают его, Арет держит кувшин и чашу, Персей держит ягненка, Писистрат разделяет животное, а Нестор совершает религиозные обряды молитвы и жертвоприношения[106].

И снова, когда Писистрат упоминает Телемаха и переодетую Минерву, он помещает их, очевидно, как бы на почетное место, "рядом со своим братом Фрасимедом и своим отцом".

Это полностью согласуется с нашей находкой: только Фрасимед вместе с павшим Антилохом были выбраны для участия в Троянской войне.

На этот вопрос, опять же, важный побочный свет проливают мифологические переложения Гомера. Фактически, они являются достаточно убедительными по вопросу о первородстве у эллинов. На этом основан олимпийский орден. Именно как старший из трех братьев Кронидов, и ни по какому другому титулу, Юпитер стоит во главе олимпийского сообщества. Что касается лотереи, то он всего лишь один из трех. То, что он Король Воздуха, не дает ему права командовать Королем моря. В Пятнадцатой книге, поскольку он почти равен по силе Нептуну, он отказывается подчиняться его приказам, пока Ирис не напомнит ему о его старшинстве. Эрину, говорит Богиня-Посланница, ухаживает за старейшиной. Иными словами, его права лежат в основе морального порядка. После этого предложения непокорное божество сразу же уступает[107]. И, в свою очередь, Юпитер в "Тринадцатой Одиссее" признает притязания Нептуна на уважение как *старейшего* и лучшего (конечно, после него самого) из богов[108].—

Столь возвышенный и разделенный по рангу, столь прекрасный лично, столь могущественный руками и умом, столь связанный с божественным источником всех человеческих почестей, греческий βασιλεύς из "Илиады" имеет и другие притязания на то, чтобы считаться представителем, возможно, более близким, чем это когда-либо было представлено любым другим классом монархов, благожелательного и почти идеального царствования. Свет этих великих звезд героического общества был не менее мягким, чем ярким; и они вполне могли бы послужить основой для того представления о королевском характере, которое придало ему столь необычайную власть над умом Шекспира и побудило его украсить его столь благородными излияниями своей музыки.

Функция короля как священника.

Гомеровский царь предстает перед нами в четырех ипостасях Священника, Судьи, Полководца и Собственника.

Уже отмечалось, что среди греков эпохи Трои нет священника; и, в соответствии с этой точкой зрения, мы находим Агамемнона в "Илиаде" и Нестора в "Одиссее", которым поручено фактическое совершение обряда жертвоприношения; очевидно, что он не поручается никакому другому лицу, кроме главы общества, которому помогают его κήρυκες, офицеры, выступавшие в роли герольдов и сержантов, или его сыновья.

Но хотя это имело место в отношении того, что можно назвать государственными жертвоприношениями, которые также обычно были банкетами, мы также узнаем, что в отношении жертв более частного характера они должны были совершаться главой семьи. Убить животное для еды в любом случае означает принести его в жертву (ἱερεῖν), будь то в лагере, во дворце Нестора, в буйной компании Женихов или в мирной хижине Эвмелуса; и каждое животное, готовое к ножу, называлось εὐρήϊον[109].

Как Судья и как генерал.

Судебная должность царя известна нам, во-первых, благодаря характеру Миноса. Находясь на земле, он имел прямую связь с Юпитером, что, вероятно, относилось к отправлению правосудия; и в нижеприведенных Чертах мы видим, что он фактически исполнял обязанности судьи. Ничто из того, с чем мы знакомимся у Гомера, не имеет подобия уголовного правосудия,

за исключением штрафов за убийство; но даже они имеют не более чем видимость. Наказание, как и другие штрафы, было назначено в качестве корректировки или компенсации[110] между людьми, а не в качестве компенсации за нарушение общественной морали, спокойствия или порядка.

Во Второй "Илиаде" в обращении Улисса к народу говорится, что именно царю, и только царю, Юпитер передал скипетр и отправление правосудия, чтобы с их помощью он мог исполнять свои царские обязанности[111]:

εἴς κοίρανος ἔστω,
εἴς βασιλεὺς, ὃς δώκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω
σκῆπτρόν τ' ἦδ' ἐθέμιστας, ἵνα σφίσιν ἐμβασιλεύῃ.

Теперь скипетр по праву является символом судебной власти, как мы знаем из "клятвы Ахиллеса"[112]:

νῦν αὖτέ μιν οἷ' εἰς Ἀχαιῶν
ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἳ τε θέμιστας
πρὸς Διὸς εἰρύαται.

Из совокупного эффекта двух отрывков ясно, что обязанности судебной власти, определение относительных прав между членами сообщества, составляли, по крайней мере в значительной части, первичную функцию суверенитета. Тем не менее, более широкая концепция этого, которая включает в себя совещательную должность, представлена нам в речи Нестора к Агамемнону по случаю Совета, последовавшего за Ночным собранием[113].

καὶ τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν
σκῆπτρόν τ', ἦδ' ἐθέμιστας, ἵνα σφίσι βουλευέσθῃα.

Однако даже во времена Гомера судебная функция могла осуществляться путем делегирования полномочий. Ибо в Собрании, начертанном на Щите, в то время как стороны спорят, и люди симпатизируют одни одним, а другие другим, именно үеронτες, или старейшины, выносят решение[114]. Каждый из этих людей держит в своих руках скипетр. В отрывке, Il. i. 237, кажется, говорится об одном скипетре, который держат многие люди: эта сцена на Щите демонстрирует нам несколько скипетров. В примере с нечестными решениями упоминается множество судей[115]. Но поскольку мы никогда не слышим о подлинной и независимой власти, подобной той, что в Il. ii. 204, у сенаторов или знати, представляется наиболее вероятным, что они действовали в судебном порядке через фактическую или виртуальную делегацию короля.

Обязанность короля командовать своими войсками прописана на каждой странице "Илиады"; и единственным ограничением для нее, по-видимому, было то, что с приближением старости эта обязанность возлагалась на наследника или более чем на одного члена семьи, еще до полного

ухода отца от общественных забот. Воинственный характер государя действительно идеально отличался от его царственного характера; ибо Агамемнон был[116]

ἄμφοτερον, βασιλεύς τ' ἀγαθός, κρατερός τ' αἰ χμητής.

И все же от него ожидали воинского мастерства. Когда Ипполох отправил своего сына Главка в Трою, он повелел ему всегда быть доблестным и всегда превосходить своих товарищей по оружию[117].

Наконец, король был собственником. У Улисса была очень большая земельная собственность и столько стад, говорит Эвмей в духе лояльного преувеличения, сколько у любых двадцати ныне живущих вождей[118]. И Гомер, который всегда приберегал все лучшее для ликийцев, заставил Сарпедона объявить в несравненной речи о реальных условиях, на которых держались подобные поместья. Он хочет, чтобы Главк вспомнил, почему в Ликии их почитают выше всех на пирах и угощают большими порциями, чем остальных, почему на них смотрят как на божества, почему наделяют огромными поместьями с пастбищами и кукурузными угодьями на берегах Ксанфа; это для того, чтобы они могли более смело встретить пылающую битву и быть великими в глазах и умах своих товарищей. Столь же полностью идея достоинства и привилегий гомеровского царя основана на твердой почве долга, ответственности и тяжелого труда[119].

То, чему учил Гипполох и что утверждал Сарпедон, в точности соответствует практической части повествования о Главке в Шестой книге. Когда Беллерофонт полностью утвердился в Ликии своей доблестью, царь страны отдал ему в жены свою дочь вместе с половиной своего царства; а ликийцы подарили ему большие и плодородные владения.

Как собственник; τέμενος.

Это поместье называется τέμενος; у Гомера это название никогда не применялось, кроме как к имуществу божеств и правителей. Он использует это слово по отношению к глебским землям

Spercheius, Il. xxiii. 148.

Venus, Od. viii. 362.

Ceres, Il. ii. 696.

Jupiter, Il. viii. 48.

И в области

Беллерофонт, Ил. vi. 194.

Эней (обещанный троянским сообществом, если он убьет Ахилла), Ил. xx. 184.

Мелеагр, Ил. ix. 574.

Сарпедон и Главк, Ил. xii. 313.

βασιλεύς на Щите, Ил. xviii. 550.

Iphition (πολέων ἡγήτωρ λαῶν), Il. xx. 391.

Алциной, Од. vi. 293.

Улисс, Од. xi. 184 и xvii. 299.

С другой стороны, просто богатый человек (Ил. XI. 68) имеет ᾠοῦρα, не τέμενος; и фермы Лаэрта называется ἄγρὸς, не τέμενος. И почему? Потому что это было частное владение, приобретенное им, очевидно, из сбережений (Од. xxiv. 206);

ὅν ῥά ποτ' αὐτὸς

Λαέρτης κτεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πόλλ' ἐμόγησεν.

Слово τέμενος, вероятно, происходит от τέμνω или от того же корня, что и этот глагол, и обозначает землю, которая, будучи отрезана от первоначального общего фонда, доступного для использования частными лицами, была выделена для одной из двух великих общественных целей, государственной или религиозной.

Доходы и бремя, лежащее на них.

Помимо своих огромных поместий, у королей, по-видимому, было по крайней мере еще два источника дохода. Одно из них было не лишено сходства по форме с тем, что мы сейчас называем таможенными пошлинами, и, возможно, содержало их исторический зародыш. В Книге Бытия, где сыновья Иакова отправляются покупать зерно в Египет, они везут с собой подарок для правителя; и, несомненно, целью этой практики было добиться защиты, на которую они, как иностранцы и, возможно, как подозреваемые лица, открыто стремящиеся к собственной выгоде, в противном случае не могли бы претендовать. "Соберите в свои сосуды лучшие плоды земли и отнесите мужчине подарок; немного бальзама и немного меда, специй и мирры, орехов и миндаля"[120]. В соответствии с приведенной таким образом практикой, когда Эвней в Седьмой "Илиаде" отправляет свои корабли с Лемноса продавать вино греческой армии в обмен на когда они получают рабов, шкуры и другие товары, он отправляет отдельный запас, χίλια μέτρα, в подарок двум сыновьям Атрея[121]. Агамемнон действительно присутствует в Девятой книге, где Нестор лукаво подшучивает над обширностью запасов вина, которые ему удалось накопить.

Точно так же мы находим, что некие торговцы, плывшие в Схерию, подарили Алкиною, как государю, плененную Эвримедузу. Когда мы сравниваем это с случаем Euneus, подарок, очевидно, был рассмотрением вопроса о разрешении на торговлю[122].

Другой источник дохода, прослеживаемый в "Илиаде", несомненно, приводил к обширной коррупции, которая, должно быть, уже царила во времена Гесиода. Это заключалось в гонорарах за отправление правосудия. В иске, описанном на щите, речь идет о штрафе за убийство. Но совершенно отдельно, как могло бы показаться, от этого штрафа, лежат должным образом "уплаченные в суд" два таланта золота, которые должны быть вручены в конце ему из всех судей, которые должны вынести наиболее справедливое, то есть наиболее одобренное, решение[123]:

τῷδ'ὅμην ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἶποι.

Какими бы праведными ни были первоначальные намерения выплаты в этой форме, легко оценить ее практические тенденции, и любопытно отметить, как рано с течением времени они были реализованы.

С другой стороны, огромные владения короля были даны ему не только в его личное пользование. Помимо общей обязанности проявлять гостеприимство к чужеземцам, его долгом

было щедро принимать у себя самых высокопоставленных лиц из числа своих подданных. Несомненно, это послужило предлогом, позволившим Претендентам попить запасами "Улисса", с самого начала не позорясь абсолютного грабежа. И из "Одиссеи" следует, что Ализерсес[124] и другие друзья королевского дома часто посещали тамошний стол так же часто, как и его враги, хотя, возможно, и не так постоянно.

В Седьмой "Илиаде", после своей битвы с Гектором, Аякс[125] ремонтирует, не приглашая, но как будто это само собой разумеющееся, разделить гостеприимство Агамемнона. В Девятой книге Нестор призывает Агамемнона устроить пир для старейшин в соответствии с его служебным долгом:

ἔοικέ τοι,[126],

добавление,

πολέεσι δ' ἀνάσσεις[127],

а затем прислушаться к их совету. Но, возможно, обычное выполнение этой обязанности лучше всего демонстрируется в случае с Алкиноем, которого Улисс обнаруживает по прибытии развлекающим своих братьев-королей в своем дворце[128].

Я здесь не обратил особого внимания на δῶτιναι, или дань, которую, как обещал Агамемнон, Ахилл должен был получать от семи городов, которые предлагалось передать под его власть. Выражение является[129],

οἱ κέ ἐ δωτίνησι θεὸν ὡς τιμήσουσιν,

καὶ οἱ ὑπὸ σκῆπτρῳ λίπα ῥὰς τελέουσι θέμιστας.

Связь идей в двух строках соответственно, по-видимому, показывает, что δῶτιναι может быть не более чем платой, выплачиваемой суверену за отправление правосудия.

Таким образом, король мог бы получать свои обычные доходы в основном из следующих источников:

В первую и главную очередь, общественный τέμενος, или вотчинная земля.

Затем - его собственные приобретения, такие как ἄρῳς Лаэрта.

В-третьих, сборы за отправление правосудия.

В-четвертых, подарками оплачивались лицензии на торговлю.

Положение Агамемнона.

Положение Агамемнона, величайшего царя героической эпохи, само по себе является слишком заметной чертой греческого государственного устройства того периода, чтобы его можно было игнорировать без особого внимания.

Он, по-видимому, объединил в себе почти все преимущества, которые могли бы привести к вознесению королевской власти до ее *вершины*. Он принадлежал к дому, продвигавшемуся вперед по своему пока еще непрерывному пути накопления величия: он был главой этого дома,

поддерживаемого в Лакедемоне своим любящим братом Менелаем; и двойной титул этих двоих был подкреплён двумя опорами - их браками с Клитемнестрой и Еленой соответственно. Эта семья стояла во главе энергичной расы, которая правила и заслуживала того, чтобы править на греческом полуострове; и которая, по-видимому, произвела такое большое и всестороннее развитие личного характера, какого мир никогда не видел, ни до, ни после, на столь младенческой стадии цивилизации. В армии до Трои были разные цари, но среди всех них род Пелопидов был самым царственным[130]. Агамемнон обладал мужеством, силой и мастерством воина, в какой-то степени превосходящими только величайших героев его народа; и (согласно Гомеру), очевидно, превосходящими Гектора, главного троянского воина, противостоявшего ему. Должно быть, он был все еще в расцвете сил своего возраста; и хотя он не был одарен ни экстраординарными талантами, ни самыми популярными или привлекательными чертами характера, все же он в высокой степени обладал политическим духом, чувством общественной ответственности, способностью отождествлять себя с общим умом и волей. Скупость и нерешительность, по-видимому, были двумя наиболее ошибочными моментами в его творчестве.

Его владения были самыми большими, какие до того времени были известны в этой части мира: включая Грецию, от горы Олимп до Малейского мыса, простираясь до островов на побережье Малой Азии и даже включая остров Кипр. Прежде чем Трой, его войска были πολὺ καὶ πλεῖστοι ὅριστοι (Ил. второй. 577), который должен означать, как его корабли не были значительно более многочисленными, чем у некоторых других контингентов, что они были больших размеров; и он также поставляется Аркадии, кто имел ни одного собственного, (С. 612.) Наконец, он взял на себя сочным яркость Патриаршего возраста, оное звание ἀναξ ἄνδρῶν.

Фукидид не был антикваром, иначе он оставил бы в своей истории больше следов своих исследований в этой области. Но он, по-видимому, тщательно сформировал мнения, которые он высказывает об архаической Греции, в замечательном введении к своему великому труду. Среди них он говорит, что, по его мнению, страх перед Агамемноном действовал сильнее, чем клятва, данная Тиндарею[131], или чем добрая воля, при формировании конфедерации, которая предприняла троянскую войну.

Из Гомера кажется очевидным, что имя и слава Агамемнона были известны далеко за пределами Греции и что репутация человека, связанного с ним, считалась ценной. Ибо Менелай, вернувшись с Фароса в Египет, воздвиг там погребальный курган в свою честь[132], ἵν' ὄψεσθον κλέος εἴη; чего бы он не сделал в стране, жителям которой этот монарх был неизвестен. И снова, когда Циклоп бросает вызов Улиссу, требуя заявить, чему и кому принадлежат он и его команда, он отвечает, что они подданные Агамемнона, сына Атрея[133]:

λαοὶ δ' Ἀτρεΐδῳ Ἀγαμέμνονος εὐχόμεθ' εἶναι,
τοῦ δὲ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἔστιν.

Улисс, очевидно, полагает, что слава великого монарха, усиленная таким успехом, могла обеспечить любого, кто принадлежал к нему, защитой от грозного чудовища, перед которым он стоял.

Основные мотивы войны.

Утверждения Гомера относительно положения Агамемнона и мотивов войны не соответствуют, но не полностью расходятся с мнением, выраженным Фукидидом. О клятве, данной Тиндарею, Гомер ничего не знает, но он рассказывает нам о клятве, которой греческие вожди обязали себя продолжать экспедицию. Прежде чем отправиться в путь, они провели торжественную церемонию в Авлиде; они приносили жертвы, совершали возлияния, они клялись, они давали клятву вручения рук[134], они увидели знамение, и Калхас истолковал его[135]. Но все это только показывает, что Атриды сознавали, насколько грандиозное предприятие они затевали, и как они соответственно желали, чтобы их короли-компаньоны, после того как однажды сели на корабль, были как можно более твердо привержены продвижению вперед. Это не говорит нам, что послужило первоначальным стимулом для вступления в это предприятие. Опять же, не похоже, что греков в целом сильно заботило похищение или даже восстановление Елены. Единственный отрывок, непосредственно касающийся этого вопроса, - это тот, в котором Агамемнон[136] выражает свое мнение, что, если Менелай умрет от раны, армия, вероятно, вернется домой. Похоже, Агамемнон думал, что, без сомнения, тогда они будут с честью освобождены от своей помолвки и что они сразу же воспользуются своей свободой. Надежда на добычу, однако, могла бы многое сделать; и представители расы завоевателей с большой легкостью объединяются для военных целей благодаря смеси старых товарищеских чувств и любви к приключениям, а также в предвкушении добычи. С другой стороны, организация экспедиции, очевидно, была делом нелегким: было отнято много времени; безуспешно предпринимались попытки отправить дружественное посольство в Трою; самые способные принцы, Нестор и Улисс, были привлечены к сотрудничеству. Общий вывод, я думаю, таков: сочетание надежды, симпатии, уважения и страха, но, безусловно, очень сильное личное чувство, какими бы ни были его точные составляющие, по отношению к дому Пелопидов, должно было в значительной степени повлиять на это дело. И именно в этом духе мы должны толковать различные заявления Гомера о тех, кто пришел на войну, как ухаживающие за Атридами и действующие ради их чести, а именно:

χάριν Ἀτρείδῃσι φέροντες. Od. v. 307.

Ἀγαμέμνονι ἧρα φέροντες. Il. xiv. 132.

τιμὴν ἄρνύμενοι Μενελάωσσι τε, κυνῶπα. Il. i. 159.

До Трои другие всегда считали Агамемнона ответственным за экспедицию, и очевидно, что он сам так считает. Использование Улиссом своего скипетра в великой попытке остановить поток отступающей толпы в высшей степени свидетельствует о влиянии, принадлежащем его положению; и когда Улисс спорит с вождями, он обосновывает свою позицию важностью знания всего, что на уме у Агамемнона, в то же время он настаивает на его царской власти и на высшей власти небес как на ее основе.

Его положение, однако, не ставило его выше влияния ревности и страха: ибо он был удовлетворен, когда увидел, что Ахилл и Улисс, первый из его вождей, расходятся во мнениях[137]. А его вес и авторитет зависели в своей эффективности от разума и свободной воли греков. Агамемнон отнимает Брисеиду у Ахиллеса путем применения силы; но он нигде не стремится двигать армию или отдельных лиц, ее составляющих, по этому принципу; и продление службы, по-видимому, не ставилось вне компетенции отдельных военачальников и войск. Ахилл не только заявляет, что пойдет, но и говорит, что посоветует другим пойти с ним[138], и просит Феникса остаться в его палатке для этой цели. Уважение, оказываемое

Руководителю, - это уважение в меру; и мера заключается в его большей ответственности, в его большей доле в войне[139]. Его функции по отношению к принимающей стороне заключаются в том, чтобы думать за нее и давать советы на совете, а также стимулировать ее увещеваниями и примером на местах. Если мы можем положиться на Гомера, то по существу, в том, что касается отношений между главнокомандующим и остальной частью корпуса, это была свободная военная организация.

Личный характер Агамемнона.

Гомеровский Агамемнон, по-видимому, не предназначался Поэтом для гениального человека. Но именно по этой причине доминирование политических идей в его сознании более примечательно. По политическим соображениям он готов отказаться от Хрисеиды[140]. По политическим соображениям он подавляет свою алчность и убивает троянцев вместо того, чтобы брать за них выкуп[141]. Он глубоко чувствует ответственность своего положения, и забота прогоняет его сон. Приятной чертой его характера является привязанность к Менелаю, и в этом, как и во многих других отношениях, он напоминает гомеровского Юпитера, чей эгоизм нигде не смягчается, кроме как отцовской любовью.

Далее, Агамемнон, хотя и не гений, практикует утонченность. Боюсь, что в своей любви к этому искусству он напоминает племя более поздних политиков. Он похож на них и в том, что перехитрил самого себя с помощью этого: он 'попался на свою собственную петарду'. По-видимому, это, по крайней мере частично, объясняет его неудачный план во Второй "Илиаде" подготовить народ к нападению на Трою, посоветовав им немедленно возвращаться домой. Крах его плана - это, так сказать, первые плоды возмездия за егоττῇ в Первой книге. -

Поскольку, в целом, в прерогативах гомеровского царя нет идеи эгоизма, ясно также, что, за исключением действий против простых преступников, нет общей идеи принуждения. Гомеровский царь царствует со свободным согласием его подданных—согласия индезавершить, но реальна, и в обеих точках, так похожую на его царскую власть. Отношения между правителем и управляемыми основаны на законах и условиях нашей природы. Рожденный в состоянии зависимости, человек, когда он достигает свободы и способности к действию, оказывается должником как своих родителей, так и общества в целом; и он справедливо обязан погасить свой долг, оказав взамен услугу. У Гомера мы находим различные указания на это, в частности, в отношении родителей. Те, кто умирают молодыми, подобно Симозисиусу от руки Аякса[142], умирают до того, как они возместят своим родителям расходы, то есть заботу, о своем образовании (θρεπτήρα). В самом замечательном и характерном отрывке. Феникс описывает, как, когда он был молод, какое-то божество сдерживало его гнев против отца, и показывает позор, который сопровождал бы лишение того жизни в стране, где добровольное убийство, в целом, считалось скорее несчастьем, чем преступлением.[143]:

ὅς ῥ' ἐνὶ θυμῷ

δῆμον θῆκε φάτιν, καὶ ὀνειδέα πόλλ' ἀνθρώπων,

ὥς μὴ πατροφόνοσ μετ' Ἀχαιοῖ σιν καλεοίμην.

Взаимные обязательства отца и сына прекрасно показаны Андромахой в ее плаче по Гектору, когда она говорит о своем ребенке[144]:

οὔτε σὺ τοῦτω

ἔσσεαι, Ἴκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὔτος.

Отношение суверена и свободного подданного.

Что касается отношения между субъектом и суверенной властью, то оно, по-видимому, повсеместно считается само собой разумеющимся. В двадцать четвертой "Одиссее" целью тех, кто выступает против Улисса, является не свержение власти, а месть за смерть своих сыновей и братьев. Но у Гомера нигде не встречается идея о том, что в этих отношениях могло быть замешано различие интересов или даже мнений между классами, между правителями и управляемыми. Король или вождь был возвышен, чтобы подавать высокий пример, вести общие советы к общим целям, вести публичные и обыденные сношения с небесами, разрешать раздоры отдельных людей, защищать границы территории от вторжения. Идея о том, что сообщество у себя дома, или любой другой регулярно существующий в нем класс, может требовать репрессий или ограничений со стороны правительства, была, к счастью, неизвестна гомеровским временам.

Эти занятия, действительно, были немногочисленными и простыми. Прежде всего, это был король, а вокруг него - его семья и его κήρυκες, сержанты или герольды, которые были его непосредственными и, по-видимому, единственными непосредственными агентами. Они передавали его приказы; они помогали ему на Собраниях, в жертвоприношениях и на пирах. Они, по-видимому, единственные исполнительные должностные лица, которые встречаются у Гомера. С ними был Бард, по-видимому, также незаменимый член королевской семьи. Обе были признаны среди устоявшихся профессий.

Рядом с королями и другими суверенами мы должны поставить главных собственников страны. В "Одиссее" мы находим представителей аристократии, имеющих свои собственные поместья и функции и поддерживающих роль γέροντες, или лидеров в Собрании. Судебная должность, как мы видели на Щите и в других местах, находилась в их руках, вероятно, путем делегирования полномочий. Но, по-видимому, различие между ними и суверенной семьей было довольно широким, поскольку почти в каждом случае мы, по-видимому, обнаруживаем, что принц заключает брак за пределами своих собственных границ. Лаэрт привозит Антиклею[145] из окрестностей Парнаса; сеус женится на Ариадне с Крита; Агамемнон и Менелай, принадлежащие Микенам, женаты на дочерях царя Спарты; из двух дочерей Икария Улисс на Итаке женился на Пенелопе, а Эвмел на Фера женился на Ифтиме (Od. iv. 797); по крайней мере, один из них, а возможно, и оба, должны были жениться на значительном расстоянии; Менелай посылает свою прекрасную дочь Гермению в жены Неоптолему в Фессалию; и единственным примером, даже, по-видимому, в противоположном смысле, кажется случай с его сыном Мегапентом, который женился на спартанской девушке, дочери Алектора. Но тогда Мегапентес не был законнорожденным; он родился от матери-рабыни, и поэтому он не был принцем[146]. Все эти факты, по-видимому, показывают нам, что королевские дома образовали между собой сеть, распространившуюся по всей Греции и державшуюся довольно обособленно от аристократии: обстоятельство, которое, возможно, в какой-то степени помогает объяснить удивительное терпение и постоянство Пенелопы.

Другие классы общества.

Рядом с аристократами, в-третьих, мы можем отнести то, что сейчас назвали бы профессиями: заметив, однако, что во времена Гомера как полезные искусства, так и изящные имели общественное достоинство по сравнению с богатством и положением, которое первые давно утратили и которое более поздние сохранили не в такой полной мере, как, возможно, можно было бы пожелать, не только ради их собственной выгоды, но и для обеспечения должного уважения к труду и гуманизирующего эффекта этого вида труда, в частности, для общества в целом. Я привожу доказательство их оценки в "героическом веке", во-первых, из того, как они объединены под общим обозначением *δημιουργοί*, и расположены в смешанном порядке, предпочтение отдается только более выразительному описанию барда[147]:

τῶν, οἱ δημιουργοὶ ἔασιν,
μάντιν, ἧ ἢ ἡτῆρα κακῶν, ἧ τέκτονα δοῦρων,
ἧ καὶ θέσπιν ἀοιδὸν, ὃ κεν τέρπῃσιν ἀείδων;

Здесь я использую *τέκτονα δοῦρων* для обозначения всего класса ремесленников, многие из которых названы у Гомера; в такой бедной стране, как Итака, которая во многом зависит от использования лодок для рыбной ловли и коммуникаций, плотники, естественно, могли бы представлять целое.

И далее, из того, как эти искусства практиковались принцами, кажется очевидным, что в стремлении к ним не было ничего несовместимого с высоким положением. Врачи, или, скорее, хирурги греческой армии, Подалейрий и Махаон, сами были принцами и командирами контингента: и даже Парис, который был не из тех, кто унижает себя занятиями ниже своего положения, похоже, принял главное участие в возведении своего собственного дворца[148]:

τά ῥ' αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν, οἱ τότε ἄριστοι
ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες.

Опять же, бард Агамемнона был назначен квази-опекуном[149] Клитемнестре в отсутствие ее мужа: и Фемию, барду Улисса[150], отправился на Собрание Двадцать четвертой Одиссеи, чтобы предотвратить какие-либо беспорядки, вместе с глашатаем Медоном, который обратился к народу соответствующим образом. Герольды, или сержанты, также признаны как *δημιουργοί*[151]. Опять же, Алитерсес, будучи *μάντις* или провидцем острова, и, по-видимому, единственным, принимает участие в дебатах как во Второй, так и в Двадцать четвертой книгах.

Таким образом, профессий на данный момент пять:

1. Провидцы.
2. Хирурги.
3. Ремесленники.
4. Барды.
5. Герольды.

Мы можем отметить отсутствие священников и торговцев. Не то чтобы торговцы были неизвестны: мы находим, что Эвриал Феакиец упоминает их как πρῆκτῆρες, но их бизнес считался грязным; он слишком напоминал бизнес похитителя или мошенника, и именно упрек в кажущейся принадлежности к этому классу сильно уязвил Улисса[152]. И даже купец Ментес, чей облик принял Паллас, принадлежал к тафиянам, племени пиратов[153]. Пока еще, по-видимому, ни жреческий орден не был полностью перенят у пеласгов, ни класс торговцев, сформированный в подражание финикийцам.

Рабы в эпоху Гомера.

После названных нами классов идет большая масса населения, которая обрабатывает землю и ухаживает за живым скотом для себя или своих работодателей, если они свободны, и для своих господ, если они рабы. Рыбак тоже отчетливо замечен[154] в Итаке. Мистер Грот относит свободных земледельцев к ремесленникам[155] и отделяет их обоих от θῆτες, или наемных рабочих, и рабов. Однако мне кажется, что мы должны отличать ремесленников от простых земледельцев, поскольку они занимали более высокое положение. С другой стороны, я не вижу у Гомера ни одного отрывка, который ясно ставил бы земледельцев как класс в положение, превосходящее положение наемных слуг или даже, возможно, рабов. Свидетельства, содержащиеся в стихотворениях, неясны относительно существования или масштабов крестьянской собственности. Мы должны остерегаться смешивать те представления о полной продаже в целях торговли, поддерживаемой рабством, которые дает наш опыт, с его ранней формой, при которой количество рабов, по-видимому, было небольшим, а их ряды пополнялись главным образом войной при незначительной и случайной помощи в виде похищения людей. В те времена ответственность за плен, по-видимому, одинаково сказывалась на всех людях, независимо от всех различий, будь то в звании или крови. Сыновья Приама были проданы в рабство, как и все остальные: единственная разница заключалась в том, что пропорционально богатству родителей было больше шансов на выкуп. Казалось бы, рабы Гомера были настоящими домашними животными, даже если и не находились в помещении. Женщины выполняли внутренние и хозяйственные работы: за исключением того, что несколько мужчин оказывали строго личные услуги своим хозяевам, как δρῶτῆρες и как резчики по дереву[156] (θεράποντε δαίμονε δατρουνάων). Но мужчины-рабы в большей степени были заняты на улице, ухаживая за стадами, полями и виноградниками. Таким образом, рабы, по-видимому, находились в ином положении, чем свободные люди, поскольку они, по-видимому, были собраны в качестве слуг и сопровождающих вокруг богатых. Однако из случая с Эвмеем, у которого был собственный раб, Месаулиос[157], следует, что они могли владеть собственностью для себя. Опять же, не только Эвмей, но и в двадцать четвертой "Одиссее" Долий и его шестеро сыновей садятся за стол вместе с Улиссом и нежно пожимают ему руки. Они тоже носят оружие; и это не могло быть очень странным, поскольку Гомер описывает вооружение сыновей без замечаний, в то время как называет и отца, и Лаэрта из-за их преклонного возраста[158]. Моральное разложение рабов очень сильно замечено самим Евмеем[159], хотя и не применительно к нему самому. У нас, однако, нет оснований предполагать, что их внешнее положение в чем-либо уступало положению свободного трудового населения, за исключением того, что мы должны предположить, что они не принимали участия в собраниях или в войне. Когда Ахилл[160] в адских областях сравнивает наивысшее состояние там с низшим на земле, он выбирает не раба, а наемного работника (θητεύμεν - его выражение) как тип депрессивного состояния на земле. Состояние наемного слуги, вероятно, напоминало состояние раба в том, что он зависел от других, и было ниже его с

точки зрения безопасности. Это тем более вероятно, что суть перехода сводится к бедности работодателя,

ἄνδρῖ παρ' ἀκλήρῳ ὥμῃ βιοτὸς πολὺς εἴη,

как составляющий несчастье слуги.

Действительно, если мы рассмотрим этот вопрос немного подробнее, то, возможно, увидим больше оснований полагать, что выражение *ἡγεύμεν* было выбрано не случайно. Что мы подразумеваем под наемным слугой в тот период общественного развития, когда денег не существовало? Мы можем иметь в виду только того, кому платили едой, одеждой и жильем, как рабу, но кто не был, подобно рабу, постоянно привязан к своему хозяину или поместью своего хозяина. Разница между ними, таким образом, заключалась бы в отсутствии постоянной связи: разница гораздо больше против *θῆς*, чем в его пользу.

Таким образом, положение рабов, вероятно, было аналогично положению домашней прислуги у нас, которая практически лишена возможности активно пользоваться политическими привилегиями, но во многих отношениях находится в лучшем положении, чем масса тех, кто зависит от физического труда. Несомненно, из положения вещей, при котором рабы были практически слугами богатых, вытекало, что хозяева, или *νακτεῖς* [161], считались составляющими богатый класс общества.

Обеспечение военной службы.

Я остановлюсь на мгновение, чтобы заметить, что приведенный здесь взгляд на сравнительно ограниченную численность и сферу деятельности рабов в героической Греции может послужить в некоторой степени ответом на вопрос, почему мы не слышим о них в армии Илиады? Как люди одинаковой крови с самими греками, они, возможно, были бы опасными товарищами по оружию. Как у лиц, назначенных ответственными за собственность господина, у них был бы сильный мотив оставить их на попечение. Очень трудно судить, насколько государство героической Греции имело какое-либо сходство с феодальной системой позднего средневековья и не представляло ли оно более существенного соответствия с аллодиальной системой более раннего периода. Перед нами большое количество независимых собственников, каждый из которых в силу обычая, вероятно, обязан оказывать личные услуги, но у нас нет ничего, что напоминало бы обязательство привлекать к работе такое количество слуг в зависимости от размера поместья. И соответственно, в "Илиаде" мы не находим много просто личных слуг. Черную работу в палатке Ахилла выполняют пленницы или Патрокл лично. После смерти Патрокла в его палатке находились только Автомедон, его колесничий, и еще один воин. У Агамемнона не было других слуг мужского пола, о которых мы слышим, кроме двух его глашатаев-сержантов, Талтибия и Еврибата, которые выполняли двойную функцию [162]:

τῷ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρυνῶθεράποντε.

Из стихотворений мы можем сделать вывод, что каждая независимая семья предоставила одного или нескольких своих членов, выбранных по жребью, для участия в экспедиции [163]. Таково заявление псевдо-Мирмидонянина Приаму: и снова, в "Одиссее" мы находим, что Эгиптий [164] Итакийский правитель отправил одного сына в Трою, а троих оставил дома. Вывод

подкрепляется^[165] отрицательными свидетельствами Двадцать четвертой Одиссеи. Там^[166] Раб Долий появляется не менее чем с шестью сыновьями: но не упоминается ни о ком из членов его семьи, кто сопровождал Улисса в Трою, хотя, если бы такой человек был, упоминание о нем здесь, в присутствии только что вернувшегося Улисса, было бы наиболее уместным. Действительно, эти шестеро представлены как "сыновья" Долия, что само по себе почти исключает мысль о том, что он посылал на войну кого-либо из своих сыновей.

Опять же, мы видим, что вся масса солдат присутствовала на собраниях, и короли и вожди обращались к ним в выражениях, которые, казалось, подразумевали братство. Это "друзья, герои Данаана, спутники Марса"^[167], и трудно предположить, что такие слова могли быть адресованы лицам, содержащимся в рабстве, какими бы мягкими, фамильярными или благосклонными они ни были. Употребление этих терминов может натолкнуть на сравнение с нашими собственными способами публичных выступлений, в соответствии с которыми обычно использовалось бы слово 'Джентльмены', хотя аудитория должна была бы состоять по большей части из представителей более скромного класса. Но все эти слова являются столь многочисленными доказательствами той политической свободы, которая пронизывает общество и дух его институтов в целом и которая требует такого рода почтения от великих и богатых на публичных мероприятиях.

То, что рабство считалось отвратительным, было естественным и полезным признаком состояния политического общества. Но это было отвратительно из-за своего воздействия на разум, а не потому, что влекло за собой жестокость или угнетение. Я думаю, в стихотворениях нет ни одного отрывка, который в какой-либо степени передавал бы впечатление либо о перенесенных лишениях, либо о негодовании, испытываемом кем-либо из рабов того периода.

Как к крестьянской собственности.

Также, как уже было сказано, у Гомера нет ничего такого, что ясно указывало бы нам на крестьянскую собственность или давало бы нам право положительно утверждать, что земля в значительной степени обрабатывалась мелкими собственниками, каждый из которых действовал самостоятельно. С одной стороны, как уже было отмечено, мы не находим большого количества личных слуг у великих людей; но, с другой стороны, Гомер не рисует нам ни единого образа независимого крестьянина. В сравнениях, в легендах, на Щите Ахиллеса, на Итаке мы много слышим о больших стадах, о крупных собственниках, об их полях для сбора урожая и виноградниках, но ничего о мелком свободном человеке, владеющем землей, достаточной для его семьи, и не более. Сельский труд, который он показывает нам в действии, организован в больших масштабах.

Вопрос, каково, в конце концов, было действительное положение греческого народа в эпоху *Троики*, таким образом, остается в глубокой неизвестности. Это действительно одновременно главный момент, на который история, хроника и поэма обычно обращают меньше всего внимания. В целом казалось бы наиболее разумным, воздерживаясь от слишком самоуверенных утверждений, предположить,

1. Что при соблюдении права первородства и распоряжения земельной собственностью общество было организовано аристократически.

2. Что эта аристократическая организация, основанная на военной оккупации, охватывала довольно широкий круг крупных и мелких собственников.
3. Что эти собственники, благодаря превосходству в богатстве, энергии и влиянии, руководили остальной частью населения.
4. Что, возможно, существовал в значительном количестве класс крестьян-собственников, не лишенный политических привилегий и не освобожденный от военной службы, но все же не объединенный при обычных обстоятельствах какой-либо общностью интересов или лишений; ведомый, не без желания, доминирующей ахейской расой; и никоим образом не образующий социальный элемент, представляющий такой интерес или привлекательность, по мнению Поэта, чтобы претендовать на заметное место или яркое изображение, которого он, безусловно, не получил на его полотнах.
5. Что обработка больших поместий производилась наемными рабочими и рабами, между которыми в тот период нельзя было провести очень широкой границы различия.

В рамки данной работы не входит подробное рассмотрение "политической экономии" гомеровской эпохи. Но поскольку оно само по себе является важной чертой государственного устройства, его нельзя полностью упускать из виду; и, по-видимому, здесь самое подходящее место для его упоминания.

Политическая экономия эпохи Гомера.

В последние годы ведутся споры и исследования относительно названия, данного важной науке, которая занимается созданием и распределением богатства. Выражение 'политическая экономия', вошедшее в обиход в течение длительного времени, не может быть защищено по существу. Вместо него было придумано название "Хрематистика"; точное, но, возможно, довольно сухое определение, которое, в отличие от имен πολιτικῆ и ἡθικῆ, и как исключительный титул, который оно призвано заменить, не принимает во внимание человека, который является реальным предметом науки. Гомер заранее снабдил нас словом, которое, как мне кажется, сокращает словосочетание "экономия" именно в том месте, где требуется сокращение. Улисс из "Четырнадцатой Одиссеи" в одном из своих невероятных рассказов о себе как о критянине заявляет[168],

ἔργον δὲ μοι οὐ φίλον ἔσκεν

οὐδ' οἱ κωφελίη, ἥτε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα.

И я полагаю, что, если бы еще не было слишком поздно сменить название, "политическая философия" точно выражает идею науки, которая, имея своим источником хорошее ведение домашнего хозяйства, занимается, когда достигает своего расширения и зрелости, "Богатством наций".

Неудивительно, что у греков героической эпохи было название для бизнеса по обогащению; ибо это было то, к чему эллины, так же как и пеласги, по-видимому, относились благосклонно. Из этого мы находим различные приметы. Хотя дух приобретательства еще не достиг той точки, на которой он становится вредным для общего развития человека, мы, по-видимому, имеем в выдающемся доме Пелопидов по крайней мере один изолированный пример его избытка. У нас есть дружеское свидетельство Нестора, а также яростная брань Ахиллеса[169], чтобы показать,

что в Агамемноне это было слабостью: и он отличается на войне от других великих вождей[170], по его привычке немедленно раздевать тех, кого он убил. Но и Улисс, которому мы можем быть уверены, что Гомер не имел в виду в этом вопросе вины, был, согласно Евмею[171], был богаче любой двадцатки; и, сделав все возможные дружеские преувеличения, мы не можем сомневаться, что Гомер хотел, чтобы мы поняли, что при богатстве тех дней он был очень богат. Время от времени финикийцы заселяли Грецию и готовая покорность эллинов искусству мореплавания являются признаками того же эффекта. Идея богатства снова глубоко заложена в имени ὄλβος, которое, по-видимому, означает данное богом счастье: а μάκαρ - это общий эпитет богов, богатого и счастливого человека[172]. Не то чтобы греки тех времен были в большей степени, чем мы, рабами богатства, но в своей простоте они высказали здесь, как и в других вопросах, то, что мы держим в тени; и таким образом они больше демонстрировали особые склонности, хотя на самом деле у них их было меньше.

Но даже больше, чем по отдельным признакам, я оцениваю способность гомеровских греков извлекать информацию из положения вещей в поэмах. Здесь мы наблюдаем замечательную умеренность и даже отвращение к излишеству во всех чувственных удовольствиях в сочетании с обладанием не только грубым изобилием мяса, кукурузы и вина, но и принципом украшения, в значительной степени, хотя и неискусственным образом, установленным в их больших домах и садах; со значительными запасами драгоценных, а также полезных металлов и изысканной одежды; и с обладанием довольно богатыми произведениями искусства, как из металла, так и из вышивки. Эта картина, по-видимому, относится к этапу, хотя и очень раннему, процесса быстрого продвижения к материальному богатству и процветанию. Богатство и простота манер, взятые вместе, по-видимому, подразумевают, что у них еще не было времени быть развращенными им, и, следовательно, благодаря своей энергии и благоразумию они приобрели его быстро и с легкостью.

Драгоценные металлы не являются мерой ценности.

Однако коммерческие отношения той эпохи по-прежнему были бартерными. Вряд ли может быть более сильный признак грубости торговых отношений, чем гомеровское употребление слов ἀρεῖ ος. Это означает как обязательство выплачивать регулярно заключаемый долг за полученную ценность (Od. iii. 367), так и ответственность за возмездие после акта грабежа (Il. xi. 686, 8). Обладание драгоценными металлами, вероятно, было доступно лишь очень немногим. И то, и другое, а также железо, которое, по-видимому, стояло рядом с ними по ценности, служили призами на Играх, в которых, вообще говоря, принимали участие только короли и вожди. Было сделано определенное приближение к использованию их в качестве денег, то есть в качестве меры стоимости других товаров. Поскольку они были разделены на фиксированные количества, эти количества, по всей вероятности, были удостоверены каким-либо знаком или штампом на них. Мы также никогда не находим, чтобы простое необработанное золото и серебро оценивалось в какой-либо другой товар. Герб Главка действительно κροῖστος α[173], и они χρύσεα. Но это означает позолоченный или украшенный золотом; предмет, сделанный из золота, у Гомера был бы παύχρυσος. Таковы σσανοί, золотые капли или кисточки Эгиса Минервы, каждая из которых стоит сотни быков. Таким образом, золото при изготовлении, даже если не в массовом виде, имело свою стоимость, выраженную в волах[174].

Возможно, что золото и серебро, в ограниченной степени, использовались в качестве стандарта или средства обмена. Выплата гонорара судье в Восемнадцатой "Илиаде" предполагает, хотя и не требует этого абсолютно. Подобно письму в эпоху Гомера, подобно книгопечатанию, когда оно выполнялось по шаблону у древних, эта практика, возможно, существовала по существу, но в форме и масштабе, которые лишали ее важности, ограничивая ее масштабы.

Волы в какой-то степени являются мерой стоимости.

Гербы Главка и Диомеда, а также капли Эгиса Минервы, как мы видели, оцениваются в быках. Треножник, который был первым призом для борцов из Двадцать третьей книги, был оценен в двенадцать быков: пленница, занявшая второе место по мастерству, стоила четырех[175].

Но Лаэрт отдал за Эвриклею не менее двадцати волов, или, скорее, стоимость двадцати волов (ἐεικοσάβοια δ' ἔδωκεν, Od. i. 431). Нам нет необходимости приписывать разницу в дороговизне высшим достоинствам Эвриклеи; но мы можем предположить, что объяснение заключается в том, что Лаэрт в мирное время заплатил за Эвриклею высокую цену на импортном рынке, тогда как у греков, находившихся в состоянии войны перед Троей, вероятно, было больше пленников, чем они могли прокормить. Во всяком случае, они производились в стране-производителе, и цена, соответственно, была низкой.

Когда мы находим, что рабыня оценивалась в четыре вола, мы не можем сразу судить из такого утверждения, были ли волы мерой ценности, или же смысл просто заключался в том, что мужчина, которому нужна такая рабыня, отдаст за нее четырех волов. Но случай с Эвриклеей проясняет этот момент. Ибо то, что дал Лаэрт, было не двадцатью волами, а чем-то равным им, чем-то взамен того, что их обычно можно было получить. И снова Ликаон принес Ахиллесу сто быков, стоимость ста быков[176]. Таким образом, в данном случае волы используются как средство выражения ценности.

В отрывке из "Одиссеи" мы обнаруживаем, что Женихи, когда они пытаются договориться с Улиссом в его гневе, обещают устами Эвримаха следующее[177];

τιμὴν ἀμφὶς ὅσους ἐεικοσάβοιον ἔκαστος,

χαλκὸν τε χρυσὸν τ' ἀποδώσομεν, εἰ σόκε σὸν κῆρ

ἰανθῆ.

Это было представлено как двойное обязательство по оплате быков и металлов. Исходя из конструкции отрывка, мне кажется, что это правильнее было бы понимать как заявление о том, что каждый из них принесет ему компенсацию стоимостью в двадцать волов золотом и медью. Если бы Эвримах хотел выразить восстановление поголовья Улисса, маловероятно, что он говорил бы только о быках, особенно на Итаке, где паслись козы и свиньи.

В стихотворениях есть еще один отрывок, который, по-видимому, содержит аналогичное свидетельство на один пункт дальше. Когда Эвней посылает корабли с вином в греческий лагерь, греки платят ему за вино: одни медью, другие железом, третьи шкурами, четвертые рабами, четвертые быками. Рабы, как мы видели, вероятно, были бы лишними в лагере. То же самое было бы в высшей степени справедливо в отношении шкур, поскольку их в избытке поставляли бы животные, которых постоянно забивают для пропитания армии. Даже что

касается металлов, нам не нужно удивляться такому переходу, ибо они были приобретены в основном за счет добычи и не были сильно нужны армии, поскольку износ едва ли составлял элемент в вопросе снабжения в те времена. Но, безусловно, еще более поразительно, что кто-то из греков продал быков экипажам "Евнея". Ни в ту эпоху, ни в нынешнюю ни один торговец не стал бы уводить быков из обширного и многолюдного лагеря, где на них наверняка был бы самый высокий спрос. Поэтому я предполагаю, что смысл заключается в следующем; что те конкретные греки, у которых оказалось больше быков, чем им хотелось в данный момент, продали их людям на кораблях; и что люди на кораблях взяли этих быков в обмен на вино, не намереваясь уводить их, а продать их снова, возможно, за шкуры или рабов на месте, поскольку живой скот наверняка нашел бы готовый и выгодный рынок сбыта среди других греков армии.

Таким образом, в ту эпоху волю, по-видимому, были ближе, чем любой другой товар, к выполнению функций, которые в настоящее время выполняют драгоценные металлы: поскольку они оба использовались для выражения стоимости и, вероятно, приобретались не только для использования, но и с целью перепродажи. Таким образом, свидетельства Гомера относительно них согласуются со свидетельством Эсхила в "Агамемноне", который, по-видимому, представляет быка как первый знак, запечатленный на деньгах[178].

Сами драгоценные металлы широко использовались как для личных украшений, так и для искусства. Это, без сомнения, было их надлежащим и установившимся применением; и когда они хранятся, их хранят вместе с другими металлами не того же класса и, по всей вероятности, с целью производства.

Относительный дефицит металлов.

Из поэм Гомера становится ясно, что серебро было более редким, чем золото. Он используется, если вообще используется, в меньших количествах: и гораздо реже фигурирует в отчетах о накопленном богатстве. Подобный вывод, возможно, можно сделать из книг Моисея; и он соответствует предположениям, которые мы должны обоснованно сформулировать из того факта, что золото встречается в самородном состоянии и, даже будучи смешанным с другими материалами, более пригодно для использования. Широкое применение серебра появляется только тогда, когда общество становится более развитым и когда использование денег становится более привычным и мелким. Платежи драгоценными металлами в несколько больших масштабах предшествуют платежам по более мелким операциям. Однако из большей редкости серебра мы не должны делать вывод, что оно было более ценным, чем золото: ценность зависела не только от сравнительных количеств, но и от сложного соотношения количеств по сравнению со спросом. Однако из отрывка в описании погребальных игр следует, что золото, если не серебро, тогда ценилось гораздо меньше, чем сейчас. Ибо, в то время как серебряная чаша была первым призом пешего забега, большой и жирный бык (возможно, стоивший трех обычных) был вторым, а полтора таланта золота были только третьим[179].

Однако положение железа относительно других металлов в героическую эпоху сильно отличалось от нынешнего: и, вероятно, его большая редкость, как и у серебра, объяснялась трудностью приведения металла в состояние, пригодное для использования; чего легче было добиться с помощью меди, олова или *κίανος*, в каком бы смысле это ни толковалось. Железо, однако, по-видимому, было более ценным, чем эти металлы; значительно более ценным, в частности, чем медь, которая сейчас стоит в пятнадцать-двадцать раз дороже железа. Масса сырого железа добывается на погребальных играх в качестве приза; а железо, превращенное в

наконечники топоров, образует другой приз. Ни один другой металл, стоящий ниже золота и серебра, никогда не используется подобным образом в непроизводственном состоянии.—

Давайте теперь вкратце рассмотрим государственное устройство и организацию армии.

Мы воспринимаем организацию греческих общин в двоякой форме: и как общину, собственно так называемую, в мирное время, картина, представленная "Одиссеей"; и точно так же как армию, согласно описаниям "Илиады".

Режим управления армией.

Различия заслуживают внимания, но, похоже, они не затрагивают фундаментальных принципов. Агамемнон управлял армией с помощью обычных политических инструментов, а не правил военной дисциплины. Аристотель^[180] цитирует из "Илиады" своего времени и места, и, как исходящие из уст Агамемнона, слова:

πᾶρ ὅρ ἐμοὶ θάνατος·

и Гроте основывает эту цитату на замечании, что 'александрийские критики стерли многие следы старых манер'. Но действительно ли это были следы старых манер? Сохранился ли сейчас хоть один отрывок из "Илиады", хоть одна мысль, хоть одно слово, которые хоть сколько-нибудь соответствуют идее о том, что Агамемнон имел в своих руках, в виде определенной прерогативы, право на смертную казнь? Аристотель, безусловно, принимает этот отрывок и противопоставляет эту военную мощь Агамемнона ограничениям, наложенным на него в мирной сфере ὅρῃ; но я ни в коем случае не уверен, что английские институты не предоставляют нам гораздо более убедительных аналогий для понимания реального политического духа гомеровских поэм, чем те, которые даже Аристотель мог бы почерпнуть в свое время из ориентализирующего правительства Александра. Однако я подвергаю сомнению не столько сам отрывок, сколько его толкование. Прерогативы греческих королей были основаны на общем долге и чувстве, а не на законе. Когда Улисс избивал Терсита, это было не во исполнение определенного права, а повинувшись велению общего благоразумия, которое в случае крайней необходимости одобрялось общим разумом. Несомненно, если бы Агамемнон поймал беглеца из рядов, он мог бы убить его; но предполагается ли, что Улисс не мог этого сделать? Каков был смысл совета Нестора поставить трусов в середину рядов, но чтобы их товарищи по окружению пронзили их копьями, если они попытаются бежать? Ни в одной из гомеровских поэм нет уголовного правосудия в собственном смысле этого слова, хотя есть гражданское правосудие; обиды, причиненные человеком человеку, улаживаются или возмещаются последней формой исправления, но идеи, на которых зиждется первая, были неизвестны: царского мира не существует, как и королевской дороги: к общей власти те, кто ее несет, при случае добавляются санкции в виде применения силы, согласно подсказкам их здравого смысла. Если бы это было иначе, Улисс никогда бы не обрек несчастных женщин в своем доме, которые не могли, подобно своим поклонникам, быть политически значимыми, на смерть, что дало ему полное право сказать вместе с Агамемноном из приведенной цитаты: πᾶρ ὅρ ἐμοὶ θάνατος. Всеобщее почтение к рангу и положению, гарантия публичности и влияние убеждения являются обычными и достаточными инструментами для управления армией, точно

так же, как они управляли гражданскими обществами Греции. На Собрании армии происходит ссора с Ахиллесом: на Собрании возникает бурный порыв вернуться домой: на Собрании, когда этот порыв был сдержан, намеренно принимается решение посмотреть, что они могут сделать, сражаясь: на Собрании решено просить перемирия для похорон и возводить вал: на ночном Собрании назначается заседание Совета, который отправляет Ахиллесу неудачную миссию. Все важные меры, затрагивающие весь организм, как мы увидим, принимаются на Собрании: и, наконец, именно здесь Агамемнон открыто признает свою вину и сокрушается о ней, и примирение с Ахиллесом утверждается.

Таким образом, мы можем привести, так сказать, государственное устройство греческой армии к общему представлению об итаканской ἀγορή; но сначала будет полезно обрисовать ее военную организацию.

Его военный состав.

Рядом с βασιλῆες пришел ἔξοχοι ἄνδρες (Ил. второй. 188) или ἄριστοι, греческой армии. Они довольно четко отличаются от царей в речи Ахилла (ix. 334); когда, после описания скупости Агамемнона по отношению к добыче, он продолжает говорить:

ἄλλα δ' ἄριστέςσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν·

что, как я понимаю, означает, что он раздал этим двум классам разные призы, то есть пропорционально их положению.

Язык Каталога явно отмечает то же различие другими словами. В начале Поэт приглашает Муз сказать ему (ст. 487):

οἱ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν,

и в конце он говорит (версия 760):

οὗτοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν.

Эти два стиха представляется очевидным, переписка друг с другом: и если это так, мы можем с большей уверенностью опираться на язык, как тщательно подобраны, чтобы описать два класса, первый королей как κοίρανοι (ср. МФ. Ил. второй. 204, 207), и, во-вторых, ἄριστοι как ἡγεμόνες.

Этот класс, вероятно, состоял,

Во-первых, о командирах второстепенных и менее значительных контингентов.

Во-вторых, лейтенантов или тех, кто назван в Каталоге как командующий низшими звеньями при великих лидерах (таких как Мерионес, Стенелус и Эвриал).

Но подῡγεμόνες Каталога, по-видимому, было несколько младших офицеров, командовавших более мелкими подразделениями армии. Казалось бы, они были описаны общим названием ἡγεμόνες. Когда Нестор (ii. 362) советует распределять армию в соответствии с φύλα и φρήτραι, это, по его словам, будет иметь то преимущество, что покажет не только, кто из солдат, но и

какие из офицеров были хорошими, а какие плохими. Вероятно, поэтому при каждом φύλον были офицеры, если даже не при них, то при каждом φρήτρη.

Из греков девять названы в Il. xi. 301-3, которые были убиты Гектором сразу, прежде чем он оказался среди рядовых (πληθύς). Из этих девяти никто не упоминается ни в какой другой части поэмы; и поскольку в то же время они прямо названы ὑπεμόνες, мы можем смело рассматривать их как примеры класса младших офицеров. Судя по их именам, имеющим ярко выраженный эллинский колорит[181], мы можем рискнуть, по крайней мере, предположить, что этот класс был в основном ахейским или ахейского ранга, и что пеласгийская кровь в армии была главным образом среди простых солдат.

Морской порядок вооружения, который требовал наличия командира на каждом судне, неизбежно предполагал существование класса того, что мы можем назвать младшими офицерами.

Когда Елена описывает вождей Приаму из башни, одним из которых является Идомений, она продолжает (Ил. iii. 231);

ἄμφι δὲ μιν Κρητῶν ἄγοι ἡγέρεθονταί.

Опять же, когда Ахилл отправился с пятьюдесятью кораблями в Трою, он разделил свои 2500 человек под командованием пяти ὑπεμόνες, которых он назначил передавать слово командования (σημαίνειν) под его началом. Организованная таким образом сила образовала пять στίχες, или рангов, Ил. xvi. 168-72: и здесь частные лица прямо названы ἑταῖροι (ст. 170). Наиболее вероятно, что эти ἄγοι критян и эти пять мирмидонских лидеров следует рассматривать как принадлежащих к классу нижерριότῆες, но выше младших офицеров.

Наконец, мы должны обратить внимание на рядовых, так сказать, греческой армии, которых называют несколькими именами: λαός (Ил. ii. 191. i. 54), δῆμος (ii. 198) и πληθύς (ii. 278).

По своему военному характеру они действительно представляют собой массу атомов, неотличимых друг от друга, но все же отличающихся молчанием и порядком, которые, вероятно, были основаны на доверии к их лидерам.

Описания сражающихся мужчин.

Нет частной или безымянной[182] однако военнослужащий греческой армии в любом случае совершает какой-либо подвиг, большой или малый: его всегда совершают люди по рождению и положению: и упомянутые нами три обозначения, единственные, которые используются для обозначения всей массы солдат, представляют их нам скорее как сообщество, носящее оружие, чем как армию в каком-либо другом месте. смысл, который носит технический или профессиональный характер.

Все они имели право присутствовать наῦγορῇ, или Ассамблее, если им заблагорассудится. И соответственно, на первом Собрании, которое посетил Ахилл после того, как отказался от своего гнева, мы обнаруживаем, что из-за большого интереса к этому событию присутствовали даже те лица, которые обычно не появлялись: а именно, лоцманы кораблей и другие, которые, вероятно, отвечали за них на берегу, вместе с теми, кто руководил снабжением сил (ταμίαι), или, на нашем языке, комиссариат (Ил. xix. 42-5).

Однако по своему сугубо военному потенциалу они были разделены на

1. ἱππῆες, сражавшийся на колесницах, обычно (Ил. xxiii. 334-40) с двумя лошадьми. Когда их было трое (xvi. 467-75), опережающего звали παρήγορος. Колесницу Гектора тянула четверка лошадей (viii. 185), но у греков у нас такого случая нет. В каждой колеснице ехали по два человека, из которых низший (ἥνιοχος) управлял, а высший (παρέβασκε) стоял рядом с ним, свободный сражаться. Но, вероятно, ни один из этих ἱππῆες не принадлежал к простой πλῆθὺς армии или обычным солдатам.

2. ἀσπίσταί, тяжеловооруженный, из σταδίων ὁσμήνη. Они используют более длинное копье, топор, меч или камень.

3. ἀκοντίσταί, используя более легкое копье (Ил. xv. 709. xxiii. 622. Од. xviii. 261).

4. τοξόται (Ил. ii. 720. iii. 79).

Опять же, мужчины отличаются эпитетов, по заслугам, каждый, будучи ἔξοχος, μεσῆεις, или χειρότερος (Ил. XII. 269), или даже какός; и последний-назван меры предосторожности, чтобы разместить их среди своих товарищей.

Политика Нестора, который рекомендовал собрать всю армию с целью усиления взаимной поддержки между теми, у кого были особые связи, полностью соответствовала тому, что мы встречаем в других стихотворениях. Например, в "Защите вала" в Тринадцатой книге мы находим беотийцев, афинян и локрийцев^[183], которые были соседями, все упомянуты как сражавшиеся бок о бок.

Очевидно, что все чины ходили на Собрания как свободные люди, и начальство относилось к ним там с уважением. Это были не обычные люди в целом, а только те, которые требовали шумного разгона Собрания, и Улисс зашел так далеко, что ударил (ἐλάσασκε) посохом, который он нес, верховным скипетром Агамемнона. Обращаясь к ним, он употребил слово δαμόνιε, то же самое слово, которое он употреблял по отношению к их начальникам, царям и вождям (Ил. ii. 190, 200). Когда они слышали речь, которую одобряли, они обычно и немедленно разражались аплодисментами^[184],

Ἀργεῖοι δὲ μέγ' ἴαχον ...

μῦθον ἐπαίνήσαντες Ὀδυσσεύος θεϊοῖο·

и они свободно комментировали между собой то, что произошло (Ил. ii. 271 и в других местах).

Способы ведения войны в героическую эпоху были очень простыми: открытое сражение было битвой главных сил, как считали как вожди, так и солдаты, время от времени сменявшиеся приступами паники. Но помимо битвы, существовал и другой, более выдающийся способ ведения боя: λόχος, или засада. И разная оценка этих двух факторов, которая переворачивает популярное мнение, в высшей степени иллюстрирует греческий характер.

λόχος или засада.

В то воплощение человеческой жизни, которое Гомер представил нам на Щите Ахилла, конечно же, включены боевые действия. Коллективная жизнь человека представлена двумя городами, один из которых предназначен для мира, а другой - для войны. Две армии появляются под

стенами последнего; и одна из них занимает свой пост в засаде[185]. Всякий раз, когда из армии назначались люди для выполнения этой обязанности, выбирались самые благородные и храбрые. Следовательно, Ахилл бросает Агамемнону двойной упрек в том, что у него никогда не хватало духу вооружить ни армию в целом для битвы, ни вождей и лучших воинов для засады[186]. И причина, по которой засада стояла так высоко как обязанность и привилегия лучших, объясняется в замечательной речи Идоменея. Это просто потому, что это включает в себя более высокое испытание, через терпение, которого оно требует, нравственности в противоположность животной храбрости.

Критский вождь предполагает, что произошел такой случай, когда весь цвет армии был собран для засады. "Вот, - говорит он, - истинный критерий доблести;

ἔνθα μάλιστα ἄρετή διαείδεται ἀνδρῶν.

и там вскоре выясняется, кто герой, а кто трус; ибо плоть труса приобретает то один, то другой цвет, и он не может успокоиться, потому что колени у него подгибаются, и он переминается с ноги на ногу; его сердце трепещет в груди, а зубы стучат, когда он считает себя погибшим; но храбрец с того момента, как он занимает свое место в засаде, не меняет цвета и не слишком нервничает; он только молится, чтобы это время поскорее пришло. чтобы он участвовал в страшной битве[187].’ Затем он продолжает хвалить Мерионеса как человека, подходящего для такого испытания.

В точном соответствии с тем, чего мы должны ожидать от этих описаний, оказывается, что Улисс был воином, который был выдающимся в λόχος, в то время как Ахилл неизмеримо возвышался над всеми остальными на поле боя. Когда греки спрятались в пещере Коня, а Елена спустилась из города, подражая голосам их жен, Менелай и Диомед уже собирались либо выйти вперед, либо ответить, но Улисс удержал их. Один Антиклос все еще не желал молчать; и Улисс, решительно заткнув ему рот рукой, "спас жизни всех ахейцев"[188]. Во всем этом мы снова видим, что поэмы Гомера, подобно Щиту, являются воплощением жизни. Все основные черты и высочайшее совершенство, которым он не мог найти места в герое одной поэмы, он полностью воплотил в герое другой; и он настолько исчерпал ресурсы нашей природы, а также ее приспособления в том виде, в каком они понимались в то время, что, создай он еще и третью Эпопею, даже он не смог бы создать третьего главного героя, составляющего ее центр, который был бы достоин считаться с Ахиллесом и Улиссом среди бессмертных идеалов человеческого величия.

Теперь мы рассмотрели греческую общину героической эпохи, как она была разделена в мирное время на классы, а во время войны все свои наиболее могущественные и энергичные элементы воплощала в форму военного ордена.

Мы также рассмотрели положение и функции короля, который был одновременно личностью, классом и великим политическим институтом. Остается рассмотреть два других политических института героической Греции, которые не только вместе с королем составляли весь механизм как гражданской, так и военной администрации того периода, но также дали существенный зародыш, по крайней мере, той формы конституции, по образцу которой были созданы лучшие правительства европейского континента, два из них за последнюю четверть века, с такими отклонениями, какие были рекомендованы опытом или требовала смена времен. Я подразумеваю форму правления под тройственным законодательным органом, имеющим в

качестве одного из своих членов и в качестве главы одно лицо, в руках которого сосредоточена исполнительная власть государства. Эта форма была чрезвычайно популярна в христианском мире, в Европе и в Англии; и она даже пережила переход через Атлантику и переход в Соединенных Штатах Америки к институтам, которые являются не только республиканскими, но и в высшей степени демократическими.

Греческое βουλή или Совет.

Из этих двух греческих институтов мы сначала рассмотрим βουλή, или Собор.

У греков было принято обсуждать на небольшом предварительном собрании главных лиц, которое называлось βουλή, меры, которые необходимо предпринять для управления Собранием, или γορη.

К лицам, которые были вызваны туда, имя γέροντες, по-видимому, было официально применено. Таким образом, оно отделилось от идеи возраста, ее первоначального значения, ибо Нестор был единственным стариком среди греческих сенаторов. Идомений, действительно, был близок к старости: Улисс был пожилым (ὑπογέρων[189]), по-видимому, не моложе пятидесяти. Большинство из них, по-видимому, были скорее среднего возраста; так что γέρων при таком использовании было названием, а не описанием. βουλή состоял из людей самого высокого ранга и веса; и для этого не требовалось преклонного возраста среди требований, предъявляемых к нему, как и к пресвитерату христианской церкви, хотя это тоже означает старшинство.

Перед великим собранием, посвященным Второй книге, нам говорится не о том, что Агамемнон подумал, что было бы неплохо, так сказать, на время, посоветоваться с царями или старшими по званию участников экспедиции; но языком, который указывает на установившуюся практику, что выбор места для встречи в данном случае был сделан кораблем Нестора, чей преклонный возраст, возможно, либо делал близость удобной, либо давал ему право на этот почетный знак:

βουλή δὲ πρῶτον μεγαθύμων Ἴζε γερόντων

Νεστορέη παρ' αὐνὴ Πυλαίγενέος βασιλῆος. Il. ii. 53.

Эти γέροντες были вызваны[190] снова Агамемноном перед жертвоприношением во Второй книге, которое предшествовало перечислению. В данном случае они не названы βουλή; вероятно, потому, что их не вызывали для консультации.

Совет собирается снова в Девятой книге[191], по назначению Ассамблеи, и отправляет миссию Ахиллесу[192]. В ту же ночь и, возможно, под тем же руководством была организована экспедиция Улисса и Диомеда.

Действительно, в Первой Книге нет βουλή, и ни одного в великом Собрании Девятнадцатой: но тогда оба они были созваны Ахиллом, а не Агамемноном, и ни один из них не был вызван для надлежащих совещательных целей[193].

Опять же, Улисс, призывая греков не прекращать работу над Второй книгой преждевременно, напоминает им, что они должны полностью знать взгляды Агамемнона и что не у всех них было преимущество ознакомиться с этими взглядами в "βουλή".

В Седьмой книге Совет, проводимый под крышей Агамемнона, формирует план паузы, чтобы похоронить мертвых и возвести крепостной вал. Соответственно, когда сразу после этого из Трои прибывает вестник с предложением, он застаёт греков на их Собрании, несомненно, созванном для одобрения проекта царей. О том, что это было учреждением греков, мы можем далее судить по знакомой манере, в которой Нестор упоминает об этом в "Одиссее Телемаху", впервые увидев его (Од. iii. 127). 'Улисс и я, - произносит он, - никогда не отличалась:' οὐτ' ἐνὶ ἀγορῇ δ' ἴχ' ἐβάζομεν, οὐτ' ἐνὶ βουλῇ[194].

Среди других причин, которые могли бы способствовать созданию греческого βουλῆ или Совета, мы, возможно, можем с полным основанием учитывать неспособность древних выполнять в полной мере обязанности суверена в героическую эпоху. Физическая сила обычно претерпевает определенный упадок, прежде чем разум утрачивает свою зрелость; и как цари, так и подчиненные лорды, которые перестали обладать силой, необходимой для несения основного бремени правления, все еще могли использовать свой опыт для общественного блага в Совете; даже если мы обнаружим, что в Трое братья Приама, наряду с другими преклонными перед жизнью людьми, были главными советниками Собрания[195].

Βουλῆ в мирное время.

Я признаю, что у нас нет примера использования βουλῆ греками в мирное время, столь точного, как те, которые "Илиада" приводит для военного времени. Но даже на войне мы не находим его, кроме как перед Собраниями, на которых нужно было решать совещательные вопросы. Итак, единственное условное греческое ἀγορῇ, с которым мы встречаемся в мирное время, - это слово из двадцать четвертой "Одиссеи". Отсутствие государя и правительства в Итаке в то время и крайний разлад между главными лицами делали Совет совершенно невозможным и не оставляли возможности принять никаких мер, кроме прямого обращения к народу.

Однако представляется очевидным, что действие βουλῆ не ограничивалось войной. Ибо мы не только находим γέροντες на Щите[196], которые заседают вῴγορῇ, выполняя исключительно должность судей, но они также отчетливо выделяются как класс или орден[197] в Итакийском собрании, которые имели в нем отдельное для себя место. Мы также не располагаем доказательством, которое, хотя и изложено в немногих словах, является полным, связи Совета с сувереном в актах правления. Ибо, когда Улисс в юности предпринял миссию в Мессене по делу об овцах, похищенных с Итаки, он сделал это по приказу Лаэрта вместе со своим советом[198]:

πρὸ γὰρ ἦκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες.

И Навсикая встречает своего отца Алкиноя по пути к βουλῆ феаков.

В целом, βουλῆ, по-видимому, был важнейшим вспомогательным инструментом правительства; иногда в качестве подготовки материалов для более публичных обсуждений в Ассамблее, иногда в качестве своего рода исполнительного комитета, пользующегося его доверием; всегда в качестве источника интеллектуальных и авторитетных элементов в концентрированной форме, которые могли бы придать устойчивость его тону и рекомендовать его курс с весом, адекватным столь важной функции.

Оппозиция в βουλῇ.

Люди, составлявшие этот Совет, занимали такое положение, что, когда они действовали порознь, самому царю Агамемнону, возможно, пришлось бы столкнуться с сопротивлением и порицаниями с их стороны в различных инстанциях. Соответственно, когда Агамемнон производил смотр армии и когда он счел нужным упрекнуть Улисса в расхлябанности, этот вождь возразил ему более чем свободно (ὑποδραῖ δύν) как в голосе, так и в манерах. Столь далекий от доверия к его авторитету, Агамемнон сделал успокаивающий и даже извиняющийся ответ[199]. И снова, когда в том же случае он упрекнул Диомеда[200], Стенелус тщеславно защищал своего непосредственного начальника. Более утонченная натура самого Диомеда побудила его сразу же отречься от них, но они, по-видимому, не рассматривались как влекущие за собой какое-либо преступление против положения Агамемнона. Опять же, хотя Диомед в этом случае сдержал своего лейтенанта, все же, когда он встречается Агамемнона на Собрании Девятой книги, он откровенно говорит ему, что Юпитер, который даровал ему почести скипетра, не наделил его высшей силой, которая проистекает из решительной храбрости.[201]; и даже страстные инвективы Ахиллеса в Первой книге содержат аналогичное свидетельство, потому что они, по-видимому, не рассматривались как представляющее собой какое-либо нарушение его служебных обязанностей.

В Βουλῇ[202] Нестор лидирует больше, чем Агамемнон. Что касается Собрания, то весь план во Второй "Илиаде" явно основан на предположении, что армия привыкла слышать, как военачальники спорят против предложений Агамемнона и даже отвергают их. Его совет о том, что им следует вернуться домой, который Гроте[203] считает всего лишь необъяснимой фантазией и детским капризом, однако его можно рассматривать с той точки зрения, что, прежде чем возобновить активные операции без Ахиллеса, было сочтено разумным проверить чувства армии, и что это не могло быть более действенным испытанием, чем рекомендация главнокомандующего о том, что им следует возобновить активные операции без Ахиллеса. - отправляйся в Грецию. План был чрезмерно продуман; и он может даже показаться нелепым, потому что он провалился и просто разжег неуправляемую страсть, которая не желала слушать дебаты. Но это предложение не носит того характера, что в Девятой книге, где то же самое предложение повторяется без предварительного ведома вождей теми же словами и в то время, когда греки были в гораздо худшем положении.

Когда Агамемнон сделал это для того, чтобы его отменили, это возымело действие: когда он сделал это всерьез, это провалилось. Если бы тогда греков, вопреки его желанию, удалось сохранить в Девятой книге, то было бы неверно, но вряд ли абсурдно ожидать аналогичного результата во Второй, когда у них было меньше причин для уныния.

И почему это подействовало? Просто потому, что Ассамблея, вместо того, чтобы быть простым средством,[204], через которое действовал король, была ареной, на которой либо воля народа могла найти грубый и буйный выход, либо, с другой стороны, его царственные соратники по оружию могли сказать, как говорит Диомед: "Я воспользуюсь своим правом и выступлю против вашего глупого проекта в дебатах, на которые вы не должны обижаться".

Ἀτρεΐδῃ, σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι,

ἢ θέμις ἐστὶ ν, ἄναξ, ἄγορῃ· σὺ δὲ μὴ τι χολωθῆς.

Предложение Агамемнона было выслушано в тишине[205], способ, которым армия обозначила свое нежелание или сомнения. Но встречное предложение Диомеда сражаться до последнего было встречено одобрительными возгласами[206];

οἱ δ' ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷ ἐς Ἀχαιῶν,
μῦθον ἄγασσάμενοι Διομήδεος ἰπποδάμοιο·

так что Собрание созрело для принятия плана Нестора, который сразу же получил его одобрение[207]:

ὣς ἔφαθ'· οἱ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον, ἦδ' ἐπίθοντο.

Впоследствии, в βουλή той же Книги, Нестор говорит Агамемнону, что его долг - слушать так же хорошо, как и говорить, и принимать планы других, когда они хороши (100-2). В то же время престарелый вождь, похоже, подчиняется решению Агамемнона на Совете[208]. Его выражения, возможно, носят скорее комплиментарный характер, чем деловой; и, во всяком случае, мы не находим никаких подобных выражений, используемых в Собрании.

Счастливой чертой героической Греции было то, что, хотя она изобиловала истинным стыдом, у нее не было ложного стыда. Считалось, что король, совершивший проступок, не скомпрометировал свое достоинство искуплением; напротив, он восстановил его. Так говорит Улисс в Сборке Девятнадцатой Илиады[209];

οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα
ἄνδρ' ἀπαρέσσεσθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.

Этот отрывок сразу же самым недвусмысленным образом устанавливает как право отчитывать главу армии, так и обязанность, возложенную на него, как и на других, заглаживать свою вину там, где он нанес оскорбление.

Таким образом, большая свобода слова и суждений со стороны царей или вождей, когда они расходились с Агамемноном, по-видимому, была установлена неоспоримо, свобода, которая в некоторых случаях приводила к тому, что он был без промедления отменен. Поэтому я не могу здесь подписаться даже под взвешенным заявлением Мюра, который допускает свободу возражений, но утверждает также верховенство воли Агамемнона. Гораздо меньше касается очень широких утверждений Грота о том, что резолюции Агамемнона, по-видимому, неизменно преобладают в Совете, и что недействительность позитивной функции еще более поразительна в Agore[210].

Теперь нам пора обратиться к этому учреждению.

Влияние речи.

Черта, которая действительно наиболее достойна внимания в государственных системах гомеровской Греции, является также и тем, что им так свойственно; а именно, существенный вес и влияние, которые принадлежали речи как инструменту управления; и из этой силы

гораздо более замечательное развитие заключается в ее менее ограниченном и более популярном применении к Собранию.

Эта сила слова была, по сути, властью, которую человек мог использовать над большим количеством людей и с гарантиями публичности среди своих собратьев. По сути, это был инструмент, обращающийся к разуму и свободной воле и признающий их авторитет. Ни одно правительство, которое стремилось к своей власти силой, в противовес разуму, никогда не использовало эту форму обмана. Мир видел, как абсолютизм прикрывался титулами и простыми формами свободы или искал убежища под своими голыми абстракциями: но от использования свободы слова как инструмента государства он всегда шарахался с инстинктивным ужасом.

Один из способов доказать силу речи в героическую эпоху - показать, какое место она занимала в мыслях людей, как это следует из их языка. Другой способ заключается в указании на его связь, в практических примерах, с тем или иным образом действий, принимаемым или избегаемым. В-третьих, свидетельствуя о серьезности, с которой развивалось искусство, а также о глубине и всесторонности концепций, из которых оно черпало свою форму.

Сейчас мы проследим ход общественных дел в том виде, в каком ими управляли греки героической эпохи на своих публичных собраниях. В настоящее время давайте попытаемся составить истинное представление Гомера об ораторском искусстве по его языку, касающемуся этого искусства, по персонажам, с которыми он его особенно связывал, и по знаниям, которыми он, как можно обнаружить, обладал о его возможностях.

Хотя принято рассматривать "Илиаду" как поэму, темой которой является битва, на самом деле это памятник политики не в меньшей степени, чем войны; и в этом отношении она даже в большей степени, чем большинство других, отличается от более поздних эпосов.

Прилагательные у Гомера в очень многих случаях являются ключом к его внутреннему уму: и среди всех них нет ни одного, которое было бы более истинным, чем великий эпитет *κυδίανεϊρα*. Он строго ограничивает ее двумя темами - битвой и дебатами, звоном мечей и борьбой умов. Об Ахилле он говорит в Первой книге^[211], (490)

οὔτε ποτ' εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδίανεϊραν,

οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον.

Во всех других отрывках, где он использует это слово, оно присоединяется к основному *μάχη*. Таким образом, у него этот человек должен был искать славы на двух поприщах: частично в битве, а частично в Собрании.

Интеллектуальная функция была не менее важна для гомеровского царя-воина, чем военное искусство; и культура искусства убеждения не менее глубоко вошла в его раннее обучение. "Как, - говорит Феникс Ахиллесу, - оставлю я тебя, я, которого твой отец привязал к тебе, когда ты был еще ребенком, без знания о беспристрастной битве или о собраниях, на которых люди достигают славы?"

οὐπω εἰ δόθ' ὁμοῖου πολέμοιο

οὐτ' ἀγορέων, ἵνα τ' ἄνδρες ἀριπρέπεις τελέθουσιν.

Поэтому он послал меня научить тебя искусству речи и боя[212],

μύθων τε ῥητῆρ' ἔμεναι, πρηκτῆρά τε ἔργων.

Точно так же Улисс в подземном мире рассказывает Ахиллесу о величии Нептолема в речи не меньше, чем в битве (Od. xi. 510-16)

Нет, ἄγορῃ маленькой Итаки, где не было собрание в течение двадцати лет, с Гомера ἄγορῃ πολύφημος[213]. В описании, по возможности еще более поразительном, чем описание Феникса, Гомер представляет перед нами оратора за его работой. Слушатели смотрят на него с восторгом; он говорит со сдержанной скромностью, но с уверенностью в себе (ἄσφαλέως); он выделяется среди собравшихся людей, и пока он проходит по городу, они смотрят на него как на бога[214]. Из отрывка, подобного этому, мы можем составить некоторое представление о том, какой реальной властью в человеческом обществе обладал оратор героической эпохи; и мы также можем узнать, как и почему получилось, что великий Бард того времени также занял первое место в ораторском искусстве всех времен.

Именно в том же духе Улисс в той же самой замечательной речи, произнесенной в "Одиссее"[215], излагает различные достижения, которыми украшена человеческая природа. Три великих дара богов человеку - это, во-первых, телесная красота, сила и осанка, все они включены в слово φύη; во-вторых, рассудительность или здравый смысл (φρένες), и в-третьих, способность рассуждать, или ὑπορητύς. Для одного человека последний названный великий дар является компенсацией за недостаток телесного совершенства. Другому дается красоты, как у Бессмертных; но потом его благообразием не венчает красноречие: ἀλλ' οὐοὶ χάρις ἀμφιπεριτέφεται ἐπέεσσιν. Для ἀάρις в Od. xi. 367 мы имеем μορφῇ ἐπέων.

Разнообразные описания ораторского искусства.

В полном соответствии с этой сильно развитой идеей Поэт предлагает нам описания самых разных ораторов. Вот несколько сайтов,[216], обширных и оскорбительных, к которым мы должны вернуться. Вот Телемах, полный милостивой застенчивости юности[217], но удостоенный похвалы Нестора за силу и такт выражения не по годам. Есть Менелай, который говорит с лаконичной непринужденностью[218]. Есть троянские старейшины, или δῆμογέροντες, которые в силу своего опыта и возраста в основном руководят Собранием, и чья словоохотливость и пронзительный тон голоса[219] Гомер сравнивает со стрекотанием кузнечиков. Затем у нас есть Нестор мягкий и серебристый, чьи тона счастливого и доброжелательного эгоизма были слаще, чем поток меда[220]. В руках второстепенного художника Феникс, должно быть, воспроизвел его; но всепоглощающая привязанность к Ахиллесу является ключевой нотой всего, что он говорит; даже рассказ в его речи о его собственных ранних приключениях, очевидно, задуман как предупреждение о последствиях гнева: эта напряженная серьезность полностью исключает что-либо похожее на одинаковость, и, таким образом, две болтливости совершенно отличаются друг от друга, потому что у них (так сказать) разные центры притяжения. Наконец, у нас есть Улисс, который, имея обыкновение возвышаться, сосредоточив в себе энергию, не обещает ничего показать: но когда из его груди

исходит глубокий голос, а могучие слова разлетаются, как хлопья снега зимой[221], тогда он действительно взлетает намного выше всех конкурентов.

Для Гомера очень необычно предаваться таким тщательным и подробным описаниям. И даже здесь он оставил без описания единственного оратора в превосходной степени, а также других выдающихся ораторов. Красноречию Ахилла остается описать себя; и бросить вызов сравнению со всеми отборнейшими образцами силы и красоты в этом роде, которые три тысячи лет спустя после Гомера, со всеми их приливами и отливами, сделали доступными познанию человека. Хотя в этом достижении он скромно называет себя ниже Улисса, на самом деле никакие речи не могут сравниться с его речами. Но ресурсы Гомера даже сейчас не исчерпаны. Решение Диомеда, нерешительность Агамемнона, прямота Аякса - все это превосходно отмечено в серии речей, отведенных каждому из них. Действительно, Гомер вложил в уста Идомея, которого он вообще нигде не называет оратором, речь, которой вполне достаточно, чтобы утвердить его репутацию в этом качестве. (Il. xiii. 275-94.)

Рассматривая аранжировки, сделанные Гомером, мы обнаружим одну особенность, столь же недвусмысленную и решающую. Два человека, которым он отдал первенство в ораторском искусстве, - это два его единственных богоподобных героя (θεῶι οἱ), Ахилл и Улисс, каждый из которых, подобно традиционному Атласу, несет на себе тяжесть эпоса, к которому он в основном принадлежит.

Как могли Гомеру прийти в голову подобные мысли, если правление в его глазах основывалось либо на силе, либо на обмане? Более того, когда он говорит об убеждении и силе или доблести, о действии языка и руки, он явно не имеет в виду, что эти элементы смешаны в обычном поведении государя по отношению к своим подданным: он имеет в виду первое для мира, второе для войны; первое должно быть его единственным инструментом для управления собственным народом, последнее - только для его врагов.

Если, опять же, мы попытаемся оценить важность речи в героическую эпоху по степени, в которой эта способность была фактически развита, мы должны принять достижения Поэта за лучшие показатели способностей эпохи. Речи, которые Гомер вложил в уста своих ведущих ораторов, должны быть достаточно точными представителями лучших представлений того времени. Также невозможно, чтобы в какую-либо эпоху у немногих была способность произносить такие речи без способности у многих воспринимать, чувствовать и осмысливать их. Поэты нового времени сочинили великие произведения в эпохи, когда от них затыкали уши. 'Потерянный рай' не отражает ни время Карла Второго, ни "Экскурсию" в первые десятилетия нынешнего столетия. Случай оратора совершенно иной. Его работа с самого начала неразрывно связана с практикой. Она отлита по образцу, предложенному ему разумом его слушателей. Это влияние, в основном получаемое от его аудитории (так сказать) в тумане, который он изливает на них потоком. Сочувствие и совпадение его времени с его собственным разумом является совместным источником его работы. Он не может следовать идеалам или формулировать их; его выбор заключается в том, чтобы быть таким, каким его заставит его возраст, каким он требует, чтобы быть тронутым им, или же не быть вообще. И как когда мы находим речи у Гомера, мы знаем, что должны были быть люди, которые могли говорить на них, так и из существования единиц, которые могли говорить на них, мы знаем, что должны были быть толпы, которые могли чувствовать их.

Речи в Стихах.

Теперь, если мы рассмотрим эти речи, мы, я думаю, обнаружим не только то, что они содержат образцы непревзойденного красноречия, которые никогда не были превзойдены, но также и то, что они демонстрируют наиболее полное знание и наиболее разнообразное и гибкое использование всех ресурсов искусства. Если мы ищем образец инвективы, давайте возьмем речи Ахилла в дебатах по Первой "Илиаде". Если мы желаем самого возвышенного тона ужасной декламации, я не знаю, где (выражаясь умеренно) мы можем найти что-либо, что по величину может превзойти начало отрывка (Ил. xvi. 74-9),

οὐ γὰρ Τυδεΐδῃ Διομήδεος ἐν παλάμῃσιν

μαίνεται ἐγχείη, к. т. л.

Но если искать торжественности, то, я думаю, ничто не может превзойти ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον. (Ил. i. 233-44.)

Есть ли более замечательный пример исчерпывающего изложения, которое исчерпывает дело и полностью затыкает рот противнику, чем речь Улисса к Эвриалу, который упрекнул его в том, что он похож на шулера? Эта речь состоит из двадцати строк, и я думаю, что любой, кто попытается дать действительно точное изложение ее сути, будет склонен обнаружить, что его изложение, если оно вообще будет полным, неожиданно превратилось в парафразу. Не менее преуспел Гомер и в том, чтобы показать нам, как он озвучил глубины пафоса. Ибо, хотя речи Приама, обращенные к Ахиллесу в Двадцать четвертой "Илиаде", произносятся наедине и только от человека к человеку и, следовательно, не относятся к ораторскому искусству в собственном смысле этого слова, они, *тем более*, убедительны в отношении его знания инструментов, с помощью которых человеческие чувства можно было бы гораздо легче затронуть, когда говорящему сразу помогали бы дружелюбие и электрическое сочувствие множества людей.

Остроумие и сарказм.

Все это - прямые инструменты влияния на разум и действия человека. Но в нападениях с фланга Гомер не менее великий мастер. Он проявляет особый талант к тому, что правильно называется острым замечанием; к той форме речи, которая обрушивает на противника удар его собственного оружия или на просителя мольбу его собственной молитвы. Был некто Антимах, троянец, разбогатевший, вероятно, на взятках, которые он получал от Париса за то, что в Троянской агоре он всегда выступал против возвращения Елены грекам. Агамемнон побеждает его сыновей на поле боя. Зная, что у него была жажда денег, они кричат: 'Пощади, Агамемнон! мы сыновья богатого Антимаха: он хорошо заплатит за наши жизни'. "Если, - отвечает царь, - вы сыновья того Антимаха, который, когда Менелай прибыл послом в Трою, посоветовал схватить и убить его, здесь и сейчас вы искупите бесчестие вашего отца"[222]. Сравните с этим еще более резкий поворот Улисса к Леиоду в "Одиссее": "Пощади я, Улисс! Я не сделал ничего дурного в ваших чертогах; я предотвратил все, что мог; я был всего лишь Предзнаменованием для Претендентов. Затем следует суровый ответ. "Если ты признаешь, что являешься Предзнаменованием для Женихов, тогда часто в молитвах ты, должно быть, предсказывал мою гибель и желал моей жены себе; а потому тебе не избежать мучительного ложа смерти"[223].

Но оружием сарказма, от самого легкого до самого увесистого, Гомер пользуется едва ли не с большим эффектом, чем любым другим. В качестве образца первого я беру речь Феникса, когда он представляет в виде притчи Легенду о Мелеагре. "Пока Мелеагр сражался, все было хорошо; но когда им овладел гнев — что (я бы просто заметил) время от времени приводит в замешательство и другие великие умы — тогда", и так далее.

Но в качестве великого мастера этого искусства Гомер выбрал Ахилла. Как своими инвективами он размалывает в порошок, так и острием самой утонченной иронии он в мгновение ока прорубает себе путь к разгадке. Когда Греция в лице королей-посланников оказывается у его ног, а он отвергает их, он говорит: "Нет, я поеду домой: ты можешь прийти и посмотреть, как я уезжаю, — если считаешь, что это того стоит".

ὄψεαι, ἦν ἐθέλησθα, καὶ αἶ κέν τοι τὰ μεμήλη.

Об этом отрывке, Il. ix. 356-64, следующий перевод может дать очень несовершенное представление[224]:

Сражаться с Гектором я не стану;

Завтра, с восходом солнца,

Каждый священный обряд и служба совершены,

Я загружаю и спускаю на воду свой фтианский флот;

Приходи, если думаешь встретиться,

Смотри, если тебе нравится это зрелище,

Мои корабли отправятся в путь при свете утра,

Мои гребцы гребут изо всех сил,

В Хелле полно народу.

И, если Посейдон дарует свою милость,

Затем, всего через три дня,

Я снова вижу свой дом;

Мой дом изобилия, который я покинул

Сражаться с Троей, лишившись рассудка!

Изобилие в его доме (ἔστι δέ μοι μάλα πολλὰ) - завершающий штрих ответа Агамемнону, который думал, что его неудовлетворенное чувство можно утолить подарками.

В той же речи встречается пронзительный сарказм[225]:

ἦ μοῖνοι φιλέουσ' ἄλόχους μερόπων ἀνθρώπων

Ἄτρεϊ δαι;

Греки пришли в Трою, чтобы вернуть жену Менелая, и пока они были там, Агамемнон взял в наложницы предполагаемую жену Ахилла. Было ли, спрашивает он, привилегией сыновей Атрея - единственных среди человечества - любить своих жен? Агамемнон тоже был главным из них двоих; он овладел Брисеидой, как намеревался овладеть Хрисеидой, пренебрегая своим собственным брачным ложем. Я думаю, читатель этого отрывка также не может не быть поражен удивительной манерой, в которой он сочетает величественное достоинство и безупречную убедительность аргументации с яростью личного натиска.

Способность к дебатам у Гомера.

Если сила ораторского искусства замечательна у Гомера, то точно так же замечательна и способность к тому, что в Англии называется дебатами. Здесь оратор - это борец, от момента к моменту удерживающий свою позицию; регулирующий свое равновесие и применяющий свою силу в точной пропорции к изменяющемуся давлению своего противника. В дебатах Гомера каждая речь после первой обычно является ответом. Это относится не только к предмету, но и к предшествующей речи: с учетом вопроса и целей говорящего оно демонстрирует точную степень подъема или спуска, расширения или сжатия, расслабления или усиления, которую могут потребовать обстоятельства дела в том состоянии, в которое они были доведены предыдущим обращением. В Сборке Первой книги пять, нет, шесть последовательных речей Ахиллеса и Агамемнона[226] доводят их великое противостояние до кульминации. Но дискуссия с посланниками заслуживает самого пристального внимания.

Обсуждение девятой "Илиады".

Улисс начинает искусную речь перед оскорбленным героем с самого искусного и хорошо замаскированного преувеличения воинственной ярости Гектора. Он заботится только о том, чтобы представить это как часть общей картины, которая в других частях достаточно правдива; но он, очевидно, полагается на это как на способ проникнуть под защиту Ахиллеса. Затем он затрагивает тему, к которой Приам впоследствии обращался еще более настойчиво; это нежное воспоминание о его отце Пелее, который предупреждал его, насколько труднее приобрести самообладание, чем смелость. Затем он перечисляет дары Агамемнона: и, возможно, ободренный добрым приветствием, которое он получил вместе со своими товарищами, он заканчивает словами о том, что, каким бы ненавистным ни был Агамемнон, все же из жалости к другим грекам, как высоким, так и низким, и в ожидании их благодарности он должен вооружиться. Я не буду пытаться анализировать замечательную речь Ахилла, которая следует далее и на которую уже были сделаны некоторые ссылки. Достаточно сказать, что она начинается с намека Улиссу на то, что, по мнению говорящего, для всех сторон будет лучше, если он прямо выскажет свое мнение: косвенный и вежливый упрек Улиссу за то, что он думал воздействовать на него с помощью такта и приемов ритора. За этим следует такое сочетание аргументации, декламации, оскорблений и сарказма, что, по-моему, в пределах одного поля зрения не могут сравниться все мировые рекорды. Но общим результатом всего этого является объявление о том, что он вернется во Фтию уже на следующее утро; вместе с абсолютным, безоговорочным отказом от всех подарков и предложений, пока возмущение Агамемнона не будет полностью уничтожено[227]:

πρίν γ' ἀπὸ πᾶσαν ἔμοι δόμεναι θυμολυγέα λώβην.

Когда он заканчивает, все его слушатели, смущенные его мужским гневом, некоторое время молчат. Затем Феникс в самой длинной речи стихотворения изливает свою бескорыстную и теплую, но пространную и уклончивую любовь. В этой речи гораздо меньше риторического ресурса, чем в речи Улисса. Улисс как бы признал право Ахилла на безграничное негодование против Агамемнона (300): Феникс, напротив, в притче угрожает ему возмездием со стороны Эринус, если он не покорит могущественную душу внутри себя. Но Ахилл, тронутый лучшими качествами своей натуры, немного уступает место более этичному обращению, в котором он был непреклонен и неуязвим перед интеллектуальным и риторическим обращением. Теперь он велит Фениксу прийти самому и переночевать в его лагере: там утром они смогут вместе решить, идти им или остаться (618). Тем не менее он объявляет, что ничто не заставит его покинуть корабли и отправиться в поле (609). Следующим на *палестру* выходит туповатый Аякс; осуждает пустую трату времени; выступает за то, чтобы взять свой ответ обратно, каким бы плохим он ни был: Ахилл, очевидно, принял решение; и его нисколько не волнует судьба всех или кого-либо из них. 'Что, ' говорит простой человек-гора, ' убийство брата или ребенка искупается штрафом, и все же здесь происходит все это из-за девушки. Да, и одна-единственная девушка, когда мы предлагаем семерых самых лучших и так много всего сверх того. Достигнув, таким образом, *вершины* своего искусства, он теперь стремится вызвать дружеские чувства Ахилла и одним словом просит его быть снисходительным к людям, которых он впустил под свою крышу и которых он считает самыми преданными друзьями, каких только могла найти у него вся армия.

Сила воздействия этой прямой речи, которую только доброта спасает от перехода в грубость, снова вызывает первоначальное движение к уступке со стороны великого героя. По сути, он отвечает Аяксу: "Ты хорошо сказал: мне нравится, как ты подходишь к работе; но мое сердце переполняется и кипит от стыда, которому подверг меня перед греками Агамемнон. Скажи им тогда, — теперь нет объявления о отплытии; более того, больше нет необходимости обсуждать утром, поднимать ли паруса или нет, — скажи им, что я больше не сражаюсь, пока Гектор, неся с собой резню и огонь, не достигнет этого лагеря, этих кораблей. Каким бы увлеченным он ни был, у меня будет достаточно времени, чтобы остановить его на пути к успеху".

Таков примечательный ход этой дискуссии. Но Улисс, когда они возвращаются к Агамемнону — вероятно, намереваясь загнать его и всех греков в угол — не обращает внимания на частичное ослабление железной воли Ахилла, а просто сообщает, что он пригрозил отплыть. Затем наступает очередь Диомеда. 'Ты был неправ, что пресмыкался перед ним. Сам по себе он достаточно высокомерен: ты сделал его хуже. Оставь его в покое; он придет, когда сочтет нужным, или когда на то будет воля Провидения; и не раньше. Мой совет: сейчас мы спим и едим, а на рассвете выступаем. Я, во всяком случае, буду там, в авангарде битвы.

Функция сборки.

Теперь мы перейдем к рассмотрению природы и места *αγορῆς*, или Собрания, в героическую эпоху: и обзор нескольких случаев проведения будет дополнительно иллюстрировать огромные и разнообразные ораторские способности Поэта.

Народ не может жить в своем корпоративном качестве без перерыва, и король является постоянным представителем сообщества. Но все же *ἀγορῆς*, или Собрание, является истинным центром его жизни и жизненно важного движения, как монарх является центром его функциональной или административной деятельности; и величайшей конечной властью, которой обладает король, является влияние на своих подданных, собравшихся там,

посредством сочетания их почтения к его личности и его собственной силы убеждения. В случае с армией перед Троей к силе этих обычных мотивов добавляется, наряду с определенным духом негодования из-за обиды, полученной в лице Елены, надежда на богатую добычу при взятии города и принцип чистой воинской чести; возможно, никогда так сильно не подчеркнутый, как в "Илиаде", и с большей свободой от излишеств, благодаря которым иногда приходится пренебрегать долгом и справедливостью, ее единственными законными начальниками.

Во-первых, по-видимому, Собрание должно было на самом деле не распределять добычу, а дать согласие на ее распределение главнокомандующему и его братьям-вождям. Первому это вменяется в Девятой книге. Но в Первой книге Ахилл говорит ему на Собрании: "Мы, греки (Ἀχαιοὶ), воздадим тебе втрое и вчетверо, когда Троя будет взята"[228]. Вполне вероятно, что он здесь выступает начальников один, (но лишь постольку, поскольку акт распределению), так как Терсит использует то же самое выражение (ἄς τοι Ἀχαιοὶ πρῶτιστ' ὀδώμεν[229]) во второй книге. Следовательно, раздел добычи, вероятно, был произведен по предложению короля с помощью вождей, но с общего ведома и согласия армии и в соответствии с этим согласием с их стороны.

Все время следует помнить, что состояние политического общества, которое Гомер представляет нам, - это такое состояние, при котором различные элементы власти принимают свои первоначальные и естественные формы; они еще не сильно изменены изощренными ухищрениями человека и не доведены до крайностей последствиями длительной борьбы, жадного аппетита и неистовых страстей, возбуждаемых искушениями, которые представляет накопление собственности.

В те простые времена, когда функций правительства было немного, а его действия, за исключением, возможно, судебного разбирательства частных дел, были далеко друг от друга, формального распределения политических прав не было, как будто их можно было сделать объектом честолубивой или спорной алчности: но великая социальная сила, приводившая в движение машину, заключалась в определениях *ὑπόρῃ*, как бы неофициально они ни декларировались.

Гроте заметил, что в гомеровском *ὑπόρῃ* никогда не происходит разделения на утвердительный и отрицательный голоса. Потребовался бы целый том, чтобы обсудить все, что включает в себя это замечание и на что указывает. Однако я замечу, что из истории или философии, безусловно, нельзя извлечь пользу из принципа, согласно которому числа преобладают по неотъемлемому праву. Решение большинства является таким же средством, как зажигание газа. Принимая его, как правило, мы не осознаем совершенства, а склоняемся перед несовершенством. Мы следуем ему как лучшему для нас, а не как лучшему само по себе. Единственное *право* командовать, как сказал Берк, заключается в мудрости и добродетели. В своем применении к человеческим делам эти великие силы обычно ограничивались, с одной стороны, традицией и предубеждением, с другой - силой. Решение, принимаемое большинством, имеет большое достоинство в том, что позволяет избежать, и это при совершенно определенной проверке, последнего средства к насилию; и в том, что делает саму силу слугой, а не хозяином авторитета. Но наша страна все еще тешит себя верой в то, что она не решает все большинством. Первые греки не знали ни об использовании этой числовой догмы, ни о злоупотреблении ею. Они не использовали его как инструмент, и в этом они проиграли; но они не поклонялись ему как идолу, и в этом они сильно выиграли. Голоса не подсчитывались на Гомеровском Олимпе, и все же

меньшинство влиятельных богов выступает в пользу греков против большинства и против их Главы. Несомненно, не может быть более грубой ошибки, чем отрицать, что любая сила реальна, если только мы не способны одновременно измерять ее результаты в таблице статистики и с нашим слабым и пристрастным зрением отслеживать на каждом этапе точный способ, которым она работает на пути к своей цели.

Там принимались все великие решения.

Прежде всего, мы видели, что все важные решения Войны принимались на Собрании греков. И здесь первое, что приходит на ум, - это то, насколько глубоко этот метод политических действий, должно быть, укоренился в их привычках и идеях, если он смог пережить переход от мира к войне и, несмотря на свои ощутимые неудобства в лагере, сформировать практическое правило своих действий на глазах у врага.

Важность этого соображения возрастает до предельной степени благодаря случаю с Ночным Собранием в Девятой книге. Троянцы, больше не запертые на своих стенах, расположились у тысячи сторожевых костров, сразу за крепостным валом. Удрученное состояние менее чем наполовину разбитой, но все еще полностью обескураженной армии прямо сейчас требует принятия каких-либо важных мер. Но даже при таких обстоятельствах Агамемнон не стал бы действовать самостоятельно или только с царями. Он рассылает своих герольдов по лагерю (Ил. ix. 11),

κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
μηδὲ βοᾶν·

созвать Собрание бесшумно, человека за человеком. Может ли быть более убедительное доказательство силы, с которой народный принцип вошел в идею гомеровских государств? Если скажут, что такая операция вряд ли могла быть произведена ночью без шума, я отвечу, что если это так, то аргумент в пользу силы и жизнеспособности Собрания только усиливается: ибо Гомер, очевидно, гораздо больше заботился о том, чтобы говорить в согласии с политическим настроением своей страны, чем отмерять время по часам и минутам или место по ярдам, футам и дюймам, поскольку ценил не последние методы меньше, а первые больше.

Греческая армия, по сути, является ни много ни мало, так сказать, Государством в военной форме. Как солдат тех дней был просто вооруженным гражданином, так и вооружение представляло собой совокупность вооруженных граждан, которые во всем, кроме своего оружия и обращения с ним, продолжали оставаться теми, кем были раньше. Но когда мы обнаруживаем, что в таких чрезвычайных ситуациях политические идеи не уступали военной целесообразности, мы не можем, я думаю, не прийти к выводу, что эти идеи опирались на широкие и глубокие основы.

Это также указывает на свободный характер отношений между Собранием и Главнокомандующим, поскольку оно может быть созвано как другими, так и им самим. В Первой Книге нам прямо сказано, что Ахилл собрал их вместе, как он сделал снова в Девятнадцатой для Примирия. Во втором из этих случаев, возможно, его целью было, чтобы возмещение ущерба было таким же публичным, каким было нанесенное оскорбление: во всяком случае, была выражена решимость сделать примирение окончательным, абсолютным и тщательным. Но в прежнее время этот акт носил характер морального обращения Агамемнона к армии. Во-

первых, он иллюстрировал принцип публичности, столь распространенный в греческих государствах. То, что Калхас должен был прояснить, он должен был объявить не в "дыре и углу", а под свою ответственность, с возможностью оспаривания, с учетом δῆμου φάτις, если он сказал меньше правды, а также с негодованием суверена, если он рискнет разгласить это полностью. Но, во-вторых, это показывает, что Ахилл считал, что греки на свободе имеют право и обязаны быть участниками сделки. Он имел в виду, что греки должны увидеть его неправоту. Возможно, он надеялся, что они предотвратят его нанесение. Это, во всяком случае, ясно: он начал дискуссию с взвешенных упреков в адрес Агамемнона[230]; но впоследствии он перешел, с более широким размахом, к более интенсивному и горькому напряжению[231].

Когда он обнаружил, что монарх настроен решительно, и когда он подавил приступ ярости, который побуждал его к безудержной мести, он начал использовать язык не просто оскорблений в адрес Агамемнона, но таких оскорблений, которые имели тенденцию ссорить его с народом. Затем, возможно, из-за того, что они не откликнулись на его чувства и стали активными участниками ужасной драки, он насмехается над ними и угрожает им. Ибо он начинает[232]: 'Какой же ты трус! Никогда ты не осмеливался вооружиться вместе с народом для битвы или с вождями для засады'. И затем[233]. 'Пожиратель людей! какими ничтожествами ты правишь! иначе, несомненно, это было бы последним из твоих злодеяний. И снова, в объявлении[234]: "Этой могущественной клятвой каждый из вас будет оплакивать отсутствие Ахиллеса".

Противостояние на Агоре.

Часто утверждалось, что принцип народной оппозиции в дебатах представлен только Терситом. Но давайте продолжим шаг за шагом. Во всяком случае, достаточно ясно, что оппозиция конфедеративных царей сразу же достаточно представлена в Ахилле; и что она представлена не им одним, поскольку в Собрании Девятой книги Диомед резко осудил Агамемнона и предложил курс, диаметрально противоположный его курсу; этот курс был немедленно принят одобрительными возгласами армии.

Случай с Терситом.

Перейдем теперь к Терситу. В "Илиаде" нет более необычной картины, чем та, которую он нам представляет. Это вполне заслуживает детального изучения.

Гомер, очевидно, приложил все усилия, чтобы сосредоточить на этом персонаже все, что могло бы сделать его отвратительным для слушателей его песни, и, тем не менее, вложил в его уста не только патриотический лозунг, но и довод, который, возможно, был бы популярен, если бы он своей наглой вульгарностью не навлек на себя благосклонность армии.

По существу это тоже был сносный случай, но не очень хороший; ибо он ошибался, полагая, что Ахилла можно умиротворить; и снова ошибался, советуя грекам, теперь уже без Ахилла, уступить троянцам, которым они все еще превосходили в военном деле.

Он во всем противоположен великим человеческим идеалам Гомера. Подобно тому, как в образце королей и героев должны сочетаться моральные, интеллектуальные и телесные достоинства, каждое в высшей степени, так и Терсит представляет для обозрения соответствующее усложнение уродств. Что касается первого, то он самый печально известный человек (αἷ σῆτος) в армии; и в своем влиянии он полагается не на здравый смысл и честь

солдат, а на грубое шутовство, которое он демонстрирует в единственном грубом намеке, который можно найти во всех речах стихотворений. Что касается второго главы, то в его многословной речи нет ни порядка, ни приличий[235]. Что касается третьего, то он хромым, кривоногий[236], горбатый, сутулый, остроголовый, и, наконец, (среди κατὰκόμωντες) он лысый или даже хуже, потому что на его голове кое-где растут волосы[237]. Наконец, ненавистный всем[238], он больше всего ненавидит, а также злобствует по отношению к двум главным героям поэм, Ахиллесу и Улиссу: замечание, вставленное с равной изобретательностью и значимостью, потому что Гомер, вставляя его, фактически лишает Терсита всякой благосклонности, которую в противном случае Терсит мог бы снискать у своих слушателей, от кажущегося встать на сторону обиженного Ахиллеса. Это также достойно внимания, поскольку указывает на то, как Гомер ощущал силу той связи, которая объединяет воедино все великие совершенства любого рода. При поверхностном взгляде два великих персонажа Ахиллеса и Улисса кажутся антагонистичными, и мы могли бы ожидать, что их симпатии и антипатии пойдут в противоположных направлениях. Но поскольку в Девятой книге Ахилл объявляет Улисса одним из тех, кого он любит больше всего среди греков[239], так и здесь они едины в том, что в высшей степени разделяют общую антипатию к Терситу.

Лишив негодяя всех качеств, которые могли бы привлечь к нему хоть малейшую долю симпатии, Гомер позаботился о том, чтобы оставить Терситу в полном распоряжении все, что было необходимо для его ремесла: обильную речь (213) и немалую силу вульгарных оскорблений (215).

Опять же, качество простой грубости, присущее Терситу и хорошо проявленное в его речи, у Гомера одинаково отличается от насмешливости, которую он может обнаружить в серьезном Улиссе из "Одиссеи", даже находясь в страхе перед Циклопом; и от той огромной и, возможно, до сих пор не имеющей себе равных силы сарказма, кульминацию которого мы нашли в Ахилле.

В "краткой речи Терсита" Гомер ухитрился показать поразительные примеры злобы (ст. 226, 234), грубости (232), тщеславия (ст. 228, 231, 238), трусости (236); в то время как повсюду это полотно непревзойденной наглости. Из этого мы находим лучший штрих в конце, где он говорит, что[240],

ἀλλὰ μάλ' οὐκ Ἀχιλλῆϊ χόλος φρεσὶ ν, ἀλλὰ μεθήμων·

ἦ γὰρ ἂν, Ἀτρεΐδῃ, νῦν ὕστατα λωβήσαιο[241].

Ибо здесь негодяй подражает Ахиллесу, которому (ради нанесения ущерба Агамемнону) он притворяется покровителем, и, помимо претензии говорить о своих чувствах так, как будто его посвятили в этот случай, он фактически заканчивает той самой фразой, которую Ахилл в момент наивысшей страсти использовал при Сборке Первой книги (i. 232).

Если мы рассмотрим выбор тем каждой отдельно, с точки зрения эффекта, речь не лишена определенного эпитета: он сильно обрушивается на алчность Агамемнона (226); и на его ответственность как правителя (234): притворяясь, что подстрекает греков к мужеству (235), он льстит их тоске по дому и малодушию, советуя вернуться (236); и, поддерживая Ахилла, он правдоподобно рассчитывает на то, что его уличат в том, что он принял сторону народа. Но если мы рассматриваем это, как следует рассматривать любую речь, применительно к какой-то первостепенной цели, то это действительно бессмысленно и непоследовательно. Останавливаясь на несправедливости, причиненной Ахиллесу, и утверждая покладистость

этого вождя, он должен был бы закончить рекомендацией попытаться компенсировать и умиротворить его; вместо этого он рекомендует Возвращение, от которого только что отказались. Но по-настоящему экстравагантная речь проявляется только в связи с его самолюбием; когда, подобно многим лучшим людям, он полностью теряет всякое чувство смешного, которым мог бы обладать. Это не только "женщины, которых мы даем тебе" (227); "услуга, которую мы оказываем тебе" (238), но это также "золото"[242], которое какой-нибудь троянец может привести для выкупа своего сына, которого я или еще какой-нибудь другой грек, возможно, взял в плен. "Я, Терсит, или какой-нибудь другой грек! Единственный грек, о котором мы слышим в "Илиаде" как о том, что он добыл и продал за выкуп пленников во время войны, - это Ахилл[243]; и именно с ним Терсит, таким образом, связывает себя узами брака. После этого Улисс, понимая, что он противостоит преобладающим настроениям Собрания, заставляет его замолчать, благоразумно прикладывая скипетр к его спине и плечам: но даже Терсита он не заставляет замолчать силой, пока тот сначала не упрекнет его аргументированно[244].

Таковы факты по делу Терсита. Должны ли мы заключить из этого вместе с Гротом, что Гомер сделал его уродливым и отвратительным, потому что он был самонадеянным критиком, хотя его яростные упреки были в значительной степени обоснованы, и что его судьба и все обстоятельства этого Собрания демонстрируют "деградацию народных масс перед вождями"[245]?

Сплачивая греков, говорит выдающийся историк[246], Улисс льстит и успокаивает вождей, но гонит народ резкими выговорами и ударами. Теперь, конечно, что касается самого факта, то это не совсем так. Это не народ, а те, кого он поймал на том, что они кричат, вместо того, чтобы вернуться и прислушаться к голосу разума в Собрании, кого он поразил скипетром[247]:

ὄν δ' αὖ δῆμον τ' ἄνδρα ἴδοι, βοῶντά τ' ἐφεύροι·

и можно заметить, что он обращается ко всем классам одинаково словом *δαμόνιε*[248]; который, хотя и является выражением осуждения, не является выражением неуважения.

Если бы Терсит представлял принцип рассуждения в общественном Собрании, мы вполне могли бы увидеть в обращении с ним деградацию народа. Но он олицетворяет собой брань, а не рассуждения; и Гомер провел большое различие между этим человеком и основной массой армии, сообщив нам, что, по общему мнению, Улисс оказал услугу, даже большую, чем любая из его прежних, низложив Терсита. Улисс совершил тысячу добрых дел на совете и на войне: но это лучшее из всего, что он остановил негодяя в его сквернословии[249].

Терсит говорил не только против Агамемнона, но и против настроений всей армии (212); и основание для действий Улисса кроется не в том факте, что он сопротивлялся Агамемнону, или Агамемнон со всем отрядом царей; но в манере его речи и в том, что он действовал в одиночку и вопреки общему настроению. Прежде всего, мы должны вспомнить обстоятельства, при которых Улисс отважился наказать даже этого злобного и сквернословящего хулигана. Это было в момент кризиса, нет, агонии. Бегство от Собрания к кораблям не последовало за упорядоченным согласием на предложение, как это обычно делалось; но это было результатом бурного импульса, подобного порыву ветра, всколыхнувшего море или обрушившегося на кукурузное поле (Ил. ii. 144-54). Следовательно, если Улисс использует скипетр Агамемнона, чтобы поразить тех, кто призывал на помощь это разрушительное смятение (ii. 198), нам не нужно рассматривать это как образец того, что было бы сделано в обычных обстоятельствах,

скорее как судьбу Уота Тайлера для некоего подобия британской свободы при Плантагенетах. Терсит тоже был одиозен, но армия, несмотря на преобладающее чувство одобрения, все же, похоже, испытывала некоторое сожаление по поводу его неудачи[250];

οἱ δὲ, καὶ ἄχνύμενοί περ, ἐπ' αὐτῷ ἤδ' ὀ γέλασαν·

ибо первые слова наводили на мысль, что они знали, как ценить свободу мысли, которой злоупотребляли, которая была опозорена и, следовательно, ограничена в его лице. Конечно, было бы весьма опрометчиво делать вывод из подобного случая, что дебаты на Ассамблеях были формальными, и что им ничего не оставалось делать, кроме как слушать фиктивную дискуссию и регистрировать или следовать указам, которые по существу были указами только Агамемнона.

Я полагаю, что ошибка, связанная с обсуждаемым нами суждением, является двойной: ошибка в отношении Агамемнона к другим царям и вождям; и ошибка в отношении государей в целом к своим подданным. Агамемнон обладал большим влиянием и авторитетом, но у него, как мы уже видели, не было ничего похожего на деспотический контроль над другими царями. Цари были сильны личными способностями, высоким происхождением, одобрением Юпитера, владением и традициями; но вся их сила, какой бы великой она ни была, заключалась, как правило, в направлении влияния, а не в насилии.

Я не думаю, однако, что мы должны довольствоваться исключительно негативным способом лечения случая с Терситом. Я не могу не предположить, что при беспристрастном рассмотрении это может научить большему, чем можно извлечь из него, просто сказав, что это не доказывает, что Собрание было иллюзией. Мы должны предположить, что картина Гомера, если и не историческая, то, по крайней мере, соответствует законам вероятности. Итак, что это за картина? Что армейский шут, совершенно лишенный влияния, не способный вызвать никакого уважения, когда масса народа преодолела свой порыв вернуться домой, вернулась в Собрание и ожидала предложения королей, сначала продолжает ругаться (ἐκολῶν), в то время как все остальные молчат, а затем берет на себя инициативу рекомендовать возобновление проекта, от которого они в тот момент отказались. Если Поэт мог приписать такое поведение существу достаточно сообразительному и такому же осторожному, как и другие его соратники, разве сам факт этого не предполагает, что свобода дебатов была в принципе, по крайней мере, известной и привычной?

Агора на щите, Ил. XVIII.

Сцена, изображенная на Щите Ахиллеса, дает нам новое доказательство того, что народ принимал реальное участие в ведении государственных дел. Народ в Собрании. Ведется судебное разбирательство. Речь идет об убийстве; и виновный заявляет, что заплатил надлежащий штраф, в то время как его противник утверждает, что он его не получал. Каждый настаивает на судебном решении. Люди, сочувствующие, кто-то одному, а кто-то другому, подбадривают их.

Λαοὶ δ' ἄμφότεροισιν ἐπήπουν, ἄμφι δ' ἄρ' ὤγοι·

κήρυκες δ' ἄρα λαὸν ἐρήτυον[251].

Я понимаю последние слова как заявление не о том, что герольды запретили и прекратили ликование народа, но либо о том, что они держали его в рамках, либо, скорее, о том, что, когда судьям пришло время выступить, они, герольды, добились тишины. Согласно значению ἐρήτωσ в Ил. ii. 211,

ἄλλοι μὲν ῥ' ἔζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ' ἑδρας.

Теперь о ликовании людей я осмелюсь сказать, что это не вызывает презумпции невиновности, а фактически представляет собой их вмешательство. Правилom любого сносно регулируемого собрания, на которое возложено ведение важных вопросов, является не допускать никаких выражений одобрения или иных проявлений в ходе разбирательства, за исключением сторон, непосредственно принадлежащих к данному органу. Полное исключение аплодисментов в судебных делах объясняется состоянием ума и манерами, отличными от тех, что были в героическую эпоху. Но исключение любых аплодисментов со стороны простых людей, не имеющих отношения к бизнесу, основывается на истине, общей для всех эпох, а именно на том, что такие аплодисменты составляют долю в бизнесе и способствуют принятию решения. Все помнят, как крики с Галерей стали одним из самых громких скандалов первой революции во Франции и как сильно они повлияли на решения Национального собрания. Нерегулярное использование такой власти является серьезным посягательством на законодательную или судебную свободу: разрешенное обладание привилегией приравнивается к участию в должности государственного деятеля или судьи и демонстрирует существенное положение λαός, или народа, в Собраниях героической эпохи.

Но, очевидно, их функция не ограничивалась простым поощрением стороны судебного процесса, которой каждый мог бы посочувствовать. Ибо нам сказано не только, что Судьи, то есть ὑέροντες, высказывали свои мнения последовательно, но также, что на виду у всех лежали два золотых таланта, которые должны быть даны тому, кто вынесет справедливейший приговор (xviii. 508);

τῷ δόμην, ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.

Таким образом, ясно, что судья, который мог бы поступить наилучшим образом, должен был получить два таланта: но кто должен был их отдать? Не сами ὑέροντες или старейшины, конечно; ибо между ними было соперничество. Распоряжение этим гонораром могло быть решено только одним способом, а именно путем всеобщего одобрения народа, которое должно быть выражено, после заслушивания соответствующих сторон, в пользу того, чьи чувства они больше всего одобряют. И те, кому может показаться странным говорить о голосовании путем аккламации, должны помнить, что вплоть до сегодняшнего дня во всех совещательных собраниях подавляющее большинство голосов приходится на голосование путем аккламации или еще менее определенной проверки молчанием. Незначительное меньшинство случаев, когда расхождение во мнениях вызывает серьезное давление, теперь решается арифметическим путем; тогда они были бы улажены каким-нибудь благоразумным обращением к общей воле, исходящей от человека, обладающего способностями и весом. Действительно, даже сейчас, в случаях, когда численность приближается к численности греческой армии, не может быть *однозначного* решения с помощью арифметики. Требование, однако, чтобы разногласия были единственным допустимым критерием свободы, действительно ухудшает состояние человеческой природы сверх того, чего требует истина опыта.

И, наконец, что мы скажем о прямом свидетельстве самого Агамемнона? Idæus[252], троянский вестник, прибывает с предложением вернуть украденное имущество, но не Хелен. Его принимают в гробовой тишине. После паузы Диомед выражает общее чувство. "Ни у нас не будет блага без Елены, ни у Елены с благами. Троя обречена". Собрание выкрикивает свое одобрение. Агамемнон немедленно обращается к посланнику: 'Идей, ты слышишь разум ахейцев, то, как они отвечают тебе; и я думаю вместе с ними'. По крайней мере, это заявление настолько выразительное, насколько это возможно выразить словами, и исходящее из уст конкурирующей власти, о том, что одобрение Собрания было, по всем практическим причинам, его голосованием, и что требовалось только согласие царя, чтобы наделить его самыми полными полномочиями. В Девятой Илиаде, как мы видели, голосование прошло успешно даже без этого совпадения[253].

Теперь, я надеюсь, мы можем исходить из того, что не должны воспринимать неудачный поступок сквернословящего негодяя, которого ненавидит вся армия, как пример того, что случилось бы с народом или даже с его частью, если бы они разошлись в суждениях со своим королем. Но что мы скажем на аргумент о том, что не найдено ни одного случая, когда человек скромного положения принимал бы участие в дебатах Ассамблей? Несомненно, ведение дебатов фактически находилось в руках тех, чье происхождение, богатство, положение в обществе и образ жизни давали им способность вести общественные дела. Даже в девятнадцатом веке очень редко случалось, чтобы рабочий принимал участие в заседаниях окружного собрания: но по этой причине никто не предположил бы, что такое собрание может быть использовано просто как инструмент класса, ведущего дебаты, а тем более какой-либо выдающейся личности в этом классе. Если мы не можем представить себе свободу без постоянных разногласий, добросовестное выполнение долга по предоставлению информации и советов без принуждения и угнетения, это признак либо нашей ограниченности, либо нашего политического вырождения; но слабый взгляд не умаляет реальности объекта, на котором он может быть зафиксирован.

Тем не менее мы можем признать, что среди многочисленных собраний "Илиады" нет ни одного случая, когда бы одна часть Собрания дала согласие, а другая отказала. Существует, как мы видели, ясный и убедительный случай, когда мнение главнокомандующего отвергается, а вместо него принимается мнение нижестоящего командира. Это, на мой взгляд, далеко доказывает все, что необходимо. Однако из "Одиссеи" мы можем пойти еще дальше.

Только, прежде чем покинуть "Илиаду", давайте обратим внимание на термины, в которых цари обращаются к греческим собраниям: их называют друзьями и героями; имена, которые, по крайней мере, кажутся подразумевающими их право судить или свободно соглашаться, по крайней мере в той степени, в какой такой титул признавался на древних советах и ассамблеях англосаксов. Было ли это появление насмешкой? Я не говорю, что мы должны сравнивать это с организованными, надежными и регулярными привилегиями нескольких наций в наши дни. Но было бы гораздо большей ошибкой относиться к нему как к праздной форме или как к чему-то еще, кроме весомой реальности.

Из того, что в этом стихотворении рассказывается о событиях, произошедших после взятия Трои, становится совершенно ясно, что функция греческого собрания не ограничивалась слушанием. Армия собралась на то, что ради различия мы можем назвать Пьяным сборищем[254]. Итак, влияние вина на его действия вполне достаточно, чтобы показать, что его действия были действиями народа: ибо Гомер никогда не допускает, чтобы его вожди теряли самообладание под действием алкоголя.

По этому поводу наблюдалось заметное расхождение во мнениях: люди встали на их сторону; δῖχα δὲ σφισιν ἦνδανε βουλή (Od. iii. 150). Одна половина поднялась на борт; остальные остались позади с Агамемноном (155-7). Часть, которая уплыла, снова разделилась (162); и часть из них вернулась к Агамемнону. Действительно, на протяжении всей "Одиссеи" мы видим, как свободно экипажи "Улисса" говорили или действовали, когда считали нужным, вразрез с его взглядами. Если он говорит, Мы не должны спорить с непокорными выступления мужчин в Великих проливы в море, ответ, Во-первых, что их потребности возможно скорее склонны вызывать их молчаливого согласия в более строгую дисциплину; а во-вторых, что их свободы и даже вседозволенности, не соответствует общей тональности отношений между свободными людьми разных классов, проявляющаяся в нас и везде в гомеровских поэм.

Действительно, можно сказать, что разделения греков в последних сражениях под Троей были разделениями не людей, а вождей. Это, однако, на первый взгляд текста, весьма сомнительно. Из рассказа о Псевдо-Улиссе в "Тринадцатой Одиссее" (265, 6) мы видим, что в греческих контингентах были группы и отдельные действия: и, вероятно, именно на них может ссылаться Нестор, когда рекомендует провести Смотр, чтобы ответственность офицеров была возложена на них по отдельности. Теперь, в рассматриваемом нами случае, таким образом описывается первое разделение. Менелай призвал всех греков (πάντας Ἀχαιοὺς) разойтись по домам: Агамемнон не согласился (141, 3): пока они оспаривали этот пункт, Собрание разделилось на две партии (ст. 149, 50);

οἱ δ' ἀνόρουσαν ἐὺκνήμιδες Ἀχαιοὶ

ἦχ' ἢ θεοσπεσίη· δῖχα δὲ σφισιν ἦνδανε βουλή.

Здесь нет никакого намека на то, что люди в дивдинге просто следовали за своими вождями. Более того, тон описания таков, что заставляет нас понять, что движение было популярным и возникло из дебатов: так что, даже если вожди и их люди держались соответственно вместе, что они, возможно, и делали, все же вожди, вероятно, следовали за ними в той же степени, в какой они руководили. Опять же, когда происходит второе разделение, это описывается так: 'Одна часть вернулась при Улиссе Агамемнону. Предчувствуя недоброе, я отплыл домой со всем корпусом своих кораблей, которые последовали за мной. Диомед сделал то же самое и (ἔφρε δ' ἑταίρους) пригласил своих людей (сделать это). И после нас, наконец, пришел Менелай'. (ст. 162-8). Теперь здесь нам даны наставления по трем пунктам:

1. Диомед убеждал своих людей; следовательно, то, что они должны были уйти, не было чем-то само собой разумеющимся.
2. Нестор особо упоминает, что все его подразделения держались вместе (σὺν νηυσὶ ν' ἀλλήλοις); следовательно, это происходило не всегда.

3. Очень маловероятно, что часть, которая впервые названа вернувшейся с Улиссом, должна была ограничиваться его собственным небольшим контингентом.

Таким образом, остается под большим сомнением, действительно ли вожди и люди держались вместе; и ход повествования подтверждает предположение, что люди, по крайней мере, внесли существенный вклад в какие-либо совместные выводы.

Итаканское собрание Од. ii.

Как в первом Сборнике "Илиады" Ахилл разыгрывает свою личную ссору на глазах у публики и подает своего рода молчаливый протест Агамемнону, так и в "Одиссее" Телемах делает то же самое по отношению к Женихам. Именно там он протестует против того, что они продолжают употреблять его вещество; что он отвергает их встречное предложение об увольнении его матери от их имени и что он сам, наконец, выступает запутешеством на материк[255]. Там также мы находим самое отчетливое признание Ментором, своим опекуном, власти и прав людей; ибо он громко жалуется на то, что они сидят молча, какими бы многочисленными они ни были[256], вместо того, чтобы вмешаться и упрекнуть горстку Претендентов, которые были правонарушителями. Но если бы, согласно гению и обычаям героической эпохи, людям ничего не оставалось делать, кроме как слушать и повиноваться тем, кто выше их, ожидание, что они должны были подняться на защиту несовершеннолетнего от связанной с ним аристократии страны, было бы абсурдным и не могло бы быть выражено, как мы находим, Ментором.

Это действительно правда, как было замечено Титтманном[257], что это Собрание не дает эффективного ответа на апелляцию Телемаха; и что Истцу Антиною разрешено заявить в нем о своем собственном намерении и намерении своих товарищей продолжать их незаконное разбирательство. Но то, что мы видим в "Одиссее", не является нормальным состоянием героических государств: это одно из тех государств, которые дезорганизованы отсутствием своего главы, с народом, как доказывает история, глубоко запятанным нелояльностью. И все же давайте посмотрим, каков был вес Агоре даже при таком положении вещей. Во-первых, когда Телемах желает выразить первоначальный протест против действий Женихов, он призывает его к себе на помощь. Во-вторых, хотя в начале обсуждения ему не делается никаких уступок, тем не менее по ходу обсуждения он укрепляет свои позиции. Речь Антиноя, первого Претендента, который обращается к Собранию (Od. ii. 85-128), выдержана в тоне явного вызова и трактует его попытку как шутку и оскорбление (ст. 86). Следующий - это рассказ Эвримаха, который, хотя и высмеивает предзнаменования, все же делает шаг вперед, обращаясь к Телемаху с просьбой взять дело в свои руки и побудить его мать выйти замуж за одного из них (178-207). Третье, у Лейокрита, содержит еще одно небольшое приближение; ибо оно выражает согласие с его предполагаемым путешествием и рекомендует, чтобы Ментор и Алиферсес помогли ему подготовиться к нему (242-56). Таким образом, даже здесь мы видим тот прогресс, который всегда можно заметить в гомеровских дебатах; и влияние, под которым это было произведено, несомненно, должно было быть вызвано пониманием Собрания, к которому апеллировали как Телемах, так и еще более непосредственный Ментор.

В-третьих, однако, мы усматриваем в самом этом сообщении признаки неупорядоченного и отвлеченного состояния общественного сознания. Ибо, кроме чувства жалости к Телемаху, когда он разражается слезами (ст. 81), они не проявляют никаких признаков одобрения или неодобрения. Нам не хватает на Итаке хорошо известных возгласов "Ура" из "Илиады",

οἱ δ' ἄρα πάντες ἐπὶ ἄχον υἷ ἐς Ἀχαιῶν.

Их отпускают, не подав никакого знака; точно так же, как это происходит в Собрании Первой Илиады (исключение в этом стихотворении); где разум масс, озадаченных и сбитых с толку, не в состоянии позволить им вмешаться путем четкого выражения своих симпатий[258].

Однако в "Одиссее" есть два других примера Сборок.

Феакийское собрание от р. X. viii.

Первым из них является Собрание феаков в Восьмой книге; мы можем с уверенностью предположить, что оно составлено в целом в соответствии с преобладающими нравами.

Петиция[259] от Улисса к Алкиною заключается в том, чтобы его отправили домой. Король отвечает, что он примет меры по этому поводу на следующий день[260]. Соответственно, созвано Собрание феакийского народа: сама Минерва в образе герольда прилагает усилия, чтобы созвать главных лиц[261]. Затем Алкинойус предлагает подготовить корабль с экипажем из пятидесяти двух отборных мужчин[262]. Со своей стороны, он устроит для этой команды вместе с королями развлечение во дворце, прежде чем они отправятся в путь[263]. Все это делается без обсуждения. Затем начинается банкет и звучит первая песня Демодока. Затем компания возвращается к месту сбора, к играм. Именно здесь Эвриал насмехается над Улиссом[264]. В своем ответе он апеллирует к своему характеру просителя; но он является просителем короля и всего народа, а не только короля, и даже не только короля и его братьев-королей[265];

ἦμαι, λισσόμενος βασιλῆά τε, πάντα τε δῆμον.

Поэтому мы должны предположить, что Алкиной в своем предложении чувствовал, что действует в соответствии как с прецедентом, так и с общим мнением. Он не приказывает принимать какие-либо меры, а просто высказывает свое мнение в Собрании по поводу предоставления прохода, которое молчаливо принимается (ст. 46). И все же я не могу не считать признаком сильного притока популярности в политические идеи того времени, когда мы обнаруживаем, что даже такая незначительная мера, как "Отправка Улисса", была сочтена подходящей для предложения и урегулирования именно там.

Но у нас есть более важный материал, изложенный в двадцать четвертой "Одиссее", которая дает нам восьмой и последний пример греческого собрания, его полномочий и обычаев.

Опустошение, учиненное Улиссом в отношении Женихов, наконец обнаруживается после того, как от тел избавляются; и после обнаружения вожди и народ массово возвращаются на открытое пространство, где проводились Собрания и которое носит одно с ними название[266]. Здесь к народу обращаются, с одной стороны, Эвпейт, отец главного Поклонника Антиноя, с другой - вестник Медон и Алитерсес, сын Мастора-Провидца. И здесь мы получаем дополнительные доказательства того, что Собрания не были совершенно непривычны действовать в соответствии со своими чувствами и мнениями. Нет никаких признаков недоумения или замешательства, но есть разница в настроениях, и каждая сторона действует по-своему. Более половины собравшихся громко аплодируют Ализерсу и расходятся, преисполненные решимости не вмешиваться в это дело[267]. Другая сторона остается на своих местах, держась вместе с Эвпейтом; затем они вооружаются и предпринимают поход против

Улисса. Потеряв своего предводителя в результате броска копья Лаэрта, для которого Минерва снабдила его силой, они падают, как овцы, перед оружием своего великого вождя и его сына. Тем не менее, хотя они и разгромлены, к ним не относятся как к преступникам за их сопротивление; но стихотворение заканчивается сообщением нам, что Минерва в форме Наставника[268], вела переговоры о мире между сторонами[269].

Советы или Ассамблеи Олимпа.

Поскольку Собрания Олимпа произрастают из политеистической формы греческой религии, мы должны относиться к ним как к части ее человеческого элемента и как к отражению героической жизни. Следовательно, будет заметна аналогия между отношением Юпитера к другим Бессмертным в Олимпийском Собрании и отношением Греческого Государя ко всем или некоторым из тех, кто его окружает. Но поскольку божества встречаются в качестве правителей, мы должны искать эту аналогию скорее в отношениях между Агамемноном и царями или между местным правителем и его старейшинами (γέροντες), чем между любым из двух соответствующих глав и массой тех, кем он правил. Эта аналогия по существу поддерживается стихотворениями. Верховная власть Юпитера, несомненно, занимает более высокое положение среди божеств Олимпа, чем власть Агамемнона или любого другого из его царей на земле. Она включает в себя больше элемента силы и более приближена к позитивному превосходству. Соответственно, все, что указывает на свободу на Олимпе, будет иметь тенденцию *тем более* показывать, что идея свободы в дебатах была, по крайней мере, среди вождей, знакома здесь, внизу. Однако даже на Олимпе другие главные божества могли роптать, спорить и возражать. Моущество Юпитера проявляется в зените на Собрании Восьмой "Илиады", когда он яростно угрожает всем, кто не повинует, и бросает вызов всей стае, чтобы помериться с ним силами. Горячность, с которой он говорил, произвела на богов такой же устрашающий эффект, как великая речь Ахилла на посланцев: и результат, оказанный на умы слушателей в обоих случаях соответственно, описан в строках, которые, за исключением единственного слова, точно соответствуют[270]. Тем не менее, сразу же после того, как Юпитер отдал категорический приказ не оказывать помощи ни одной из сторон, Минерва отвечает: "Что ж, мы не будем сражаться — чего она никогда не делала — но мы будем советовать"; и этот Юпитер сразу же и радостно разрешает[271]. Но есть нечто большее, чем это. Какова бы ни была причина, личная воля Юпитера, исполненная в отношении Ахилла[272], не исполнена в отношении Трои. Собрание Четвертой книги открывается предложением от него, что Троя должна стоять[273]. От этого он отступает, и решено, что город должен быть разрушен; при этом единственная оговорка, которую он делает, вовсе не от имени троянцев, а просто от имени своей собственной свободы разрушить любой другой город, который ему может не понравиться, каким бы дорогим он ни был для Юноны.

Положение Агамемнона, отражением которого в значительной степени является Юпитер, очень похоже на положение политического лидера при свободных европейских и, возможно, можно сказать, особенно при британских институтах. Его существенные элементы заключаются в том, что он работает частично за счет приспособления, а частично за счет влияния.

Помимо своей великой политической функции, ἀγορῆ, как мы видели, частично является судебным органом. Но большая гарантия публичности присутствует при проведении судебных процессов, а также при обсуждении политических вопросов. Таким образом, пристрастия людей, проявляющих свои чувства видимыми знаками, благодаря культивированию

привычного самоуважения, не переходят, с одной стороны, в ярость, а с другой стороны, не вырождаются в низость.

Возможно, заслуживает внимания тот факт, что там, где на Собраниях формировались партии, те, кто думал сообща, заседали вместе, поскольку это помогает указать на существенный и активный характер общественного интереса к государственным делам. Таков, по-видимому, намек на строку в Восемнадцатой "Илиаде" (502),

λαοὶ δ' ἀμφότεροισιν ἐπήπουον, ἀμφὶς ἑρῶυοι.

Как ἀμφὶς ἑρῶυοι выражает свои чувства, ἀμφότερωθεν вряд ли можно обозначить любую вещь, кроме того, что они сидели отдельно на каждой стороне конструкции. Подобная композиция представляется, заложенные в двадцать четвертый "Одиссее", где мы узнаем, что партия женихов остались в массе (μίμνον αὐτόθι ἄθροοι τοῖς δ', С. 464). Я думаю, что это обстоятельство отнюдь не маловажная, как иллюстративный емкости, в которых люди участвовали в ассамблеях ни по политическим или судебным разбирательством.

Судебные функции Ассамблеи.

Место Проведения Собраний является также местом отправления правосудия. Но на главенство политической функции указывает то, что слово γορη, означающее Собрание для дебатов, таким образом, дает свое собственное обозначение месту, где проводились обе функции. В то же время в слове "Фемида" мы имеем четкое указание на то, что первоначальная сфера правления была судебной. Ибо это слово у Гомера обозначает принципы закона, хотя они еще не были сведены к фиксированным формам загробных времен; но, с другой стороны, Фемида также была богиней, и в этом качестве она занимала должность созыва и роспуска Собраний[274]. Таким образом, старшая функция, как это часто бывает, вовремя оказалась слабее и была вынуждена уступить первенство своему более энергичному конкуренту.

Но во времена Гомера, хотя они и различались, они еще не были разделены. На Щите Ахиллеса работа Фемиды[275] выполнена в полном сборе: и это, вероятно, отражает обычай того времени. Но в Одиннадцатой "Илиаде" Патрокл проходит мимо кораблей Улисса[276],

ἴνα σφ' ἀγορῇ τε θέμις τε

ῆην.

И в описании "Циклопов" линия проведена еще более четко; ибо сказано, что[277],

τοῖσιν δ' οὐτ' ἀγοραὶ βουλευφόροι, οὔτε θέμιστες.

В том же самом месте также совершались публичные религиозные обряды: и хотя в греческом лагере он, несомненно, был размещен в центре линии с целью обеспечения безопасности, его положение наиболее точно символизировало также его моральную центральность как самого сердца национальной жизни. На месте проведения Собраний были сосредоточены религиозные, а также патриотические чувства страны.

Дело в том, что повсюду у Гомера мы находим признаки интенсивной корпоративной или общественной жизни, существующей и действующей бок о бок с индивидуальной. И в этой корпоративной жизни γορη является подходящим органом. Если человека можно назвать

великим, он всегда велик в спорах и на поле боя; если же он ничтожен и ни на что не годен, то он бесполезен ни в битве, ни в совете. Две великие формы общего и публичного действия предпринимаются с учетом критериев личности.

Когда Гомер хотел описать циклопов как живущих в состоянии варварства, он говорит не о том, что у них нет ни царей, ни городов, ни армий, ни страны, а о том, что у них нет Собраний и нет отправления правосудия, которое, как мы видели, было основной функцией Собраний. И все же во всех или почти во всех Штатах были Короли. Урок, который следует усвоить, состоит в том, что в героической Греции царь, каким бы почтенным ни был его титул, был не источником общественной жизни, а лишь ее выразителем. Источник лежал в сообществе, а сообщество собиралось на Агоре. Это чувство настолько глубоко укоренилось в сознании Поэта, что кажется, будто он не мог представить себе группу людей, выполняющих какую-либо общую функцию, без того, чтобы у них не было, так сказать, общей души в отношении этого.

Обычная Душа или τὶς у Гомера.

Органом этой общей души у Гомера является τὶς или "Кто-то"; отнюдь не один из наименее примечательных персонажей поэм, хотя он и был одним из наименее почитаемых. τὶς Гомера - это, как я понимаю, то, что в Англии мы сейчас называем общественным мнением. Мы постоянно находим случаи, когда Поэт хочет рассказать нам, какие настроения в армии преобладали среди греков. Он мог бы сделать это дидактично и подробно описать важность общественного мнения и его значение в каждом конкретном случае. Он избрал метод, более поэтический и менее навязчивый. Он действует драматично, через посредство человека и формулы:

ὣς δὲ τις εἶπεσκεν, ἰδὼν ἐς πλῆσιον ἄλλον.

Однако, учитывая степень общего интереса среди греков, может показаться не заслуживающим внимания, что он нашел орган для этого в своем τὶς. Но когда он объединяет греков и троянцев в Пакте, хотя это делается только с целью сиюминутного действия, все же он делает целое за против двух народов и дает им общее τὶς (Ил. iii. 319):

ὣς δὲ τις εἶπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.

Мы находим еще один замечательный пример в случае с Женихами из "Одиссеи". Какими бы распутными и эгоистичными ни были молодые люди, соревнующиеся друг с другом за приз, которым может наслаждаться только один человек, они, тем не менее, на данный момент объединены общими интересами. Следовательно, у них тоже есть коллективное чувство и готовый орган для него в τὶς из "Одиссеи" (Od. ii. 324), который говорит от имени группы Поклонников:

ὣς δὲ τις εἶπεσκε νέων ὑπερῆγορέοντων.

Все это, на мой взгляд, наиболее поразительные доказательства того, насколько прочно принцип общественной или корпоративной жизни для всех человеческих сообществ овладел умом Гомера и Грецией героической эпохи. Я также не могу удержаться от мнения, что, по всей вероятности, мы можем разглядеть в гомеровском τὶς первичного предка знаменитого греческого хора. Функция хора состоит в том, чтобы выражать общественное мнение, но в некотором смысле уместное, добродетельное и благочестивое. Так вот, это то, что обычно

делает гомеровский τὶς; но, конечно, он делает от имени сообщества то, что делает Хор как принадлежащий к группе актеров.

После всего, что мы видели, несомненно, было бы большой ошибкой делать вывод, что, поскольку политические идеи и практика тех времен не носили одежды, которые сейчас в моде, они не обладали собственной реальной жизнеспособностью и мощным моральным влиянием на умы и характеры людей.

Несовершенная организация Героических государств.

Но, с другой стороны, отвергая эти необоснованные и пагубные представления, мы должны остерегаться слишком большого внешнего сходства между героической эпохой и веками современного христианского мира или даже исторических Греции и Рима. Все определенные формы публичного права являются результатом длительного времени, дорогостоящего опыта и доказанной необходимости. Право и сила дополняют друг друга; но пропорции, в которых они должны быть смешаны, не подчиняются никакому установленному правилу. Если существование прав, как народных, так и королевских, в героическую эпоху несомненно, то их неопределенность бросается в глаза. Но форма, которую они носили, несмотря на расплывчатость очертаний, была вполне адекватна потребностям времени. В связи с героической эпохой мы не должны думать об общественной жизни как о профессии, о постоянной массе государственных дел, о вечно просроченном законодательстве, о сложном механизме управления. Во время Троянской войны в Греции не было регулярных регентов. Во время долгого отсутствия Улисса на Итаке не было Собрания^[278], до собрания, созванного Телемахом и описанного во Второй книге "Одиссеи". Однако мы видели, как отсутствие механизмов сказалось на состоянии Греции, поощряя фракции и порождая революцию. Напряжение, вызванное Троянской экспедицией, было слишком велико для столь бесхитростной и неорганичной системы. Государство Итака в "Одиссее" политически представляет собой состояние почти анархии, хотя симптомы этой болезни тогда были намного мягче, чем сейчас. Состояние острова показывает нам, каким было его государственное устройство, а не то, чем оно было на самом деле. Но для всех обычных случаев этого было достаточно. Ибо Собрания собирались только тогда, когда им было чем заняться; и действительно, такие моменты возникали редко. Нарушения общественного порядка и социальных прав, которые сейчас чаще всего совершаются обманом, тогда были почти полностью вызваны насилием. А насилие, по своей природе, вряд ли могло быть предметом апелляции в Ассамблею: как правило, оно требовало немедленной расплаты той же монетой. Судебные вопросы не часто представляли бы такой большой интерес, чтобы разделить людей на два мнения; и стороны, участвующие в них, не были бы достаточно богаты, чтобы заплатить два таланта успешному судье. Великие споры, затрагивающие верность и престолонаследие, по необходимости должны были быть редкостью во все века; и вряд ли можно сказать, что поэмы дают нам пример спорного престолонаследия в Греции. Однако в последней книге "Одиссеи" мы находим, что, согласно представлениям того периода, когда действительно возникал вопрос о суверенитете, люди не нуждались в наставлении относительно того, какие меры они должны были предпринять в первую очередь. Повинуясь общему инстинктивному порыву, они направились к Агоре, где хранились их гражданские права и их старые традиции, подобно драгоценным камням Греции в святилище Лучника Аполлона^[279].

II. ILIOS.

ТРОЯНЦЫ СРАВНИВАЛИ СЕБЯ С ГРЕКАМИ.

Возможно, мы привыкли рассматривать троянцев слишком уж исключительно либо как врагов греков, либо как составляющих вместе с ними одну однородную главу античности, которую мы могли бы довольствоваться изучением в целом, не обращая внимания на конкретные различия. Давайте теперь попытаемся выяснить, каковы были отношения, помимо простого антагонизма во время войны, между двумя нациями; какие пункты они охватывали и какие сходства или разногласия они обнаруживают. Прямые признаки родства между Троей и Грецией уже рассматривались; но изучение точек контраста и сходства в том, что касается религии, государственного устройства и характера, поможет нам судить, насколько ключ к этим сходствам и разногласиям следует искать в различном смешении и пропорции в обоих случаях этнических элементов, которыми они обладали общими.

Мы видели в другом месте^[280], что греки, или ахейцы, и троянцы были родственны по эллинскому элементу, который, по-видимому, устанавливает связь главным образом с царским домом и другими правящими домами Трои. С другой стороны, из многих источников казалось очевидным, что основным родством между основной массой двух народов были пеласги. Что касается этнологического вопроса, то предположение, наиболее созвучное свидетельствам в целом, мне кажется, состоит в том, что в Троаде мы находим эллинские семьи, владевшие властью над пеласгийским народом: в Греции мы находим эллинские племена, расположенные в доминирующем соседстве с пеласгическими племенами, ранее населявшимися; составляющие, как вероятно, целые классы сообщества, смешивающиеся с ними и сильно изменяющие совокупный состав, чтобы получить смешанный результат; в то время как в Трое, хотя правящие дома, вероятно, другого порядка, и здесь можно найти и там признаки этого влияния, но в то же время общее лицо общества, сущность нравов и институтов, являются пеласгийскими. Следует помнить, что даже в Греции мы прослеживаем две формы распространения эллинов. Иногда потомки эллинов появляются как отдельные семьи, подобно эолидам; иногда как расы, подобно ахейцам. Предполагаемое здесь положение дел относительно Трои соответствует первому классу свидетельств в самой Греции.

Исходя из этих предположений, я буду рассматривать сравнение двух стран в том, что касается религии, политики, социальных обычаев, моральных идей и практики.

Мы уже были вынуждены, рассматривая соответствующие доли эллинского и пеласгийского факторов в сложном греческом характере, в некоторой степени предвосхитить выводы относительно религии троянцев в ее общем характере, которые я сейчас более полно объясню и проиллюстрирую.

Мы обнаружили три заметных божества, которым поклоняются, по-видимому, высшие и универсальные: Юпитер, Минерва и Аполлон. За ними следует Нептун, положение которого становится более сомнительным, когда мы выходим за пределы эллинского и финикийского кругов; и Латона с Дианой, которые, несомненно, с точки зрения ранней традиции, стоят в одном ряду с эллинами и пеласгами. Мы также предположили, что Церера с незапамятных времен была божеством пеласгов, а Венера заняла среди них большое место.

Греческие имена божеств встречаются также в Троеде.

Переходя от рассмотрения пеласгийской религии в целом, теперь необходимо будет показать, особенно применительно к Трое, насколько мы находим узнаваемыми там имена греческих божеств; мы также не должны упускать из виду, в какой степени идентичность имени подразумевает идентичность личности и функций.

1. У Юпитера был *τέμενος*, или участок освященной земли, на горе Гаргарус; и там был его жрец[281]. У троянцев, как и у греков, он первый и величайший из богов[282]. Он сам свидетельствует об их чрезмерной щедрости в жертвоприношениях, приносимых ему самому[283]. Греческий Юпитер - олимпийский; троянский Юпитер - это Юпитер Иды. За исключением того, что касается места жительства, между этими двумя чертами нет никакой разницы.

2. В "Илиаде" нет прямых указаний на поклонение троянцев Нептуну. Но легенда о его службе при Лаомедонте должна пониматься как подразумевающая, что его божественность была признана в этой стране: это подтверждается тем, что он разделил с Юпитером и Аполлоном разрушение греческого вала после завершения войны[284].

3. В случае с Юноной я где-то заметил[285] на три отрывка, которые сами по себе, по-видимому, устанавливают слабую связь между ней и троянцами.

4. У Минервы был храм в Пергаме, и ей прислуживала там жрица Феано, которая, как жена Антенора, была следующего ранга после Приама и его дома. К богине обращаются по случаю выхода Шестой книги в тоне, который, кажется, признает ее обладание высшей властью[286]: защитница городов, превосходная среди богинь, ее умоляют сжалиться над Троей, сломать копье Диомеда и даровать ему самому пасть.

5. Аполлон, по-видимому, является фаворитом среди великих божеств страны. У него, как и у Минервы, есть храм в цитадели[287]. Хрис - его жрец в Хрисе, и там тоже у него есть храм. Он является особым защитником Силлы и Тенедоса[288]. В *Minerva* он указан как получатель высшей награды[289]. Ликийское имя, столь распространенное в Троеде, устанавливает с ним особую связь. В "Илиаде" он, по-видимому, является обычным и непосредственным Провидением для троянских вождей, как Минерва для греческих. В то же время в нем нет признаков исключительного национализма; он не испытывает ненависти к грекам; но после возмещения ущерба и умиловления он сразу же принимает молитву и останавливает мор[290].

6. Латона, должно быть, была известна среди троянцев, потому что Гомер изображает ее сражающейся на стороне троянцев в войне богов и занимающейся уходом за раненым Энеем в храме Аполлона в Пергаме.

7. Те же причины применимы и к Диане: более того, мы обнаруживаем, что она обучила троянца Скамандрия искусству охотника[291].

8. Венера в высшей степени троянская. Ее отношение к этому народу отмечено ее благосклонностью к Парису: ее страстью к Анхизу: она послала личное украшение в качестве свадебного подарка Андромахе; ее забота о теле Гектора (Ил. xxiii. 184-7); ее выбрали в качестве образца, с которым сравнивают троянских красавиц, в то время как Диана является любимым эталоном для гречанок. Это также отмечено ее ревностным, хотя и слабым участием в защите Трои среди Бессмертных: и едкими насмешками Паллады, Елены и Диомеда[292].

9. Вулкан не только известен, но и имеет *культ* в Трое: ибо Дарес - его жрец, человек большого богатства и уважения; одного из сыновей которого он спасает от смерти в битве, чтобы утешить старика в его упадке[293].

10. Марс. Что касается этого божества, то, по-видимому, Гомер передал его пеласгам, главным образом из-за его столь ярко выраженного фракийского характера и его недостаточного признания среди эллинов, у которых было высшее божество войны в лице Минервы. Я уже касался в другом месте его двусмысленной позиции в отношениях между двумя сторонами в войне. Это соответствует характеру фракийцев, которые, по-видимому, образуют, так сказать, точку пересечения эллинской и пеласгийской рас. Жители Адрианопольской равнины, подобно пеласгам, разводят лошадей и живут в плодородной местности: более труднопроходимая часть находится среди гор на севере и западе.

11. Меркурий. Показан только один признак обычного действия этого божества в Троаде; он дает обильный прирост стадам Форбаса[294].

12. Земля (Γαῖα), по-видимому, была признана объектом особого поклонения в Троаде: ибо когда Менелай предлагает заключить Договор, он предлагает троянцам принести черного ягненка в жертву ей, а белого - Солнцу; в то время как греки, со своей стороны, принесут ягненка в жертву Юпитеру. Предложение немедленно принимается; и Гектор отправляет вестников в город за ягнятами[295], что, по-видимому, является убедительным доказательством признания этих двух божеств в Трое.

13. Солнце. Помимо того, что последний процитированный отрывок для Земли также является убедительным для Солнца, у нас есть еще один признак его отношения к Трои, в нежелании, с которым он завершает день, когда с его заходом заканчивается слава Гектора и его страны[296].

Таким образом, мы просмотрели список величайших греческих божеств и обнаружили, что все они признаны в Троаде, за следующими исключениями: 1. Цереры, которой, как мы можем, однако, подозревать, из-за ее пеласгийского характера, поклонялись там под каким-либо именем или формой; 2. Айдонеи; и 3. Персефоны. Эти исключения будут рассмотрены далее.

Опять же, среди тринадцати, которые были идентифицированы как объекты троянского поклонения, мы находим одну, а именно, Γαῖα, о которой мы вряд ли можем сказать, что ей поклонялись в Греции; хотя к ней обращались, как Агамемнон в Девятнадцатой книге, так и Алтея в Девятой, чтобы добавить более торжественную санкцию к клятвам.

14. Вместе с ней мы можем обратить внимание на четырнадцатое божество, по-видимому, пользующееся большим уважением в Трое, а именно на реку Скамандр. Он носит явный признак древнего поклонения, имея божественное имя Ксанф, а также свое земное имя Скамандр. У него был $\rho\rho\rho\eta\tau\eta\rho$ по имени Долопион. Ему, согласно речи Ахилла, троянцы приносили в жертву живых лошадей. Он вступает в разделение сторон среди богов по поводу

войны и яростно сражается с Ахиллесом, пока, наконец, не будет повержен Гефестом или Вулканом. Однако как чисто местному божеству ему, конечно, нет места в греческой мифологии.

15. Хотя у нас нет прямого упоминания о переводе Титона через ~~Нис~~ или Аврору, тем не менее, поскольку Гомер отводит Титону место как в генеалогии Дарданидов, так и рядом с Авророй, мы можем считать, что, признавая таким образом перевод, он также указывает на Аврору как признанного члена сверхъестественного ордена в Троаде.

Некоторые из этих имен требуют более пристального внимания: особенно названия Вулкан, Земля и Скамандр.

Поклонение Вулкану в Троаде.

Случай с Вулканом и его местом в Трое может послужить напоминанием нам о предположении, несколько общем в своем применении; а именно, что, классифицируя троянские божества, Гомер необязательно имел в виду, что одно и то же имя должно во всех случаях нести в себе точно такие же атрибуты. Здесь мы должны иметь в виду, что, вероятно, все, даже почти все, собственно олимпийские боги были греческими копиями, измененными с восточных или традиционных оригиналов. Но поскольку эти концепции распространялись в разных кругах, каждая страна, вероятно, добавляла, убирала или иным образом изменяла их в соответствии со своими собственными правящими тенденциями. Следовательно, когда мы находим Вулкана в Греции и Вулкана в Троаде, из этого никоим образом не следует, что каждый из них обладал одними и теми же чертами и атрибутами. Если бы Гомер считал, что они произошли от общего оригинала в Египте или где-либо еще, это было бы веской причиной для того, чтобы он описал их одним и тем же именем, хотя троянский Вулкан мог не обладать всеми эллинскими чертами, и *наоборот*. В некоторых случаях, таких как изображения Юпитера, Аполлона, Минервы, Дианы и Венеры, наблюдается такое соответствие атрибутов, входящих в портретные изображения соответствующих божеств в двух странах, что их идентичность, по крайней мере, насколько позволяют доказательства, кажется совершенно неизменной и однозначной. Но у нас нет возможности показать из поэм, что троянский Гефест соответствовал греческому.

Действительно, когда мы не находим упоминаний о том, что ему действительно поклонялись в Греции, и в то же время узнаем, что у него был священник в Троаде, возникает предположение, что в этих двух странах преобладали разные представления о нем. Опять же, нигде ему как греческому божеству не приписывается такое проявление власти, как то, с помощью которого он спасает Идея, сына своего священника Дареса, от неминуемой смерти на поле битвы.

Эти общие соображения, которые имеют тенденцию показывать, что идентичность имени у троянца и греческого божества может быть совместима со многими различиями в популярном развитии функций, избавят нас от трудностей, с которыми нам в противном случае пришлось бы столкнуться, при объяснении места некоторых олимпийских божеств в троянском культе. У нас есть основания предполагать, что Вулкан, возможно, попал в Грецию через Финикию. Но троянцы, по-видимому, имели очень мало связи с Финикией. Драгоценный *κεκύλιον* Приама, кубок, который он поднес Ахиллесу, был не финикийским, а фракийским[297]. Единственный упомянутый признак общения - это то, что Париж привез текстильные изделия из Сидона[298]. Опять же, Вулкану особенно поклонялись на Лемносе, и там была его земная обитель. Но это более естественно объясняет металлообработку во Фракии, чем положение Вулкана в Троаде; по-видимому, оно было выше, чем в Греции. Опять же, стоит отметить, что Вулкан римлян был,

как и их Марс, одним из древних богов Этрурии, страны, отмеченной многими пеласгийскими чертами характера. Возможно, нам следует обратиться к Египту в поисках происхождения всех этих вулканцев. Во времена Геродота[299] египетские жрецы провозгласили его своим собственным: и Фтах, главное божество Мемфиса, считалось более поздними греками соответствующим их *Ἥφαίστος*. Даже эти два имени несут в себе признаки родства. От этого источника могли исходить разные копии божества: и, насколько мы можем судить, Вулкан, которому поклонялись в Трое, был гораздо больше похож на общего предка, чем на высокоидеализированного мастера Олимпа, на котором Поэт изливал всю свою волю[300].

Поклонение Юноне и Геи в Троеде.

Есть еще одна точка соприкосновения с олимпийской системой, в которой этот список троянских божеств примечателен. Исследуя греческую мифологию, мы нашли основания предположить, что Юнона, Церера и Гея - это всего лишь три разные формы одной и той же первоначальной традиции божественного *женского начала*, Церера - пеласгийская копия, Юнона - яркое и мощное эллинское развитие, а Гея - оригинальный скелет, не сохранивший ничего от старого характера, но получивший функцию смотрителя тюрьмы для лжесвидетелей при отправке в мир иной[301]. Однако в сохранении всех трех в рамках религии мы видим как восприимчивость, так и универсализм греческой мифологии. Теперь, в Трое, где было меньше силы воображения, дело обстоит совсем по-другому. О Церере, которая олицетворяет пеласгийское представление о старой традиции поклонения земле, мы ничего не слышим в Троеде. Вероятно, ее там не было, потому что Гея, ее оригинал, все еще была настоящим божеством для троянцев. Но как нам объяснить тот факт, что Гея и Юнона обе там? Я рискну предположить, что это потому, что это разные названия, иностранное и отечественное, для одного и того же предмета. Когда Гектор клянется Долону, это делается Юпитером, "громогласным здешним мужем", что выглядит почти так, как если бы Юнона в троянской клятве занимала место, более или менее напоминающее место, занимаемое в греческих клятвах (где Юнона вообще не появляется) Геей.

Опять же, очевидно, что, если такая связь существует между Геей и Юноной, это объясняет тот факт, что мы не находим, чтобы обе, так сказать, процветали вместе. В Троеде поклоняются Гее, но Юнона почти не появляется. В Греции Юнона высоко ценится, но Гея потеряла все тело и превратилась в призрачный призрак. Именно недостаток воображения в троянской мифологии делает ее более верным хранителем традиций, стереотипных в тех формах, в которых они были унаследованы от своих изобретателей.

Поклонение Меркурию в Троеде.

Далее, что касается Меркурия. Я уже упоминал тот факт, что Приам[302], несмотря на свои обязательства перед Меркурием в двадцать четвертой "Илиаде", не обращает внимания на его божественность. Я думаю, что внимательное изучение повествования показывает, что греческому Меркурию в Трое не поклонялись; и оставляет нас для заключения, что Гомер использует чисто поэтический способ речи, говоря, что этот бог увеличил стада Форбаса[303]: даже когда он заставляет Приама называть Ирис *олимпийским* посланником[304].

Он появляется перед Приамом и его спутником Идеем, когда они направляются в греческий лагерь, в образе молодого и благородного мирмидонянина. Мы знаем, что были, [305], определенные видимые знаки, по которым божества вообще можно было узнать или, по

крайней мере, предположить, что это так. Однако и Идей, и сам Приам ничего подобного в Меркурии не видели и просто приняли его за врага греков[306]. Меркурий после некоторой дружеской беседы ведет свою колесницу к жилищу Ахилла, а затем, прежде чем покинуть его, объявляет о себе. Не так, однако, как Аполлон по отношению к Гектору (Il. xv. 256) и Минерва по отношению к Улиссу (Od. xiii. 299), просто назвав свое имя: но он также объявляет себя Бессмертным, θεὸς ἄμβροτος (460). Это необычное обстоятельство наводит на предположение, что он еще не был известен Приаму как божество; и предположение, кажется, становится неопровержимым, когда мы обнаруживаем, что Приам, хотя и соблюдал религиозные обряды, не использовал никаких действий или выражений почтения или даже признания своему благодетелю ни при своем первом заявлении и уходе (460, 7), ни при своем втором ночном появлении (682), за которым последовал второй и последний полет на Олимп (694).

Случай со Скамандром требует особого внимания, поскольку он непосредственно связан с вопросом, разделяли ли троянцы ту тенденцию к широкому творческому развитию религии, которая так ярко отличает греческий сверхъестественный подход.

Поэтому мы внимательно рассмотрим факты, относящиеся к этому божеству, и другие родственные факты, о которых говорит Гомер.

Он говорит о Долопионе следующим образом[307];

ὑπερθύμου Δολοπίνου, ὃς ῥα Σκαμάνδρου

ἄρητῆρ ἐτέεукто, θεὸς δ' ὣς τίετο δῆμῳ

Что касается деталей, то это полностью соответствует пеласгийским и троянским институтам. ἄρητῆρ Гомера, по-видимому, всегда является священником. Долопион был человеком очень высокого положения и чести, как священники Рима и ранней Этолии[308]; но не как священники поздней Греции. И он был 'сделан' или 'назначен' жрецом; как Теано была избрана народом в жрицы. Жречество гомеровской эпохи никогда не появлялось как каста в этих широтах. Единственное приближение к касте заключается в даре μάντις, который, как мы находим из "Одиссеи", передавался по наследству в семье Мелампусов[309]. Таким образом, до сих пор свидетельства, касающиеся Скамандра, безусловно, относились к категории исторических утверждений Гомера.

Помимо этого, все приобретает образный характер. Скамандр сражается как божество с Ахиллесом, и его воды настолько могущественны, что их можно усмирить только немедленным действием бога огня. Герою также помогают мощные взрывы Зефира и Нотуса, которых Юнона пробуждает, чтобы сжечь троянцев[310]. Поскольку мы едва ли можем сомневаться в том, что чума в Первой книге представляет собой некую форму болотной лихорадки, то здесь представляется вероятным, что Поэт очень умело воспользовался наводнением, вызванным летними дождями, которые досаждали грекам и за которыми последовал спад уровня воды с возвращением жаркой погоды.

Скамандр очень велик в "Илиаде", но с чисто местным величием. Как личность, он обращается как к людям, так и к богам. Он обращается к Симоису как к своему любимому брату, но это полностью связано с потопом и жарой. Хотя он принимает участие в войне, ему не

присуждается звание члена небольшого и избранного олимпийского сообщества: он просто предположительно включен в общую категорию Рек[311].

Поклонение Скамандру.

У нас есть описание из уст Ахилла определенных жертвоприношений, относящихся к поклонению Скамандру[312]:

οὐδ' ὅμῃ ν ποταμός περ ἑὐρρόος ἀργυροδίνης
ἀρκέσει, ὥδῃ δὲ θὰ πολέας ἰ ερεύετε ταύρους,
ζωοὺς δ' ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἴππους.

Это жертвоприношение живых лошадей необычно и не похоже ни на что другое, представленное нам в гомеровских поэмах. Не только юноши, но даже собаки, которых Ахилл приносит в Жертву Тени Патрокла, были убиты перед тем, как их бросили в огонь. То же самое не упоминается в отношении четырех лошадей, которые также были среди жертв; но, вероятно, даже исходя из физических потребностей данного случая, можно предположить.

Возможно, можно возразить, что эта речь Ахилла носит характер сарказма. Прекрасные троянские кони были выращены и паслись на берегах реки; воины двух сторон часто обменивались насмешками: у δὴ δὲ θὰ, возможно, была сила *самоотверженности*. Некоторые сомнения могут быть связаны с доказательствами, которые приводит отрывок на этом основании, а также с необычностью вменяемой практики. Однако в целом безопаснее всего предположить, что ему можно доверять.

Тогда дело обстоит таким образом, что мы, по-видимому, имеем в Трое единственный случай чисто локального олицетворения силы, принадлежащей внешней природе. Это могло произойти при особых обстоятельствах, и все же между религиями двух народов могло существовать очень большое различие в развитии воображения.

Скамандер был действительно великой державы для троянцев; это был самый большой реки страны, μέγας ποταμός βαθυδίνης. Ребенок великого Гектора был назван им Скамандрием, в то время как Симозэйсиус[313] был сыном очень незначительного человека. Другой Скамандриус был выдающимся охотником, которого обучала Диана, в стране, где это достижение было редкостью[314]. Его наводнения, какими бы полезными они ни были во время войны, в мирное время нанесли бы ужасающий ущерб. Возможно, истинным объяснением последней из строк, процитированных из речи Ахилла, является то, что он внезапным *порывом* унес с собой множество лошадей, которые паслись на его берегах. Таким образом, у троянцев, возможно, были веские причины обожествлять Скамандра и, в частности, предоставить ему жреца, который мог бы умолять его сбавить обороты. И следует помнить, исходя из случая с Геей, что троянская религия, без сомнения, благоприятствовала идее чисто стихийных божеств: чего не хватало, так это живой силы фантазии, которая упивалась обильным размножением.

Другой вид на реки в Трояде.

Ибо мы не можем не понимать, что идея речного бога не вошла в троянскую жизнь так, как она вошла в греческую. Улисс, оказавшись в затруднительном положении, сразу же призывает на помощь реку Шериан[315], в устье которой он приземляется. Теперь троянцы массами загнаны в Скамандр ужасной погоней Ахилла, и они прячутся и лепят скульптуры или выходят вперед и сражаются на его берегах и в водах. Однако никто из них не взывает к Реке, хотя эта Река была божеством, сражавшимся на их стороне. Настолько полностью ему не было места в их сознании как силе, способной помочь, даже несмотря на то, что ему, возможно, публично поклонялись в знак осуждения бедствия, которое, как было известно, он был способен причинить.

С этим примечательным молчанием мы можем сравнить, помимо молитвы и благодарения Улисса, обращение Ахилла к Сперхею[316]. Покидая дом, его отец Пелей посвятил свои волосы в качестве подношения Реке по возвращении, которое должно было сопровождаться гекатомбой. Это было бы благодарственным подношением; и как таковое, в соответствии с молитвой Улисса, оно подразумевает силу речного божества даровать блага. Эта сила также не подвергается сомнению из-за того факта, что в данном конкретном случае молитва не была исполнена, и поэтому волосы посвящены останкам Патрокла. Мы можем снова отметить жертву, принесенную, по-видимому, почти как само собой разумеющееся, пилианской армией Алфею, когда они только достигли его берегов[317]. И, в целом, многочисленные олицетворения природных объектов в греческой мифологии носят, как у Гомера, так и у более поздних авторов, мягкий и добродушный характер. Этот яркий и солнечный аспект контрастирует с грозным характером Скамандра и поклонением, оказываемым ему.

Возможно, есть достаточное сходство между Скамандром из троянской мифологии и Сперхеем или Алфеем из греческой, чтобы задать вопрос, могло ли обожествление этой реки быть связано с эллинскими влияниями, которые присутствовали в царских домах страны. Нет лишних признаков того, что семья Приама была тесно связана с рекой и ее берегами. Имя, данное ребенку Гектора, является одним из таких знаков; и мы знаем, что кобылы Эрихтония питались на болотах близ Скамандра[318]. Также стоит отметить, что жреца Скамандра звали Долопион, в то время как Долопсом звали сына Лампуса, троянца высшего ранга, брата Приама и одного из δῆμοι ἐρυντες Трои[319].

Но хотя между поклонением Скамандру и влиянием царской семьи может существовать особая связь, я думаю, объяснение следует искать главным образом в специфических различиях, которые отделяют его от поклонения Реке, как это обычно понимается в олимпийской системе.

В Греции есть еще один аспект поклонения реке, с которым он, по-видимому, имеет большее сходство. Существует ужасное заклятие Стикса, которое подразумевает его мстительную агентуру[320]. Эта река представлена на земле ответвлением от нее самой, называемым Титаресиус, недалеко от перрабийской Додоны[321]. Реки явно упоминаются Агамемноном в этом символе при заключении Пакта: и ассоциируются с божествами, которые наказывают за лжесвидетельство после смерти. Более того, любопытно, что, когда Агамемнон произносит заклинание только перед греками, он опускает обращение к Рекам, которых он назвал, когда действовал совместно от имени двух народов[322]. Это, по-видимому, показывает, что обращение к Рекам или какому-либо классу Рек в качестве карателя было знакомо троянцам и, возможно, было своеобразным.

Истинный аспект поклонения Троянской реке.

Таким образом, в сущности, главное различие, по-видимому, заключается в следующем. Поклонение Скамандру в Трое принадлежало к системе стихий и поклонению земле, которое греки для целей своего Олимпа превратили в поэтическую животворящую Силу, изобилующую более мягкими влияниями: сохранив его, более или менее, с целью заклинания, в более темном и суровом смысле. Соответственно, хотя Скамандр, которого также называют Ксанф, имеет, как бог, знак древности в двойном имени[323], в нем нет ни одного из греческих антропофунстических компонентов. Даже для речи и действия он не принимает человеческий облик; но он, просто и строго, является живой стихией.

Виды обожествления, подразумеваемые в культе земли, едва ли хоть в какой-то степени выводили его объекты из сферы чисто материальных представлений. Таким образом, в то время как Скамандр, благодаря своему превосходящему могуществу, является не более чем Природой, приведенной в действие, все остальные реки Трои являют нам Природу чисто пассивную, слепое орудие в руках божества. Полное молчание и бездействие Симоиса[324], после обращения Скамандера, делает его безличность более заметной, чем если бы к нему не обращались. И снова, когда греки покидают страну, Аполлон берет потоки восьми рек, которые стекают с Иды, включая великую Скамандру, подобно пожарному шлангу, и направляет их на крепостной вал, чтобы разрушить его. У Гомера мы не находим примера такого механического способа обращения с греческими реками.

Различие в обращении, по-видимому, связано с различием в мифологии двух стран как ее вероятном источнике. И я нахожу аналогичный метод в отношении Ветров. В "Илиаде" они божества, к которым обращаются с молитвой и которые способны принимать подношения. В "Одиссее" они просто бессмысленные инструменты природы, находящиеся под контролем Эола. Но затем в "Илиаде" Гомер обращается к ним с греческой целью (ибо я не исключаю подражания Борею, Ил. хх. 203, где речь идет о семье Дарданидов): это Ахилл молится им: это греческий боевой конь, которого они произвели на свет. В "Одиссее" он вводит их в систему иностранных, то есть финикийских традиций.

Переходя теперь к другим объектам, давайте посмотрим, подтвердит ли дальнейшее расследование предположения, которые я основал на случаях Геи и Скамандра.

В верховьях Скамандра находятся два фонтана, а рядом с ними - цистерны, которые городские женщины часто используют для стирки белья. Таким образом, это место пользуется большой известностью; однако в нем нет ни слова о каком-либо божестве, связанном с этими фонтанами. Это поразительно контрастирует с тем, что мы встречаем в греческой топографии Гомера. Улисс[325], сразу же узнав, что его высадили на Итаке, молится Нимфам в гроте, который был посвящен им. Там у них были свои чаши и вазы, а также каменные прялки, с помощью которых они пряли пряжу цвета морской волны[326]. И гавань, в которой он высадился, была гаванью Форсиса, морского старца[327]. Итак, снова у фонтана, где жители города черпали воду, был алтарь Нимф, которые восседали над ним, на который все прохожие обычно приносили подношения[328]. И это не могло быть чудесным, поскольку, согласно греческой мифологии, во всех рощах, всех фонтанах, всех лугах и, вероятно, во всех горах

обитали настоящие нимфы; в то время как реки олицетворялись богами, а море тоже повсюду кишело сверхъестественной жизнью.

Троянские олицетворения от природы редки.

Гомер, помимо Скамандра, дал названия многим рекам горы Ида; но никому, даже Симоису, а также самим Иде или Гаргарусу, он не приписывает ни одного из этих местных обитателей.

Есть, однако, три любопытных случая с Нимфами, приписанными им к Троаде. Νύμφη νηῖς, называемая Абарбари, родила двух сыновей Буколиону[329], ложному ребенку Лаомедонта; а другая нимфа того же класса родила Сатнию Энопсу[330]. Третий подобный случай зафиксирован в Двадцатой книге[331]. Казалось бы, это простые случаи ложных рождений, не имеющие должной связи с мифологией. Ибо мать Сатния называется Ὀφύρῳ; имя, никогда не применявшееся Гомером к Бессмертным. Если, однако, Нимфы являются богами, они отмечают еще одно различие между Грецией и Троей: Гомер никогда не приписывает похоть нимфам греческого Олимпа.

Среди всех подробностей "Илиады" только в одном случае у нас троянские нимфы зачали по греческому образцу: это когда жители гор, согласно словам Андромахи, посадили вязы вокруг свежей могилы ее отца Этиона.

Как правило, ни один троянец не ссылается в речи ни на какую легенду, ни на какой промежуточный порядок сверхъестественных существ. Судьба, названная Гекубой, является, как мы видели, скорее метафизической идеей, чем личностью[332].

Само название Олимпа является символом национальности; и вокруг него группируются формы, которые либо народное верование, либо воображение Поэта включили в компанию объектов поклонения. Они образуют удивительно блестящее и разнообразное тело. Они пронизывают греческий ум таким образом, что кажутся одинаковыми в его дидактичности и самых глубоких патетических настроениях. Речь Феникса дает нам притчу от Τῆς и λιταί: затем эпизод с Мелеагром, основанный на гневе Дианы: но в саму эту легенду, вставленную в речь, снова вставлена отдельная легенда об Аполлоне и Алкионе[333]. Речь Агамемнона в Девятнадцатой книге дает нам еще один пример[334]. То же самое происходит и с самыми жалкими штампами. Ахилл в интервью с Приамом призывает его принять пищу по примеру Ниобы и добавляет ее рассказ[335]: Пенелопа, молясь Диане в крайности своего горя, рассказывает историю дочерей Пандарея[336]. Даже Жених Антиной указывает свой адрес Улиссу с помощью полубожественной легенды о кентаврах и Лапифах[337]. Повсюду и из всех вместилищ мысли изливается мифология. Но в Трое дело обстоит совершенно иначе. Там человеческий разум, кажется, никогда не прибегает к ней ни для еды, ни для спорта. Мы находим боги, жрецов, пророков, церемониалистов - всего, по-видимому, в изобилии: во всем этом, кроме первого, греки гораздо беднее; но каждый из них, сам по себе, соприкасается с целым сверхъестественным миром, творением пышной и энергичной фантазии, которая одинаково простирается как над сферами чувств, так и над метафизикой. Андромаха, добродетельная и искренняя, как Пенелопа, не обладает таким умственным богатством; ее мысли, а также мысли Гекубы и Приама, как обычные, так и о смерти Гектора, ограничены темами наиболее очевидными и примитивными, с которыми знакомо общество, каким бы неразвитым оно ни было. Исходя из этого ограничения и из характера легенд о богах,

действие которых происходит в Трое, представляется разумным полагать, что мифологическая одежда имеет чисто эллинское происхождение.

Посвящение Юпитеру высокого и красивого каштана[338] рядом с Троей соответствует дубу Додона и указывает на совершенно иной ход мыслей, чем те, которые создавали греческий Олимп. Вероятно, это одновременно фрагмент поклонения природе в его восточной форме, а также часть внешнего и ритуального развития, в котором религия Трои, очевидно, была достаточно плодотворной. И в этом случае отрицательные свидетельства Гомера особенно убедительны; потому что огромное количество конкретных мест на равнине Трои, которые он имел возможность отметить, составляют там гораздо более подробную топографию, чем он представил нам на любой другой сцене, даже не исключая Итаку: так что он вряд ли смог бы не показать нам, если бы это был факт, что религия Трои в значительной степени была связана с тем, что мистер Грот так удачно назвал "религиозной и личной интерпретацией природы".

Далее о божественных личностях второго порядка, которые так обильно представлены нам Гомером в отношениях с греками. Ирис посещает троянцев трижды. Во-первых, она приходит на их Собрание в форме Политеса. Во-вторых, она является Елене как ее невестка Лаодика. Она передает свое послание Приаму в Двадцать четвертой книге, не маскируясь; возможно, потому, что это было необходимо[339] чтобы он увидел и услышал помощь божества, которое придало бы ему смелости для, казалось бы, отчаянного предприятия. Но в его рассказе о беседе нет ничего, что заставляло бы нас предположить, что Ирис была известна Приаму. Выражение, которое он использует, - это[340]

αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην.

И снова он называет ее олимпийской посланницей[341] с Юпитера. Другой отрывок развивает этот аргумент еще на один пункт, показывая нам, что появление этого благожелательного божества встревожило его, несомненно, потому, что оно было для него странным. Когда она приходит, она обращается к нему очень мягко: *τὴν θὸν φθεγξαμένην* (170): но он охвачен страхом;

τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖ α·

эмоция, которая, насколько я помню, не была зафиксирована ни в одном явлении божества греческому герою.

Бедность троянской мифологии.

Таким образом, до сих пор казалось вероятным, что в троянской мифологии список главных божеств был более сжатым, чем в Греции, и что второстепенные божества были почти неизвестны. Но, возможно, наиболее заметное различие между двумя системами заключается в обильном развитии греческой доктрины о будущем государстве по сравнению с тощим и призрачным характером этой веры у троянцев.

Доктрина тощего организма о будущем государстве.

В повествовании о разграблении Гипоплацианских Фив и снова в своем первом "плаче по Гектору" Андромаха действительно говорит о своем муже, отце и братьях, соответственно, как о вошедших в жилища Помощников[342]. Но эти упоминания незначительны, и их можно назвать

почти небрежными. Ни в Двадцать второй книге, ни во всей Двадцать четвертой больше ни слова не сказано о тени Гектора.

Когда папа закончил свою " Илиаду " строкой

И мирно спала тень могучего Гектора,

ему, вероятно, не приходило в голову, что он не просто изменяет поэзию Гомера, но и искажает его представление о троянской религии, которая действительно имела свои погребальные обряды, но описана так, что не оставляет нам возможности заключить, что они в какой-либо степени были направлены на обеспечение комфорта и спокойствия умерших. Молчание, соблюдаемое в отношении духа Гектора, примечательно по контрасту с делом Патрокла. Оба страстно оплакиваются теми, кто любит их больше всего: но тень Патрокла - великая фигура в трауре по Ахиллесу, в то время как о существовании Гектора после смерти говорят лишь однажды, смутно и абстрактно. Также, как мы видим из "Одиссеи", это почитание тени Патрокла не было чем-то случайным. Там, в подземном мире, мы встречаем души всех великих ушедших из Войны. Эта область, открытая Улиссу, ранее была открыта Геркулесу. Даже распутные Поклонники не могут быть изгнаны из жизни без того, чтобы мы не были призваны сопровождать их души мимо левкадской скалы к месту их назначения. Воины, убитые в битве с Сиконами, трижды призываются выжившими[343]. Нет, сам Элпenor, ничтожнейший из людей, должным образом предстал перед нами в своем последнем доме[344].

Однако мы можем открыть еще одну главу свидетельств, касающуюся этого интересного предмета. Это достигается посредством клятв двух наций соответственно.

Вытеснив стихийные силы из их обычной религии, греки сделали их, так сказать, тюремщиками подземного мира и предоставили им это для их надлежащего занятия. Следовательно, они свободно представлены в греческих клятвах[345]. Агамемнон перед Заключением Договора вызывает вместе с Юпитером к Солнцу, Рекам, Земле, адским богам. В Девятнадцатой книге то же самое; однако опуская Реки и называя, вместо простого описания, Эринуэс[346]. В Четырнадцатой "Илиаде" Юнона, по-видимому, клянется Стиксом, Землей, Морем и адскими богами[347]. В Пятнадцатом, клянусь Землей, Небесами, Стиксом, главой Юпитера и их брачным ложем[348]. Калипсо клянется, к удовольствию Улисса, и в соответствии с его манерой *импонировать*, Землей, Небесами и Стиксом[349]. Таким образом, греки эффективно использовали этих земных и материальных божеств в связи с масштабным развитием своего Будущего государства, назначив их официальными карателями за лжесвидетельство. Итак, судя по тому, что мы видели, троянцы поклонялись этому классу божеств, но как надземным, а не как подземным богам. Если бы им, по крайней мере, не поклонялись *таким* образом, Агамемнон не смог бы включить их в Призыв к Пакту, где он должен был действовать и говорить от имени обеих наций[350]. И хотя мы видим, что они приносили ягнят в жертву Земле и Солнцу, все же у нас есть любопытное доказательство того, что этим божествам в Трое поклонялись не как мстителям за лжесвидетельство. Ибо, когда в Десятой книге Гектор клянется Долону, он не ссылается ни на какое божество, кроме Юпитера, громогласного мужа Юноны. Как мы видели здесь, может быть слабая отсылка к земному характеру троянской Юноны; но не существует хорошо развитой системы, которая использовала бы определенный порядок полномочий для наказания клятвопреступников в будущем государстве. Мы едва ли можем сомневаться, что это было вызвано прежде всего тем, что доктрина Будущего государства, насколько мы можем видеть, не имела глубоких практических корней среди троянцев. Материализующаяся религия,

по-видимому, по существу враждебна полному развитию такой доктрины. И не в последнюю очередь любопытно обнаружить, что в этой же стране, где клятва была менее торжественной, чем в Греции, а жизнь после смерти не была предметом практической и энергичной веры, к лжесвидетельству и нарушению веры относились, как мы увидим позже, гораздо более легкомысленно.

Чтобы осознать для себя контраст между религиозной системой Трои, какой мы ее, по крайней мере, видим мельком, и удивительным богатством воображения сверхъестественной системы греков, представленной у Гомера, может быть, стоит кратко указать на несколько случаев, которые являются более показательными, потому что они являются вспомогательными, а не главными столпами системы. Возьмем, наконец, олицетворения всех форм Ужаса в свите Марса: перенос тела Сарпедона сном и Смертью в его дом; кровавые слезы, пролитые Юпитером; волнение моря в ответ на воинственный парад Нептуна; страх Айдонеи, что земная кора прогнется под поступью богов в битве; траурное одеяние Фетиды по подруге юности ее сына; длинная вереница нимф, поднимающихся из морских глубин, чтобы сопровождать ее. , когда она поднимается наверх, чтобы навестить скорбящего Ахиллеса; избыточные образы нижнего мира; неподражаемый такт, с которым он сохраняет личность своих великих вождей, когда посещает их внизу, но представляет каждого с оттенком глубокой печали. Все это заставляет нас почувствовать не только то, что война, политика и поэзия неразрывно связаны в великом уме Гомера и его народа, но и то, что гармоничная связь всего этого с олимпийской религией была плодом живительного воображения, которое было своеобразной и великолепной частью их наследия.

Поклонение с холмов.

В троянском богослужении есть более заметный след, чем у греков, от практики персов, которые поклонялись Божеству,

К высочайшим высотам, восходящим с их вершин,

С тиарой, увитой миртом, на челе[351].

Ибо Гектор приносился в жертву Юпитеру иногда (что может быть отнесено к другой причине) на самом высоком месте города, иногда на вершинах Иды[352]:

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλότε δ' αὖτε

ἐν πόλει ἀκροτάτῃ.

Во всяком случае, мы можем сказать, что единственный признак, оставшийся в Греции от этого принципа поклонения, был общим для нее с Троей и проявлялся в эпитете *εὐρύς*, применяемом к Юпитеру, а также в связи между местами обитания богов и высочайшими горами.

С другой стороны, религия троянцев, по-видимому, изобиловала более позитивными обрядами и иерархическим развитием, чем религия греков.

Этот вопрос может быть рассмотрен применительно к нескольким темам

1. Храмы.

2. Пожертвования (*τεμένεα*).

3. Рощи.
4. Статуи.
5. Провидцы или Пророки.
6. Священство.

Троя и Греция в отношении храмов.

Обсуждался вопрос о том, начали ли греки гомеровской эпохи возводить храмы богам.

Единственный случай храма, отчетливо и недвусмысленно упомянутый как существующий в Греции, содержится в отрывке Каталога, посвященном афинянам, в отношении которого возникает легкая тень сомнения. Но другой отрывок, хотя и не содержит этого слова, кажется убедительным относительно сути дела. Это то место, где Ахилл упоминает сокровища, которые лежат в каменном преддверии Аполлона на Пифоне[353]:

οὐδ' ὅσα λαΐνος οὐδὸς ἀφῆτορος ἐντὸς ἐέργει,

Φοῖβου Ἀπόλλωνος, Πυθοῖ ἔνι πετρήεσση.

Хотя, возможно, существовали сокровищницы, которые не были храмами, вряд ли они могли быть сокровищницами богов: ибо в каком смысле сокровища могли быть помещены под их особую защиту, если не в места, которые принадлежали исключительно им?

В "Одиссее" Эврилох обещает построить храм Солнцу, когда благополучно доберется до Итаки[354]; и Навситоус[355], отец Алкиноя, строил храмы богов в Схерии. Теперь Схерия не была Грецией, но все же она была больше похожа на Грецию, чем на Трою.

С другой стороны, следует отметить, что, хотя при таких обстоятельствах мы вряд ли можем отрицать существование храмов у греков, у Гомера мы не имеем ни одного случая, когда храм действительно воздвигался бы чисто эллинскому божеству.

Наши ясные примеры, по сути, ограничены храмами Минервы в Трое и Афинах, а также храмами Аполлона в Трое, Хриса[356] и Пифона: и когда мы видим старого Нестора, совершающего торжественное жертвоприношение под открытым небом в Пилосе, который тоже считается внуком Нептуна, мы не можем предположить, что это было обычным делом. вместе с эллинами поклоняться эллинским богам в храмах. Возможно, хотя я бы не осмелился утверждать большего, что Аполлон и Минерва, возможно, были единственными божествами, которым в ту эпоху было принято возводить храмы, будь то в Греции или Трое.

Я не должен, однако, предполагать, что отмахнусь от этой темы, не обратив внимания на строку, Od. vi. 266;

ἔνθα δέ τέ σφ' ἄγορῃ, καλὸν Ποσιδῆϊον ἄμφις.

Этот стих часто интерпретируется как 'место собрания вокруг прекрасного храма Нептуна'. Итак, Евстафий[357]: итак, один из схолиастов: другой интерпретирует это как означающее только τέμενος. Нитцш, Терпстра[358] и Крузиус принимают это за храм. Слово Ποσιδῆϊον без субстантива - это форма, которая больше нигде не встречается у Гомера, так что у нас есть только помощь разума, чтобы истолковать ее. Так вот, это ἄγορῃ было местом общественных

собраний по делам бизнеса. Конечно, невероятно, чтобы посреди него мог быть храм с крышей, который мешал бы как зрению, так и слуху. С другой стороны, мы знаем, что до Трои алтари находились в ἄγορῃ лагеря[359]: и это не вызвало бы никаких неудобств. Таким образом, может показаться, что Ποσιδῆϊον означает не крытый храм, а освященное место, по всей вероятности закрытое, на котором стоял алтарь.

Я бы, однако, не стал абсолютно спорить со словом νῆδον в тех случаях, когда оно встречается без слова, означающего строить, или других знаков, обозначающих его как здание. Из-за его сходства с νῆϊον возникает вопрос, не могло ли оно первоначально означать освященную землю, которая проходила под названием τέμενος. Если это так, то, возможно, был в этом смысле в проход, как в каталог, где эпитет, связанный с ним (ἐξέτι πίονι νῆϊ) один более подходящий к идее кусок земли, чем в храме; хотя применимым Гомера, использование последнего тоже, хотя и в достаточной степени поддерживается μάλα πίονος ἐξ ἄδύτοιο. (Ил. В. 512.)

2. Некоторые филологи предполагают, что производное от τέμενος совпадает с производным от *templum*. И если это так, то существует заметная аналогия между этой ассоциацией и ассоциацией νῆδον с νῆϊον. Каждый из них, по-видимому, указывает на обычаи расы, у которой были как посвященные земли, так и жречество, прежде чем она начала возводить священные здания.

Что касается земельных наделов.

Что касается дарования земли, которая иногда посвящалась богам и называлась τέμενος, я полагаю, мы должны заключить, что везде, где было найдено такое дарование, должно было быть жречество, поддерживаемое им. Ибо трудно представить, какая другая цель могла быть преследуема в то время при таком присвоении земли. И снова мы можем предположить, что там, где существовал τέμενος или глеб, должен был быть если не храм, то, по крайней мере, алтарь, нечто, что локализовывало богослужение в определенном месте.

Действительно, гораздо легче представить храм без священства, чем глебию. И здесь снова примечательно, что у Гомера мы не встречаем примера глеба, выделенного исключительно для эллинского бога.

Случаи глебса, которыми он нас снабжает, таковы:

1. О Церере, пеласгийском божестве в Фессалии, Ил. ii. 696;
2. Изображение Юпитера на горе Гаргар в Троаде вместе с алтарем, Ил. viii. 48;
3. Изображение Венеры, пеласгийского божества, в Пафосе на Кипре, с алтарем, Од. viii. 362;
4. О Сперхее в Фессалии с алтарем, Ил. xxiii. 148. Что касается данного случая, то мы действительно обнаружили, что образное обожествление Природы, по-видимому, было эллинским, а не пеласгийским. Тем не менее, учитывая, что перед нами случай со Скамандром, и учитывая, что мы находим τέμενος, приписанный Сперхею, в исключительно пеласгийском районе, в то время как среди эллинских племен нет примера такого наследования божеств, представляется наиболее рациональным рассматривать присвоение его как принадлежащее пеласгийскому периоду и просто перешедшее в эллинскую эпоху.

3. ἄλσος Гомера, по-видимому, сильно отличается от τέμενος: и скорее означает то, что мы должны были бы назвать местом религиозного поклонения, в отличие от пожертвования, которое, как таковое, производило бы средства к существованию. Таких мест требовал дух эллинской религии в той же степени, что и пеласгийского богословия, и мы находим, что они соответственно распределены следующим образом: у нас есть

1. В Схерии, ἄλσος Минервы, Од. vi. 291, 321.
2. В Исмаре, ἄλσος Аполлона, в котором жил жрец Марон, Од. ix. 200.
3. На Итаке, ἄλσος Нимф, с алтарем рядом с фонтаном, где все прохожие приносили жертвы, Од. xvii. 205-11.
4. Снова на Итаке, в ἄλσος Аполлона, где в день его праздника в городе совершалось публичное жертвоприношение, Од. xx. 277, 8.
5. В Беотии Онхест называется γυλαὸν ἄλσος Нептуна, Ил. ii. 506.
6. ἄλσος Персефоны находятся на пляже за Океаном и состоят из тополей и ив, Од. x. 509.
7. На великом Собрании богов перед Богоборчеством созываются все Нимфы, населяющие ἄλσος, а также фонтаны и луга, Ил. xx. 8. Но здесь значение включает любую рощу, посвященную или нет. И снова,
8. Слуги Цирцеи - это те, кто обитает в ἄλσος, рощах, фонтанах или реках, Од. x. 350.

Таким образом, ἄλσος, когда используется в религиозном смысле, означает рощу или группу деревьев, иногда с дерном или с фонтаном; выделенную как место для поклонения и населенную божеством или его служителями, но совершенно отличную от собственности, способной их содержать. Эти скопления, по-видимому, чаще используются эллинской, чем пеласгийской практикой.

Что касается статуй богов.

4. Далее мы рассмотрим случай со статуями богов.

По мнению Муре, метафора, представляющая человеческие дела как покоящиеся на коленях богов (θεῶν ἐν γούνασι), дает убедительное доказательство того, что обычай изготовления статуй божеств преобладал среди греков. Однако я не понимаю, почему эта конкретная фигура должна иметь большее значение для вопроса, чем любое из других очень многочисленных изображений, в которых они рассматриваются как наделенные различными членами тела. Если эти доказательства вообще можно принять к сведению, то они неопровержимы. Но остается открытым некоторое сомнение в том, что, поскольку боги мысленно представляются в соответствии с законами антропоморфизма, мы можем поэтому предположить, что они также были материально представлены в человеческом облике.

Мы, как мне кажется, не более одного прямого доказательства на эту тему, и именно это; что, когда троян матронам носить их моление в храм Минервы, вместе с предложением об одеянии, они откладывают его на колени (Ил. ви. 303), Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἥϊκόμοιο. Это представляется вполне убедительным в отношении существования статуи Минервы в Трое, но оставляет

полностью открытым вопрос, было ли это эллинским или пеласгийским обычаем изображать богов таким образом.

Я думаю, совершенно очевидно, что эта практика не была близка по духу Гомеру. Если бы это было так, он, несомненно, широко использовал бы это в поэзии. Тогда как, напротив, только путем вывода, хотя, конечно, и неизбежного вывода, из языка, который он использует без этого намерения, мы становимся уверенными даже в их существовании в его время. Он действительно не раз говорит о размещении *υἱῶν ἁλῶν* в храмах или о приостановлении их действия в честь богов [360]: но наше название статуй, объясняющее это, кажется, полностью предположительным.

Казалось бы, необъяснимо, что поэт, который с такой силой описывает не только Щит Агамемнона и Оружие Ахилла, но и идеальные Эгиды Минервы, колесницу Юноны, лук Аполлона и металлических слуганок Вулкана, полностью избегает описания статуй олимпийских богов, если они постоянно находятся у него перед глазами.

Я уже утверждал в другом месте, что у Гомера мы видим эллинский, а не пеласгийский склад ума. И если это так, то я думаю, что мы вправе связать с его эллинизмом, как с одним из многих признаков, это замечательное молчание. Ритуал и внешнее развитие пеласгийской религии восхищались бы статуями как видимыми знаками: эллинский идеализм, вполне вероятно, избегал бы их. Следовательно, мы можем рассматривать эту практику того периода как относящуюся к пеласгийским особенностям.

Если это так, то, я думаю, мы можем перейти к заключению, что первоначальная тенденция создавать видимые формы Божества не была следствием усилий человеческого воображения, столь широко развитого у Гомера, идеализировать религию и украшать мир с помощью ее образов, и не являлась их частью. Но, напротив, насколько мы можем судить по Гомеру, сначала она возобладала среди расы, склонной к материальным и земным представлениям в теологии, а от них распространилась на других, обладающих более высоким интеллектом. Это был костыль для хромоты человека, а не крыло для его устремлений ввысь.

И действительно, как мне кажется, это утверждение подтверждается даже прошлым опытом и нынешним состоянием христианского мира. Когда вера была сильна, изображения были неизвестны верующим. И не искусство создает их: это просто своего рода телесная и механическая имитация. Я полагаю, что ни в одной христианской стране в настоящее время никакое значительное произведение искусства не является объектом религиозного поклонения. Чувство, которое жаждет материальных изображений таких объектов, чтобы поклоняться им, по-видимому, также обычно требует, чтобы они были в какой-то степени материализованы. Высшая роль искусства в связи с благочестивой привязанностью, по-видимому, заключается в том, что оно должно направлять наше почитание вперед, а не ограничивать его. Он протягивает палец, за которым мы должны следовать, а не руку, которую мы должны поцеловать.

Что касается Провидцев или Прорицательниц.

Орден Провидцев или Прорицательниц был обычным явлением для греков, троянцев и, вероятно, мы можем добавить, поскольку он был известен среди циклопов, для всех современных рас. Странно, что мы находим здесь, а не среди жрецов, следы кастовости или передачи дара по наследству. Во всем остальном эта функция стоит особняком от

иерархического развития. Ибо *μάντις*, за исключением своего дара, подобен другим людям. Мелампус нанимается угонять быков. Полифеид переселяется после ссоры со своим отцом. Клейтус - любовник Авроры. Теоклименус совершил убийство[361]. Тейресиаса называют *ἄναξ*, лордом или принцем[362]. Мы не знаем, сражался ли Калхас так же хорошо, как пророчествовал, но, возможно, так оно и было, поскольку Хелен, сын Приама, и Эвном, мизийский вождь, были провидцами или авгурами не меньше, чем воинами. Но наиболее поучительным представителем этого порядка среди греков является Жених Леиодес[363], который также был *θυοσκόος*, или инспектором жертвоприношений, при собрании Женихов. Теперь Улисс, в обмен на выкуп, пощадил Марона, жреца Аполлона на Исмаре[364]. Но, далекий от того, чтобы признать в профессиональном характере Лейодеса право на неприкосновенность, он отвечает на просьбу характерным и убийственным остроумием. И это несмотря на то, что Лейодес, как мы узнаем, отличался от остальных Претендентов общей порядочностью своего поведения.

WBR *θυοσκόος*, по-видимому, проверяли жертвоприношения, но не приносили их; поскольку этот персонаж четко отличается в "Илиаде"[365] Действительно, слово *θύειν* у Гомера, по-видимому, должным образом применимо к тем второстепенным обязанностям жертвоприношения, которые не включали в себя умерщвление жертв; как в Il. ix. 219, где, как можно заметить, эта функция не выполняется главным лицом, а поручается Ахиллесом Патроклу. Осмотр убитых животных, вероятно, относится к той же категории среди божественных служб, что и толкование других знаков и предзнаменований.

Представители этого класса в целом так же сильно отличаются от священников Гомера, как ветхозаветные пророки от левитского духовенства.

Их называли общим именем *μάντις*, или под другими названиями, некоторые из них более ограничен: такие как *θεόπροπος*, *ὑποφῆτης*, *οἱ ὠνόπολος*, *ὄνειρόπολος*. Иногда они толковали на основе знаков и предзнаменований; иногда, как в Ил. vi. 86 и vii. 44, без них.

Распространение этого дара среди царского дома Трои, где им обладал Полидамас, а также Хелен и, возможно, также Гектор, менее заметно, чем великий случай с семьей Мелампус. Авгур был во всех отношениях гражданином, хотя и обладал особым даром: *ἰπποφῆται*[366] упомянутые в "призывании Ахилла", были ли они царским домом или лицами, рассеянными по сообществу, очевидно, представляли собой более заметный объект среди эллинов, чем мы находим у какой-либо пеласгийской расы. Опять же, в Греции мы находим оракулов в Дельфах и на Делосе, а также в Додоне; но подобного органа для передачи божественной воли, о котором нам сообщили в Трое, нет.

Что касается священства.

Теперь мы подходим к последнему и наиболее важному пункту, связанному с внешним развитием религиозной системы, - вопросу о священстве; и здесь я попытаюсь отчетливо описать свидетельства, касающиеся обоих народов. Во-первых, давайте рассмотрим случай священства с точки зрения греков.

Перед нами по крайней мере один пример из "Илиады", где нам представлено совместное религиозное действо греков и троянцев. В Третьей книге Приам выходит из Трои на открытое пространство между армиями и встречает Агамемнона и Улисса. Честь фактического принесения жертвы принадлежит грекам. Священник не появляется; и эту функцию выполняет царь Агамемнон. Поэтому естественно предположить, что у греков в Троаде нет священника, приносящего жертвы. При каждом удобном случае греческий Государь приносит жертву за себя и за армию. То же самое делают и солдаты[367] на свободе для самих себя;

ἄλλος δ' ἄλλω ἔρεζε θεῶν αἱ εἰγενετάων.

Там был алтарь[368] именно для этой цели в части лагеря, отведенной для Собраний; факт, который, хотя и не демонстрирует, согласуется с объединением королевских и жреческих функций. Мы также не можем объяснить отсутствие священников в лагере по тому же принципу, что и отсутствие бардов, поскольку стихи были роскошью, а жертвоприношения - необходимостью. И мы находим Калхаса представляющим класс религиозных функционеров, который греческая нация действительно признавала; а именно, Провидцев, которые интерпретировали божественную волю без какого-либо фиксированного служения, принадлежащего какому-либо определенному месту, хотя дар обычно происходил от Аполлона, как один из его особых атрибутов.

В замечательном отрывке, который перечисляет для нас основные профессии Греции героического века[369], мы находим упоминания пророка, врача, ремесленника, барда, вдохновленного богом; но не священника. И все же, если бы такой приказ существовал, он не мог бы быть опущен из-за его важности. Ибо, по правде говоря, это перечисление, как мы видели ранее, является почти исчерпывающим применительно к эпохе, когда не было профессиональных солдат, когда земледельца, рыбака или скотовода нельзя было назвать δημιοεργός, поскольку он не имел отношения к обществу, и когда торговля ограничивалась иностранцами, такими как финикийцы, или пиратами, такими как тафиане, и не являлась частью бизнеса оседлых общин Греции.

С другой стороны, в Легенде Феникса о Мелеагре мы имеем упоминание о жрецах, существовавших в то время в Этолии. Посольство, отправленное для примирения с Мелеагром, состояло из старейшин и лучших, или наиболее выдающихся, жрецов;

τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες

Αἱ τωλῶν, πέμπων δὲ θεῶν ἰερεῖας ἀρίστους. Il. ix. 574.

Теперь, насколько я понимаю, слово αἱ τωλῶς указывает на эллинскую расу, поскольку Тидей - это αἱ τῳλιος; и стоит отметить, что в этом отрывке старейшины названы этолийцами, но не священниками.

Опять же, это событие произошло во времена правления Нея, за два поколения до Троянской войны[370]. В то время эллинское влияние в Средней и Южной Греции было совсем недавним. Семья Сизифа действительно прибыла туда по крайней мере двумя поколениями ранее, но она исчезла и так и не достигла большого могущества. Это была дата правления Авгия, Нелея и Пелопоннесе. Таким образом, снова имя Портей, присвоенное отцу Евей, вероятно, указывает на то, что он был первым эллинским жителем страны.

Платон отмечает, что новые поселенцы, естественно, могли бы какое-то время оставаться без религиозных институтов[371] самостоятельно.

Таким образом, эллины в то время недавно пришли в Этолию, и даже на этой почве было менее вероятно, что у них были священники своего собственного учреждения. Но не следует предполагать, что, обнаружив иерархию среди пеласгийских племен, посвященных поклонению таким божествам (например, Минерве и Аполлону), как они сами признавали, они уничтожили бы такое тело. Наиболее вероятное предположение состоит в том, что это продолжалось бы во всех случаях какое-то время. Личность Хриса, жреца Аполлона, пользовалась уважением, по крайней мере на данный момент, даже со стороны Агамемнона[372] в своем недовольстве. Не побоявшись его угроз, пострадавший священник немедленно обратился к своему богу за помощью. Мы не можем сомневаться, что интересы, защищаемые таким образом, в целом остались бы нетронутыми. И все же, поскольку священники были, выражаясь языком политической экономии, непроизводительными работниками, и поскольку они, по-видимому, занимали свои должности не по происхождению, а по выборам, мы легко можем увидеть иной путь, чем путь насилия, к исчезновению ордена среди людей, которые не придавали значения его заслугам.

Есть еще одно место, в котором это имя упоминается у греков. Оно находится на Собрании Первой Илиады, проходившем в разгар чумы. Ахилл говорит: "Давайте спросим какого-нибудь пророка, или жреца, или толкователя снов (ибо сны тоже от Юпитера), который скажет нам, почему Аполлон так сильно раздражен"[373]. Но здесь явно имеется в виду Хрисес, который сам посетил лагерь и появился со знаками отличия своего священнического сана на предыдущем Собрании греков[374]. Поскольку теперь они владели всей открытой местностью, они, конечно, могли посоветоваться либо с ним, либо с любым другим троянским жрецом, находящимся за пределами городских стен. Следовательно, мы не можем утверждать на основании этого отрывка, что священство было признанным эллинским институтом в тот период.

В "Одиссее" мы находим Менелая, участвующего в торжественных обрядах великого брачного пира; и Нестора, подобным же образом приносящего жертву Нептуну, своему титульному предку, в присутствии тысяч людей. Ни в одном из этих случаев нет упоминания о священнике: и на следующий день Нестор со своими сыновьями приносит новую жертву, о которой приводятся самые подробные сведения.

Опять же, если бы среди гомеровских греков были священники, вряд ли возможно, чтобы мы не имели о них какого-то представления на Итаке, где общественный порядок и весь ход греческой жизни так ясно представлены.

Важным отрицательным свидетельством того же эффекта является великое обращение к Ахиллу в Шестнадцатой "Илиаде". Следует помнить, что мы находим там грубое горное племя элли, владевшее страной, где находилась Додона, наряду с поклонением пеласгийскому Юпитеру; и сами они, по-видимому, выполняли служение богу. Теперь это служение было не священством, а толкованием; ибо οἱ πποφῆται, а не ἐρεῖς[375].

Таким образом, представляется очевидным, что эллинские племена времен Гомера не признавали собственного профессионального жречества; что в греческом вооружении до Трои не было жреца; что жрец не был составной частью обычных греческих общин; и что, если его и

можно было где-либо найти во времена Гомера, то это было как пережиток и в связи со старыми пеласгийскими установлениями в стране.

В более поздний период, когда возросли богатство и великолепие и когда возросший спрос на них распространился и на религиозные обряды, жречество стало обычным институтом Греции. Аристотель считает это в политике одним из необходимых элементов государства; в то время как он, по-видимому, также рассматривает это как естественное занятие тех, кто по возрасту не может выполнять более активные обязанности перед обществом, будь то на войне или в совете. Священник даже во времена Гомера был явно привилегированной личностью. Как и другие люди, он женился и имел детей, но его бремя было не из самых тяжелых. Он бы хорошо жил на жертвоприношения и доходы с глебской земли: и любопытно, что у священника Марона было самое лучшее вино, о котором мы слышим в стихотворениях[376]. Священник не входил в состав обучающей силы общины ни в эту, ни в более поздние эпохи. Деллингер делает замечание[377], что Плутарх указывает в качестве источников религиозного обучения три класса людей, среди которых даже нет священников. Это (1) поэты, (2) законодатели и (3) философы, к которым Дион Златоуст добавляет художников и скульпторов. Так что Исократ вполне может заметить, что священство - это чье угодно дело. Платон[378] в "Νόμοι" требует, чтобы его священники, а также их родители были свободны от порока и преступлений: но тщательно выделяет отдельный класс κληρῖται для надзора и толкования законов религии; а также управляющих, которые должны отвечать за освященное имущество.

Однако, по-видимому, жрец героической эпохи немного разделял обязанности μάντις, хотя μάντις не имел особого отношения к принесению жертвы. Осмотр жертв, почти разумеется, в большей или меньшей степени лег бы на плечи священников; и перед нами есть некоторые свидетельства того, что они были вправе интерпретировать божественную волю. Это подтверждается речью Ахилла[379], которая, по-видимому, подразумевает некоторые профессиональные способности такого рода: и, по крайней мере, для Троя, заявлением[380] о Приам, который упоминает священников среди лиц, которые, возможно, были наняты для передачи ему послания с небес.

Теперь мы рассмотрели ситуацию со священством у греков. С троянцами дело обстоит совершенно иначе. В самом начале "Илиады" мы знакомимся с Хрисом[381] жрец (ἱερεὺς) Аполлона. В пятой Илиаде у нас есть троянец[382], Дарес, который является жрецом Вулкана; и у нас также есть Долопион, который, как κρητὴρ[383] Скамандра, занимал должность, по-видимому, эквивалентную. Священника Хриса также называют ἄρητῆρ[384]; и хотя, с другой стороны, в обязанности Лейода в "Одиссее" входило предлагать[385] молиться от имени Женихов, но его никогда не называют κρητὴρ. В шестой "Илиаде" появляется Феано, жена Антенора и жрица Минервы[386]. И в шестнадцатом у нас есть один или[387], жрец Идейского Юпитера. Опять же, в то время как Эвмей в "Одиссее" не признает священника среди греческих профессий, а заменяет его пророком, Приам, напротив, в двадцать четвертой "Илиаде" говорит, что он не подчинился бы указанию отправиться в греческий лагерь, если бы ему передал его любой смертный, из тех, кто имеет эти профессии[388],

ἢ οἱ μάντιές εἰσι, θεοσκόοι, ἢ ἱερεῖς,

где она может быть поставлена под сомнение, является ли μάντις и θυοσκόος являются разными лицами, то ли он говорит о μάντις θυοσκόος; но в любом случае не менее очевидно, что он называет священника, ἱερεὺς, кроме как. Речи Ментеса в Од. i. 202, вероятно, достаточно, чтобы провести грань между μάντις и θυοσκόος.

Далее выясняется, что среди союзников Трои, как и в стране, был известен жрец; ибо в Девятой "Одиссее" мы находим Марона, сына Эванта, жреца Аполлона в Исмаре[389], среди киконян. Город, в котором они жили, был разграблен Улиссом по пути из Трои, и на основании этого мы должны сделать вывод, что, поскольку они были союзниками Трои (Ил. ii. 846), они также принадлежали к семье пеласгийских племен.

К этим священникам, лично занятым служением божествам, по-видимому, прилагались личное почитание и освобождение от военной службы, которыми не пользовались μάντιες. Это ясно видно в случае с Хрисом. Преступление заключается не в похищении пленницы, поскольку в этом деянии не могло быть никакой вины, поскольку тогда рассматривались подобные вопросы, а скорее в оскорблении чести: именно оскорбление, нанесенное Аполлону в лице его слуги, подвергая его дочь общей участи женщин всех рангов, включая самые высокие, навлекает страшную месть на армию. Итак, опять же, священник никогда не сражался; Долопион, Дарес и Онетор стали нам известны благодаря тому, что у них были сыновья, служившие в армии, происхождение которых упоминается. А что касается священника Марона, Улисс говорит, что он был избавлен от чувства благоговения перед богом, в чьей лесистой роще или части он проживал[390]:

οὐνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεθ' ἥδ' ἑ γυναῖκι

ἄζόμενοι· ὥκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δένδρηντι

Φοίβου Ἀπόλλωνος.

Но не похоже, что μάντις, хотя он и был наделен особым даром, носил в отношении него такой характер, которого было бы достаточно, чтобы отделить его от обычных гражданских обязанностей и сделать его, подобно священнику, явно привилегированным лицом.

С другой стороны, мы не должны упускать из виду, что в случае с Феано, хотя она была высокого происхождения и женой Антенора, нам говорят, что троянский народ сделал ее жрицей. Тот же факт, по всей видимости, указанному в случае Dolopion, который, как нам говорят, были сделаны или назначен ἄρητήρ к Скамандер (ἑτέτυκτο ἄρητήρ Ил. т. 77). И появление сыновей священников на поприще, по-видимому, показывает, что в ордене не было ничего похожего на наследственную преемственность; которая пополнялась, как мы, вероятно, можем заключить, выборами, пользующимися авторитетом или одобрением общественного мнения. Таким образом, организация была создана в народе и находилась в полной гармонии с национальным характером. По этой причине она не является менее важным элементом в сообществе, скорее наоборот.

Итак, каковы бы ни были другие моральные и социальные последствия существования в обществе группы людей, выделенных для поддержания торжественного поклонения богам, это,

очевидно, оказало очень мощное влияние на поддержание изобилия и пунктуальности в соблюдении ритуалов. Не может быть никаких сомнений в том, что священник жил у алтаря, которому он служил, и жил тем лучше, чем лучше его снабжали. Помимо животных, для надлежащего исполнения его обязанностей были необходимы мучные лепешки и вино[391]; и в случае с Мароном это вино было настолько хорошим, что священник держал его в секрете от своих слуг, и именно оно вызвало самые теплые похвалы Поэта[392]:

ἦδ' οὖν, ἀκηράσιον, θεῇ οὐκ ὀνόμαζον·

Он тоже был богат, потому что в его доме были слуги - мужчины и женщины. Таким был Дарес, жрец Вулкана[393]. Так что, вероятно, было Dolopion, священник Скамандера; во всяком случае, его станция была высокой; как мы видим из рода дань его (θεὸς δ' ὡς τίετο δῆμῳ); и у нас есть еще один знак в обоих этих случаях станции из родителей, с позиции сына в армии, который не входит в число распространенных солдатня (πληθὺς), но среди знати. Сыновья Дареса сражаются на колеснице; а имя Гипсенора, сына Долопиона, по своей этимологии указывает на высокое происхождение.

Сравнительное соблюдение правил жертвоприношения.

На самом деле гомеровские поэмы демонстрируют нам, наряду с существованием и влиянием жреческого ордена, весьма заметное различие в отношении жертвоприношений между троянцами и греками: положение вещей полностью соответствует тому, чего мы могли бы ожидать.

Ни в одном случае мы не слышим о троянском вожде, который был бы скуп на пиры в честь богов. Юпитер недвусмысленно хвалит Гектора[394] за его щедрость в этом отношении Юпитер, а Эней - Нептун[395]. Благодарность, однако, распространяется на все сообщество. В "Олимпийском собрании" Четвертой книги Юпитер говорит, что из всех городов, населенных людьми, Троя для него дороже всего; ибо там на его алтаре никогда не было недостатка в жертвоприношениях, возлияниях и пикантном запахе, которые являются уделом богов[396]:

οὐ γάρ μοι ποτὲ βωμὸς ἐδεύετο δαίτῳ ἔϊσῃς,

λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.

Но греки, таким образом, лишенные священников, часто, как и следовало ожидать, нарушали регулярность своих религиозных обрядов. Улисс[397], действительно, в этом, как и во всех других аспектах совершенства, безупречен. Но это не было правилом для всех. Сенеус, двух поколений, прежде чем *Троица*, в ущерб другим божествам, или забыл, или не считаете нужным (ἢ λάθῃτ' ἢ οὐκ ἐνόησεν) в жертву Диане[398]; следовательно, разрушения на Каледонского вепря. И это не единственный рассматриваемый случай.

Рассказ, данный Нестором Телемаху в Третьей "Одиссее", в данном конкретном случае несколько неясен. Он говорит, что после того, как греки поднялись на борт, божество рассеяло их; и что затем Юпитер предопределил несчастья их возвращения, поскольку не все они были разумны и праведны[399]. По-видимому, здесь подразумевается, что греки в первом порыве победы забыли о влиянии небес и что отсутствие надлежащих жертвоприношений было причиной первого рассеяния.

После того, как они снова собираются в Трое, братья Атриды расходятся во мнениях, поскольку Менелай предлагает начать все сначала, а Агамемнон остаться и приносить жертвы, чтобы умиловать Минерву; но, как добавляет Нестор, божеества умиловываются не так скоро. Таким образом, Агамемнон, по-видимому, слишком запоздал со своим празднованием, а Менелай, опять же, вообще пропустил его.

Сторона, стоящая на стороне Менелая, по прибытии в Тенедос приносит жертвы, по-видимому, чтобы исправить прежнюю ошибку: но Юпитер разгневан и заставляет их снова поссориться между собой. Часть из них снова возвращается к Агамемнону[400].

Менелай находит дорогу на Лесбос, а затем плывет до Малей. Здесь он сталкивается со штормом и с частью своих кораблей добирается до Египта: где его снова задерживают божеества, потому что он не принес в жертву надлежащие гекатомбы[401]. Такая небрежность тем более примечательна, что Менелай, безусловно, кажется одним из самых добродетельных персонажей в греческом воинстве.

Ход, однако, самой осады дает очень яркий пример, в котором все греки были виновны в том, что пропустили регулярные жертвоприношения, необходимые для начала великого предприятия. В спешном строительстве траншеи и вала они, по-видимому, забыли гекатомбы[402]. Нептун немедленно указывает на ошибку Олимпийского двора и использует ее, чтобы выразить свое недовольство работой, которая, по его мнению, затмит стену Трои, выполненной для Лаомедонта им самим совместно с Аполлоном. Юпитер немедленно соглашается[403], что после осады он уничтожит ее. И Поэт, возвращаясь к теме в начале Двенадцатой книги, замечает, что произведение не могло продолжаться долго, потому что оно было создано без привлечения в свою пользу доброй воли Бессмертных[404]. Это упущение греков тем более характерно и примечательно, что момент, когда они воздвигли вал, был моментом опасения, почти отчаяния.

Таким образом, получается, что как нация троянцы были гораздо более склонны к религиозным обрядам позитивного характера, чем греки. Они были, как и афиняне[405] в более позднюю эпоху, *δεισιδαιμονέστεροι*. И опять же, как между одним греком и другим, нет никаких сомнений в том, что хорошие люди обычно, хотя и не всегда, щепетильны в этом отношении, а плохие обычно беспечны. Таким образом, многое подразумевается, в частности, в Од. iii. 131, а также убедительно показано в общем порядке "Одиссеи". Но, как и в отношениях между двумя нациями, мы не можем предположить, что у Поэта были какие-либо соответствующие намерения. Хотя троянцам свойственна более скрупулезная формальность в религии, чем грекам, и хотя само по себе, при *равных условиях с цетерис*, это может быть подходящим признаком благочестия, все же это всего лишь знак; как знак его можно заменить, и, как замена, он становится характерной чертой Эгиста и Автолика не в меньшей степени, чем Эвмея и Улисса. Как и между двумя нациями, это различие, очевидно, связано с другими различиями в национальном характере и морали. Следовательно, мы должны искать более широкие основания для оценки сравнительных достоинств двух наций, чем густонаселенность Олимпа, с одной стороны, или множество жрецов и храмов - с другой.

Нигде признаки исторической цели у Гомера не кажутся мне более очевидными, чем в его очень четких описаниях национального характера соответственно греков и троянцев. Но это общее утверждение, и его следует понимать с определенной оговоркой относительно деталей.

Два способа обращения с грузом для Греции и Трои.

Мне не кажется, что Гомер изучал более мелкие моменты согласованности мотивов и действий троянцев из поэмы в той же степени, что и греков. Он (так сказать) манипулировал ими как вспомогательными фигурами с целью усилить и выделить тех, на ком он намеревался сосредоточить главный интерес; не для того, чтобы уничтожить или уменьшить эффекты индивидуального характера, но для того, чтобы придать коллективному или совместному действию на троянской стороне подчиненную и министерскую функцию в механизме поэмы. Как Гомер пел грекам, и греки были его судьями и покровителями, так же как и его темой, нет, скорее, поскольку его сердце и душа были греками, так и с греческой стороны цепь событий тесно переплетена; если ее направление меняется, есть соответствующая причина, как в неистовстве Ахилла или колебаниях Агамемнона. Но он не пел троянцам; и поэтому среди троянцев "Илиады" есть как бы нити, проложенные в паутине, и связь между ними гораздо менее тщательно проработана. Таким образом, они соглашаются с нарушением завета после единоборства в Третьей книге, хотя очевидным желанием среди них, независимо от обязательств, было его выполнение[406]. Затем, в Четвертой книге, после предательства Пандара, троянцы не только не возмущаются этим, но и возобновляют битву, пока греческие вожди ухаживают за раненым Менелаем[407]; такое поведение демонстрирует, если можно так выразиться, вопиющее пренебрежение к обязательствам правды и чести. Гектор в Шестой книге покидает поле битвы по поручению, которому вряд ли можно придать поэтическую достаточность, если только мы не отнесем это к готовности, которую он нередко проявляет, держаться подальше от боя. Опять же, есть что-то неловкое и неуместное в его манере обращаться с фабианскими рекомендациями Полидамаса, когда приближается кризис. Некоторые из них он принимает, а некоторые отвергает, не имея достаточных оснований для различия, за исключением того, что он готовит себя в качестве прославленной жертвы Ахиллу и что он должен действовать глупо, чтобы не помешать главному герою, а вместе с ним и самой поэме, достичь своей цели.

Таким образом, Гомер снова дал нам довольно четкое представление даже о соответствующем возрасте греческих вождей. Вряд ли можно сомневаться в том, что Нестор стоит на первом месте, Идомей - на втором, Улисс - на третьем: в то время как Диомед и Антилох - самые молодые; Аякс и Ахилл, вероятно, следующие. Но что касается Париса, Элена, Энейса, Сарпедона, Полидамаса, мы не находим никаких выводов относительно их возраста, вытекающих из поэмы.

И все же, хотя Гомер может использовать большую степень свободы в одном случае и меньшую в другом в отношении способа оправы своих драгоценностей, он всегда придерживается общих законов истины и природы, поскольку они соответствуют его поэтической цели. Таким образом, могут быть основания сомневаться в том, соблюдал ли он ту же строгую топографическую точность при описании равнины Трои, какую продемонстрировал в Греческом каталоге; но он использовал все материалы, которыми располагал регион; и он четко расположил их как поэтическое целое перед мысленным взором тех, с кем ему приходилось иметь дело. Тем не менее, мы можем быть готовы обнаружить, что он обращается с моралью так же, как и с материальной Троей, позволяя себе несколько больше вольностей, обременяя себя несколько меньшей заботой. И тогда нам не нужно удивляться второстепенным или логически вытекающим несоответствиям в действиях, касающихся троянского народа, потому что ему не стоило тратить время на то, чтобы детально описать их в соответствии с его высочайшими

стандартами; тем не менее, мы можем положиться на его общие представления, и мы, вероятно, находимся на надежной почве, рассматривая все основные черты жизни и характера троянцев как нарисованные не менее намеренно, чем у греков. Ибо, по правде говоря, для того, чтобы греческий портрет произвел на его соотечественников полное впечатление, требовалось, чтобы они могли, по крайней мере до определенного момента, сравнивать его с троянским.

Моральное превосходство его греков.

Рассматривая предмет с этой точки зрения, я должен сказать, что Гомер в целом приписал грекам моральное превосходство над троянцами, не менее реальное, хотя и менее широкое и более неоднородное, чем то, которое он дал им в сферах интеллектуального и военного мастерства. Но во всех одинаковых случаях он применял один и тот же метод определения баланса. Он избегает вульгарного и банального способа официального присуждения премии: он решает этот и любой другой вопрос посредством действий. Поэтому первое, что необходимо сделать, - это исследовать нравственность его современников, как она проявляется в основном действии стихотворений.

Всеми признается, что в этической картине "Одиссеи" различия между добром и злом широки, ясны и бросаются в глаза. Но случай с "Илиадой" не так прост. Поведение Парижа, которое приводит к войне, настолько вопиющее и подлое, а поведение греков, требующих восстановления Елены, прежде чем они прибегнут к силе, настолько справедливое и разумное, что неудивительно, что из-за этого могла возникнуть какая-либо война, за исключением войны обиженного и справедливо разгневанного народа против простых негодяев, предателей и пиратов. Троянцы на первый взгляд кажутся просто поборниками самого грубого и отягчающего зла, даже в его первоначальной форме; их беззаконие еще больше омрачается упрямством, и их причина является причиной вражды ко всем законам, человеческим и божественным. И все же греки не предполагают, что в связи с причиной войны они стоят на ином уровне морали: и дружеские чувства, связанные с чувством человечности, если не с принципами чести и справедливости, проявляются в деталях "Илиады" как преобладающие среди троянцев, немногим меньше, чем среди греков.

Теперь давайте сначала попытаемся прояснить некоторые ошибочные представления, которые просто затемняют дело, а после этого давайте спросим, какое представление Гомер действительно дал нам о моральных чувствах греков и троянцев соответственно в связи с парижским преступлением.

Во-первых, кое-что связано с фальсификацией гомеровской традиции более поздними поэтами: и с рефлекторной принадлежностью Гомеру тех черт, которые под влиянием сначала поэтов-циклистов, вероятно, преувеличивавших ситуацию, чтобы скрыть их относительную слабость, а затем трагиков и Вергилия стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся как подлинные части оригинального портрета.

Согласно Аргументации $\text{K}\acute{\upsilon}\text{P}\rho\iota\alpha\tau\text{P}\eta$, как она была передана нам, Парис, гостеприимно принятый Менелаем, был оставлен им под дружеской опекой своей жены, когда он отправлялся на Крит. Затем он совратил Елену и убедил ее, после того как она была совращена, сбежать с ним и с большей частью движимого имущества Менелая.

На основе этого рассказа сформировались наши представления, и, поскольку это так, мы удивляемся, почему Гомер не вызывает у греков большего негодования по поводу поступка,

который просто сочетал в себе предательство, грабеж и прелюбодеяние. Поскольку он так высоко ценит права гостей и соответственно выражает им свою благодарность, мы не можем понять, как он может быть настолько нечувствителен к самому грубому из мыслимых нарушений своих обязательств.

Рассказ Гомера о похищении.

Гомер здесь становится ответственным за то, о чем он нам частично не рассказывает и что как положительно, так и логически расходится с тем, что он нам сообщает. Он абсолютно точно сообщает нам, что Елену не принуждали покинуть Спарту, а увезли силой; и что преступление супружеской измены было совершено после, а не до ее похищения.

Это различие изменяет характер парижского подвига, причем отнюдь не таким незначительным образом, согласно героическим стандартам морали, как согласно нашим. Как кажется очевидным из выражения Гомера, *ρῥτᾶξας* [408], что Парис похитил Елену в первую очередь актом насилия, поэтому также вероятно, что, когда на острове Кранах было совершено первое прелюбодеяние, он был ее насильником гораздо больше, чем растлителем. Ее преступление, по-видимому, состояло главным образом в простом признании, в какой именно момент мы не знаем, отношений, возникших таким образом между ними, и в согласии, которое с течением времени естественно последовало, например, посещение троянского коня. Однако при всех обстоятельствах было бы актом скорее сверхчеловеческой, чем человеческой добродетели, если бы она на протяжении долгих лет своего пребывания за границей отказывалась признавать Париса своим мужем: и соответственно, Поэт представляет ее нам в гораздо большем свете страдальцы, чем преступницы. [409].

Рассматривая Елену с этой точки зрения, мы видим, что повествование Гомера, по крайней мере, полностью согласуется с самим собой. Греки развязали войну, чтобы отомстить за обиды Елены не меньше, чем за обиды Менелая: более того, сам Менелай, самый ревностный из них, болеет за нее даже больше, чем за себя [410]. Он считает ее человеком, украденным у него, а греки считают Париса только грабителем.

У нас нет оснований полагать, что Кипрский эпос является заслуживающим доверия дополнением к повествованию Гомера. Мы заметили некоторые важные расхождения с "Илиадой". И есть другие. Например, это стихотворение делает Поллукса бессмертным, а Кастора - всего лишь смертным, в то время как Гомер знакомит нас в "Илиаде" с погребением обоих, а в "Одиссее" - с их возвращением на равных условиях к альтернативной жизни. Это дает Агамемнону четырех дочерей, "Илиада" - только трех. Это приводит Брисеиду из Педаса, "Илиада" приводит ее из Лирнесса. И в сюжете есть еще кое-что, что, по-видимому, вообще не соответствует способам гомеровской концепции [411]. Если бы Гомер рассказал нам ту же историю, что и Кипрский эпос, он, возможно, заставил бы своих соотечественников выразить все негодование, какое мы только могли пожелать.

А теперь давайте рассмотрим, какого мнения придерживаются о похищении в "Илиаде" различные лица, о чувствах которых нам стало известно, и в какой степени эта точка зрения может быть объяснена общим тоном эпохи или тем, что было характерно для каждого народа соответственно.

Сама Хелен нигде не произносит ни слова привязанности или уважения к Парису. Даже в его страстях она, похоже, была скорее неохотным, чем добровольным орудием. Она одинаково

низкого мнения о его понимании[412] и о его мужестве[413]: и он разделяет[414] в упреках, которыми она повсюду осыпает себя; хотя, с деликатностью и высокой утонченностью своего нерешительного, но мягкого характера, она никогда не упрекает его в присутствии его родителей, которые продолжали его любить.

Для троянцев он был однозначно ненавистен[415]. Они бы указали на него Агамемнону, если бы могли, потому что ненавидели его как черную Смерть. Именно сочетанием подкупа и смелого утверждения власти он остановил те движения в Собрании, целью которых было добиться возвращения Елены Менелаю[416]. Из всех своих соотечественников, Гектор, кажется, больше всех осознал свою вину и единственный, кто упрекает его в этом[417]. Именно под влиянием резкого упрека Гектора он предлагает сразиться с Менелаем один на один[418].

Греческая оценка Парижа.

Единственные люди с греческой стороны, которые выражают какие-либо сильные чувства по отношению к Парису, - это Диомед и Менелай. Это странно; ибо, когда мы рассматриваем, что было причиной войны, мы, возможно, могли бы ожидать, что повторение ее будет популярным и постоянным среди греков. И это не все, что может вызвать удивление. Диомед безмерен в бранном Париже, но это из-за его трусости и изнеженности. Единственное слово, которое хоть как-то подходит к предмету его преступления, - это παρθενότης: и, высмеивая его как охотника за девственницами, храбрый сын Тидея показывает, какое незначительное место первоначальное предательство Париса занимало в его сознании.

Менелай, действительно, остро ощущает специфическую природу и злобность этого безобразия. Он умоляет Юпитера укрепить его руку против человека, который причинил такое смертельное зло не только ему, но и всем законам, объединяющим человечество:

ὄφρα τις ἐρρίγησι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων

ξεινοδόκον κακὰ ῥέξει, ὃ κεν φιλότῃτα παράσχη[419].

Но тогда Гомер уже в Каталоге представил нам Менелая как отличающегося от остальных своих соотечественников большим стремлением отомстить за обиды и стоны Елены[420].

Соответственно, пострадавший муж возвращается в других случаях на тему: называет троянцев κακαὶ κύνες, и вызывает на себя гнев Ζεὺς ξείνιος, Юпитер гостеприимства[421];

οἱ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ

μὰ ψ οἷ χεσθ' ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ' αὐτῇ.

Таким образом, очевидно, что Менелай возмущен не только лишениями и актом пиратства, но и низким и подлым нарушением веры. С другой стороны, совершенно очевидно, что в этом отношении он стоит особняком среди своих соотечественников. Они, рассматривая дело более грубо и издалека, похоже, видят в нем немного, кроме насильственного похищения, которое совершенно справедливо для тех, кто может, возмутиться и вернуть, но которое не подразумевает экстраординарной и ужасающей вины виновного.

Отсюда, вероятно, то странное проявление апатии со стороны греков, которое, на первый взгляд, может показаться, налагает на них моральный упрек, в какой-то степени связанный с тем, что справедливо приписывается троянскому сообществу. Действительно, невозможно в полной мере оценить их душевное состояние в связи с парижским преступлением, не осудив взгляды и склонности, которыми оно было вызвано. Но причины были разными: и вина, которую они могут заслужить, сильно отличается от той, которая должна пасть на троянцев, а также отличается способом, который может помочь проиллюстрировать некоторые основные различия в двух национальных характерах.

Я говорю здесь, как и везде, о согласовании действий и мотивов в стихотворении как о поэтических фактах, то есть о том, что они расположены относительно друг друга с осторожностью и точностью для достижения определенных результатов; и что они подлежат проверке по закону эффекта, точно так же, как в простой истории все предполагаемые подробности подлежат проверке по закону факта. Допущение истины или басни в стихотворении существенно не расширяет и не сужает поле поэтической дискуссии. Критик ищет соответствие между мотивом и действием, причинами и следствиями в "путешествии в Лилипутию" или "Лапуте", а также у Фукидида или Кларендона. Разница в том, что в одном случае наше обсуждение заканчивается на гениальности изобретателя; в другом мы подтверждаем жизнь и состояние человечества.

Если затем мы признаем факт похищения и зададимся вопросом, какова вероятная причина того, что зло, будучи столь очевидным и грубым, не было более заметным в сознании людей, которые пережили это, то, по крайней мере, часть ответа такова. Нам не нужно возвращаться на три тысячи лет назад в мировую историю, чтобы узнать, как часто случается, что, когда между нациями возникает конфликт, первоначальные причины ссоры имеют непреодолимую тенденцию поглощаться и теряться в его проявлениях. До тех пор, пока считается, что честь и безопасность зависят больше от силы, чем от права, относительная сила часто должна преобладать над относительной правотой при решении вопросов, где применяется арбитражное решение в битве. Как готовность троянцев к восстановлению, так и готовность греков принять искупление могут быть средством Поэта придать определенную моральную гармонию своему произведению; отличительной чертой которого является то, что оно искусно разделяет наши симпатии повсюду, по крайней мере, настолько, насколько это необходимо для интереса к поэме. С одной стороны, честолюбие и алчность Агамемнона, возможно, побудили его не только не искать компромисса, но даже отклонять его или препятствовать ему; чего, как мы можем заметить, он никогда не поощряет в "Илиаде". Получив справедливое основание для войны, он, возможно, был настроен извлечь из нее максимум пользы и уверен, как считает Фукидид, в своих силах обратить ее в свою пользу. Хотя, с другой стороны, Троя была не так уж далека от Греции и не так чужда ей, чтобы не бояться показаться напуганной; и, пока не стало слишком поздно, она, возможно, думала, что ее безопасность будет поставлена под угрозу сдачей Елены.

Здесь могут быть причины, по которым реституция не была ни дана с одной стороны, ни постоянно рассматривалась с другой: тем более что она, конечно же, была включена в идею захвата города. Но не ясно, было ли этого достаточно, чтобы объяснить апатию греков в целом по отношению к преступлению Париса, которое, как мы могли бы ожидать, станет любимой и знакомой темой среди его врагов в целом, вместо того, чтобы ограничиваться, как это есть, непосредственным пострадавшим от несправедливости.

Его отношение к преобладающим взглядам на брак.

Теперь ответ на этот вопрос, в конце концов, следует искать частично в распространенных идеях героической эпохи, а частично в тех, которые были более или менее характерны для греческого народа.

Согласно христианской морали, похищение и присвоение замужней женщины - это не просто преступление, когда оно совершено, но это преступление, которое усугубляется каждым днем, в течение которого продолжают ее отношения с ее соблазнителем или насильником. В героическую эпоху этого не было.

В поэмах у нас есть примеры того, что Гомер считает непрекращающимся преступлением. Так ведут себя Женихи в "Одиссее", которые годами вместе растрачивают состояние Улисса, ухаживают за его женой, притесняют его сына и сожительствуют со слугами. Это было обычное преступление, преступление, в котором добровольно и сознательно упорствовали, хотя от него можно было в любой момент отказаться.

Этот порочный курс женихов никогда не называл Гомер в ἄτη; описано по названиям ἀτασθαλίαι и ὑπερβασίη[422]. Точно так же ряд чудовищных злодеяний, совершенных Эгистом, развращение Клитемнестры, убийство ее мужа, изгнание Ореста и длительная узурпация трона; они никогда не называются ττή; νόττη, а не одно из более суровых названий, приведенных выше, - это название, которое Гомер всегда дает преступлению Париса.

WBR ττή человека - это преступление, настолько близкое по природе к ошибке, что оно совершено под влиянием страсти или слабости; возможно, исключая преднамеренность, возможно, так, что его последствия следуют спонтанно, без нового волевого акта, чтобы вызвать их, так что однажды совершенное деяние практически непоправимо. По словам Гомера, чего-то явно не хватало в парижском преступлении, чтобы погрузить его в еще более глубокие глубины тьмы. Возможно, отчасти мы можем найти это в природе брака, каким он представлялся его возрасту.

Доставив Елену в Трою, он сделал ее своей женой, и своей женой она оставалась до конца осады. Мы, конечно, должны сказать, что он не делал ее своей женой, потому что она была женой другого мужчины. Но различие между браком *де-факто* и браком *де-юре*, ясное нам в свете Божественного Откровения, было менее ясным для эпохи Гомера. Елена была для Париса хозяйкой его дома; обладательницей его чувств, какими бы они ни были; по-видимому, единственной, кто разделял его достоинство и ложе. По мнению того периода, в самой связи не было ничего постыдного, кроме ее происхождения; в то время как, по нашему мнению, каждый день ее продолжения был новым накоплением вины. Высшая несправедливость оскорбленных и обманутых чувств была личной для Менелая. В том аспекте, который он представлял для общего понимания, парижский акт, однажды совершенный и закрепленный установлением *фактических* супружеских отношений, оставался актом грабежа и ничем иным.

И к греческим взглядам на человекоубийство.

Чтобы понять эти представления, столь сильно отличающиеся от наших собственных, мы можем попытаться проиллюстрировать их, обратившись к устоявшемуся взгляду на убийство. Тот, кто

отнял жизнь у ближнего, был обязан искупить вину выплатой штрафа. Если он предлагал это искупление, то принять его было не только обычаем, но и долгом родственников убитого. Настолько, что тупой ум Аякса принимает это за самое простое и надежное основание для спора с Ахиллом, которого он призывает не отказываться от возмещения, предложенного Агамемноном, учитывая, что возмещение (ποῖνη) покрывает убийство брата или сына. Раньше грек с презрением принял бы цену за жизнь. Но, когда дело было сделано, оно перешло в категорию меняемых ценностей. Точно так же похищение Елены, однажды совершенное, приобрело для обычного ума характер акта грабежа, отличающегося от случая убийства, поскольку взятую вещь можно было вернуть, но не отличающегося от него по сути своей моральной природы, какими бы отягчающими ни были обстоятельства, при которых оно было первоначально совершено.

Итак, везде, где моральное осуждение грабежа было значительно смягчено, связанное с ним мошенничество, несомненно, подвергнется аналогичному процессу; потому что в той же степени, в какой акты грабежа признаются законным приобретением, мошенничество, несомненно, становится в заслугу, принимая характер стратагемы. Я думаю, мы можем найти пример этого правила в "Тринадцатой Одиссее"; где, совершенно не сознавая своей неправоты, Улисс симулирует, что убил Орсилоха ночью из засады в результате ссоры, которая ранее произошла из-за добычи[423].

Здесь мы подходим к тому моменту, когда мы должны принять во внимание особые идеи и тенденции греческого разума героической эпохи, поскольку они неизбежно влияют на его оценку поступка, подобного поступку Париса. Греки, прообразом которых мы можем справедливо считать Диомеда, ненавидят его за жеманство, нерешительность и трусость: вот идеи, преобладающие в их сознании: мы не должны сомневаться, что, помимо стремления возместить ущерб Менелая, они морально осуждали поступок, который сделал его необходимым; что мы должны учитывать, так это то, что они не осуждали его таким образом, чтобы сделать это моральное суждение господствующей идеей в их умах по отношению к нему.

Мы видели, что, согласно Гомеру, вместо того, чтобы Елена изначально была добровольным участником преступления Париса, он был под крышей ее мужа ее похитителем, а не растлителем. Ее преступление, по-видимому, состояло в том, что она наполовину согласилась с последствиями похищения. Хотя она никогда не избавлялась от чувства стыда, всегда сохраняла вместе с уязвленной совестью свою первоначальную утонченность характера и, по-видимому, время от времени меняла силу и слабость стремления к возвращению домой[424], специфическая форма ее проступка, согласно представлениям того времени, была скорее претеритной формой безропотного согласия, чем фактом продолжения насилия. признай Париса мужем при жизни Менелая. Дело было в том, что она изменила мужу, а не в том, что жила с мужчиной, который не был ее мужем; и поэтому мы обнаруживаем, что в Трое к ней наиболее доброжелательно относился тот член царского дома, а именно Гектор, который сам обладал высочайшими моральными качествами.

Парижское преступление, хотя также (за исключением простого возвращения награбленного) являлось преступлением претерита, было более сложным. Он нарушил законы гостеприимства, в чем, как мы находим, его недвусмысленно обвинил Менелай[425]. Он присвоил себе власть мужа над чужой женой. Этого он добился насилием. Теперь, каким бы парадоксальным это ни казалось, но, возможно, именно этот компонент насилия, который мы рассматриваем как еще

более усугубляющий дело, и который, по мнению греков, был истинной причиной войны (поскольку они стремились отомстить за вынужденное путешествие и стоны Елены), тем не менее, мог быть также тем компонентом, который морально искупил характер судебного разбирательства в глазах Греции. Это можно было бы сделать, подняв его из области простого стыда и низости в тот класс мужских проступков, которые они обычно рассматривали как дела, действительно подлежащие исправлению сильной рукой, но никогда не как просто позорные. Следовательно, когда мы видим, что греки полны отвращения к Парису, это происходит только из-за изнеженности и трусости характера, которые он проявил на войне. Его первоначальное преступление, вероятно, было смягчено для них тем, что в нем, как им казалось, было что-то от мужественности и духа приключений. Таким образом, нам, возможно, придется искать ключ к неадекватному пониманию греками вины Париса в том, что, как мы видели, было главной слабостью их морали, а именно в их легкомысленной оценке насильственных преступлений и склонности воспринимать их предприимчивость и отвагу как реальную защиту от любого морального зла, которое они могли нести.

Случайная легенда о Геркулесе и Ифите в "Одиссее" представляет собой наиболее ценную и острую иллюстрацию великого морального вопроса[426] между Парисом и Менелаем, который лежит в самом основании великой структуры "Илиады". Ибо и в этом случае мы, по-видимому, находим пример отвратительного преступления, которое, несмотря на это, не разрушило характер его исполнителя и не помешало ему достичь Олимпа; очевидно, только по той причине, что это было преступление, которое, вероятно, потребовало для своего совершения проявления мужской силы и отваги.

Однако, даже по современным представлениям, чувства вины со стороны Парижа оставалось вполне достаточно. Похищения и разращения жены принца в сочетании с его личной трусостью, его постоянным легкомыслием и колебаниями, а также его безрассудным безразличием к опасностям и бедствиям своей страны вполне достаточно, чтобы оправдать и объяснить то, что Гомер изобразил его персонажем ненавистным и презренным. Но хотя приведенные выше соображения могут объяснить чувства и язык греков, иначе необъяснимые, все же остается достаточно того, что на первый взгляд вызывает недоумение в поведении, если не в чувствах, троянцев.

Троянская оценка Париса.

Мы спрашиваем себя, как могли троянцы вынести, или как Гомер мог рационально представить их стойкими, видеть великолепное богатство и состояние Приама, их собственные жизни, семьи и состояния, поставленные на кон, вместо того, чтобы отдать Елену или поддержать Париса в удержании ее? Народ ненавидит его: мудрый Антенор выдвигает в общественном собрании предложение вернуть Елену грекам: Гектор, принц с наибольшим влиянием, почти фактический правитель Трои, знал о вине своего брата и упрекнул его в этом[427]. Как же так получается, что из всех этих элементов и материалов ни один так и не стал эффективным?

Я думаю, мы должны искать ответы на эти вопросы частично в различии морального тона и кодекса морали греков и троянцев; частично в различии их политических институтов.

Мы обнаружим, вероятно, что, хотя мнимые привилегии народа не были меньше, все же тот же дух свободы не пронизывал троянские институты; что народ следовал за их царями с более раболепным почтением; что власть приносила больше пользы, помимо рационального

убеждения; что среди столь же сильных чувств родства в семье и племени было гораздо меньше моральной твердости и решимости, чем среди греков, и, возможно, также гораздо менее строгое соблюдение великих законов супружеского союза, которые были нарушены Парижским актом. Действительно, из упоминания Гектора о каменной тунике следует, что[428], что Париж, вероятно, по закону подлежал побитию камнями за преступление супружеской измены: любопытный остаток, если интерпретация верна, суровых черт первозданной справедливости и суровости, о которых все еще помнят среди повсеместного разрушения более строгих моральных уз.

Хотя из наших предыдущих исследований следует, что плебейский *субстрат*, так сказать, общества, был, возможно, почти одинаковым в обеих странах, все же мнения масс не имели бы тогда ни такого существенного характера, ни такой независимости происхождения, как во времена христианства, ни более сложного развития свободы и ее основных условий. Тогда, в гораздо большей степени, чем сейчас, движущей силой в формировании общественного мнения были бы высшие слои общества: и в высших сферах общества, если не в низших, Греция и Троя были, хотя и этнически близки, но существенно различались по моральному тону. Примечательно, что в Трое нет τίς.

Троянцы более чувственны и фальшивы.

Если мы можем доверять общему эффекту представлений Гомера, мы придем к выводу, что троянцы были более подвержены порокам чувственности и лжи, греки, с другой стороны, более склонны к преступлениям насилия: фактически, последние обладают характеристиками более мужского, а первые - более слабого народа. По словам Мюра, контраст выявляет "определенные фундаментальные черты различия, которые всегда были более или менее заметны между европейской и азиатской расами"[429].

Оглядываясь назад на предыдущую историю Трои, мы обнаруживаем, что Лаомедонт обманом лишил Нептуна и Аполлона оговоренного ими найма, а Анхиз тайно получил породу лошадей от производителей, принадлежащих Лаомедонту, который был его родственником[430]. Условия сделки, по которой Парис сражался с Менелаем, бесстыдно и грубо нарушены. Пандар в перерыве между перемириями предательски целится в Менелая и ранит его стрелой; но ни один троянец не одобряет этого поступка. Эвфорб подходит сзади к обезоруженному Патроклу и ранит его в спину; и даже царевич Гектор, видя его в таком состоянии, только тогда подходит и расправляется с ним. О том, что это были не отдельные акты, мы можем судить по тому обстоятельству, что Менелай, всегда мягкий и справедливый в своих чувствах, когда он принимает вызов Париса, требует, чтобы за Приамом послали для заключения соглашения, потому что его сыновья — и он не делает исключений — дерзкие и вероломные, ὑπερφιάλοι καὶ ἄπιστοι[431]. Я думаю, это следует воспринимать как характерную черту Троя; хотя он мягко продолжает снимать остроту своего упрека, говоря γυνήν о молодости и возрасте. Но самым скандальным из всех троянских разбирательств, по-видимому, была попытка, хотя и безуспешная, казнить Менелая, когда он прибыл с мирной миссией потребовать возвращения своей жены[432].

Ничто из этого преклонения перед мошенничеством, помимо силы, не проявляется ни в поведении греков во время войны, ни в их предшествующей истории; и отрывок, касающийся Автолика, который, по-видимому, больше, чем какой-либо другой, одобряет мошенничество, выводит его случай из категории обычных человеческих действий, ставя его в

непосредственную связь с божеством; так что он иллюстрирует не национальный характер, каким он был, а скорее форму, к которой привело растущее искажение религии. И все же, хотя Гомер называет троянцев вероломными, он повсюду, как мы должны видеть, подтверждает интеллектуальное превосходство греков в военных хитростях. И если, как я думаю, это так, мне удалось доказать выше, что доктрина будущего государства была менее живой и действенной у троянцев, чем у греков, то, безусловно, поучительно рассматривать этот недостаток в связи с национальным отсутствием всякого уважения к истине. Это различие учит нас, что проклятия в адрес лжесвидетелей и перспективы будущего наказания, вероятно, не были ничтожными помощниками в преодолении соблазнов нынешней лжи, которыми повсюду окружена человеческая жизнь.

Что касается чувственности, то главные отличительные моменты заключаются в том, что мы находим особое отношение к этому предмету в царской линии Трои; и что, в то время как в Греции нам время от времени рассказывают о какой-нибудь красивой женщине, которую соблазнило или изнасиловало божество, в Трое мы обнаруживаем, что принцами этой линии являются те, с именами которых связаны легенды. Напрашивается вывод, что в первом случае на подобные темы была наброшена завеса, но во втором никакое чувство стыда не требовало держать их в секрете. Перед нами случаи Титона, который, как говорят, стал мужем Авроры; Анхиза, к которому Венера воспылала страстью; и Париса, которому то же самое божество даровало злой дар желания[433], и которому она обещает самую прекрасную из женщин, жену Менелая. Все это истории, которые, по-видимому, способствовали прославлению заинтересованных сторон на земле, а ни в коем случае не дискредитации их в глазах Бессмертных. И опять же, если, как некоторые могут предположить, мы должны интерпретировать трех *ὑμῶν*[434] Троицы как местных божеств, насколько примечателен тот факт, что Гомер таким образом описывает их как зараженных страстями, которые нигде не появляются среди соответствующего ордена в греческом кругу! Там распущены только мужские божества. Юнона, Минерва, Диана и Персефона, которых одних мы можем назвать греческими богинями того периода, не имели такой нечистой связи со смертными, как богини троянской и финикийской традиций.

Мы действительно слышим об Орионе[435], которого также выбрала Аврора: но мы не можем сказать, принадлежал ли он скорее к троянской, чем к греческой ветви общего стебля. Греческой расе он не мог быть чужд, поскольку находится среди греческой компании в Одиннадцатой "Одиссее": но тогда он присутствует там не как объект чести; он появляется в состоянии измененного страдания, вовлеченный в бесконечную погоню[436]. Мы также находим Иасиона, вероятно, на Крите, который, как сообщается, был любим Церерой[437]: но за это его немедленно поглотила молния Юпитера. И поэтому задержание Улисса прекрасной и бессмертной Калипсо является у Гомера не славой, а бедствием; и это несколько не смягчает страстного стремления этого героя к своей жене и дому.

Заметный контраст, который представляют эти группы инцидентов, возможно, несколько усиливается восторженным наблюдением троянских старейшин на стене в Третьей Илиаде[438]. Несмотря на здравый смысл, все же, когда принимается во внимание преклонный возраст людей, этот отрывок, по-видимому, соответствует троянскому характеру в целом, а не греческому: и, возможно, он может иметь некоторую аналогию с похотливыми взглядами Женихов[439]. Если это так, то очень важно, что Гомер приписывает самым почтенным

старейшинам Трои то, что в Греции он не думает приписывать никому, кроме распутников, которые вот-вот попадут под действие божественного возмездия.

Разница между расами в этом отношении, по-видимому, имеет глубокие корни, поскольку, очевидно, существует некоторое соответствующее различие между их взглядами и обычаями в отношении брака.

Троянские идеи и обычаи брака.

Характер Приама, который был так удачно задуман Мюром[440], несомненно, на самой поверхности несет в себе недостаток чрезмерной снисходительности, наряду с такими достоинствами, как мягкость, большая теплота и острота привязанностей. Но можно усомниться в том, что стихи оправдывают наше отношение к нему как к личности распутного человека. Его жизнь была семейной, но семья была построена на восточный манер. Согласно этим обычаям, полигамия и массовое сожительство были в некотором смысле привилегией, а с другой точки зрения - почти обязанностью его положения; ограниченные, поскольку эти злоупотребления неизбежно должны быть обусловлены их природой (и таковыми они являются даже сейчас в Турции), высшими чинами, где бы они ни преобладали. Домашнее хозяйство Приама, несмотря на его разнообразные отношения к женщинам, организовано так же регулярно, как и у Улисса: и когда он говорит о своей огромной семье, составленной в том виде, в каком она была, он сообщает об этом Ахиллесу в момент мучительной скорби и, очевидно, в качестве просьбы о сочувствии[441], хотя для современного уха это может показаться несколько нелепым. 'У меня было, - говорит он, - пятьдесят сыновей: девятнадцать от одной утробы, остальные от разных матерей в моем дворце'. Он мог бы добавить, что у него также было двенадцать дочерей[442], которых ему, вероятно, не нужно упоминать по этому случаю, поскольку в этом отделе он не был осиротевшим родителем.

Гекуба, мать девятнадцати детей, очевидно, обладала особыми правами и положением, присущим только ей. Самый последний процитированный отрывок отличает ее от *ὑπὸν κῆρ*, и на протяжении всего стихотворения она движется одна[443].

Семья Приама.

С большим количеством детей Приама мы встречаемся в различных местах поэмы.

По-моему, пятеро из них прямо упомянуты как дети Гекубы.

Гектор, Ил. vi. 87.

Хелен, там же.

Лаодика, vi. 252.

Деифоб, Ил. xxii. 333.

Париж, (потому что Гекуба была *ἑκὺρῃ* для Елены) Ил. xxiv.

Далее у нас есть двое детей от Лаотои, дочери Алтеса, повелителя лелегианцев Педаса.

Лусаон, II. xxi. 84.
Полидорус, там же. 91.

Следующий Горгифион, сын Кастианейры, происходивший из Айсуме (Ил. viii. 302).

Тогда мы имеем, без упоминания о матери,

Агафон II. xxiv. 249-51.

Пэммон

Антифон

Бегемоты

Dios

Кассандра, xxiv. 699.

Местор, xxiv. 257.

Троил, Ил. xxiv. 257.

Echemmon[444], v. 159.

Хромиос[444], там же.

Антифос, iv. 490. xi. 101.

Себрионес, viii. 318.

Политики, ii. 791.

И, наконец, незаконнорожденный (νόθοι),

Исос, Ил. xi. 101.

Дориклос, xi. 489.

Демокоон, iv. 499.

Медесикаста, xiii. 173.

Наиболее важный вывод, который можно сделать из сравнения собранных таким образом имен, состоит в том, что дети Приама и, следовательно, их матери делились на три категории:

1. Дети Гекубы.
2. Дети от других его жен.
3. Дети наложниц или случайных привязанностей, которые были, νόθοι, незаконнорожденными.

Имя νόθος у Гомера, по крайней мере у греков, обычно указывает на неполноценность положения. Матери четырех νόθοι никогда не называются по именам. Это, однако, может быть связано с несчастным случаем. Во всяком случае, Ликаон, по-видимому, имеет полное звание принца: однажды за него был выкуп стоимостью в сотню быков, и, когда его снова взяли, он обещает втрое больше; опять же, называя себя сводным братом Гектора, он не признает ничего похожего на фальшивое происхождение. Ссылка Приама на него более ясно объясняет его

позицию и не вызывает сомнений в том, что Лаофея была признана женой, поскольку она принесла Приаму большое приданое[445]; и если ее сыновья умрут, говорит престарелый царь, 'это будет несчастьем для меня и для их матери'. Формулировка, используемая в другом отрывке о Полидоре, также является убедительной[446]. Он описывается как самый младший и дорогой из сыновей Приама, что, очевидно, подразумевает, что он в самом полном смысле является членом семьи. Опять же, во дворце Приама были отдельные покои не только для девятнадцати, но и для пятидесяти человек. Таким образом, они, по-видимому, включали все три класса. Так что достаточно вероятно, что состояние незаконнорожденности не проводило той же четкой границы, что и в Трои, которую оно проводило в Греции.

Лаофея, мать Ликаона и Полидора, была женщиной княжеского звания: и когда Ликаон говорит, что у Приама было еще много других, кроме нее[447],

τοῦ δ' ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας,

он, вероятно, имеет в виду многих других людей такого же положения, жен и других женщин благородного происхождения, которые были частью его семьи.

Так что Гомер, по всей вероятности, имеет в виду описать нам тройственный порядок,

1. Гекуба, как главная царица.
2. Другие жены, неполноценные, но явно признанные.
3. Либо наложницы, признанные полностью подчиненными, либо женщины, которые не состояли с Приамом в каких-либо постоянных отношениях.

Помимо случая с Приамом, у нас есть скудные средства для выяснения обычаев и представлений о браке среди троянцев. У нас есть Андромаха, жена Гектора; Елена, что-то вроде жены Париса; Феано, жена Антенора, и жрица Минервы; которая также взяла на себя заботу о своем незаконнорожденном сыне Пееде и воспитала его[448]. То, как это упоминается в качестве одолжения ее мужу, определенно показывает, что признак незаконнорожденности не был полностью упущен из виду даже в Трое. Но, кроме этого Пееды, мы встречаем в разных местах "Илиады" не менее десяти других сыновей Антенора, все, я думаю, в возрасте воинов. Это не демонстративно, но наводит на предположение, что некоторые из них, вероятно, были сыновьями других жен, кроме Теано; который дважды описывается как Теано с цветущими щеками, и поэтому вряд ли можно предположить, что он достиг очень преклонного периода жизни[449].

Но из важного случая с Приамом ясно, даже если он стоит особняком, что среди троянцев нет ничего постыдного в множественности жен или в том, что у них много незаконнорожденных детей, рождение от разных матерей. Возможно, что нравы Трои в отношении полигамии в то время были такими же (если не указывать причину), как те, которые Тацит приписывает немцам своего времени: *Singulis uxoribus contenti sunt; exceptis admodum paucis, qui, non libidine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur*[450]. Мы должны добавить к этому, что Парис, удерживая в качестве своей жены супругу другого мужчины, все еще живущего, совершает поступок, которому у нас нет примера, к которому мы не находим никакого приближения в греческих нравах того времени. Ее значение возрастает, когда мы обнаруживаем, что после его смерти она отдается Деифобу: ибо этот дальнейший союз изменяет индивидуальную черту на

национальную. Ее греческие устремления, а также ее раскаяние в том, что она пожертвовала своей честью перед Парижем, дают основание предполагать, что это соглашение вряд ли могло быть принято в соответствии с ее собственными склонностями; и что оно, должно быть, было заключено для нее без ее выбора, из предполагаемых семейных или политических соображений.

Таким образом, мы, по-видимому, вправе заключить, что, поскольку одиночество по существу не входило в троянскую идею брака, то и связь с ними не обладала характером нерасторжимости и даже не приближалась к нему. Весьма примечательна разница между ужасом, который вызывает первое преступление Эгифа в Греции, развращение Клитемнестры, хотя оно было аналогично деянию Париса, и безразличием троянцев к преступлению, совершенному их собственным князем. На самом деле у нас нет возможности непосредственно узнать, как относились к Эгисту окружающие его греки в период, предшествовавший возвращению и убийству Агамемнона. Но мы обнаруживаем, что Юпитер при Дворе Олимпийцев отчетливо описывает свое прелюбодеяние как существенную часть своего греха[451];

ὣς καὶ νῦν Αἴ γισθος ὑπέρμορον Ἀτρεΐδαο

γῆμ' ἄλοχον μνηστῆν, τὸν δ' ἔκτανε νοστήσαντα.

И я думаю, мы можем быть уверены, что Юпитер никогда не провозгласил бы на Олимпе никаких правил супружеской морали, более высоких, чем те, которые соблюдались среди греков на земле.

Итак, опять же, особой частью проступка Женихов в "Одиссее" было то, что они пытались жениться на Пенелопе, пока ее муж был жив.[452]; то есть до того, как была установлена его смерть, хотя на самом деле не было ничего экстравагантного в предположении, что это произошло.

Более строгие представления у греков.

Из обоих этих примеров, и особенно из последнего, мы должны, я думаю, обоснованно заключить, что моральный кодекс Греции был гораздо более враждебен деянию Парижа, рассматривавшемуся как нарушение супружеских законов, чем соответствующее правило в Трое.

В связи с этой темой мы можем заметить, как Гомер распространил семейство Дарданидов, как в эпоху войны, так и в прежние времена, с избытком личной красоты. В Париже мы готовы услышать это как само собой разумеющееся; но Гектор был и εἴδος ἀγῆτόν[453]; и даже в старости, ὅψις ἀγαθὴ Приама восхищался Ахиллесом[454]. Деифобус снова называется θεοεἰκελός и θεοειδής[455], и двум дочерям Приама по отдельности Гомер воздает хвалу за то, что каждая из них самая красивая[456] среди них всех. С этим, по-видимому, у многих из них была связана изнеженность, а также наглость и лживость характера; ибо мы должны предположить, что в гневной брани их отца, который описывает своих оставшихся сыновей как (Ил. xxiv. 261.)

ψευσταὶ τ' ὀρχησταὶ τε, χοροῖσι τυπῆσιν ἄριστοι,

ἀρνῶν ἢ δ' ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἀρπακτῆρες.

Инвектива, которая полностью соответствует убеждению греков относительно их общего характера в Третьей книге[457]. Великие греческие герои тоже красивы; но сама их красота, особенно в "Илиаде", по большей части тщательно скрывается в тени.

Троянское государство менее высокоорганизовано.

Теперь мы обратимся к политическим институтам Трои. Менее развитые в плане организации и придерживающиеся менее твердого тона, чем в Греции, они помогут объяснить, как могло случиться, что народ терпел длительные бедствия и постоянные поражения и мог дойти до окончательного разорения из-за злых и бессмысленных поступков отдельного правителя.

Было замечено, что идея наследственной преемственности была определенной, а также знакомой в Греции. В Трое, по-видимому, это было не так. И это, безусловно, то, чего мы могли бы ожидать от признания полигамии в любой форме, какой бы квалифицированной она ни была. Это имеет тенденцию смешивать положение какой-либо одной жены, хотя и предполагаемой верховной, с положением других; и смешивая порядок наследования, как при рождении от разных жен, это полностью нарушает простоту правила первородства.

И опять же, если бы, как мы сейчас увидим, троянская раса обладала менее развитой способностью к политической организации, у них было бы меньше шансов установить четкие правила и практику наследования, которые являются основным элементом политического порядка в хорошо управляемых странах.

Свидетельства относительно азиатского правила наследования, я признаю, косвенные и скудные; я также не пытаюсь поставить то, что я могу сейчас предложить, в ранг более высокий, чем вероятная гипотеза.

1. Сарпедон явно был лидером ликийцев, имея своего рода преимущество перед Главком.

Общий тон стихотворения явно создает такое впечатление. Он говорит и действует как лицо, несущее основную ответственность[458]. Но по рождению он был ниже Главка, ибо он был внуком Беллорофонта только по женской линии через Лаодамию, в то время как Главк стоял особняком по мужской линии через Ипполоха. Я не осмеливаюсь сильно полагаться на простой порядок имен; и поэтому я не настаиваю на том факте, который на самом деле не нужен для аргументации, что это делает Лаодамию младшей по отношению к Ипполоху. Скажут, что Сарпедон был главным командующим, потому что он обладал превосходящими достоинствами. Но у греков мы не находим примеров, когда высшие заслуги давали бы преимущество перед рождением. И репутация божественного происхождения явно не могла отменить преимущественное право наследования.

Опять же, и Сарпедон, и Главк явно называются βασιλῆες[459], короли. Так вот, они были двоюродными братьями и сестрами и принадлежали к одному королевству. Гипполох, возможно, был еще жив[460]; ибо он дал Главку напутствие, и его смерть не упоминается. В Греции мы находим предполагаемого наследника, именуемого царем, а именно Ахиллом; но этот титул никогда не присваивается более чем одному человеку, стоящему в очереди наследования. Я думаю, возможным объяснением является то, что Ликийское царство было разделено[461]: но если это не так, то использование этого термина, по-видимому, доказывает, что в Азии все дети общего предка стояли или могли стоять на одной ноге по рождению: и, как

если бы это зависело от других причин, а не от определенного и единственного правила, чтобы определить, кто должен унаследовать трон.

2. В предыдущей части этой работы[462], я изложил причины для предположения, что Эней представлял старшую ветвь дома Дарданов. Но независимо от того, сделал он это или нет, из "Илиады" достаточно ясно, что он не был лишен претензий на престолонаследие. Достоинство его отца Анхиза подтверждается тем, что он остался в Дардании и не появлялся при дворе Приама. Эней обычно воздерживается от посещения собраний для консультаций, на которых Приам, где они гражданские, и Гектор, где они военные, берут на себя ведущую роль. Ахилл недвусмысленно насмехается над ним за то, что он предвкушает наследование престола после смерти Приама и общественные земли, которые он должен был немедленно получить от троянцев, если бы только смог убить великого греческого воина. Выделена особая преемственность, к которой относится насмешка; это господство не над простыми дарданцами, а над Τρῳῆς ἰ ΠτόΔαροι[463]. Проследившая генеалогию, Эней не придерживается ни одной из двух линий (от Илуса и Ассарака соответственно) как старшей и, следовательно, высшей; но, поставив линию Илуса первой в более ранней части цепочки, он помещает свое собственное происхождение от Анхиза перед происхождением Гектора от Приама.

Помимо вопроса, *какая линия была старшей*, все эти подробности, взятые вместе, демонстрируют неопределенность в порядке наследования, о которой у греков мы не имеем никаких указаний. Даже случайное упоминание о праве Приама передать его Энею, если ему заблагорассудится, настолько же не соответствует тому, что Гомер рассказывает нам о греческих нравах, насколько соответствующая власть, предоставленная парламентом короне в период правления Тюдоров, расходилась с общими аналогиями английской истории и институтов.

Наследование трона Приама.

3. Третий случай, рассматриваемый нами, относится к семейству самого Приама. Представляется крайне сомнительным, можем ли мы, опираясь на авторитет поэм, с уверенностью выделить одного из его сыновей как старшего или как стоящего на этом основании в линии наследования трона Приама. Улики, насколько это возможно, скорее указывают на Париса, в то время как вопрос лежит между ним и Гектором.

Теокрит[464] действительно называет Гектора старшим из двадцати детей Гекубы. Но это мнение, а не авторитет; и названное число показывает, что маловероятно, что он думал об исторической точности, поскольку Гомер говорит, что у Гекубы было девятнадцать сыновей, в то время как у нее было также несколько дочерей[465].

Не может быть никаких сомнений в том, что Гектор был самой заметной личностью, самым значительным чемпионом города. На него было возложено исключительно руководство войной и регулирование поставок, необходимых для снабжения войск троянцев и союзников. Полидамас, который так часто придерживается иного взгляда на дела, и Сарпедон, когда у него есть жалоба, одинаково обращаются к нему. Эней - единственный человек, который появляется на поле боя в одном звании с ним, и он занимает положение, совершенно отличное от семьи Приама. Как и среди членов этой семьи, не может быть никаких сомнений в превосходстве Гектора. Он действительно фактически выполнял самую тяжелую часть обязанностей суверена.

Эней в "генеалогии" завершает линию Ассарака самим собой; и, по всей видимости, как не менее само собой разумеющееся, линию Илуса Гектором[466]. Опять же, имя Астуанакс, данное народом его сыну, по-видимому, показывает, что корона должна была перейти к нему. Но все это ни в коей мере не дает ответа на вопрос, занимал ли Гектор свое положение вероятного назначенного короля по рождению, или же это было скорее связано с его личными качествами, а также с его огромной и неразделенной ответственностью и усилиями. Есть несколько обстоятельств, которые могут заставить нас склониться к последнему варианту.

(1.) Когда его родители и вдова оплакивают его потерю, это потеря их великого защитника и главной славы[467], а не того, кто смертью освободил место известного преемника суверенитета.

(2) Если бы Гектору по рождению было гарантировано место Приама, его право было бы достаточным основанием для того, чтобы сразу дать своему сыну имя Астуанакс. Но нам говорят, что люди сделали это по той причине, что Гектор был единственным реальным оплотом Трои. Кажется маловероятным, что в таком случае его репутация наследника по рождению была бы полностью обойдена вниманием. Таким образом, название, по-видимому, наводит на мысль, что Гектор стал как бы предполагаемым наследником трона, проявив себя оплотом трона[468].

Когда Гектор берет своего ребенка на руки, он молится от имени младенца, чтобы тот стал таким же, как он сам[469],

ἀντρέπεια Τρώεσσι,

ὥς βῆν τ' ἀγαθὸν, καὶ Ἰλίου ἱφὶ ἀνάσσειν·

то есть для того, чтобы он стал выдающимся и доблестным и мог могущественнее править троянцами. Это, по-видимому, указывает на преемственность в силу личных качеств, а не по рождению.

Пэрис, скорее всего, самая старшая по рождению.

Есть также признаки того, что Парис, а не Гектор, возможно, был старшим сыном Приама и, возможно, имел более слабое, зачаточное право на престолонаследие, от которого в случае необходимости пришлось отказаться благодаря превосходству мужества и характера его брата.

Это предположение лучше согласуется с тем фактом, что он имел влияние, достаточное для того, чтобы отклонить первоначальное требование о возвращении Елены, мирно выдвинутое греческим посольством; и с тем фактом, что его страна терпела столько зла от его имени.

Это объясняет тот факт, что у него был собственный дворец в Пергаме; различие, которое он разделял только с Гектором[470], поскольку женатые сыновья, а также дочери Приама в целом спали в апартаментах во дворце своего отца[471]. А также это согласуется с его первоначальной экспедицией, которая, очевидно, была делом больших усилий и затрат; и с тем, что он явно был следующим по военному званию после Гектора среди сыновей Приама.

Кроме того, это объяснило бы тот факт, с которым в противном случае было бы очень трудно смириться, что только среди детей Приама Парис или Александр удостоены значимого титула

βασιλεύς. Хелен называется ἄναξ, а Гектор ποίμην λαῶν, но ни одно из выражений не имеет одинакового ранга и не оказывает аналогичного эффекта. Это исключительное применение термина βασιλεύς является очень веским доказательством, если, как я полагаю, оно больше нигде в "Илиаде" не применяется к выбранному таким образом лицу, не указывая ни на обладание, ни на ожидаемую наследственность трона.

И действительно, даже если бы мы могли показать, что Гомер применил имя βασιλεύς к двум братьям в одной семье, результат был бы тем же, что и основной аргумент, поскольку ни в одной из царских семей Греции нет такого ярко выраженного признака равенства между братьями.

Опять же; рассматривая закон наследования у греков, мы обнаружили в Каталоге четыре случая, когда контингенты были отданы под командование двух лидеров, которые, по-видимому, совпадали; во всех случаях они братья, и четыре двойных командования встречаются в общей сложности в двадцати девяти случаях. Или давайте изложим этот случай в другой форме, чтобы включить случаи Беотии и Элиды. Среди шестнадцати троянских контингентов есть только шесть, где главная власть явно находится в одних руках; из двадцати девяти греческих контингентов их двадцать три, а из оставшихся шести четыре - это дела братьев. Этот факт существенен, поскольку указывает на более слабую и менее эффективную военную организацию в рядах троянцев и их союзников, чем в рядах греков; обстоятельство, которое не доказывает, но согласуется с гипотезой о том, что им также не хватало определенного порядка наследования политической власти.

Существуют и другие причины, непосредственно связанные с Гектором, позволяющие предположить, что Гомер намеревался представить Париса старше своего брата[472]. Парис был взрослым по меньшей мере двадцать лет, судя по букве стихотворения, которое, по крайней мере, должно представлять собой длительный период времени. Но у Гектора есть только один ребенок, младенец на руках, что само по себе говорит о том, что он менее продвинут в жизни. Опять же, мы должны предположить, что его возраст, вероятно, не очень отличается от возраста Андромахи. Но совершенно очевидно, что она была молодой матерью; поскольку после убийства Ээтиона ее отец Ахилл вскоре взял выкуп за ее мать, которая после этого вернулась в дом своего собственного отца, деда Андромахи по материнской линии, и впоследствии умерла там[473]. Таким образом, если дедушка Андромахи был жив, когда была взята Фива, и возраст Гектора был должным образом пропорционален ее собственному, то он, по всей вероятности, был моложе Париса. Опять же, можно заметить, что термин ἦβη нигде не приписывается Парису, но он присвоен Гектору после его смерти[474]. Несмотря на комплиментарное использование "Улисса" в Од. viii. 135, это слово имеет определенную привязку к ранней жизни. Но у нас есть более сильный и, как мне кажется, убедительный аргумент в речи Андромахи после его смерти[475];

ἄνερ, ἀπ' αἰ ὦρος νέος ὤλεο.

Поэтому его отчетливо называют молодым. И в этих обстоятельствах мы можем считать почти несомненным, что Парис был первенцем Приама[476], но его право наследования утекло, как вода из рук мужчины.

Расовые отношения между троянцами и греками уже рассматривались в связи с великим гомеровским заглавием νῆαξ ἀνδρῶν[477]; при некоторых трудностях, которые сводятся к тому,

что Гомер, почти по каждому предмету столь блестящий путеводитель, по всей вероятности, здесь как бы замалчивается; и что мы имеем никакой информации, кроме той, которую он случайно обронит. Но он не был так озабочен институтами Трои; так что, хотя у него и не было возможности вдаваться в такое количество деталей, какое он дал нам в отношении греков, или с такой же мельчайшей точностью, как он там заметил, их, по-видимому, достаточно, чтобы составить достаточно ясный и последовательный план.

Мы привыкли слишком небрежно относиться к гомеровскому термину "Троя", как если бы он обозначал только один город. Но у Гомера это гораздо чаще означает страну, столицу которой иногда называют Троей и рядом с которой находится множество других городов. Однако собственное название города в стихотворениях - Ἰλιος, а не Τροίη. Илиос используется более ста двадцати раз в "Илиаде" и "Одиссее" и всегда строго означает город. Слово Τροίη употребляется почти девяносто раз, и в подавляющем большинстве случаев оно означает страну. Часто он имеет эпитеты εὐρεῖα, ἑριβωλος, ἑριβώλαξ, которые говорят сами за себя. Но чаще всего оно обходится без эпитета; и к тому же оно очень обобщенно обозначает страну. Когда греки говорят, например, о путешествии Τροίηνδε, это естественный смысл, а не предполагать, что это означает город не на берегу моря, и в который они вообще не попали до конца осады[478].

Приам и его династия в Троеде.

Согласно генеалогическому древу в Девятнадцатой Илиаде, Дардан построил Дарданию среди гор: его сын Эрихтоний разбогател на владениях на равнине; а Трос, сын Эрихтония, был настоящим основателем троянского государства и названия[479].

Τρῶες δ' Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα.

Таким образом, имя Троес в то время охватывало всю расу. Но город Илиос, судя по его названию, должен был быть построен не ранее времен Илуса, сына Троса. И теперь династия разделяется на две линии, поскольку Ассарак, брат Илуса, продолжает править в Дардании. Таким образом, местное существование дарданийского имени продлевается; ибо ясно, что дарданийский трон ассоциировался, по крайней мере по достоинству, с соперничающим, а не подчиненным суверенитетом. И все же он не простирается дальше холмов. Именно по ним Эней бежал от Ахилла[480]. Но даже дарданцы не полностью перестали быть известными под названием троянцев; ибо Гомер не только часто использует доминирующее название Троес для обозначения всей силы, противостоящей грекам, что означает название целого по главной части, но он также использует слово Троес для обозначения всей той части силы, которая находилась под властью дома Дардана в обеих ветвях; и он отличает эту часть от остальной силы, описанной под названием ἐπικούροι, в начале Каталога Trojan:

ἔνθα τότε Τρῶες τε διέκριθεν, ἧδ' ἐπικούροι[481].

За этой строкой следует описание всех сил, противостоявших грекам, в шестнадцати дивизиях. Из них одиннадцать последних носят каждый свое национальное название, начиная с пеласгов Лариссы и заканчивая ликийцами; и они подчиняются вождям, которых весь ход поэмы отмечает как не троянских, а независимых. Эти одиннадцать, очевидно, были ἐπικούροι из версии 815.

Пять первых контингентов представлены следующим образом и ими командуют:

1. Ссылки под Hector[482]:

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ.

2. Дарданийцы при Энее, с двумя из (десяти) сыновей Антенора, Архелохом и Акамасом, для его коллег[483]:

Δαρδανίων αὖτ' ἦρχεν ἐὺς παῖς Ἀχίσαο.

3. Троянцы Зелеи, на крайнем отроге Иды, под Пандаром[484]:

οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νεύοντες Ἴδης

Τρώες.

4. Жители Адрестеи и других городов при Адресте и Амфиусе, сыновьях Меропса из Перкота[485]:

οἱ δ' Ἀδρήστεϊάν τ' εἶχον, κ. т. λ.

5. Жители Перкота и других городов, подчиняющихся Азиусу:

οἱ δ' ἄρα Περκώτην, κ. т. λ.

А затем начинается перечисление союзников, каждого под соответствующими национальными названиями.

Кажется очевидным, что эти пять названных первыми контингентов составляют все подданные расы Дардана. Сначала идут троянцы из столицы и ее округа под командованием Гектора. Затем, имея преимущество по достоинству, дарданийское подразделение Эней. В третьем эпизоде Поэт возвращается к имени Троес, которое, я думаю, достаточно явно заменяет четвертый и пятый, точно так же, как в греческом каталоге название пеласгический Аргос[486] вводит и осмысливает ряд последующих эпизодов, помимо имени Ахиллеса.

Есть несколько причин, которые явно приводят к такому выводу. Смысл διέκριθεν (815) и ссылка на разнообразие языков, на которых говорят (804), почти требуют разделения сил между Троицами и союзниками; это также наиболее естественное разделение. Четвертый и пятый контингенты на самом деле прямо не называются Тройками, но это название, уже данное третьему, может включать и их. Я думаю, мы должны заключить, что это так, когда находим ясное доказательство того, что они не были независимыми национальными подразделениями: войска Перкота были в пятом полку, но сыновья Перкозиана Меропса командовали четвертым, факт необъяснимый, если это были силы независимых государств, но достаточно естественный, если все они находились под верховенством Приама и его дома.

В великой битве Двенадцатой Илиады троянцами являются πένταχα κοσμηθέντες (xii. 87). Сарпедон командует союзниками вместе с Главком и Астеропеем (ст. 101), таким образом, на его долю приходится одиннадцать из шестнадцати дивизий в Каталоге. Эней вместе с двумя сыновьями Антенора командует дарданцами, таким образом избавляясь от двенадцатого. И снова Гектор вместе с Полидамом и Себрионом командует подразделением πλεῖστοι καὶ ἄριστοι, очевидно, стоящим первым в Каталоге. Таким образом, получается число тринадцать. Три оставшихся элементами Каталога являются

1. Зелеан Троес при Пандаре, (с тех пор убит), Ил. ii. 824-7.

2. Адрестанцы и ок. при Адресте и Амфиусе, (828-34) оба убиты, Ил. v. 612. vi. 63.

3. Перкотианцы и др. при Асии (835-9).

Эти три оставшихся раздела Каталога явно появляются во втором и третьем из пяти разделов Двенадцатой книги. Вторая - под Парижем, с Алкатоусом, зятем Антенора, и Агенором, одним из его сыновей. Под командованием Третьего Элен и Деифоб, два сына Приама, связаны с Азией и даже поставлены перед ним. Положение, отведенное в этих подразделениях семье Приама, по-видимому, доказывает, что войска, составлявшие их, были среди его подданных.

Опять же, территориальное сопоставление этих районов, между Фригией, которая лежала за горами Ида, с одной стороны, и Мраморным морем с Эгейским морем с другой, полностью согласуется с описанием в Двадцать четвертой "Илиаде"[487] территории, в пределах которой Приам имел превосходство в богатстве, а также в силе и влиянии его сыновей. Страбон цитирует этот отрывок как прямое доказательство того, что Приам правил страной, которую он описывает, а это гораздо больше, чем там на самом деле говорится; и он говорит, что Трояда определенно простиралась до Адрестеи и Кизика.

Опять же, в разных отрывках мы находим различные признаки политической связи между названными нами городами и расой Приама. Меланиппус, его племянник, работал до войны в Percote[488]. Демокон[489], его незаконнорожденный сын, ухаживал за лошадьми в Абидусе; несомненно, говорит Страбон[490], за лошадьми его отца.

Частичное включение дарданцев в название Троес дополнительно подтверждается стихом[491],

Αἱ νεῖα, Τρώων βουλευφόρε·

и обращением Елена к Эней и Гектору совместно, как к лицам, главным образом ответственным за безопасность троянцев и ликийцев: название ликийцы взято здесь, как и в некоторых других местах[492], для обозначения, скорее всего, расы, родственной троянцам и локально смешанной с ними.

Но у дарданцев чаще всего собственное обозначение дается им отдельно. Оно никогда не включает троев. И мы никогда не находим двух названий, Троес и Дарданс, охватывающих все подразделение. Всякий раз, когда дарданов называют Троями, используется и другое слово, либо ἐπίκουροι, либо Λύκιοι.

Уместно добавить, что слово Троес иногда употребляется строго по отношению к жителям города, но случаи редки и, возможно, всегда имеют контекстуальные указания на то, что смысл именно такой.

Еще один признак того, что Приам осуществлял прямой суверенитет над территорией, на которой находились эти пять контингентов, возможно, можно найти в том факте, что мы не находим ни одного из его племянников, командовавших ими. Ими руководили местные офицеры, в то время как братья Приама составляли часть общины Трои и в основном влияли на Собрание; а их сыновья, хотя и были, по-видимому, более значительными личностями, чем большинство местных офицеров в целом, просто выглядят так, как будто действовали под

началом Гектора без особого командования. Братья Приама - Лампус, Клитий и Хикетаон. Его племянниками и другими родственниками являются Долопс, сын Лампуса; Меланипп, сын Хикетаона; Полидамас, Гиперенор и Эвфорб, сыновья Пантоса и его жены Фронтиды.

Если бы старшие члены семьи обладали местным суверенитетом, мы бы нашли их сыновей в местных командирах. Но мы находим только двух сыновей Антенора командующими, либо коллегами, либо наместниками Энейса, над дарданами, у нас нет оснований предполагать, что они принимали какое-либо участие в управлении.

Страбон, действительно, утверждает, что существует девять отдельных *δυναστεῖαι*, непосредственно связанных с Троей[493], помимо *ἐπίκουροι*. Одно из этих государств, по его мнению, было лелегийским, и им правил Алт, отец Лаофеи, одной из жен Приама. Другим управлял Мунес, муж Брисеиды. Другая, Фива, написана Этионом, отцом Андромахи. Другие, по его мнению, представлены Анхизом и Пандаром: но это не совсем согласуется со структурой Каталога. Он также ссылается на Лирнесса и Педаса, которые нигде не упоминаются Гомером в качестве пополняющих контингентов, но они, очевидно, были уничтожены, а также взяты в плен Ахиллесом. Он помещает несколько династий в разрушенные таким образом города: и все они, по его словам, лежат за пределами, обозначенными в двадцать четвертой "Илиаде".

Эта совокупность фактов, по-видимому, указывает на очень большое разнообразие отношений, существовавших между Приамом с его столицей и государствами, городами и расами, о которых мы слышим, что они были на его стороне в войне. Сначала идут города Трояда, или собственно Троя, составляющие пять, или, если исключить Дарданию, четыре из пяти, первых контингентов Каталога. Над ними властвовал Приам.

Далее следуют города, насколько их можно проследить, под названием *δυναστεῖαι*, упомянутые Страбоном, такие как Фива, а также города Альтес и Мунес. Вероятно, они находились в таком же отношении к скипетру Приама, как греческие государства в целом к скипетру Агамемнона.

В-третьих, есть независимые государства. Из них одиннадцать названы в Каталоге; другие добавлены как недавно появившиеся в Десятой книге[494], и впоследствии были внесены дополнительные дополнения, такие как сила под командованием Мемнона и кетейцы под командованием Эврипила[495]. Пожалуй, ничто так не стремится показать, насколько справедливо по существу Гораций описал Троянскую войну как конфликт между восточным и западным миром, как мощная помощь, оказанная Приаму многочисленными и дальними союзниками. Две конфедерации, которые затем вступили в столкновение, поглотили весь известный гомеровский мир и предвещали великие конфликты более поздних эпох.

Политические институты Трои.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению политических институтов царства Приама, которые, таким образом, были определены в общих чертах.

βασιλεὺς у троянцев обозначен менее четко, чем у греков: ибо (как мы обнаружим) у них не было *βουλῆς*, и поэтому у нас нет таких же возможностей видеть представителей высшего сословия собранными для отдельных действий при ведении войны. Тем не менее, однако, это имя явно дано следующим лицам на троянской стороне, и никому другому.

1. Приам, Ил. v. 464, xxiv. 630.
2. Париж, iv. 96.
3. Резус, х. 435.
4. Сарпедон, xii. 319. xvi. 660.
5. Главк, xii. 319.

У троянцев, как и у греков, было принято, чтобы цари, вступая в юность, возлагали более активные царские обязанности на своих детей и сохраняли, возможно, лишь на время, за ними оседлый характер. Следовательно, Гектор, по крайней мере, разделяет с Приамом управление Собраниями, поскольку именно он[496] тот, кто разрушает ту, что во Второй Книге, и называет военных одной из Восьмых. Поэтому он также говорит о себе как о человеке, ответственном за тяготы, связанные с войной на троянцев. "Я вывел вас из ваших городов, - говорит он союзникам, - не для того, чтобы умножать нашу численность, но чтобы вы могли защищать для меня жен и детей троянцев; имея в виду эту цель, я истощаю людей ради вашего жалования и провизии"[497]. Следовательно, Эней возглавляет дарданийцев, в то время как его отец Анхиз нигде не появляется и, как следует предположить, остается в своей столице. Следовательно, в то время как десять или двенадцать сыновей Антенора защищают Трою с оружием в руках, и двое из них являются коллегами Энея в командовании дарданским контингентом, их отец фигурирует среди δηροῦρόντες, которые были главными ораторами на городском собрании. Мы не знаем, был ли Антенор царем; более вероятно, что он занимал господствующую должность, подчиненную Приаму, в отношениях несколько более строгих, чем между Агамемноном и греческими вождями, и скорее напоминающих отношения между Пелеем и Ментием; но тот же обычай частичного ухода в отставку, по-видимому, преобладал и в случае с низшими правителями, поскольку на самом деле это было продиктовано теми же соображениями благоразумия и необходимости.

βασιλῆς τῆς Τροίης, так же как и в Греции, не были абсолютным деспотизмом. В Трое, как и в Греции, общественные дела обсуждались и решались на Собраниях, хотя и с отличиями, которые можно заметить, от греческих обычаев. Именно на Собрании Айрис, замаскированная под Политика, обратилась к Приаму и Гектору с просьбой посоветовать провести обзор армии[498]. И снова на Собрании Антенор предложил, а Парис отказался, выдать Елену: после чего Приам предложил Идею просить о перемирии с целью погребения мертвых, и народ согласился с предложением[499];

οἱ δ' ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἦδ' ἐπίθοντο.

Именно в Ассамблее также были внесены те более ранние предложения, которые тот же персонаж провалил с помощью коррупции.

Наконец, в Восьмой книге Гектор[500], как мы видели, удерживает военную ἀγορὴ часть армии на берегах Скамандра. При этом он приглашает их разбить лагерь за греческим валом, и они единодушно принимают его предложение. Это Собрание на поле битвы является аргументом, тем более показывающим, что троянцы передавали на такие собрания обычные дела. У нас, действительно, нет подробностей о какой-либо троянской сборке, кроме этих трех. Но у нас есть ссылки на них, которые дают аналогичное представление об их природе и функциях. Идейус по возвращении объявляет Ассамблее, что перемирие заключено[501]. Очевидно, что восстановление Елены обсуждалось до, а также во время войны, в Народном Собрании; потому

что Агамемнон убивает двух сыновей Антимаха на том особом основании, что отец там предложил убить Менелая, если не Улисса[502], когда они прибыли в качестве послов в Трою, чтобы потребовать ее восстановления. Этот Анतिмах был подкуплен Парижем, как сообщает нам Поэт, чтобы выступить против этой меры[503]. Опять же, Полидамас в одной из своих речей обвиняет Гектора в том, что он грубо обошелся с ним, когда тот осмелился не соглашаться с ним на Собраниях, на том основании, что ему, как незнакомому троянцу δῆμος, не следовало сеять раздор между ними[504].

Таким образом, троянские институты, на наш взгляд, не представляют большего возвышения королевской должности. Напротив, примечательно, что титул δημοῦργων, который Гомер применяет к главным ораторам Троянского собрания, не являющимся царями, также используется им для описания Илуса, основателя города[505]. Однако возможно, возможно даже вероятно, что этот титул мог быть применен к Илусу как к младшему сыну, если его брат Ассарак был старшим и наследником[506].

Но хотя, таким образом, представляется, что монархия в Трое была ограниченной, как и в Греции, и что государственные дела решались народными собраниями, метод и организация этих Собраний в обоих случаях были разными.

1. Руководящим элементом троянского правительства, по-видимому, был возраст в сочетании с рангом; в то время как у греков мудрость и доблесть были качествами, не менее доступными, чем возраст и ранг.
2. У греков был институт βουλῆ, который предшествовал их Собраниям и подготавливал материал для них. У троянцев его не было.
3. Греки, как мы видели, использовали ораторское искусство в качестве основного инструмента управления; троянцы - нет.
4. Престарелые члены троянской царской семьи оказывали свою помощь государству не в качестве советников Приама на частных собраниях, а только в Народном собрании.

Несколько слов по каждой из этих глав.

Большой вес Возраста в Трое.

1. Старики, которые появляются на стене вместе с Приамом в Третьей книге, действительно старые, а не просто титульные или официальные γέροντες; они[507],

γῆραι δὲ πολέμοιο πεπαιγμένοι.

Их не менее семи, не считая Приама. Трое - его братья: Лампус, Клитий, Хикетаон; остальные, вероятно, родственники, мы не знаем, в какой именно степени: Пантос, Тимет, Укалегон, Антенор. Они именуются в совокупности Τρώων ἡγήτορες, а также ἑσθλοὶ ἄγορηταί ; и они были явно привычные ораторы в сборке.

В греческой жизни гомеровских поэм нет ничего, что могло бы сравниться с этим скоплением стариков. Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что их сбор таким образом был в какой-

либо степени связан с войной. Феано, жена Антенора, была жрицей Минервы в Трое; это делает наиболее вероятным, что он постоянно проживал там, а не только из-за войны.

Единственная группа, которая вообще приближается к этой, - это Ментий и Феникс при дворе Пелея; но мы не можем сказать, было ли это постоянным соглашением. Феникс, как мы знаем, был владыкой долопийцев, и если это так, то он не мог быть постоянным помощником при дворе Пелея; мы не знаем, занимали ли троянские старейшины какую-либо подобную местную должность помимо Трои, даже в каком-либо отдельном случае; и с другой стороны, нам неизвестно, принимали ли Феникс и Ментий, даже находясь при дворе Пелея, какую-либо долю в управлении его непосредственными владениями. Название γέροντες, обычно используемое греками для описания класса, не имело никакого отношения к возрасту.

У нас есть множество свидетельств того, с каким уважением относились к возрасту в Греции; но мы не находим ничего подобного этому собранию пожилых людей, которые были бы обычными проводниками народных обсуждений на Собраниях.

Это правда, что мы косвенно слышим о том, что и Гектор, и Полидамас, которые были немолоды, принимали участие в делах: но все указания в "Илиаде" показывают, что участие Гектора в управлении Троей, хотя и не ограничивалось простым поведением войск на поле боя, все же проистекало из его военной должности и, вероятно, касалось только тех вопросов, которые были связаны с ведением войны. Очевидно, к Полидамасу относились в большей или меньшей степени как к незваному гостю.

Но даже если бы это было иначе, и если бы мужчины средних лет, высокого положения и способностей принимали заметное участие в делах, существование этой седовласой компании, в руках которой, по-видимому, были главные государственные деятели Трои, составляет заметное отличие от греческих нравов. Ибо в Греции в мирное время у нас нет ничего похожего на это; в то время как в Греции, воюющей на равнине Трои, мы видим молодого Диомеда, а также старого Нестора, и довольно молодых Ахилла и Аякса, а также пожилого Идоменея, связанных с мужчинами среднего возраста в управлении армией и ее операциями.

Отсутствие βουλή в Трое.

Итак, во-первых, я думаю, совершенно очевидно, что у троянцев не было βουλή по следующим причинам:

1. Хотя мы часто слышим о обсуждениях и решениях, принимаемых троянцами, и у нас достаточно примеров проведения ими народных собраний, мы никогда не находим упоминания о βουλή, или Совете, в связи с ними.

2. Во Второй книге Гомер описывает троянца ἄγορῃ так (Ил. ii. 788, 9):

οἱ δ' ἄγορᾶς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσιν

πάντες ὁμηγερέες, ἡμὲν νέοι ἡδὲ γέροντες.

Эту последнюю строку следует объяснить только предположением, что Гомер имел в виду описать разницу между обычаями троянцев и греков, чьи γέροντες были признаны членами βουλή даже на Собраниях.

Об отдельном месте греческого γέροντες в Собраниях у нас есть убедительное доказательство из "Щита Ахилла" (xviii. 497, 503):

λαοὶ δ' εἰ ν ἄγορῇ ἔσαν ἄθροοι·

и после этого,

οἱ δὲ γέροντες

εἴ ατ' ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις, ἱ ἐρῶνι κύκλῳ

И снова, где итаканские γέροντες уступают дорогу Телемаху, когда он проходит к трону своего отца.

Но в Трое у γέροντες (вероятно, таково значение Ил. ii. 789.) нет отдельной функции: молодые и старики встречаются вместе: в то время как в Греции, помимо отдельных мест в Собрании, у γέροντες была исключительная функция в βουλή, на которой они встречались отдельно от молодежи.

3. Похоже, что ἄγορῇ было у троянцев не случайным, как у греков, при решении важных вопросов, а привычным. И это согласуется с описанием в Ил. ii. 788. Ибо, когда Юпитер посылает Ириду в Трою, она застаёт народ в Сборе, но, по-видимому, без особой цели, поскольку она немедленно, по подобию Политеса, начинает обращаться к Приаму, и мы не слышим ни о каких других делах. Итак, когда Идей вернулся от греков, он обнаружил, что Троянское собрание все еще заседает. Все это выглядит так, как будто все управление правительством зависело только от этого органа.

Я делаю аналогичный вывод из замечательного выражения в Ил. ii. 788, γγοράς ἀγόρευον. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что существовало постоянное, вероятно ежедневное, собрание троянцев, официально не созываемое и открытое для всех желающих, которое действовало как руководящий орган государства. Тогда эта строка означала бы не просто "троянцы проводили собрание", а "троянцы проводили свое собрание как обычно".

Имена βουλευτής и ἀγορητής, по-видимому, были просто описательными, а не титульными. И то, и другое применимо к троянским старейшинам.

И поэтому βουλαὶ, βουλευεῖν, βουλευφόροι постоянно употребляются без какого-либо, так сказать, официального значения. В Ил. x. 147 выражение βουλάς βουλευεῖν вряд ли может означать "присутствовать на βουλή", поскольку единственное число было бы подходящим термином для специально созванного βουλή: и я интерпретирую это как означающее присутствовать на обычном совете или проводить его. Это у греков. У троянцев, в Ил. x. 415-17, Долон говорит:

Ἴκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουλευφόροι εἰσὶ σὶ ν,

βουλάς βουλευεῖ θεῖου παρὰ σήματι Ἴλου,

νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου.

Теперь слово βουλευφόρος применяется, Ил. xii. 414, к Сарпедону, а также в xiii. 463 и в других местах к Энее. Ни того, ни другого не было среди ὑέροντες βουλευταί. Но далее это применяется, в Од. ix. 112, к самому ὑγγορή:

τοῖ σιν δ' οὔτ' ἄγοραὶ βουλευφόροι, οὔτε θέμιστες

И поэтому это слово, хотя и означает члена совета в общем смысле, официально не означает члена βουλῆ, в отличие от ὑγγορή или Собрания.

Фраза βουλᾷς βουλευέει в отрывке Il. x. 415-17 не противоречит, а поддерживает то, что сейчас было сказано. Совершенно очевидно, что это выступление Гектора было небольшим военным совещанием, или военным советом, точно так же, как в VIII. 489 он провел ἄγορῃ, или собрание армии, и на троянцев и союзников; это было не совещание βουλῆ Трои, потому что он проходил в поле, далеко от города, и без всяких старцев, которые были ἄγορηταί и βουλευταί Трои; ибо Гектор уже осуществили (Ил. раздел VIII. 517-19), что старики должны оставаться в городе, чтобы защищать стены от любой ночной атаки: больше всего, однако, потому что, как мы слышали, не βουλῇ до военного собрания в восьмой книге, так мы слышим нет в сборе по итогам совещания для обсуждения в десятом. Генералы в наше время проводят военные советы, но нельзя провести никакой параллели между ними и Советами по управлению делами государства.

Поскольку у нас никогда не было возможности ознакомиться с троянской политикой в мирное время, мы можем только аргументировать отсутствие совета в состоянии войны. Но следует помнить, что в Греции и "война", и "мир" представляют свои примеры использования этого института как регулярно учреждаемого и, по-видимому, наделенного как совещательным, так и исполнительным характером.

Большой вес ораторского искусства в Греции.

Далее следует задаться вопросом, использовали ли троянцы, подобно грекам, красноречие, подробные аргументы в качестве снаряжения и другие части ораторского искусства, главного инструмента правления.

Я думаю, очевидно, что решения их Собраний руководствовались скорее простым авторитетом; ὑναποδείκται φάσεις, простыми заявлениями влиятельных людей.

Отчет о вновь собранных ἄγορῃ греках во Второй книге начинается с 211-й строки и заканчивается 398-й: занимает 188 строк. Но троянец ἄγορῃ из той же Книги представлен в двадцати одной строке (788-808).

Более примечательный пример дает второе троянское собрание (Ил. vii. 345-379). Для этого ἄγορῃ описывается как δεινῇ, τετρηχίῃ α; и вполне могло бы быть, в таких трудных обстоятельствах. Старейшины в Третьей Книге придерживались мнения, что, какой бы прекрасной ни была Елена, лучше было восстановить ее, чем продолжать страдания и опасности войны. Соответственно, Антенор призвал на этом Собрании вернуть ее вместе с награбленным имуществом. Он также упомянул о недавнем нарушении клятвенного соглашения со стороны троянцев и сказал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Это он приводит в речи из шести строк; первая из которых является простым обращением к Собранию, а последняя отмечена как излишек обелосом (348-53).

Пэрис, человек, которого это касается в первую очередь, отвечает. Он обращается вовсе не к Собранию, а к Антенору: и он излагает предмет дебатов в восьми строках (357-64). Четыре из них посвящены объявлению о его намерениях, а четыре - оскорблению Антенора.

Невозможно было представить себе тему, более способную вызвать дебаты; и мы видим, что волнение было, но после речи Париса о Елене больше ничего не было сказано ни за, ни против реставрации. Затем встал Приам и в речи из одиннадцати строк (368-78) изложил другой план дальнейших действий, а именно обращение к грекам с просьбой о перемирии с целью проведения погребальных обрядов, которое было немедленно принято.

Ораторское искусство, имеющее большой вес в Греции.

Короче говоря, нигде среди троянцев мы не находим примеров, я не говорю, умноженных или растянутых речей, но настоящих рассуждений и обдуманности в ведении дел: хотя Главк очень подробно рассказывает свою историю Диомеду на поле битвы (Ил. vi. 145-211), а Эней Ахиллесу (Ил. xx. 199-258) почти равняется ему. Действительно, можно почти сказать, что троянцы говорят долго в бою и коротко в дебатах: греки многословны в дебатах, но очень лаконичны в битве.

Опять же, мы можем наблюдать различные описания, которые Поэт дал речи Нестора и речи троянца δῆμοῦροντες в ихотношении к ἄγοράι. Нестору (Ил. i. 248, 9) он, по-видимому, приписывает мягкое непрерывное течение, длящееся бесконечно долго. Их он описывает как напоминающие ὅπα λεγρίοεσσαυ кузнечиков (Ил. iii. 151, 2), чистую трель или нить голоса, не только без какого-либо особого представления о длине, но, по-видимому, предназначенные для напоминания о резком прерывистом стрекотании. Тем не менее, есть странное доказательство того, что, по крайней мере, Приаму, как одному из этих стариков, младшие приписывали предпочтение либо слишком многочисленным, либо слишком длинным речам. Ибо в ἄγορῇ Второй книги Айрис в роли Политика, хотя и нет отчета о том, что предшествовало ее прибытию, возражает против Приама как за то, что он поощрял то, что можно назвать неразборчивыми высказываниями, так и за то, что формально до войны он был пристрастен к той же практике[508];

ῥῆγον, αἱ εἰ τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰ σιν,

ῥῆ ποτ' ἐπ' εἰ ρήνης.

В целом, я думаю, Гомер, должно быть, намеревался, представляя троянцев и греков как занимающихся общественными делами на своих публичных собраниях, провести очень заметное различие между ними в отношении использования этого мощного механизма ораторского искусства, которое играло столь заметную роль как на первых, так и на более поздних этапах греческой истории.

И важно, что ни одно чувство не сорвалось с уст троянского вождя, что свидетельствует о сознании политической ценности ораторского искусства. Улисс, пребывающий в состоянии покоя, описывает перед феаками красоту и красноречие как благороднейшие дары богов человеку[509]: и использует ἔπεια и νόος, красноречие и интеллект, как взаимозаменяемые термины. Полидамас, упрекая Гектора в Тринадцатой "Илиаде", приводит высказываниемудреца, во многих отношениях поразительно аналогичное. Однако он говорит о νόος и βουλή, разуме и совете[510]; он ни словом не обмолвился о публичных выступлениях или

красноречии как инструментах управления, хотя он описывает умственные качества и привычки, которые он называет бесценными для блага государств.

Фразы, применяемые к троянским старейшинам, по-видимому, указывают на то, что они приобрели свой политический характер благодаря тому, что принимали видное участие в Собрании, и только из этого. Ибо слово *δηγοῦρων* указывает на старейшину, действующего внутри и среди *δῆμος*, или народа. И это имя Поэт использует всего дважды: один раз в Ил. iii. 149, где он перечисляет восемь человек, носивших этот характер в Трое; и один раз со ссылкой на Илуса (Ил. ii. 372). Гомер нигде не использует этот термин ни для кого из греков.

Отсутствие *βουλή* показывает нам, что в троянском государстве не было баланса сил, меньшей защищенности от опрометчивых действий, большей подверженности своевольной наглости и угнетению народа, и, с другой стороны, если опасность не была нейтрализована мягкостью или апатичностью характера, то, по всей вероятности, и революционным переменам.

Троянцы, менее одаренные самообладанием.

Опять же, на троянской стороне мы не находим молчания и самообладания греков. После перечисления в Третьей книге, в ее начале, мы обнаруживаем, что троянцы маршировали с шумом:

Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ' ἐνοπῇ τ' ἴσαν, ὄρνιθες ὤϊ·

но что касается греков, то нам говорят, что они маршировали в глубоком молчании: и Поэт умело усиливает контраст, упоминая, что они выдыхали то, что не могли сформулировать, и что они были полны твердой решимости поддерживать друг друга[511]:

οἱ δ' ὄρ' ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ ,

ἐν θυμῷ μεμαῶτες ὀλεξέμεν ἀλλήλοισιν.

Наконец нам сообщают, что каждый лидер действительно дал слово своим людям, в то время как все рядом были немые[512]:

οἱ δ' ἄλλοι ἀκῆν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης

τόσσον λαὸν ἔπεσθαι ἔχοντ' ἐν στήθεσιν αὐδῆν,

σιγῇ δειδιότες σημαντορας·

но со стороны троянцев раздался звук, похожий на блеяние овец по поводу своих ягнят[513]:

ὤϊ Τρώων ἀλαητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρύν ὀρώρει.

И снова мы находим, что отношение к сожжению мертвых дано с обычной последовательностью Поэта. Воины двух армий встретились, и с обеих сторон они проливали слезы, поднимая своих безжизненных товарищей на повозки; но, добавляет он, среди троянцев царило молчание,

οὐδ' εἴ α κλαίειν Πρίαμος μέγας·

и это было потому, что царь чувствовал, что шумное проявление скорби было бы неприличным, в то время как греки не нуждались в предписании (Ил. vii. 426-32) из-за своего спонтанного самообладания.

Когда Поэт говорит о Троянском собрании в Седьмой книге как о δεινὴ τέτρηχ' ἡ, он, очевидно, имеет в виду волнение, переходящее в беспорядок: и это удивительным образом контрастировало с дисциплиной греков, которых призвали собраться тихо ночью, чтобы они, собираясь, не разбудили врага за крепостными валами. Даже в их соответствующих способах выражения одобрения Гомер вносит некоторую разницу. Когда греки аплодируют, это ἐπ' ἄχον ὡς Ἀχαιοῖν, или то, что мы называем громким или бурные аплодисменты: но когда троянцы, это ἐπὶ δὲ Τρῶας κελάδῃσαν, что означает больше разное и оглушительного шума.

Короче говоря, Гомер, по-видимому, намеревался повсюду представлять греков как обладающих высшим разумом. В "Одиссее" мы обнаруживаем, что Улисс пробрался в Трою под видом нищего, пообщался с Еленой, должным образом проинформировал себя (κατὰ δὲ φρόνιν ἦγαγε πολλήν[514]) и ухитрился расправиться с некоторыми троянцами перед своим уходом. В "Илиаде" мы встречаем множество примеров превосходства греков в управлении, а также их вспомогательных богов по сравнению с троянцами. Юнона перехитрила Венеру, получив от нее цест, а затем продолжает перехитрить Юпитера в его использовании. Минерва, заметив, что греки проигрывают, (Ил. vii. 17) отправляется в Трою, где Аполлон предлагает именно то, чего она хочет, а именно прекращение общего сражения с целью личной встречи Гектора с каким-нибудь избранным вождем: она немедленно принимает план; и он приводит его в исполнение через Хелена. Это и останавливает всеобщий хаос среди греков, и в значительной степени делает честь их чемпиону "Аяксу". В конце концов, однако, Нестор предлагает греческим вождям, ввиду их тяжелых потерь (Ил. vii. 328), чтобы они, по случаю возведения кургана над своими погибшими, также выкопали и укрепили траншею, которая могла бы служить для защиты кораблей и лагеря. Тем временем троянцев заставляют встретиться; и они посылают предложить ту самую меру, а именно перемирие для проведения погребальных обрядов, которого желают греки, чтобы под прикрытием этого укрепиться (Ил. vii. 368-97). И это соответственно, Агамемнон может оказать троянцам своего рода услугу (Ил. vii. 408):

ἀμφὶ δὲ νεκροῖ σὶν κατακαίμεν οὔτι μευαίρω.

Этот превосходный интеллект, вероятно, следует понимать по обмену оружием между Главком и Диомедом. И, опять же, когда Гектор предпринимает что-либо похожее на военную хитрость, как, например, миссия Долона ночью, это делается только для того, чтобы он мог попасть в руки Диомеда и Улисса. Но ни в одном из этих случаев, по-видимому, не было нарушения греками присяги, договора или какого-либо абсолютного правила справедливости.

Однако обо всех этих чертах можно сказать, что они не представляют ценности в качестве доказательств, если взяты сами по себе. Это средства, которые, очевидно, пришли бы в голову Поэту, ревностно относящемуся к своей нации. Именно их соответствие другим указаниям, явно непреднамеренным, дает нам право полагаться на них как на реальные свидетельства, доступные для исторической цели.

Разница в занятиях высокородной молодежи.

Хотя в целом у троянцев, по-видимому, есть признаки большего богатства, чем у греков, все же в определенных моментах их обычаи были более примитивными и незатейливыми. Таким

образом, мы находим юношей из дома Нестора непосредственно около его особы; а Патрокл, как и Ахилл, очевидно, воспитывался при дворе Пелея. И снова юный Нестор отправляется в поход в Фессалию: Улисс отправляется на охоту ко двору своего деда Автолика. Итакийские женихи развлекаются мужскими играми. Но мы часто натываемся на отрывки, где нам случайно сообщается, что принцы из дома Дардана были заняты в сельской местности. Таким образом, Меланипп, сын Хикетаона и двоюродный брат Гектора, который проживал во дворце Приама и к которому относились как к одному из его детей, до войны пас волов в Перкоте[515]. Эней, единственный сын и наследник Анхиса, был аналогичным образом занят среди холмов или поблизости от них в то время, когда ему едва удалось спастись от захвата Ахиллом[516]. Ликаон, сын Приама, срезал ветви дикого инжира для деталей колесниц, когда Ахилл схватил его во второй раз: в первый раз он работал на винограднике[517]. Антифос и Изос, сыновья Приама, были схвачены Ахиллесом, когда они были пастухами[518]. Анхиз действовал как пастух, когда он установил свою связь с Венерой[519]. Имя Буколиона, внебрачного сына Лаомедонта, по-видимому, указывает на то, что он был выведен для аналогичного занятия[520].

По силе, разнообразию и чрезвычайной деликатности употребления Гомером этого слова очевидно, что Гомер придавал большое значение чувству, которое обычно выражается словом αἰ δῶς и которое охватывает все разновидности стыда, чести, скромности и благоговения. Хотя, минуточку, примечательным обстоятельством является то, что он ограничивает применение этого термина греками; за исключением, я думаю, одного отрывка, где он дарует его своим особым любимцам ликийцам[521], и единственного другого, где Эней[522] использует его по непосредственному вдохновению Аполлона, с другим смыслом, в обращении к Гектору и его братьям-вождям, а не к солдатам в целом.

У греков это основа военного увещевания[523] от вождей к армии; αἰ δῶς, Ἀργεῖοι.

Но совершенно иная форма речи неизменно адресована собственно троянцам: это

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θουρίδος ἁλκῆς,

который ниже другого и апеллирует к менее своеобразному и утонченному складу ума и чувств.

Краткое изложение различий.

Что бы ни думали о степени детализации, в которую (руководствуясь, как я думаю, текстом) Я рискнул продолжить это обсуждение и, смею надеяться, что, учитывая особенности некоторых сделанных выводов, мало кто оставит эту тему без убеждения, что Гомер работал с присущей ему целеустремленностью и точностью в тех различиях, которые характеризуют общие очертания его греков и троянцев, а также институтов каждого из них соответственно; и что он не совсем лишил свои национальные портреты той тщательности, которую, по общему признанию, он с таким экстраординарным успехом применил к своим индивидуальным персонажам с обеих сторон. Если мы обратимся к институтам двух стран, то, хотя сравнение и разнообразно, мы должны в целом признать греков в том, что они более твердо, чем их противники, заложили те великие краеугольные камни человеческого общества, которые на их языке называются θέμις, ῥρκος и γάμος. В государстве Трои мы находим больше простора для импульса, меньше для обдумывания и убеждения; больший вес придается тем элементам власти, которые не зависят от нашей свободной воли и разума, меньший - тем, которые зависят; меньше организованности

и разнообразия, меньше прочности ткани в структуре сообщества. Нам не говорят ни о фѳла, ни о фрѳтра, ни о промежуточных званиях офицеров в армии; ни о сословии знати или собственников, подобном тому, которое обеспечивало Претендентов на Итаке. Короче говоря, второстепенных возвышений стало меньше; это положение вещей, больше напоминающее мертвый уровень нынешних восточных сообществ, подчиненных деспотическому трону, хотя таковым не был трон Приама. Среди самих людей больше религиозных обрядов и аппарата, но не больше морали: действительно, меньше склонности к преступлениям, связанным с насилием и беспорядками, но также меньше правды, чести, прежде всего личного самообладания и самоконтроля. Греки никогда бы не создали Париса из "Илиады", ибо ни один такой подлец не заставил бы их проливать кровь. Но если бы они породили такое существо, они бы не понесли наказания: ибо у человека троянского типа не хватило бы энергии отобрать его у воинов-государственных деятелей ахейской расы, и ни при каких обстоятельствах действительно экстравагантное чувство, вложенное Вергилием в уста Диомеда[524] было бы выполнено:

ultra Inachias venisset ad urbes

Dardanus, et versis lugeret Græcia fatis.

III. ТАЛАССА. ВНЕШНЯЯ ГЕОГРАФИЯ "ОДИССЕИ".

Легендарную географию "Одиссеи" можно в каком-то смысле сравнить с географией Ариосто и Бохардо. Действительно, я был бы первым, кто признал бы, что исследование, имевшее целью установить границы географии любого из этих поэтов и установить его связь с действительной поверхностью земли, было всего лишь потраченным впустую трудом. Однако на протяжении двух тысяч лет, а возможно, и больше, география "Одиссеи" была предметом интереса и споров. Вступая в эту область, я спрашиваю себя, почему случай с Гомером в этом отношении так отличается от случая с великими итальянскими романистами? Дело не только в том, что, какими бы великими они ни были, мы имеем дело с тем, перед кем их величие меркнет до сравнительной малости. И не только потому, хотя отчасти и кажется, что так оно и есть, что приключения Улисса гораздо более строго привязаны к месту, чем приключения Орlando, Ринальдо или Руджеро. Разница, я думаю, главным образом заключается в том, что глубокая серьезность сопровождает Гомера повсюду, даже в его диких и благородных романах. Запертый в узком и локальном кругу — ибо таковым он был, хотя на протяжении столетий веков был центром всего величия мира, — вот его попытка выйти за горизонт "силой мысли"; пронзить туман; придать форму смутным, сбивчивым и противоречивым сообщениям, которые он мог собрать, в соответствии с меру своих знаний и веры, на суше и на море; заселить пригодные для обитания места тем скудным материалом, которым он мог располагать, везде увеличенным, улучшенным и украшенным из богатства его бурного воображения; и сформировать, насколько это возможно, то, что он мог предложить. усилием мозга, насколько нам известно, впервые в истории нашей расы, возникло представление об определенной конфигурации поверхности Земли.

Отсюда, возможно, и проистекала сила очарования, которое сопровождало тему Внешней географии Гомера. Однако, по моему убеждению, этот предмет также имеет свою полезность. Редко бывает иначе, чем полезно проследить даже ошибочные мысли могущественных умов. Но, более того, в данном случае, я полагаю, мы можем узнать, изучая Внешнюю географию Гомера, важный и интересный исторический вопрос, который нельзя узнать ни из какого другого источника. Ибо Поэт включил в свою образную схему множество реальных географических и физических традиций; и с их помощью, сравнивая их с подлинными оригиналами, мы можем с приемлемой точностью судить о том, каковы были пределы человеческой предприимчивости на лице земли в героическую эпоху.

Перед нами стоит вопрос: какую карту земли нарисовал Гомер в своем воображении, чтобы приспособить к ней путешествия своих героев Менелая и Улисса, особенно последнего? И для того, чтобы провести законное расследование, первый шаг, который необходимо сделать, - отрицательный. Не будем заниматься тщетными попытками построить географию "Одиссеи" на основе фактического распределения земной поверхности. Такой процесс не может привести ни к какому удовлетворительному результату. Какие бы материалы ни добыл Гомер в помощь себе, мы должны рассматривать их как множество атомов; я говорю, конечно, обо всем, что лежало за пределами узкой сферы его греческих знаний и опыта. У него не было адекватных средств для размещения различных частей дошедших до него отчетов в их истинном географическом соотношении друг с другом. Внешний мир был для него разбит на фрагменты, и эти фрагменты переставлялись по его желанию, с помощью только таких источников света, какие могли позволить ему его ограниченные физические знания.

Главные руководители расследования.

Предполагая на данный момент, что феноменология Внешней географии в целом достаточно доказана, я приступаю к более точному изучению самого предмета; и я предлагаю исследовать следующие вопросы.

1. Имел ли Гомер два способа обращения к теме местности, рассматриваемой в целом? если да, то можно ли показать, что он применяет их к двум различным географическим регионам; один - ограниченный центральный участок суши и моря, в пределах которого он жил, другой - более широкая зона, простиравшаяся за его пределами во всех направлениях; и можно ли с разумной уверенностью и точностью провести границу между этими географическими регионами соответственно?
2. Если будет установлено, что Гомер имел систему Внешней географии, отделенную достаточно определенным барьером от его Внутренней географии, то существуют ли какие-либо ключи или ведущие идеи локального устройства для первой схемы, которые, сами по себе вытекающие из свидетельств его текста, следует использовать для уточнения ее деталей, и если да, то какие?
3. Согласно установленной таким образом системе, каким был маршрут Менелая и, в особенности, Улисса, как они представлялись Гомеру?

Я исхожу из предположения, которое, как я полагаю, основывается на всеобщем согласии, что в определенной сфере стихотворения могут рассматриваться как летопись экспериментальной географии; и иногда они доводятся до деталей с такой точностью, что охватывают даже миниатюру той отрасли знания, которой мы обычно даем название топография.

В качестве примера для первого я должен сказать, что когда Гомер описывает беотийские города, когда он измеряет расстояние по Эгейскому морю, более того, когда он заставляет Улисса изобразить, что он проплыл за десять дней от какой-то точки близ Крита до побережья Феспротии, он географ. Опять же, в своем по-разному оцениваемом описании внутренних районов Итаки он является топографом. В целом он такой же, хотя, вероятно, с большей вольностью, когда имеет дело с Троянской равниной.

Две географические сферы.

Говоря об экспериментальной географии Гомера, я, конечно, не имею в виду, что он располагал, даже в пределах своей узкой сферы, средствами, которые предоставила более поздняя наука, для установления ситуаций и расстояний с абсолютной точностью. Он мог действовать только на основании гораздо более грубых показаний чувств, натренированных в школе опыта. Я также не имею в виду, что в каждом случае этот опыт был его собственным, хотя в значительной степени его географические сведения, вероятно, были оригинальными и приобретены им главным образом в ходе осуществления своей профессии странствующего барда. Но под экспериментальной и реальной географией Гомера я подразумеваю две вещи: во-первых, Поэт верил, что описывает *pro tanto* точки на поверхности земли такими, какими они были на самом деле; во-вторых, что его средства получения информации были адекватны практическим целям. Свидетельства отрывка, содержащего сравнение Мысли (Il. xv. 580), было бы достаточно, если бы не было ничего другого, чтобы показать, что он сам был путешественником; он также жил среди людей, уже привыкших путешествовать и знакомых с навигацией по определенной части земной поверхности. В предыдущей части этой работы я привел несколько примеров, иллюстрирующих отношение ранних греков к путешествиям[525]. Народ с такими привычками, как у них, был хорошо подготовлен для того, чтобы предложить практическую географическую систему для всей сферы, с которой он был обычно знаком.

Но смелость и зрелость мореплавания можно практически измерить продолжительностью его рейсов. Географические подробности Странствий, какими бы искаженными они ни были, показывают нам, что люди, которые их совершали, были хорошо знакомы со всеми внутренними водами, и, вероятно, также, нет, я был бы склонен сказать определенно, с некоторыми из них, которые находились за пределами Гибралтарского пролива. Но во всех поэмах Гомера мы находим следы греческих знаний, и они становятся все слабее и слабее по мере того, как мы выходим за определенные рамки. На Греческом полуострове, к югу от Амбракийского залива на западе и горы Олимп на востоке, мы наблюдаем признаки постоянного сношения туда-сюда. Те же знаки распространяются на острова, непосредственно окружающие его, и доходят, по крайней мере, до Крита. Действительно, помимо конкретных признаков, мы можем сказать, что без фамильярных и частых сношений между членами, входившими в ее состав, империя Агамемнона не смогла бы существовать.

Но на определенных расстояниях способ географической обработки становится слабым, недоверчивым и нечетким. Расстояния указываются неверно или вообще перестают указываться. Названия стран собраны вместе таким образом, чтобы показать, что Поэт не имел ни малейшего представления об особом способе их сопоставления. Топографические или локальные особенности такого характера, которые позволяют отождествить описание с каким-либо конкретным местом или регионом в качестве его прототипа в природе, ошибочно переносятся на некоторую ситуацию, которая, по общим признакам, как мы можем видеть,

должна находиться в другой и, возможно, отдаленной части поверхности земного шара. Опять же, перестав определять расстояния и направления, он время от времени показывает, что потерял уверенность в собственном словосочетании, что он не желает оспаривать сравнение с реальной природой и что из-за недостатка точных знаний он чувствует, что должен искать некоторую степень защиты в обобщениях.

Очевидно, что при данных обстоятельствах в том виде, в каком они были очерчены до сих пор, географию поэм с центром, определенным где-то в Греции, скажем, на Олимпе или Микенах, можно было бы прежде всего разделить на три зоны, расположенные вокруг этого центра. Первым и самым сокровенным было бы знание и опыт его соотечественников. Вторым было бы их редкое и эпизодическое обращение. Третьим был бы регион, совершенно неизвестный им, и в отношении которого они полностью зависели от иностранных, то есть финикийских, отчетов; во многом так же, как римлянин пятьсот лет назад практически зависел бы от отчетов венецианских и генуэзских моряков во всех или почти во всех своих ультра-морских знаниях.

Теперь, хотя мы, возможно, и не в состоянии точно отметить в каждой точке компаса конкретное место, в котором мы переходим из первой зоны во вторую и из второй в третью, все же вторая зона достаточно различима, чтобы она служила для эффективного разграничения между первой и третьей; между областью опыта и областью чуда; чужого, произвольного, непроверенного и полубабульного отчета. Точно так же, как мы не в состоянии зафиксировать момент, в который ночь переходит в рассвет, а заря - в день; но все же утренняя заря и вечерние сумерки сами по себе являются линиями, которые в общих чертах разделяют день и ночь, лежа соответственно на концах каждого из них. Так и в поэмах Гомера, может возникнуть вопрос, находится ли данное место, скажем Финикия, в первой или второй зоне; или какое-то другое, например Схерия или Босфор, находится во второй или третьей; но никогда не составит труда утверждать о любом важном месте, названном в поэмах, *либо*, что оно не находится в зоне обычного опыта, *либо* что оно не находится в зоне чужеземных басен.

Границы Внутренней Географии.

Позвольте мне теперь попытаться провести границы, которые до сих пор были обозначены лишь в принципе.

1. И сначала кажется очевидным, что экспериментальные знания Гомера распространялись на всю континентальную территорию, включенную в греческий каталог, включая, наряду с континентом, те острова, которые он причислил к своему материку, а не в его отдельную островную группу[526].

2. Можно слегка усомниться в том, обладал ли он подобными знаниями об островах, образующих основание Эгейского моря. В критском описании (Ил. ii. 645-52) есть особенность, а именно, что после перечисления определенных городов он завершается общими словами (649),

ἄλλοι θ', οἱ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.

По-прежнему он использует характерные эпитеты: и в другом месте (Od. xiv. 257) он определяет (конечно, по времени) расстояние от Крита до Египта. Итак, снова на Родосе (656) Камир имеет характерный эпитет *ρῥυινόεις*. В целом мы можем отнести это деление к первой зоне гомеровской географии.

3. Гомер, по-видимому, обладал точными сведениями о местоположении островов Лемнос, Самофракия, Имброс, Лесбос, Самос и Хиос[527]. Их мы можем рассматривать, без дальнейших подробностей, как соответствующие практически всему Эгейскому морю.

4. Гомер знал расположение Эматии и Пиерии относительно друг друга и Греции; и общий курс южных хребтов Фракийских гор[528]. Троянский каталог, по-видимому, показывает, что он также знал береговую линию к западу от Дарданелл вплоть до реки Аксий. Отсюда мы можем считать, что его Пиерия начинается с Греции на ее южной и западной границе.

5. Похоже, что Гомер имел довольно полное представление о южной береговой линии Пропонтиды. Он, по-видимому, помещает фракийцев из Троянского каталога на северном берегу этого моря, но его язык довольно общий по отношению к этой его части. Однако на южной стороне и во всем северо-западном углу Малой Азии мы, похоже, находим его дома[529]. Об этом мы можем с уверенностью заключить из подробного каталога троянцев; из конкретного описания идейских рек в Двенадцатой "Илиаде"[530]; из последней части путешествия Юноны в Четырнадцатой[531]; и из речи Ахилла в двадцать четвертой[532], которая фиксирует положение Фригии относительно Трои.

6. Гомер показывает знание береговой линии от мыса Лектум к югу до Ликий в юго-западной четверти Малой Азии. Но здесь мы должны закрыть его внутреннюю сферу. Горы Солиман - единственное упоминание о местности в стихотворениях, о которых можно сказать, что они относятся к внутренней части страны, и его представления об этом, очевидно, максимально далеки от географических. В шестой "Илиаде"[533] он, по-видимому, считает, что народ солиман граничит с Ликийей. Хотя это название наводит некоторых на мысль о связи с Иерусалимом, мы должны рассматривать его как представляющее то, что он обозначает в географии, - часть грандиозного внутреннего массива азиатских гор. Но, судя по близости Солими к Ликии, Гомер, по-видимому, сильно продвинул их на запад. Опять же, когда Нептун в Пятой "Одиссее" видит Улисса с Солиманских гор на его пути из Огигии, мы должны предположить, что Гомер предполагал, что они господствуют над какой-то точкой соседней непрерывной линии моря, которая открывала бы такую перспективу. Он вряд ли заставил бы Нептуна увидеть Улисса из Ликии, или с точки за горами Фракии, или с точки по другую сторону настоящей горы Тавр.

Теперь, я думаю, мы описали всю зону, и это небольшая зона, реальной или экспериментальной географии Гомера.

Промежуточная или сомнительная зона.

Далее рассмотрим промежуточную зону, которая отмечает крайние и нечастые точки греческих куртов.

Начиная с запада и северо-запада, мы обнаружили Сиканию (ныне Верхняя Калабрия), Эпир и страну феспротийцев[534], отмечающая точки этого промежуточного региона. К северу мы можем зафиксировать его в Эматии. На северо-востоке он, по-видимому, ограничен северным берегом Мраморного моря. Фракийцы Гомера населяют страну, которую он называет ἑριβόλαξ, II. хх. 485, и которую окружает Геллеспонт (ἑέρυει), то есть омывает по крайней мере с двух сторон. Геллеспонт, как в этом месте его называют ὑπέρροος, означает, в частности, восточную часть его вод; и название, вероятно, включает Пропонтиду (которая, как он вполне может предположить, имеет сильное течение повсюду, подобно Галлиполийскому проливу), вместе с

северным Эгейским морем между Халкидикой и Фракийским Херсонесом. Он описал этих фракийцев в очень расплывчатых выражениях[535] и без каких-либо местных особенностей в Каталоге: но форма береговой линии, очевидно, подразумеваемая в *σλοερρυει*, и эпитет плодородия, по-видимому, указывают на Адрианопольскую равнину и Мариц. Но эта замкнутость с двух сторон заканчивается, когда северный берег начинает уходить прямо на восток: и *πλαυκταί*, или Босфор, который никому, кроме Ясона, никогда не удавалось миновать, следует рассматривать как зону полуфабульной или внешней хорографии.

Когда мы переходим на юго-восток, мы обнаруживаем, что Кипр, Финикию и Египет, возможно, правильнее всего отнести к зоне сомнений. Мы видели, что Кипр был известен как перевалочный пункт на пути на Восток и находился в пределах возможной военной досягаемости Агамемнона. Но его повелитель не участвовал в войне, и у Гомера нет никаких подробностей об острове, кроме указания на Пафос как место жительства и главного поклонения Венере.

У нас нет ни одного примера посещения Финикии греками при обычных обстоятельствах. Путешествие Менелая, как и путешествие Улисса, выходит за рамки обычной жизни. Он описывает себя в его Телемах, как *παθὼν πολλὰ καὶ πόλλ' ἐπαληθεῖ* с[536], который может быть по сравнению с Од. я. 4. уважая Улисс. Мы слышим о тамошних тафиянах; ибо именно в Сидоне они похитили кормилицу Эвмея. Пиратство в те времена, вероятно, простиралось несколько дальше торговли. Те же самые тафиане, по-видимому, принадлежат к сомнительному эллинизму. С одной стороны, Ментес, их лидером был *ξείνος* к Улиссу[537]. Но (1) таким образом, мы находим их в Финикии[538], которая не является обычным греческим курортом. (2) они плывут в *Temese* в чужих краях, *ἐπ' ἄλλοθρόους ἀνθρώπους* (Од. я. 183), которого мы не находим в другом месте, - сказал Греков. Случай с псевдо-Улиссом не может служить прецедентом ни для остальной Греции, ни даже для остального Крита[539]. (3) Отец Ментеса дал Улиссу яд для его стрел, в котором эллин Илус из религиозных соображений отказал ему. Это сразу же указывает на особую причину связи между ними и предполагает, что этот тафианский принц, возможно, был, хотя и *ξείνος*, все же другой религии и расы. (4) Отсутствие тафиан на войне, особенно как племени, столь увлеченного мореплаванием, еще больше укрепляет предположение, что они не были настоящими греками.

Финикия, таким образом, сомнительно находится на внешней границе греческого мира и принадлежит к промежуточной зоне. Еще более определенно это проявляется в случае с Египтом. Ибо Улисс имеет в виду нечто необычное, когда описывает путешествие как длящееся пять дней по открытому морю, даже при самом попутном ветре на всем пути от Крита; и в другом месте оно описывается как невероятно большое расстояние. Такова идея, по-видимому, подразумеваемая в заявлении, что сами птицы совершают путешествие над таким обширным морем лишь раз в год[540]. Ни один обычный грек никогда не ездит в Египет: и когда псевдо-Улисс планировал свое путешествие туда, это было под влиянием зловещего импульса Юпитера, который желал ему зла[541]:

αὐτὰρ ἐμοὶ δειλὸν καὶ μῆδετο μητίετα Ζεὺς.

Опять же, Поэт, по-видимому, совершенно неправильно оценил расстояние Фароса от побережья. Он помещает его на расстоянии дня плавания от *Αἴγυπτος*, имея в виду, вероятно,

под этим названием Нил. Предпринимались тщетные попытки избавиться от этой географической ошибки путем объяснения. Ницш[542] верно говорит, что в отношении географии этого прохода Гомер полагался на сплетни моряков, и сравнивает его с географией Оигии, Схерии и остальных. Когда Менелай отправился в Египет, это было произвольно, как нас уверяет Нестор[543];

ἀπὸρ τὰς πέντε νέας κυανοπρυφείους

Αἱ ὑπὸ πύλοις πέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.

За очерченными таким образом границами лежат страны Внешней Географии. Внешним их пределом в представлении Гомера была либо великая Река Океан, либо суша, непосредственно граничащая с ней. Их внутренняя линия, то есть линия, ближайшая к известному греческому или гомеровскому миру, может быть определена рядом точек, указанных в стихотворениях. У нас есть, например, Лотофаги и Ливия на юге; страна циклопов на западе; (Я пропускаю Сицилию, потому что, я думаю, можно показать, что Гомер перенес ее в другой квартал;) Схерия на северо-западе, Абии, Глацтофаги и Гиппемолги на севере. Затем идет пролив πλάγκται, или Босфор, довольно точно обозначенный относительно его местоположения; далее на востоке - Амазонки и Солими с их горами; на юго-востоке - Ἑρμβοί, а затем широко раскинувшийся αἱ θίopes. Все места и люди, посещенные Улиссом после Лотофагов, которые не были названы, должны располагаться еще дальше от него.

Теперь я объяснил основания, на которых я предполагаю существование двух больших зон: одной реальной, другой воображаемой, изменчивой и полувысказочной географии у Гомера; и третьей зоны, обозначенной как несколько неопределенная граница между ними.

Сфера Внешней географии.

Теперь я перехожу к рассмотрению того, каковы ключи или ведущие идеи местного устройства, которые мы можем сначала получить из подробностей Внешней географии Гомера и которые затем мы можем применить к решению таких подробных вопросов, какие она представляет.

Очевидно, что нам действительно нужны какие-то такие ключи. Установление общего направления движений в "Странствиях Улисса" и общей идеи Поэта о распределении суши и морей является важным предварительным шагом к решению таких вопросов, как "Где были сирены?" или, где были Лестригоны? Согласно заявлению, которое я недавно привел, многие моменты, связанные с посещением Улиссом морских странствий, по-видимому, были настолько зафиксированы Гомером, что подразумевают его веру в то, что вождь плавал над тем, что, как мы знаем, является европейским континентом.

Два положения, которые я уже рискнул сформулировать как ключи к внешней географии "Одиссеи", изложены в следующих терминах[544]:

1. Что Гомер поместил к северу от Фракии, Эпира и Итальянского полуострова пространство не суши, а моря, сообщающееся с Эвксинским заливом; или, выражаясь другими словами, что он значительно расширил Эвксинский залив на запад, возможно, также сократив его к Востоку; и что он сделал его сообщаемым через Генуэзский и Венецианский заливы с южным Средиземноморьем.

2. Что он свел воедино два набора финикийских традиций, касающихся устья океана, и определил его местонахождение на северо-востоке.

Во-первых, я предполагаю, что было бы пустой тратой времени вдаваться в подробное опровержение традиционных отождествлений, которые простительные амбиции позднейших времен изобрели для различных точек странствий. Согласно этим объяснительным вымыслам, мы должны верить, что земля Циклопов - это остров, что это тот же самый остров, который появляется позже как Тринакия, что Эолия - это Стромболи, видимый из того острова Циклопов (хотя Улиссу потребовалось девять дней попутного ветра, чтобы доплыть от него до Итаки в пределах видимости), и что Улисс мог переплыть прямо через море из Эолии в Итаку. Мы должны искать Лестригонов и их вечный день в широтах Средиземноморья. Мы должны либо поместить океан к северу (но совершенно без какого-либо прототипа в природе), а подземный мир - на западное побережье Италии, где вообще нет ручьев, и искать также туманы и темноту в лучших атмосферах мира; или же мы должны удалить устье океана примерно в четыре раза дальше от острова Цирцеи, чем этот остров от Греции, тогда как поэма явно предполагает их сравнительную близость. Но, по правде говоря, бесполезно продолжать накапливать отдельные возражения, поскольку не от них в основном зависит опровержение. Опровержение этих простительных, но праздных традиций опирается на более широкие основания. Основания на самом деле таковы, что ни в чем конкретном эти итальянские басни — ибо так я должен их называть, несмотря на частичную поддержку, которую они получают от хаотичных и, казалось бы, фальсифицированных частей "Теогонии Гесиода"[545]— не соответствуют букве текста Гомера; что в попытке придать ему географический характер они неверно понимают его дух; и что они обязывают нас отвергать и сводить на нет не только факты реальной географии, поскольку это мы могли бы сделать, не нарушая никаких законов разума и вероятности в условиях данного случая, но также и положительные указания, которые Гомер дал нам из явлений, находящихся в пределах его знаний и опыта. Фактически, они вынудили бы нас осудить Гомера как географически недостойного доверия, в сфере повседневной жизни и отдыха греков, а также в регионах, которые он и его соотечественники никогда не посещали.

И результатом всего насилия, совершенного таким образом над Гомером, было бы то, что нам пришлось бы сразу пожертвовать его языком и его воображением в попытке бороться с противоречиями реальной географии, которые не поддаются никаким попыткам примирения.

С самого начала, по моему мнению, необходимо сделать оба признания и изложить принципы, которые являются кардинальными и существенными для проведения расследования, которым мы сейчас занимаемся.

Смещение реальной природы.

Я думаю, это следует признать,

1. Что Гомер вывихнул или пересадил традиции, которые он получил. Например, он либо перенес Босфор на запад[546], либо Мессинский пролив на восток.

2. Следовательно, поскольку в данном случае мы исследуем не географические сведения, которые может дать нам Гомер, а допущенные им ошибки, мы не должны удивляться, если нам не удастся прийти к каким-либо выводам, либо полностью самосогласованным, либо

демонстративно ясным. Мы должны извлечь из его текста, с чем-то меньшим, чем географическая строгость, даже условия внутренней гармонии.

Тогда можно резонно спросить, если это так, то как нам найти какой-либо ключ к его смыслу.

Мой ответ таков: устанавливая правила, которые позволят нам различать его первичные и вторичные утверждения; между результатами его знаний и плодами его фантазии.

Под его знаниями я подразумеваю то, что он видел, по чему путешествовал, что было знакомо и привычно его соотечественникам, чтобы дать ему широкие возможности освежить воспоминания, расширить знания и исправить ошибки.

Под плодами его фантазии я подразумеваю формы, которые он счел нужным придать изложениям географии, лежащим за пределами мира его собственного опыта и опыта греков в целом. Эти утверждения, собранные здесь и там по мере возможности, он вряд ли смог бы выстроить в правильную и последовательную схему. Полностью освободив себя от обязательств, которые для него было невозможно выполнить, он относился к ним просто как к порождениям своей поэтической цели и анализировал, сдвигал и рекомбинировал их в свой собственный мир, в создании и регулировании которого главным фактором по необходимости была его собственная воля.

Постулаты для исследования.

Поэтому я выдвигаю следующие постулаты:

1. Поскольку у Гомера был Внутренний, или известный, и Внешний, или воображаемый мир, между которыми можно с достаточной уверенностью провести границу, путешествие Улисса, от Лотофагов до Схерии включительно, лежит во Внешнем мире.
2. Что мы можем не только безоговорочно принимать географические утверждения Гомера, когда они лежат в пределах его собственного горизонта или Внутреннего мира, но и бесстрашно аргументировать их.
3. Приведенные таким образом аргументы доступны и имеют первостепенное значение, насколько это возможно, для управления построением отрывков, относящихся к географии Внешнего мира.
4. Что у нас нет права оспаривать, когда мы находим точку во Внешнем мире, описанную таким образом, что она соответствует какому-то известному теперь месту, которое Гомер в своем воображении присвоил этому участку или области то место, которое, как мы теперь знаем, она занимает, но с такой же вероятностью он поместил ее в другом месте.
5. Что аргументам, основанным на физических знаниях Поэта, следует доверять. Я бы назвал в качестве примера (с учетом только определенной широты для неточности) такие аргументы, которые взяты из направлений ветров и из других очевидных и кардинальных фактов обычного опыта, например, расстояний, которые можно преодолеть за данное время.

6. Точно так же указаниям, которые согласуются с известными или разумно предполагаемыми историческими и этнологическими взглядами, следует доверять как хорошему доказательству в вопросах, касающихся его географического значения.

Однако, чтобы быть в состоянии воспользоваться указаниями, которые дают Ветры, мы должны рассмотреть, что такое Ветры Гомера.

Ветры Гомера.

Ветров Гомера всего четыре, и способ их физического расположения груб. Она никоим образом не соответствует нашей собственной, но сильно отличается от нее, точно так же, как его точки компаса отличались от наших. И хотя он называет только четыре ветра, все же, я полагаю, мы должны учитывать, что в целом он использует их с такой широтой, чтобы выразить именем какого-нибудь одного из них каждый подувший шторм.

Что касается некоторых из этих ветров, Гомер снабдил нас множеством заслуживающих доверия *данных* об их происхождении, а благодаря им сведения об остальных могут быть расширены.

Ориентирами, от которых Гомер отмерял дуги горизонта, были, как очевидно, восход и заход солнца. Это наглядно демонстрирует его выражения, такие как πρὸς ἥϊτ' ἡέλιόν τε, на востоке, и тогда в противовес этому, ποτὶ ζόφον ἥερóεντα[547] на Западе. Опять же, когда Улисс убеждает своих спутников, что он потерял все средства для формирования суждения об их положении, его способ выражения таков, что он не знает, где сумерки или где рассвет; где восходит дарующее радость солнце или где оно опускается[548]. Поэтому мы должны выбросить из головы четыре стороны света, к которым мы привыкли. Для Гомера они не были сторонами света. Мы также должны помнить не только (1), что у Гомера было только две[549], но также (2), что две его работы не соответствовали ни одной из наших четырех, и (3) что из-за изменения восхода и захода солнца в зависимости от времени года в его представления о точке происхождения каждого из различных ветров была неизбежно внесена определенная неопределенность.

Однако нам не следует преувеличивать эту расплывчатость. Она имела свою причину в изменениях эклиптики и, как и ее причина, была ограниченной. Я полагаю, однако, что глаз грубо угадывает отклонения эклиптики и что мы должны принять северо-западную и юго-восточную стороны света за две стороны света Гомера.

Тогда запад Гомера простирался к северу от запада, а восток Гомера - к югу от востока. Но хотя это следует иметь в виду, когда мы переводим его "ветры" на наш язык, все же, конечно, сами ветры были организованы не технически так, чтобы каждый охватывал определенную дугу на горизонте, а в соответствии с направлениями, в которых, как было установлено опытом, они обычно дуют. И связывая каждый ветер с определенной точкой горизонта, мы должны иметь в виду, что такую точку следует рассматривать как его центр, и что то же название было бы дано ветру в пределах ряда точек по обе стороны от него.

Что касается соответствующей распространенности различных ветров, критерий, безусловно, грубый, тем не менее, это критерий, который обеспечивается для нас сравнительной частотой случаев, в которых они упоминаются. Эврус упоминается в стихотворениях семь раз, Нотус - пятнадцать; Борей - двадцать семь, с небольшим вычетом для случаев, когда он просто человек;

и Зефир - двадцать шесть. Последняя пара - ведущие Ветры стихотворения: не обязательно, что они указывали на преобладающие воздушные потоки, но что они представляли такие воздушные потоки, которые обычно преобладали с силой, достаточной для того, чтобы сделать их хорошими поэтическими агентами.

Из эпитетов, данных ветрам, мы можем также узнать, какое впечатление они соответственно производили на ум Гомера.

К Eurus никогда не привязан символ. Нотус редко имеет какой-либо эпитет, но все же он упоминается товарищем Улисса в Од. xii. 289 как один из самых грозных ветров. Вероятно, это могло быть связано с его направлением относительно места говорящего; потому что с этого момента он дул прямо на Сциллу[550]. Опять же, поскольку Зефир и Нотус больше нигде не ассоциируются Поэтом, на этом основании также возникает предположение, что здесь Нотус упомянут по особой местной причине. Это называется ἄργεστής, и так, по сути, союзные с идеей влаги, что νότιος стоит просто для влажных (νότιος ἰ δρύς, Ил. XI. 810).

Характерные эпитеты Борей являются μέγας, ὀπώρινος, и αἰ θρηγένης. Первое из них указывает на то, что он сильно дул: и мы знаем то же самое из фактов, что Ахилл желал, чтобы он способствовал быстрому сгоранию погребального костра Патрокла, и что его часто использовали для шторма[551].

Но из всех ветров Зефир, очевидно, был самым заметным в представлении Гомера. It is μέγας (Od. xiv. 458), λαβρὸς ἐπαιγίζων (Il. ii. 148), κελαδεινὸς (Il. xxiii. 208), δυσαῆς (Il. xxiii. 200 и Од. xii. 289), κεκληγύς (Од. xii. 408); и он один из ветров ревет, ζεφύροιο ἰ ὤη (Ил. iv. 276). В Од. xii. 289 это упоминается вместе с Нотусом: это ветры, наиболее способные разрушать корабли, даже несмотря на богов или без них. Для Нотуса, как я уже сказал, этот персонаж, по-видимому, местный: но Зефир здесь назван δυσαῆς, и смысл отрывка соответствует его общей репутации. Его вместе с Бореем призывают на погребальный костер Патрокла; и эти два ветра - единственные, которые когда-либо использовались по отдельности для создания плохой погоды. Другими способами создания бури с помощью ветров у Гомера являются (1) сочетание всех или нескольких из них, (2) общее освещение вопроса путем упоминания ὅλοοι ἄνεμοι без различия.

Однако у Гомера есть слабый след более мягкого характера, который впоследствии более полно проявился в Зефире, когда он спустился с севера и превратился в простой западный ветер. В описании Елисейской равнины мы находим, что ее никогда не беспокоят бури или дожди, но что обитающие там счастливые духи постоянно освежаются зефирами, которые доносятся из океана[552]. Но даже здесь ветерок - это λιγυπνεῖοντες: и это слово означает то, что называется "дующий свежий". И представление о ветре здесь скорее как о морском и, следовательно, не холодном, чем как о чем-то мягком и нежном.

Из этих четырех Ветров Гомер в разных случаях создавал две пары. Он неоднократно связывает Борей и Зефира в одной и той же работе[553]:

ὥς δ' ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνεται ἰ χθυόεντα,

Βορέης καὶ Ζέφυρος, τῷτε Θρήκηθεν ἄητον.

И снова, ради Ахилла, эти двое собираются вместе над морем и быстро падают, чтобы костер был сожжен; даже если молитва героя была обращена к ним совместно[554].

Точно так же Эврус и Нотус ассоциируются вместе как волнующие Икарийское море. Этот отрывок любопытно иллюстрирует различия Гомера между ветрами. У него есть два последовательных сравнения, оба описывающих возбуждение одной и той же Сборки[555]. В первом случае это сравнивается с Икарийским морем, по которому хлещет Эврус, а Нотус несется из облаков. Во втором - на кукурузное поле, по которому мощно проносится Зефир[556].

Из простого рассмотрения этих отрывков становится ясно, что четыре ветра Гомера не находились на равноудаленных сторонах компаса, но что каждый из двух из них был способен к ассоциации, в то время как ни один член одной пары никогда не описывается, за исключением единственного отрывка, который я сейчас замечу, как взаимодействующий друг с другом. Конечно, я не имею в виду те случаи, когда Поэт вызывает все четыре ветра сразу, просто чтобы вызвать ураган; неплохое предположение, добавлю я, для тех времен, в ожидании современного открытия, что ураганы - это вихри, и что именно их круговое движение заставляет их дуть почти одновременно во всех направлениях[557].

Давайте теперь выясним, что можно сделать для более точного определения основных направлений этих ветров, общие описания которых мы рассмотрели.

Исходные точки Зефира и Борея.

Я начну с более распространенной пары, Зефира и Борея.

Я думаю, что не может быть никаких колебаний в выводе $\epsilon\phi\upsilon\rho\omicron\varsigma$ из $\zeta\omicron\phi\omicron\varsigma$. Это может быть хорошо, чтобы напомнить читателю, что $\zeta\omicron\phi\omicron\varsigma$ это одно и то же слово в вещество $\lambda\gamma\omicron\tau\alpha$ применима $\nu\epsilon\phi\omicron\varsigma$ [558].

Таким образом, северо-запад - его колыбель. Но он настолько тесно связан с Фракией и с Бореем, причем первое является его резиденцией, а второе[559] его спутник, что, хотя он может означать любой ветер с запада на север, мы должны рассматривать его как обычно склоняющегося с северо-запада на север, в то время как он действительно принадлежит северо-западу, а не какой-либо другой данной точке компаса.

Положение Борея лучше всего определено из всех ветров Гомера. Он не может прийти ни из какой точки к западу от строго северного направления, поскольку все это пространство прилегает к Зефиру. Он столь же четко обозначен на другой стороне. Ибо он дует из Фракии, как в целом, так и в Ил. ix. 5, и особенно с равнины Трои[560]. Я не считаю себя авторитетным, поскольку фиксирую направление этого ветра, Борея, который переносит псевдо-Улисса с Крита в Египет[561]: ибо там Гомер уже находится за пределами Внутреннего Мира, и он знает о положении Египта только из финикийского отчета. Но у нас есть другие заслуживающие доверия указания из сферы греческих мореходных знаний, в том, что он перенес Геркулеса из Илиона в Кос[562], в том, что он предотвратил путешествие с Крита в Илион[563], и в судьбе Улисса, который, обогнув Малю, уносится Бореем к западу от Киферы[564]. Все эти операции могут быть выполнены только при ветре, дующем с четверти между востоком и северо-востоком.

Сопоставляя эти указания, я думаю, мы должны заключить, что гомеровский Борей - это ветер к востоку от северного. Но кажется очевидным, что он не охватывает почти весь квадрант с севера на восток. Ибо, подобно и даже в большей степени, чем Зефир по другую сторону полюса, он склоняется к полярной стороне, и, при отсутствии более конкретных указаний, Гомер должен понимать, что под ним подразумевается ветер Северной широты, то есть ветер, простирающийся преимущественно или полностью от Северной широты до Северной широты

Я беру строку Il. ix. 5, которую многие сочли трудной, за надежное и ценное географическое указание. Борей и Зефир дуют из Фракии. Для грека, скажем, из Микен, Фракия, простирающаяся от Адриатики до Эвксинского моря, покрывает более девяноста градусов горизонта. Можно показать, что именно с этих девяноста градусов дует каждый Борей и, вероятно, каждый Зефир Гомера. Это факты, которые мы можем оставить на хранение, готовые к использованию при объяснении движений Внешней Географии.

И наряду с ними мы должны помнить о гомеровском родстве и симпатии, установившихся между Бореем и Зефиром. Они настолько значительны, и находятся они особенно в такой локальной близости, что практически мы не сильно ошиблись бы, если бы сказали, что Гомер делит всю окружность своего горизонта на три почти равные дуги по 120 градусов, более или менее. Первый из них, начинающийся строго с запада, отдан Зефиру и Борею. Следующий, достигающий 30° Южного полюса, ведет к Эврису, а третий, охватывающий остаток окружности, - к Нотусу.

Точки компаса для Notus и Euris.

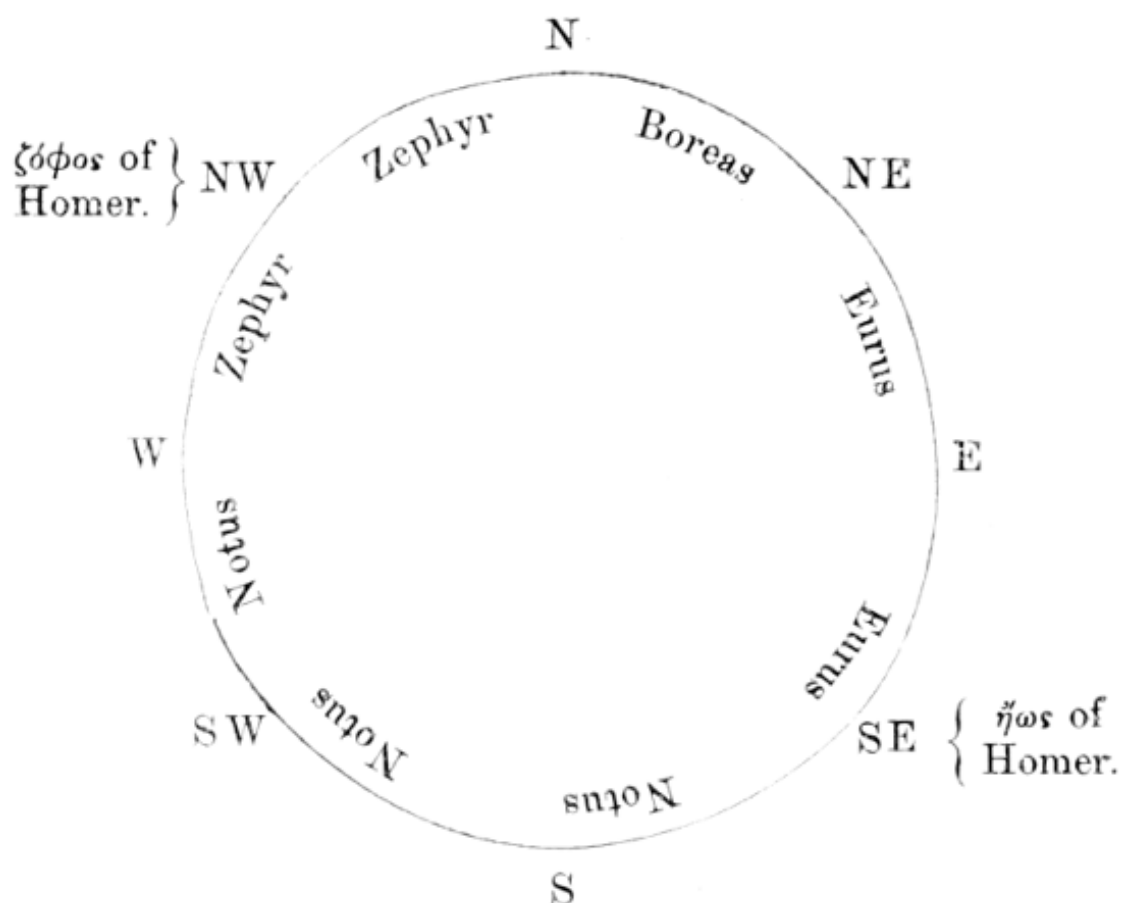
Нотус - сильный южный ветер, Эврис относительно невелик. Итак, одним из основных *данных*, применимых для определения направления этих ветров, является отрывок Il. ii. 144-6. Здесь они описаны как беспокоящие Икарийское море, которое находилось в сфере греческого судоходства. Положение этого моря на побережье Малой Азии к югу от Самоса показывает,

1. Что оба этих ветра у Гомера имеют явно южный характер.
2. Этот, конечно же, Эврис, должен прийти с востока, а другой, Нотус, в том месте, с запада юга. Потому что столкновение двух ветров предполагает значительное расстояние между точками, из которых они дуют, в то время как расположение Икарийского моря требует, чтобы оба были южными. Но и в Пятой "Одиссее" Нотус рассматривается как настоящий антагонист Борея. Следовательно, его центр находится немного к западу от строго южного; но Эврис не приближается к Южному полюсу, и каждый ветер примерно от юго-восточной долготы до Западной, вероятно, подпадает под гомеровское описание Нотуса.

Часто встречаются ассоциации Notus и Euris[565]. Однако в одном случае Нотус сочетается с Зефиром, хотя соответствующего случая соединения Эвриса и Борея нет. Нотус и Зефир посланы Юноной с моря, чтобы обдать троянскую армию жаром. Борей, конечно, был бы холодным ветром, а Эврису было бы холодно на равнине Трои, после того как он перевалил через цепь Иды, хотя в Греции он растапливает снег, принесенный Зефиром. Различия в сезонах, а также в ситуации могут иметь отношение к этим разновидностям операций.

Хотя ветер Нотус и не такой сильный, как Зефир и Борей, он все же сильнее Эвруса. И хотя в целом он является двойником Борей, его способность сотрудничать с Зефиром показывает, что он должен простирается через квадрант от Южного полюса до Западного, тогда как у нас нет Борей, спускающегося с Северного полюса на Восток.

В противоположность Зефиру, Эврус дует преимущественно с юго-восточной стороны; и, следовательно, часто сотрудничает с Нотусом, но никогда с каким-либо другим ветром. Однако следует понимать, что он охватывает все пространство от строго северного Борей до Нотуса, или примерно от Северной широты до 30 ° Южного полюса. Все свидетельства поэмы свидетельствуют о том, что Борей непреклонно ограничен очень узким пространством, а Эвр, его сосед на востоке, не часто посещает те стороны света, которые лежат ближе всего к нему.



Прилагаемый набросок выражает то, что, как мне кажется, заложено в основной гомеровской аранжировке Ветров. В то же время я не знаю, есть ли у нас какой-либо практический пример какого-либо ветра в Гомере, который дул бы с точностью до сорока пяти градусов по обе стороны от прямого Востока или примерно на такое же количество градусов по обе стороны от прямого Запада. Возможно, именно из-за их местной редкости он, похоже, не включил такие ветры в заявку[566].

Название Eurus дополнительно привязано к точке восхода солнца корнем ἥως, к которому оно прослеживается[567]. Трактаты помощников находятся у Гомера σμερδάλεα εὐρώεντα (Ил. xx. 65). Разве этот εὐρώεις не может исходить из того же источника? Киммерийская тьма Гомера

находится недалеко от устья Океана и *недалеко* от той Солнечной палаты, которая находится в Ээа[568]. Рассматривая рассвет как срединную точку между ночью и днем, Гомер, возможно, связывал его с каждым из них. Представляется также возможным, что он соединил восточную тьму с Западной: и потому, что это привело бы две области его будущего мира в соответствие друг с другом, и потому, что он заставляет Солнце развлекаться со своими волами на одном и том же месте в Тринакии после его вечернего захода и перед его утренним восходом: отрывок, для полного объяснения которого может потребоваться предположение, что Гомер верил, что земля имеет цилиндрическую форму, и таким образом, крайности Востока и Запада пересекаются[569]. Вскоре представится случай вернуться к этому предмету при дальнейшем рассмотрении того, что составляло составные части гомеровского Востока.

Гомеровские расстояния и показатели скорости.

Тогда я буду полагаться главным образом на ветры, обнаруженные таким образом во Внутреннем мире Гомера, как на средство указания направлений движений, описанных во Внешнем мире. Но помимо направлений, нам нужно учитывать расстояния. И здесь у нас также есть некоторые свидетельства, полученные из его экспериментальных знаний, которые помогут нам ориентироваться.

Комбинируя *данные* о расстоянии из внутреннего мира с данными о направлении, мы получим существенные условия решения проблем внешнего мира. Условия как существенные, так и достаточные, когда мы можем за них ухватиться; но нам все равно придется столкнуться с той трудностью, что в одном или двух замечательных случаях Поэт прибегает к совершенно расплывчатым формулировкам и не оставляет нам никаких ориентиров для наших догадок, кроме правила приведения неустановленного в соответствие по духу с тем, что было сделано достаточно определенным.

Расстояния, о которых я сейчас говорю, - это расстояния по морю. Несколько примечательный факт, что Гомер вообще почти не сообщает нам расстояний по суше. Телемах и Писистрат за два дня добираются из Пилуса в Спарту; но Поэт не имеет обыкновения описывать места, которые сообщаются по суше, количеством дней, затраченных на путешествие между ними. Это обстоятельство иллюстрирует черту, которая приобретает большое значение во Внешней географии Гомера, а именно миниатюрный масштаб его представлений обо всех пространствах суши; черта, я могу добавить, к которой у нас еще будет случай вернуться.

Морские дистанции Гомера выполняются не менее чем в шести различных режимах.

1. Обычным плаванием.
2. Обычной греблей.
3. На плотках, Од. v. 251.
4. Дрейфуя на бревне, Од. xiv. 310-15.
5. Всплывая и вплавь, Од. v. 374, 5, 388, 399.

В-шестых, и наконец, корабли феаков совершают свои плаванья, руководствуясь внутренним инстинктом, и с быстротой, которую называют изумительной.

Данные о темпах движения.

Язык стихотворений нигде не учитывает такой разницы в скорости, как между парусным спортом и греблей. Например, когда Ахилл говорит о времени своего путешествия во Фтию как зависящем от εὐπλοίη, которое могло бы дать благосклонность Нептуна, он, очевидно, имеет в виду хорошее море и отсутствие бури и вовсе не договаривается о ветре с определенной стороны, который не входил в сферу особой компетенции Нептуна. Также, по-видимому, нет никаких оснований предполагать разницу между средними скоростями гребли и плавания под парусом, если мы примем в пользу первого тот факт, что команда гребла почти поголовно, имея мало груза для перевозки; и, в ущерб второму, что наука и искусство постройки быстроходных парусников тогда не могли быть поняты. Поэтому я рассматриваю греблю и парусный спорт как равные по скорости. Так что в действительности у нас есть для рассмотрения не более пяти различных случаев.

Но, опять же, я думаю, что нет никаких причин, по которым мы должны предполагать разницу в скорости между дрейфом на куске дерева и прокладыванием пути вплавь и только вплавь. В практической реализации может быть значительная разница, но речь идет не об этом.

Оставшиеся в настоящее время четыре метода, по-видимому, требуют предположения о различных скоростях соответственно.

Итак, Гомер указал нам время, необходимое для прохождения известных расстояний в двух случаях; а также привел нам третий случай, который может быть использован для проверки одного из других примеров.

Известным примером расстояния является расстояние от устья Галлиполийского пролива до Фтии. Это, согласно Ахиллесу в Девятой "Илиаде"[570], при благоприятной погоде было бы выполнено так, чтобы прибыть на третий день. Она может составлять чуть более трех градусов и может измеряться на расстоянии двухсот двадцати миль. Время - три дня и две ночи. Так что при обычном плавании под парусом или на веслах за день и ночь можно пройти около девяноста миль, конечно, без каких-либо претензий на мельчайшую точность.

Во-вторых. При хорошем переходе корабль, плывущий с Крита в Египет, прибывает на пятый день (Od. xiv. 257). Но мы не можем считать, что мнение Гомера о расстоянии между Критом и Египтом соответствует всему весу его экспериментальных знаний. Опять же, следует иметь в виду, что здесь северный ветер, который несет корабль, был главным (κκραῖς καλὸς, 253). Наконец, многое может зависеть от той части Крита, из которой, как мы предполагаем, отплыло судно.

Что касается последнего названного вопроса, мы должны, исходя из привычек древнего мореплавания, предположить, что отправной точкой была восточная оконечность острова; потому что ни один моряк не отправился бы к Борею в открытом море, пока он мог плыть под прикрытием берега, лежащего с наветренной стороны.

Расстояние между восточной оконечностью Крита и западным устьем Нила составляет около трехсот пятидесяти миль; время пять дней и четыре ночи. Это дало бы несколько меньшую скорость продвижения *за сутки*, чем в предыдущем случае; но тогда, вероятно, Гомер считал расстояние в этом почти неизвестном море большим (см. Од. iii. 320), чем оно есть на самом деле; так что у нас есть основания рассматривать два вычисления как по существу совпадающие. И даже если бы они столкнулись, первый все равно имел бы право на наше признание.

Что, однако, похоже, имеет место, так это то, что Гомер ошибочно выбрал путь с Крита в Египет. На самом деле это S. W.: он определил это по ветру Борей, который никогда не дует с точки, направленной на запад, или, в крайнем случае, никогда с точки, существенно направленной на запад, из N. Так что курс, должно быть, лежал примерно на S. Теперь, поскольку Гомер знал положение Крита, это показало бы, что он слишком сильно продвинул Египет к западу, сократив восточную впадину или рукав Средиземного моря; ошибка в точном соответствии, как я полагаю, со всеми его действиями по представлению географии востока. Но это кстати.

Третьим испытанием морских расстояний служит предполагаемое прохождение Улисса на мачте из точки, находящейся вне поля зрения Крита[571] в Теспротию[572]. Он прибывает на десятую ночь. Расстояние примерно вдвое превышает путешествие из Троицы во Фтию. Времени почти в четыре раза больше. Но тогда можно сделать некоторую поправку на задержку из-за преобладавших нерегулярных ветров (ὁλοὶ ἄνεμοι). Следовательно, мы можем справедливо рассчитать скорость плавания по течению примерно вдвое меньше скорости плавания под парусом, или две мили в час вместо четырех. И на этом наши прямые доказательства заканчиваются.

Промежуточным пунктом между ними мы можем считать способ передвижения на плоту, который доставил Улисса из Огигии. Для торговых судов строили широкие балки; а плот был таким же широким, как торговое судно[573]. Сконструированное таким образом и с плоским дном, оно, должно быть, двигалось гораздо медленнее обычного парусного судна, и я рискну предположить, что его скорость составляла всего две с половиной мили в час.

Наконец, мы должны учитывать скорость шерийских кораблей. О них ясно только то, что Гомер имел в виду представить их как намного превосходящие все известные скорости подобного рода. Они отправились, говорит Алкиной¹, в Эвбу, или, как можно перевести этот стих, в Эвбу и обратно, за день[574]: они подобны колеснице, запряженной четверкой лошадей, рысущих по равнине; ястреб, самая быстрая из птиц, не мог угнаться за ними[575]. Я думаю, мы не можем претендовать на то, чтобы с большой точностью оценить значение Гомера в этом пункте; но ясно, что, поскольку у него в голове была какая-то карта, он должен был иметь какое-то значение относительно расстояния, пройденного кораблем от Схерии, хотя, вероятно, и расплывчатое. Я думаю, мы можем рискнуть плыть со скоростью, в три раза превышающей скорость обычного парусного судна, или около двенадцати миль в час.

Таким образом, взяв скорость дрейфа для нашего устройства, мы приблизительно установили следующую шкалу:

1. Дрейф = 2 мили в час = 48 миль в день продолжительностью 24 часа.
2. Плот = 1/4 дрейфа = 2½ мили в час = 60 миль в сутки продолжительностью 24 часа.
3. Парусное или гребное судно = 2 дрейфа = 4 мили в час = 96 миль в сутки продолжительностью 24 часа.
4. Корабль-ястреб из Схерии = 3 парусных корабля = 6 дрейфующих = 12 миль в час = 288 миль в сутки продолжительностью 24 часа.—

Давайте теперь перейдем к рассмотрению того, существуют ли какие-либо кардинальные идеи о конкретных местах или порядках во Внешней Географии Гомера, которые определяют ее

общую структуру. Ибо такие идеи могут, вместе с *данными*, которые мы сейчас извлекли из круга его Внутренней или Экспериментальной Географии, помочь нам в исследовании того, что, несомненно, на первый взгляд кажется почти хаотичными деталями.

Морской путь на север, к Эвксинским островам.

Исходя из этого, моя первая задача - показать, что Гомер верил в морской путь из Средиземного моря в Эвксинский, отличный от Галлиполийского и Босфорского проливов. Этот маршрут был проложен в его сознании, как я попытаюсь доказать, путем отрезания суши с востока на запад, немного севернее Греческого полуострова, на всем пути от Адриатики до Эвксинского моря. Таким образом, мы практически заменяем массу европейского континента морским пространством; и мы не должны представлять себе никакой определенной границы для этого $\alpha\lambda\alpha\sigma\sigma$, кроме таинственной границы, которая может окончательно отделить его от океана. Или, другими словами, мы должны дать Черному морю неопределенное расширение на запад и северо-запад, возможно, также сократив его в направлении Востока. Это единственное мастерское отличие от природы в "Идеальной географии" Гомера[576]; и, когда его вера в этот предмет будет достаточно доказана, почти все остальное встанет на свои места со сравнительной легкостью.

Я попытаюсь проиллюстрировать и подкрепить эту гипотезу положительными свидетельствами, прямыми или логически выведенными, из стихотворений: и я надеюсь показать, что она опирается на основания, независимые от отрицательных аргументов, что это абсолютно необходимо для того, чтобы дать ключ к Странствиям. В то же время я считаю, что этого отрицательного аргумента, если его обосновать, было бы достаточно: ибо, хотя мы и не прибегаем к насилию над вероятностью, приписывая географии "Одиссеи" какое-либо отклонение, каким бы большим оно ни было, от реальной природы, все же мы сильно погрешили бы против разума, если бы предположили, что Гомер проложил маршрут столь тщательно и детально, не представив его своему собственному ментальному видению и не представив его своим слушателям на манер чего-то вроде карты. Этого в равной степени требовал реализм (так сказать) того времени и было необходимо для полного понимания романтики и легкого наслаждения ею.

Указания на этот счет, помимо свидетельств самих Странствий, следующие:

1. Когда в Тринадцатой Илиаде[577] Юпитер отводит свой взор от битвы Кораблей, он обращает его на северо-восток: то есть в том направлении, в котором, согласно изложенной выше гипотезе, для Гомера не было, как мы теперь знаем, широкого пространства суши, способного вместить большое количество людей. бесчисленное множество племен, но, через определенный промежуток времени, бескрайнее и неисследованное море. Поэт говорит нам не о том, что Юпитер смотрел на неопределенную массу континента или на Более того, он указывает, давая характерные эпитеты каждому из этих народов, что они находятся более или менее в сфере общения и опыта греков и, следовательно, не на большом расстоянии к северу: ибо не только фракийцы ездят на лошадях, но и мисийцы - рукопашные бойцы, гиппемолги грозны или почтенны, а абии - самые праведные из людей. Глактофаги, судя по их названию, питаются молоком. Это ограниченное и характерное перечисление согласуется, по крайней мере, с гипотезой, согласно которой Гомер представлял себе в этом направлении не непрерывную череду земель и жителей, а море, ограничивающее страну Фракию с севера.

2. Более четкое указание, я думаю, дает отрывок из "Одиссеи", в котором Алкиной говорит Улиссу: "Мы доставим тебя в твой дом, даже если он должен быть дальше, чем Эвба, самая дальняя точка, которую посетил наш народ; некоторые из них видели это, когда несли туда Радаманта по делу Тита, сына Земли"[578].‘

Мне кажется очевидным, что Гомер в этом месте имеет в виду морской путь между Схерией и Эвбой, к северу от Фракии. Мы должны помнить, что он не был экспериментально информирован о местоположении самой Схерии, и, вероятно, он полагал, что она находится совершенно за пределами Греции, на значительном расстоянии к северу. Хотя он доставляет Улисса оттуда на Итаку за один день, это достигается привилегированной и чудесной быстротой перехода, которая была отличительным даром феаков как рода Бессмертных. Согласно стихотворению, они действительно соприкасаются с обитаемым миром, но находятся строго на внешней его границе. Они принадлежат к расе Нептуна, родственны циклопам и Гигантам: их обычная жизнь и морские пути не могли быть перенесены в сферу обычного греческого опыта, не совершая крайнего насилия над концепциями Поэта. Следовательно, мы не можем предполагать, что они пронесли древний Радамант мимо каждого известного города, порта и пункта в Греции; мимо Итаки, Дулихия, Кефалленов, Пилуса и остальных. Да и Эвбея, к которой приближались таким образом, не была бы для Улисса, который сам посетил Авлиду по пути в Трою, хорошим показателем удаленности; она также не соответствует этому описанию самих феаков, если рассматривать ее в соответствии с географической прозой; ибо, хотя путь к ней долог, она не так далека по прямой, как другие части Греции, например, Крит; и любой народ, совершивший путешествие к Эвбе морем, вокруг полуострова, очень хорошо знал бы, что правильный путь к ней лежит по суше. Короче говоря, мы должны предположить такое положение Схерии Гомера, которое подразумевает морское сообщение между ней и Эвбой, отличное от сообщения через известные воды Греции.

Но если мы предположим, что морской проход из Адриатики вокруг Фракии существует, то мы оставим феаков полностью в их собственной стихии, как пограничников между миром греческого опыта и миром басен. Они все еще, когда носят Радамант, как и во всех других случаях, цепляются, так сказать, за юбку настоящего человечества. И, рассматриваемая таким образом, Эвба вполне могла бы обозначать тип крайней удаленности.

3. Другой отрывок Гомера, если понимать его в соответствии с географическими ориентирами, сам по себе кажется мне почти решающим в этом вопросе.

Когда Меркурию приказывают передать послание богов с Олимпа Калипсо[579], его действия тщательно описаны. Он вооружился своими ножными крыльями (Од. ст. 44), взял в руку свою волшебную палочку (47) и встал на крыло (49). Следующий шаг в повествовании таков:

Πιερίην δ' ἐπιβὰς, ἐξ αἱ θέρος ἔμπεσε πόντῳ (50.)

Затем он поплыл по волне (51), достиг отдаленного острова (55), высадился на пляж (56) и, наконец, добрался до пещеры (57). Я думаю, никто не может прочесть это описание, которое простирается на шестнадцать стихов, без ощущения, что оно призвано донести до нас, что Меркурий с огромной скоростью двигался по прямой линии, самой короткой, по которой он мог добраться до места назначения. Но теперь, если это так, то, поскольку Пиерия находится к северу от Олимпа, нам остается только спросить, каким образом он продвигается своим

дальнейшим маршрутом? Из Пиерии он устремляется к морю и скачет по волнам (54) до самой Оигии. Безнадежно подогнать это даже по умеренному отклонению в ту или иную сторону к какому-либо существующему морю: следовательно, нам остается только заключить, в соответствии с другими указаниями, что Гомер верил в $\theta\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ к северу от Пиерии. Мы не можем сослаться на то, что Гомер не знал, где находится Пиерия. Во-первых, потому, что это было на олимпийской границе Фессалии, а поскольку Гомер хорошо знал этот регион, он должен был знать, что Пиерия находится к северу от него. Во-вторых, это, вероятно, было в кругу греческих традиций; поскольку в Il. ii. 766 это иногда читается как $\pi\eta\rho\epsilon\acute{\iota}\eta$, и в любом случае, по всей вероятности, это разные формы одного и того же слова. В-третьих, полное доказательство дает маршрут Юноны в Четырнадцатой "Илиаде". Она проходит, в соответствии с фактической географией, от Олимпа до Пиерии, от Пиерии (очевидно, на востоке) до Эматии, и так мимо фракийских гор, очевидно, Халкидики, до Лемноса[580].

4. Есть еще один отрывок, который может быть процитирован в качестве прямого подтверждения этих взглядов[581]. Души Женихов прошли (1) океанский поток и (2) Левкадскую скалу; а также прошли (3) врата Солнца и (4) людей Страны Грез.

Путь на север, к Эвксинским островам.

Теперь можно заметить, что миновать Левкадскую скалу - это не путь от Итаки к Гибралтарскому проливу: путь должен лежать либо вокруг северной, либо вокруг южной оконечности Кефалонии. Это также не путь к Босфору и Черному морю, который следует искать, сначала повернув в южном направлении. Но это путь к Океану и нижним Теням, если я прав в своем убеждении, что Гомер считал, что путь протекает вдоль Адриатики и огибает север Фракии. Мне также не известен какой-либо другой взгляд на его географию, исходя из которого можно было бы объяснить этот отрывок. Доказательства, которые она предоставляет, на первый взгляд убедительны в поддержку предположения, что путь Гомера к устью океана лежал вверх по Адриатике. Но есть два основания, по которым могут возникнуть сомнения по поводу его приема. Во-первых, оно находится во втором стихотворении, единственном значительном фрагменте обоих стихотворений, который, по крайней мере, мне кажется, вызывает подозрение, что в него могли серьезно внести изменения. Во-вторых, порядок прохождения необычен, поскольку он выглядит следующим образом: они прошли или направлялись к каналам Океана, левкадской скале и вратам Солнца; в то время как, согласно географии Гомера, Левкадская скала должна была быть первой, врата Солнца - вторыми, а устье Океана - последней из трех точек.

Но в ответ на первый вопрос скажу, что подозрения, связанные с этим отрывком, слишком расплывчаты и неопределенны, чтобы оправдывать наше отвержение его свидетельств там, где они согласуются с общими свидетельствами Гомера. Даже если бы эти строки были вставлены, они были бы замечательны как воплощающие древнее, возможно, очень древнее мнение относительно географического взгляда Гомера на рассматриваемый вопрос.

Что касается второго, мы можем привести параллельный случай с Менелаем в его рассказе о собственном путешествии. После Кипра и Финикии он описывает свои визиты в следующем порядке: (1) Египет, (2) Эфиопы, (3) сидоняне, (4) Эремби, (5) Ливия. Очевидно, что это нельзя понимать как порядок фактического посещения нескольких мест[582].

Таким образом, я надеюсь, мы обеспечили "Улиссу", не прибегая к свидетельствам "Скитаний", то, что моряки называют хорошим или широким пристанищем; достаточно места для расположения его чудес и для разгадки тайны расстояний между ними. Мы можем представить себе, что Гомер поместил в это северное деление $\epsilon\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ как двойной день Лестригонов, так и киммерийские туманы, без какой-либо неточности или насилия над своим восприятием собственной широты. В нее он вполне мог бы загнать Улисса силой южного ветра[583], а оттуда вернуть его силой Зефира или Борея[584]. Наконец, с помощью этого $\theta\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ мы можем избежать размещения Цирцеи и Восхода солнца к западу от родины Гомера; и мы не обязаны находить его представление о $\pi\lambda\alpha\upsilon\kappa\tau\alpha\iota$, вовлекающее его в безнадежный абсурд противоречия его собственным экспериментальным знаниям об общем направлении курса Ясона на корабле "Арго".

Объединенные сообщения о устье океана.

Теперь я перехожу ко второму из двух положений, на котором, как мне кажется, должна основываться разумная интерпретация Внешней географии.

Оно заключается в следующем: поэт объединил в одно два набора финикийских традиций, касающихся устья океана, причем одна из них изначально происходила с Запада или принадлежала ему, а другая - с Северо-востока; и что он выбрал северо-восточное место в качестве площадки для размещения сцены своего объединенного изображения.

Аргумент, который недавно был приведен с другой целью из двадцать четвертой "Одиссеи", доступен для того, чтобы показать, что устье океана Гомера находится к северу: но его недостаточно для решения вопроса о соотношении Северо-востока и северо-запада, и он также не решает, просто ли Гомер пересадил Гибралтарский пролив, или же он смешал рассказы о нем и о каком-то другом проливе и объединил их в один.

Этот вопрос мы должны исследовать на основе свидетельств, касающихся устья океана, предоставленных самими Путешественниками.

Улисс и его спутники, когда они входят в великую Реку Океан, входят в нее далеко на севере, у города и страны киммерийцев, которые окутаны облаками и испарениями[585]: и их несет вверх или против течения ($\pi\alpha\rho\grave{\alpha}\rho\acute{o}\sigma\upsilon\nu$) дыхание Борея[586], в устье Ада. Возвращаясь оттуда, они спускаются по течению ($\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}\rho\acute{o}\sigma\upsilon\nu$ Od. xi. 639) обратно к морю ($\theta\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$); и там они оказываются на острове Цирцеи, где находится жилище $\eta\delta\iota$, а также где находится ложе, с которого по утрам встает солнце.

В этом рассказе нетрудно проследить определенные контуры истины. Представления Гомера о вратах океана могли быть почерпнуты из сообщений, которые, *на первый взгляд*, могли относиться к любой из нескольких географических точек; к Гибралтарскому проливу, Босфору, Еникальскому проливу, ведущему в Азофское море, или ко всем трем. На всех без исключения из них, по-видимому, имеется непрерывный поток, текущий внутрь в направлении Средиземного моря или $\epsilon\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$. Все без исключения морские проливы представляют собой обширную морскую реку. В точном соответствии с этими физическими фактами Гомер

заставляет корабль Улисса, входящий в великую Реку Океан, плыть вверх по течению. Мы можем мимоходом заметить, что он описывает своеᾰᾰλασσα как εὐρύπορος, что явно контрастирует с Океаном, который, следовательно, отмечен сужением берегов.

Далее, Гомер предполагал существование того, что мы можем назвать ультраземными частями, как на западе, так и на востоке. С одной стороны, Менелай после смерти должен быть перенесен на Елисейскую равнину, где постоянно дуют зефиры, поднимающиеся со дна западного океана. С другой стороны, рощи Персефоны находятся на берегу океана, но на самом дальнем Востоке.

Однако из этого вовсе не следует, что у него в голове была идея двойного выхода из Средиземного моря, илиᾰᾰλασσα в целом, в Океан. Напротив, мы никогда не слышим о каком-либо способе доступа к нему, кроме одного; и то, что он поместил точку, где Улисс входит в нее среди тумана и облаков, и то, что он призвал на помощь Борея, чтобы тот доставил корабль к рощам Персефоны и устью Теней (которые он, вероятно, намеревался сделать точной копией Елисейской равнины), приводит к убеждению, что его выход из моря в Океан был на севере, и что дальнейший путь к Теням лежал, по большей части, в южном направлении.

Проход в открытом море к устью океана.

Читатель "Одиссеи" заметит, что Улисс действительно сталкивается в своем путешествии с бурями, но все же ничего похожего на опасный морской переход, прежде чем он войдет в реку-океан, а затем, завершив свое путешествие в нижний мир, вернется на остров Цирцеи[587]. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что устье Океана, согласно представлениям Гомера, доступно по широкому и открытому морю. Таким образом, мы выполнили первое условие для определения его местонахождения.

Но, прежде чем он отправится во второй раз из Ээи, Цирцея, теперь его подруга, указывает ему дальнейший путь домой. Сначала он должен был достичь острова Сирен[588]. Пройдя дальше, божество больше не прокладывает перед ним единый и непрерывный маршрут[589]: но указывает ему две альтернативы, каждая из которых включает в себя наиболее опасный переход. Первый описан в строках Од. xii. 59-72, начинающихся ἔνθεν μὲν γάρ. Второй, который она рекомендует в стихах. 73-110, начинается с οἱ δὲ δῶω σκόπελοι: где δὲ является *apodosis* к μὲν В. 59. Так вот, необходимо помнить, что физически не было ничего, чтобы предотвратить его возвращение по тому, как он пришел, и таким образом избегая обоих отрывков. Почему же тогда Гомер подвергает его такой экстраординарной опасности, не оставляя ему иного выбора, кроме как либо полного уничтожения, либо неминуемой потери, по крайней мере, шести человек из его команды[590]?

Путешествие Улисса могло бы быть представлено нам Поэтом как исполнение божественного плана, всесторонне продуманного в целом: но это не так: оно показано нам просто как время от времени продлеваемое из-за какой-то ошибки его самого или его спутников, или назойливости Нептуна, или мести, которой требовало и которой добилось Солнце[591]. Дома ему нечего делать, кроме как выбрать наилучший путь домой. Тиресий действительно пророчествовал, что он прибудет в Тринацию[592], но нигде не намекается, что он должен был быть вынужден богом сделать это или что он выбрал бы этот маршрут по какой-либо другой причине, кроме как по собственному разумению. Почему же тогда он не возвращается, как пришел, открытым морем, вместо того чтобы испытать любой из двух опасных путей?

Я полагаю, что ответ таков. Он был объектом негодования Нептуна, который действует в шторм в открытом море. *Otium divos rogat in patenti prensus Ægæo*. Как в героическую эпоху любая рана, вообще говоря, означала смерть, так и шторм неизменно или общепринято означает затопление или кораблекрушение. Таким образом, Улисс мог благоразумно держаться не имеющих выхода к морю вод и узких морей, даже когда перед ним стояла большая опасность, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с разгневанным Морским богом в длинных переходах по открытому морю, по которому он пришел в страну Циклопов и так далее в Эею.

Рационализированный и сведенный к простейшей форме, это, по-видимому, подразумевает, что маршруты, указанные ему Цирцеей, и, возможно, особенно тот, который он должен был предпочесть, были кратчайшими путями либо к его дому, либо, по крайней мере, обратно во Внутренний, или греческий, мир. И в соответствии с этим предположением, все предсказание Цирцеи, по-видимому, предполагает, что переход умеренной длины вернет его обратно в пределы известного мира; ибо в нем никогда не говорится о ширине какого-либо неизвестного моря, которое предстоит пересечь, что для мореплавателей того времени всегда было его самой устрашающей чертой.

Таким образом, с точки зрения Гомера, прохождение Сциллы не могло находиться далеко за пределами горизонта его собственного греческого мира и собственно географии. Это был более подходящий из двух маршрутов. Другим был пролив *πλαῦκται*, или Босфор. Оно было отвергнуто как влекущее за собой неминуемую гибель: ибо только Ясон благополучно миновал его с помощью Юноны, а Паллады сейчас не было рядом, чтобы прийти на помощь Улиссу; поскольку он находился за пределами того греческого мира, которым, вообще говоря, и, по всей вероятности, по поэтическим причинам, были ограничены ее действия в "Одиссее". Теперь, поскольку говорится, что оба этих прохода, по-видимому, находятся недалеко от острова Сирен, который сам по себе, насколько мы можем судить, отделен от Эеи и Цирцеи небольшим расстоянием, следующие выводы, которые мы должны сделать, имеют очень большое значение. Первое состоит в том, что, хотя один пролив Гомера физически соответствует Мессинскому проливу, а под другим он явно подразумевает Босфор, все же он считал, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Второй вывод состоит в том, что, согласно верованиям Гомера, воды за Босфором были доступны по какому-то другому каналу, кроме Дарданелл и Мраморного моря, ибо в противном случае Улисс не смог бы оказаться по ту сторону этих ужасных проливов, разве что переплыв по одному из них.

Три морских пути к устью океана.

Таким образом, существовало три морских пути, по которым Гомер считал доступным устье океана, в которое вошел Улисс:

1. Маршрут, которым герой на самом деле прибыл туда:
2. Маршрут Сциллы и Харибды, по которому он возвращался с нее:
3. Маршрут Босфора, по которому прошел Ясон и который, согласно описанию Цирцеи, мог пройти Улисс.

Но что же, по мнению Гомера, представляло собой это устье океана? то есть, на какой географической основе основывались отчеты или описания, которые он взял за основу своей картины? Проходя мимо, мы не можем не восхищаться тем, как финикийцы охраняли сокровища своих отдаленных рынков: у них не было иного пути, кроме как выбирать ужасы; ужас перед бескрайними просторами всепожирающих вод; ужас перед кораблекрушением, вызванным πλάυκταί, которого не избежал никто, кроме Ясона (так говорит Цирцея, финикийская свидетельница); ужас перед неизбежной гибелью людей в ненасытной утробе Сциллы. Что же, однако, представляло собой это океанское устье, лежащее за ними?

Мой ответ таков: существуют два устья океана, каждое из которых могло бы сносно соответствовать гомеровской картине, если судить только по его отношению к промежуточным точкам, которые представлены этими опасными проходами.

Во-первых, Гибралтарский пролив, ведущий в Атлантику.

Во-вторых, Керченский или Еникальский проливы, ведущие к Азовскому морю.

Гибралтарский пролив как устье океана.

1. Что касается Гибралтарского пролива, то он соответствует гомеровскому описанию в отношении его большого расстояния от Итаки; того, что в настоящее время он постоянно находится в Средиземном море; того, что до него можно добраться, предварительно не покидая широкое или открытое море ради какого-либо узкого прохода; того, что он, как мы можем с уверенностью полагать, находится в пределах морского опыта финикийцев. Далее, на пути к ним лежит остров треугольной формы, который уже был описан под названием Тринаси[593]. Опять же, может показаться, что между Тринакией и этим устьем океана были другие острова. Поскольку и Цирцея, и Сирены обитают на островах. Даже ближайший из Балеарских островов, а именно Ибица, находится от Гибралтарского пролива примерно на таком же расстоянии, как Крит от Египта, который, как мы знаем, Поэт оценил в пять дней плавания. Представляется, однако, вполне вероятным, что Гомер, получив упоминание о Балеарских островах в финикийских сообщениях об Атласских столпах, перенес их вместе с самим Атласом на восток, где он объединил два набора традиций в одну. Следовательно, он, возможно, получал из этого источника материалы для своих "Острова Цирцеи" и "Острова Сирен".

Наконец, хотя туманный Киммериец находится недалеко от устья океана, а атмосфера Гибралтара теплая и солнечная, все же даже туманы могут найти свой прототип в проливе Святого Георгия[594]или в Дуврском проливе, и можно также сказать, что в туманной дали рассказа финикийского капитана, с точки зрения Гомера, они могли бы показаться стоящими почти рядом. Но все же это трудность. Существуют и другие, более серьезные препятствия, которые делают для нас абсолютно невозможным утверждать, что гомеровское устье Океана соответствует Гибралтарскому проливу. Особенно этот: что он множеством уз привязал свое устье Океана к восточному, а не западному месту; ибо там, по крайней мере, совсем рядом, находится жилище Авроры; там утреннее ложе Солнца; там Цирцея, сестра Эета, в страну которого Ясон плыл через Босфор; и у них обоих отцом было Солнце, а матью - Перс, дочь Океана, без сомнения, восточный, а не западный персонаж[595]. Местоположение Ээа, однако, вместе с местоположением Оигии, в настоящее время получит более полное рассмотрение.

Еникальский пролив как устье океана.

Давайте тогда обратимся к другой альтернативе в нашем исследовании.

2. Как Гибралтарский пролив имеет сходство с гомеровской картиной, поскольку находится за Мессинским проливом, так и Еникальский пролив имеет сходство с проливом Босфор. Постоянно действующая внутренняя[596] - это еще одна особенность переписки, которая может применяться к обоим случаям и которая, вероятно, помогла процессу, на который я сейчас обращаю внимание. Вся группа восточных условий, связанных с устьем океана Гомера, по-видимому, в точности реализуется в Еникальском проливе.

Киммерийская страна Гомера до наших дней представлена Крымом, одним из древнейших проходов из Азии в Европу, и, вероятно, известным финикийцам, которые вполне могли сами перейти Босфор, сделав его пугалом для других. Облако, в которое окутаны эти киммерийцы, находит свое отражение в печально известных частых зимних туманах на Эвксинских островах. Полуостров, лежащий у самого пролива, в точности соответствует проливу (Од. xi. 13),

ἥ δ' εἰς πεῖραθ' ἵκανε βαθυρροῦ Ὠκεανοῖο·

ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμος τε πόλις τε.

Единственный момент описания, который в этом месте представлен менее точно, чем в другом, - это эпитет βαθύρροος. Это лучше согласуется с глубоководьем Гибралтара, чем с (сейчас, по крайней мере) мелководным течением Еникале[597].

Нет ничего противоестественного в том, что рядом с киммерийской тьмой он поместил обитель Полярного Сияния и Восточного Солнца: ибо именно из тьмы всегда должны восходить рассвет и день; и у нас есть возможность заметить, в различных формах, ассоциацию в сознании Гомера идей, относящихся к тьме, с Востоком. Опять же, в условиях гомеровского описания наблюдается сочетание северного с восточным направлением, чему в точности соответствует положение этих проливов относительно Греции.

Но если мы скажем, что эти проливы образуют единый прототип гомеровского описания, мы снова столкнемся с безнадежными противоречиями. Ибо поблизости от Босфора не лежит ни одного треугольного острова, который мог бы соответствовать Тринакии; и нет никакого свободного морского прохода, кроме Босфора, по которому человек, отправным пунктом которого является Троя, может достичь устья океана, то есть *Палус Меотис*.

Эти факты, по-видимому, явно подводят нас к одному удовлетворительному и, как представляется, неизбежному выводу. Это проявляется в предложениях, которые непосредственно следуют.

Во—первых, сразу кажется очевидным, что Гомер либо знал, либо смутно представлял себе по финикийским сообщениям определенные географические факты, включая следующие:

1. Что существовал остров, очертания которого определялись словом, обозначающим три мыса, и на который можно было попасть по проходу на западной стороне Греции.
2. Что недалеко от этого острова с одной стороны находится устье опасного сужения.

3. Что либо по другую сторону от него, либо в какой-то другой соседней части лежит открытое море и путь вдоль него, по которому можно добраться до дальней стороны острова, не пересекая узкий пролив.

4. Что в точке за обоими этими отверстиями (я пока ничего не говорю о стрелках компаса) протекал большой поток, который он называл κκεανὸς, всегда текущий внутрь к θάλασσα, который, как он предполагал, питается им (Ил. xxi. 196).

5. Что также существовал проход, который Гомер назвал πλαῦκταῖ, доступный с восточной стороны Греции; и через который проплыл Ясон, и, как он верил, только Ясон.

6. Что и в точке за этим проходом простиралось морское пространство, θάλασσα, и снова большой поток, который он называл κκεανὸς, всегда текущий внутрь, к θάλασσα.

Теперь мы видели, что он дает нам в стихотворении один, и только один, ответ на Ὠκεανὸς, что соответствует каждому из этих утверждений, взятых по отдельности: по его словам, это за пределами Тринакии, за проливами Сцилла и Харибда, куда можно добраться открытым морским путем, и за пределами πλαῦκταῖ или Босфора.

Кажется, почти математически следует, что он верил в открытый морской путь, который должен был пролегать на север и который устанавливал независимое от Босфора сообщение между Средиземным морем и Эвксинским.

Он объединяет два набора отчетов в один.

Настоящим также выясняется, что он получил от финикийцев два набора сообщений, одно из которых относилось к западному, а другое - к северо-восточному плаванию, но оба включали описание большого внутреннего потока как конечной точки, что соответствовало его представлению о Реке-океане. Эти две скрытые точки зрения, полученные соответственно из каждого набора отчетов, Гомер, руководствуясь сходством черт, объединил в одну. Даже сейчас мы можем разобрать его ложное представление на части и увидеть, где и как оно разделяется на два, каждое из которых географически верно. В своем единственном устье океана он объединил условия, которые в природе принадлежат двум отдельным географическим точкам. И северо-восточное сообщение, и западное сообщение он объединил, так сказать, обогнув отдаленную точку первого, чтобы встретиться со вторым: и, таким образом, сделав свое Океанское устье северным, а также восточным, он последовательно призывает Борея отвести корабль Улисса к устью Шейдов вниз, чтобы зафиксировать эту точку на востоке, потому что она была аналогом его Елисейских полей, которые лежали на западе. Таким образом, два набора финских отчетов странным образом объединены друг с другом. Океанское устье Эвксинского архипелага пользуется преимуществами открытого морского пути; а Океанское устье Гибралтара расположено на северной широте и восточной долготе; таким образом, каждое сообщение вносит свои отдельные атрибуты в общий фонд.

Результат такого сближения Еникале и Гибралтара, естественно, сближает Фаро Мессины и Босфор: и поэтому Цирцея в Двенадцатой книге называет их Улиссу альтернативными маршрутами, которые, по-видимому, лежат в одном регионе.

Но я снова говорю, что для того, чтобы понять Внешнюю или воображаемую географию "Одиссеи", мы должны полностью выбросить из головы карту Европы такой, какая она есть. Мы должны рассматривать как настоящую карту Гомера только ту небольшую сферу, которая была охвачена средствами обычной греческой навигации. За пределами этого узкого диапазона мы должны рассматривать его как распределяющего сушу и море наилучшим образом, каким он мог, с помощью отчетов, обязательно в ту эпоху самых расплывчатых и, по всей вероятности, преувеличенных и даже намеренно затемненных в придачу торговыми ремеслами. Поэтому иногда он помещает людей на поэтическую *твердую землю* в тех местах, где, к счастью, но случайно оказывается, что природа создала антитип для образности Стихотворения. Иногда он поселяет их там, где никого нет; *уби нил ниси понтус и другие*. Но хотя от деталей следует таким образом избавиться, все же одно основное отклонение от реальной природы заключается в следующем: море простиралось от Средиземного моря до Эвксинского, позади, то есть к северу, Босфора и Фракии. Это дает нам тот открытый проход в Эвксин, по которому, как предполагал Гомер, Улисс достиг приморского региона, который Ясон искал и нашел через Босфор.

В общем, слишком ясно, чтобы требовать подробных доказательств, которые я пытался привести, что Гомер верил в огромное водное пространство, лежащее где-то к северу. Вероятно, из какого-то финикийского источника до него дошли слухи о великом Германском океане. Нам не должно казаться странным, что его разум с трудом представлял себе протяженность суши, подобную европейскому континенту, если мы заметим, что его опыт позволил ему познакомиться частично с островами, частично со странами, состоящими из мелких подразделений и простирающимися от моря до моря. Эту огромную воображаемую массу вод он включил в состав *Аласса*, к которому принадлежало все до точки, где впадала великая река Океан.

Тогда я думаю, что теперь мы нашли два ключа к Внешней географии,

1. На морском пути к северу от Фракии;
2. При объединении западного и северо-восточного участков устья океана.

От места, где находится Океанское устье Гомера, мы можем самым естественным образом перейти к исследованию места, где находится Ээа; которое, находясь на расстоянии одного дня плавания, является своего рода сторожкой носильщика при нем^[598], и является точкой первостепенной важности в системе. До сих пор я исходил только из утверждений, поскольку предполагалось местонахождение гомеровской Эры. Но чтобы защитить второе главное положение, или ключ к системе, перед лицом контр-теорий, необходимо будет изучить со всей возможной тщательностью все свидетельства Гомера, относящиеся либо к этому вопросу, либо к родственному вопросу о местонахождении Оигии.

Тогда мы должны сначала выяснить, в соответствии с установленными правилами, следует ли размещать Эею, остров Цирцеи, при общепринятом его северном направлении, на северо-западе или на северо-востоке?

Во-вторых, поскольку это во многом зависит от предыдущего вопроса и в то же время в значительной степени способствует его доказательству, каково местоположение Оигии, острова Калипсо?

Северо-западная гипотеза местонахождения Ээа.

Теперь я думаю, что аргументы, которые были использованы в пользу северо-западной теории, были в принципе обоснованы,

1. На основе поспешных выводов, сделанных из какого-либо одного или нескольких утверждений Гомера о внешнем мире, а затем незаконно использованных для управления остальными из них;
2. В русле более поздней традиции, которая была обусловлена, вероятно, ходом колонизации, выявлением и присвоением особенностей Внешней географии скорее на Западе, чем на Востоке. Ибо Сицилия и Италия были грекам знакомы в ранний период; но прошло задолго до того, как они стали хорошо знакомы с более опасной, удаленной и изолированной навигацией по Черному морю[599]. Возможно, действительно, главная причина для того, чтобы поместить "Путешествие Улисса" на всем протяжении на Запад, заключалась не в чем ином, как в том, что Гомер дал нам описание острова, по форме явно соответствующего Сицилии; что вполне возможно, и все же концепция местоположения может быть совершенно ошибочной. Опять же, что касается традиционных авторитетов, я полагаю, можно утверждать, что Фрагмент Мимнерма[600], который переносит Ясона на Восток, в палату Солнца и в город Эет, как в одну и ту же точку, выражает универсальную традицию в том, что касается путешествия аргонавтов. И я бы также заметил, что текущие местные ассигнования на побережье Италии, похоже, всеми отвергаются как географически бесполезные: единственный вопрос заключается не столько в удалении, сколько в том, в какой из двух кварталов они будут перенесены. С другой стороны, основные аргументы в пользу северо-восточной гипотезы, как я полагаю, основаны на законных выводах, сделанных из внутреннего мира или экспериментальных утверждений Гомера, а затем примененных в соответствии с по существу обоснованным законом для определения кардинальных проблем его Внешней географии.

Северо-восточная гипотеза.

Например, многое будет зависеть от ответа на вопрос, должны ли мы перенести Мессинский пролив, или, скорее, сказку о Сцилле и Харибде, взятую для их представления, на восток, или же мы предпочитаем переместить Босфор на запад.

Я отвечаю без колебаний, что гораздо разумнее истолковать Гомера как существенно изменившего местоположение Сциллы и Харибды, чем местоположение Босфора; и по следующим причинам.

У нас нет ни малейших оснований предполагать, что ни Сицилия, ни Сциллинский пролив подпадали под экспериментальные знания Гомера и греков его времени ни относительно самих острова и пролива, ни относительно направления, в котором они лежат.

Мы действительно обнаруживаем, что непрерывные ветры, дувшие между Восточной и южной широтами, задержали Улисса в Тринакии или Тринакрии. Из этого был сделан, как мне кажется, слишком поспешный вывод, что Тринаси лежала к северо-западу от Итаки[601]. Даже если бы это было так, мы все равно упустили бы истинное направление на Сицилию, которая находится к западу, со всем наклоном к югу, а не к северо-западу от Итаки. Но это предположение на самом деле необоснованно. Ветер, который в основном удерживал "Улисс" в Тринакии, был, как видно из отрывка "Нотус", южным. Eurus играет здесь второстепенную роль[602]. Кроме того, ветер, в

котором нуждался Улисс, возможно, был необходим для того, чтобы доставить его не на Итаку, а в какую-то точку на его пути к Итаке, откуда было бы известно его местонахождение; в какую-то точку, в которой из Внешнего мира для него было бы практически возможно вернуться во Внутренний, или греческий, мир. Необходимые условия были бы выполнены, если бы, например, Тринакия находилась либо к северо-западу, либо к северо-востоку от Дарданелл; и тогда Улисс захотел бы, чтобы туда добрался либо Зефир, либо Борей. И противоположная теория исходит из совершенно произвольного, более того, неверного предположения, что обратный путь через пролив был, подобно пути, которым Улисс прибыл в Эею, путем открытого моря, а не таким, при котором курс должен определяться фиксированными точками суши, лежащими вдоль курса.

Таким образом, нет среднего термина между Тринацией и какой-либо фиксированной точкой Внутреннего гомеровского мира, из которой мы могли бы путем прямого вывода утверждать о ее местонахождении. И ветры, которые задерживают Улисса в Тринакии, сами по себе далеко заходят, чтобы показать, что этот остров находится не на месте Сицилии.

Совсем иначе обстоит дело с Босфором, или *πλάκται*, из "Одиссеи". Ибо здесь мы знаем,

1. Что Гомер был знаком с Дарданеллами, этапом на пути к ним и не очень далеко от них:
2. Что он заставляет Ясона перейти Босфор:
3. Он также заставляет Ясона поселиться на Лемносе и стать правителем острова, очевидно, в связи с его маршрутом из Фессалии на Восток.

Но Фессалия, как и Лемнос, тоже являются местами внутреннего мира: с Лемносом Поэт, по-видимому, был хорошо знаком; и граница между этим островом и домом Ясона определяет абсолютно все; Гомеру было известно, что общее направление его путешествия, по крайней мере до этого момента, лежало на северо-востоке, через Галлиполийский пролив.

Следовательно, я считаю, что прохождение *πλάκται* незыблемо зафиксировано известными мировыми свидетельствами относительно его общего направления: переносить его на запад - значит разрушать основы экспериментальных знаний Гомера, которым всегда можно доверять; тогда как переносить его Тринацию на восток - значит просто предполагать, что он предоставил место, поэтически наиболее удобное для традиции, у которой, как ему показалось, вообще не было места, никакого положительного локального или географического определения.

Характер и местоположение Тринасии.

Опять же, я беру остров Тринакия отдельно; и я утверждаю, что, хотя сообщение, на котором было основано это разграничение, вероятно, могло происходить с Сицилии, все же Тринакия Гомера ассоциируется скорее с Востоком, чем с Западом.

Ибо, хотя он и не дал нам географических средств для прямого определения местоположения, он снабдил нас другими средствами, которые принадлежат не финикийским слухам или рассказам у очага, а его собственным знаниям и опыту. Поскольку ничто не может быть более определенным, чем то, что ведущая локальная ассоциация Солнца для Гомера, как и для всего человечества, связана с востоком. Это правда, что он бывает на западе так же часто, как и на

востоке; но мы определенно считаем, что Наполеон больше принадлежит Корсике, чем Святой Елене; и поэтому разум связывает Солнце с местом его ежедневного рождения, а не с местом его ежедневной смерти. Теперь, не вдаваясь пока ни в какие другие вопросы, я только замечу, что в Тринасии есть воли, с которыми Солнце развлекается, когда не занято своими повседневными трудами; то есть, как он сам объясняет, как до их начала, так и после их окончания[603]. Таким образом, из уважения к тем ассоциациям, основанным на реальной природе, которые для данной цели являются строго фактами, я без колебаний утверждаю, что остров Тринакия в целом является восточным островом по сравнению с Грецией.

Аналогичный вывод можно сделать из имен Лампети (λάμπειν) и Фаэтуса (φάος), которые он дал Нимфам Солнца. Если бы остров, по его замыслу, был западным, он назвал бы его именами другой этимологии.

И поскольку пролив Сцилла, который находится на его побережье, находится недалеко от πλάυκται, я думаю, мы будем довольно близко соответствовать взглядам Гомера, если представим Тринакию как западную сторону Босфора и отделим ее воображаемой или поэтической Сциллой от основной земли Турции в Европе.

Опять же, признается, что αἰ ἥτης получил свое имя от Αἰ Αἰή. Исходя из личных отношений Эета, а также из отношений его дочери Цирцеи, мы можем, следовательно, утверждать относительно местонахождения Эеи, при условии, что мы можем привязать их к любой известной и фиксированной точке системы гомеровских идей.

Теперь их происхождение дает основание говорить об этом как со стороны отца, так и со стороны матери. Их отец - Солнце: божество, не такое, как Аполлон или Минерва,[604], локализованное, но находящееся в своем ежедневном пребывании (в нерабочее время) на востоке. Мать - Персе: и, я думаю, было показано достаточно относительно значения этого имени для ахейского разума[605], чтобы сделать совершенно очевидным, что, когда Гомер дает место жительства детям Персе, он намеревается, чтобы это было на востоке.

Теперь пришло время более непосредственно затронуть в обсуждении вопрос, вызывающий много споров, — ситуацию на острове Калипсо. Обычные способы решения, при которых оригинал этого снимка размещается на бруттийском побережье или на Мальте[606], неприемлемы как по духу, так и по букве. Ибо очень большая удаленность - самый существенный момент в описании, и приблизить его означало бы полностью изменить его характер. Требуется восемнадцать дней попутного ветра[607], чтобы добраться на плоту из Огигии в пределах видимости Схерии: в то время как даже расстояние от Крита до Египта, большее, чем от бруттийского побережья до Греции, можно было бы преодолеть, как думает Гомер, за пять[608]. Это средняя точка, или μῆκος, огромного морского простора: и Меркурий, проходящий туда с Олимпа, упоминает маршрут как тот, который пересекает огромное водное пространство без человеческих поселений между[610]. Опять же, имя Калипсо (καλύπτειν) полностью выводит ее за рамки греческого морского опыта: как и ее отношение к Атласу, который держит столпы, то есть стоит на границе земли и моря. Следовательно, первая и кардинальная точка, которую необходимо зафиксировать, - это его решительная, если не крайняя удаленность.

Далее, если он настолько удален, то в процессе истощения мы обнаруживаем, что он должен быть на севере. Насколько нам известно, Гомер узнал африканское побережье, разместив на

нем Лотофаги, и эфиопов в глубине страны от Востока до крайнего Запада. В том направлении больше нет *νιόαλασσα*, ни моря. И снова, как верно замечает Нитцш, Схерия находится на правильной линии возвращения домой в "Путешествии Улисса"[611]. Следовательно, он не может пройти мимо Итаки и даже приблизиться к ней по пути в Схерию: я добавляю, что он должен пройти к ней по Адриатическому морю по пути в Итаку.

Городище Огигия к востоку от Сев.

Теперь мы располагаем важным аргументом, почерпнутым, как и некоторые предыдущие, из того, что мы можем справедливо назвать опытом Гомера, и имеющим тенденцию определять местонахождение Огигии на севере или северо-востоке. Это происходит от маршрута, пройденного Меркурием, когда он передавал Калипсо послание Бессмертных, которое с другой точки зрения нам уже приходилось рассматривать[612]:

Πιερίην δ' ἐπιβὰς, ἐξ αἱ θέρος ἔμπεσε πόντῳ

Мы вынуждены предположить, как уже было замечено, что Меркурий, который не ходит, а летает, как птица, привыкшая охотиться на рыбу[613], должен двигаться по прямой к своему объекту. Но Пиерия - это район, простирающийся вдоль побережья Македонии; он начинается на юге, к востоку от Олимпа, а затем простирается прямо к северу от него. Его границы определяются по-разному[614]; но единственный вопрос об этом может заключаться в том, граничит ли он не с западом, а с востоком от Севера. Опять же, из маршрута Юноны в Четырнадцатой Илиаде[615], не может возникнуть никаких вопросов, кроме того, что могло бы привести к повороту Пиерии на восток.

Линия, проведенная от Олимпа над центром Пиерии, унесла бы Меркурий на Север. Она могла бы, в зависимости от условий пересечения Пиерии, немного отклоняться либо на восток, либо на запад от строго установленного Севера, но лишь немного. Следовательно, можно утверждать, что остров Калипсо, согласно намерению Гомера, находится на Севере, и не очень далеко от прямого направления на Север.

Этот вывод подтверждается двумя другими аргументами; оба из того класса, который я описал как законный, потому что они основаны на физических знаниях Гомера о направлении ветров.

После того, как шторм уничтожил корабль Улисса к югу от Тринакии, Нотус, ветер явно южного направления, снова относит его обратно к Сцилле, Од. xii. 426: и снова, миновав ее, он продолжает движение следующим образом[616]:

ἔνθεν δ' ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ

νῆσον ἐς Ὀυγίην πέλασαν θεοί.

Между этими двумя отрывками нет упоминания ни о какой перемене ветра, ни о каком-либо конкретном ветре. Следовательно, представляется рациональным предположить, что Гомер имел в виду, что мы должны понимать продолжение только что названного ветра, а именно Notus. Даже независимо от этого словосочетания, мы должны вернуться к общему правилу Странствий, которое заключается в том, что южные ветры уносят Улисса далеко от дома, в то время как северные возвращают его обратно.

Следовательно, естественное объяснение перехода состоит в том, что это был южный ветер, немного восточнее или западнее южного, не имеет большого значения, который продолжал дуть и который унес "Улисса" от Итаки к острову Калипсо. Это полностью соответствует отрывку, который описывает его как привязанного к ветру Эврусом и Нотусом в Тринакии; поскольку путь из дома, по-видимому, полностью противоположен пути к нему. Но, как будет сказано, это подразумевает, что он совершил вестинг по пути в Оигию из Ээи. Я отвечаю, что это, вероятно, так: ибо Цирцея описывается как непосредственно связанная с востоком, в то время как Калипсо находится далеко, как жалуется Меркурий, от всякой земли и жилья: так что, по-видимому, ее остров, по замыслу Гомера, находится как к западу, так и значительно к северу от Ээи. Но основное направление, взятое от Сциллы, - на север; и, поскольку Сцилла находится недалеко от $\tau\lambda\alpha\upsilon\kappa\tau\alpha\iota$, а $\tau\lambda\alpha\upsilon\kappa\tau\alpha\iota$ - это Босфор реальной природы, оно должно быть взято из точки недалеко от Босфора, вдоль воображаемого пространства расширенного и простирающегося на запад Эвксинского моря.

Таким образом, согласно этому аргументу, Оигия может находиться на линии, проведенной от горы Олимп в направлении, не очень широком в обе стороны от Санкт-Петербурга.

Мы также не совсем лишены средств измерения расстояния. Он плывет (от Сциллы) девять дней и прибывает на десятый. Теперь это именно то, что случилось с псевдо-Улиссом[617], который за тот же промежуток времени переместился из точки близ Крита в страну феспротийцев. Следовательно, мы можем определить, что Оигия находится (по замыслу Поэта) примерно на том же расстоянии от Сциллы, которое мы измеряем от юга Эпира до точки, расположенной недалеко, но не в поле зрения Крита. Но это вскользь.

Соответствующий аргумент взят из "путешествия Улисса домой" и звучит следующим образом:

Семнадцать дней Улисс плывет на плоту из Оигии в Схерию, и восемнадцатого числа плот грозит затонуть. Затем он всплывает с помощью пояса, который получил от Ино. До этого момента нет никаких положительных указаний на ветер; аргумент, основанный на связи между его курсом и звездами, я вскоре рассмотрю. Но после того, как он надевает пояс, и когда Нептун прекращает свое преследование, поскольку теперь он снова приближается к горизонту Внутреннего мира, свобода действий Минервы возрождается, и она посылает северный или северо-северо-восточный ветер, Борей, чтобы доставить его в Схерию.

Теперь у нас нет оснований предполагать, что Гомер хотел изобразить Улисса как меняющего свое общее направление в этот конкретный момент. Все указания Цирцеи относительно звезд указывают единственную прямую линию от Оигии до Схерии, и ни ветер, ни его курс не меняются до тех пор, пока он не увидит остров на далеком горизонте. Следовательно, естественный вывод состоит в том, что Борей, северный или Северо-восточный ветер, который в конце концов занес его сюда, был тем самым ветром, который перенес его с острова Калипсо по непрерывному и необозримому морскому пространству.

К настоящему времени мы, по-видимому, убедились, что Оигия находится значительно севернее и, вероятно, несколько западнее Сциллинского пролива. Мы получим дополнительный свет на местоположение этого острова, если сможем более точно определить положение Сциллы по отношению к тому, что лежало к югу, а также по отношению к тому, что лежало к северу от него.

Наши данные следующие:

1. Тринация, по-видимому, близка к Сцилле, поскольку достигает αὐτίκα (xii. 261).
2. Товарищи Улисса, когда они прибывают на остров и когда он пытается отговорить их от высадки, в ответ спрашивают, что с ними будет, если они отправятся в плавание ночью, а затем будут застигнуты шквалом Эвра или Зефира (284-93).
3. Корабль на месяц привязан к ветру в Тринасии Эврусом и Нотусом; что у Гомера может быть воспринято как ветры, которые охватывают весь горизонт от точки к северу от востока до западной четверти[618].
4. Когда они, наконец, отплыли, нам не сообщается, с каким ветром это было: но после того, как они скрылись из виду острова, небо потемнело, и начались неприятности[619];

αἶψα γὰρ ἦλθεν

κεκλήγυνε Ζέφυρος, μεγάλη σὺν λαίλαπι θύων·

и корабль разлетается на куски во время бури. Наконец Зефир утихает, и Нотус отбрасывает Улисса обратно на Сциллу.

5. Если Гомер намеревался поместить Тринакию у Босфора, то следующим пунктом, который должен был указать Улисс, были Дарданеллы.

Сцилла и Дарданеллы.

Следовательно, вопрос заключается в том, какой вывод мы можем сделать из имеющихся у нас свидетельств относительно положения Сциллы относительно Дарданелл? Я думаю, довольно ясный.

Сейчас перед нами по крайней мере два из этих утверждений, которые можно назвать экспериментальными. Гомер знал положение устья Дарданелл. Он знал природу ветра Нотус. И есть третье немаловажное свидетельство, которое мы можем здесь должным образом привлечь к рассмотрению. Мы видели, что в Ил. ii. 845 Гомер ограничивает или удерживает своих фракийцев (ἔντος ἑέρυσι) Геллеспонтом: а Геллеспонт у него означает все воды от Мраморного моря до северного Эгейского включительно. Теперь под этим он подразумевает только часть фракийцев, скажем, жителей Адрианопольской равнины. Следовательно, можно предположить, что он считал конфигурацию побережья на двух оконечностях Дарданелл чем-то вроде, по крайней мере, двух сторон квадрата, идущих на север и на Запад соответственно: ибо, если оно не образует части какой-либо отмеченной фигуры, оно не соответствовало бы его описанию включения определенного района, и эти слова стали бы применимы одинаково ко всей Фракии. Таким образом, по-видимому, Гомер считал, что северное побережье Мраморного моря простирается от своей западной точки к северу быстрее, чем это имеет место на самом деле.

Однако наиболее убедительным доказательством является то, что было названо ранее.

Когда разразился шторм, разбивший корабль вдребезги, "Улисс" находился на верном пути из Тринакии в Дарданеллы. Но если мы знаем точку, к которой он направлялся, по прямой линии от точки x, и если мы также знаем ветер, который перенес его обратно в точку x, то линия, на которой лежит сама точка x, также известна. Другими словами, поскольку Notus, или, скажем,

ветер S.S.W., унес его обратно на Сциллу, Сцилла лежит к северо-востоку от внутреннего устья Дарданелл: и неназванный ветер, который уносит его обратно на Сциллу, - это Notus, который мы вправе рассматривать как дующий (даже если Борей, его двойник, дует с северо-востока на восток) из любой точки между границей Эвруса на востоке от Юга и 45 или даже 90 градусами южнее на запад.

Таким образом, Эя находится на Востоке; с некоторым наклоном, если измерять от Греции, к северу. Улиссу предстоит совершить много путешествий, чтобы добраться до Схерии. Часть этого сделана во время его переходов между Эей и Огигией на дальнем севере. Остальное - в ходе его долгого семнадцатидневного путешествия с севера, которое, как представляется, продвигается Бореем и, следовательно, включает также небольшой наклон на запад.

Все эти аргументы сходятся к одним и тем же выводам, и все они в основном основаны не на представлениях Гомера о внешнем мире, а на указаниях, почерпнутых из его знаний о природе или же из его экспериментального или иного фамильярного знакомства с Внутренним миром: то есть они построены не на образах его фантазии, а на фактах его собственного повседневного опыта и опыта его соотечественников.

А теперь давайте рассмотрим неблагоприятное толкование текста "Одиссеи", особенно в отношении острова Эя.

Почему Эя не может лежать на северо-западе.

Из приведенных описаний маршрута в обе стороны совершенно ясно, что Гомер подразумевает, что устье океана находится недалеко от острова Эя; то есть в пределах дневного плавания^[620] от этого острова. Как это согласуется с доктриной, согласно которой остров находится на крайнем северо-западе? На северо-востоке у нас есть устье океана, положение которого Поэт, руководствуясь до определенного момента своим знанием внутреннего мира, представил себе не очень неточно. На северо-западе нет устья океана. Гибралтарский пролив, хотя он и лежит скорее к юго-западу от Итаки, должен быть перенесен далеко на север для этой цели; в какой форме или с какими дополнениями, трудно себе представить. Попытка такого переноса повлекла бы за собой полный отказ от всей реальной географии и, в конце концов, привела бы нас к безнадежной путанице в попытках построить какую-либо приемлемую схему на основе текста Гомера.

Конструкция Од. xii. 3, 4.

В отношении простого переноса, действительно, нам не нужно было бы слишком сомневаться, если бы мы могли оправдать этот процесс другими ясными указаниями на намерение Гомера. Но такого оправдания нет. Вряд ли возможно преувеличить насилие, совершенное над текстом Од. xii. 3, 4, интерпретацией, которую Ницш (следуя, как я признаю, Евстафию), придает ему. Корабль, покидающий океанское течение, достигает моря и острова^[621]:

νῆρόν τ' Αἰ αἶνν, ὅθι τ' Ἡῠς ἥριγενεῖης

οἱ κῖα καὶ χοροὶ εἰ σι, καὶ ἀντολαὶ Ἥλιου.

ἀντολαὶ , восход или точка восхода солнца, по его словам, означает не восток, а только первое появление солнца по возвращении из темноты, которое является для них своего рода рассветом. И жилище рано зародившейся Зари, и место (таково, по-видимому, значение слова

χοροί) Танцев ее родственниц или сопровождающих их нимф, которые в более поздней мифологии стали девственной чередой Часов, которые теперь восхищают нас на фресках Гвидо и Гверчино, не только не означают ничего восточного, но, по—видимому, в этом месте воспринимаются как лишенные всякого смысла и являющиеся праздным, на самом деле крайне неудобным и сбивающим с толку плеоназмом. И таким образом, волшебная поэзия этого отрывка и все любопытные традиции, с ним связанные, разрушаются, чтобы освободить место — для чего? Для гипотезы о том, что Гомер помещает обитель Утра и чертог восходящего Солнца далеко к западу от страны, которую он сам населял[622]!

Признаюсь, есть что-то почти *наивное* в признании Ницша, что ‘звучит довольно странно интерпретировать ἀνατολαί без какой-либо ссылки на восход солнца, поскольку это обычный аналог δῦσις, заката’. Но, к счастью, гомеровских свидетельств против этого нет, да и не может быть, поскольку это слово не встречается ни в одном другом отрывке. Что касается ἥλις, Нитч утверждает, что это означает не рассвет, а свет: и он цитирует отрывки, в которых говорится: "Твоя слава достигнет ἥλις" и "кони, лучшие, каких можно найти под Солнцем" и ἥλις. Конечно, наиболее допустимо (хотя я ни в коем случае не считаю значение рассвета недопустимым в этих двух отрывках), тем более что день нигде не наступает, кроме как перед рассветом, обобщить слово ἥλις, чтобы сделать его эквивалентным свету. Но фатальный изъян в интерпретации заключается в том, что, когда ἥλις используется таким образом, оно неизменно находится вне каких-либо обстоятельств, которые могут придать его значению местный колорит. Но везде, где подразумевается что-либо местное, как это признано в рассматриваемом нами случае, ἥλις неизменно означает восток, хотя, возможно, с некоторой неопределенностью в отношении наклона к северу и югу. Например, когда Гомер говорит о птицах-предзнаменованиях, летящих на восток, он описывает их как летящих πρὸς ἥῳ τ' ἥελίον τε, а противоположное движение - как πρὸς ζόφον, что здесь, очевидно, означает северо-запад, хотя это тоже может обозначать темноту в целом. Вся цель отрывка (Od. xii. 1-5) состоит в том, чтобы зафиксировать локальность; и в соответствии со всеми гомеровскими обычаями лишать ἥλις в таком отрывке местной силы, в то время как он, по общему признанию, не может иметь никакого местного значения, кроме восточного.

Признаюсь, мне кажется, что Гомер нигде не делал больше и редко так много в одном отрывке, как в этом, с целью заявить о своем намерении. Остров Ээа, независимо от всех географических аргументов, как мы видели, непосредственно связан с восточным участком четырьмя отдельными шнурами. Во-первых, как точка восхода Солнца. Во-вторых, как резиденция Зари. В-третьих, потому что Цирцея, его хозяйка, имеет своим отцом Солнце, самую восточную из всех мифологических концепций, за исключением Зари. В-четвертых, потому что у нее также есть Персея, чье имя указывает на трансфиникийское происхождение, в честь ее матери. И далее, я убежден, что мы не можем изменить положение Эеи, не выкорчевывая с корнем всю финикийскую схему Внешней Географии.

Размах, приданный таким образом приключениям Улисса, без сомнения, ограничивает их северным полукругом, но позволяет им достигать в пределах этого полукруга его восточной и западной оконечностей, как их представляет Поэт. Эол и лестригонцы, очевидно, помещены им на северо-западе. Гипотеза, которая здесь была поддержана для Эеи и Калипсо, обеспечивает эффективный аналог и должным образом заполняет восточный угол. Но, независимо от всех других возражений, северо-западная гипотеза для этих островов смешивает их, если можно так выразиться, в одну кучу с другими и оставляет восточную четверть к Северу совершенно

незанятой. И все же этот Восток был для грека источником и сценой богатейших легендарных и мифологических представлений.....Такой неуместный взгляд на вопрос, я думаю, совершенно не соответствовал бы обычным способам Гомера воспринимать, обрабатывать и представлять свои материалы.

Конструкция Од. v. 276, 7.

Но я отдаю себе отчет в том, что до сих пор мы упускали из виду отрывок, я свободно признаю, что преобладающая и пока наиболее очевидная интерпретация которого направлена против меня. Улисс плывет по морю из Огигии, искусно управляя рулем своего плота и наблюдая за звездами, особенно за Большой Медведицей; которая в то время, я полагаю, находилась ближе к Полюсу и была более заметным и великолепным астрономическим объектом, чем сейчас. Именно относительно этого созвездия он получил конкретный приказ от Калипсо[623]:

τὴν γὰρ δὴ μὴν ἄνωγε Καλυψὼ δῖα θεάων,

ποντοπορεύεμεναι ἐπ' ἀριστερά χειρὸς ἔχοντα.

Или, согласно общепринятому написанию слов, он должен был держать это созвездие слева во время своего путешествия. Но если бы его курс лежал в направлении прямой линии, проведенной от Санкт-Петербурга до Корфу, то, по-видимому, Арктус, будучи видимым для него, был бы виден справа, а не слева.

Однако я не мог приспособиться к этому отрывку такой ценой, как нарушение интерпретации общей схемы, которая так глубоко укоренилась как в букве, так и в духе поэмы, как восточная, а также несколько северо-восточная гипотеза для Ээи, вместе с северным местоположением Огигии. Можно заметить, что эти двое стоят вместе. Из времени, занимаемого несколькими этапами между Эей и Огигией, и из используемого языка, где точное время не указано, ясно, что Поэт считал расстояние между ними ограниченным, хотя и очень значительным. И действительно, северо-западная гипотеза для Ээи ничего не даст для процитированного мною отрывка, если только мы не перенесем Огигию на северо-запад, чтобы Улисс, возвращаясь оттуда домой, мог иметь Аркта слева от себя. Однако, поскольку признание общепринятого смысла строк вовлекло бы нас в новую серию самых сложных и безнадежных противоречий, мы должны искать облегчения в каком-то другом направлении.

О подлинности этого отрывка.

Я хочу, как правило, избегать опасной и соблазнительной практики ставить под сомнение подлинность текста, поскольку это, по-видимому, противоречит предпочтительному толкованию. Я могу, однако, указать, не полагаясь чрезмерно на них, одну или две подробности, которые, взятые из самого стихотворения, могут показать, что эти две строки не напрасно вызывают подозрения в интерполяции.

1. Эти две строки полностью лишены какой-либо необходимой связи с тем, что им предшествует и следует за ними, и без них текст будет полным. Мы не должны прерывать отрывок в целом, удаляя их. Этот аргумент, однако, является чисто негативным.

2. Эти строки говорят нам, что Калипсо приказала Улиссу держать Аркта слева от себя. Теперь Гомер передал нам речь Калипсо[624] на тему этого путешествия, в которой она обещает послать ему из-за спины легкий ветерок, который отнесет его домой. Но в этой речи нет

никакого приказа ему наблюдать за звездами; и обещание ветра в какой-то степени, хотя, возможно, и не совсем убедительно, показывает, что в таком предписании не было необходимости. Ибо ясно, что, если бы в открытом море дул попутный ветер, он нисколько не полагался на руль, и наблюдение за звездами не помогло бы ему. Однако я больше полагаюсь на то, что здесь присутствует своего рода лоскутное одеяло, очень непохожее на обычный метод Гомера, в том виде, в каком записано предписание. Очевидно, что если Калипсо указала направление по звездам, то подходящее место для этого было в речи, в которой она обратилась к Улиссу с тем, что можно назвать его общими инструкциями относительно путешествия. И я не уверен, можно ли найти другой пример во всех стихотворениях, где упущение чего-то важного в одной из речей восполняется повторением в последующем повествовании. Это полностью противоречит манере Гомера, который так единообразно облачает в речь и драматическую форму все, что поддается такому обращению.

3. Выражение ἔπ' ὀριστερὰ χειρὸς встречается больше нигде у Гомера, хотя ὀριστερὰ фраза ἔπ' происходит много раз.

4. Ни в "Странствиях", ни где-либо еще в поэмах нет другого отрывка, описывающего навигацию по звездам. В "Илиаде" мы имеем упоминание о звезде в связи с морскими путешествиями; но это просто как предзнаменование (ναῦτ' ἰσι τέρας, Ил. iv. 76). На этом, однако, если бы оно стояло отдельно, я бы не придавал особого значения; и следует также отметить, что это возражение, которое, если его принять, вытеснило бы восемь строк.

Вот и все о подлинности этого отрывка.

Что касается грамматического значения этой фразы, я попытался обсудить его в целом в отдельной статье; и показать, что ее реальный смысл на самом деле противоположен тому, который обычно предполагается. Я полагаю, это означает звезду, смотрящую *в направлении налево, и, следовательно, звезду, смотрящую с стороны* и расположенную по, ,, руку справа на небе.....

Однако ни в коем случае я не могу признать истинным смысл Гомера, заключающийся в том, что "Улисс" должен следовать курсом на юго-запад от Оигии до Схерии; поскольку это противоречит всем заслуживающим доверия, я должен добавить с согласия, указаниям на намерение Гомера во всей организации путешествия, а также в конкретном описании острова Цирцеи. Это также находится в противоречии с теми указаниями, почерпнутыми из его внутренней или экспериментальной географии, которые определяют в определенных точках ориентиры, применимые к Внешней или финикийской сфере.

Прежде чем приступить к изложению в общих чертах интерпретации, которую я осмеливаюсь дать маршруту Улисса, я хотел бы привлечь внимание к средствам, которые использовал Поэт, чтобы показать нам свои собственные сомнения и неуверенность относительно его действительного направления в нескольких важных пунктах.

С помощью боя ветра он указывает нам направление, но не расстояние до Лотофагов. Покинув их, он ничего не сообщает нам ни о расстоянии, ни о направлении между их страной и страной Циклопов. С этого момента он снабжает нас определенными пособиями, пока мы не достигнем Эолии. Находясь в Эолии, Улисс находится к северо-западу от Итаки, ибо, по его

словам, Зефир, дарованный Эолом, унес бы его домой. С этого острова он за шесть дней гребли доберется до Лестригонии. Следующий переход неопределенной длины переносит его в Эею; и, прибыв сюда, он совершенно не ориентируется; он не может сказать, где восток или запад[625], точка заката или точка рассвета, пока Цирцея должным образом не проинструктирует его: но он видит безграничное море (πόντος ἀπείριστος) со всех сторон от него.

Географические опасения Гомера.

Это выражение невежества, вложенное в уста Улисса, вероятно, передает истинный смысл Поэта; который, более или менее озадаченный даже своим собственным методом согласования финикийских отчетов и подозревая, что он может не выдержать проверки применимостью к реальной природе, оградил себя предвосхищением, дав нам понять, что он не имел в виду подчинять остров Цирцеи строгим правилам географического измерения.

И действительно, неудивительно, что он испытывал некоторую неуверенность, когда мы вспоминаем, что ему приходилось концентрировать в одной точке факты или традиции, которые охватывали восток, север и запад. Восточным его местом должно быть место восхода солнца и сопутствующих легенд: возможно, у него были опасения, что его Тринакия, а также другие традиции, материалы для которых ему пришлось обрабатывать, на самом деле лежат к западу от Греции: наконец, заметный северный элемент был задействован в общем направлении плавания через Босфор, который фактически является своего рода точкой пересечения двух первых. Таким образом, средство защиты состоит в том, чтобы повесить остров Цирцеи в неопределенном и темном отдалении, что дает ближайший практически осуществимый подход к освобождению от законов, налагаемых любой определенной конфигурацией земли.

И это не единственные случаи, когда Гомер дает нам понять, что ему самому не хватает ясного знания и уверенности в отношении сцен, через которые он провел своего героя. Напротив, он указал на туманность своих взглядов и ненадежность почвы, по которой ступал, воздержавшись в нескольких других случаях от точного определения конкретных ветров, которые благоприятствовали или противодействовали путешествию "Улисса", или конкретизации пройденных им расстояний.

Путь Улисса домой.

Теперь мы можем подойти к последней части нашей темы. Я надеюсь, мы установили различие между Внутренней и Внешней Географией; установили ключи внешней системы и определили ее руководящие пункты. Остается выяснить, каким, согласно установленным данным, Поэт намеревался видеть маршрут Улисса по поверхности своей идеальной карты; и затем, наконец, показать его связь с маршрутом Менелая и с общей концепцией Гомера о конфигурации и распределении поверхности земли.

I. Его первое место стоянки после выхода из Трои находится у Киконов во Фракии. Этот визит был совершен почти без отклонения от маршрута его возвращения домой, и поэтому он не относится к Внешней Географии. Сиконы из "Одиссеи", вероятно, были расположены недалеко от самой северной точки Эгейского моря (Од. ix. 39).

II. Из страны Сиконов он плывет на юг под сильным северо-северо-восточным штормом (Od. ix. 67), который длится три дня. Затем у него хорошая погода, пока он не доберется до мыса Малеа. Но, когда он огибает мыс Малеа, возвращается северо-северо-пасхальный ветер и гонит его вдоль западного побережья Китеры (ныне Кериги), а затем в открытое море (79-81). После девятидневного плавания с ὀλοοὶ ἄνεμοι он достигает земли Лотофагов (82-4). Теперь, поскольку потребовалось пять дней наилучшего возможного ветра, чтобы доплыть с Крита до Египта (Od. xiv. 253), мы, возможно, можем предположить, что за десять дней сменяющих друг друга штормов было пройдено примерно такое же расстояние в общем направлении юго-юго-восток, указанном нам Бореем в ст. 82. Это поместит Лотофаги на Большом Сирте, ныне заливе Сидра. Здесь начинается область мира чудес: и упоминание ὀλοοὶ ἄνεμοι вместо чистого Борея может быть воспринято как справедливое замечание Поэта о том, что он не имел точного представления о том, на какую часть африканского побережья должна была ступить нога Улисса.

Лотофаги полны египетских сходств: и похоже, что, поскольку Египет и Финикия были для Гомера двумя величайшими пограничными землями между реальным и воображаемым мирами, Улисс делает свой первый шаг во Внешний мир через квазиегипетский народ, а свой последний шаг из него - среди квазифиникийского народа.

III. Путешествие из страны лотофагов к следующему этапу, стране Циклопов, не имеет ни малейшего указания ни на расстояние, ни на направление (103-5). Но поскольку во Внешней сфере северные ветры всегда возвращаются домой, а южные уносят Улисса наружу, мы можем предположить, что Гомер здесь имел в виду какой-то южный ветер; хотя, поскольку на этом этапе он разрывает последнюю связь с известным миром, он не мог рискнуть указать что-либо похожее на точную стрелку компаса.

Должны ли мы поместить Циклопов Гомера в какую-либо точку *твердой земли*, или мы должны представить для них страну?

Традиция дает ответ на этот вопрос, обычно помещая их на Сицилию. Но неясная традиция, как мы видели, не имеет большого авторитета в отношении вопросов Гомера; и в данном случае, я думаю, можно показать, что она ошибочна по следующим причинам:

1. Страна Циклопов - это не остров: это материк (γαῖη Κυκλώπων, 106) с близлежащим островом, 105. Под выражением γαῖη Гомер иногда подразумевает большой остров, такой как Крит, но у нас нет оснований предполагать, что он применил бы это слово к Сицилии.

2. Едва ли можно сомневаться в том, что то небольшое, что Гомер, вероятно, знал о Сицилии, представлено нам его Тринацией. И все это сводится к двум пунктам: первый, что это был остров (Od. xii. 127); второй, что он был треугольным и получил свое название от своей формы. Но свою Тринацию он отдал быкам Солнца: и поэтому он, конечно, не имеет в виду, что это страна Циклопов, иначе он дал бы ей одно и то же название в обоих случаях. В самом деле, наоборот, он фактически дал еще одно имя к Земле циклопов: это εὐρύχορος Ὑτέρεια ОД. ви. 4. Я могу добавить, что эпитет εὐρύχορος, как правило, не применим к Сицилии, который направляется всем через горы и доли, и что нигде, за исключением разве между Сиракузой и Катанией, кажется, представляет собой большой шириной равнины.

3. Кроме того, Улисс преодолевает очень большие расстояния[626], чтобы достичь Эеи из Гиперей: но Тринация, с другой стороны, находится очень близко к Эее, так что он не восстановил пройденное расстояние и, следовательно, не может быть на Сицилии.

Где же тогда находились эти Циклопы, в страну которых пришел Улисс после того, как покинул Лотофагов? Ясно, что их не было в греческом морском мире, иначе Гомер, мы можем быть уверены, указал бы их местоположение по времени плавания или по той стороне, откуда дул ветер, чтобы отнести его туда.

Я утверждаю, что Гомер намеревался поместить Циклопов в Япигию, пятую точку Италии; регион, почти соответствующий положению Схерии на востоке, на западе Ионического моря. Эта гипотеза согласуется со всеми доказательствами по делу и вполне может основываться только на этом. Но это, я думаю, также подтверждается отдельным аргументом из "миграции феаков"[627].

Феаки, произошедшие подобно Циклопам с Нептуна, были недавними обитателями Схерии; прежде они обитали рядом с Циклопами в Гиперее и были вытеснены оттуда насилием своих жестоких соседей. Они переселились при Навситосе и поселились в Схерии.

Они принадлежали к расе, у которой не было кораблей, чтобы следовать за ними. Если бы Гиперей, в которой они жили, была Япигией, любое место в районе Схерии или рядом с ней было бы для них естественным убежищем. Но если бы они были на Сицилии, Гомер, по всей вероятности, не перенес бы их за пределы соседнего побережья Италии, что обеспечило бы им желаемую безопасность.

IV. Из Япигии или Гиперей, страны Циклопов, Улисс совершает свой двойной визит в Эолию. В первую очередь (Od. ix. 565. x. 1.) нам не помогают никакие указания на ветер или расстояние. Не будет несправедливым предположить, что Стромболи с его действующим вулканом был прототипом этого порывистого острова. Но, как и в других местах, он находится не на месте своего прототипа. Ибо Эол дает Улиссу Зефир, или северо-западный ветер, который унес бы его домой, если бы не глупость его товарищей (Od. x. 25, 46). Таким образом, Эолия Гомера должна соответствовать этим двум условиям:

1. Он должен находиться к северо-западу от Итаки.
2. Между ними должно быть непрерывное открытое море; и еще одно, не прерываемое сушей, чтобы один и тот же ветер мог нести корабль на всем пути.

Чтобы выполнить эти условия, нам нужно только переместить Эолию на север. Ибо северная часть Италии не существует во Внешней Географии. Он сметен вместе с огромной массой европейского континента, $\iota\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ покрывает все.

После вскрытия мешка (x. 48, 54) корабль отбрасывается назад $\epsilon\epsilon\lambda\lambda\alpha$ к Эолии. Но здесь мы получили еще одно ценное указание. Они наслаждались Зефиром целых девять дней, и на десятый день им уже было видно дом (ст. 28, 9), когда было совершено безумие. Следовательно, Эолия находится на расстоянии от девяти до десяти дней плавания к северо-западу от Итаки; или, с учетом расстояния до горизонта в пятьдесят миль, между ними будет около тысячи миль.

V. Пятая стадия - Лестригония, и достигается она после семи дней гребли (х. 80). В путешествии нет указаний на направление, но у нас есть достоверное доказательство того, что прототип этого места находился далеко на севере, а именно, что здесь царит вечный день.

ποιμένα ποιῆν

ἥπυει εἰ σελάων, ὃ δέ τ' ἐξελάων ὑπακούει.

Я думаю, не подлежит сомнению, что Гомер получил информацию о регионе, демонстрирующем эту природную особенность, от финикийских мореплавателей, которые проникли в Германский океан к северу от Британских островов. Таким образом, его цепкий ум сделал раннюю запись этого, наряду со многими другими необычными сообщениями, большая часть из которых была подтверждена.

Есть еще одно доказательство того, что мы находимся здесь почти, или, скорее, совсем рядом, на самом дальнем расстоянии, которого когда-либо достигал Улисс. Что касается соединенных расстояний (1) от Итаки до Эолии в пределах видимости и (2) от Эолии до Лестригонии, то они составляют семнадцать дней, столько же занимает путешествие на гораздо более медленном судне из Огигии в Схерию.

Согласно принятым правилам расчета, будет установлено, что мы можем поместить Лестригонию примерно в семнадцати сотнях миль от Япигии. Если мы предположим, что под именем Артасиа, данным фонтану в Лестригонии, он имеет в виду намек на место с таким названием на Эвксинском полуострове, я воспринимаю это как новый признак его неясного распространения этого моря на запад.

Название Лестригония, по-видимому, относится к городу, а не к стране. Это τηλέπουλος, а также Λάμρου αἶ πὺ πτολίεθρον. Гомер избегает называть это сушей (γαῖη) или островом (νῆσος). Первым термином он иногда обозначает большие острова, а также части континента. Эпитет αἶ πὺ указывает на крутой и скалистый участок, но его нежелание называть его континентом или островом, по-видимому, показывает, что он сам сомневался в этом вопросе. Черта вечного дня, однако, наиболее недвусмысленно свидетельствует о *добросовестности* традиции, на которой основывается Поэт, и о широте, откуда она пришла: и кажется далеко не невероятным, что Исландия могла быть смутно воспринимаемой прародиной Лестригонии, местоположение которой в "Одиссее" находится недалеко от фактического местоположения Дании.

VI. Шестая стадия - Ээа. Достичь ее можно было только долгим переходом из Лестригонии. Поэт не рискнул определить его масштабы или направление. Но он оставляет себе достаточный запас, заявляя устами Улисса, что по прибытии он ничего не знал о широте или долготе (Od. х. 190-2): и он довольствуется установлением его неподвижно вблизи точки восхода солнца, хотя и с большой расплывчатостью представления (Od. х. 135-9; xii. 1-4).

Действительно, существует некое словесное противоречие между заявлением Улисса в Од. х. о том, что он, находясь тогда в Ээе, не знал, где искать восход или закат солнца, и его повествованием в xii. 3, 4, где он так прямо связывает остров со страной восхода солнца. Но он оставался там целый год в дружеской компании с Цирцеей (х. 466-9), и она проинструктировала

его относительно своих передвижений, так что мы можем, я полагаю, справедливо считать, что за это время он узнал то, что при первом прибытии показалось ему странным.

Направление от Лестригонии к Ээе *на первый взгляд* предположительно, но на самом деле это не так, поскольку Лестригония определяется временем и ветрами с Гиперэи; а Ээа практически определяется ее локальными связями с устьем океана, Тринацией и Босфором.

Эвксинский архипелаг не изобилует островами, подобными тем, которые мы могли бы приписать Цирцее и Сиренам: ибо маловероятно, что такая скала, как Остров Змей, которая недавно приобрела кратковременную известность, была замечена особенно во время мореплавания героической эпохи. Гораздо более вероятно, что Гомер привез свои острова для Эвксинского архипелага из материалов, предоставленных его западными традициями. Однако мы можем обоснованно предположить, что Гомер намеревался поместить Эею на восточной оконечности Эвксинского полуострова, возможно, недалеко от Эетской Колхиды; и в этом районе я рискну указать три острова, отдаленно соответствующие Балеарам, которые, возможно, были перенесены в эти окрестности вместе с другими преданиями о западном устье океана.

(1) Отсюда, по указанию Цирцеи, они плывут в течение одного дня с попутным бризом к устью океана, недалеко от той обители киммерийцев, которая окутана вечным туманом и ночью (Od. xi. 1-19). Цирцея пообещала им помощь Борея, когда Улисс, встревоженный необычным путешествием, которое ему предстояло совершить, спросил, кто будет его проводником. Следовательно, я делаю вывод, что Борей должен был взорваться не до, а после того, как они войдут в устье океана, и должен был унести их вверх по течению. Прежде чем добраться до него, мы можем предположить, что, как обычно, направляясь наружу, он плыл с попутным ветром с какой-нибудь южной стороны.

(2) В реке-океане они вытаскивают свое судно на сушу и продвигаются по суше вверх по течению к устью Теней, или подземного мира (Od. xi. 20-2).

(3) Из устья Шейдов они возвращаются на свой корабль и на нем спускаются (κατὰ) по океанскому течению к острову Эан. Они плывут сначала на веслах, а затем при попутном бризе, направление которого не указано (Od. xi. 638-40; xii. 1-3: также xxiii. 322-5.)

VII. Σεῖρήνων νῆρος. До этого острова можно добраться с помощью κρηνοῦς οὔρου; квартал не назван, как и расстояние, но, судя по срокам прохождения, оно было очень коротким. (Od. xii. 149-54, 165-7; также 39 и xxiii. 326.)

VIII. Избегая πλαῦκταῖ, герой проходит между Сциллой и Харибдой к Тринакии, острову Солнца. Пролив достигается сразу же, αὐτίκα (Od. xii. 201), после выхода с острова, и аналогичным образом достигается Тринаси (αὐτίκα, ст. 261) после выхода из пролива (Od. xi. 106, 7; xii. 262; xxiii. 327-9. Последний отрывок, по-видимому, помещает πλαῦκταῖ и отрывок о Сцилле близко друг к другу, поскольку в нем говорится, что он пришел к ним обоим, хотя прошел только через Сциллу).

В Тринации его задерживает Нотус, дующий целый месяц, и полное отсутствие какого-либо ветра, кроме Нотуса и Эвруса. Общим для этих ветров является то, что они дуют в основном в южном полушарии. Также из этой части Четвертой книги может показаться, что Борей, очевидно, был ветром, который понадобился Улиссу, чтобы помочь ему продвигаться вперед по

пути домой, а не Зефир: ибо именно последний ветер подхватил их, когда они уже были в пути, и вызвал ураган, в результате которого корабль разлетелся на куски (Od. xii. 408).

Соответственно, поскольку Босфор географически фиксирован, я помещаю Тринацию рядом с ним, а Сциллу - рядом с Тринацией.

Следует заметить, что, если принять во внимание слишком сильное отклонение северного побережья Пропонтиды к северу, устье Сциллы окажется в точке, откуда северо-восточный ветер занес бы Улисса в Дарданеллы и, таким образом, кратчайшим путем поставил бы его у самых ворот Эгея и на известном пути к его дому.

Крым в такой степени напоминает остров, и его юго-восточная сторона кажется такой восхитительной как по пейзажу, так и по климату, в то время как его близость к океанскому устью реки Одиссей настолько подходит, что у нас может возникнуть соблазн рассматривать его как обитель Сирен. Но он слишком велик для одного из νῆσοι Гомера. Вероятно, также, остров Сирен должен лежать на прямом пути из Ээа к проливам.

IX. Когда остров находится вне поля зрения (403), корабль сталкивается с сильным Ζέφυρος и затонувшим судном. Улисс держится на паре лонжеронов (424). В одну ночь объявления его заносы при прохождении Сциллой и Харибдой, который он пересекает в безопасности (427-30, 442-6), а затем перемещается на, Видимо, с тем же ветром, он достигает, в десятый день, на острове Калипсо, Ὀυυίη νῆσος (XII. 447, 8; XXIII. 333), который является ὄμφαλος или центральной точки θάλασσα (ОД. я. 50): то есть что, как почти строго на север от Греции, не только задуман, чтобы быть одинаково удалены от предполагаемого Восточный и западный океан, а также, если не равноудалены, но очень дальних, во всех точках от основной земли.

X. Следующая стадия Оигии - Схерия, Σχέρην (Od. vi. 8), или γαίη Φαιήκων (Od. v. 345). Покидая Оигию на своем плоту (ст. 263 и далее), он держит Арктоса справа от себя и смотрит по левую руку, пока на восемнадцатый день (ст. 278) он не появляется в поле зрения Схерии. Нептун, восходящий из среды эфиопов, различает его издалека, с Солиманских гор (282). Поднимается шторм, и плот подбрасывает ураганом всех ветров (293 и 331, 2). Наконец все начинается (370): Минерва посылает бойкого Борея, и герой плывет в Схерию, прибывая на третий день (382-98). Гомер дает Схерии название Ἰπτεῖρος (Od. v. 348, 50); и не совсем ясно, рассматривал ли он ее как остров. В то же время, термин Ἰπτεῖρος может означать берегу: и слово γαίη могут быть использованы, как ἐστὶν τὴν Κρήτην γαί', на острове, если он считается необычайной величины.

XI. Ἴθ᾽ Ἀκτῇ. Живой корабль феаков отплывает несколько раньше обычного, после соответствующих ритуалов; товары были уложены на рассвете (Od. xiii. 18 и далее). Ветер не называется; но со скоростью, превышающей скорость ястреба, судно, приводимое в движение веслами, достигает Итаки до следующего рассвета. Od. xiii. 78, 86, 93-5.

Направления и расстояния от Ээа.

Однако нам еще предстоит обдумать направления и расстояния тура, начиная с Ээа, по дороге домой.

Гомер явно намеревается описать очень короткие переходы, сначала к острову Сирен, затем от этого острова к Сцилле, а затем от Сциллы к высадке на побережье Тринакии. Они не

определены, но они никоим образом не соответствуют очень значительному протяжению Эвксинского моря на восток от Босфора.

Уже отмечалось, что Гомер сокращает восточную оконечность Средиземного моря и переносит Египет почти к югу от Крита; и что это часть системы сжатия, которая сокращает все расстояния его Внешней географии к востоку от Ликий. Теперь мы подошли к другому примеру воплощения этой идеи в его сознании: поместив Эю и Сирен так близко к Босфору, он явно ограничивает обращенный к востоку Эвксинский полуостров, как и обращенное к востоку Средиземное море.

Десять дней плавания к северу от Сциллы дадут нам расстояние почти в пятьсот миль в этом направлении, вплоть до точки, где мы должны зафиксировать остров Калипсо.

Но от Огигии до пределов видимости Схерии "Улисс" требуется восемнадцать дней плавания на плоту, что дает нам на все расстояние шестьдесят миль *в сутки*, с учетом пятидесяти миль, как расстояния, с которого стала видна Итака, около тысячи ста тридцати миль. Мы также должны рассмотреть следующий вопрос: как далеко следует размещать Схерию от Итаки. Мы должны считать, что время, затраченное кораблем, подобным ястребу, составляет не менее шестнадцати часов; и мы не можем считать расстояние меньше ста восьмидесяти или девяноста миль. Таким образом, Огигия должна находиться на расстоянии полных тысячи трехсот миль от Итаки. Лестригония, как мы выяснили, находится почти в тысяче семистах милях от Итаки. И местоположение Огигии будет находиться в точке, которая находится одновременно на расстоянии пятисот миль от гомеровской или перенесенной Сциллы и в тысяче ста тридцати милях от гомеровской Схерии. Я думаю, что эта точка будет находиться немного западнее настоящего места расположения Киева.

Фактическое расстояние от Итаки до средней точки Корфу может составлять около восьмидесяти миль. Говорят, что Корфу по своим природным особенностям напоминает Схерию Гомера. Но если допустить это, мы должны переместить расположение острова в направлении Далмации более чем вдвое на его реальное расстояние от Итаки, чтобы удовлетворить условиям фазосского путешествия. Тогда мы будем близки к точке, где мы сможем, в соответствии со всеми представлениями Гомера, отрезать греческий полуостров и заменить северную сушу обширными пространствами его моря.

Определенный таким образом остров Калипсо в значительной степени удовлетворит условиям $\mu\phi\alpha\lambda\omicron\varsigma\ \theta\alpha\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\eta\varsigma$. Это может быть почти равноудалено от Эеи и киммерийской страны на юго-востоке, от Сциллы на юге и от возможного расширения киммерийской страны на север. По направлению к Эолии и Лестригонии на западе расстояния действительно будут больше; но, как и среди очень больших расстояний, Гомер, естественно, может оказаться не в состоянии точно измерить малые.

Сравнение путешествий Менелая и Улисса.

Итак, мы привели Улисса домой; а теперь давайте продолжим исследовать неразвитую, но все же довольно любопытную связь между путешествиями двух вождей, Улисса и Менелая.

Читатели Данте, вероятно, помнят, с какой сложной точностью он, как поэтический Архитектор, фактически, для целей своего творчества построил Вселенную Ада, Чистилища и Рая. Каждая строка его стихотворения имеет определенное отношение к определенной точке в пространстве, зафиксированной в его собственном сознании; но независимо от того, зафиксирована каждая такая точка в природе или нет, это не более существенно, чем если бы это была просто точка, определяемая осями координат. Каким бы запутанным ни было полотно, этот великий брат Гомера в своем искусстве ни на мгновение не выпускает из рук нить своего лабиринта, но неуклонно держит ее от начала первой песни до конца сотой. Гомеру, сочинявшему для более молодого мира, приходилось облекать все идеи в более простые формы; но, я думаю, очевидно, что по-своему он тоже систематизировал Внешний Мир так, как он довольно смутно представлял его в своем богатом воображении.

Из-за сравнительно краткого изложения темы Поэтом мы склонны забывать, что путешествия Менелая занимают почти столько же времени, сколько путешествия Улисса. Он лишь недавно вернулся, сообщает Нестор Телемаху, в последний год странствий своего отца[628]: а сам Менелай утверждает, что вернулся домой только на восьмой год после взятия Трои[629]. И как с точки зрения времени, так и географически они находятся в соответствии. Гомер в общих чертах описал Менелая южный мир с востока на запад, а Улиссу - подробно северный мир с запада на восток. Это правда, что он заставил Улисса начать свои так называемые Странствия с Лотофагов в Африке: но это потому, что было необходимо отбросить его в Малюю каким-то значительным и непоправимым отклонением от его пути на Итаку. Итак, Менелай сбивается с курса в той же самой критической точке, у Малейского мыса[630]. Затем они расходятся к противоположным концам диаметра: Менелай - на Крит, к Кипру, Финикии и Египту на юго-востоке; Улисс - в Африку, к Циклопам, Эолии и Лестригонии, на северо-запад. И снова Менелай посещает Ливию на западе, где, как мы помним, он должен найти свой дом после смерти на Елисейских полях. Аналогом этого является движение Улисса на восток вдоль северной зоны к острову Цирцеи и его визит к Теням. Опять же, это Финикия, которая на юго-востоке образует своего рода пограничную линию между известным и неизвестным миром. Соответственно, Гомер дал нам идеализированную Финикию на северо-западной линии. Возможно, лишь частичное, но все же совершенно реальное сходство характеров устанавливает поэтическую связь между φοίνικες и φαίηκες. Другие черты феакийского характера, по-видимому, были заимствованы у египтян. Я думаю, никто не может усомниться в том, что Гомер в какой-то степени имел в виду финикийцев, когда придумывал феаков. Но он дал нам еще один этимологический признак этой связи. Значение φοίνικες находится в очевидной связи с Συρίη[631]. Кто, кроме них, мог дать такое название острову, где родился Эвмей? остров, с которым, как мы видим, они были в сношениях по двоякому признаку; первый - финикийский раб, привезенный туда тафианами; и второй - Эвмей мальчиком, увезенный оттуда финикийцами, которые посетили его с грузом ценных товаров. Острову Υρίη, лежащий к северо-западу от Хиоса, вероятно, получил свое название из того же источника: если не также σκῦρος, искаженное от σιυρός. Конечно, то, как Φαίηκες от Φοίνικες, так что Гомер сделал Σχηρίη от Συρίη. Всегда следует помнить, что Схерия для Гомера, как и Финикия, является приморской страной. Он нигде не называется островом; из чего мы знаем, что Гомер либо верил, что он присоединен к континенту, либо образует, подобно Криту[632], континент сам по себе.

Под эремби Менелая обычно понимают арабов. Этиопы, которых он также посещает, простираются от крайнего востока до самого дальнего запада от поверхности земли; и у них, возможно, может быть аналог у киммерийцев на севере. В той же зоне, что и Этиопы, на южной

границе океана, отрывок из "Илиады" помещает ἄνδρες Πυυμῶντι[633]. Геродот поддерживает Гомера в этом, как и в большинстве других подробностей. Исследования новейших путешественников подтверждают утверждение этих двух древних этнологов Греции, что во внутренних районах Африки, куда можно добраться из Египта, обитают карликовые расы.

Таким образом, в целом может показаться, что путешествие Менелая вместе с путешествиями Улисса, включая в первом его последний переход в Элизиум, охватывают всю поверхность земли, такой, какой ее представлял Гомер. Это, однако, может быть воспринято только в общих чертах и мало что говорит нам о том, что Гомер думал о действительной форме земной поверхности, в то время как оставляет нетронутыми различные вопросы, касающиеся ее распределения в деталях. С некоторыми из них давайте теперь попытаемся разобраться.

И, во-первых, каковы были представления Гомера о форме земли?

Земля Гомера, вероятно, овальной формы.

Отрывок из стихотворений, который наиболее непосредственно имеет отношение к решению этого вопроса, - это описание Щита Ахилла. Здесь мы узнаем, что, заканчивая свою работу, Вулкан дал ей великую реку Океан в качестве границы[634]. Из этого окончательно следует, что форма Щита была такой, которую Гомер также считал наиболее близкой к форме поверхности Земли.

Тогда возникает вопрос, какой формы были Щиты, описанные Гомером? И ответить на него непросто. Гомер сравнивает свет этого самого Щита Ахиллеса в последующем отрывке со светом луны[635]: но он не говорит о полной луне, а луна в определенные стадии может иметь овальную форму, хотя в полнолуние она требует круглой формы. Эпитеты, которые он использует, не решают вопроса, поскольку некоторые из них, по-видимому, лучше согласуются с одним предположением, а некоторые - с другим. ὅστις ἀμφιβότῃ, например, в Il. xi. 32, предполагает форму, в значительной степени адаптированную к человеческой форме. ποδὴν ἐκῆς из Il. xv. 646, по-видимому, абсолютно требует этого. Никакой круглый щит, доходивший до ног, нельзя было носить на руке. Но, с другой стороны, Гомер называет щит εὐκυκλός[636] и παντόσε ἴση, что, безусловно, на первый взгляд, благоприятствует идее круглой формы. Должны ли мы тогда предположить, что преобладали обе формы? И если да, то какую из двух мы должны отнести к Щиту Ахиллеса?

Похоже, что в военной системе исторической Греции преобладал главным образом круглый щит; но что касается времен Гомера, я не могу не склониться к предположению, что Щит был овальным. Ибо я не знаю никаких явных свидетельств относительно его примитивной формы, которые могли бы сравниться со строками Тиртея[637]:

μήρους τε, κνήμας τε κάτῳ, καὶ στέρνα, καὶ ὤμους

ἀσπίδος εὐρείης γαστρὶ καλυψάμενος.

Другим убедительным свидетельством того же эффекта является древний обычай носить мертвого воина на его щите, откуда произошла старая формула спартанских матерей: ἦ τὰν, ἦ ἐπὶ τὰν; Принеси это или будешь принесен на нем[638].

Что касается гомеровских эпитетов, то невозможно согласовать те, которые отдают предпочтение продолговатой форме, с конкурирующим значением: но παντόσε ἴση может

применяться к любой правильной фигуре, а εὔκυκλος вряд ли является натянутым, если мы понимаем под ним овал довольно правильной формы.

В определенной степени на это указывает естественная форма шкур животных; их носили в виде плащей, спускающихся до пят, и они должны были иметь правильную продолговатую форму[639]. Опять же, в выражении σάκος σακέϊ προθελύμνυ[640] Я понимаю, что эпитет означает, что щиты были положены на землю перед их носителями. Общее для него значение в трех местах, где Гомер его использует, по-видимому, 'из земли' или 'от основания'.

Было бы неудовлетворительно предположить, что преобладали две формы, но Гомер смешал их, хотя и разные; и в целом, возможно, нам лучше всего рассматривать σάκος как овал.

Отсюда следует, что такова была, по оценке Гомера, форма мира. И эта интерпретация согласуется с другими гомеровскими указаниями на этот предмет.

Я думаю, мы должны согласиться с тем, что Гомер предполагал нечто вроде равного расширения земли к северу и югу от Греции. Но независимо от того, судим ли мы по описаниям "Одиссеи" или по общим указаниям поэм, я думаю, у нас нет никаких признаков соответствующего расширения ни на восток, ни на запад. Полеты перелетных птиц и преобладающие ветры, очевидно, дуют с полюсов или из близлежащих к ним районов. Единственными значительными положительными изменениями расстояния в "Одиссее" являются изменения в направлении к Лестригонии и Огии, обе из которых лежат на севере; последняя, как Ὀμφαλος, с морем, простирающимся далеко за ее пределами. Все также указывает на то, что Восточный океан, по мнению Гомера, находился на не большом расстоянии; и я полагаю, нам следует рассматривать Западный океан как находящийся на его карте примерно на таком же расстоянии от Греции. Теперь овальная фигура даст нам то, чего мы, по-видимому, хотим, а именно меньший диаметр земли с востока на запад, чем диаметр с севера на юг. Некоторые другие детали доказательств появятся по мере того, как мы продолжим.

Точки соприкосновения с Океаном.

В соответствии со своим заявлением о том, что земля окружена Океаном-Рекой, он как бы реализует свою веру в это, приводя нам примеры фактического контакта с этим в очень многих точках компаса. Таким образом, пигмеи на Юге посещают журавли по пути к Южному океану[641]. Боги пируют с эфиопами на берегу океана, и это должно быть в Юго-Восточной Азии, поскольку Нептун берет горы Солиман (которые находятся в непосредственной связи с Ликией, точкой внутреннего мира) на обратном пути к *Талассе*[642]. Улисс посещает Океан, как мы уже видели, на Востоке. Большая Медведица спасается, ныряя в свои воды на Севере[643]. Менелаю суждено попасть на Елисейскую равнину у океана, в точку, откуда дует Зефир, следовательно, между Западом и Севером[644].

Каспийское море и Персидский залив.

Эта благородная концепция великой полноводной реки, несомненно, была основана на сообщениях о двух классах, дошедших до Гомера. Одним из классов были бы сообщения о потоках, впадающих из какого-то большого внешнего водоема в *Талассу* и, по-видимому, питающих ее. Другой класс мог бы быть сформирован сообщениями о водах за пределами *Талассы* и, как известно, не сообщающихся с ней, которые Гомер сразу же совершенно

естественно причислил бы к частям своего великого, охватывающего весь мир Потока. С первым классом мы уже в основном имели дело, когда ругали устье океана. Ко второму классу финские моряки могли бы добавить отчеты об Атлантическом и Германском океанах. И особенно на востоке, я думаю, мы не можем сомневаться в том, что наряду со слухами и традициями арабов, эфиопов, персов и киммерийцев Гомер не мог не слышать других смутных слухов о водах, а также о землях; о водах за пределами его *Талассы* (которая включала Средиземное море и Эвксинский залив), двумя из которых, несомненно, были Каспийское море и Персидский залив. На этих двух я хотел бы заострить внимание; и действительно, единственной другой водой, о которой он, вероятно, слышал, было Красное море. Теперь на любой карте будет видно, 1. что Каспий лежит к северу и югу; 2. что линия, протянутая от северной до южной части Каспия, упрется в Персидский залив. В связи с этим позвольте читателю понаблюдать за ходом "Улисса". Покидая Эвксин в устье океана, или Еникальский пролив, он поворачивает направо у Азовского моря, расширяясь так, что впадает в Каспий. В промежутке между ними все еще есть низкая соляная долина, которая, возможно, во времена Гомера была водным путем[645]. Таким образом, он в состоянии двигаться на юг, к жилищу Персефоны, которое я уже привел некоторые основания для размещения на востоке и юге. Итак, обеспечение ветра, которое Гомер предоставил своему герою, - это именно то, чего требует эта гипотеза[646]:

τῆν δὲ κέ τοι πνοίῃ Βορέας φέρῃσιν.

Другими словами, из употребления Гомером Борея в этом месте следует, что он имел в виду описать течение своего Океанского потока в этой части как с юга на север или около того; и это линия, фактически образованная соединением Персидского залива и Каспийского моря, которые, я полагаю, мы можем соответственно с полным основанием рассматривать как подлинные фрагменты географии, включенные в его сказочную концепцию Океанского потока.

Действительно, следует предположить, что туманные описания этих двух вод, которые, вероятно, дошли до Гомера, не включали обязательного элемента течения. То же самое замечание, однако, применимо ко всему, что он, возможно, слышал о Немецком или Атлантическом океанах. Но, имея дело с этими призрачными расстояниями, его вывод был бы вполне оправдан, без средств полной идентификации, если бы он слышал о каких-либо водах, положение которых совпадает с положением его идеального океана, способных легко сообщаться с его устьем и, прежде всего, независимых от *Талассы*.

Одно слово, прежде чем мы окончательно оставим тему зачарованной реки; чтобы завершить цепочку связей между Персефой Гомера и водами Персидского залива в виде части океана в том месте на берегу, которое так хорошо уравнивает Елисейскую равнину на западе.

Я уже пытался использовать имена Персей, Перс и Персефона как свидетельства, которые относят персов к восточной оконечности идеального мира Гомера и которые связывают греческую расу с персидским происхождением. Но здесь мы сталкиваемся с географической особенностью, которая заслуживает дальнейшего рассмотрения. Рощи Персефоны находятся на берегу океана, на востоке и к югу от места восхода солнца. Каково значение этих рощ? Неизменные аналогии значений вынуждают нас понимать их как символы и места определенного организованного поклонения, которое совершалось Персефоне. Но если оплачено, то кем? Конечно, не народами мертвых, ибо место, где были эти рощи, находилось не в пределах царства богини, а на берегу Океана. Улисс тоже должен был привести туда свой

корабль и только потом войти в обитель царя Айдоinea. Из этого, по-видимому, следует, что Поэт хотел, чтобы мы понимали это как место, где Персефоне обычно поклонялась часть человеческой расы, которой могли быть только его персы или эфиопы. Я не говорю, что в его сознании эти два понятия были резко разделены; но здесь раса, на которую он в основном указывает, по-видимому, персидская[647].

Существуют даже этимологические знаки, независимые от Гомера, которые углубляют связь между Востоком и Подземным миром. Некоторые авторы сравнивали название Киммерия с арабским словом *kahm*, черным, и с *pa*, знаком наклонного падежа в персидском языке: Меотис с еврейским Maweth, означающим смерть: и рассматривали древний Тартар как эквивалент современной Татарии и образованный путем удвоения слова Тар в тарике, персидском слове, обозначающем темноту[648].

Сжатие гомеровского Востока.

Далее позвольте мне закончить тем, что относится к сжатию гомеровского Востока.

Опыт Гомера не снабдил его ни одним примером большого пространства суши, но детали и конфигурация стран, с которыми он был знаком, были мельчайшими. Вероятно, именно по этой причине он с такой готовностью предположил существование того моря к северу от Фракии, в которое он поместил приключения Улисса. К этому морю, как мы видим из сроков давности, которые он присвоил отрывкам "Улисса", он присоединял свои идеи и эпитеты для обозначения необъятности; эпитеты, которыми он никогда не наделял участки суши; и идеи, которые, несомненно, действительно составляли заметную черту финикийских отчетов, которые, должно быть, снабдили его материалом. Действуя по тому же принципу, он, по-видимому, значительно сокращает ареал распространения Малой Азии на восток. Через посредство Солими (Ил. vi. 184, 204) он, по-видимому, приближает Солиманские горы к Ликий. Цепь, ныне носящая это название, окаймляет правый берег Инда; но вполне вероятно, что Гомер отождествил или, скорее, перепутал их с великой цепью Кавказа между Эвксинским и Каспийским морями и с соединяющимся с ней Тавром, граничащим с Ликией: ибо, с одной стороны, мы не можем не связать их с солими, воинственными соседями ликийцев; а с другой, поскольку Нептун с этих гор видит Улисса, возвращающегося домой из Огигии, из этого следует, что они должны были быть придуманы Гомером. чтобы иметь ясный вид на Эвксинский залив и его продолжение на запад. Таким образом, он сразу сближает Египет с Критом (помогая нам объяснить Борею из Od. xiv. 253), а Финикию - с Ликией: и, по всей вероятности, непосредственно за Финикией, как он предполагал, лежит страна персов *Ἰλλυρία περσεφονείης* (Od. x. 507), на берегу той восточной части Океана, для которой сообщения как о Каспийском, так и о Красном море, вероятно, как мы видели, сформировали части его материалов. Таким образом, мы находим множество разнообразных свидетельств, сходящихся в поддержку гипотезы о том, что Гомер сильно сжал свой Восток и приблизил Персию на умеренное расстояние к Средиземноморью.

В неясных перспективах греческой легенды мы, кажется, находим различные точки соприкосновения между Египтом, Финикией и Персией; и каждая из этих точек соприкосновения подтверждает идею о том, что Персия и Финикия были тесно связаны в сознании Гомера.

Протей, финикийский морской бог, расположен совсем недалеко от египетского побережья. Гелиос, тесно связанный с Египтом через своих волов, связан с Финикией и с более отдаленным

востоком своим родством с Цирцеей и своим местом жительства, ὄντολαί Ἡλίοιο. И опять же, из семьи Даная, известного египтянина, происходит Персей, в имени которого мы находим указание на родство между персами и греками. Ликия тоже находится недалеко от Солими, а Солиманские холмы на самом деле персидские. Вот новый луч света, проливающийся на страсть Гомера к ликийцам времен войны[649].

Еще нескольких слов будет достаточно, чтобы составить вероятное представление о земной системе Гомера.

Океан окружает землю. На его юго-восточном берегу находятся рощи Персефоны и спуск в Тени; на северо-западном - Елисейская равнина. Весь южный хребет между ними занят αἱ θίopes, которые простираются от восходящего до заходящего солнца[650]. Естественный аналог их обожженных солнцем смуглых лиц на холодном севере можно найти у киммерийцев, Детей тумана Гомера[651]. Соответственно, они расположены у устья океана, недалеко от островов Цирцея и Заря; следовательно, они почти соприкасаются с эфиопами на крайнем востоке. То, как Гомер описывает север, по-видимому, наводит на две гипотезы. Возможно, Гомер воображал, что киммерийцы занимали северную часть земли с востока на запад, подобно тому как эфиопы занимали южную: очень подходящая гипотеза для описания территории от Крыма до Кимри. С другой стороны, кажется очевидным, что Гомер должен был получить от своих финикийских информаторов два сообщения, оба приписываемые Северу, но явно противоречащие друг другу: одно о странах без дня, другое о странах без ночи. Истинное решение, мог ли он знать это, заключалось во времени; каждое из них верно для одного и того же места, но в разные сезоны года. Не осознавая фактов, Гомер применил другой метод. Сохраняя северную местность для обеих традиций, он основал одну на северо-западе, в скалистом городе Лам; а другую на северо-востоке, вместе со своими киммерийцами.

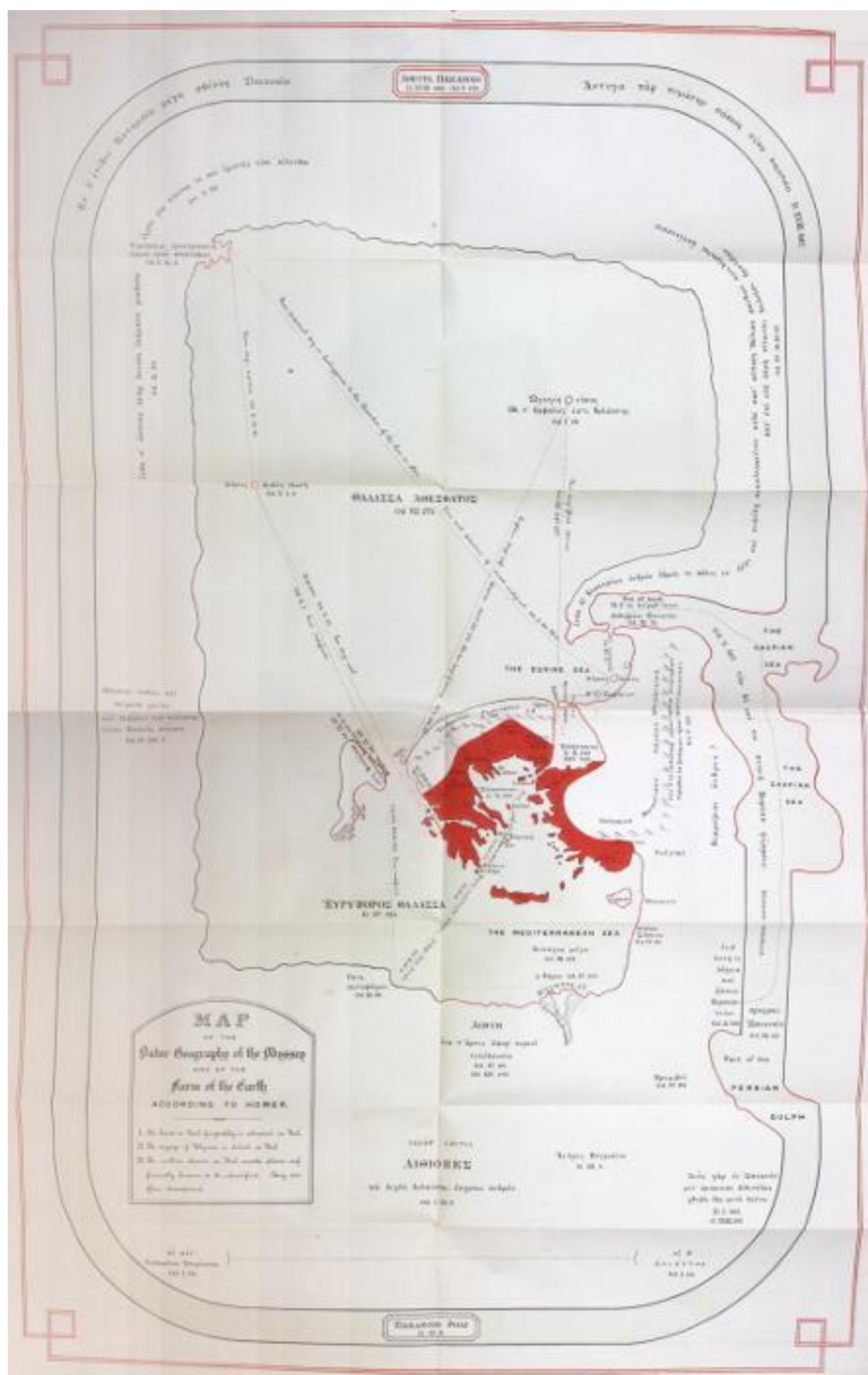
Схема его земной системы.

На основе выводов, к которым мы таким образом пришли, я попытался составить карту гомеровского мира. Материалы этой карты, по необходимости, сильно отличаются. Во-первых, существует собственно внутренний, или греческий, географический мир, поверхность которого окрашена в красный цвет.

Далее, существуют определенные формы моря и суши, подлинные, но полностью или частично утраченные, которые можно узнать по их общему сходству с их оригиналами в Природе.

В-третьих, существует огромная масса сказочной и образной скиографии, которая, ради разнообразия, нарисована плавным контуром, а не с отступами.

Карта представляет, без каких-либо очень важных изменений, гомеровский мир, нарисованный в соответствии с приведенным выше аргументом. Чтобы облегчить проверку или обнаружение ошибки, я сделал так, чтобы она содержала, насколько это возможно, ее собственные свидетельства в надписях и ссылках на нее.



КАРТА

Внешней географии "Одиссеи"
и
формы Земли
СОГЛАСНО ГОМЕРУ.

ЭККУРС I. О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ИЗВЛЕЧЕНИИ МИНОСА.

В предыдущих частях этой работы я приводил аргументы, основываясь на имени и финикийском происхождении Миноса, как для иллюстрации зависимого положения пеласгов в греческих странах[652], так и для демонстрации финикийского происхождения внешней географии "Одиссеи"[653]. Но я слишком кратко обошелся с важным вопросом, был ли Минос финикийского происхождения, и со структурой стиха Il. xiv. 321. Этот стих можно грамматически истолковать так, чтобы он содержал утверждение о нем; но при дальнейшем рассмотрении я не готов утверждать, что его следует истолковывать именно так.

Подлинность Ил. xiv. 317-27.

Александрийские критики вкратце осудили весь отрывок (Ил. xiv. 317-27), в котором Юпитер подробно рассказывает Юноне о своих различных связях с богинями и женщинами. 'Это перечисление, ' говорит Схолиаст (А) в стихе 327, - неуместно, ибо оно скорее отталкивает Юнону, чем привлекает ее; и Юпитер, когда под влиянием Цеста жаждет удовлетворения своей страсти, произносит длинную речь'. Хейне продолжает свое порицание еще более решительным осуждением. *Sanè absurdiora, quam hos decem versus, vix unquam ullus commentus est rhapsodus*[654]. И все же он добавляет соображение, которое могло бы послужить основанием для приостановления вынесения решения до проведения дальнейших слушаний. Ибо он говорит, что комментаторам на них следовало бы обратить внимание на то, что описание относится к периоду, когда отношения мужа и жены не были таковы, чтобы препятствовать открытому знакомству и выставлению напоказ наложниц; и что Юноне могло польстить и соблазнить заявление, исходящее от Юпитера, о превосходстве ее чар над чарами стольких прекрасных особ.

Доводы Гейне кажутся мне настолько вескими, что даже перевешивают его авторитет: но есть и другие основания, по которым я отказываюсь склоняться перед предлагаемым удалением. Принятые возражения кажутся мне недействительными по следующим основаниям;

1. По причине, указанной Хейном.
2. Потому что во всем характере гомеровской Юноны и во всем происходящем преобладает политический дух, а не животная склонность. Об этом Гомер дал нам четкое предупреждение, где он говорит нам, что Юнона незадолго до этого смотрела на Юпитера издали и что он был ей отвратителен; (ст. 158) *στυγερὸς δὲ ὀππλετο θυμῷ* Поэтому бесполезно спорить о ней, как если бы она находилась под верховной властью либо животного желания, либо даже женской любви

к восхищению, в то время как на самом деле ею управляла исключительно другая главная страсть.

3. Поскольку она искусно убедила Юпитера, что ему нужно преодолеть препятствие, отвлекающее ее от намерения отправиться в далекое путешествие, нет ничего противоестественного в том, что Юпитер использует то, что он думает, и то, что, как показал Гейне, он может справедливо считать подходящим и особым средством убеждения.

4. Отрывок тщательно и умело составлен; и он заканчивается кульминацией, чтобы придать наибольшую силу комплименту, которому он подвержен.

5. Все изображения в нем согласуются с манерой обращения с теми же персонажами в других произведениях Гомера.

6. В этом отрывке чувствуется тот сильный национальный подтекст, который в высшей степени характерен для Гомера. Никаких интриг не упоминается, за исключением тех, которые проявляются в рождении детей с признанной эллинской славой. Грубый анимализм Юпитера, проявленный в Речи, самым строгим образом соответствует всему контексту; ибо это основа сделки и дает Юноне возможность, которой она так ловко пользуется, чтобы отчитаться.

7. Те, кто отвергает этот отрывок как ложный, потому что действие в этом месте не должно быть нагружено речью, я думаю, не имеют в виду, что отклонение такого рода от строгого поэтического порядка на самом деле соответствует практике Гомера в других случаях, особенно в рассуждениях Нестора и Феникса. Такое отклонение, по-видимому, объясняется его историческими целями. Чтобы понять его в случае такого рода, мы должны исходить из его исходной точки, согласно которой стихи были не просто упражнением для удовольствия, но должны были стать единственным великим проводником всех знаний и мощным инструментом в создании национальности. Таким образом, то, что отвергла первая цель, вторая в определенных случаях может принять и даже потребовать. Итак, в этом коротком отрывке до нас донесено много важной исторической информации.

Поэтому мы можем со значительной уверенностью использовать те доказательства, которые, как можно обнаружить, содержатся в речи.

Давайте, в таком случае, понаблюдаем за формами выражения по мере их последовательного следования,

οὐδ' ὅπότε ἥρασάμην Ἰξιωνίης Ἀλόχοιο[655].

οὐδ' ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου Ἀκρισιῶνης[656].

οὐδ' ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλείτοιο[657].

Смысл Ил. xiv. 321.

С точки зрения грамматики, я полагаю, последний стих может означать: (1) Дочь выдающегося финикийца; или (2) Дочь выдающегося финикийца; или (3) Выдающаяся финикийская девица.

а. В противовес первому можно возразить, что у нас нет других рассказов Гомера или какой-либо ранней традиции об этом Фениксе, который здесь описывается как знаменитый.

б. В противовес второму и третьему утверждению, что Гомер нигде прямо не заявляет об иностранном происхождении какого-либо великого греческого персонажа.

с. Также, что в каждом из предыдущих случаев Гомер использовал собственное имя человека, почти связанного с ним, чтобы указать и идентифицировать женщину, которую, следовательно, маловероятно, что в этом единственном случае он обозначил бы только ее нацией или нацией ее отца.

д. Против Третьего, что в единственный проход, где ему приходится говорить о Phœnician женщину, он использует женственные формы, Φοίνισσα: ἔσκε πατὴρ δὲ γυνὴ ἑμοῖο Φοίνισσ' οἷ κ' ἐνὶ (ОД. XV. 417). Но φοῖνιξ грамматически способен к женскому роду, как показано Herod. i. 193[658].

е. Также то, что Гомер в тех немногих случаях, когда он использует слово τηλεκλειτός, ограничивает его мужчинами. Он, однако, дает Латоне эпитет ἑρικυδής.

Аргументы, вытекающие из структуры отрывка и из неизменной сдержанности Гомера в отношении иностранного происхождения греческих персонажей, убеждают меня, что в целом нецелесообразно интерпретировать φοῖνιξ в этом месте каким-либо иным образом, кроме как как имя отца Миноса.

Однако имя φοῖνιξ, взятое в связи с периодом, к которому оно относится, — почти за три поколения до *Троики*, — само по себе по-прежнему дает немалые основания предполагать финикийское происхождение Миноса.

Я полагаю, нельзя сомневаться в том, что первоначальное значение φοῖνιξ, когда оно впервые использовалось в качестве имени собственного в Греции, вероятно, было 'финикийского рождения'. Но, если судить по свидетельству Гомера, время, когда жил Минос, было всего лишь вскоре после прибытия первых финикийцев в Грецию; а его дед Феникс, живший за четыре с половиной поколения до *Троики*, был, по всей вероятности, современником Кадма или предшествовал ему. В период, когда взаимоотношения двух стран находились в зачаточном состоянии, мы можем, я думаю, с некоторой степенью уверенности интерпретировать это имя собственное как указание на страну происхождения.

Сопутствующие доказательства.

Другие знаки, связанные с Миномом и его историей, настолько подтверждают это предположение, что доводят его до разумной достоверности. Таковы,

1. Связь с Дедалом.

2. Традиция морского могущества Миноса.

3. Характерный эпитет ὀλοόφρων; а также его отношение к другим гомеровским персонажам, с именем которых он связан.

4. Тот факт, что Минос привнес более совершенную форму законов и государственного устройства среди людей с более низкой социальной организацией; данное таким образом доказательство того, что он принадлежал к высшей расе: вероятность того, что, если бы эта

раса была эллинской, Гомер отчетливо отметил бы связь столь выдающегося человека с эллинским происхождением; и очевидная уверенность в том, что если не эллинский, то только финикийский.

Положительные гомеровские основания считать Миноса финикийцем гораздо сильнее, чем те, которые поддерживают ту же веру в случае с Кадмом: а отрицательное возражение, заключающееся в том, что Гомер не называет его именем страны, из которой он происходил, на самом деле указывает на единообразную практику Поэта прикрывать историю или легенду в том месте, где более длительная перспектива привела бы к представлению любого греческого героя как заимствованного из иностранного источника, и, таким образом, опровергла бы притязания на автохтонность, которые, хотя и не очень в его стиле, привели бы к тому, что Минос был финикийцем. заявлять о таких вещах абстрактно, но, по-видимому, оперировало у Гомера как практический принцип, имеющий значительный вес.

ЭКСКУРС II. К СТРОКЕ ODYSS. V. 277.

У меня меньше сомнений в том, что я делаю стих Od. v. 277 предметом особого исследования, потому что основные элементы обсуждения важны в отношении законов гомеровского греческого языка, а также в отношении той корректировки Внешней географии, которую я подкрепил подробным применением к каждой части повествования "Одиссеи", и которая, я сразу признаю, находится в непримиримом конфликте с популярной конструкцией описания путешествия из Огигии в Схерию, поскольку она зависит от этого конкретного стиха.

Отрывок является[659] (τὴν относится к Ἄρκτον в ст. 273)

τὴν γὰρ δὴ μιν ἄνωγε Καλυψὺ δῖα θεάων,

ποντοπορευέμεναι ἐπ' ἄριστερὰ χεῖρὸς ἔχοντα.

Пункты, от которых должно зависеть значение последней строки, по-видимому, следующие:

1. Значение важного гомеровского слова ἄριστερός.
2. Формы слов ἄριστερὰ χεῖρὸς, который является ἄπαξ λεγόμενον у Гомера.
3. Сила предлога ἐπὶ, особенно в винительном падеже.

Второй из этих пунктов может быть быстро отклонен. Ибо (1) единственный вопрос, который может возникнуть по этому поводу, заключался бы в том, означает ли (принимая на данный момент значение ἄριστερός) "левая часть его руки" левую часть линии, описываемой поступательным движением его тела, или левую часть направления, в котором указывает его рука, то есть его правая или рулевая рука, когда он находится у руля; что было бы полной противоположностью первому. Но, хотя последнее толкование было бы грамматически точным, оно слишком мелко и утонченно по смыслу, чтобы соответствовать методам выражения Гомера.

И (2) некоторые схолиасты сообщают о другом прочтении, $\nu\eta\delta\varsigma$, вместо $\epsilon\epsilon\iota\rho\delta\varsigma$, которое не вызывает сомнений или подозрений по этому поводу.

Тогда нам следует рассмотреть два вопроса, первый из которых - общее употребление и трактовка Гомером $\sigma\lambda\alpha\iota\delta\epsilon\rho\varsigma$.

Значения $\delta\epsilon\chi\iota\delta\varsigma$ и $\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\epsilon\rho\varsigma$.

Мне кажется, стоит подумать, не следует ли признать, что $\delta\epsilon\chi\iota\delta\varsigma$ и $\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\epsilon\rho\varsigma$ Гомера, помимо чувств правого и левого, способны испытывать чувства востока и запада соответственно.

Словорр $\iota\sigma\tau\epsilon\rho\varsigma$ принимает значение *левый* только посредством производного и второго намерения.

Слово $\sigma\kappa\alpha\iota\delta\varsigma$ - это то, которое этимологически и в первую очередь выражает функцию левой руки. Использование этой руки в качестве основной ненормально и помещает тело как бы косо (сравните $\sigma\acute{\alpha}\lambda\omega$, *scævus*, *schief*)[660]. У Гомера единственное слово, используемое отдельно, то есть без субстантива, для обозначения левой руки, - это $\sigma\kappa\alpha\iota\delta\varsigma$. В то же время мы не можем сделать положительных выводов из этого факта, потому что $\tau\omicron\rho\rho\iota\sigma\tau\epsilon\rho\varsigma$ не могло стоять в гексаметре как существительное женского рода единственного числа из-за законов метра, которые в данном случае являются негибкими.

$\sigma\kappa\alpha\iota\tilde{\eta}$ означает левую руку в Ил. i. 501. xvi. 734. xxi. 490. Это прилагательное лишь однажды употреблено у Гомера, за исключением руки, а именно в Од. iii. 295 у нас есть $\sigma\kappa\alpha\iota\delta\upsilon\nu\ \rho\acute{\iota}\nu$ для обозначения "передней части слева". Но $\sigma\kappa\alpha\iota\alpha\iota\ \tau\acute{\upsilon}\lambda\alpha\iota$, возможно, первоначально означало левые ворота Трои.

Применение $\delta\epsilon\chi\iota\delta\varsigma$ к правой руке (от которой мы можем рассматривать $\delta\epsilon\chi\iota\tau\epsilon\rho\varsigma$ как адаптацию для метрических целей) должно быть в достаточной степени учтено, поскольку именно этой рукой обменивались приветствиями и заключали соглашения[661]. Но это не так с $\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\epsilon\rho\varsigma$: и хотя мы рассматриваем этот предмет только в связи с употреблением члена, слово $\sigma\kappa\alpha\iota\delta\varsigma$ остается совершенно неизменным и даже в высшей степени выразительным и удобным в своей функции обозначения левой руки.

Похоже, что греческие авгуры, оценивая значениепредзнаменований, имели обыкновение стоять лицом на север; или, скорее, я полагаю, их лица были обращены к точке на полпути между заходом и восходом солнца. Наиболее распространенными описаниями предзнаменований во времена Гомера, по-видимому, были (1) полет птиц и (2) явление грома и молнии. Проверкой хорошего движущегося предзнаменования было то, что оно должно исходить с запада и двигаться на восток; а плохого движущегося предзнаменования было то, что оно должно исходить с востока и двигаться на запад. Возможно, мы сможем проследить в этой концепции космогоническое устройство, которое насадило на Западе Елисейскую равнину, а на Востоке мрачные и полукриминальные владения Айдонея и Персефоны. Возможно, яркость солнца, из-за которой Восток считался источником света, может быть основой этого: вместе, с другой стороны, с той тесной видимой ассоциацией между Западом и тьмой, которую закат каждого дня являл взорам людей; так что $\lambda\gamma\alpha\tau\eta\ \tau\acute{\rho}\omicron\varsigma\ \zeta\acute{o}\phi\omicron\nu$ означало лгать к Западу и было прямой противоположностью лжи к солнцу[662].

Что бы ни лежало в основе доктрины авгуров, возникла устойчивая ассоциация (1) между западом и тем, что было дурным предзнаменованием или злом, и через это (2) между тем, что было дурным предзнаменованием или злом, и левой стороной человека. Западу не повезло, потому что наука предсказаний сделала его таким.левой руке не повезло, потому что при проверке предзнаменований она была западной. Таким образом, половина объектов в мире и действий человеческого тела, исходя из их положения относительно предзнаменований, находятся под покровом несчастья. Оно было выведено из этого угрожающего состояния эвфемизмом; применением слова не просто невинного[663], но и исключительно хорошего. Все, покрытое налетом злого предзнаменования, должно было быть не только не вредным, но и ἀριστερόν лучше самого лучшего. Следовательно, может показаться, что слово ἀριστερόν, вероятно, означало "на западе", прежде чем оно могло означать "на левой руке": потому что не только левая рука, но и все, что на западе, находилось в пределах досягаемости зла, к которому предполагалось применить средство.

В отрывке, подобном Il. vii. 238, значения δεξιὸς и Но что такого в речи Гектора, где он говорит Полидамасу, что его не волнуют предзнаменования[664],

εἴ τ' ἐπὶ δεξι' ἴωσι πρὸς ἦντ' Ἡλίων τε,

εἴ τ' ἐπ' ἀριστερὰ τοίγε ποτὶ ζόφον ἥερόεντα.

Во-первых, более подходящим, поскольку более прямым методом описания приметных птиц является выражение "они летят на восток или запад", чем "они летят по правую или левую руку": поскольку ощущение правого и левого не имеет определенного стандарта отсчета, но требует помощи предположения, что человек на самом деле смотрит на север, так что слова, таким образом, могут стать эквивалентными востоку и западу. Но в данном случае, когда речь идет о воинах на поле битвы, не было бы чего-то довольно неуместного в том, чтобы вставить предположение об их повороте на север, когда они говорили, чтобы придать должное значение этим двум словам? Мы, несомненно, должны представить себе Гектора, стоящего на поле битвы лицом к врагу, если мы вообще хотим принять во внимание его позу. Если бы он стоял так, то смотрел бы, насколько мы можем судить, на запад, а не на север. Теперьфос у Гомера было северо-западом, а не западом: и, наоборот, ἦντ' наклонено к югу от востока. Таким образом, он оказался бы почти лицом к первому и спиной ко второму; и если бы это было так, значение правого и левого было бы не только надуманным, но и совершенно неподходящим, в то время как значение востока и запада было бы не менее правильным, чем естественным.

Я должен добавить, что у Гомера есть и другие места, где возникают трудности, если нам позволено толковать δεξιὸς и ἀριστερόν только справа и слева. Я даже осмелюсь сказать, что в Тринадцатой книге есть отрывки, которые делают топографию описываемого в ней сражения не только неясной, но даже противоречивой, если ἀριστερόν в них означает левое место; и которые становятся совершенно гармоничными, если мы позволим себе понять это как обозначающее запад.

Иллюстрировано по Ил. xiii.

Это соответственно Il. xiii. 675 и 765.

Чтобы понять суть дела, необходимо будет внимательно следить за ходом сражения на протяжении большей части Книги.

1. Ил. xiii. 126-9: Аджаксы противостоят Гектору, νηυσὶ ν ἐν μέσσοισιν, 312, 16.
2. Обеспечив таким образом центр, Идомений переходит налево, к στратοῦ ἐπ' ἄριστερά (326), где находится станция Деифоба; и производит опустошение в этом квартале.
3. Деифоб, вместо того чтобы сражаться с Идомением, считает благоразумным позвать Энея, который стоит в стороне, 458 и далее.
4. Вызванный Деифобом, Эней приходит вместе с ним, сопровождаемый также Парисом и Агенором, 490.
5. В этот момент они совместно продолжают борьбу с незначительным успехом (495-673), но без решающего исхода.
6. Гектор в центре остается в неведении о том, что троянцы терпели поражение от греков, 675 год.
7. По совету Полидамаса он отправляется на поиски других вождей, чтобы обдумать, что следует предпринять; среди остальных, кого он находит, - Париса μάχης ἐπ' ἄριστερά (765). С ними он возвращается в центр, 753, 802, 809.

Теперь, я думаю, звучат следующие утверждения:

1. Когда Гомер таким образом говорит о ἐπ' ἄριστερά в Ил. xiii. 326, 675 и 765 соответственно, он, очевидно, имеет в виду описать во всех них одну и ту же сторону поля битвы. Где находится Идомений в 329 году, туда он приводит Энея в 469 году, которого в то время сопровождает Парис в 490 году; и там Парис, очевидно, остается до тех пор, пока его не призовут в центр в 765 году.
2. Если Гомер говорит о каком-либо конкретном бойце, о том, что он находился слева или справа от места битвы, он должен иметь в виду грека слева или справа, если человек был греком, и троянца слева или справа, если человек был троянцем.
3. На самом деле это правило, по которому он действует в других местах. Ибо в Пятой книге, когда Марс был в поле на троянской стороне, он говорит, что Минерва нашла его μάχης ἐπ' ἄριστερά, Ил., ст. 355. Что это за пункт, описанный таким образом, и как он туда попал? Ответ содержится в более ранней части той же книги. В ст. 35 Минерва вывела его из битвы. В ст. 36 она поместила его на берегу Скамандра, то есть слева от троянца, и в положении, которому Поэт, будучи троянским бойцом, дает название μάχης ἐπ' ἄριστερά.

Теперь ἐπ' ἄριστερά обычно интерпретируется как 'слева'. Но если в Ил. xiii это означает "слева", то эти отрывки противоречат определению: потому что это поместило бы Париса на оба фланга, тогда как он, очевидно, описывается как находящийся на одном и том же фланге битвы повсюду.

Но если мы истолковываем ἄριστερός как означающий запад во всех трех отрывках, тогда у нас сразу становится доступным одно и то же значение для всех трех мест, так что рассказ снова становится самосогласованным; и если значение будет "на западе", тогда мы можем понять, что Идомений наиболее естественно выбрал запад, потому что это был квартал мирмидонян, где

греческая линия была лишена поддержки. Если, однако, сказать, что повсюду подразумевается греческая левая сторона, то выражение в ст. 765 противоречит тому, что казалось бы разумным, и противоречит собственному прецеденту Гомера в Пятой книге.

Таким образом, есть веские основания предполагать, что у Гомера ὀριστερός иногда может означать "запад". Так что, если ἐπὶ в Од. ст. 277 действительно означает "на", фраза будет означать, что Улисс должен был поставить Аркта с западной стороны от себя, что поместило бы Огигию в требуемое положение к востоку от севера.

Сила ἐπὶ у Гомера.

Вопрос, остающийся для обсуждения, является одновременно самым сложным и самым важным. В чем заключается истинная сила гомеровского ἐπὶ?

Я нахожу, что значения этого предлога четко и всесторонне описаны в греческой грамматике Джелфа, где основные моменты его различных значений изложены следующим образом[665]:

1. Его первоначальная сила - *на* или *на*.
2. Оно применяется к месту, времени или причинно-следственной связи. Из этих трех, рассматривая географический вопрос, нам нужно с какой-либо подробностью рассмотреть только первый.
3. Ἐπὶ, когда используется локально, означает с родительным падежом (a) *на* или *в*, и (b) движение к месту или вещи. С дательным падежом (a) *на* или *в*, и (b) *мимо* или *рядом*. С винительным падежом (a) *в*, and (b,) 'протяженность в пространстве над объектом, а также с глаголами покоя и движения'. В этом смысле примеры указаны в πλεῖν ἐπὶ πόντων οἷ νοητά для глаголов движения, а ἐπ' κεῖ το ἐννέα πέλεθρα для глаголов отдыха. Оба взяты у Гомера, в Ил. vii. 83 и Од. xi. 577.

Гомеровский ἐπὶ δεξιᾷ и ἐπ' ὀριστερᾷ также приводятся в качестве примеров этой последней смысле. Но в Од. ст. 277, если значение находится в левой части, оно явно выходит за рамки этих определений: поскольку звезда настолько далека от того, чтобы быть объектом, простирающимся в пространстве, что, как это представляется слева, является светящейся точкой, и ничем более. Это было расширение в пространстве, подобное тому, какое имеет глаз, смотрящий из окна на перспективу; но тогда это пространство - это пространство, лежащее напротив звезды; так что, если пространство находится слева, звезда действительно должна смотреть влево, но именно по этой причине расположена справа. Разница здесь наиболее важна в связи со значением предлога. Если ἐπ' ὀριστερᾷ означает *на* левой стороне, то это только в одной точке слева; если это означает "по направлению к правой стороне" или "над правой стороной", это означает "по направлению ко всему правому краю" или "над ним". Итак, первое из этих значений, я утверждаю, совершенно не соответствует гомеровскому употреблению ἐπὶ в качестве предлога, управляющего винительным падежом, в то время как последнее вполне соответствует ему.

Сила ἐπὶ σριστερά.

Идея движения, физического или метафизического, в той или иной из ее модификаций, по-видимому, по существу присуща гомеровскому употреблению ἐπὶ с винительным падежом. В подавляющем большинстве случаев оно употребляется с глаголом движения, что ставит вопрос вне всяких сомнений. Почти во всех других случаях очевидно, что речь идет либо о движении тела, либо о каком-то покрытии пространства, где движения нет. Таким образом, Зефир (κελάδει[666]) свистит ἐπὶ οἷ νοπα πόντον. Герой или стайка дев могут кричать ἐπὶ μακρόν[667]. Край корзины покрыт золотым напылением, χρυσῷδ' ἐπὶ χεῖλεα κεκράαντο: то есть поверх него нанесено золото[668]. Ахиллес смотрит[669] ἐπὶ οἷ νοπα πόντον. Солнце является смертным ππὶ ζεῖδωρον ἄρουραν[670]. Здесь, по-видимому, следует понимать 'распространение' или какое-то эквивалентное слово. У нас есть "животных столько, сколько рождается" ππὶ γαῖαν[671]. Или, опять же, у нас есть "да пребудет слава его" (распространение) ἐπὶ ζεῖδωρον ἄρουραν[672]. Еще раз: ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἱ ὥς ἔσσειται это, я буду жить долго[673]. И Ахилл сел θῖ ν' ἡμῶν ἄλως πολίης[674]. Дракон с фиолетовой спиной - это[675] ἐπὶ νῦτα δάφεινος. Плечи Терсит, прижимают к груди, это, ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε[676]. Лошади Адмета стоят даже со штангой за спиной[677], σταφύλη ἐπὶ νῦτον ἔϊσας. Я не ограничил эти примеры чисто местными случаями, потому что более разнообразная иллюстрация, я думаю, здесь расширяет наши возможности для суждения. В каждом случае, как представляется, мы можем утверждать, что подразумевается протяженность, будь то во времени или пространстве; и подходящим словом для толкования ἐπὶ (за исключением определенных глаголов движения, таких как "он упал на" и подобных) будет over, along, поперек или сверх-against. Далее, в Il. vi. 400 мы имеем, согласно одному прочтению, предлог ἐπὶ в сочетании с глаголом ἔχειν и управляющий винительным падежом. Появляется Андромаха,

παῖ δ' ἐπὶ κόλπον ἔχουσ' ἀταλάφρονα.

В последних изданиях написано κόλπῳ Я полагаю, потому, что винительный падеж не может должным образом передать значение *на* ее груди. Но нам не нужен этот смысл. Смысл, по-видимому, в том, что Андромаха прижимала своего младенца к груди; то есть младенец был прижат к ней ее руками с противоположной стороны. Идея младенца, *прижатого* к ее груди, совершенно не подходит к фигуре, заявленной как находящаяся в движении. Но ощущение также может заключаться в том, что она растянута на груди или поперек нее. Таким образом, в ἐπὶ с винительным падежом всегда присутствует расширение, будь то в пределах видимости или звука, этапы постепенного процесса, фактическое движение, давление в направлении точки, которая является начальным движением, или расширение в пространстве. Но гомеровское употребление ἐπὶ с винительным падежом, я думаю, нигде не будет найдено применимым к неактивному, неподвижному положению светящейся точки просто так, как она воспринимается в пространстве. И если это так, то недопустимо толковать ππ' ἀριστερά χειρὸς ἔχων, имея (Арктус) *на* левой руке.

Ближайшая параллель, которую я нашел фразе в Од. ст. 277, - это указание, данное Идомеенем Мериону, который спросил его (Ил. xiii. 307), в какой момент он хотел бы выйти на линию фронта. Идомееней, изложив свои доводы, заканчивает следующим предписанием:

νῦν δ' ὧδ' ἐπ' ἀριτέρ' ἔχε στρατοῦ.

В "Одиссее" приказано сохранить Арктуса ἐπ' ὀριστερὰ χειρός. Здесь это делается для того, чтобы сохранить Идоменея (и самого Мериона, который предшествовал ему), ἐπ' ὀριστερὰ отратой. Параллель неполна, потому что в последнем случае объект глагола перемещается; в первом случае он не перемещается. Давайте, однако, рассмотрим значение последнего отрывка, которое бесспорно. Это 'держите или не отпускайте нас', но не слева, а 'в направлении, глядя и двигаясь в направлении, слева от армии'. Вероятно, тогда они наступали справа от нее. Следовательно, если на данный момент мы оставим в стороне вопрос о движении, приказ Калипсо состоял в том, чтобы Арктус продолжал смотреть налево от корабля, и, соответственно, Арктус должен был смотреть справа от него.

Я полагаю, мы должны искать ключ к общему значению этой фразы, рассматривая идею движения, связанную с обычным проявлением предзнаменований, которая, по-видимому, лежит в основе самой фразы. Теперь, кажется, существенной и очень своеобразной характеристикой этой фразы у Гомера и родственных фраз ἐπιδέξια (независимо от того, написаны ли они одним словом или двумя) и ἐνδέξια, является то, что они очень часто подразумевают позицию, отличную от той, которую они, на первый взгляд, предполагают. Ибо то, что идет налево, естественно понимается как идущее справа, и *наоборот*.

'То', а не 'он' - существенная характеристика гомеровского πτῖ с винительным падежом. Соответственно, где ἐπὶ так использовать слова δεξιὰ или ὀριστερὰ, мы можем часто понять исходное положение личности или вещи, предназначенные, как правило, противоположные точки или квартал выражены. В таком случае, как εὔρεν ... ὀριστερὰ μάχης ἐπ' мы должны присоединиться ὀριστερὰ ἐπ' с предметом εὔρεν, а не с его объектом. Не А нашел В слева, но А (идущий) по направлению к левой стороне нашел В (там). Опять же, в Il. xiii. 675, νηῶν ἐπ' ὀριστερὰ следует, я полагаю, толковать в направлении влево или в направлении влево.

Сейчас, пока нет ни одного прохода в Гомере, который отказывается нести работ, основанная на этих принципах, изучение различных проходов, я думаю, будет поставлять нам примеры, чтобы показать, что нет другой согласованный режим оказания ключевыми словами ἄστράπτειν ἐπιδέξια; ἐέρυειν ἐπ' ὀριστερά; οἱ νοχόειν, αἱ τεῖ ν, δεικνύειν, ἐνδέξια; ὀριστερὸς ὄρνις, δεξιὸν ἐρώδιον, и другие.

И хотя в некоторые из этих фраз действительно включена идея движения, хотя движение предзнаменований было первоначальной основой всех них, все же, как это часто бывает, следствие остается, когда причина исчезает. Птица под названием δεξιὸς - это движущаяся ἐπὶ δεξιὰ; и это, согласно закону предзнаменований, *обычно* птица слева, движущаяся вправо. И таким образом, по аналогии, звезда ἐπ' ὀριστερὰ - это звезда справа, которая не движется, а смотрит влево. Еще раз, когда мы вспоминаем, что ἐπ' ὀριστερὰ обычно или очень часто означает "справа", а также "движение влево", нетрудно представить себе столь легкую модификацию этого смысла, которая сводит его к "быть справа", в то же время глядя, вместо того чтобы двигаться, влево. Молния, которая появилась на право, я бы задержать быть ὀριστερά ἄστραπτή ἐπ': ὀριστερὰ Ἀρκτός ἐπ' будет 'Арктус справа; и введение слова ἔχειν не верно обратное значение.

В более поздних греческих, выражения ἐνδέξια и ἐπιδέξια, с ἐπαριστερὰ, который, кажется, коллега, как предлог ἐπὶ иногда была разделена с, а иногда и соединенных с ее случае, по-видимому, эквивалент нашей английских фраз 'на правой, и на левой.' Но не так у Гомера.

Иллюстрировано по Ил. ii. 353. Од. xxi. 141.

Давайте теперь рассмотрим различных местах поэмы, где ἐνδέξια и ἐπὶ δεξιᾷ (один или в сочетании) не может означать справа, но может быть вынесено либо (1) с левой, или (2) Вправо. Таким образом, мы имеем, Ил. ii. 353,

ἀστράπτων ἐπιδέξι', ἐναίσιμα σήματα φαίνων.

Это означает молнию слева и сзади, так что молния проходит или кажется проходящей справа. Аналогия этого случая со звездой очень близка; потому что молния редко создает видимость движения; и это выражение точно иллюстрирует наблюдение, что эти фразы часто действительно подразумевают положение предмета, прямо противоположное тому, которое можно было бы предположить на первый взгляд.

Опять же, когда Антиной предлагает Претендентам встать по очереди для испытания луком, он говорит, Од. xxi. 141,

ὄρνυσθ' ἐξείης ἐπιδέξια, πάντες ἑταῖροι.

и он переходит к бесспорному объяснению, ссылаясь на порядок, соблюдаемый виночерпием на пиру;

ἄρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἱ νοχοεύει. (142)

Его значение, очевидно, таково: "Поднимайся", начиная слева.

Из Ил. i. 597. vii. 238. xii. 239, 249.

Практика виночерпия изложена в отношении Вулкана, Ил. i. 597:

αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν

ὑποχόει.

Итак, κήρυξ (Ил. vii. 183) обходит ἐνδέξια с жребием, который должны вытянуть вожжи. Нищий[678] совершая свой раунд, он следует высшему закону удачи и выигрывает ἐνδέξια. И как этот смысл, кажется, создана, мы должны дать такой же смысл, в Ил. ix. 236, к ἐνδέξια σήματα φαίνων ἀστράπτει, как к ἐνδέξια в Ил. второй. 353, а именно, что Юпитер отображается небесные знаки слева.

Снова Гектор хвастается своим умением двигать щит так, чтобы прикрыть себя, Ил. vii. 238,

οἷ δ' ἐπὶ δεξιᾷ, οἷ δ' ἐπ' ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν.

Нам, вероятно, следует перевести это без особых раздумий 'направо и налево'. Но когда мы рассматриваем какой смысл необходима идея, которая должна быть передана, очевидно, что ἐπὶ δεξιᾷ значит, с левой стороны его личности вправо, и ἀριστερὰ ἐπ' с правой стороны его лица с левой стороны. Иными словами, первая позиция до и во время движения в каждом случае находится на стороне, противоположной той, которая обозначена прилагательными соответственно.

Опять же, в хорошо известном отрывке (Ил. xii. 239.) Гектор говорит Полидамасу, что его не интересуют предзнаменования, будь то хорошие или плохие;

εἴ τ' ἐπὶ δεξι' ἴωσι πρὸς ἥϊπ' Ἥλιόν τε,

εἴ τ' ἐπ' ἄριστερ' αἰτοίγῃ, ποτὶ ζόφον ἡερόεντα.

Помимо вопроса, есть ли смысл справа и слева подходит этот отрывок, и если это будет так, Смысл *от Левого* для ἐπὶ δεξιὰ и *справа* для ἐπ' ἄριστερὰ, на их пути в каждом конкретном случае для противоположного квартала.

Опять же, предзнаменование, которое вызвало наблюдение Гектора, было (Ил. xii. 219)

αἶ εὐρὸς ὑψιπέτης, ἐπ' ἄριστερὰ λαὸν ἔέρῃων,

а именно, орел, появляющийся справа, а затем перемещающийся влево. Теперь ἔέρῃων не правильно глагол движения; и все же мы видим, что ἔέρῃειν ἐπ' ἄριστερὰ средств для армии от правого; это, так сказать, орлом, который делает акт ἐπ' ἄριστερὰ, само справа.

На самом деле было три вещи, которые изначально могли и обычно включались в каждую из этих фраз. Например, в ππ' ἄριστερὰ,

1. Появление в определенной точке справа;
2. Движение из этой точки влево;
3. Остановитесь в другой точке слева.

Из них второе названное указывает на первое и главное значение слова; но когда оно переходит ко второму намерению или производному значению, оно может включать либо первый пункт, либо третий, либо оба сразу. В более поздних греческих оказывается достаточно, чтобы указать на точку опоры; но в гомеровских фраз соответствующее слово δεξιὸς, οἱ νοχοεῖν ἐνδεξία, δεικνύειν ἐνδεξία, αἶ τεῖν ἐνδεξία, ἀστραπτεῖν ἐπὶ δεξιὰ, ἔέρῃειν ἐπ' ἄριστερὰ, исходная точка, а не отдыхает-точка, один привел в вид. Фраза указывает на начало рассмотрения ходатайства в каждом из этих случаев, а не на его завершение.

Поскольку я занимаюсь этим вопросом, я без колебаний рассмотрю один или два оставшихся отрывка, которые могут помочь в его более тщательном разъяснении.

Из Ил. xxiii. 335-7.

Поэтому я прошу обратить особое внимание на отрывок из двадцать третьей книги "Илиады", где Нестор наставляет своего сына относительно его участия в гонках на колесницах. По обе стороны от сухого ствола на равнине лежали два белых камня (xxiii. 329). Они образовывали цель, вокруг которой должны были проехать колесницы, причем возничий держал их в левой руке. Суть совета Нестора заключается в том, что его сын должен совершить короткий и близкий разворот вокруг них, чтобы иметь шанс на победу, несмотря на медлительность его команды. Вот инструкции (335-7):

αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐϋπλέκτω ἐνὶ δίφρῳ

ἦκ' ἐπ' ἀριστερὰ τοῖ ἴν· ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἴππον

κένσαι ὁμοκλήσας, εἴ ξαί τέ οἱ ἥνία χερσίν.

Из последних полутора строк ясно, что гол должен был быть забит его левой рукой. Но что означает κλινθῆναι ἐπ' ἀριστερὰ τοῖ ἴν? Ничто не может быть более научным, чем предписание. Лошади, чтобы сделать резкий поворот: импульс в теле может бросить его вперед, если он не готов: он будет делать то, что каждый наездник в цирке сейчас, с наклоном вовнутрь; и то, что выражается опираясь ἐπ' ἀριστερὰ, ворот—для τοῖ ἴν должны, как я понимаю, следует понимать, что согласны с двойной λῶε (329), а не множественном числе ἴππους (334); в частности потому, что слово ἴππος повторяется сразу после него. Таким образом, смысл заключается в том, что от него требуется наклоняться влево от цели, в то время как он все время держится справа от нее. При тех же обстоятельствах мы должны сказать: "Осторожно наклонитесь к правой стороне ворот, когда вы собираетесь обогнуть их". Он, имея в виду то же самое, говорит: "Наклонитесь влево; то есть наклоняйтесь *справа* или оставаясь справа от названного объекта". Теперь я полагаю, что это в точности соответствует смыслу Од. ст. 277. Улиссу было приказано плыть, поместив Большую Медведицу справа от него, но глядя справа и слева от себя, как каждая звезда смотрит в сторону, противоположную той, в которой она видна сама. У него должна быть звезда *e dextrâ*, потому что с этой точки она выглядит *как синистрам*. Он смотрит вверх него налево, точно так же, как Антилох должен был наклоняться в направлении, противоположном воротам, влево от него.

Вся эта интерпретация, без сомнения, зависит от слова τοῖ ἴν; и я не берусь утверждать, что его обязательно, согласно грамматическим правилам, следует понимать как цель, а не как лошадей. Но это более естественная конструкция: и Гомер часто возвращается просто с помощью этого указательного местоимения, без дальнейших указаний, к предмету, который он назвал лишь некоторое время назад[679].

Но если грамматика оставляет этот вопрос в какой-либо степени открытым, я полагаю, что его должны решить физические соображения. Вознице невозможно наклоняться влево от своих лошадей, когда они огибают цель. Слева от своей колесницы он может наклоняться, когда стоит на ней; но слева от них он не может, потому что они значительно впереди него; и для того, чтобы вообще совершить поворот, они должны в каждой точке кривой, которая является поворотом влево, находиться намного дальше вдоль кривой и, следовательно, намного левее, чем он может быть. Это был бы параллельный случай, если бы по цирку ехали два всадника, один за другим, и всаднику на задней лошади было бы приказано наклониться вправо от передней лошади. Следовательно, слово τοῖ ἴν может, я полагаю, относиться только к двум камням, которые образуют цель.

Из Ил. ii. 526.

Строка в греческом каталоге позволит нам продвинуться в этом вопросе еще дальше. В Ил. ii. 517, после двух беотийских отрядов, идут фокейцы: и Поэт говорит, вер. 526,

Βοιωτῶν δ' ἔμπλην ἐπ' ἀριστερὰ θωρήσσοντο.

Я вижу, что даже Фосс перевел это как 'слева'. Разве это не противоречит всей вероятности? Разве у Гомера не было благоприятного движения слева направо? Разве это не было доказано случаями с Бессмертными, Предзнаменованиями, Виночерпием, Нищим и Вестником? Вероятно ли или даже мыслимо ли, чтобы Гомер отступил от этого принципа в своем приказе об армии? Конечно, смысл заключается в следующем: закрепив на себя географически порядок его контингентов, он имеет также государственный порядок их выбора на поле; и, соответственно, на этой линии он сообщает нам, что фокейцев, которые были вторыми в гонках он упоминает, стоял ἐπ' ὀριστερὰ из Boeotians: он означает, понять, что Abantes, Третья Раса, были ἐπ' ὀριστερὰ из Locrians, и так далее по всему: или другими словами, что он сообщает нам, что он не забывает следить, среди многочисленных деталей из каталога, созданного, религиозных и благоприятных порядок перечисления, а именно, порядок которой начинается от влево, и вправо.

Таким образом мы должны в этом месте перевести ἐπ' ὀριστερὰ 'направлении, то есть, глядя в сторону слева от Boeotians; или хотите в Boeotians по левую сторону, - я. Эл. из фокейцев; фокейцев быть, в зависимости от работ, которые мы принимаем, на правой, на самом деле справа, а не слева от Boeotians. Реальная сила этого выражения, вероятно, заключается в следующем: беотийцы заняли свои позиции, фокейцы подошли и заняли свои места рядом с ними справа.

Заявление к Od. v. 277.

Теперь этот случай как раз подходит для Od. v. 277: потому что θωρήσσεσθαι в собственном смысле не является глаголом движения: и, по всей вероятности, на него можно положиться независимо от дальнейших подробностей Гомера, потому что это позволяет легко проверить, благодаря уверенности, которую мы вполне можем принять, что Гомер приказал, чтобы порядок в его армии начинался слева направо, как и любой другой должным образом и благоприятно составленный порядок.

Однако предлагается другая интерпретация следующим образом: они, фокейцы, заняли позицию рядом (ἐμπλην) с беотийцами слева, то есть в армии; эти двое вместе как бы образуют ее левое крыло. Против этой конструкции, по-видимому, есть убедительные возражения:

1. Почему Гомер говорит нам, что беотийцы и фокейцы вместе составляли подразделение армии, когда он не сообщает нам ничего подобного ни об одном из оставшихся двадцати шести контингентов? Ни одна из этих рас не отличалась особыми успехами ни в политике, ни в вооружении.
2. Кажется очевидным, что беотийцы и фокейцы вместе не составляли подразделения армии: ибо в Тринадцатой книге беотийцы сражаются вместе с афинянами или ионийцами, локрийцами, фтианцами и эпейцами, но не с фокейцами. Il. xiii. 685, 6.
3. Беотийцы вообще не принадлежали к левому крылу армии, поскольку они защищают центр кораблей от Гектора и троянцев, имея впереди два аякса. Il. xiii. 314-16, 674-84, 685, 700; 701, 2; 719, 20.

4. Нигде нет ни малейшего признака того, что греческая армия вообще была разделена на фланги и центр.

5. Порядок в Каталоге - это географический порядок, а не порядок военного расположения. Поэтому Гомеру потребовалось рассказать нам, как были расположены войска в Обзоре. Этого он добился, сообщив нам, что фокейцы, второе из его племен, выступили справа от беотийцев; нам остается только считать, что это молчаливо повторяется повсюду, и порядок, таким образом, является полным и благоприятным. Но, согласно другой конструкции, Поэт начинает с композиции wings, о которой мы больше нигде не слышим, а затем он сразу же забывает и отказывается от нее.

6. Я не думаю, что ἐπ' ἄριστερὰ может быть истолковано как "слева от армии". Армия нигде не названа. Фразы ἐπὶ δεξιᾷ и ἄριστερὰ ἐπ' требуют, чтобы мы четко предмета в поле зрения. Его часто называют, например, ππ' ἄριστερὰ μάχης. Когда оно связано с предзнаменованиями, оно означает "на запад", ἀππιδέξια - наоборот. Опять же, οἱ νοχοεῖν ἐπιδέξια - это начинать наливать вино слева и ближе к правому концу шеренги, которую может обслуживать виночерпий. 'Армия' не упоминалась со времени повторной сборки в ст. 207.

Эти возражения кажутся мне фатальными для рассматриваемой нами сейчас конструкции. На самом деле они не затрагивают вопрос о том, следует ли интерпретировать ππ' ἄριστερὰ слева или (справа и) в левую сторону. Я думаю, это должно быть решено общими принципами предзнаменования, должным образом применяемыми к порядку и перечислению.

Таким образом, в целом я утверждаю, что неверно толковать Од. ст. 277: "плыть с Арктом *на* левой руке". Это было бы гораздо ближе к истине и фактически передало бы смысл, хотя и не в грамматическом смысле, если бы мы истолковали это как 'плыть с Арктом по правую руку'. Но способ толкования этого, грамматически и точно, как я утверждаю, таков: "плыть так, чтобы Арктус смотрел влево (своей рукой или левой рукой)"; то есть смотреть *справа от себя*. И вообще, что правильный режим толкования ἐπ' ἄριστερὰ и ἐπὶ δεξιᾷ в Гомере - это, к левой, к правой; или, наоборот, с правой, с левой.

Это значение в точном соответствии с Северо-восточной гипотезой и полностью противоречит Северо-западной. И я осмеливаюсь полагать, что, само по себе подтвержденное достаточными доказательствами из других отрывков поэм, оно позволяет нам придать существенное значение, хотя, возможно, и не вполне самосогласованное, хотя, конечно, и не основанное на истинной конфигурации земной поверхности, как это установлено сейчас, каждому отрывку Гомера, относящемуся к внешней географии "Одиссеи".

Как ἐπ' ἄριστερὰ и ἐπ' ἄριστερὰ χειρὸς используются многократно в гимне ртути[680]. Один из отрывков напоминает по своей форме отрывок с орлом, Ил. xii. 219. Он такой:

κεῖ το, χέλυν ἑρατὴν ἐπ' ἄριστερὰ χειρὸς ἔέρῃων.

И, вероятно, в основе идеи лежит та же самая идея. Действительно правильным греческим выражением для "по левую руку", как я полагаю, является χειρὸς ἐξ ἄριστερᾶς, которое используется Еврипидом[681].

Смысл изменен в более позднем греческом языке.

Но в более поздних греческих идея пункте прибытия преобладала над точкой: а, условно, по крайней мере, ἐπιδέξια, с его эквивалентом ἐνδέξια, стало означать просто 'справа' и ἐπ' ἀριστερὰ, на левой.' Стоит отметить, что у нас есть аналогичное двусмысленное употребление в английском языке слова *towards*. Иногда "налево" означает находиться слева; иногда это означает движение справа в направлении налево: а комната "на юг" означает комнату с окнами на север, выходящими на юг, подобно тому, как звезда Арктус смотрит слева от Улисса[682].

IV. ЭЙДОС.

РАЗДЕЛ I.

О сюжете "Илиады".

Теория Грота об "Илиаде".

Хотя в начале этой работы уже была выражена надежда, что, по крайней мере, для Англии основные вопросы, касающиеся гомеровских поэм, почти решены в утвердительном смысле; все же я не должен пройти мимо без внимания недавно выдвинутой теории Гроте. Я ссылаюсь на это отчасти из-за общего авторитета его работы; ибо этот авторитет может придать большую значимость, чем на самом деле заслуживает та ее часть, которая, как лежащая за пределами области собственно истории, возможно, была рассмотрена менее зрело, чем его выводы в целом. Но отчасти это также потому, что я не знаю, рассматривалось ли это где-либо еще; и больше всего потому, что обсуждение принимает позитивную форму; ибо ответ на его аргумент, который, возможно, может быть превращен в беспричинную гипотезу, полностью зависит от всестороннего представления об общей структуре стихотворения, а также о взаимной связи и адаптации его частей.

Гроте полагает, что поэма под названием "Илиада" делится на две большие части: одну из них он считает "Ахиллеидой", или поэмой, темой которой является гнев Ахиллеса, которая включает Первую книгу, Восьмую и все книги от Одиннадцатой до двадцать второй включительно; что Книги со Второй по Седьмую включительно, с девятой и Десятой, и две последние книги, являются частями того, что можно назвать "Илиасом", или общим описанием войны за Трои, которые были введены в оригинальную "Ахиллеиду", или "Общее описание войны за Трои". скорее всего, другой рукой; или, если автором был оригинальный Поэт, то все же к разрушению или большому ущербу поэтического единства его произведения.

В поддержку этой доктрины он призывает:

1. Что Книги со Второй по Седьмую включительно никоим образом не вносят вклада в основное действие и "написаны в духе, совершенно безразличном к Ахиллесу и его гневу"[683].
2. Что Девятая книга, содержащая полное исполнение желаний Ахиллеса из Первой, посредством "искупления и реституции"[684], на самом деле является завершением всей поэмы и делает абсурдным продолжение его Гнева: следовательно, а также из языка отдельных отрывков ясно, что "книги, начиная с одиннадцатой и ниже, составлены Поэтом, у которого нет

ни малейшего желания". знание этой Девятой книги (или, как я полагаю, добавил бы он, "кто не знает об этом"[685].')

3. Юпитер Четвертой книги несовместим с Юпитером Первой и Восьмой.

4. Жалкая прострация Агамемнона в Девятой книге несовместима с его духом и доблестью в Одиннадцатой.

5. Связь этих Книг с Первой Книгой плохая; поскольку "Сон Агамемнона" "не производит никакого эффекта", и греки побеждены, а не побеждены[686].

6. По последней из этих причин строительство стены и рва вокруг лагеря со стороны суши неуместно.

7. Десятая книга, хотя и относится в достаточной степени к тому, что предшествует, не имеет никакого отношения к тому, что следует за стихотворением.

Гроте убедительно опроверг предположение, что мы обязаны непрерывной "Илиаде"[687] трудам Писистрата, и показывает, что она должна была быть известна в ее непрерывности задолго до этого. Он помещает стихи между 850 и 776 годами до нашей эры[688]; признает великолепие большей части поэзии, которую он таким образом вырывает из контекста[689]; тем не менее, он, по-видимому, не удивлен предположением, что человек или люди, способные сочинять стихи в превосходной степени, составляющие его Ахиллесову книгу, должны быть настолько слепы к первостепенным требованиям такого произведения к его эффекту в целом, что он или они также могут быть способны таким образом испортить его единство, добавив восемь книг, которые не относятся к данной теме, к пятнадцати другим, в которых она уже была полностью обработана и удалена. И хотя наш историк склоняется к вере в существование множества авторов "Илиады", он не отвергает полностью предположение, что это может быть работа одного[690].

Предложение II. ix. и его отклонение.

Что касается Девятой книги[691], он более решительно относит ее к отдельной руке; и он без труда допускает, что гомеровиды могли предоставить людей, способных сочинить (например) замечательную речь Ахилла с 307 по 429 строки. Счастливых гомеров! и *феликс прол вирум*, счастливая земля, которая смогла их породить!

Мне кажется, что это дикие предположения. Ни против какого предположения не может быть более веских презумпций, чем против тех, которые, разделяя основные части поэмы, приводят к умножению числа Гомеров; и как бы Гроте ни думал сам, что расширения, подобные тем, которые он описывает, не предполагают с необходимостью по крайней мере двойного авторства, я полагаю, действительно, мало кто отыщется, кто, признавая его критику поэмы, утверждал бы, что она все же может быть творением единого разума. Еще меньше я могу думать, что кто-либо сейчас был бы удовлетворен предложенной последовательностью Книг или искаженными пропорциями, чем уменьшенными размерами произведения в целом.

Я скажу не то, что сторонник такой теории, но что такой сторонник любой теории имеет полное право на обсуждение вопроса, действительно ли эти пропорции искажены изменением, или же они, наоборот, восстановлены. Позвольте мне, однако, с самого начала заметить, что это общий аргумент, с которым буду осторожен только я. Я не признаю предполагаемых

расхождений[692]; но также нет необходимости подробно рассматривать каждый случай, поскольку Гроте признает, что его собственная теория не избавляет его от конфликта с конкретными отрывками стихотворения.

Что касается Девятой книги, то эта теория, по-видимому, исходит из неправильного представления о природе проступка, нанесенного Ахиллесом; что касается других, то из аналогичного неправильного представления о том, какой мерой величия своего героя Поэт хочет, чтобы мы его оценили, и о способах, которыми он хочет, чтобы мы пришли к нашей оценке.

Требуется время, чтобы проникнуть в глубины Гомера. Возможно, или даже скорее всего, многие разделяют идею о том, что Ахилла возмущает простая потеря плененной женщины, и что возмещение ущерба сразу же исправит причиненное зло. Но они неправильно понимают этот поступок, а также человека, которому было причинено зло. Душа Ахилла всколыхнута из своих глубин возмущением, которое, как ему кажется, заключает в себе все пороки. Он уязвлен привязанностью, которая стала нежной; ибо он дает Брисеиде имя жены (ῥοχον θυμάρσα) и заявляет о своей заботе и защите по отношению к ней в этом качестве. Гордый и чувствительный воин, он[693] оскорбленный перед лицом армии; и для греков, чьим руководящим чувством было αἰ δῶς, или честь, оскорбление было самым смертоносным из всех причинений. Кроме того, он обманут изъятием того, что государственная власть, руководящая распределением добычи, научила его называть своим; и он остро ощущает сочетание обмана с наглостью[694]. Справедливость возмущена в его лице, когда он единственный из воинов не получает доли добычи. В этом он справедливо видит неблагодарность тройной черноты; это сделано человеком, ради которого[695] он пришел в Трою без собственного интереса; это сделано человеку, чья рука, почти без посторонней помощи, заработала добычу, которую разделили греки[696]: наконец, это сделано с ним, от чьей доблести в основном зависела судьба их войска и надежды их предприятия, и чье простое присутствие на поле боя само по себе отталкивает и удерживает в стороне главных чемпионов Трои[697]. И, наконец, в то время как вся армия отвечает на молчаливого согласия и объявил им, (ἐπεὶ μ' ἄφελεσθῆ ἰ δόντες, Ил. я. 299,) оскорблять и неправильно исходить из одного, чья скупость и нерешительность сделали его в глазах Ахилла одновременно ненавистным и презренным[698].

Такова смертельная несправедливость, которая разжигает гнев Ахиллеса. И по мере того, как он размышляет о своих обидах, согласно закону благородной, но, следовательно, восприимчивой, а также свирепой и надменной натуры, пламя разгорается все жарче и требует все больше и больше, чтобы погасить его. Таким образом, его месть ужасающе прогрессирует и разрастается: и постепенно он достигает вершины яростной мстительности, которая до мельчайших подробностей рассчитывает способы, с помощью которых страдания ее объекта могут быть доведены до *максимума*, но при этом так, чтобы оставить нетронутой его собственную славу и открыть широчайшее поле для проявления своей доблести. Это не порок и не добродетель, которые Гомер описывает в своем "Ахилле"; это та странная и своенравная смесь уважения к праву и справедливости с себялюбием, с одной стороны, и гневом - с другой, которые так распространены среди нас, людей более скромного масштаба. Разница в том, что в "Ахилле" все составные части тела одновременно углублены до сверхчеловеческой интенсивности и возведены в масштаб великолепия, который почти превосходит наши способности видения. В самом деле, мы должны искать дидактической и педантичной последовательности в движении его ума не больше, чем в толчках от землетрясения или

вспышках пламени из вулкана. Но настоящая последовательность существует; и, несомненно, ее можно было бы измерить правилами каждого дня, если бы только каждый день порождал Ахилла.

Давайте теперь проследим за его ходом с пристальным вниманием.

Возмещение ущерба не является целью Ахилла.

Едва ли можно не обратить внимания на то, что дух Ахилла никогда с первого момента не заикливается на простом возмещении ущерба или на возмещении вообще в качестве своей цели. Зная о своем собственном могуществе, которого было достаточно, чтобы побудить его, если бы небеса не удерживали его, напасть на Агамемнона и убить его на месте, он, тем не менее, даже не допускает мысли о борьбе за удержание Брисеиды. Его мысль совсем иная: "Я и пальцем не пошевелю против кого-либо из вас из-за девушки, поскольку вы решили забрать у меня то, что сами дали" (298, 9). Я не стану держать зла на то, что ты сочтешь нужным. При этом он добавляет, что они не должны касаться статьи, которая по праву является его собственной[699]. Не то чтобы его заботило простое обладание. Если бы он так думал, он поднял бы непобедимую руку, чтобы удержать Брисеиду. Но его мысль такова: 'Ты нанес одно оскорбление правосудию и мне, и, поощряемый, а также по повелению великих божеств, я переношу это; но даже под их обещаниями и предписаниями я не потерплю, чтобы ты снова согрешил'. Утрата, которую он понес, теперь стала совершенно второстепенным образом в его сознании; наказание нарушителей, а не возмещение ущерба, всегда стояло перед его мысленным взором. Его первая угроза - это угроза ухода (Ил. i. 169), которая, по его мнению, положит конец хищническим накоплениям Агамемнона. Далее (233) он дает великую клятву, что каждый грек пожалеет о том дне, когда был неправ, и тщетно будет искать защиты у Агамемнона от меча Гектора. И снова, в своей молитве Фетиде, он умоляет, чтобы она побудила Юпитера обратить греков в бегство и устроить резню на кораблях и в море. Он никогда не мечтает о простом возмещении своей обиды: когда он ссылается на Брисеиду в великой речи Девятой Книги, это делается с целью убийственного сарказма против Атрид; его душа категорически отказывается рассматривать это дело в порядке судебного иска о возмещении ущерба; он не ожидает ничего меньшего, чем повергнуть греческое воинство ниц и подвести его к самому порогу полного и окончательного разорения, со сложной целью отомстить за зло, прославить справедливость, усилить страдания своего врага и возвеличить случай и достижения его собственного могущества, которые будут представлены, когда придет надлежащее время.

Предложение в корне неполноценно.

Герой уходит и остается в стороне. Греки, после паники и восстановления сил, решают продолжать войну без него. Но враждебные божества, менее сдержанные, чем дружественные, активно поощряют троянских вождей и армию в битве. Они распознаны греками, которые соответственно отступают[700]. Обнаружив, что вместо того, чтобы загнать троянцев в город, напротив, еще до единственной битвы Гектора и Аякса они сами понесли потери, они снабдили свой лагерь оборонительными сооружениями, в которых он никогда не нуждался, пока имя Ахилла и его доблесть удерживали врага либо в своих стенах, либо в непосредственной близости от города. Это происходит в Седьмой книге, и это первое упоминание о последствиях Гнева. В Восьмом случае они более решительно оказываются под божественным влиянием и возвращаются к своим делам, в то время как троянцы разбивают лагерь на месте битвы. Армия не понесла тяжелых потерь: однако слабая воля Агамемнона уступает: и, предвещая большее

зло, он во второй раз советует бежать[701]. Диомед и другие вожди горячо отвергли этот совет. Тем не менее, по неоспоримым признакам, ход их дел теперь изменился к худшему. В этой связи Нестор советует попытаться умиротворить Ахилла, предложив возмещение ущерба и подарки, а также тесный союз и включение в семью Агамемнона. Сейчас самое важное, чтобы мы заметили, что подарки и добрые слова были началом и концом этой миссии. Не было никакого признания в неправоте, санкционированного Агамемноном или сделанного Посланниками Ахиллесу. Описаны беды греков: Ахилла призывают отложить свой гнев; ему рассказывают обо всех прекрасных вещах, которые он получит в случае своего согласия; но ни одно слово в речи Улисса не передает признания, наконец полученного от Агамемнона в Девятнадцатой книге, что он оскорбил. Поэтому Ахилл не успокоен, но, я должен добавить, ни справедливость не удовлетворена, ни право не восстановлено.

Также необходимы извинения.

Подарки и обещания были не тем, чего хотел Ахилл. Напротив, для его воспаленного и неумолимого духа, который был меньше того, что он искал, и отличался от него, само их предложение вызывало новое раздражение. Само их предложение, сделанное таким образом, казалось, и в какой-то степени справедливо, подразумевало, что те, кто его сделал, должны были принять его за человека, чей разум был отлит по тем же мерзким образцам, что и у короля, нанесшего оскорбление. Действительно, у Ахилла должны быть дары, и их должно быть в избытке, когда он наконец будет умиротворен; но это не для того, чтобы пополнить список имущества: это для того, чтобы память о них поселилась в его уме и запечатлелась в летописи его жизни, подобно золотым украшениям, которые он носил на своей мужественной персоне, а именно, чтобы показать и дать почувствовать свою славу.

Я действительно не берусь утверждать, что у нас есть доказательства того, что Ахилл смягчился бы во время миссии, если бы вместе с предложением подарков были сделаны искреннее признание в неправоте и извинения за оскорбление. Напротив, к его высшим чувствам примешивалась непреодолимая страсть мстительного порядка. Это было как бы развращением или злоупотреблением, а не основой настроения отчужденного Ахиллеса: но оно было там, и здесь, как и все ахиллово, в колоссальных пропорциях. И все же я думаю, что недостаточно было замечено, что на самом деле работа над Девятой книгой была радикальноэффективной, потому что в ней рассматривалось дело как (если можно так выразиться) простой товар, которым можно распоряжаться, как остатком на счете.

Когда Ахилл обнаруживает, что желание отомстить за смерть Патрокла стало для него первостепенным, и, как следствие, отказывается от Гнева[702], это правда, что он не требует извинений. Но он также не оговаривает и подарки. Однако дано и то, и другое, и извинение идет первым в сбивчивой речи Агамемнона[703], который различает два вида искупления;

ἄψ' ἐθέλω ἄρεσαι, δόμεναί τ' ἄπερείσι' ἄποινα.

Если бы существовали какие-либо сомнения в реальности этого различия, они могли бы быть устранены доказательствами, которые приводит "Одиссея". Эвруал, который, по-видимому, был одним из второстепенных царей Схерии, еще не искупил своего оскорбления, нанесенного Улиссу, когда Алкиной порекомендовал, чтобы все двенадцать, принадлежавшие к этому ордену, сделали подарок уходящему незнакомцу. Но от Eurualus, как он замечает, требуется нечто большее; он должен принести извинения, а также подарок[704];

Εὐρύαλος δὲ ἔ' αὐτὸν ἄρεσσάσθω ἐπέεσσιν
καὶ δῶρ' ἔπει' οὔτι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.

И делается это соответственно, самым широким и откровенным образом.

Все это следует иметь в виду, когда мы оцениваем последовательность Поэта через посредство поведения Ахилла.

Ни малейшее опасение, охватившее Агамемнона и его армию, не могло заглушить его негодования. Они едва пригубили чашу горечи; он потребовал, чтобы они осушили ее до дна. Он и слышать не хочет о возвращении Брисеиды: τῇ παριαύων τερπέσθω[705]. Сочетая ожесточенные споры, ужасное осуждение и испепеляющий сарказм, он подавляет Посланников и заставляет их замолчать. Только Феникс может обратиться к нему, и то после долгой паузы и в слезах.

И все же могучий дух Ахилла колеблется взад и вперед в буре собственных эмоций. Он снова пригрозил им отъездом: велел им с горечью, которая поднимается далеко в область возвышенного, прийти на следующий день и посмотреть, если они сочтут, что такое зрелище может стоить того, чтобы его флот устремился домой через широкий Геллеспонт, или северную Эгею. Но такой образ действий помешал бы его стремлению к славе; которую, как он знал,[706], он мог купить, и то ценой своей жизни, только в Трое. Возможно также, что его смягчило уважение посланников, которые были лично ему приятны; возможно, он был мрачно доволен благоговейным страхом, который внушала его Титаническая страсть; возможно, на него подействовала прямолинейная прямота Аякса. Во всяком случае, ясно, что за речью вождя Теламониад последовала[707] большой признак уступчивости, чем любые отеческие увещевания Феникса или те самые искусно нарисованные картины Улисса[708] ярости Гектора было достаточно, чтобы произвести. В ответ Улиссу, чью пронизательность пронзил его ясный взор, он говорит: "Я пойду"[709]. В ответ Фениксу[710]: "Завтра мы решим, ехать нам или остаться". В ответ "Аяксу" он делает более разумный ход вперед. Теперь он настолько смягчается, что говорит им, что подумает о битве; но это произойдет только тогда, когда рука Гектора, несущая смерть грекам и пламя их кораблям, достигнет палаток и кораблей мирмидонян. Тогда у него будет достаточно времени: ибо тогда, в своем лагере и на своем темном корабле, он подтвердит, что будет следовать курсом Гектора, как бы ни стремился к битве[711].

Постоянство, сохраняемое во время и после Il. ix.

Таким образом, пока у нас, конечно, нет оснований утверждать, что Гомер отошел от цели своей поэмы, центром и движущим началом которой является человек Ахилл, а темой - его Гнев с его ужасными последствиями. Теперь эти эффекты развиваются до определенной точки: не до такой степени, чтобы действительно подвергнуть опасности армию или возбудить сильное сочувствие или опасения с ее стороны, но все же до такой степени, чтобы полностью укротить нерешительный эгоизм Агамемнона и заставить его, хотя и наполовину мужской характер, снова попытаться ухватиться за опору, которую он так опрометчиво и легкомысленно, а также эгоистично и несправедливо отбросил.

Если бы мы рассматривали Ахилла как участника простой личной ссоры, мы должны были бы осудить его без каких-либо оговорок за то, что он не принял возмещение, предложенное сейчас

Агамемноном. Но если мы примем во внимание, что совершенное зло было общественным злом, что не было сделано никакого признания этого зла, что другие цари и вожди, и вся армия, стали в некоторой степени участниками этого по своему молчаливому согласию, и что он, таким образом, был в такой же или большей степени защитником великих общественных прав, чем простым мстителем за личное оскорбление, не так уж очевидно, что поведение Ахилла после миссии Девятой книги в принципе не может быть оправдано согласно моральному кодексу Греции. Однако это, несомненно, должно оставаться предметом сурового порицания за излишество: вина, о наказании за которую Гомер в изобилии упомянул в продолжении поэмы.

Но этот вопрос кстати: основной поднятый вопрос касается поэтической последовательности и эффекта структуры, которую Гомер выбрал для своего произведения. В этом, безусловно, мало места для сомнений.

С Девятой книги мы начинаем заново: Ахилл в своем мрачном уединении, греки в мужественной решимости сделать все, что в их силах; даже Агамемнон теперь пробужден, чтобы почувствовать, что он навлек на армию, отбросил свою моральную нерешительность как вождя, обратив внимание на свою личную храбрость как солдата, и решил появиться на поле боя, чтобы и он мог там снискать свои лавры.

И эти намерения доблестно исполняются. Ночная вылазка Диомеда и Улисса хорошо известна как одна из незначительных, но безопасных мер, с помощью которых умелый полководец часто предпринимает свои первые попытки поднять дух подавленной армии. Затем появляется Агамемнон и показывает себя воином высокого, нет, высшего порядка силы и доблести. Другие цари проявляют свое обычное рыцарство. Но указ Юпитера, действующий с учетом военных случайностей, изгоняет трех из четырех великих чемпионов с поля боя и оставляет только Аякса; который, непобедимый, где бы он ни находился, все же не может быть везде или в одиночку управлять исходом битвы на всем протяжении линии фронта. А теперь наступают великие усилия и успехи троянцев, особенно Сарпедона и его ликийского отряда, Гектор играет скорее условную, чем реальную роль. Теперь грекам действительно приходится нелегко; огонь касается кораблей; Патрокл должен выйти и умереть; и Гневу пришел конец, ибо он утонул в горечи слез Ахиллеса.

Таким образом, что касается основной цели поэмы, то она неуклонно приближается к своей кульминации, и ни одна часть "Илиады" не отделяется от основного текста без того, чтобы не нарушить симметричное, мужественное и широкое развитие ее общего плана. Теперь я говорю об основной структуре стихотворения. Я полагаю, немногие, кто не готов разобрать это по частям, согласятся с предложением разделить это на две последние Книги, которые, следовательно, вряд ли нуждаются в отдельной защите.

Умелое согласование противоречивых целей.

Мне кажется вполне достойным внимания то, с каким необычайным мастерством Гомер ухитрился приспособить свою поэму к нескольким целям, которые он должен был иметь в виду. Великий, несомненно, был славой своей страны в лице Ахиллеса^[712]. И все же он был обязан не приносить поэтическую жертву боевой славе остальной Греции даже первому из них, какие бы бедствия он ни причинил армии из-за себя. Чтобы избежать этой жертвы, он был вынужден поддерживать военный характер и мощь греков в их борьбе с троянцами, даже когда был лишен

доблести их великого чемпиона Ахилла. И все же он не мог унижить Гектора и троянцев, иначе пришел бы к неубедительному выводу, украсив героев своей страны жалким и недостойным триумфом. Таким образом, ему предстояло прокладывать путь среди множества трудностей, которые наваливались на него с разных сторон.

Мы сразу видим, как неуклонно он держал в поле зрения свою полярную звезду; как он обращался с событиями и персонажами своей поэмы так, чтобы создать самое сильное, или, скорее, можно сказать, самое подавляющее, впечатление о величии своего героя, которое поднимается все выше и выше по ходу всего произведения. Давайте теперь рассмотрим, был ли он вынужден, отдавая полный размах своей главной цели, пожертвовать другими, которые также были важны, более того, было ли его целью наивысшее совершенство, даже необходимым.

Величайшая слава Ахилла подтверждается вот чем: во-первых, тем, что в Девятой книге вся армия, так сказать, лежит у его ног и оттуда отвергнута; во-вторых, тем, что, когда он, наконец, выходит, это происходит не из уважения к тем, кто его оскорбил, а под влиянием жгучих порывов его собственного сердца. Давайте теперь перейдем к выяснению, удовлетворил ли Поэт два других важных требования. Сделал ли он, как грек, все, что требовалось для прославления Греции, и является ли Ахилл только ее венцом или он ее замена? Отстаивал ли он, как человек, принципы морального порядка и той карающей справедливости, которая даже в этом мире явно поддерживает, по крайней мере, частичный баланс между человеческими действиями и их последствиями для действующего лица?

Слава Греции.

Я думаю, мы напрасно искали бы более тонкого проявления поэтического искусства, чем в том способе, которым Гомер ухитрился донести до нас как общую, так и в частности военную неполноценность троянцев по сравнению с греками. Вряд ли какой-либо читатель может быть настолько поверхностен в своем восприятии стихотворения, чтобы не воспрянуть духом от этой неполноценности, достаточно запечатлевшейся в его сознании. И все же нигде нет ни отрывка, ни слова, в которых это утверждалось бы. И почему? Потому что любое прямое утверждение о том, что троянцы были менее доблестны или менее сильны, чем их противники, сильно умалило бы славу победы над ними. Для творчества Поэта было важно, чтобы он представлял конкурс как трудный. Он мог бы сделать это грубым методом, для которого его теургия предоставила бы материалы: то есть, превратив своих троянцев в простых марионеток, чья рука на каждом повороте повествования просто представляла движущую силу того или иного божества и, независимо от такой посторонней помощи, была бессильна. Но это разрушило бы всю полноту человечности поэмы Гомера.

Как бы то ни было, он воспользовался божественным элементом, чтобы компенсировать его помощью сравнительную слабость троянских вождей: но это лишь незначительная и случайная помощь, так что между двумя партиями нет явной разницы в плане свободы действий. Не может быть бесцельным и то, что два божества, появляющиеся на поле боя от имени троянцев, а именно Венера и Марс, были изгнаны оттуда ранеными, одно скулило, а другое выло, благодаря доблести Диомеда. Если грекам суждено пострадать от рук богов, он позаботится о том, чтобы это было сделано не теми богами, которые являются простыми национальными сторонниками Трои, а высшими силами; по указу Юпитера, теперь, правда, временно, но эффективно, направленному против них.

Именно бесконечно большим количеством штрихов, каждый из которых бесконечно мал, Гомер достиг своей цели. Успехи троянцев всегда достигаются при содействии сверхъестественной силы; греки нередко обходились без нее, а иногда даже вопреки[713].

Он как бы описывает троянцев, так сказать, в общих чертах; но грекам, за некоторыми случайными исключениями, он сообщает все подробности серьезных достижений. Иногда он позволяет панике сомнений и страха овладеть их хозяином, но заботится о том, чтобы эти чувства лишь промелькнули, как мимолетная тень на солнце. Таким образом, когда собравшиеся вожди греческой армии не решаются принять вызов Гектора[714],

αἶ δ'εσθεν μὲν ἀνῆνασθαι, δεῖ σὰν δ' ὑποδέχθαι.

Но после короткого перерыва и надлежащего обращения появляются девять чемпионов, каждый из которых горит желанием встретиться с Гектором один на один. Иногда он умудряется направить свои восхваления на воинственную внешность, но тщательно избегает реальных штрихов героического характера; например, когда он дарует Парису благородное сравнение с στάτος ἴππος. Обычно он как бы подкупает троянцев высокопарными словами и оставляет почти все истинные качества героев, а также их подвиги за ахейцами. К ним относятся проницательность, последовательность, твердость, расторопность, предприимчивость, умение приспособливать средства к целям, всесторонность взглядов, а также основная сила рук. Но с помощью мер, о которых я упомянул, троянцы подняты до уровня, необходимого для того, чтобы сделать их достойными антагонистами, и поддерживаются на нем, но не более того. Он использовал для этой цели еще один механизм, а именно настоящую доблесть и мужественность ликийских царей и войск[715], к которому он, очевидно, испытывал сильную и своеобразную симпатию; чей вождь, Сарпедон, действительно лучший воин, чем Гектор, хотя и гораздо менее претенциозный; и который под руководством этого правителя достиг единственной реальной, великой цели. , и независимый успех, который можно найти на этой стороне на протяжении всего хода стихотворений, а именно, первое форсирование греческих укреплений[716].

Троянская неполноценность действительно гораздо более очевидна у вождей, чем у простых солдат. Между основной массой армии с одной стороны и с другой Гомер не представляет большой разницы — по крайней мере, никакой вопиющей. Иногда борьба ведется на условиях чисто равных[717], как в первой половине дня в Одиннадцатой книге: там, где есть превосходство, оно принадлежит грекам[718] или на троянцев[719], в зависимости от требований стихотворения. Тем не менее, он ухитряется указать на некоторое различие, чтобы провести грань между заслугами соответствующих успехов; таким образом, когда троянцы обращают греков в бегство, обычно имеется в виду, в более или менее общих чертах, божественная сила, стимулирующая их. Враждебное оружие действительно часто отвергается греками: но только в одном случае, я думаю, греки извлекают решительную выгоду из паники, вдохновленной Богом: это когда в Шестнадцатой книге Юпитер вселяет в Гектора дух страха[720].

Это отсутствие резкого контраста между двумя солдатами полностью соответствует тому, что мы имели основания предполагать относительно их состава, а именно, что рядовой состав с обеих сторон, по всей вероятности, состоял из родственных и пеласгийских рас.

Однако сильная зависть к своей стране всегда была преобладающим чувством в душе Поэта; и соответственно, он с большим искусством намекает на предположения, которые ставят даже троянских солдат несколько ниже греческих; в то время как вождям греческой армии, хотя его хвалебные эпитеты почти столь же высоки с одной стороны, как и с другой, он приписывает в действии огромное превосходство, как военное, так и интеллектуальное. Соответственно, когда мы подводим итоги реальных столкновений, мы поражаемся незначительности, почти ничтожности достижений троянцев и большому опустошению, причиненному их противниками, даже в период, когда Ахилл был в отчуждении[721].

Что касается армий в целом, обратите внимание на сравнения, используемые в Четвертой книге[722]. Греки движутся в тишине и дисциплине, подобно набухающим волнам, когда буря только начинает собираться: троянцы, как бесчисленные овцы, которые блеют в загоне, пока их доят[723]. В Пятой книге, хотя и упоминается, как бы вскользь, что Аполлон, Марс и Эрида возбуждали и поддерживали троянцев, добавляется, без видимой ссылки на этот намек, но явно искусно контрастируя с ним, что греки находили достаточные стимулы в увещеваниях двух Аджаксов, Улисса и Диомеда[724]. И снова, когда Гектор возвращается после битвы с "Аяксом"[725], своим товарищам, нам говорят, что они обрадовались, обнаружив, что он вернулся к ним в целостности и сохранности, вопреки их ожиданиям, ἄλπτοντες σόον εἶναι. С другой стороны, добавляется, греки привели Аякса к Агамемнону, ликуя от его победы над Гектором (κεχαρήota νίκη). Греки не испытывают благодарности, потому что они, как мы, очевидно, понимаем, не испытывали страха. И вождь радуется своей победе, которой она действительно была. Битва действительно закончилась вничью, хотя Аякс одержал верх на каждом этапе; но не столько ради чести Гектора, сколько ради целей поэмы, поскольку Гектору пришлось встретиться с Ахиллесом на поле боя, и он был бы унижен, столкнувшись с противником, которого любой другой явно превзошел. Чтобы сформулировать парадокс так, как Гомеру пришлось противостоять ему, проблема заключалась в том, чтобы сделать Аякса победителем, не позволив победить Гектора.

Очевидная неполноценность Вождей.

Когда мы рассматриваем дело вождей в целом, контраст бросается в глаза. Ни один первоклассный или даже второсортный греческий вождь никогда не погибал в честном бою: Тлеполе, убитый Сарпедоном, ближе всего подходит к этому званию, но не входит в него. Патрокл убит только после того, как был обезоружен Аполлоном; и здесь мне кажется, что на этот раз Поэт немного промахнулся; ибо выдумка грубая и покрывает мнимый подвиг Гектора несмываемым позором. Фактически, Гектор ни разу не добился значительного успеха на поле боя: хотя только Ахиллесу, первому греческому воину, позволено полностью одолеть его[726], Гектор явно уступает в бою как Диомеду, так и Аяксу, которые совместно занимают два следующих места, но между которыми Гомер решительно не выделил претендента на первенство. В общих чертах, он более выразительно отзывается об "Аяксе"[727], но он описывает все больше и больше доблестных поступков в пользу Диомеда.

Даже с Агамемноном Юпитер увещевает Гектора не вступать в спор, и он следует совету. Из троянских вождей, которые действительно сражались, большая часть была убита; Главк, Эней, Деифоб и Полидамас - самые значительные из тех, кто выжил. На самом деле ни одному выдающемуся троянцу никогда не позволено проявлять настоящий героизм, за исключением случаев, когда исход совершенно безнадежен: соответственно, Гомер никогда не окружал

Гектора истинным героическим величием, как на деле, так и на словах, до его последней битвы с Ахиллесом, когда он, наконец, загнан в угол и когда его гибель неизбежна. Все значительные увечья, нанесенные великим греческим вождям, были причинены по причинам, не предполагающим личной доблести их соперников: от стрел Пандара или Париса, или в результате случайного попадания какого-нибудь незначительного или, по крайней мере, второстепенного, но отчаянного троянца, такого как Сокус, или такого как Кун, пораженного в тот момент, когда он сам получил или вот-вот получит смертельный удар[728]. Если бы не эти позорные раны, которые были нанесены многим вождям, включая трех главных героев, Агамемнона, Диомеда и Улисса, греки, согласно источнику поэмы в ее нынешнем виде, вообще никогда не были бы загнаны обратно на свои корабли.

Противоречивые требования плана.

Итак, трудность Гомера в этом вопросе заключалась не просто в том, на что указывалось ранее или что обычно предполагалось. Его цель, говорит Хейн,[729], изображая бедствия греков, заключается в том, чтобы *изобразить, как Ахиллис виртус инсигниатур, что означает уничтожение, что человек умирает, а реддит побеждает*. Но это, безусловно, искажение сути дела. Гомер не представлял греков *плюс* Ахиллес превосходящими троянцев, а греков *минус* Ахиллес - уступающими им. Это было то, что сделал бы вульгарный художник, чей разум мог вместить только одну идею одновременно; более того, чего было трудно избежать, ибо для цели Гомера было жизненно важно, чтобы месть Ахилла была полностью удовлетворена: не следовало думать о том, что этому трансцендентному персонажу, этому идеальному герою воспротивился мужчина женского пола по рождению; вся паутина мысли Поэта была бы разорвана, случись сбой в таком пункте. То, что было необходимо с этой точки зрения, могло быть достигнуто только величайшими бедствиями греков. Он должен был вызвать эти бедствия и в то же время дать грекам реальное превосходство воинской доблести. Мы уже видели, как он добился последнего: как же ему удалось первое? Отчасти тем, что Ахиллес по праву своей матери Фетиды проявил такой интерес к небесным судам, что перевес божественной воли на то время оказался на стороне троянцев; отчасти тем, что умело использовал шансы войны, присвоив Трое превосходство в сравнительно низменном мастерстве (как оно тогда использовалось) владения луком. Таким образом, он заставляет греков терпеть поражение, несмотря на их превосходство: терпя поражение от них, он удовлетворяет требованиям своего сюжета; демонстрируя их превосходство, он выполняет условия своего собственного поста национального поэта. Упоминание об изобретательности Гомера может показаться странным, поскольку мы привыкли связывать его имя с идеями более возвышенными; но все же его изобретательность в этом согласовании противоречивых требований, предъявляемых к нему, кажется, такова, что ее никто не превзошел.

Греки превосходили даже без Ахилла.

И здесь я, со своей стороны, не могу не восхищаться тем, как Гомер поставил цели, которые другие сочли бы противоречивыми, в качестве вспомогательных средств. Посольство Девятой книги, безусловно, прославляет Ахилла: но давайте спросим, не помогает ли это также прославить Грецию? Давайте рассмотрим, что произошло. Отступление Ахилла сразу же было воспринято как сильный удар; и это повлияло на весь настрой армии. Это проявляется по-разному. Мы читаем это в тоске по дому на Втором Собрании (b. ii.); в совете Нестора принять меры для обеспечения ответственности офицеров и рядовых (ii. 360-8); в нерасторопности

различных вождей во время Обхода Агамемнона (b. iv.); в том, что в честь этого вождя было записано (iv. 223), что он не отступил от своего долга; наконец, в кратковременном нежелании греческих героев встретиться с Гектором (vii. 93). Все это совершенно естественно. Опершись на опору, они не сразу осознали свою оставшуюся внутреннюю силу. Они, как и все люди, которые не научились полагаться на себя, должны были учиться этому с болью. Следовательно, после самого первого прикосновения к сравнительной слабости в полевых условиях, они воспринимают идею вала. На самом деле они не потерпели поражения, но их враги научились смотреть им в лицо; теперь их положение было уже не таким, каким оно было раньше, когда Гектор не рискнул появиться перед Дарданскими воротами. Но возведение крепостного вала привело, что было естественно, к усилению слабости. Кроме того, Юпитер, видя, что ход событий не должен был дать Ахиллу достаточно быстрого и решительного триумфа, теперь препятствовал участию тех божеств, которые были дружественны Греции, в то время как он сам (viii. 75) встревожил и смутил греков своим громом. Таким образом, они чувствуют, что еще на целую стадию погрузились в слабость. Что может быть естественнее, чем обратиться к Ахиллу и испытать его расположение к ним? Это происходит в Девятой книге. Затем они впервые практически знакомятся с яростью семикратно раскаленной печи Гнева. Этот опыт учит их, что они должны действовать или умереть. Итак, наконец, мост позади них разрушен, и Греция собралась с духом. Доблестный Диомед становится одновременно выразителем рыцарства и здравого смысла. 'Тебе не следовало спрашивать его. Спросив, ты ободрил и ожесточил его. Оставь его в покое. Полагайтесь на себя. Подкрепитесь сном и хорошей едой, а затем отдайте приказ войскам и займитесь ими: Я, со своей стороны, буду найден в фургоне[730].' Тогда греки осознают свое положение и, отбросив надежду от Ахилла, возлагают ее на самих себя. Отсюда то большое проявление доблестной энергии в Одиннадцатой книге, которое доказывает, что в равном бою, даже несмотря на отсутствие Ахилла, у Трои не было надежды: так что прием случайных ран, выводящий из строя всех лучших воинов, кроме Аякса, абсолютно необходим для того, чтобы вызвать необходимое количество катастроф. Признаюсь, мне кажется, что это виртуозная настройка, одинаково верная по своей природе и высокая по искусству.

Но сначала, после сильного отпора, появляется пилотный шар, пробное усилие Долонеи.

Рядом с мастерством и силой, с которыми Поэт описал характеры своих великих греческих героев, я испытываю искушение восхититься осмотрительностью и точностью, с которыми он распределил их относительную степень значимости в действии. Тем, кто жалуется на Долонею из-за отсутствия цели, я бы ответил, что, во-первых, помимо ее достоинств как операции с учетом обстоятельств момента (поскольку она как бы кормит армию молоком, когда они еще не готовы к крепкому мясу), она заметно меняет характер боевых действий, которые без нее впали бы в нечто сонное однообразие, заменяя силу стратагемой, а дневные конфликты - ночными приключениями. Пусть те, кто сомневается в этом, вычеркнут Десятую книгу, а затем подумают, каким был бы ход военных действий поэмы без нее: насколько более справедливо первая часть военных действий поэмы была бы подвержена обвинению в однообразии, которое даже сейчас по необходимости является главной опасностью всей поэмы. Но более того: я утверждаю, что Долонея составляет, в основном, *ῥιότης* α Улисса. Его выдающаяся роль во Второй книге носит исключительно политический характер и не имеет отношения к его военной квалификации. Его обычные военные подвиги в других местах второстепенны и к тому же разрозненны. Отведение ему значительной доли участия в полевых операциях было бы гораздо менее тщательной подготовкой, чем та, которую сейчас предлагает "Илиада", к его появлению в "Одиссее"; и это также поставило бы под угрозу сходство между его достижениями и другими *ῥιότης* α великих

вождей. Кроме того, на поле боя, как тогда понималось боевое искусство, было мало места для его отличительных качеств - уверенности в себе, присутствия духа, изобилия ресурсов. Но военное отличие, даже во времена Гомера, заключалось в двух больших областях, одна из которых известна как битва (μάχη), другая - как засада (λόχος). Последнему не было равных, более того, из-за более острого испытания морального мужества[731], оно было даже удостоено еще большей чести. К этому классу, по сути, относились ночные приключения. Здесь Улисс чувствует себя как дома. В "Долонее" Диомед - всего лишь меч в руке Улисса, который руководит операцией и отвергает своего храброго товарища, когда считает нужным, как, например, в случае с убийством Долона. Каким другим способом Гомер мог бы дать нам столь же характерную иллюстрацию военных качеств Улисса?

Гармония в относительном положении Вождей.

Теперь этот вид Долонеи, я думаю, заполняет то, что в остальном следовало бы признать пробелом в стихотворении. Заполнив его таким образом, давайте понаблюдаем за точностью, с которой роли в действии поэмы распределены между соответствующими вождями. Нестор занимает особое место в качестве универсального советника. Улисс, который, как великий близнец Ахилла, никогда не должно быть позволено ни перед кем предстать в свете неполноценности, также удается так, чтобы не затмевать мощь Аякса или храбрость Диомеда; и все же все его атрибуты сохранены в целости для той великой роли, которую ему пришлось сыграть в "Одиссее", и он никогда не побежден, никогда не сбит с толку, никогда не превзойден. Затем Аяксу, Диомеду, Агамемнону, Менелая, даже престарелому Идоменею разъясняют каждый этап в разное время и с размахом, пропорциональным их многочисленным претензиям к нам. Сами интервалы между их несколькими появлениями сделаны как можно шире: ибо Диомед в Пятой и Одиннадцатой книгах, Аякс в Седьмой, Агамемнон в одиннадцатой, Идомений в тринадцатой[732], Менелай в Семнадцатой. Аякс выделяется чистой мощью, Диомед - чистой доблестью души и тем, что называется *стремительностью*; достоинство Агамемнона как воина умело поддерживается, но при этом он не вступает в соперничество с этими двумя еще более великими героями, поскольку Гектору советуют избегать его. Менелай, уступающий по силе, хотя и обладающий духом не менее храбрым, чем кротким, успешно справляется с поставленной задачей благодаря тому, что он встречается только с подходящими противниками, и те же усилия прилагаются от имени Идоменея. Для Патрокла, как друга и второго "я" Ахиллеса, плодотворное изобретение Гомера обеспечило своего рода отличие, которое не вытесняет других и которое, несмотря на это, ни один из них не затмевает. Он обращает троянское воинство; он убивает великого Сарпедона; сам он погибает только в результате нечестной игры. Я не могу оправдать неуклюжее вмешательство Аполлона и низость роли, сыгранной Гектором в этом кардинальном этапе его карьеры; тем не менее я нахожу любопытным и поучительным наблюдать во всем этом новый пример особой заботы, с которой Поэт следит за характером, особенно за своим Ахиллесом. Он возвышает его, возвышая сначала те второстепенные возвышения, намного выше которых он заставляет его возвышаться. Следовательно, он действительно хотел, чтобы Гектор убил Патрокла, но не победил его; и ради этой важнейшей цели он, по-видимому, принес, возможно, неизбежные, значительные жертвы.

Таким образом, в целом может показаться, что Гомеру приходилось сохранять сложное отношение к множеству объектов. Прежде всего, необходимо было проследить за отношениями между Ахиллесом и всеми другими персонажами его поэмы по обе стороны конфликта. Затем, распределяя своих младших альпийцев, других главных или выдающихся греческих воинов, по этому великому альпийскому региону, он должен был иметь в виду и обеспечивать их отношения друг к другу, а также к нему. Наконец, он должен был вознести Гектора и троянцев так высоко, чтобы победа над их вождем стала его высшим подвигом, и в то же время так низко, чтобы они не стояли неудобно между греками и такими национальными героями, как Улисс, Диомед, Аякс и Агамемнон. Подобно Юпитеру на Иде[733], ни от одного из этих объектов он никогда не отводил своего яркого и зоркого ока; для всех них он предусмотрел все одинаково обдуманно и умело.

Остается только рассмотреть схему сюжета применительно к Провиденциальному правлению миром и отправлению карательного правосудия; тема, с которой умело справился мистер Грэнвилл Пенн[734].

Я не могу согласиться с тем широким различием, которое часто проводится между положениями, сделанными для достижения этой великой поэтической и нравственной цели в "Илиаде" и в "Одиссее" соответственно. В каждом из них я нахожу это не только замечательным, но даже тщательно продуманным. В каждом стихотворении Гомер демонстрирует, помимо всего прочего, один избранный человеческий характер с наиболее развитым развитием. Но разнообразие - это ключевая нота развития событий в "Одиссее", величие или размах в "Илиаде". Ураганные силы, которыми изобилует характер Ахиллеса, влекут за собой большее отклонение от пути мудрости. Но нет недостатка в соразмерном возмездии. Улисс, после долгого и терпеливо переносимого курса суровой дисциплины, даровал ему мирную старость и спокойную смерть на своей бесплодной, но любимой Итаке, в окружении процветающего народа. Ахиллес, с другой стороны, настолько богат великолепными дарами, что, какой бы замечательной ни была их гармония во всех отношениях, кроме одного, этот один является центром. У него нет такой же неизменной и центральной твердости морального равновесия. Сам по себе галантный, справедливый, великодушный, утонченный, но все же недостойный человек может довести его до крайности гордыни и свирепости, которые требуют сурового исправления. Отсюда следует, что, в то время как невзгоды Улисса - это путь к миру, трансцендентная слава Ахилла сопровождается чередой всепожирающих мук; соперничающие возбуждения лютой боли и еще более лютого удовольствия сопровождают его на пути, который вскоре и внезапно нисходит в ночь мрачной смерти. Как в том, так и в другом случае сохраняется равновесие морального порядка; и что Эринус, которая во многих отдельных отрывках поэм появляется в миниатюре, чтобы утвердить вечные законы, такими, какими их воспринимала героическая эпоха, также в полном развитии руководит общим действием каждой из этих необычных поэм.

Караящее правосудие в двух стихотворениях.

Караящему правосудию, неразрывно переплетаются с Хучеловек судьбы (ибо так сильно Erinūs оное) песни и собаки Ахилла на каждом этапе. Возьмем его, к примеру, таким, каким он показан в Девятой книге, на вершине своей гордыни. Он отталкивает Посланцев отнюдь не в легком или радостном настроении. Кто из читателей, кажется, не *видит*, как корчится его душа, когда он описывает горячее и распирающее негодование в своей груди, жгучее воспоминание о

безобразиях, которым он подвергся[735]. Даже своим неудержимым любопытством, которое заставляет его взобраться на свой корабль, чтобы посмотреть, и послать Патрокла узнать о ходе битвы, Гомер показал нам, насколько ложным было любое подобие покоя, которым он даже сейчас мог наслаждаться в своем головокружительном восторге.

Крепостной вал пробит, корабли добрались до него, брошена головня, и первый греческий корабль горит. Ахилл не должен отступать от своего слова, но теперь его беспокойство находит выход - послать Патрокла на битву. В то же время он принимает все меры предосторожности, какие только может подсказать мудрость: он облачает своего друга в его собственные доспехи, призывает мирмидонян поддержать его, прежде всего предписывает ему ограничиться оборонительной войной и не следовать за троянцами в город, когда они будут отброшены. Что же тогда происходит с ним? То, что часто случается с нами самими: когда мы отворачиваемся от мудрости, мудрость отворачивается от нас. Ахилл настаивал на катастрофе, постигшей его соотечественников. Когда это произошло, это вынудило его отослать своего друга, и бедствием, которое он сам навлек на себя, была смерть человека, которого он любил больше собственной души.

И почему погиб Патрокл? Дело было не в том, что Ахилл неосмотрительно подвергал его риску, превышающему его силы. Он вполне мог встретиться с Гектором. Гектор не стремился, пока битва велась на кораблях, столкнуться с этим вождем. И Ахилл повелел ему сражаться только на кораблях, чтобы, если он попытается захватить город, божество не выступило против него[736]. Патрокл послушался и соответственно погиб. Как Ахилл отказался следовать законам мудрости для себя, так и когда он тщательно подчинился им, они не помогли ему спасти его друга. Небеса сражались против Патрокла; Юпитер, поразмыслив, соблазнил его покинуть корабли, заставив Гектора лететь к городу; и теперь совет Ахилла был сбит с толку, как он сбивал с толку советы других, был пущен дротик, который должен был пронзить его душу за живое.

Двойная победа над Ахиллесом.

Таким образом, его гордая воля была обречена на страдания. За страданиями следует примирение и кульминация его славы и мести в смерти Гектора. В этих Книгах мы видим, как он движется с почти сверхъестественной мощью, когда весь мир, так сказать, и все его силы находятся в подчинении его руки! Но он всего лишь перешел от одного избытка чувств к другому: от мстительного избытка чувств по отношению к грекам к другому мстительному избытку чувств по отношению к Гектору. Увечье и бесчестие тела его убитого противника теперь стало вторым идолом, будоражащим глубины его страстей и приводящим в замешательство его разум. Таким образом, выплачивая свой старый долг вечным законам, он уже заключил новый. И снова, его гордую волю нужно научить склоняться. Отсюда, как хорошо показал мистер Пенн, необходимость Двадцать четвертой книги с ее прекрасным механизмом[737]. Ахилл должен отказаться от любимого объекта своего вождения, от свершения своей мести на неодоушевленном трупe. В этом случае, как и прежде, он подавлен, и оба раза это происходит благодаря его нежной привязанности. Но в обоих случаях его злонамеренное удовлетворение пресекается, и авторитет провиденциального порядка восстанавливается. Греки ведут свою праведную войну: останкам Гектора должным образом оказано уважение, предписанное природой, и поэма заканчивается стихотворением, которое заверяет нас, что это обязательство было должным образом и мирно исполнено.

Придерживаясь этих взглядов, я нахожу в сюжете "Илиады" достаточно красоты, порядка и структурированности, не просто подтверждающих предположение о ее собственном единстве, но и несущих независимое свидетельство, если оно все еще потребуется, существования личного Гомера как ее автора.

РАЗДЕЛ II.

Чувство прекрасного у Гомера; человек, животное и неодушевленное.

Идея Красоты, особенно поскольку она связана с ее наиболее ярким известным проявлением в человеческом облике, и, опять же, фторѧ, или искажение этой идеи, имеют каждый свой отдельный ход и историю в религии и нравах, а также в искусстве Греции. Под идеей Красоты я подразумеваю здесь представление о ней в человеческом сознании как о чистой и чудесной сущности, почти сродни Божественной; происходящей с небес и постоянно и спонтанно стремящейся вернуться к своему источнику. Под искажением этой идеи я подразумеваю представление о ней либо в основном, либо полностью применительно к наслаждению животных; иногда в рамках, а иногда и за пределами законов Природы.

В произведениях Гомера мы находим первую из этих концепций чрезвычайно выдающейся и мощной. Оно приближается почти к богослужению, и все же едва ли вообще запятнано вторым, едва ли представляет малейшее отклонение от самого возвышенного типа. У Гомера, то есть в гомеровских описаниях человеческих характеров и жизни, мы никогда не находим приятной связи Красоты и порока: он, кажется, чувствовал в святилище своего разума по крайней мере это, если не больше; что отступление от чистоты само по себе влечет за собой нисхождение от высшей формы красоты к низшей: и поэтому он никогда не связывает свои высочайшие описания красоты с пороком, отличаясь этим не только от стольких языческих, но даже от многих христианских авторов.

Традиции Дарданидов.

Но все же наиболее примечательно, что даже во времена Гомера уровень народных традиций в отношении красоты начал снижаться, и хотя он избежал порчи, все же она коснулась его возраста. Давайте, например, возьмем ту самую поразительную серию традиций в королевской семье Дардании, которые описаны в поэмах Гомера. Эта семья, по-видимому, обладала личной красотой, которая почти неизбежно передавалась по наследству. Не только Гектор, Деифоб, Эней, а также Парис обладали им, но и Приам, даже в старости и немощах, был божественно красив, когда входил в покои Ахилла; и, когда они сидели за едой, и он восхищался Ахиллесом, Ахиллес отвечал на его восхищение^[738].

Линия традиций в этой семье, о которой я сейчас говорю, представляет собой лучшую иллюстрацию идеи красоты как вечного стремления по внутреннему закону подняться к небесной жизни. Есть четыре таких традиции: и по мере того, как мы переходим от более древней к более новой, на каждом шаге, который мы делаем, мы теряем какое-то зерно первоначальной эфирной чистоты. Самым ранним из них является перевод "Ганимеда", с тех пор грубо и необоснованно названный "Похищением": действительно, так его называют последовательно, в соответствии с идеей басни, которая преобладала в более поздние века, но наиболее абсурдно, если его применять к традиции в том виде, в каком она существует у

Гомера. Для него "повесть о Ганимеде" является наиболее простым и совершенным утверждением принципа, согласно которому красота, небесная по своему происхождению, небесна и по своему предназначению; и что рожденные на небесах и привязанные к небесам не должны подвергаться порче при ее промежуточном прохождении. У Троса, говорит Гомер, родилось три сына: Илус был одним, Ассаракус другим, а третьим был Ганимед, достойный богов. Ганимед, прекраснейший из людей, которого за его красоту и, по-видимому, до того, как он достиг зрелости для наследования, боги схватили и сделали виночерпием Юпитера, чтобы он мог вечно обитать среди Бессмертных[739]:

ὅς δ' ἡ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·

τὸν καὶ ἀνῆρείψαντο θεοὶ Διὶ οἱ νοχοεύειν

κάλλεος εἴνεκα οἷοι, ἵν' ἀθανάτοισι μετείη.

Идея святости, действительно, не должна быть обнаружена здесь; ее следы можно найти только среди богодухновенных записей; сходство с божеством не выходит за пределы плоти и разума; тем не менее итог рассказа полон интереса. Другие сыновья выросли и стали царями; он, чтобы не задерживаться, не страдать, не заразиться скверной или подвергнуться разложению на земле, был взят в ту сферу, которая является истинным домом всего прекрасного и благого.

Эта мысль в какой-то степени перекликается со следующими замечательными строками Эмерсона:

Может быть, не он, а природа больна;

Потерпел неудачу мир, а не младенец.

Он еще не созрел для поддержания

Гений столь тонкой натуры,

Кто смотрел на солнце и луну

Как будто он пришел к своему:

И переполненный своей более грандиозной мыслью,

Поставил под сомнение старый порядок.

Его красота однажды испытала их красоту;

Они не смогли его накормить, и он умер,

И попятился назад, словно с презрением,

Ждать целую вечность, прежде чем родиться.

Поскольку предание о Ганимеде, согласно Гомеру, ниже предания о Енохе, оно находится на еще большем расстоянии от более поздней версии того же рассказа. Таким образом, у Еврипида мы находим его διὸς λέκτρων τρυφῆμα φίλον (Iph. Aul. 1037): и что еще печальнее - обнаружить, что эта совершенно униженная и подавленная идея возобладала над

первоначальной и чистой, вплоть до ее исчезновения, и была принята и распространена высшими и низшими поэтами итальянского романа[740].

Следующим по порядку предания о Ганимеде является предание о Титоне, который из-за своей красоты был вознесен не богами в целом, чтобы стать одним из них, а Авророй, чтобы стать ее мужем, в этом качестве он остался в верхних областях[741]. Это шаг вниз, но следующий - это шаг вперед. В третьей традиции, насколько известно из подлинных произведений Гомера, Эней является сыном Венеры и Анхиза, но без их статуса мужа и жены. Подробности повествования изложены в раннем гимне, который, возможно, легче всего приписывали Гомеру, поскольку считалось, что он воплощает примитивную форму традиции. Юпитер внушил Венере страсть к Анхизу, и, облачившись в прекрасные одежды и золотые украшения, она предстала перед ним, когда он в одиночестве играл на лире на Иде; когда была установлена связь, породившая Эней[742].

Следующее падение - величайшее из всех: согласно более поздней традиции, Венера, чтобы добиться благоприятного решения Париса (следующего поколения после Анхиза), подарила ему жену великолепной красоты и божественного происхождения, которую он должен был заполучить путем предательства и грабежа, а также прелюбодеяния; и наполнила его тем, что Гомер называет злой страстью[743].

Поэт, действительно, ничего не сообщает нам об этом обещании, которое, по-видимому, подразумевает силы, гораздо большие, чем те, которыми обладала гомеровская Афродита. Но он упоминает конкурс, сообщает нам, что победительницей стала Венера, заставляет Парис хвастаться своим пристрастием и представляет ее как упоминающую о своих благосклонностях к Хелен[744].

Таков был нисходящий путь всего в природе человека, что относилось к сфере морали, за исключением оберегающей силы Божественного Откровения; ибо хронологический порядок этих легенд также соответствует их нисхождению, шаг за шагом, от невинности к пороку.

Гомер, как мы уже видели, олицетворяет очень раннее и целомудренное состояние человеческой мысли. Теперь мы должны проследить, насколько сильным и неподдельным, а также чистым было его стремление к красоте.

Поскольку здесь, как и везде, не в обычае Поэта заявлять о себе с помощью четких заявлений и подробных описаний, мы должны обычным образом прибегнуть к вторичным доказательствам; которые, однако, сходясь со многих разных и противоположных сторон в одном пункте, возможно, более убедительны, чем простое утверждение, поскольку показывают, что мы имеем дело не с простым мнением, а с чувством, страстью и привычкой, которые пронизывают всю натуру Поэта.

Я обращаю внимание на чувство красоты Гомера, относящееся, во-первых и главным образом, к человеческому лицу и фигуре; во-вторых, к животным; и, в-третьих, к неодушевленным предметам и их сочетаниям.

Что касается первой и главной ветви этого исследования, мы должны заметить, каким людям и в какой степени Гомер приписывает красоту, от кого он ее скрывает; и насколько, по его мнению,

это дает право на особое внимание в случаях, когда никакие другие претензии на такое различие не могут быть обоснованы.

Таким образом, мы можем заметить, что Гомер обычно не приписывает личную красоту какой-либо человеческой личности, которая является морально одиозной. В любом сомнительном случае, когда он это делает, он, по-видимому, следует исторической традиции или ограничен своим предметом. Он покрыл Терсита всевозможными уродствами; и в описании лиц и двенадцати распутных женщин из пятидесяти домашних слуг Улисса едва ли есть слово, подразумевающее красоту[745].

Меланто действительно, самый заметный преступник, назван в "Восемнадцатой Одиссее"[746] καλλιπάρης. Но представляется вероятным, что он следовал местной традиции относительно нее; ибо, если бы она была просто его собственным творением, он, конечно, не представлял бы ее дочерью старого и верного Долия[747], который вместе со своими шестью сыновьями сражался за Улисса.

Рассказ о красоте Парижа.

Так и красота Парижа была неотъемлемым эпизодом троянской сказки. И все же удивительно, как мало она освещена. Там, где его называют красивым, это делается в порядке сарказма и упрека[748],

Δύσπαρι, εἴ δὲς ἄριστ'.

Единственный отрывок, в котором вообще описывается его прекрасная внешность, - "из уст Венеры"[749], которому Гомер никогда не доверяет ничего, ни сказанного, ни сделанного, к чему он хотел бы, чтобы мы относились благосклонно.

Вынужденный, однако, подчеркнуть внушительную внешность этого принца, хотя бы для того, чтобы усилить контраст с его трусостью в бою, он представляет его размахивающим парой копий в начале Третьей "Илиады"; и более того, когда он снова выходит вперед в своем недавно отполированном вооружении в конце Шестой, дарует ему одно из самых благородных своих сравнений - коня, которого держат в стойле, откормленного и лоснящегося, который, вырвавшись из яслей, с ржанием мчится по равнине[750].

Для создания истинного портрета Париса было необходимо, чтобы его внешность была великолепной, а движения внушительными; и это также было частью тонкого плана, с помощью которого Гомер использовал слова и внешность, чтобы поднять троянских вождей и народ на какой-то уровень с греками. И все же есть нечто необычное в том факте, что Гомер, который, я думаю, не повторяет своих сравнений ни в одном другом примечательном случае, воспроизводит весь этот великолепный отрывок из Пятнадцатой Илиады для Гектора[751]. Здесь, мы можем на это положиться, есть какой-то особый смысл. Возможно, он был недоволен исключительным предоставлением столь великолепного отрывка столь презренной личности. В его поведении есть и еще одна странность. Сравнение дано Гектору без добавления, и стихотворение продолжается

ὣς ἔκτωρ λαίψηρόπιδας καὶ γούνατ' ἐνὶ ῥῆμα.

Но там, где он применяет это к Парижу, сразу после завершения благородного отрывка он присоединяет (Ил. vi. 512):

ὥς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγᾶμου ἄκρης

τεύχεσι παμφαίνων, ὥστ' ἡλέκτωρ, ἐβεβήκει.

Что означает ἡλέκτωρ? Обычно его принимают за эквивалент ἄλλεκτωρ Ὑπερίων, что означает Солнце. Я не могу не верить, что Гомер подразумевает под этим обозначение петуха, называемого по-гречески ἄλέκτωρ. ἡλέκτωρ Ὑπερίων используется как сравнение для Ахилла; и было бы очень против манеры Гомера использовать одно и то же сравнение для Трояна и этого троянца Париса. Принимая во внимание, что под стойкой петуха он может подразумевать уменьшение и модификацию эффекта благородной фигуры стойловой лошади.

Красота греческих вождей и нации.

Ахилл, который не только самый храбрый, но и, безусловно, самый могущественный мужчина воинства, также, безусловно, самый красивый; и самые сильные термины используются для описания впечатления, которое его появление произвело на Приама среди глубочайшей скорби[752];

θαύμαζ' Ἀχιλῆα,

ὅσσοις ἔην, οἳ ὅς τε θεοῖσι γὰρ ἅντα ἐύκει.

Можно усомниться, отважился ли бы какой-либо другой Поэт соединить высочайшую и утонченнейшую красоту с силой и размерами, приближающимися к сверхчеловеческим. Ахиллесу, как идеальному мужчине, требовалось не только не иметь большого человеческого дара, но и обладать в несравненной степени всеми дарами, которыми он обладал. Красота Ахилла - истинное воплощение уродства Терсита.

Характеру Улисса, который следует за Ахиллесом, присуще то, что он тоже не должен испытывать недостатка ни в чем, что относится к совершенству человеческой природы; в то время как полнота и многообразие являются специфической чертой его дарований, подобно несравненному великолепию тех, которыми обладает Ахиллес. Улисс[753], следовательно, тоже красив. Опять же, должность и функции Агамемнона требуют, чтобы он был объектом, способным вызывать восхищение и почтение. Он, соответственно, замечательной красоты, но такой красоты, в которой больше всего достоинств[754];

καλὸν δ' οὕτω ἐγὼν οὕτω ἶδον ὀφθαλμοῖσιν,

οὐδ' οὕτω γεραρόν.

Гомер никогда полностью не скрывает красоты ни от одного из своих греческих героев, однако он не всегда прямо заявляет, что они обладали ею. Этот дар, например, никогда не давался Диомеду, но он приписывается Аяксу в "Одиннадцатой одиссее"[755];

ὅς ἄριστος ἔην εἴ δός τε, δέμας τε,

τῶν ἄλλων Δαναῶν, μετ' Ἀμύμονα Πηλεΐωνα.

Вероятно, именно потому, что Диомед равен Аяксу в рыцарстве и намного превосходит его в умственных способностях, Гомер придал вес Аяксу, прямо приписав ему, хотя и умалчивает о Диомеде, дар прекрасного человека.

Как с отдельными людьми, так и с массами Гомер имеет дело. Можно заметить, что у него для троянцев более низкий класс эпитетов, чем у греков, и он никогда не позволяет им пользоваться теми же национальными обозначениями. Индивидуальная красота мужчин с обеих сторон ограничивается высшими чинами; но ни один троянец, каким бы красивым он ни был, никогда не удостоивался титула *ἀνθρς*. Опять же, хотя он никогда не дает троянцам в целом никакого эпитета, который описывал бы их как обладающих красотой, он приписал греческой расе несколько выражений этого порядка. Таковы эпитеты *καρχομόωντες* и *ἐλίκωπες*, а фраза *εἴ δὲ δὸς ἄγητοί*, (Ил. В. 787. раздел VIII. 228.)

Красота Нирея и другие.

Нам еще предстоит изучить, в какой степени Гомер делает красоту предметом особого внимания тех, у кого нет других притязаний. Отрывок в Каталоге, где Nireus назван [756], весьма любопытен в связи с этой частью предмета. Это выглядит следующим образом:

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας εἴσας,
Νιρεὺς, Ἀλατῆς υἱὸς Χαρόποιο τ' ἄνακτος,
Νιρεὺς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν
τῶν ἄλλων Δαναῶν, μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
ἄλλ' ὀλαπαδνὸς ἔην, παῖρος δέ οἱ εἵ πετο λαός.

Эти пять строк составляют самое большое из чисто личных описаний, содержащихся в Каталоге. И все же они даны человеку, о котором нам откровенно говорят, что он был бедным созданием и что у него было очень мало последователей. Даже это не показывает всей силы аргументации.

1. У него было всего три корабля: ни один другой командир, у которого их было так мало, вообще не назван. Следующее по величине число - семь: это были сосуды Филоктета, и, по-видимому, они названы так из-за его особой истории и больших заслуг.
2. Это единственный случай, когда контингент, поставляемый одним и совершенно незначительным местом, назван сам по себе.
3. Это также один из очень немногих случаев обычного рождения, когда мать (Аглая) названа так же, как и отец (Чаропос): остальные обычно являются случаями предполагаемого происхождения от божеств или героев.
4. Имена, данные обоим родителям, взяты из-за их личной красоты. Таким образом, они усиливают титул сына; и, поскольку мы не можем вполне предположить, что они связаны с историей, они, вероятно, были придуманы Поэтом для этой цели.

5. Повторение имени Нирея трижды, и в каждом случае в начале стиха, в наиболее заметной и выразительной его части, в соответствии с гениальностью греческого гекзаметра, явно намеренно.

6. Вся эта забота предпринята самым изобретательным образом, чтобы отметить человека, который ничего не сделал для того, чтобы Гомер назвал его по имени в какой-либо другой части "Илиады".

Необходимо найти один-единственный ключ, который откроет причину этих необычных положений: это сильная любовь Гомера к красоте, которая сама по себе сделала ее в его глазах знаменитостью. Таким образом, он решил, по-видимому, что образец формы должен быть бессмертным; и он осуществил свое решение, поскольку ни один читатель "Илиады" не может пройти мимо этого места, не вспомнив Нирея.

В менее заметной манере он придал сходный акцент случаю Насти, которая носила золотые украшения и поэтому, по-видимому, была поразительно красивой особой. Вместе со своим братом Амфимахом он командовал карийцами, и его имя упоминается трижды (но имя его брата упоминается только дважды), вместе с тем фактом, что он носил золото, как девушка[757].

Есть что-то, как мне кажется, самое нежное и утонченное в этом способе, использованном Гомером для закрепления внимания посредством повторения слова, которое он хочет мягко, но твердо запечатлеть в памяти. У нас есть еще один пример этого в Il. xxii. 127,

ἄτε παρθένος ἥϊθεός τε,

παρθένος ἥϊθεός τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοισιν.

Есть еще один отрывок, который дает поразительное доказательство того, что можно назвать поклонением красоте у Гомера. В Семнадцатой "Илиаде" Эвфорб, сын Пантоса, погибает от руки Менелая. Гомер воздает ему должное за вождение колесницы, использование копья и другие достижения; но в поэме он не совершает никакого другого подвига, кроме ранения в спину обезоруженного, изумленного и покинутого небесами Патрокла. В лучшем случае мы должны назвать его очень второстепенным персонажем. Хотя его личная привлекательность не была испорчена, как у Парижа, трусостью или пороком, все же он принадлежал к той же расе, которая в Италии получила свое название от Зербино. И все же Гомер украшает свою смерть замечанием, возможно, более заметным, чем любое другое, которое он прилагал к смерти любого из воинов "Илиады", за исключением Гектора, Сарпедона и Патрокла. Десять самых красивых строк стихотворения посвящены оплакиванию его, главным образом непревзойденному сравнению, в котором юность сравнивается с нежным побегом оливы, ставшей жертвой внезапного урагана, когда ее цветы перенасыщены влагой. Поэт был тронут этой нежностью воспоминанием о его красоте, о его волосах, похожих на волосы Граций, в их локонах, скрепленных золотыми и серебряными застёжками[758].

Красота - один из главных даров.

Хотя Гомер действительно избегает в отношении красоты, как и в других вопросах, дидактического способа передачи своих впечатлений, тем не менее он отчетливо зафиксировал их в ответе Улисса Эвриалу. Кстати не у всех женщин, но и мужчин, он кладет подарок персональных красоты среди премьер-одаренность, которая может быть получена от

промысла богов, в ранг которой только две другие подарки признаются, в частности, в силу мысли (νόος или φρένες), и дар речи (ῥητορική). В идею личной красоты, передаваемую под именами εἶδος, μορφή и χάρις, очевидно, входили энергия и могущество, поскольку именно на его предполагаемую неспособность к спортивным упражнениям[759], на что ссылается дискурс. Нельзя также сказать, что это полное и масштабное признание Гомером ценности телесного совершенства было просто мирским или языческим взглядом, в противоположность христианскому.

С одной стороны, неверно, что, когда мы перестаем придерживаться достаточно возвышенных взглядов на судьбу и прерогативы души, наши стандарты в отношении тела повышаются пропорционально или вообще не повышаются. С другой стороны, неверно и то, что, когда мы высоко ценим душу, мы, следовательно, должны низко думать о теле, которое является одновременно ее обителью и помощником. По правде говоря, несколько болезненный оттенок, кажется, появился в нашем тоне мышления несколько поколений назад, возможно, отчасти из-за небрежного или выхолощенного преподавания высших материй, а также отчасти из-за перегруженности несколькими функциями нашей жизни. Но Гомер отчетливо осознал для себя то, о чем мы вообще знаем смутно или скудно, хотя наша религия ничему так решительно и явно не учит, а именно, что тело является неотъемлемой частью целого, именуемого человеком.

Но качество измерения в редкой пропорции проходило через все концепции Поэта. С точки зрения древних, высокий рост был важным элементом красоты как для женщин, так и для мужчин, и их восхищение высоким ростом, даже у женщин, вряд ли ограничено какими-либо рамками. Но Гомер, который часто затрагивает эту тему, установил предел. У лестригонян женщины огромных размеров. Двое из экипажа "Улисса", посланные вперед навести справки, представляются королеве. Они находят ее "огромной, как гора", и испытывают к ней отвращение[760]:

τὴν δὲ γυναῖκα

εἴρον ὄσσην τ' ὄρεος κορυφῇν, κατὰ δ' ἔστυγον αὐτήν.

Большая человечность Гомера также проявляется, среди прочих признаков, в его симпатии к высоким качествам животных. Во всех его произведениях нет пассажа с более глубоким пафосом, ни Андромахи с ее ребенком, ни Приама перед Ахиллесом, чем тот, в котором рассказывается о смерти пса Аргуса[761]. Слова тоже такие спокойные и безмолвные, они, кажется, становятся все слабее и слабее, каждая нога стиха падает, как будто отсчитывая последние вдохи, и, по сути, мы являемся свидетелями того последнего легкого и едва трепещущего вздоха, с которым уходит жизнь:

Ἄργον δ' αὖ κατὰ Μοῖρ' ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,

αὐτίκ' ἰδόντ' Ὀδυσῆα, εἰκοστῶν αὐτῶν

Мы можем также проследить ту же симпатию в второстепенных формах. Как, например, там, где он говорит, что Телемах отправился на собрание Итаканцев не без присмотра[762]:

βῆ δ' ἴμεν εἰς ἄγορην, παλάμῃ δ' ἔχε χάλκεον ἔγχος,

οὐκ οἷος.

Мы, конечно, готовы услышать, что рядом с ним был какой—нибудь советник, божественный или, по крайней мере, человеческий, какой-нибудь друг или верный слуга: но нет - просто с ним пошли несколько собак:

ἄμα τῷ κύνες πόδας ἄρῳοι ἔποντο.

Однако нет никаких признаков того, что Гомер в какой-либо заметной степени придавал расе собак особое представление о красоте. Действительно, только в сравнении с определенными породами собаку можно назвать красивым животным. Что он всегда хвалит, так это их быстроту; а представления Гомера о красоте нигде не были более живыми, чем в отношении движения. Но мы видим, что чувство поэта к форме гораздо более характерно проявляется в случае, к которому мы сейчас перейдем.

Красота в животных, особенно в лошадях.

Среди других выводов, которые поэмы делают в отношении самого Гомера, вряд ли можно сомневаться в том, что он был большим любителем лошадей и ощущал их красоту, частично в цвете, гораздо больше в форме и больше всего в движении.

Это вполне соответствовало обычаям его страны и его расы. И троянцы, и греки, по-видимому, не только использовали лошадей в таких целях, как война, путешествия, скачки и сельскохозяйственный труд, но и уделяли внимание выведению пород и достоинств животного. В конце своего Каталога Гомер обращается к Музе с просьбой сообщить ему, какие лошади и герои были лучшими на греческой стороне. Он постоянно употребляет эпитеты как троянцы и греки, связанные с их успешным уходу и дрессировке животных: εὔπρος, εὔπῳλος, ταχύπῳλος, ἰππόδαμος.

Он не только дорожит традициями, связанными с этим животным, но и относится к ним как к части истории. Соответственно, когда Диомед желает, чтобы Стенелус позаботился о лошадях Энея, он осторожно продолжает утверждать, что это потому, что их предки принадлежали к той расе, которую Юпитер дал Тросу. К ним Анхис, без ведома их владельца Лаомедонта, привел своих собственных кобыл и таким образом получил потомство в шесть особей: четырех из них он оставил себе, а двух отдал своему сыну Энею (Ил. ст. 265-73), чтобы тот мог отвезти их в Трою.

Более того, он идет еще дальше: где, кроме как у Гомера, мы можем найти предание, подобное преданию о кобылах Эрихтония, зародившемся за пять поколений до его рассказа? Отцом их детей был Борей. Три тысячи матерей разбрелись по равнинам Трояды и сделали своего господина богатым из людей. Их поступь была так легка, что, когда они скользили по морю, она касалась только кончиков клубящейся пены; а когда они мчались по кукурузному полю, спелые колосья выдерживали их поступь, ни один из них не был сломан[763].

Что касается движения, формы и цвета.

В других местах Гомер с не меньшим сочувствием описывает яркие и стремительные движения животного. Самым замечательным из всех является благородное сравнение с конем, которого держат в стойле, которого каждый читатель, кажется, видит с гордой головой и развевающейся гривой, когда он чувствует свою свободу и рыщет по бескрайним пастбищам.

То приспособление, или усилие по приспособлению звука к смыслу, которое у поэтов вообще (всегда, за исключением Данте и Шекспира в особенности) является признаком того, что они приложили все свои силы к тщательной проработке, у Гомера является лишь доказательством более полного и глубокого течения его симпатий: где бы мы его ни находили, мы можем быть уверены, что все его сердце отдано этому отрывку. В самом этом сравнении восхитителен переход от прекрасного неподвижного стиха, описывающего обычное купание заряжающего,

εἰ ὡθεὶς λούεσθαι ἔϋρρεῖ ος ποταμοῖο,

за его быструю и легкую скачку по равнине, когда каждый дактиль отмечает источник[764];

ῥίμφα ἔγοῦνα φέρει μετὰ τ' ἦθεα καὶ νόμον ἴππων.

Для этой адаптации метра к ощущениям в связи с движением лошадей мы можем взять другой пример. Чтобы описать Агамемнона, наносящего разрушения пешим троянцам, у нас есть полторы строки несколько ускоренного, но ни в коем случае не очень быстрого передвижения[765];

ὣς ἄρ' ὑπ' Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα

Τρώων φευγόντων.

Но когда он доходит до троянских коней в их бегстве, у нас есть две линии, дактилические настолько, насколько позволяет метр, за исключением одной половины фута;

πολλοὶ δ' ἐριαύχενες ἴπποι

κεῖν' ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας,

ἦνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας.

Затем, возвращаясь к мертвым возничим, он снова заметно расслабляется;

οἱ δ' ἐπὶ γαίῃ

κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἄλόχοισιν.

Чтобы численно показать относительное распределение времен в этих членах предложения, у нас есть эти три совершенно разные пропорции;

В первом от 13 долгих слогов до 8 коротких.

Во втором - 16 долгих слогов против 22 коротких.

В третьем - от 11 длинных слогов до 10 коротких.

Он придал речи большую часть того же пылкого движения, которое в Девятнадцатой "Илиаде" приписывается Бессмертным коням Ахилла; хотя тема включает ссылку на смерть их хозяина[766]. Почти в каждой строке на протяжении всего отрывка, относящейся к их собственному движению, количество дактилей максимально, и в десяти строках восемьдесят

шесть коротких слогов против шестидесяти длинных; соотношение, которое, я сомневаюсь, мы найдем где-либо еще у Гомера, за исключением сравнений, которым Гомер, по-видимому, во многих случаях придает особенно эластичное просодическое движение.

Резус, царь фракийцев, прибывший в Трою после начала Гнева, становится достаточно известным, чтобы стать центральной достопримечательностью Долонеи, главным образом благодаря своим лошадям. Они самые красивые, говорит Долон, и самые большие, которые я когда-либо видел[767];

λευκότεροι χιόνος, θείειν δ' ἀνέμοισιν ὁμοῖοι.

Справедливость этого панегирика подтверждается выразительным выражением Нестора, который произносит их:

αἱ νῦν ἀκτίεσσιν ἑοικότες ἡελίοιο·

и их непревзойденное совершенство составляет тему речи старого короля о возвращении Улисса и Диомеда в лагерь[768].

Однако Гомер проявляет свое чувство к лошадям не только в тщательно продуманных картинах, но и, что не менее заметно, в незначительных штрихах. Разве он не говорит с явным чувством опытного поклонника животного, когда описывает пару, ведомую Эвмелом, быстрых, как птицы, одинакового оттенка окраса, одинакового возраста, одинаковой высоты на волосок поперек спины[769]?

ποδῶκεας, ὄρνιθας ὥς,

ὄτριχας, οἱ ἕτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῦτον ἔϊσας.

И снова нас встречает то же чувство, которое в более смелом полете заставило зарыдать коней Резуна, когда Пандар падает головой вперед с колесницы Энея, и его руки бряцают над ним в момент смерти. Лошади, вместо того чтобы нырнуть или тронуться с места, с более тонким чувством трепещут у трупа[770];

παρέτρεσαν δέ οἱ ἴπποι

ῥύποδες.

Мы можем проследить тот же настрой, в более легкой и забавной форме, в том, что уже произошло между Энеем и Пандаром. Пандар извинился за то, что не привез в Трою колесницу и лошадей из-за своих опасений найти для них корм там, где такие толпы собирались на небольшом пространстве; в то же время он довольно хвастливо описал одиннадцать повозок своего отца Ликаона, по паре на каждую. (Ил., ст. 192-203.) Эней в ответ приглашает его сесть в свою колесницу, когда он увидит, на что похожи троянские кони. Затем, продолжает он, ты сражаешься, и я поведу машину; или, как ты можешь выбрать, ты ведешь машину, и я буду сражаться. Пандар немедленно отвечает, что Энейу во что бы то ни стало лучше самому управлять своими лошадьми.

С другой стороны, Гомер позаботится о них самым тщательным образом; и, так сказать, он сам позаботится об этом. Когда он описывает их как безработных, он указывает на их пищу; останки Ахилла во время Гнева стоят[771],

λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον.

Но те из Ликаона, которые остались дома, были[772]

κρί λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας.

Каждому он дает соответствующую пищу: первому в лагере - то, что давало травянистое болото рядом с ним; второму во дворце короля - зерно или твердую пищу из их настоящего дома.

Итак, в ночном приключении Десятой книги, когда Улисс утаскивает тела тех фракийцев, которых убил Диомед, это делается для того, чтобы расчистить путь для лошадей Резуса, которых должны были увести, чтобы они не испугались, наступив на трупы[773];

νεκροῖς ἀμβαίνοντες· ἀήθεσσον γὰρ ἔτ' αὐτοῖν.

На протяжении всей гонки колесниц в двадцать третьей книге мы обнаруживаем, что они занимают главное место в сознании Поэта, хотя возницы, являющиеся его главными героями, не забыты полностью.

Даже что касается цвета, представления о котором у Гомера, по-видимому, были такими расплывчатыми, можно заметить, что он использует его несколько более свободно по отношению к лошадям, чем к другим объектам, имеющим определенную форму или способность к передвижению.

Но его самые живые представления о них связаны с движением, формой и чувствами: и я полагаю, что ни в одной поэме, подобной "Илиаде", нет характерных штрихов ни к одному из этих трех.

Красота в неживой природе.

Много спорили о том, имели ли древние вообще и Гомер в частности какое-либо отчетливое представление о красоте пейзажа.

Даже в отношении Гомера можно признать, что его сравнения, которым, естественно, следовало бы искать доказательства, реже относятся к глазу, чем к другим способностям. Они обычно обращаются к звуку, движению, силе или множеству людей; редко, для сравнения, к цвету или даже к форме; еще реже к цвету или форме в таких сочетаниях, которые образуют то, что мы называем живописным.

Мне кажется, что лучшие материалы для демонстрации в данном случае мы можем почерпнуть из сравнения его описаний формы пейзажа с помощью очертаний стран с использованием им других эпитетов, которые он использует для обозначения красоты.

Страна Лакедемон была гористой, и поэтому Гомер в "Одиссее" и в Каталоге называет ее κοιλή. (Ил. ii. 581, Од. iv. 1.)

Но он также называет ετορρατεινή (Ил. iii. 239), и это, как можно заметить, в речи Елены; для которой, когда она была в Трое, образ этого в памяти вряд ли мог быть приятен из-за какой-либо моральной ассоциации. Поэтому мы вынуждены отнести это к физическому строению или красоте района.

Далее, у нас есть довольно четкое доказательство того, что, по мнению Гомера, эпитет ἑρατεινὴ был подходящим для описания красоты в самом строгом смысле этого слова. Ибо он говорит о Хелен в отношении ее дочери Гермiony[774]:

ἐγείνατο παῖ δ' ἑρατεινὴν,

Ἑρμιόνην, ἣ εἴδος ἔχε χρυσοῖς Ἀφροδίτης.

‘У нее была прекрасная (ἑρατεινὴν) дочь, наделенная красотой золотой Афродиты’. И я наблюдаю лишь несколько отрывков у Гомера, возможно, только один (Od. xxiii. 300), когдарраτεινὸς естественно и должным образом не несет этого смысла. Значение, этимологически аналогичное нашему собственному употреблению слова *прекрасный*, которое мы используем для обозначения не только красоты, но и высокой ее степени.

Таким образом, кажется очевидным, что Гомер назвал Лакедемонρρατεινὴ, потому что он имел форму горы и долины, и потому что страны, сформированные таким образом, имеют красивый вид для глаз по сравнению со странами других форм, менее заметных. Это применимо к Эматии (Il. xiv. 225) и к Схерии (Od. vii. 79), оба гористые; в город Илиос (Ил., ст. 210), который стоял на высокой и частично крутой земле у корней Иды; и я не нахожу его ни в одном месте стихотворений, связанных с равнинными землями.

Другой пример, который я приведу, по-видимому, представляет аргумент в полной форме, в пределах одной строки.

При описании Итаки в "Одиссее" Телемах говорит, что это[775],

αἱ γίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἰπποβότοιο.

Здесь мы можем предположить, что под αἱ γίβοτος, кормлением коз, он подразумевает гористую местность, и даже острую и каменистую; более того, следовательно, по сравнению с этим, бесплодную, так что это не могло быть приятным в смысле прибыльности. С другой стороны, лошадь - это животное, плохо приспособленное для обитания среди скал; и подπποβότος Гомер всегда подразумевает местность или местность, достаточно открытую и равнинную, чтобы быть пригодной для содержания большого количества лошадей. Теперь, говоря, что Арран - это больше ἐπήρατος, чем южный Ланкашир, мы не должны оставлять сомнений в разуме любого читателя относительно значения; которое, несомненно, должно заключаться в том, что он предлагает больше красоты глазу. Именно такое сравнение делает Гомер пейзажей Итаки в том виде, в каком они были, с тем, какими они были бы, если бы остров был плоским.

Я должен, однако, заметить очень надуманное толкование Дамм, который заключается в следующем: *μᾶλλον ἐπήρατος, Южная Каролина. ἐμοῖ, нам есть Родина МЭС; et объявление μᾶλλον subintelligit τοῦ σοῦ Ἰφγεος φίλη ἔστι μοι.*

Гомер был лучше сведущ в искусстве соединять слова с мыслью, чем предполагает такая интерпретация. Ибо, согласно ей, мысль Гомера была такова: "Хотя ты правишь широким и открытым Аргосом, моя гористая Итака мне дороже, *потому что это моя страна*". Так что он опустил суть предложения, не оставив ни малейшего следа, который мог бы сориентировать своего читателя. Идея предложения, которое растягивается на многие стихи, полностью

сосредоточена на разнице между открытой и крутой скалистой местностью как таковой, и ни в малейшей степени на привязанностях туземцев. И Телемах, восхваляющий богатство и плодородие Аргона и извиняющийся за бесплодие Итаки, не без изящества, мимоходом, добавляет в качестве компенсации элемент красоты, которым обладает Итака и которого ей не хватало бы, если бы она была плоской.

Действительно, мы здесь прослеживаем обычную утонченность Гомера в том, что Телемах не говорит: "Правда, твой Аргос богат, но моя Итака живописна"; но, похвалив плодородие широкого Аргона, он говорит: "На Итаке у нас нет широких пастбищ"[776], и ничего похожего на луг: там не прокормишь ничего, кроме коз, и все же это более живописно, чем если бы оно, такое маленькое пятнышко, было плоским и открытым".

Слово ἐπήρατος у Гомера употребляется реже, чем ῥατῆινός; но мы встречаем его в шести местах помимо этого. Есть только одно из них, где оно способно означать "дорогой", в связи с идеей страны[777]. В другом переводе это означает приятный или великолепный, применительно к банкету[778]. В других местах оно применяется к городу на Шите, пещере на Итаке (дважды) и одеяниям, надетым на Венеру на Кипре; и в этих четырех местах оно может означать только прекрасное.

Таким образом, мы не вправе ограничивать представление Гомера о естественной красоте тем, что было связано с полезностью[779]. Напротив, очевидно, что оно распространяется на красоту как таковую и даже на тот вид красоты в природе, который мы в наши дни больше всего любим.

До сих пор я касался наиболее сомнительной части вопроса и осмелился не согласиться с мистером Раскином, авторитет которого я признаю и в чьей превосходной проницательности, а также в его необычайной способности выражать свои мысли, я полностью убежден.

Зародыш чувства живописности.

Мистер Раскин считает, что[780] что 'у Гомера нет и следа чувства к тому, что мы называем живописным'; что Телемах извиняется за пейзажи Итаки; и что скалы любят только как пещеры. Я думаю, что выражения, которые я привел из текста, показывают, что эти утверждения не могут быть поддержаны. В то же время я признаю, что чувство к Гомеру едино только в зародыше: как, впрочем, и в течение всего лишь нескольких поколений, оно оставалось неразвитым среди нас. Гомер, возможно, был отцом этого чувства к своему народу, как и много другого. Но растение не выросло добрым среди тех, кто последовал за ним.

С другой стороны, я полностью согласен с тем, что сказал мистер Раскин относительно его чувства упорядоченной красоты в обычной природе. Сад Алкиноя поистине голландский по своим четырехугольным представлениям; но ясно, что Поэт хочет, чтобы мы считали его по-настоящему красивым[781]. Симметрия, безмятежность, регулярность, заимствованные у форм живой красоты, которые были до него, в значительной степени входят в представления Гомера об одной форме, по крайней мере, неживой красоты.

Пейзаж пещеры Калипсо[782] менее сдержан в своем исполнении, чем сад в Схерии; но даже здесь Гомер вводит четыре фонтана, которые образуют правильную фигуру и, очевидно, призваны придать элемент формы, который требовался по модному стандарту.

Другой элемент ландшафта, как мы его понимаем, заключается в том, что природные объекты, которые он представляет, должны быть в довольно обширном сочетании; и наши устоявшиеся традиции также потребовали бы, чтобы их вид был изменен путем передачи атмосферы, особенно с учетом масштаба расстояний.

У Гомера очень трудно найти примеры протяженного ландшафта. Но я думаю, что у нас есть по крайней мере одно знаменитое сравнение, где он сравнивает троянские сторожевые костры на равнине со спокойной ночью, которая при свете луны и звезд открывает радующемуся пастуху широкие перспективы. Здесь, безусловно, царят спокойствие и порядок; но вместе с ними у нас, кажется, есть и протяженность, и атмосфера; к которым даже смелые и даже ломанные очертания должны быть добавлены теми, кто, как и я, не готов сдаться разрушающему βέλος линии[783]

ἔκ τ' ἔφανεν πᾶσαι σκοπιάι , καὶ πρῶνες ἄκροι.

В целом, принимая во внимание раннюю датировку Гомера и очень позднее развитие у современников вкуса к пейзажам живописного и романтического порядка, я не уверен, что мы вправе даже на первый взгляд оспаривать его как уступающего любому современнику аналогичной эпохи в этой провинции. И все же мы можем справедливо заявить, что он ниже самого себя; то есть, у него , по-видимому, есть чувство красоты в области неживой природы, безусловно, менее острое по пропорциям, чем то, с которым он смотрел на одушевленное творение.

Однако то, чего ему не хватает в отношении ландшафта, по всей вероятности, более справедливо отнести к положительным, чем к отрицательным причинам.

Вызывает неблагоприятные для более развитого чувства ощущения.

Можно задаться вопросом, не зависит ли отчасти склонность ценить неподвижную природу, особенно в больших и тщательно продуманных сочетаниях, от условий, которых не было в эпоху Гомера. Я бы сказал, если можно так выразиться, что мы, представители нынешнего поколения, пользуемся ландшафтом в медицинских целях. Человеческая жизнь растет с течением веков; и, особенно в наш век, она стала возбужденной и торопливой. Но природа имеет реактивную тенденцию к отдыху; и даже в случае с более грубыми стимуляторами, по-видимому, их успокаивающая сила наиболее помогает рекомендовать их. Однако, помимо того факта, что у нас есть потребности, которых не было у греков, этот вопрос можно рассматривать в более широком плане.

Ум Гомера и ум его эпохи не были склонны даже к созерцанию, не говоря уже о самоанализе. Идей, по-настоящему субъективных, в стихотворениях действительно очень мало. У нас есть один такой отрывок, где он приравнивает мысль к крылу, сравнивая быстрые корабли феаков,

ὥς ἢ πτέρων ἥν νόημα.

И еще одно, самое замечательное, что он приводит, когда более подробно использует движение мысли для иллюстрации быстрого полета Юноны[784].

Даже когда это стало спекулятивным, греческий ум не придал своим спекуляциям субъективного оттенка. Вероятно, именно христианство, благодаря стимулам, которые оно применяло к общему сознанию, впервые дало человечеству привычку к самоанализу в больших

масштабах; и смешанные причины часто могут сделать эту тенденцию чрезмерной и болезненной. Но тенденция героической эпохи, достигшая своего максимума у Гомера, заключалась в том, чтобы изливать жизнь вовне, нет, почти насильно внедрять ее во все. Фонтан изнутри бил через край, и его избыток шел на то, чтобы заставить дышать неживую природу. Обильное и непринужденное изобилие гомеровских сравнений, несомненно, само по себе демонстрирует замечательное наблюдение и понимание природы; но, как уже было замечено, эти сравнения очень редко *остаются* сравнениями. Они наслаждаются звуком, множеством людей, и прежде всего движением. Автоматические кресла Вулкана, живой театр Щита Ахиллеса, это древнейшее зеркало нашего мира, прочные доспехи того же героя - что все это, как не доказательства той избыточной жизненной энергии, чьим первым непреодолимым порывом было внести жизненный огонь Прометея во все предметы, с которыми он сталкивался, и которая, еще не испытав парализующего прикосновения истощения, не испытывала необходимости в лечебных средствах для отдыха? Следовательно, признавая недостаток Гомера в отношении цвета и признавая также, что пейзаж (если мы должны понимать под ним сложную комбинацию природных объектов, простирающихся на значительные расстояния) является большим дополнением к удовольствиям и богатству человечества, я думаю, что основное объяснение поднятого вопроса следует искать не в недостатке какого-либо пространства или каких-либо способностей в сознании Гомера, а в том факте, что все пространство и способности были заняты более активными и оживляющими функциями; что прекрасные формы в природе, которые мы видим только как прекрасные формы, были для него так сказать, подол одеяния той жизни, которой изобиловала вся природа. Соответственно, общее правило стихотворений таково: там, где мы должны быть пассивными, он активен; то, что мы считаем важным созерцать с удовлетворением, он всегда старается оживить с большей энергией и острым удовольствием. Мы имеем дело с внешней природой, так сказать, нераскрытой; он видел в ней только тот осадок, который остался у нее после того, как она во всех отношениях сбросила свои сливки в сверхъестественных образованиях. Его возвышающий и оживляющий процесс действует повсюду. Живая природа возвышается даже до божественности; а неодушевленная природа возносится ввысь, к жизни.

Итак, если Гомер видит в простых чувственных формах природных объектов меньше, чем мы, то, вероятно, в значительной степени потому, что гений его народа и его собственный гений научили его наделять их душой, которая вбирала в себя лучшее из их привлекательности. Мистер Рескин совершенно справедливо говорит нам, ссылаясь на море, что он отсекает от материального объекта ощущение чего-то живого и превращает его в большой абстрактный образ морской державы[785]. И все же, я думаю, не совсем верно, что Поэт не оставляет в водной массе никакого элемента жизни. Напротив, я бы сказал, что ключ ко всему его отношению к внешней природе следует искать в одном утверждении: где бы мы ни искали фигуру, он ищет жизнь. Его волны (а также его огонь), когда их взбаламучивают[786], кричат тем самым словом (*ὁ ἄχαις*), которое он произносит перед Собранием ахейцев: когда они разбиваются пеной, они надевают плюмаж на шлем воина[787] (*κορυμβοῦσθαι*): когда их господь проезжает над ними, они широко раскрываются от радости[788]; и когда он выходит на поле битвы, они тоже кипят на берегу, в неудержимое сочувствие его усилиям и эмоциям[789].

РАЗДЕЛ III.

Восприятие чисел Гомером и их использование.

Хотя способности Гомера во многих отношениях были как интенсивными, так и утонченными в своем действии, выходящем за рамки всех обычных, возможно, мы могли бы сказать, за рамки всех современных примеров, были и другие моменты, в которых они носили признаки менее развитых, чем это принято сейчас даже среди массы многих цивилизованных народов. В силе абстракции и отчетливом интроспективном созерцании нет ничего невероятного в том, что он уступал большинству образованных людей наших дней. На некоторых других низших факультетах его, вероятно, превзошло большинство населения этой страны, более того, даже многие дети в ее школах. Я осмеливаюсь указать в качестве примеров последнего названного предложения на способности числа и цвета. Возможно, в отношении одного или обоих из них верно то, что определенная нечеткость в их восприятии повсюду присуща ранним стадиям развития общества. Но все же удивительно обнаружить это там, где, как у Гомера, оно сопровождается замечательной быстротой и зрелостью не только огромных умственных способностей, но и некоторых других восприятий, более родственных числу и цвету, таких как восприятие движения, звука и формы. Но давайте перейдем к рассмотрению, в первую очередь, первого из этих двух предметов.

С самого начала можно заметить, что, вероятно, никто из нас не осознает, в какой степени наши способности в отношении этих вопросов являются традиционными и, следовательно, зависят не от нас самих, а от приобретений, сделанных человечеством до нашего рождения, и от степени распространения этих приобретений и того, насколько они были как бы отфильтрованы в обществе, чтобы занять свое место среди элементарных идей, впечатлений и привычек населения. Ибо те части человеческого знания, которые достигли этого положения, обычно приобретаются каждым последующим поколением посредством того незаметного обучения, которое начинается с самого раннего младенчества и которое с большим интервалом предшествует всем систематическим и даже всем сознательным процессам образования. Я также никоим образом не готов отрицать, что в данном случае может иметь место фактическое "традиционство": напротив, в полном соответствии с учением, основанным на опыте, мы можем полагать, что приобретенные способности одного поколения могут стать, в большей или меньшей степени, унаследованными и врожденными способностями другого.

Следовательно, мы должны рассчитывать на обнаружение ряда заметных различий в относительных степенях развития различных человеческих способностей на разных стадиях развития общества, которые будут просто соотноситься с указанным сейчас источником и совершенно отличаться от таких различий, которые можно отнести к другим причинам. Нетрудно признать, что это верно в целом, но вопрос о том, применимо ли в рассматриваемом нами случае это к числу и цвету, может быть решен, конечно, только путем изучения гомеровского текста.

Однако, прежде чем мы приступим к этому исследованию, давайте попытаемся пролить некоторый дополнительный свет на общий аспект только что выдвинутого положения.

Из всех видимых вещей цвет для нашего английского глаза является самым ярким. Из всех идей, воспринимаемых английским умом, число представляется наиболее жестко определенным, так что мы принимаем его за стандарт для приведения всех других вещей к

определенности; например, когда мы говорим, что это поле или этот дом в пять, десять или двадцать раз больше того. Наши продавцы и даже наши школьники - хорошие калькуляторы. Так что возникает ощущение чего-то поразительно парадоксального, особенно для нас, когда мы говорим о Гомере как о человеке, имевшем лишь неопределенные представления об этих предметах.

Представления о числе не всегда определены.

Однако есть два практических примера, которые можно привести, чтобы проиллюстрировать положение о том, что число - это не то, что должно быть само собой разумеющимся, определенно восприниматься в уме. Одним из таких случаев является случай с очень маленькими детьми. Для них самые низкие числа вскоре становятся понятными, но все, что находится за пределами самых низких, таковыми не являются и представляют собой лишь смутное ощущение множества, которое не может быть разделено на составные части. Отличительной чертой четкой арифметической концепции является то, что ум в одно и то же время охватывает две идеи, во-первых, совокупности, во-вторых, каждой из составляющих ее единиц. Эта двойная работа мозга становится все более трудоемкой по мере того, как мы поднимаемся выше по шкале. Я слышал, как ребенок, которого заставили считать четки или что-то в этом роде, считал их так: 'Одна, две, три, четыре, сотня'. Первые слова выражают его идеи, последние - отчаяние. До четырех лет его разум мог вместить совместные идеи единства и обособленности, но не более того; поэтому затем он перешел к выражению совершенно общему и хотел выразить смысл, подобный смыслу слова "множество".

Но хотя переход от числа, понимаемого определенно, к числу без границ подобен броску в море, все же само понятие множества в каком-то смысле подвержено степени. У нас может быть идея ограниченного или неограниченного множества. Существенное отличие первого состоит в том, что его, возможно, можно подсчитать; идея второго заключается в том, что оно полностью неподвластно исчислению. Вероятно, даже ребенок, для которого слово "сто" выражало неопределенную идею, слабо ощущал бы разницу в степени между "сотней" и "миллионом" и знал бы, что последнее выражает нечто большее, чем первое. Общий контур воспринятой идеи расплывчат, но все же такой контур есть. Ясность двойной концепции действительно стерта; ум созерцает только целое, а не целое вместе с каждой частью; но все же существует определенное затуманенное ощущение реальной разницы в величине, как между одним таким целым и другим.

И это подводит меня ко второй из двух иллюстраций, на которые была сделана ссылка. Та потеря определенности в представлении о числе, от которой в наши дни страдает ребенок еще до того, как он сосчитает на пальцах, мучает и взрослого человека, хотя обычно на гораздо более высокой ступени шкалы. Какой это может быть момент, во многом зависит от конкретных привычек и склонностей человека. Студент, читающий библиотеку в тысячу томов, офицер перед своим полком в тысячу человек на параде, может иметь довольно четкое представление как о единицах измерения, так и об итогах; но когда мы доходим до числа "тысяча раз по тысяче" или "тысяча раз по миллиону", всякое представление о единицах измерения для большинства людей, возможно, для каждого человека, теряется: миллион для взрослого человека в значительной степени подобен сотне для ребенка. Числовой термин теперь стал, по сути, символом; не только потому, что каждое слово по своей сути является символом по отношению к идее, которую оно непосредственно обозначает; но, в более широком смысле, это символ

символа, поскольку идея, которую оно обозначает, сама по себе символична: это условное представление определенного огромного числа единиц, слишком большого, чтобы его можно было рассматривать и постигать индивидуально. По мере того как мы поднимаемся еще выше, скажем, от миллионов до класса миллиардов, неопределенность возрастает. Миллион теперь стал своего рода новой единицей измерения, и отношение двух миллионов к одному миллиону, таким образом, довольно ясно воспринимается как двойное; но и это становится неясным по мере того, как мы поднимаемся, и даже (например) количественное отношение между десятью миллиардами зерен пшеницы и сотней миллиардов таких же зерен гораздо менее определенно передается уму, чем отношение между десятью зернами пшеницы и одним. На этом высоком уровне существительные числа приближаются к неопределенному символу класса алгебраических символов, называемых известными величинами.

По мере того, как наше представление о числах становится определенным, идея о них, вместо того чтобы быть подходящей для обращения к воображению, остается непригодной для поэтического обращения и процветает только в сфере понимания. Но когда мы переходим от шкалы определенных величин к шкале практически неопределенных величин, тогда использование чисел становится в высшей степени поэтичным. Я бы процитировал, как очень благородный пример такого использования числа, стих из Откровений Святого Иоанна. "И я увидел, и я услышал голос многих ангелов вокруг престола, и зверей, и старцев: и число их было десять тысяч, умноженных на десять тысяч, и тысячи тысяч"[790]. В качестве доказательства силы этого прекрасного отрывка я хотел бы заметить, что переход от десяти тысяч, умноженных на десять тысяч, к тысячам тысяч, хотя на самом деле численно он очень велик, но это не так". не имеет ни малейшего пугающего эффекта разочарования, потому что эти числа не являются арифметическими, и последний член предложения - это просто, так сказать, световой след, который первый тянет за собой.

Теперь мы должны ясно держать в уме идею о том, что это поэтическое и образное употребление числа у греков, по крайней мере, предшествовало тому, что я могу назвать его использованием в вычислениях. Мы не найдем у Гомера ничего такого, что можно было бы строго назвать расчетом. Он неоднократно дает нам то, что можно назвать коэффициентами суммы при умножении; но он никогда даже частично не объединяет их, даже так, как они объединены, например, в балладе Каупера,

Супруга Джона Гилпина сказала своей дорогой:

Хотя мы и были женаты

Эти дважды по десять утомительных лет, и все же мы

Никакого праздника не видел.

Упоминалось об удобстве, которое мы находим в использовании числа как меры количества и как средства сравнения вещей каждого вида в их собственном роде. Но мы никогда не встречаем такого употребления этого слова у Гомера. У него даже нет необходимых слов, чтобы сказать: "Этот дом в пять раз больше этого". Если бы у него была идея выразить это, он бы сказал, что пять домов, каждый такого размера, вряд ли были бы равны этому. Слово *τρίς* можно назвать наречием умножения, но оно никогда не используется для этих сравнений. Действительно, Дамм отмечает, что в подавляющем большинстве случаев это означает неопределенное число, а не точную единицу. *τέτράκις* встречается только один раз и в

некотором смысле совершенно неопределенно: отрывок является[791] τριῶν ἄκαρας δαυαοὶ καὶ τετράκις· πεντάκις даже не существует. Аякс поднимает камень, 'не вдвое больший, чем мог бы поднять современный смертный', но настолько большой, что для его поднятия потребовались бы двое таких смертных. Все числовые выражения Гомера представлены в самых элементарных формах; таких формах, которые лишены композиции и отказываются от всякого дальнейшего анализа.

Греческая оценка открытия Числа.

Его использование чисел, по-видимому, ограничивалось простым сложением: и вполне вероятно, что все высшие числа, которые мы находим в стихотворениях, были образными и представлялись наиболее расплывчато. Если мы сможем привести убедительные доказательства этих положений из гомеровского текста, мы тогда будем в состоянии хорошо понять, каким образом греки исторической эпохи говорили о счислении, или науке о числах, как о чудесном изобретении. Это встречается у Эсхила как одно из величайших открытий Прометея[792]:

καὶ μὴν ἀριθμὸν, ἔξοχον σοφισμάτων,

ἔξεῦρον αὐτοῖς·

далее он добавляет:

ὑπαρμάτων τε συνθέσεις.

Таким образом, использование чисел по правилам было для греческого ума таким же открытием, как и буквы алфавита, и даже описано здесь как более великое: примерно так же, как в более поздние времена люди рассматривали использование логарифмов, или метода флюксий, или математического анализа. В полном соответствии с этим находятся термины в превосходной степени, в которых Платон говорит о числе. Число, на самом деле, по-видимому, присутствует в значительной части греческой философии, как если бы оно действительно было руководством человеческого разума в его продвижении к реализации всех великих и кардинальных идей порядка, меры, соразмерности и взаимосвязи.

До какого момента человеческий интеллект во времена Гомера был способен продвинуть процесс простого сложения, мы точно не знаем. Не следует, однако, поспешно предполагать, что Гомер в какой-либо из своих способностей отставал от своего века; и безопаснее полагать, что поэмы, даже в этих моментах, выгодно отражают это. Теперь, по крайней мере, в одном месте, у нас есть примитивное описание процесса сложения. Отрывок находится в Четвертой "Одиссее", где Менелай рассказывает, как Протей пересчитал на пальцах количество своих печатей[793]. То, что это было определенное количество, очевидно, потому что, когда Эйдотей убил четверых из них, их шкуры были надеты на Менелая и трех его товарищей, а затем четверо греков были причислены к стаду, так что словορριθμός здесь, очевидно, означает определенное общее количество. Это сложение Протея, однако, не было сложением в собственном арифметическом смысле, и правильнее было бы назвать его перечислением: вероятно, оно было произведено простым добавлением каждой единицы по отдельности, последовательно, к другим, с помощью пальцев (доказывается словом περτὰσσεταί), но не с помощью какой-либо шкалы или комбинации единиц, будь то десятичная или десятичная дробь. В слове δεκάς мы действительно имеем первый шаг к десятичной шкале; но в случае с числом пять у нас нет даже

этого, поскольку там нет πεντὰς или περπτάς. Значение περπτάσεται, очевидно, заключается не в том, что он упорядочил нумерацию пятерками, а в том, что пальцами одной руки, наложенными на пальцы другой, он помогал процессу простого подсчета.

Самые высокие цифры в стихотворениях.

Старшая цифра Гомера - μύριοι. Он описывает мирмидонцев как μύριοι[794], хотя, если мы предположим, что средняя численность их экипажей составляла около восьмидесяти пяти человек, численность немногим превысила бы четыре тысячи: и при *максимуме* в сто двадцать человек на каждый корабль она составила бы всего шесть тысяч. Опять же, Гомер использует выражение μύρια ἤδη для обозначения человека с обученным и совершенным умом[795].

Рядом с μύρια самые высокие цифры, используемые в стихотворениях, содержатся в отрывке, где Поэт говорит, что вой Марса, раненного Диомедом, был таким же громким, как крик армии из девяти или десяти тысяч человек[796]:

ὄσσον τ' ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι

ἄνερес ἐν πολέμῳ

Но ясно, что эти выражения носят чисто поэтический и образный характер. Ибо он нигде и близко не подходит к использованию таких больших чисел; и все же очевидно, что на его пути лежало использование этих и еще более высоких чисел, когда он описывал силу греческой и троянской армий.

Самое большое гомеровское число после тех, которые были названы, содержится в трех тысячах лошадей Эрихтония. Это мы также должны считать поэтичным, потому что это так далеко выходит за рамки обычных стихотворений, и в некоторой степени также из-за очевидной маловероятности того, что он обладал именно таким количеством кобыл[797].

Только трижды, помимо уже приведенных примеров, Гомер использует четвертую степень чисел; это в случае единственной тысячи. Эвней послал Агамемнону и Менелаю в подарок тысячу мер вина. Троянцы разожгли на равнине тысячу сторожевых костров. Ифидамас, отдав сотню быков, чтобы заполучить свою жену, затем пообещал тысячу коз и овец из своих бесчисленных стад[798]. Во всех этих трех случаях более чем сомнительно, что слово "тысяча" не используется грубо и расплывчато как круглое число. Сочетание тысячи овец и коз с сотней быков немедленно пробуждает воспоминание о том, что даже гомеровская гекатомба, хотя и означающая этимологически сотню быков, практически не имела в виду ничего подобного, а только то, что мы должны были бы назвать партией быков. Опять же, настолько очевидно маловероятно, что троянцы на поспешном привале разожгли всего тысячу костров и разместили всего по пятьдесят человек у каждого, что мы можем воспринять этот отрывок как явно образный и передающий не более чем очень грубое приближение, такого рода, которое было бы недопустимо там, где привычна практика расчетов. Таким образом, наиболее вероятно, что в оставшемся одном из трех отрывков Поэт имеет в виду только передать, что Евней прислал большой и щедрый подарок вином в качестве вознаграждения за то, что ему разрешили торговать с армией. Конечно, существует большее приближение к определенному использованию одной тысячи, чем трех, девяти или десяти: но это различие в определенности

на самом деле является главным моментом в доказательствах. Более всего это становится ощутимым, когда мы рассматриваем, насколько странным само по себе является отсутствие указания численности сражающихся с обеих сторон в этой великой битве: настолько странное упущение того, что для нас было бы фактом, представляющим такой элементарный и первостепенный интерес, что мы вряд ли можем объяснить это иначе, чем признанием того, что для греков гомеровской эпохи общая численность армий, даже если бы сам Поэт мог их сосчитать, была бы непонятна.

Среди всех чисел, встречающихся у Гомера, самое большое, которое он, по-видимому, использует с четко определенным значением, - это число трехсот шестидесяти жирных свиней, находящихся на попечении Эвмея в Итаке[799];

οἱ δὲ τριῖκόσιοι τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.

Причина, по которой это число имеет в сознании Поэта довольно определенный смысл (следует иметь в виду, что это совершенно иной вопрос, чем вопрос о том, следует ли считать данное обстоятельство историческим), заключается в том, что оно находится в очевидной связи с количеством дней в году, как, вероятно, тогда считалось. Кажется очевидным, что он имел в виду описать весь кругооборот года, где он говорит, что для каждого из дней и ночей, которые дал Юпитер, или, по его собственным словам[800],

ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰ σιν,

жадные Поклонники не довольствуются убийством одного животного или даже двух. Затем Эвмей рассказывает о богатстве Улисса живностью как на острове, так и на материке, откуда животные поставлялись, и добавляет, что из итаканских запасов пастух ежедневно брал жирную козу, в то время как он сам столь же часто присылал жирную свинью. Я остановился таким образом особенно на деталях этого случая, потому что из соответствия между количеством свиней и днями года можно справедливо заключить, что на этот раз, во всяком случае, Поэт намеревался говорить, хотя и несколько наобум, но в определенной степени арифметически, и о таком большом числе, как 360.

Есть и другие случаи меньшего количества в разных частях поэм, где с разной степенью вероятности можно утверждать, что Гомер имел аналогичное намерение.

ἑκατομβῆ и числительные значения.

Словосочетание *ἑκατομβῆ*, без сомнения, является поразительным доказательством расплывчатости представлений героической эпохи о числе: и эта расплывчатость распространяется, хотя, по-видимому, в разной степени, на прилагательное *ἑκατομβοῖ* ος. У меня есть в другом месте[801] упоминаются прилагательные этой формации как указывающие на тот факт, что для тех поколений человечества можно сказать, что воны составляли меру ценности; и этот факт, безусловно, предполагает стремление к точности чисел. Действительно, на общих основаниях кажется далеко не невероятным, что бизнес обмена мог быть первоначальным руководством нашей расы к искусству, а следовательно, и к науке арифметике.

В описании Щита Минервы, на котором было сто золотых капель, или кисточек, нам сказано, что каждая из них была как торбей осы, или стоила сотни быков. Такое употребление слова следует рассматривать как сильно заряженное фигурой. Минерва вооружалась, чтобы смешаться с людьми на равнине Трои[802], и поэтому маловероятно, что Поэт изобразил бы ее в совершенно непомерных размерах. Он благоразумно приберегает эту безграничную вольность преувеличения для сцен, где он находится за пределами сферы собственно человеческих отношений, как, например, в Богоборчестве и Подземном мире. Теперь мы можем рискнуть принять гомеровскую стоимость быка перед Троей за половину унции золота. В призах борцовского поединка, где треножник стоил двенадцати быков, высококвалифицированная женщина (πολλὰ δ' ἐπίστατο ἔργα) стоила четырех[803]. Две унции золота были бы низкой ценой для такого человека практически в любом возрасте. Согласно этим расчетам, каждая капля на эгиде Минервы весила бы пятьдесят унций: все вместе весило бы более 300 фунтов. *avoirdupois*, и если бы мы предположили, что чисто декоративная бахрома в произведении такого рода весит одну десятую часть от всего целого, то сам Эгид весил бы почти полторы тонны. *На первый взгляд*, это поддается объяснению одним из двух способов: во-первых, цифры используются поэтически, а не арифметически; во-вторых, это явное намеренное массовое преувеличение. Правила Поэта, применяемые в других местах, обязывают нас отвергнуть последнее решение и, следовательно, возвращают нас к первому.

Цифры, обозначающие стоимость.

Опять же, нам говорят, что, когда Диомед добился обмена оружием от Главка, он отдал костюм из меди, а взамен получил костюм из позолоты[804];

χρῦσεα χαλκείων, ἐκτόμβοι' ἐννεαβοίων.

Здесь, по-видимому, присутствует смесь метафорического и арифметического использования. Ибо, с одной стороны, странно, что он выбрал числа, которые требуют помощи дроби для выражения своего отношения друг к другу. Он, конечно, не мог иметь в виду, что значения двух мастей были точно равны 100: 9 или 11 $\frac{1}{2}$: 1. И все же, с одной стороны, он едва ли мог использовать термин ἐννεαβοίᾱ, кроме как по отношению к известной и обычной ценности доспехов, в то время как кторбейᾱ, судя по его использованию в других местах, следует подозревать, что он обладает не более чем неопределенной силой.

С этим дробным соотношением в 100:9 можно сравнить организацию праздника в Пилосе, где каждому подразделению из пятисот человек было предоставлено по девять волов. Эти цифры, однако, вероятно, менее расплывчаты, чем в некоторых других случаях: поскольку заявленная сумма, хотя и велика, не выходит за рамки того, что может предложить грубое изобилие на большом общественном мероприятии.

Опять же, Ликаон, попавший в плен к Ахиллесу во второй раз, напоминает этому герою о том, что он получил или чего стоил ему в предыдущем случае[805]: ἐκτόμβοιον δέ τοι ἦλφον. Здесь мы имеем решающее доказательство образного использования числа. Если бы Приам выкупил молодого принца, без сомнения, была бы назначена большая цена. Но Ахилла продали его в Лемнос, ἄνευθεν ἄων πατρός τε φίλων τε: и жители лимноса он вряд ли могли иметь значение, но, как работника, хотя на самом деле оказалось, что он был впоследствии выкуплен, по ξεῖνος Приама[806], по высокой цене. Таким образом, мы не можем предположить, что он привез что-либо такое, что было бы представлено полной сотней быков.

Имеющиеся на данный момент свидетельства, я думаю, убедительно подтверждают гипотезу о том, что в общем использовании Гомером чисел есть некоторая расплывчатость, за исключением очень малых чисел, которые нельзя объяснить иначе, как метафорически или чисто поэтически: и что в его уме никогда не было ни одного из этих процессов, какими бы простыми они ни были для всех, кто с ними знаком, - умножения, вычитания или деления.

Я допускаю возможность того, что его манера обращаться с числами могла быть обусловлена его стремлением быть понятной и состоянием способностей его слушателей в такой же или даже большей степени, чем его собственные. Но для меня предположение о младенческом состоянии даже его способностей в отношении чисел, хотя и кажется на первый взгляд поразительным, при размышлении подтверждается как полностью соответствующее аналогии и природе. Действительно, жизненный опыт может убедить нас в том, что до сих пор мы ошибались бы, если бы полагали, что арифметические концепции единообразны в разных умах; что отношения чисел слабо и несовершенно поняты разве что опытными или особо одаренными людьми; и что, короче говоря, нет ничего более таинственного, чем арифметика, для тех, кто ее не понимает. В качестве одной из иллюстраций этого мнения я приведу трудность, с которой большинство образованных людей, изучающих историю, несомненно, сталкиваются при овладении ее хронологией; в то время как для тех, кто склонен к цифрам, она не только усваивается с легкостью, но даже служит *связующим звеном* и поддержкой всей цепи событий.

Было несколько случаев, когда Гомеру было бы наиболее естественно и уместно использовать способность умножения; однако ни в одном из них он ее не использовал. Он постоянно поставляет нам большое количество материалов, но ни разу не выполняет сам процесс.

О численности армий ничего не сообщается.

Первым примером в "Илиаде" является отрывок из печальной речи Агамемнона к Собранию во Второй книге, который вызывает приступ тоски по дому. Он сравнивает силу греческой армии с силой троянцев; и он достигает цели только с помощью этого слабого, но тщательно продуманного изобретения. "Если бы греки и троянцы согласились быть пронумерованными соответственно, и если бы троянцы, должным образом так называемые, были размещены один за другим, а греки - десятками, и каждый троянец стал виночерпием греческой десятки, многие из наших десятков были бы без виночерпия"[807].⁴ Во-первых, тот факт, что он называет это установление сравнительной силы нумерации. ἀριθμηθῆναι примечателен; ибо это не показало бы численности ни той, ни другой армии; ни даже разницы, благодаря которой греки в десять раз превосходили троянцев; но просто, оставляя неизрасходованный остаток, тот факт, что их было больше, много или мало, более чем в десять раз больше, чем осажденных. Во-вторых, кажется очевидным, что, если бы Гомер знал, что подразумевалось под умножением, он использовал бы этот процесс в данном случае вместо изощренной (но поэтической) околичности, которую он перенял; и сказал бы, что греков было в десять, или в пятнадцать, или в двадцать раз больше, чем жителей Трои.

После этого Улисс напоминает Собравшимся о появлении дракона, которого они видели в Авлиде. Фраза ἡ δὲ καὶ πρῶτα, которую он использует, грамматически может относиться либо к эпохе сбора в Авлиде, либо ко времени чумы, унесшей часть войск за две или три недели до этого. В какую бы связь из двух мы это ни поставили, это дает пример крайней неопределенности в употреблении двух наречий, которые одновременно выражают время и

число; ибо, с одной стороны, он должен использовать их для выражения целых лет, а с другой - они должны означать около двух недель и, следовательно, определенное количество дней.

Следующий случай примечателен. Это случай из Каталога.

Резолюция, которая вводит его, была резолюцией не о нумерации войск; а просто о тщательном разделении и распределении людей под руководством их руководителей с целью повышения эффективности ответственности, как офицеров, так и рядовых[808]. Но когда Поэт переходит к перечислению подразделений, очевидно, что для него большая цель - показать относительные силы и, следовательно, относительную известность и могущество различных государств Греции. И все же ничто не может быть более несовершенным, чем способ, которым выполняется счетная часть его задачи. Во-первых, мы снова прослеживаем старую привычку к вольному и образному использованию чисел. Ибо Гомер вряд ли имел в виду, что мы должны буквально понимать все числа кораблей, которые он указал в Каталоге: поскольку в каждом случае, когда они достигают или превышают двадцать, они проходят полные десятилетия без нечетных чисел; за единственным исключением двадцати двух кораблей Гуней. У Подалирия и Махаона их тридцать, у фокейцев - сорок, у Ахилла - пятьдесят, у Менелая - шестьдесят, у Диомеда - восемьдесят, у Нестора - девяносто, у Агамемнона - сто: единственное полное кратное десяти опущено - это совершенно несговорчивый ἑβδομήκοντα. Но опять же, он не дает нам никакого реального ключа к разгадке численности экипажей. На каждом из пятидесяти кораблей беотийцев было по сто двадцать человек, а на каждом из семи кораблей Филоктета - по пятьдесят[809]. Таким образом, он предоставляет нам два множителя суммы, которые определяли бы количество людей в каждом из этих двух случаев; но ни в том, ни в другом случае он не производит суммирования; и такова единообразная практика во всех стихотворениях. Что касается греческих вооруженных сил в целом, то он даже не назвал нам этих факторов. Действительно, высказывалось предположение, что пятьдесят кораблей могли быть самой маленькой командой, а сто двадцать - самой большой; но это всего лишь предположение; и даже если оно хорошо обосновано, все равно мы не знаем, было ли общее количество кораблей примерно средним или ближе к тому или иному из крайних значений. Опять же, из "Одиссеи" представляется вероятным, что эти числа, пятьдесят и сто двадцать, относятся исключительно, по крайней мере, к пилотам и командирам, если не также к стюардам[810] и младшим офицерам[811]; ибо число, упомянутое Алкиноусом[812] равно пятидесяти двум; и хотя он говорит, что все должны были сесть грести, сравнение текстов не может не наводить на мысль, что число пятьдесят были обычным набором весел, и эти двое были капитаном и пилотом соответственно[813].

Очевидно, что в экипажах греческих вооруженных сил должно было быть очень большое неравенство в экипажах греческих вооруженных сил; иначе Гомер не смог бы сказать, предоставив Агамемнону сотню кораблей, что у него были самые большие силы из всех вождей[814];

ἄμα τῷδε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι

λαοὶ ἔποντ'.

Ибо у Диомеда и Идоменея по восемьдесят кораблей, а у Нестора девяносто, так что их численность была бы очень близка к численности Агамемнона, если бы их корабли не были меньше. Но подведем итог этому обсуждению. Очевидно, что если бы мы только предположили,

что греки времен Гомера обладали определенным и хорошо развитым чувством числа, упоминание Гомером численности войск в троянской экспедиции было бы фактом высочайшего национального интереса и важности. И все же он не оставил нам ничего, что можно было бы сказать хотя бы приблизительно об этом, хотя перечисление КATALOGA, кажется, почти навязывает ему эту тему. Справедливые выводы, по-видимому, заключаются в том, что он вообще не понимал использования чисел в расчетах или выходил за рамки какого-то очень ограниченного диапазона; и что даже в пределах этого диапазона он по большей части использовал их поэтически и орнаментально; они были декоративными и эффективными, как эпитеты к его песне, но они не были статистическими; как выражения силы они были не более чем (как бы) пробными, и то очень грубо.

Я еще больше укрепляюсь в вере в неопределенную концепцию числа Гомера из-за странного результата, к которому привело бы противоположное мнение. Он сообщает нам о троянском бивуаке[815];

χίλι' ἄρ' ἐν πεδίοις ποταμοῦ καί εἶτο· παρ δὲ ἐκάστῳ
εἷ αὖτο πεντήκοντα.

В этом случае он снова дал нам множители суммы при умножении, но не произведение. Имел ли он в виду, что их следует понимать буквально? Если это так, то действительно странно, что, хотя он вообще ничего не говорит о численности в Троянском каталоге, все же он здесь снабдил нас всеми подробностями, необходимыми для оценки троянских войск, в то время как что касается греческой армии, мы по-прежнему не можем сказать, составляла ли она пятьдесят тысяч, или половину, или вдвое, или втрое больше. Но из полного отсутствия указанных номеров в Каталоге троянцев совершенно ясно, что у него не было желания, да и не было возможности, давать точный отчет о троянской силе. С другой стороны, из подробностей Греческого каталога явствует, что он действительно хотел описать величину силы с этой стороны, насколько он мог это представить или передать. Если все это так, то ничто не может показать это более ясно, чем тысяча троянских сторожевых костров с пятьюдесятью людьми у каждого - образная манера Гомера использовать числовые агрегации. Однако если мы допускаем образное употребление, мы сразу же находим все гармоничным. Он описывает троянцев методом смелого усиления в том месте стихотворения, где его цель - сделать их ужасными для греческого воображения.

Пример с Протеем в "Одиссее" уже упоминался; но еще один примечательный случай можно найти в описании, которое Эвмей дает стадам Улисса. Это, опять же, один из примеров, когда дух и суть отрывка почти требовали, чтобы была указана общая сумма. Ибо цель состоит в том, чтобы дать красноречивый отчет. Богатство этого царевича, говорит Поэт, было безграничным; ни у одного из героев, будь то Итака или плодородный континент, не было столько богатств; нет, и у их не было и двадцати. Затем он упоминает, сколько было стад крупного рогатого скота, коз, свиней и отар овец, но не приводит ни цифр ни какого-либо общего количества: хотя незадолго до этого в стихотворении упоминалось о трехстах шестидесяти жирных свиньях, находящихся на попечении Эвмея, а также обычным образом приводились свиноматки, указывая, что было двенадцать свиноматок по пятьдесят в каждой; но нигде не указывая общее количество в шестьсот, которое эти цифры дают при умножении вместе[816].

Опять же, результатом всех этих отрывков, а также других, которые можно было бы процитировать, является, я думаю, демонстрация того, что представления Гомера о числе и его использование числа, особенно когда оно выходило за очень низкие пределы, были настолько неопределенными, что их вполне можно назвать образными.

"Эпоха нимф" Гесиода.

В подтверждение и для иллюстрации этой веры в отношении Гомера я бы еще раз сослался на любопытный фрагмент, приписываемый Гесиоду, касающийся возраста нимф с прекрасными локонами, который начинается словами:

ἐννέα τοι ζῶει γενεὰς λακέρυζα κορώνη

ἄνδρῶν ἡβώντων.

В Этимологическом Магн. 13. 36, значение - $\gamma\epsilon\nu\acute{o}\nu\tau\omega\nu$; и Авзоний, следуя этому авторитету в своей Восемнадцатой идиллии, дает значение $\gamma\epsilon\nu\epsilon\eta$ не менее 96 лет. Но смысл $\gamma\epsilon\nu\epsilon\eta$ зафиксирован гомеровским рассказом о Несторе и другими словами, таким образом, чтобы в значительной степени способствовать чтению $\eta\beta\acute{o}\nu\tau\omega\nu$. Следовательно, это слово означает период между рождением и расцветом жизни, который вполне может равняться тридцати годам. Затем приводится следующая таблица.

Возраст галки = 9 возрастам мужчин.

Возраст оленя = 4 годам галок = 36 годам мужчин.

Возраст ворона = 3 оленям = двенадцать галкам = 108 мужчинам.

Возраст пальмы = 9 ворон = 27 оленей = 108 галок = 972 человека.

Возраст нимфы = 10 пальм = 90 ворон = 270 оленей = 1080 галок = 9720 мужчин.

И если $\gamma\epsilon\nu\epsilon\eta$ равно 30 годам, то возраст Нимф = $30 \times 9720 = 291\,600$ лет. Но наиболее примечательным для нас является то, что, хотя Гесиод, если это действительно Гесиод, предоставляет нам все первые множители после $\gamma\epsilon\nu\epsilon\eta$, для этой длинной суммы он фактически не выполняет ни одного умножения; и он даже не определяет $\gamma\epsilon\nu\epsilon\eta$, который является первым и наиболее важным элементом из всех.

Таким образом, он сразу дал нам очень красивое поэтическое изобретение для выражения приблизительного возраста нимф, которые действительно рождены Юпитером, но не бессмертны, и замечательное доказательство неопределенности числовых представлений и полного незнания правил арифметики[817].

Одним из следствий предложения, которое я выдвинул в отношении Гомера, является полное устранение предполагаемого расхождения между "Илиадой" и "Одиссеей", которое часто выставилось напоказ как причина, среди прочего, приписывания их разным авторам. Действительно утверждается, что в Каталоге[818] Крит называется $\acute{\epsilon}\kappa\alpha\tau\acute{o}\mu\pi\omicron\lambda\iota\varsigma$; и что в Девятнадцатой Одиссее[819] нам рассказывают об этом,

ἐν δ' ἄνθρωποι

πολλοὶ , ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόλεις.

Каждое из этих слов, по-видимому, интерпретируется так же строго, как если бы оно было обнаружено аудитором в отчетах какой-нибудь преступной Акционерной компании; и таким образом, различие авторов двух стихотворений должно быть оправдано. Теперь, если бы оба этих поэта посмотрели на предмет глазами статистиков, было бы немало странного в том, что, хотя каждый из них нашел разное количество городов на Крите, все же каждый нашел четное и более или менее круглое число. Но почему *κατόμπολις* следует интерпретировать более строго, чем *ἐκατομβή*? И снова, если мы хотим истолковать *ἐννήκοντα* статистически, что нам делать с тем самым словом, которое предшествует ему, а именно, *ἀπειρέσιοι*? Простого факта сопоставления этого слова *ἐννήκοντα πόλεις*, несомненно, должно было быть достаточно, чтобы показать, что вся манера речи была (то, что мы сейчас называем) поэтической. Итак, относительно этого, я осмелюсь даже сказать, что эффект сравнения с эпитетом в Каталоге заключается не в фактическом расхождении, а скорее в сходстве в степени образной концепции и выражения: так что, как следствие, насколько это чего-то стоит, это скорее доказывает идентичность, чем разнообразие авторства двух стихотворений.

Второе следствие, которое следует сделать из предыдущих выводов, заключается в том, что мы поступим неправильно, если будем искать в поэмах Гомера какую-либо хронологическую схему. Подробные перечисления книг Моисея, возможно, задали тон нашим обычным историческим исследованиям: но, по крайней мере, в отношении Гомера, должно показаться ошибочным использовать его числовые утверждения как буквальные, когда они применяются ко времени, после того как у нас было так много доказательств их в целом орнаментального и образного характера.

Когда Гомер случая, чтобы определить расстояние, он не будет пытаться сделать это фиксированная мера, но всегда со ссылкой на человека или другое действие: он как мужчина может бросить копье (*δοῦρ' ἔρῳη*); или как человек, крик может быть услышан (*ἄσπον τε γέγωνε βόησας*); или как далеко, когда мы приходим в больших помещениях, так как мы можем плыть в течение определенного времени; если я сделаю хороший проход, говорит Ахилл[820], я могу добраться до Фтии на третий день: и снова мы слышим расстояние, на которое судно может выполнить за день[821]. Кони богов у Гомера расчищают на каждом рубеже пространство, настолько большое, насколько может охватить глаз, на поверхности моря. Когда он начинает говорить о более отдаленных и менее известных местах, он становится гораздо более расплывчатым и говорит о Египте, что даже птицы не возвращаются оттуда в течение года[822]: без сомнения, черпая свою идею из тех птиц, которые периодически мигрируют.

У Гомера нет хронологической схемы.

Как с пространствами, так и со временем. Действительно, год благодаря своему вращению образует естественное целое и, таким образом, в некотором смысле определяет себя сам. Таким образом, растущая и убывающая луна определяет месяц. Но даже с этими четко обозначенными терминами Гомер имеет дело свободно; ибо рождение младенцев обещано произойти по прошествии года с момента зачатия[823].

Случай трех десятилетий назад.

Я не помню, чтобы он когда-либо упоминал очень большое количество дней или лет, но его употребление и дней, и лет, когда оно не включает термины, определенные обычаем, носит

признаки в высшей степени поэтического характера. Возьмем, к примеру, основные и почти единственные высказывания стихотворения, которые можно назвать хронологическими. Это те, которые представляют период осады как десятилетие лет, которому предшествует десятилетие подготовки, а за ним следует третье десятилетие превратностей Возвращения. Вот три термина лет, все они встречаются у Поэта, который в других местах вообще не имеет дела с терминами лет. Об истории, или о том, что претендует на то, чтобы быть таковой, Гомер рассказал нам очень многое, и он расположил это в самом точном и ясном порядке. Но ни в одном случае из всей его предшествующей истории он не придерживался каких-либо числовых определений времени. Более того, все эти три периода абсолютно равны, что повышает маловероятность того, что они являются историческими. Наконец, эти три термина относятся только к числу лет, необходимых для составления того, что, по всей видимости, было гомеровским термином для обозначения γενεή, или поколения людей.

Отрывок, на котором в основном должно основываться доказательство этого последнего утверждения, заключается в том, что в Первой книге[824], в которой описывается эпоха Нестора;

τῷδ' ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
ἐφθίαθ', οἳ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἦδ' ἐγένοντο
ἐν Πύλῳ ἡγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσευ.

Я полагаю, что слово γενεή означает здесь "срок в тридцать лет", но с необходимой оговоркой "или около того"; и по следующим причинам:

Нестор представлен в "Илиаде" как старейший из греческих вождей первого ранга. И все же Улисс[825] был пожилым, ὤφιοις. Идомений, опять же, был старше Улисса, как явствует из более заметного описания его преклонных лет. Он μεσαπτόλιος[826], и не полностью дееспособен, как явствует из его несколько ограниченного участия в военных операциях; но Нестор, очевидно, старше Идомения, поскольку он всегда обращается ко всему телу с авторитетом, который принадлежит самому большому опыту, и поскольку он никогда не принимает активного участия ни в битве, ни в играх. Соответственно, мы должны предположить, что Нестор представлен в то время семидесятилетним стариком или от того до семидесяти пяти.

Теперь из отрывка следует, что он был в третьем γενεή и в середине, то есть ни на одном из его концов: слова - μετὰ τριτάτοισιν. Число, равное не менее тридцати годам, позволяет отнести Нестора к третьему поколению с момента его рождения. Если, например, мы возьмем за этот срок двадцать пять лет, то он был бы не столько среди третьего, сколько накануне прибытия в четвертом поколении. Но мы также не можем приписать γενεή никакого значения, которое позволило бы ему значительно превысить тридцать лет. Ибо, как мы можем с уверенностью сказать, что Нестору из "Илиады" за семьдесят, так, с другой стороны, мы можем справедливо подсчитать, что ему меньше восьмидесяти; поскольку, хотя он и не принимает участия в упражнениях, действительно спортивных, он не щадит себя ни на что другое. Агамемнон находит его, когда главнокомандующий совершает свой обход, на поле боя и во главе своего подразделения: он бодрствует для ночного совета и будит других[827]. Сохраняя столь значительную долю физической активности, он все еще не представлен как обладающий силой

в такой степени, которая граничила бы с удивительной; он просто, в отношении телесных качеств, тот, кого сейчас назвали бы удивительно красивым пожилым джентльменом. Но если бы вместо тридцати мы взяли сорок лет, то для того, чтобы хорошо вступить в третий семестр, ему должно было быть уже намного больше восьмидесяти, даже, вероятно, за девяносто в "Илиаде" и больше ста в "Одиссее"; возраст, который, поскольку в этой поэме он сохраняет все свои умственные способности, мы можем быть совершенно уверены, Гомер не хотел ему приписывать. Таким образом, если $\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\eta$ означало какой-либо срок в годах, то, по всей вероятности, это должно было быть где-то около тридцати лет.

Гомер был осторожен в случае с Нестором, отметив соответствующим изменением выражений разницу между его возрастом в двух поэмах соответственно. В "Илиаде" он исполняет царские обязанности *среди* третьего поколения с момента своего рождения. В "Одиссее" он, как говорят, исчерпал три термина[828];

$\tau\rho\acute{\iota}\varsigma\gamma\alpha\rho\delta\acute{\eta}\mu\acute{\iota}\nu\phi\alpha\sigma\acute{\iota}\nu\acute{\alpha}\nu\acute{\alpha}\xi\alpha\sigma\theta\alpha\iota\gamma\epsilon\nu\epsilon'\acute{\alpha}\nu\delta\rho\acute{\omega}\nu.$

Ясность и точность выражений Гомера, которым мы так часто обязаны, могут сослужить нам хорошую службу и в дальнейшем. Два $\gamma\epsilon\nu\epsilon\alpha\iota$ прошло, а не мужчин в целом, но из - за мужчин $\omicron\acute{\iota}\omicron\acute{\iota}$ $\pi\rho\acute{o}\sigma\theta\epsilon\nu\acute{\alpha}\mu\alpha$ $\tau\rho\acute{\alpha}\phi\epsilon\nu\eta\delta'$ $\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\nu\omicron\nu\tau\omicron$, тех, кто был воспитан и рожден с ним, его современников. Теперь это доказывает, что под $\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\eta$ Гомер имеет в виду не полную продолжительность человеческой жизни, а тот средний интервал между сменами людей, который общий опыт определяет примерно в тридцать лет. Ибо, если бы Гомер подразумевал под $\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\eta$ все время, необходимое для вымирания поколения, Нестор не смог бы пережить два поколения современников. В этом смысле его современники явно представляли собой не два поколения, а одно или чуть больше. Но если Поэт имел в виду обычный интервал, через который ребенок сменяет отца или, скорее, следует за ним, выражение понятно; ибо смысл его в том, что он видел, как два из этих периодов лет, или последовательности, проходят над теми, кто родился в одно время с ним. И на самом деле этот смысл термина $\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\eta$ гораздо ближе к его этимологии, чем любой другой. Таким образом, в целом мы можем с уверенностью предположить, что это срок в несколько лет, имеющий, так сказать, в качестве стержня число тридцать. И, таким образом, три десятилетия войны становятся еще более неприемлемыми в качестве исторических выражений, потому что они находятся под сильнейшим подозрением в поэтическом использовании для составления $\gamma\epsilon\nu\epsilon\iota\eta$, по крайней мере, в той мере, в какой их вообще можно считать приближенными к реальному числу.

В полном соответствии с этим рассуждением Мюром было показано, что события третьего десятилетия с указанием их продолжительности составляют не только десять лет, но и восемь лет и семь месяцев[829]: и он продолжает в том же направлении с предыдущим аргументом до сих пор, по крайней мере, чтобы заметить, что десятилетия и их расположение задуманы "в смешанном духе гиперболы и метода", который обычно отмечает гениальность героического романа[830].

Однако то, что позволяет мне с большой уверенностью сразу же ссылаться на исторический авторитет Гомера и в то же время вообще отказываться признавать его хронологом, заключается в том факте, что он нигде вообще не основывает свою историю на хронологии или нумерации событий по годам, как не исчисляет расстояния милями, но что он упорядочивает последовательность событий по $\gamma\epsilon\nu\epsilon\alpha\iota$ или преемственность человеческих поколений. На эти поколения мы должны смотреть как на реальный хронометражный организм его произведений:

и время с его эластичными периодами, хотя и неопределенное в деталях, сохраняется им наиболее точно и эффективно в целом; так что его поколения, которые разбросаны по разным частям стихотворений, всегда совпадают при встрече. Здесь не место для доказательства этого утверждения: я ссылаюсь на него только потому, что оно может помочь развеять иллюзию, склонную владеть умом в отношении десятилетий Гомера. Мы, с нашими определенными числовыми представлениями, естественно, можем считать, что если бы автор наших дней сказал, что война длилась в виде подготовки, действий и ответных действий каждые десять лет, и если бы впоследствии оказалось, что она, возможно, длилась (скажем) всего десять лет или немногим больше, такой автор доказал бы, что он недостойн веры: он бы нарушил нашу веру. Но Гомер не нарушает нашей веры в поэтическое использование чисел; они принадлежат его изобразительному, а не историческому аппарату, и в связи с этим изобразительным аппаратом он постоянно использует их. Я сомневаюсь, что можно сделать какое-либо исключение из общего утверждения, что, за исключением единственного случая войны в предшествующем и последующих десятилетиях, Гомер никогда не применяет число к повествованию. И все же стихи полны независимых повествований. Из всех них действительно очень немногие остались незафиксированными по дате; и в каждом случае дата, когда она найдена, указана, конечно, с определенным запасом, с помощью порядка поколений.

Трудности буквального толкования.

Я думаю, что такой взгляд на хронологию Гомера поможет объяснить некоторые трудности, которые до сих пор приводили к большому количеству ненужных затруднений. Если я прав, то из этого следует, что мы не должны использовать эти десятилетия в качестве руководства для арифметического определения порядка событий, потому что Гомер никогда не мыслил их арифметически, но представлял их себе так, как мы представляем себе миллионы или миллиарды. Следовательно, их более справедливо рассматривать как драпировку, свободно наброшенную на его действие, чем как жесткую рамку, в которую оно должно любой ценой вписаться. Давайте применим это к различным случаям, и среди них к случаям Телемаха и Нептолема соответственно. Улисс ушел Телемах простым ребенком, *νέον ὑεῖαῖτ' ἐνὶ οἴκῳ* [831]. Он возвращается и обнаруживает, что тот не стал полноценным человеком, потому что, будь он полноценным человеком, он был бы виновен в укоренившейся трусости, которой нет никаких признаков того, что Гомер хотел ему вменить; но все же он приближался к зрелости. Тем не менее, Антиной презрительно называет его *νέος παῖς* [832]. В целом, случай с Телемахом, возможно, по аналогии со стихотворениями, лучше всего подходит для отсутствия не более пятнадцати лет, хотя это не исключает девятнадцати лет. Здесь может быть небольшое, но не вопиющее расхождение. Но в другом случае, когда речь идет о количестве дней, в течение которых Телемах отсутствовал, Мюре показал, как мало Гомер заботится о том, чтобы следить за ходом времени, в случае, когда это существенно не затрагивает общий порядок стихотворения, с точностью, которую он соблюдает во всем, что он рассматривает исторически [833]. Я не могу рассматривать это как трудность в отношении вопроса об авторстве или признать, что это таковая: это его детская и неопределенная, но поэтическая привычка обращаться с цифрами для эффекта, точно так же, как художник обращается с цветом. С другой стороны, в случае с Аргусом, которым завладела темная смерть [834],

αὐτίκ' ἰδόντ' Ὀδυσῆα ἑεκοστῷ ἔνιαυτῷ

он точно совпадает со своими собственными десятилетиями. И все же я полагаю, что он делает это не из какого-либо чувства необходимости такого совпадения, а потому, что в этом несравненном отрывке он изобразил крайнюю старость собаки, и к этому подходило выражение "двадцатый год". Однако, когда мы переходим к случаю Неоптолема, мы обнаруживаем, что любому критику, который настаивал бы на чисто числовой точности у Гомера, чрезвычайно трудно приспособиться к этому. Мы действительно должны выбросить из головы рассказы о том, как безбородый Ахилл скрывался на Скиросе под женским обликом, откуда его извлекли с помощью искусства Улисса. Об этих историях Гомер ничего не знает, хотя кажется вероятным, что грация и красота великого воина, каким он предстает у Гомера, могли быть связаны с ними или наводить на размышления. Но что Поэт действительно представляет, так это то, что Ахилл отправился в Трои, не имея военного опыта, что он был отдан под определенную опеку Феникса, своего первоначального учителя, а теперь одного из его помощников, что Пелей пожелал, чтобы Патрокл как его старший дал ему хороший совет, и что его зовут νήπιος[835]. Однако его сын Неоптолем сменил его на посту командующего еще до окончания войны и добился очень высоких отличий. Еще более важно отметить, что его отличие заключается в совете, а также в области[836]. Возраст Ахиллеса, действительно, предположительно несколько завышен тем фактом, что Феникс, кажется, представляет себя намного моложе Пелея, который, по его словам, относился к нему как мог бы относиться отец[837]. И опять же, Ахилл никогда не изображается в "Илиаде" молодым человеком, в то время как Диомед представлен именно так. И все же есть решительная несовместимость в утверждениях об Ахилле и его сыне, если мы предположим, что Гомер имел в виду последствия своих трех десятилетий, как точно определяющие рост Неоптолема в годах и силе; ибо Неоптолемус к концу войны продвинулся вперед больше, чем его прославленный отец в ее начале. Мюр приложил все усилия[838], чтобы расположить все эти вопросы, которые зависят от десятилетий, в хронологическом порядке, не устраняя, я думаю, впечатления, что простая хронология из-за них значительно затруднена, и что, если строго судить, повествование, по всей видимости, несет ответственность за несколько лет неправильной адаптации. Мне кажется более близким к истине рассматривать три десятилетия, вместе составляющие γενεή, как распределение времени, которое Поэт принял за его симметрию и величие, поскольку оно представляло войну как поглощающую эпоху или поколение людей: но не считать его обязанным корректировать взаимосвязь всех событий, о которых он повествует, со ссылкой на мельчайшую закономерность развития событий, которую он, по-видимому, не принимал во внимание и которую его слушатели, вероятно, были совершенно неспособны оценить. Если мы хотим проверить его историческую достоверность, мы можем судить о нем по его собственной схеме хронологии, а именно по его генеалогиям. Его легенды охватывают около семи поколений. Во многих из них появляются и воспроизводятся одни и те же персонажи, но нигде они не представлены таким образом, чтобы это противоречило порядку их следования в соответствии с обычными законами человеческой природы.

Использование предлагаемой интерпретации.

Применение этих соображений к стихотворениям поможет объяснить трудности, на которые ученые люди сочли нужным обратить внимание.

Например; хотя мы берем исторически три десятилетия, нас озадачивают такие вопросы, как, как получилось, что греки[839] так и не были собраны, пока не прошло девять лет. Во-вторых, как получилось, что троянцы никогда до этого не видели их в такой силе[840]; тогда как мы

знаем, что погибло множество членов греческой армии[841]; и нет никаких признаков того, что какая-либо подобная связь с их родная страна пережила войну, которой могло бы хватить для пополнения их рядов. В-третьих, почему троянцы оставались так плотно запертыми в стенах, и в то же время греки так редко приближались к ним, что Приам не должен был узнавать Агамемнона и его товарищей в лицо в течение столь длительного периода; и это при том, что Ахилл, вероятно, отсутствовал в течение значительных промежутков времени в своих грабительских экспедициях. В-четвертых, как получилось, что огромное количество союзников, говорящих на разных языках, которые собрались вокруг Приама, чтобы помочь ему, не были, подобно греческой армии, выстроены в более раннее время.

Но если мы предположим, что срок в десять лет является в основном образным выражением для передачи идеи усилий, увеличенных по продолжительности, а также экстраординарных по интенсивности, трудности, подобные этим, которые в худшем случае, возможно, не очень серьезны, либо полностью исчезают, либо уменьшаются до незначительных размеров. Таким образом, мы вправе предположить, что, нисколько не отступая от общей исторической истины, Гомер чувствовал себя уполномоченным сжимать, расширять или группировать события войны таким образом, какой, по его мнению, лучше всего подходил для концентрации интереса и создания адекватного поэтического и национального эффекта.

РАЗДЕЛ IV.

Восприятие цвета Гомером и его использование.

Тема гомеровских чисел обсуждалась довольно подробно из-за ее связи с важными вопросами истории. Проблема цветов может, даже по своим собственным достоинствам, заслуживать тщательного изучения. Однако это исследование будет напоминать предыдущее обсуждение по видимости парадокса, который, как может показаться, представляет этот аргумент. После идеи числа, возможно, нет ничего более определенного для современного ума в целом, а также для английского ума в частности, чем идея цвета. О том, что наша собственная страна обладает какими-то особыми способностями в этом отношении, мы можем судить по сравнительно выгодному положению, которое британские художники всегда занимали как колористы среди других современных школ. Кажется, нет ничего более понятного и запоминающегося для очень маленьких детей среди нас, чем различия между основными цветами. Что касается одного момента, то здесь ситуация с числами обратная. Там идея становится неопределенной по мере того, как мы поднимаемся по шкале, здесь - по мере того, как мы опускаемся. Цвет становится сомнительным по мере того, как он становится слабым, все более и более четким по мере того, как он накапливается и усиливается. Но легкость, с которой мы различаем цвет во всех его выраженных формах, вероятно, является результатом традиционных способностей, поскольку, уходя далеко назад в историю человечества, мы, кажется, обнаруживаем, что эта способность становится все менее и менее зрелой.

Я сознаю, что предмет, который сейчас находится перед нами, на самом деле заслуживает научного исследования, которое я не в состоянии ему предоставить; а также что мы пока далеки от того, чтобы перевести язык древних для обозначения цвета в наш собственный с уверенностью, которую мы можем чувствовать почти в любой другой области толкования. Мои усилия будут ограничены, во-первых, подборкой "реалий", или фактов из поэм, в случае с

Цветом: и, во-вторых, указанием на то, что, по-видимому, является основой идей и восприятий Гомера относительно этого, и на связь этой основы с идеями поздних греков.

Среди признаков незрелости, о которых я упоминал, в поэмах Гомера можно найти следующие:

I. Скудость его красок.

II. Использование одного и того же слова для обозначения не только разных оттенков одного и того же цвета, но и цветов, которые, по нашему мнению, существенно различаются.

III. Описание одного и того же объекта цветовыми эпитетами, принципиально отличающимися один от другого.

IV. Подавляющее преобладание самых грубых и элементарных форм цвета, черного и белого, над всеми остальными и решительная тенденция рассматривать другие цвета просто как промежуточные модусы между этими крайностями.

V. Незначительное использование цвета у Гомера по сравнению с другими элементами красоты с целью поэтического эффекта и его отсутствие в определенных случаях, где мы могли бы с уверенностью ожидать его найти.

Каждая из этих тем заслуживает отдельного упоминания.

Гомеровские прилагательные Цвета.

I. Итак, во-первых, по поводу скудости его красок. Я думаю, мы находим едва ли больше, чем следующие слова, которые можно с уверенностью описать как прилагательные цвета, собственно так называемые:

1. λευκός.
2. μέλας.
3. ξανθός.
4. ἔρυθρός.
5. πορφύρεος.
6. κυάνεος.
7. φοῖνιξ.
8. πόλιος.

Есть и другие слова, которые заимствованы от объектов, имеющих цвет, и к большинству из них я буду относиться позже, но которые вряд ли, в соответствии со всеми свидетельствами из текста Гомера, могут быть классифицированы как прилагательные определенного цвета.

Теперь мы должны сразу же поразиться бедности только что приведенного списка, сравнив его с нашим собственным списком основных цветов, который был определен для нас Природой и который выглядит следующим образом:

1. Красный.
2. Оранжевый.
3. Желтый.
4. Зеленый.
5. Синий.
6. Индиго.
7. Фиолетовый.

К этому мы должны добавить —

8. Белый - соединение всех цветов;
9. Черный - негатив или отсутствие их всех.

По крайней мере, трое из этих девяти не представлены. Для πόλιος может означать, никто из них и φοίνιξ не может более чем вдвое либо πορφύρεος, или ξανθός, или ἔρυθρός. Наиболее благоприятными предположениями, возможно, было бы расположить гомеровский список следующим образом:

1. λευκός, белый.
2. μέλας, черный.
3. ξανθός, желтый.
4. ἔρυθρός, красный.
5. πορφύρεος, фиолетовый.
6. κυάνεος, индиго.

И, таким образом, оранжевый, зеленый и синий остались бы без каких-либо соответствующих терминов. Но, по правде говоря, когда мы подробнее рассмотрим способ использования Гомером прилагательных цвета, мы увидим, что он ни в коем случае не так богат, как позволяет эта классификация.

Другие слова, которые будут рассмотрены в настоящее время, но которые действительно имеют очень слабые претензии на то, чтобы рассматриваться как прилагательные определенного цвета, следующие:

1. χλωρός.
2. αἶ θαλόεις.
3. ῥοδόεις.
4. ἰ όεις.
5. οἴ νοψ.
6. μιτοπάρης.
7. αἶ θων.
8. ἄργός.
9. αἶ ολος.
10. γλαυκός.
11. χάρπος.
12. σιγαλόεις.

13. μαρμάρεος.

Наряду с каждым из этих прилагательных, которые являются главными, хотя и не совсем единственными в своем классе у Гомера, я возьму родственные слова, такие как глаголы или составные части, которые могут к ним относиться.

Их применение.

II. Давайте теперь рассмотрим конкретные приложения, которые Гомер соответственно применил к этим словам. Однако нет необходимости включать в их число λευκός и μέλας, поскольку эти эпитеты указывают на идеи, которые во все времена использовались, в значительной степени, только в качестве приближения.

1. ξανθός применяется Гомером к следующим объектам:

а. horses, Ἴππων ξανθὰ κάρηνα, Il. ix. 407.

б. волосы людей, ξανθός μενέλαος, перевод: Ахиллес, Ил. i. 197.

с. волосы женщин, ξανθὴ Ἀγαμήδη, Ил. xi. 739; Δημήτηρ, Ил. v. 500.

2. ἔρυθρός, очевидно, одно и то же слово с латинским *ruber* и с нашим собственным "румяный", а также, вероятно, с немецким *roth*.

Он используется Гомером для

а. Медь в Ил. ix. 365.

б. Нектар, Ил. xix. 38.

с. Вино, Од. ст. 93.

г. Кровь: в ἔρυθραίνω, Ил. x. 484.

3. πορφύρεος снова является латинским *purpurae* нашим 'пурпуром', а также нашим 'порфиром'. В употреблении этого слова мы впервые обнаружим поразительное количество очевидных несоответствий: и это потребует рассмотрения в соответствующем месте, следует ли отнести это несоответствие к смелому проявлению искусства Поэта или к неразвитым знаниям и, следовательно, к несовершенному стандарту цвета.

Слово πορφύρεος используется следующим образом для обозначения чувственных объектов:

а. Кровь, Ил. xvii. 361.

б. Темное облако, там же. 551.

с. Речная волна при волнении, Ил. xxi. 326.

д. Морская волна, Ил. i. 482; и потревоженное море, Ил. xvi. 391.

е. Мяч, которым играли феакийские танцовщицы, Од. viii. 373.

ф. Предметы одежды, как Ил. viii. 221; Од. iv. 115.

г. Ковры, как Од. xxi. 151; Ил. xxiv. 645.

ч. "Радуга", Ил. xvii. 547.

і. Метафорически это применимо к Смерти, Ил. v. 83: и, как могло бы показаться, только к кровавой смерти.

Далее применяется глагол πορφύρω

а. к темнеющему морю, Ил. xiv. 16.

б. к размышлениям разума, Ил. xx. 551.

Снова наносится соединение ὀλπόρφυρος

а. к шерсти, Од. vi. 53.

б. к одежде, сотканной из нее, Од. xiii. 108.

В этом эпитете мы получаем дополнительное представление о море; и буквально оно означает 'пурпурное, как море'. Но я отложу любые замечания относительно конкретного намерения Гомера использовать это слово, пока мы не перейдем к эпитетам, производным от ἴον, фиалка.

Под этой группой слов, по-видимому, подразумеваются по крайней мере три формы цвета;

1. Покраснение крови.

2. Собственно пурпур, как у моря в Ил. i. 482. К этому же, вероятно, относится и радуга, о трех цветах которой из семи можно сказать, что они принадлежат к семейству голубых и которую Шекспир назвал голубой.

3. Серый и свинцовый цвет темной тучи, когда вот-вот разразится шторм, и реки, когда она потревожена.

В дальнейшем у нас будут основания предположить, что это слово также может и часто означать что-то рыжеватое или коричневое.

Из κύανος и κυάνεος.

4. Слово κυάνεος очень важно в этом исследовании; и, к сожалению, оно не менее непонятно.

Это сразу же возвращает нас к предыдущему вопросу: что такое κύανος? Но этот вопрос остается почти полностью неопределенным[842]; так что мы должны следовать, насколько это возможно, гомеровскому применению самого слова вместе с прилагательным и его составными частями. Их очень много. Сначала у нас есть субстантивное слово κύανος, введенное в трех местах: в каждом из которых оно, очевидно, относится к сочетанию цветов, а также веществ.

а. Когда-то это было просто κύανος. Внутренняя стена зала Алкиноя покрыта листьями меди[843]; а по верху - θρίγκος или бахрома из κύανος. Од. vii. 87.

б. Дважды это μέλας κύανος. На нагруднике Агамемнона двадцать полос или слоев олова, двенадцать из золота и десять μέλανος κύανοιο. Ил. xi. 24, также;

гр. По его щиту были десять раундов меди; а потом, видимо, на лицевой стороне щита в пределах этих двадцати белых боссов (ὄμφαλοι λευκοί) из жести, если такое имеет место быть смысл κασσίτερος: в центре всего, там был один хозяин μέλανος κύανοιο. Ил. xi. 35.

Переходя теперь к κύανεος, мы подходим к трем следующим этапам эпохи, когда может возникнуть вопрос, описывают ли они только цвет, или только вещество, или и то, и другое.

г. На нагруднике Агамемнона, состоящем из десяти слоев черного κύανος, с каждой стороны изображены три κύανεοι δράκοντες (Ил. xi. 26). Их сравнивают с радугой, которая, как мы уже видели, в другом месте описывается как πορφυρεή.

е. На посеребренном поясе Агамемнона изображен κύανεος δράκων. Ил. xi. 38, 9.

ф. Вокруг золотого виноградника на щите Ахилла с серебряными кольями есть забор из κασσίτερος и траншея (κάπετος), описываемая как κυανέη. Ил. xviii. 564.

Сразу же появляется, что другие приложения имеют отношение только к цвету.

г. К бровям Юпитера и Юноны. Ил. i. 528. хв. 102. xvii. 209.

ч. К темному облаку пара, но не к грозовой туче. Ил. xxiii. 188. v. 345. хх. 418.

i. К волосам Гектора, Ил. xxii. 402; и к бороде Улисса, когда Минерва возвращает ему красоту. Од. xvi. 176. С этим мы можем сравнить гиацинтовые волосы Улисса в Од. vi. 231.

j. сомкнутым массам греков: πικινὰί κίνυντο φάλαγγες κύανεαι. Ил. iv. 281. Этот эпитет, должно быть, произошел от их оружия, и оно, вероятно, состояло в основном из двух элементов, которые нелегко объединить в общем представлении о цвете; во-первых, медь, которая имеет красноватый оттенок; и, во-вторых, бычьи шкуры на щитах и в других местах. Гомер никогда (за исключением Ил. xiii. 703 и Од. xiii. 32) не описывает этих животных каким-либо цветовым эпитетом. В этих двух отрывках они являются βόε οἷον. Этот эпитет будет рассмотрен позже. В то же время мы можем считать вероятным, что преобладал бы темный цвет, и что соответственно мы должны так понимать κύανεαι: но склонность к *синему*, которая так часто характеризует этот эпитет, таким образом, полностью ускользает. Это слово также применяется к троянскому воинству в Ил. xvi. 66.

к. Фетида надевает траурные одежды по Патроклу, собираясь явиться Ахиллу, Ил. xxiv. 93.

κάλυμ' ἔλε δ' α θεάων

κύανεον· τοῦ δ' οὔτι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.

Здесь Гомер осторожно сообщает нам, что κάλυμμα, или капюшон и мантия, были самой черной одеждой из всех возможных; и, поскольку в Ил. iv. 287 мы находим, что он был знаком со смолой, нам не нужно стесняться предположить, что здесь он говорит буквально и либо имеет в виду настоящий черный цвет, который, тем не менее, он также называет κύανεον, либо не видит разницы между подлинным черным и цветом κύανος.

л. Когда волна Харибды отступает, появляется берег ψάμμωξανέη. Цвет морского песка, только что оставленного волной, тусклый, но в то же время довольно светло-коричневый.

Теперь перейдем к составам.

1. применяется κυανοχαίτης

а. К Нептуну, например, Ил. xv. 174.

б. кобыле, Ил. xx. 224.

2. κυανώτις применяется к Амфитрите, или морю, бьющемуся о скалы, Од. xii. 60.

3. κυανόπεζα используется для обозначения подножия красивого стола (Il. xi. 628). Возможно, здесь скорее обозначается вещество, чем цвет. Металл в ножке придаст столу устойчивость.

4. У нас есть κυανόπρωρος и κυανοπρώρειος для носа корабля. Очевидно, это окрашенный нос, ибо в противном случае нос был бы того же оттенка, что и остальная часть корабля. (Il. xv. 693, *et alibi.*) Итак, носы кораблей называются μίλοπαρῆοι в Ил. ii. 637 и Од. ix. 125. Теперь μίλος было красной землей или охрой; и все же кажется, что Гомер использует μίλοπαρῆος как эквивалент κυανόπρωρος. Ибо первый эпитет применен в Каталоге к кораблям, которыми руководил Улисс, а второй в Од. x. 127 - к судну, на котором он плавал.

Таким образом, употребление этой группы слов, по-видимому, демонстрирует некоторую неопределенность, едва ли совместимую с предположением, что Гомер обладал точными представлениями о цвете. Нет ни одного цвета, который мог бы покрыть их все. Капюшон Фетиды очень похож на черный; нос корабля, по крайней мере, тускло-красного цвета; песок красновато-коричневый; облака свинцово-серые; волосы и брови глубокого, но не тусклого цвета; карниз в зале Алкиноя, должно быть, был рельефным и контрастировал с медной стеной и достаточно светлым или прозрачным, чтобы бросаться в глаза на расстоянии, в помещении, освещаемом ночью только с земли. Возможно, за этим исключением, слово "темный" будет охватывать все виды употребления κυάνεος: но темнота черпает свою силу из отношения к свету, а не к цвету.

Of φοῖνιξ, πόλιος.

5. φοῖνιξ у Гомера явно является словом, описывающим цвет, но оно столь же явно имеет неопределенный характер, присущий другим словам этого класса.

а. Кровь, взятую Пандаром у Менелая, сравнивают с цветом φοῖνιξ, используемым для окрашивания слоновой кости. В этом сравнении смысл склоняется к красному, тем более что оттенок слоновой кости так близок к оттенку плоти (Ил. iv. 141). Он упоминается в других местах, вероятно, в том же смысле, как декоративная краска.

б. В Il. xxiii. 454 мы узнаем, что одной из лошадей Диомеда был φοῖνιξ с круглой белой отметиной на лбу. Независимо от того, придадим ли мы этому цвету лавровый или каштановый, он существенно отличается от красного цвета крови.

с. φοῖνιος используется для получения крови, Од. xviii. 96.

г. Как и φοινῶς в Il. xvi. 159.

е. And φοινικόεις in Il. xxiii. 716. Это слово также применяется к плащу, Ил. x. 133.

ф. Дракон или змея, несомые орлом, называются φοινῆεις, очевидно, потому, что покрыты пятнами его собственной крови, Ил. xii. 200-6, 218-21.

г. Корабли - это φοινικοπάρηοι, Од. xi. 123 и xxiii. 272: это слово, по-видимому, синонимично μιτοπάρηοι.

ч. змей - это δάφοινος ἐπὶ νύκτα, Ил. ii. 308. And we have the δάφοινον δέρμα λέοντος, Il. x. 23.

В целом, здесь прослеживается не менее чем в трех смыслах: то, во что φοῖνιξ применяется к лошади, которая, по-видимому эквивалент ξανθός, тем более преобладающее слова: затем, что для Тони и тусклые цвета львиная шкура: то, что ярче, но еще и глубокого цвета крови, которая является свободно называют порφύρεος. Таким образом, φοῖνιξ просто передает другие слова и вовсе не помогает восполнить недостатки гомеровского словаря для выражения цвета.

Рассматриваемое как эпитет цвета, слово δάφοινος, означающее кроваво-красный, неуместно по отношению к дракону или змее и дополнительно служит иллюстрацией той расплывчатости, признаки которой множатся по мере нашего продвижения.

6. πόλιος применяется у Гомера следующим образом:

а. К человеческим волосам в связи со старостью, Ил. xxii. 74 *и алиби*.

б. К морю, Ил. i. 350 *и далее*. Остается выяснить, относится ли это к морю или к пене на нем.

с. К железу, Ил. ix. 366. хх. 261. Од. xxi. 3, 81. xxiv. 167.

г. К шкуре волка, которую Долон надел для своей ночной экспедиции, Ил. x. 334. Значение этого слова здесь, по-видимому, не "серый", а 'белый'. Очевидным намерением Гомера является показать Долона своего рода простаком[844] (x. 316, 17); и соответственно, он надевает белое покрывало, которое делает его видимым ночью, так что Улисс видел его (φράσато, 339).

Таким образом, последнее из этих четырех применений - *белый*. Первое явно склоняется к той же идее. Второе может иметь любое из двух значений. Но железо нельзя приблизить к белому цвету, даже если предположить, что оно всегда полированное, лучше, чем к голубовато-серому; который, по правде говоря, несколько далек от белого. Более того, будет видно, что Гомер также описывает железо как αἴθων и как ἰός.

Квази-прилагательные цвета.

Теперь я перехожу к классу слов, при рассмотрении которых будет показано, что они, как правило, даже не претендуют на то, чтобы их рассматривали как прилагательные определенного цвета, как предыдущие.

7. ἄλωρς используется у Гомера,

а. Главным образом в метафорическом смысле, как прямое описание страха.

б. Для обозначения бледности лица, вызванной страхом, как $\psi\lambda\lambda\omega\rho\acute{o}\iota \ \acute{\upsilon}\pi\alpha\iota \ \delta\epsilon\acute{\iota}\omicron\upsilon\varsigma$, Ил. х. 376 и хв. 4. Это использование раскрывает нам основу последней названной метафоры.

с. Для веток, очевидно, только что сорванных Эвмеем, чтобы устроить постель для Улисса, который был неожиданным гостем; Од. хvi. 47.

г. Для обозначения меда, Ил. xi. 630: где это должно означать либо бледный, либо свежий.

например, Для клуба Циклопов из оливкового дерева в Од. ix. 320, 379. Здесь мы впервые встречаем слово, применяемое к объекту, который, возможно, можно было бы назвать зеленым. Но все же следует сделать два замечания. Во-первых, даже лист оливы скорее серый, чем зеленый: и это кора, а не лист, который еще более серый и в то же время менее зеленый. Во-вторых, главной идеей является не зелень, а новизна: ведь Улисс говорит, что он нагревал ее в золе до тех пор, пока она не загорелась, $\lambda\lambda\omega\rho\acute{o}\varsigma \ \pi\epsilon\rho \ \acute{\epsilon}\acute{\omega}\nu$; хотя она только что срезана и все еще сочится соком.

ф. Производное $\chi\lambda\omega\rho\eta\grave{\iota}$ с применяется к соловью в Од. xix. 518 как к любителю лесов: и здесь идея зелени, по-видимому, выражена не так слабо.

Таким образом, в целом $\lambda\lambda\omega\rho\acute{o}\varsigma$ указывает скорее на отсутствие, чем на присутствие определенного цвета, хотя оно происходит от $\chi\lambda\omicron\eta$, что означает молодую траву. Если рассматривать его как эпитет цвета, то он сразу же заключает в себе безнадежное противоречие между цветом меда, с одной стороны, и зеленью - с другой. Опять же, чем больше мы предполагаем, что оно означает зеленый цвет, тем более поразительным становится то, что оно могло принять бледность, как это явно имеет место, за свою основную идею. Помимо бледности, оно служит главным образом для придания свежести, то есть в противоположность тому, что является несвежим или увядшим: необычное сочетание с первым ощущением. Идею зеленого мы почти не встречаем, разве что однажды, связанной с этим словом в поэмах Гомера; и все же примечателен тот факт, что в поэмах нет другого слова, которое можно было бы даже предположить для обозначения цвета, который не только радуга, но и повседневная природа так широко представляет глазу.

8. Далее я беру слово $\alpha\acute{\iota} \ \theta\alpha\lambda\acute{o}\epsilon\iota\varsigma$. Гомеровский смысл этого слова, кажется, чем-то напоминает значение слова $\kappa\upsilon\acute{\alpha}\nu\epsilon\omicron\varsigma$; хотя между ними есть разница, заключающаяся в том, что производное здесь от $\alpha\acute{\iota} \ \theta\acute{\alpha}\lambda\eta$, сажа.

Этот эпитет употреблен Гомером в достаточном соответствии, как утверждается, с идеей сажи,

а. К интерьеру дворца Улисса, Од. xxii. 239, и к дворцу Приама, Ил. ii. 415. В последнем случае это слово, как следует из контекста, следует толковать применительно к состоянию дома, почерневшего от пожара.

б. В темный Ясень $\kappa\acute{o}\nu\iota\varsigma \ \alpha\acute{\iota} \ \theta\alpha\lambda\acute{o}\epsilon\sigma\sigma\alpha$, что Ахиллес обливали голову, Ил. XVIII. 23, и который, в вер. 25, называется $\mu\acute{\epsilon}\lambda\alpha\iota\nu\alpha \ \tau\acute{\epsilon}\phi\rho\eta$: этот материал Лаэрта также используется для той же цели в Од. XXIV. 315. Однако уместность второго из этих двух применений зависит, во-первых, от довольно обоснованного предположения, что и Ахилл, и Лаэрт в момент своей скорби держали при себе остатки дров в очаге; и, во-вторых, от предположения, что слово $\kappa\acute{o}\nu\iota\varsigma$ может означать как пепел, так и пыль в целом. Но мы можем усомниться в обоих этих предположениях; в то время как, если

κόνις означает "пыль", а αἱ θαλόεις "закопченный", становится ясно, что этот эпитет, как и другие, используется с очень большой широтой.

9. Можно признать, что на первый взгляд слова ῥοδόεις и ῥοδοδάκτυλος могут показаться в самом строгом смысле цветовыми эпитетами. Но все же может показаться, что они ничего не добавляют к несовершенным средствам выражения этого у Гомера: и не только это, но и фактически, как бы скудно они ни использовались, они настолько не соответствуют друг другу, что мы вынуждены предположить, что он, должно быть, употреблял эти слова в смысле не только гибком, но и совершенно неопределенном и чисто переносном.

ῥοδοδάκτυλος, или розовощекий, стал, благодаря примеру и авторитету Гомера, классическим эпитетом для утра. Однако он более открыт для критики, чем обычно в случае с гомеровскими эпитетами. Нет ничего странного в олицетворении Морн с целью приукрасить ее эпитетом, относящимся к личной красоте; но покраснение, нанесенное на пальцы, а не только на их кончики, в этом отношении более чем двусмысленно, поскольку этот цвет допустим даже только на внутренней стороне кисти, которая является частью, невидимой, и, следовательно, предположительно, частью, не предназначенной для ῥοδοδάκτυλος.

Есть определенные очень мимолетные оттенки неба, которые приближаются к оттенку розы: но если Гомер определенно представлял себе цвет этого цветка, то в высшей степени странно, что он никогда не использовал его ни для изображения человеческого облика, ни для чего-либо другого, за исключением этого и еще одного случая.

Природа этого другого события еще более странна. Тело Гектора помазано, в Il. xxiii. 186, розовым маслом, ῥοδόεντι ἑλαίῳ Кажется недопустимым следовать за Даммом, переводя это как масло, *приготовленное из роз*, поскольку у Гомера мы не встречаем такого понятия, как κλάδιον, кроме масла оливкового дерева. Следовательно, это применимо к оттенку оливкового масла: и никакое мыслимое использование эпитета не могло бы быть более убедительным, чтобы показать крайнюю расплывчатость представлений Поэта о цвете, а также, вероятно, представлений людей его возраста.

10. Фиалка, не в меньшей степени, чем роза, снабдила Гомера эпитетами, которые он использовал таким образом, чтобы лишить их всякой специфической силы как средства выражения особого цвета.

Конечно, когда мы находим у Гомера οοειδέα πόντον, возникает большое искушение отдать ему должное за полное значение этого очень красивого эпитета, который он трижды употребляет по отношению к морю (Ил. ix. 298, Од. v. 55, xi. 106), и никогда ни в какой другой связи. Но когда мы исследуем использование им родственных слов, становится очевидным, что этим эпитетом он может означать немногим больше, чем передать довольно смутное представление о темноте.

Ибо он использует ἰόεις как эпитет для обозначения железа (Ил. xxiii. 850): и ἰοδνεφής, сначала для шерсти (Од. iv. 135), из которой прядет Елена. Здесь у нас может возникнуть соблазн предположить наличие фиолетового красителя. И все же это было бы несколько натянутым предположением: на каком основании мы можем сказать, что крашение было в ходу у греков гомеровской эпохи? Слышим ли мы о каком-либо красителе, кроме названия φοίνιξ, которое, как правило, указывает на иностранный характер? И разве упоминание меонской или карийской женщины в сравнении с окрашиванием слоновой кости в Il. iv. 141 — самый простой пример искусства или едва ли пример вообще — не дает основания предполагать, что это

искусство было чуждо Греции? Таков, по-видимому, истинный вывод; но если он верен, то мы сразу теряем специфическую силу пурпурного цвета для всех мантий, ковров и тому подобного в стихотворениях; и мы вправе только предположить, что они были сотканы из темной шерсти.

Эта конструкция подтверждается вторым и единственным другим отрывком, в котором Гомер использовал слово οὐνεφής. Ибо здесь (Od. ix. 426) он говорит о живых овцах Полифема как καλοί τε μεγάλοι τε, ἰ οὐνεφές εἰ ροσ ἔχοντες.

Этот отрывок, очевидно, применим к тому, что мы называем черными овцами, которые, строго говоря, темно-коричневого цвета. Рассматриваемый таким образом, тот факт, что название фиалки может употребляться в таком значении, дает еще один наиболее поразительный признак неопределенности гомеровских цветов. И это также, кажется, подтверждает доказательство того, что πορφύρεαι χλαῖναι, γῦσα и все другие тканые предметы, к которым прилагается этот эпитет, на самом деле были либо черными, либо коричневыми.

11. Гомер использует слово ὄνοψ в очевидном отношении к цвету; но оно относится только к двум объектам, а именно.

а. Для волов, в Ил. xiii. 703 и Од. xiii. 32.

б. Для моря, без ссылки на какое-либо особое его состояние, в Ил. i. 350, *et alibi*.

Существует немалая трудность в объединении этих двух применений с учетом идеи общего цвета. Море бывает голубым, серым или зеленым. Быки бывают черными, гнедыми или коричневыми. Я не имею в виду их более светлый окрас, который исключается природой эпитета. Примечательно, что среди цветов, названных в собственном смысле этого слова, у Гомера нет ни одного, производного от названия предмета, который был бы светлым, за исключением розы. Фиолетовый, неизвестный κύανος, в φοῖνιξ, в αἰ θαλῆ, в ἄλπóρфυρος, в πορφύρη, что что-то может быть, все темно. И к этому классу, очевидно, принадлежит ὄνοψ.

Вино упоминается Гомером почти в ста сорока местах: в большинстве из них у него есть эпитет, но только в десяти случаях оно описывается цветовым эпитетом. Для него используются два из них: ρρυθρός и μέλας; так что он явно представлял его себе темным, но, вероятно, без определенного оттенка. Он чаще называет это αἶθροψ: но это слово, которое колеблется между идеями пламени и дыма, либо означает рыжевато-коричневый, либо относится к свету, а не к цвету, и имеет значение искрящегося.

Таким образом, ὄνοψ, как и многие другие слова, которые мы рассмотрели, смутно указывает на темный оттенок, но не может быть отнесен ни к одному из известных основных цветов.,,

12. Слово μῑτοπάρης уже использовалось в связи с κύανος и φοῖνιξ.

13. αἶθων употребляется у Гомера

а. лошадям, как в Ил. ii. 839; viii. 185.

б. гладить, как в Од. i. 184.

с. ко льву, как в Ил. x. 23.

г. к медной утвари, как в Ил. ix. 123; xxiv. 233.

например, быку, Ил. xvi. 488; и быкам, Од. xviii. 371.

ф. орлу, Ил. xv. 690.

Под этим словом мы можем понимать его составное αἴ θοψ. Оно используется

а. для вина, как мы уже видели.

б. для меди, Ил. iv. 495 и алиби.

с. для дыма, Од. x. 152.

У нас также есть αἴ θίοτες, люди с коричневым или смуглым лицом, согретые южным солнцем.

Каким образом нам найти общую нить, на которую повесить цвета железа, меди, лошадей, львов, быков, орлов, вина, смуглых людей и дыма? Здесь мы должны снова использовать для этой цели расплывчатое слово 'темный', обозначающее свет, а не цвет. Но поскольку идея αἴ θω включает в себя борьбу пламени с дымом, то и на темном объекте может быть вспышка света. Ψολόεις, закопченные или грязные, принадлежит к одной группе с αἴ θαλόεις и αἴ θων, а не потребность, следовательно, будет отдельно обсуждаться.

Все остальные слова, отмеченные для рассмотрения, следует разделить на две группы, каждая из которых относится к одной идее: первая - идея движения, а вторая - идея света.

14, 15. К прилагательным движения, которые иногда неправильно трактуются как прилагательные цвета, относятся ἄργος и αἴ ολος. Бывший приобретает сродство к белым, потому что оно может обозначать объект, который, будучи двигался стремительно, предполагает, в свете появления белизны[845], и вместе с ним может быть помещен его производные ἄργεννός, ἄργεστής, ἄργής, ἄργινόεις, ἄργιόδους, ἄργίπους, и ἄργικέραυνος. Последняя, как и в αἴ ολος ὄφης, αἴ ολος ἵππος, κορυθαίολος, πόδας αἴ ολος, кажется, означает, что из одной и той же причиной, как представляется, переложить его оттенки.

16. Из тех прилагательных света у Гомера, которые также были приняты за прилагательные цвета, наиболее важным является γλαυκός. Однако он используется только следующим образом:

а. γλαυκὴ θάλασσα, Il. xvi. 34.

б. γλαυκῶπις, постоянный эпитет и даже имя собственное Минервы, Ил. viii. 406.

с. γλαυκίῳν; применяется к глазу льва, когда, достигнув пика своего гнева, он бросается на охотников, Ил. xx. 172.

Последний из этих отрывков, по-видимому, эффективно фиксирует смысл термина. Слово γλαυκίῳν описывает прогрессию. Лев не улучшает цвет своих глаз, когда приходит в ярость. Если, например, γλαυκός можно принять за синий, то он, конечно, не становится более синим:

напротив, ярость, разжигая огонь в глазах, скорее приглушает его своеобразный оттенок, заливая его ярким светом. Таким образом, это слово, по-видимому, явно относится к яркой вспышке в глазах под влиянием страсти. Представления Гомера о свете и его движении, а также о звуке и прекрасной форме еще более отчетливы и живы, чем представления о цвете, если не тусклые, то, по крайней мере, неопределенные.

ὑλαυκὸς происходит от ὑλαύσσω; и имеет своим корнем λάω, чтобы видеть. Значение "яркий" или "сверкающий" подойдет к морю, так же как и эпитет "голубой". И Минерве оно подходит гораздо больше. 'Голубоглазая' было бы для нее слишком банальным эпитетом. Светящийся глаз, напротив, полностью соответствует ее характеру, и она стремится к заметной черте тех примитивных традиций, которые она, по-видимому, олицетворяет[846].

17. ἄαροπος применяется ко льву в Od. xi. 611; и это собственное имя отца Нирея в Каталоге, в то время как его мать Ἰλαΐη. Из этого последнего употребления мы видим, что ἄαροπος у Гомера не является эпитетом цвета, поскольку он никогда не описывает лицо с помощью цвета. Его этимология отсылает нас к приятной красоте; а это, по мнению Поэта, гораздо больше связано со светом, чем с цветом.

18, 19. Помимо них у нас есть

σιγαλόεις, глянцевый, как σιάλος, или жирный; и μαρμάρεος, нанесенный

а. в паутину, Ил. iii. 126.

б. к Эгису, Ил. xvii. 594.

с. к морю, Ил. xiv. 273.

д. к краю щита, Ил. xviii. 480.

У нас есть также μαρμαρυγαὶ ποδῶν (Од. viii. 265), или мелькание ног в танце: и глагол μαρμαίρω применяется к глазам Венеры (Ил. iii. 397), к рукам (Ил. xii. 195 *и алиби*) и к золотому дворцу Нептуна (Ил. xiii. 22). Мрамор, из которого произошли эти слова, был белым, но это значение не подходило ни к одному из вариантов употребления этих слов, за исключением паутины Елены. Смысл, который им подойдет, проистекает из идеи света, сверкающего или искрящегося.

Наконец: ἥεροειδής (Ил. v. 770; Од. xiii. 103) - это, очевидно, всего лишь атмосферный эпитет, который не требует подробного обсуждения. Это достойно внимания, поскольку указывает на идею прозрачности атмосферы.

Конфликт цветов в одном и том же объекте.

III. Мы могли бы прийти к некоторым почти аналогичным результатам, взяв названия существительных у Гомера и рассмотрев различия в цветовых эпитетах, которыми он их описывает.

Так, например, железо бывает фиолетовым, серым и αἶθων или рыжевато-коричневым. Существует определенная оппозиция между первым и вторым: очень заметная между вторым и третьим. Рассматриваемые как названия цветов, они не могут быть согласованы, но, возможно, их можно в какой-то степени привести в гармонию, введя элемент света. Железо темное или рыжеватое, если находится в тени: при освещении оно может казаться серым.

Опять же, дракон или змея, которая является δάφεινος в Il. ii. 308, также является κυάνεος в Il. xi. 26; и сравнивается с радугой, которая является πορφύρεη в Il. xvii. δάφεινος, нанесенное на шкуру льва в Il. x. 23, по существу, имеет тусклый цвет, но радуга по существу такая же яркая. Здесь, опять же, единственным способом согласования является предположение, что Гомер действительно регулирует использование этих эпитетов в зависимости от освещения; и, таким образом, один и тот же объект может быть тусклым и ярким в разных положениях.

Опять же, κέραυνος в состав белого (ἀργικέραυνος): но это тоже ψολοεῖς, похабного. На самом деле это ни то, ни другое; но его тесная связь как со светом, так и с тьмой допускает, что его относят и к тому, и к другому.

Большое преобладание белого и черного.

IV. Далее я должен обратить внимание на огромное преобладание у Гомера двух простых противоположностей, белого и черного, которые, возможно, можно назвать элементарными формами цвета: белый является соединением семи призматических цветов в их естественных пропорциях, а черный - отсутствием или простым отрицанием их всех.

Прилагательное μέλας, или 'черный', употребляется в разных степенях, падежах и числах около ста семидесяти раз. Помимо этого, у нас есть глагол μελαίνω и несколько составных частей от прилагательного. Он также образует очень частый элемент в именах собственных.

Слово λευκός, или "белый", используется почти шестьдесят раз: его составное λευκώλενος еще сорок, но почти все они являются общим эпитетом Юноны, который не следует принимать во внимание. У нас также есть λευκαίνω, λεύκασις и некоторые имена собственные. Но это ни в коем случае не исчерпывает гомеровские средства выражения белизны. Для этого он также использует μαρμάρεος, σιγαλόεις, возможно, πόλιος, и обширная группа слов, имеющих ἄργος для своего центра. В целом, белизна или что-то предназначенное для нее, возможно, может быть выражено таким образом сто или более раз.

Теперь предположим на мгновение, что прилагательные цвета в призматическом смысле этого слова встречаются у Гомера, но все же удивительно, как редко они встречаются по сравнению с белизной и чернотой.

Например: за исключением имени собственного и основного эпитета Менелая, ξανθός, я думаю, вряд ли встречается у Гомера десять раз. ἰόεις, и его однокоренные слова, но в шесть раз: ῥοδόεις есть ἄπαξ λεγόμενον: μέλιτος только вводятся в ее состав в два раза; тем не менее, это, вероятно, лучший *красный* в Гомере: ἔρυθρος и ἔρυθραίνω но тринадцать раз: πορφύρεος и родственные слова находятся во всех двадцати трех раз; но он, как мне кажется, было показано, что это слово было желаемых, с Гомером, в вещество определенного цвета, а только подразумеваются как было темно, то ли коричневый, малиновый, фиолетовый, или даже черный.

Пропуски при указании цвета.

V. Остается завершить этот круг доказательств, приведя случаи, когда упущение Гомера назвать цвет или описать с его помощью заслуживает замечания.

1. Сравнения Гомера настолько богаты использованием всех чувственных образов, что мы могли бы ожидать, что цвет станет в них частым и заметным компонентом. Но это не так. Я думаю, что они основываются главным образом на следующих идеях:

1. Движение.
2. Сила.
3. Форма.
4. Звук.
5. Симметрия.
6. Число.
7. Свет и тьма.
8. Очень редко - в зависимости от цвета.

В большей части из них цвет даже не упоминается. Я видел сравнения стихотворений, насчитывающие двести, и мне было трудно отметить более трех, которые меняют цвет, даже когда это смутно воспринимается.

Первое - это кровь Менелая, сравниваемая с алой краской на щеке лошади, Ил. iv. 141.

Вторая, "размышления Нестора", сравнивается с потемнением моря перед бурей, Ил. xiv. 16-22.

В-третьих, облако, в которое завернута Минерва, сравнивается с радугой, Ил. xvii. 547-52.

Из них второе очень неопределенно: идея первого, как мы видели, была понята неточно и расплывчато, а третье является одним из самых поразительных доказательств отсутствия у Гомера четкого различения цветов.

И все же и здесь мы можем найти жизнь и красоту в этом отрывке, если только истолкуем его как облако, освещенное падающими на него лучами. Действительно, в целом элемент света возвращает нас к обычной определенности Гомера, когда использование цвета делает его неясным.

2. Опять же, в многочисленных и очень точных эпитетах, которыми Поэт описал форму и облик разных стран, мы едва ли найдем какой-либо цветовой эпитет. Примерно из шестидесяти этих эпитетов в Греческом каталоге есть только три, которые относятся к цвету, и все они упоминают только белизну (ἄργυρόεις, Il. ii. 647, 656 и λευκός, ibid. 735).

В случае с лошадью.

3. Весьма странно, что, хотя Гомер так любил лошадь, что никогда не устает от всего сердца использовать ее в поэтических целях, тем не менее, во всех его живых и прекрасных описаниях этого животного цвет играет столь незначительную роль. Говорят, действительно, что Гомер сообщает нам, что лошади Эвмелуса соответствовали по окрасу (ὄτρηες Il. ii. 765); но какого цвета они были, мы не знаем; и также может быть поднят вопрос, не указывает ли употребленный эпитет более точно на сходство в тонкости их шерсти. Пожалуй, единственными случаями, когда окрас лошадей четко обозначен, являются следующие два:

Во-первых, у лошадей-резусов. Там цвет является негативным по отношению к белизне, которая, по-видимому, вместе со своей противоположностью чернотой была гораздо более присуща сознанию Гомера, чем любой промежуточный цвет. Этими лошадьми были (Il. x. 437) λευκότεροι χιόνος. И впоследствии Нестор в благородном ряду объявляет их подобными не чему-либо, имеющему цвет, но лучам солнца (Ил. x. 547). Таким образом, в сознании Гомера вновь возникает старое отождествление света и цвета. Есть, однако, еще одна причина, по которой можно заподозрить, что мы обязаны упоминанию цвета в данном случае, а именно, что белизна предназначена для того, чтобы сделать их видимыми в темноте и, таким образом, облегчить съемку ночью.

Второй случай связан с лошадью Диомеда в гонках на колесницах. Здесь Идомений упоминает гнедую или каштановую масть (Ил. xxiii. 454) с белой отметиной, но тогда это единственное средство идентификации хозяина, что важно для его цели в речи. Помимо этих особых причин, Гомер вдесяни дважды говорит οαανθὰ κάρηνα лошадей; это, однако, о лошадях абстрактно. Нестор (Ил. xi. 680) упоминает группу из ста пятидесяти кобыл разного окраса, то есть ξανθαί: новое доказательство небрежного употребления этого слова, поскольку вряд ли все они были бы одинаковы.

Среди четырех коней Гектора (Ил. viii. 185), двух из Атрид (Ил. xxiii. 295) и "тройка Ахилла" (xvi. 475) мы находим только имя Ксанф, которое явно относится к окрасу: и это, по правде говоря, единственный цвет, который, помимо белого, он когда-либо дает своим лошадям. Ибо более вероятно, что под именем βάλιος он имел в виду влияние света на скорость движения: в то время как Αἴθνη в Ил. xxiii. 409, Αἴθνην и λάμπος (Ил. viii. 485) действительно может означать яркость или темноту, но ни то, ни другое не является цветом.

Опять же, в великолепном сравнении с στάτος ἵππος нет цвета. У трех тысяч лошадей Эрихтония (Ил. x. 221) нет масти. У лошадей Диомеда (Ил. v. 257) ее нет. Ни рожденные небом кони Троса, ни те, которых вывел от них Анхиз (Ил., ст. 265). *и далее.*). Ни одна из команд, участвующих в гонке в Il. xxiii. не имеет цвета. Наконец Гомер изобилует характерными и набор эпитетов для лошадей, таких как ὤκους, ὠκύπους, ποδώκης, μώνυξ, ἐριαύχην, ἄρσιπους, ἔσκαρθμος, ὑψήχης, καλλίθριξ, ταχύς, и другие; но ни одна из них взяты из цвета.

Однако окрас у лошадей настолько заметен, что кажется, что везде, где они вообще индивидуализированы, он почти навязывается описанию. Давайте возьмем два примера, близких по своей красоте, хотя и разделенных по рождению двумя тысячами двумя сотнями лет. Первое из Еврипида, где Хор из "*Ифигении в Авлиде*" описывает греческое воинство перед отправлением в путь[847].

ὁ δὲ διφρηλάτας βοᾷτ'

Εὐμηλος Φερητιάδας,

ᾧ καλλίστους εἰ δόμαν

χρυσοδαϊδάλτους στομίοισι πώλους

κέντρωθεινομένους, τοὺς μὲν μέσ-

σους ζυγίους, λευκοστίκτωτριχί
βαλίους, τοὺς δ' ἐξῶσειραφόρους,
ἀντήρεις καμπαῖ σι δρόμων
πυρρότριχας, μονόχαλα δ' ὑπὸ σφυρὰ
ποικιλοδέρμονας.

Вторая, также чрезвычайно красивая, принадлежит Маколею, где в "Битве на озере Регилл", после смертельного конфликта Мамилия и Герминия, он описывает, что затем случилось с их скакунами.

Быстро-быстро, бешено отбрасывая каблуки,
The *Темно-серый* скакун убежал;
Он прорвался сквозь ряды сражающихся людей,
Он перепрыгивал через груды мертвецов....
Но как истукан
Блэк Остер сохранил свое место,
И всегда с тоской он смотрел
Прямо в лицо своему хозяину.
Как характерно элемент цвета входит в эти восхитительные описания.

4. Однако аргумент может быть основан не только на лошади. Гомер изобилует упоминаниями о других животных, как домашних, так и диких. У нас есть быки, собаки, козы, свиньи и овцы. Ни один из его основных эпитетов для них не связан с цветом кожи; и мы видели, что под своими быками винного цвета и фиолетовыми овцами он, по всей вероятности, имеет в виду не что иное, как темных или рыжевато-коричневых. Его эпитеты для диких животных имеют тот же характер, когда они встречаются, и точно так же зависят от шкалы степеней между светом и тьмой, а не от цвета. Однажды он упоминает белого гуся (Od. xv. 161); но он высоко поднят в когтях орла, и цель, очевидно, состоит в том, чтобы создать четкий визуальный образ.

5. Я бы не стал слишком подчеркивать тот факт, что Гомер никогда не упоминает цвет в связи с человеческим телосложением, за исключением волос, которые являются либо ξανθός, либо куάνεος: выражения, которые, как мы увидим, являются очевидными исключениями, а не реальными. Оливковый оттенок средиземноморских широт делает цвет менее заметным элементом красоты человека для греческого климата, чем для нашего. Тем не менее, его почти полное исключение является элементом в данном случае. Один случай, который я заметил, вводящий в курс дела, дополняет общую массу свидетельств. Когда Минерва (Od. xvi. 175) восстанавливает красоту Улисса, выражение это ἄψ δὲ μελαγχροῖς γίνεται. Это, конечно, не означает, что его кожа снова стала черной. Это может означать только то, что он вновь приобрел оливковый оттенок, который ассоциировался с личной энергией и красотой. Так что

даже μέλας у Гомера означает темный и неопределенный, что действительно может быть показано многими другими примерами.

6. Наконец, по-видимому, заслуживает замечания тот факт, что не существует ни одного эпитета радужки, взятого из цвета. Она является однажды, и только однажды, χρυσόπτερος (Ил. viii. 398); но это в силу ее должности и не имеет никакого отношения к радуге; как, впрочем, золото у Гомера всегда принадлежит свету, а не цвету. Все остальные ее эпитеты, без исключения, взяты только из "движения". Она Свифт (ἰκέα и τάχιστα), быстрые ноги (πόδας ἰκέα), быстрый как ветер (ποδῆνεμος), шторм ногой (ἄλλόπους[848]), но цвет она получает никакой части независимо от ее гомерический костюм. Теперь, хотя цепочка традиций, отождествлявших Ирис с радугой, была разорвана[849], все же следы этого не были полностью утрачены. Ибо Гомер физически относился к радуге как к предвестнице бури (Ил. xvii. 548): и снова мы обнаруживаем, что она все еще была охвачена бурей. Этот эпитет может быть получен только из ее первоначального отношения к радуге. Поэтому в высшей степени поучительно, что ни одна из ее цветовых черт не должна была сохраниться.

Наконец, давайте рассмотрим случай неба или небес. Здесь Гомер имел перед собой самый совершенный образец синего цвета. Однако он ни разу так не описывает небо. Его οὐρανὸς звездный (Ил. i. 317), или широкий (Ил. iii. 364), или великий (Ил. i. 497), или железный (Од. xv. 328), или медный (Од. iii. 2. Ил. xvii. 425); но он никогда не бывает синим. Это важное отрицательное свидетельство.

Теперь перед нами довольно обширная, хотя я ни в коем случае не рискну предположить, что это полная подборка фактов по этому делу.

Причины такого своеобразного обращения.

Я утверждаю, что они подтверждают два следующих утверждения:

1. Представления Гомера о призматических цветах, или цветах радуги, которые зависят от разложения света путем преломления, и *тем более* об их соединениях, были, как правило, смутными и неопределенными.
2. Следовательно, мы должны искать другую основу для его системы цвета.

Но можно сказать несколько слов о причине, которая привела к тому, что его трактовка предмета так отличалась от современной.

Имеем ли мы право ссылаться на его предполагаемую слепоту?

Должны ли мы предполагать недостаток в его организации или в организации его соотечественников?

Или мы должны полностью отвергнуть идею дефекта и относиться к использованию им цвета как к тому, что было задумано в духе, который, даже при самом совершенном знании, по праву принадлежал бы его искусству?

Простое предание о слепоте Гомера вряд ли имеет отношение к делу. Предположение об этом, почерпнутое из стихотворений, поскольку они делают Демодока слепым, ничтожно мало.

Свидетельство Гимна Аполлону древнее[850]; но, поскольку его слепота (если он действительно был слеп) допускала наиболее яркие представления о свете, это не объясняет дефектности его представлений о цвете. Энергичное восприятие и точное описание чувственных объектов в стихотворениях демонстрируют, что мы не можем искать в этой гипотезе объяснение тому, что может быть необычным, грубым или неправильным.

Мы также не можем прибегнуть к предположению о чем-либо, что можно было бы правильно назвать дефектом в его организации; когда мы помним о его сильном чувстве формы и когда мы наблюдаем его эффективное и могущественное обращение с идеями света и тьмы.

Вольность поэзии в отношении цвета.

Я думаю, что наш ответ на третий вопрос также должен быть отрицательным. Действительно, верно, что большая часть чисто буквальных расхождений в отношении цвета может быть понята как относящаяся к вольности поэзии. Существует высокий поэтический эффект в том, что можно назвать напряженными цветовыми эпитетами. Но для этого, по-видимому, необходимо,

(1.) Что напряжение должно быть исключением, а не правилом.

(2.) Что должен существовать фиксированный стандарт самого цвета, чтобы можно было измерять отклонения от него. В противном случае результатом будет не вольность, а путаница. Шекспир с большим эффектом гласит[851],

Здесь лежал Дункан,

Его серебристая кожа была пропитана его золотой кровью.

Здесь идея заключается не в том, что серебро имеет тот же цвет, что и кожа, и золото - как кровь; но в том, что соотношение цвета между серебром и золотом можно сравнить с соотношением цвета между кожей и кровью: кожа выделяет кровь рельефно, как серебряная гуща выделяет золотой отросток. В вольности такого рода мы всегда можем проследить как правило, так и цель. Правило смягчается только для конкретного случая. Производимый эффект - это нежность, достоинство и чистота. Если бы Шекспир описывал ужасную бойню на поле боя, он, вероятно, говорил бы о черной или зловонной крови вместо того, чтобы использовать более яркую фигуру.

Однако эта цель не прослеживается в использовании Гомером определенных слов, если от нас требуется рассматривать их как прилагательные, обозначающие цвет. Нет Поэта, чье обоснование обычно было бы более доступным; но эти случаи, исходя из такого принципа, вообще не допускают обоснования.

Возьмем, к примеру, его использование радуги. Это (1) πορφύρεη и (2) подобно αἰθρῶν, которое является κυάνεος. Из них первый может быть истолкован как темный с оттенком малинового; второй - как темный с оттенком темно-синего или индиго. Несомненно, рассматривая его в целом, мы имеем здесь крайне неадекватное отношение к цветам радуги. Шекспир действительно говорит, что[852],

Его гребень, изгибающийся горделивее голубого Ириса;

и снова, в "Буре" Церера обращается к Iris таким образом[853];

И на каждом конце твоего голубого банта твоя корона

Мои акры боски....

Но (1) синий отличается от πορφύρεος, который Эссентеребит темные, а не голубые. (2) Синий, взятый в основном, представляет три из семи призматических цветов: то есть индиго и фиолетовый вместе с самим собой. (3) В последнем процитированном отрывке Ирис также называется 'многоцветным вестником' и с 'шафрановыми крыльями'. Насколько эффект, производимый этими словами, когда они образуют единое целое, отличается от эффекта сравнения в главе XVII. Как же тогда мы должны понимать Гомера? Я отвечаю в виде метафоры; и со ссылкой на свет и тьму, а не на призматический цвет. δράκοντες на пряжке и поясе темные и ужасные: так же как и буря, прообразом которой является Айрис, и именно в рассмотрении радуги как прообраза ужасного мы должны найти причину того, что Гомер просто рассматривал ее как темную, а не как серию и систему цветов. Возможно, нам не следует упускать из виду возможность того, что Гомер также имел в виду сравнение меняющихся оттенков змеи с разнообразным видом радуги.

Опять же, давайте возьмем его использование μελαγχροίης. Теперь вопрос в том, имел ли Гомер в виду этим просто выразить темноту, то есть было ли *темно* его представление о μέλας, или он, имея в виду специфическую идею черного, использовал термин, который поэтически обозначал оливковый цвет лица Улисса? Несомненно, первое: для последнего его использование было бы плохим. Это привело бы к смещению фигуры в неправильном направлении. Ибо чернота была бы подходящим термином только там, где целью было описать что-то ужасное или отталкивающее.

Но красота формы у Гомера всегда тяготеет к светлым оттенкам, а не к темным, откуда греки - ξανθοί, а троянский Гектор, хотя и красив, но только κυάνεος. Следовательно, целью Гомера не было дать расширенное представление о тьме в оттенках "Улисса". И все же, если μέλας для него означало конкретно черный цвет, то μελαγχροίης было верхом преувеличения в неправильном смысле этого слова. Но если под μέλας он понимал только темный цвет, то это было точное описание оливкового оттенка по сравнению с увядшей и сморщенной от старости кожей.

У нас есть другие доказательства из поэм о том, что Гомер воспринимал μέλας как темный, а не конкретно как черный. Первая идея лучше всего согласуется с его призывом земли μέλας, когда она свежа после вспашки (Ил. xviii. 548): и его призывом крови μέλας, не застоявшейся крови, но свежей крови, когда она хлещет из раны (Ил. i. 303),

αἶψά τοι αἶμα κελαϊνὸν ἔρωήσει περὶ δοῦρι·

и снова свежая кровь самой Венеры: μελαίνετο δὲ χροά καλόν (Ил., ст. 354). Было бы плохой поэзией называть кровь Венеры *черной* по тем же причинам, по которым у Шекспира хорошей поэзией считается называть кровь Дункана золотой. Таким образом, μέλας πόντος в Ил. xxiv. 79, очевидно, не более чем темный; хотя в vii. 64 мы можем правильно сказать, что море чернеет.

То же самое и с быками винного цвета, грязными молниями, овцами фиолетового цвета и многими другими, и это, безусловно, убедительно против того, чтобы использовать их для

описания призматических цветов или их соединений, поскольку они были бы плохими описаниями в нескольких своих видах.

Гомеровские методы обучения цвету.

Тогда мы должны искать основу системы Гомера в отношении цвета в чем-то за пределами нашей собственной. И это может подготовить нас с большей готовностью признать подобную основу в других местах, если мы будем иметь в виду, что многие из важнейших элементов и источников цвета для нас представлялись ему по-другому. Оливковый оттенок кожи смягчал игру белого и красного. Волосы гораздо более равномерно, чем у нас, тяготели к темноте. Чувство цвета было менее развито при выращивании цветов. Солнце раньше превратило весеннюю зелень земли в коричневый цвет. Стекла, одного из наших инструментов обучения, не существовало. Радуга встречалась бы гораздо реже. Искусство живописи было совершенно неизвестно, а искусство крашения - почти неизвестно; и мы можем оценить важность этого элемента дела, вспомнив, насколько с развитием химии вкусы этой страны в отношении цвета улучшились за последние двадцать лет. Искусственные цвета, с которыми был знаком человеческий глаз, представляли собой в основном нечеткие и какие угодно, только не насыщенные оттенки металлов. Следовательно, материалы для цветовой системы не представлялись гомеровскому видению так, как они представляются нашему. Определенные цвета действительно проявлялись в редкой красоте, как синева моря и неба. Однако эти цвета были, так сказать, изолированными фрагментами; и, не входя в общую схему, они, по-видимому, не были задуманы с точностью, необходимой для овладения ими. Кажется, легко понять, что глазу может потребоваться знакомство с упорядоченной системой цветов как условие его способности точно оценить любой из них.

Таким образом, я заключаю, что орган восприятия цвета и его впечатления были развиты у греков героической эпохи лишь частично.

Вместо этого у Гомера, по-видимому, были, во-первых, некоторые грубые представления о цвете, полученные из элементов; во-вторых, и это главное, система вместо цвета, основанная на свете и тьме, его противоположности или негативе. Мы видели, что μέλας Гомера, которое применяется к тонким оливковым оттенкам кожи и которое соединяет кисти рук с κίαντος и πορφύρεος, означает темноту, отсутствие света. С другой стороны, основа белизны ясно указана нам в этимологии λευκός, которая совпадает с этимологией λεύσσω "видеть" и λύκη light в лукаβός "год", "прогулка" или "течение света"; а также в родственных словах, которые, по-видимому, имеют свой корень в санскритском *loch*, откуда *lochan*, глаз[854].

Его система состоит из света и тьмы.

Таким образом, в качестве общего утверждения я должен сказать, что гомеровские цвета на самом деле являются модусами и формами света[855] и противоположной ей или, скорее, негативной темноты: возможно, частично подверженной влиянию идей, почерпнутых из металлов, таких как красноватость меди или мрачная и мертвая синева κύανος, какой бы субстанцией она ни была; и здесь, и там, так сказать, с зарождающимся усилием усвоить другие представления о цвете.

Я полагаю, что при применении этого принципа все или почти все гомеровские слова встанут на свои места: и мы обнаружим, что Поэт использовал их, исходя из своей собственной позиции, с большой энергией и эффектом. Теперь мы можем понять, почему λευκός и μέλας с родственными

им словами имеют такое огромное преобладание: хотя белый и черный являются ограничивающими соотношениями цветов, а не самим цветом.

О прозрачном и непрозрачном, или *светотени*, мы не можем ожидать услышать от Гомера: все же, как было замечено, рудимент этого может содержаться в высокопоэтическом ἥρωειδὲς пещере или море; и снова в δνοφερῇ νύξ (Od. xiii. 269), поскольку νέφος является основой эпитета.

Когда мы говорим о цвете как таковом, мы говорим об эффекте, который вызывается разложением света и который, пока глаз может выполнять свою функцию, является полным, независимо от количества или падения света на объект, о котором говорят, что он имеет цвет.

Когда мы говорим о свете, тени и тьме, мы имеем в виду количество света, не разложившегося, который падает на этот объект, и способ его падения.

У Гомера, рассматриваемого таким образом, были живые и наиболее поэтичные представления о свете, тени и тьме. Это описание объектов с помощью света и его отсутствия максимально насыщает его материалы. Его серо-стальной цвет, его румянец, его звездное небо - это так много разновидностей света. Его быки винного цвета и море, его фиолетовые овцы, его вещи рыжевато-коричневого, пурпурного, закопченного цвета и все остальное фактически дают нам богатый словарный запас для описания того, что является темным, поскольку у него есть цвет, но что также варьируется от тусклого до яркого, в зависимости от количества света, играющего на нем. Вот (например) является связующим звеном между его κάπνος αἶθοψ и его αἶθοψ οἷος.

Поскольку все эти слова следуют, так сказать, в цепочке μέλας, то и у λευκός есть своя семья, и все они подпадают под значение английского прилагательного *light*. С одной стороны χλωρός и πόλιος; с другой μαρμάρεος, ὄρεος, и σιγαλόεις, означает *свет*; но первые два-это скучно, и представлять сумерки цвета, или спорно землю между собой и своими негативными, хотя последние три яркое и сверкающее.

Ничто не может быть более поэтичным, чем представления Гомера о тьме и свете. Именно избыточность жизни в этих идеях заставила его ассоциировать свет с движением; как в тех тонких линиях (Ил. ii. 437),

ὡς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο

αἶ γλη παμφανόωσα δι' αἶθέρος οὐρανὸν ἴκεν.

И, опять же, в "Вооружении Ахилла" (Ил. xix. 362),

αἶ γλη δ' οὐρανὸν ἴκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθών.

Итак, с другой стороны, идея тьмы стала основой метафизических концепций, как в "черной судьбе", "черной смерти", "черных облаках смерти", "черных муках" (Ил. ii. 859, 834. xvi. 350. iv. 117).

Натуралисты говорят нам, что существуют виды существ, относительно которых известно, что их органы чувствительны к свету и тьме, но совершенно не воспринимают ни цвета, ни формы[856]. Что касается формы, Гомер остро воспринимал те формы, которые были прекрасны; но о чисто

геометрической форме у него, возможно, были очень смутные представления, если судить по его эпитетам для формы щита. Параллель ближе в случае с цветом; ибо даже его восприятия были еще не переварены; как будто они были новыми, не подкрепленными традицией, приобретенными в значительной степени им самим и пока еще не закрепленными ни обычаем, ни терминологией.

По дошедшим до нас остаткам цвета кожи древних было обнаружено, что их можно рассматривать в точных деталях[857]. Но, рассматривая вопрос на основе произведений Гомера, мы должны иметь в виду, во-первых, их очень раннюю датировку, и, во-вторых, вероятность того, что героическая Греция, вероятно, намного отставала от некоторых стран востока в использовании цвета и в представлении о цвете, который всегда был там привилегированным домом.

Цвет в позднегреческом языке.

Однако тенденция к смешению двух вопросов - света и цвета, по-видимому, более или менее прослеживается в популярном языке, а также в философии поздних греков.

В классический период оттенки глаз разделялись на μέλας самые темные, ἄροπος промежуточные и ὑλαυκός самые светлые.

Слово πράσινος, означающее "зеленый лук-порей", по-видимому, вполне соответствует выражению цвета. Им пользовался Аристотель; но я не знаю, встречается ли оно у поэтов или писателей лучшей эпохи. Для классического греческого идея зелени выражается через χλωρός, насколько это вообще возможно. Теперь это слово кажется неадекватным по двум причинам. Во-первых, его преобладающей идеей является идея "свежести" или "недавнего происхождения", которая является лишь случайным, а не неизменным свойством тех объектов в природе, которые являются зелеными.

Когда мы обнаруживаем, что слово χλωρός применяется одинаково как к объектам зеленого цвета, так и к другим, которые не имеют цвета (или иначе не в отношении их цвета), но все же которые свежие или только что появившиеся, мы приходим к выводу, что это слово обычно использовалось для обозначения свежести, а не зелени. Эта идея подтверждается двумя обстоятельствами. Во-первых, когда χλωρός действительно обозначает цвет, как в случае с бледностью (где оно не может означать то, что является свежим), оно обозначает самый неопределенный и слабый цвет, на самом деле немногим больше, чем негатив.

Значение χλωρόν δέος, вероятно, означает пепельно-бледный страх. В зелени оливы мы видим связь между таким использованием термина, с одной стороны, и естественной зеленью - с другой. Таким образом, образ зеленого цвета для греков не был ни живым и ярким, с одной стороны, ни сильным и глубоким - с другой.

Второе обстоятельство заключается в следующем: слово χλωρός применяется поздними греками к объектам, имеющим цвет, но цвет, который *не* зеленый: и это авторы, которые в полной мере использовали зрение. Таким образом, у Еврипида (Гекуба 124) мы имеем αἷματι χλωρόν для обозначения только что пролитой крови. Кажется очевидным, что, когда эпитет мог быть использован таким образом, цвет мог быть лишь очень небрежно и смутно воспринят в умах либо тех, кто использовал это выражение, либо тех, кому оно было адресовано.

Я не буду раскрывать общую тему обращения с цветом позднейших греков или латинских поэтов. Но о том, что он оставался слабым и неопределенным вплоть до очень позднего периода и в степени, которая сейчас показалась бы весьма удивительной, мы можем судить как по общему настроению "Энеиды", так и по замечательному стихотворению Альбинована, поэта эпохи Августа, который применил эпитет "пурпурный" к снегу;

Brachia purpureâ candidiora nive.

Я также не вдаюсь в вопрос, могут ли "тени белого" служить каким-либо основанием для этого эпитета: потому что ответ, почерпнутый как бы из тайн науки или искусства, не мог бы помочь в интерпретации произведений поэта, который должен описывать для простого глаза.

Итак, мы можем отметить "розовую шейку матки" Горация[858], и Вергилия[859].

Греческая философия цвета.

Такое исследование, какое я смог провести, привело бы меня к предположению, что все, что было грубым или ущербным в общих идеях Греции, не было лишено точек соприкосновения в ее философии.

Трактат Περί χρωμάτων, обычно приписываемый Аристотелю, по-видимому, принадлежит какому-то другому автору. Это, однако, в соответствии с греческими идеями[860] основывает систему цвета не на призматическом разложении света, как это делаем мы, а на четырех элементах; из которых он объявляет воздух, воду и даже землю, когда они сухие, белыми, огонь - ξανθός или желтым; из их смесей возникают все другие цвета, а σκότος, или черный, это отсутствие света.

Доктор Прантл, недавний редактор этого Трактата, в своем собственном научном эссе собрал воедино системы различных греческих авторов о цвете; и особенно систему Аристотеля, основываясь на свидетельствах, предоставленных его "Метеорологикой" и другими работами. Он демонстрирует любопытное сочетание стремления к научной точности с недостатком физических знаний, которые в таких вопросах являются его необходимой основой. Его ведущие идеи, по-видимому, заключаются в следующем.

Если мы оставим в стороне чисто метафизическую часть предмета, то теоретически основа цвета заложена в прозрачности и движении. С идеей белизны ассоциируются сухость и тепло; а с чернотой - их аналоги, влажный и холодный[861]. Воздух белый, огонь - высшая форма белого; вода черная[862], земля - высшее отрицание цвета и самая черная из всех. Все остальные цвета рассматриваются как промежуточные между белым и черным[863]. Существует аналогия между интервалами основных цветов и интервалами звука, вкуса (χυμός) и других ощущаемых объектов. Существует семь цветов[864]: а именно,

1. μέλαν черный.
2. ξανθόν золотой.
3. λευκόν белый.
4. φοινικοῦν red.
5. ὀλοφυγόν violet.
6. πράσινον green.

7. κυανοῦν blue.

В φαῖδον или серый режим, черный (μέλαν τι); и ξανθόν гениально описан как имеющий такое же отношение к свету, который насыщенность (λίπαρόν) и сладости (γλυκύ). Красный, φοινικοῦν или порфиροῦν, - это свет, видимый сквозь черный цвет. Это самый позитивный цвет после ξανθόν; затем идет зеленый, а затем (ἄλουρόν) фиолетовый[865]. Он продолжается, ἔτι δὲ τὸ πλεῖον οὔκετι φαίνεται; смысл, я полагаю, что κυανοῦν (то же самое сказано города из ὄρφνιον, которые он переводит коричневый) настолько тесно сродни негативные, или черноту, как быть неотличимы от него. Таким образом, Аристотель, по-видимому, рассматривает серый цвет как полностью выходящий за рамки его шкалы; он иногда присваивает порфиροῦν красному, а иногда синему[866]; и ὄρφνιον или коричневый полностью опущен. Его порядок также меняется, ибо в разных отрывках λλουρόν и πράσινον меняются местами.

Природа нашего преимущества перед Гомером.

Это состояние философии цвета, сложившееся спустя столько веков после Гомера и в сознании такого человека, как Аристотель, может помочь нам объяснить неразвитость гомеровского восприятия в этой конкретной области.

По-видимому, существует разительный контраст между такими неперевавленными идеями и основательностью, правдивостью и стойкостью остатков цвета, дошедших до нас от древних. Объяснение, я полагаю, заключается в том, что те, кому приходилось практически использовать цвет, не ждали создания философии, а время от времени добавляли в свой аппарат все вещества, которые, как было установлено, были им известны и давали результаты, удовлетворительные и улучшающие зрение. И даже в этом случае Гомер, хотя его орган был мало натренирован в различении цветов, и хотя он основывался главным образом на простых модификациях света, помимо его разложения, все же очень смело и эффективно использовал эти ограниченные материалы. Его фигуры ни в коем случае не шокировали, в то время как они никогда не переставали поражать. Мы также не должны предполагать, что видим в этой области исключение из того сравнительного изобилия силы, которое характеризовало его дарования в целом, и что в частности он обладал искаленной натурой; скорее, мы должны усвоить, что восприятия, столь простые и знакомые нам, являются результатом медленного традиционного роста знаний и тренировки человеческого органа, который начался задолго до того, как мы заняли свое место в преемственности человечества. Даже в этом, казалось бы, простом деле мы приводим в пример старую пословицу: "Карлик видит дальше великана, потому что он поднят на плечах великана".

Обратите внимание на значение κύανος и χαλκός.

Первое впечатление от гомеровского текста, вероятно, состоит в том, что κύανος - это металл. Ибо субстантивированное упоминается у Гомера всего трижды, и всегда в непосредственной связи с металлами.

1. Ил. xi. 24. На щите Агамемнона двенадцать οἱ μοι складок, ободков или слоев из золота и двадцать из олова, десять из κύανος (μέλανος κυάνοιο).

2. Ил. xi. 34. На щите короля было двадцать белых выступов из олова, а в середине - один из κύανος (μέλανος κυάνοιο).

3. Od. vii. 86. Стены дворца Алкиноя были покрыты χαλκὸς внутри, и вокруг них был карниз или бахромой (θρίγκος) из κύανος.

Нет сомнений, что, по крайней мере, в более позднем греческом языке это слово приобрело другие значения: такие как *лазурит*, синий василек, каменная птица (также голубая) и, наконец, синяя краска или лак[867]. Но, более того, кажется невозможным отождествить κύανος Гомера с каким-либо конкретным металлом.

Некоторые утверждали, что κύανος Гомера - сталь[868]. Но против этого, по-видимому, имеются убедительные возражения. Представляется весьма сомнительным, были ли греки знакомы с процессом массового производства стали путем погружения железа в воду. Английский перевод "Истории изобретений" Бекмана приписывает знание процесса Гомеру; но, по-видимому, по ошибке[869]. Здесь нет никакого намека на это, ибо это вовсе не подразумевается элементарным процессом изготовления инструмента в Од ix. 391-3. Это только огонь, что железо может быть выполнен из ковкого на всех: и без сомнения, было известно, что его погружение в воду твердость была восстановлена или повышена (τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου ἰ κράτος ἔστίν). Но у нас нет никаких следов ни повторения процесса на одном и том же куске металла, ни его применения к необработанному железу, ни нового наименования железа при таком нагревании и охлаждении. Наоборот, в этом отрывке металла, когда полностью затвердел еще объявляется σίδηρος: а у нас нигде в Гомере никаких следов связи между κύανος и σίδηρος, за исключением лишь негативное, что ни один из них не будет брошена в печь для изготовления щита Ахилла.

Опять же, твердость железа была такой, что, по-видимому, отвечала всем их пожеланиям и почти сама по себе представляла трудность. Поэтому он используется вместе с камнем как символ твердости; ἐπεὶ οὐ σφί λίθος χρὺς ἢ σίδηρος[870]. Опять же, мы не находим его обработанным другими металлами; например, на щите Агамемнона. Как мы уже видели, Вулкан не использовал его при изготовлении щита Ахиллеса. Бог бросает в огонь золото и серебро, медь и олово; свинец, по-видимому, исключается как слишком мягкий, а железо - как слишком твердое для работы в массе с другими металлами. Но идея твердости никогда не ассоциируется с κύανος; и если бы он был твердым, как сталь, то, конечно, не был бы подходящим материалом для создания сложных форм драконов.

Опять же, прилагательное κύανεος означает по цвету то, что является синим и что является глубоким; и никоим образом не соответствует обычному цвету стали. Все это, помимо убедительности отрицательных доказательств, кажется несовместимым с идеей о том, что κύανος могло быть сталью.

Составитель Указателя к Евстафию делает κύανος (в лос.) просто темным металлом. Но Миллин утверждает, что κύανος без эпитета - это олово, а с эпитетом μέλας - свинец. Он отмечает, что Плиний[871], по-видимому, называет олово просто *plumbum*, а свинец - просто *plumbum nigrum*: так что двойное использование κύανος и κασσίτερος для олова было бы похоже на использование *свинца* и *олова* обозначение того же металла на латыни. Эта идея рассматривает вещество как получившее свое название от цвета: и до сих пор поддерживается использованием немецкого *blei*, которое, я полагаю, является тем же словом, что и *blau*, обозначающее свинец. Но было бы странно, если бы Гомер, таким образом, дал двойные названия двум металлам, которые из всех классов объектов, возможно, чаще всего обозначались одиночными. И эта гипотеза не согласуется с очевидным значением слова

κυάνεος у Гомера; поскольку это слово указывает на темный и глубокий оттенок, очень далекий от оттенка олова, который Гомер описывает как белый. Последующее использование κύανος в равной степени противоречит предложенной интерпретации.

Наиболее вероятной интерпретацией этого сложного слова, по-видимому, является та, которая также соответствует его последующему использованию и описанию как цвета. От Линтона 'древних и современных тонах' (стр. 21,) оказалось, что там был κύανος αὐτοφυῆς, который был родом синего карбоната меди: а что, по данным экспресс-свидетельство Диоскорида, эта информация была получена в древности из меди-шахты: κύανος γέννᾳται δὲ ἐν μὲν ἐκ τῶν Κύπρῳ χαλκουρῶν μετάλλων, В. 106. Такая интерпретация могла бы объяснить наше нахождение κύανος у Гомера: редкость его использования: темный цвет и близость к порφύρεος. Такой материал послужил бы хорошим рельефом для карниза во дворце Алкиноя на фоне покрытых медью стен: и хорошо бы выделялся в остальных проходах, где он, по-видимому, нанесен рельефно другими металлами, Ил. xviii. 564, xi. 39, и даже на щите Агамемнона, xi. 24. Ибо на этом щите, хотя змеи, называемые κυάνεοι, очевидно, расположены в контрасте с οἱ μοι, и хотя среди οἱ μοι есть десять таких же, как они. κύανος, однако, поскольку они соединены с двенадцатью золотыми и двадцатью оловянными, общий эффект был бы таким, что нам не нужно предполагать, что Гомер отвергал его. Этот голубой карбонат все еще встречается среди других медных руд, но в наших глубоких шахтах его меньше, чем в неглубоких, разрабатываемых древними. Я слышал от джентльмена, разбирающегося в металлургии, что в чистом виде он кристаллический, редко массивный или землистого цвета, темно-лазурного цвета, хрупкий, легко измельчается в порошок и, таким образом, легко преобразуется для использования в качестве пигмента.

Следовательно, я должен предположить, что κύανος - это не металл: что οἱ μοι на щите означают линии или полосы, окрашенные пигментом; и что выступ на щите, вероятно, представляет собой узелок вещества в его естественном состоянии. Мы можем таким образом понять, почему κύανος не используется ни золота, серебра, χαλκός, и олово, в кузнице Вулкана, или с золотом, серебром, железом, и χαλκός колесницы Юноны[872]. Мы также можем понять, почему, хотя κύανος не используется в кузнице, все же траншея вокруг виноградника на щите Ахиллеса - это κυανεή[873]. Эта интерпретация также согласуется с гомеровским употреблением прилагательного κυάνεος.

Насколько я понимаю, в *Музее Борбонико* в Неаполе есть ложка или половник с выступом на конце ручки, который сделан из этого самородного карбоната меди синего цвета, просверленного специально для этой цели.

Из четырех значений, данных χαλκός у Гомера (медь, латунь, бронза и железо[874]), я придерживаюсь первого. Это не может быть железо, (1) потому что оно никогда не упоминается как твердое в том же смысле, что и оно, (2) потому что оно гораздо более распространено, (3) потому что эти металлы четко отличаются друг от друга, как в Il. v. 723.

χαλκός Гомера также не может быть бронзовым. Однако не из-за абсолютного недостатка твердости: от компетентных органов я узнал, что очень хорошие режущие инструменты (конечно, не такие, как стальные) могут быть изготовлены из бронзы, состоящей из 87½ частей меди и 12½ частей олова. Но по следующим причинам:

1. Гомер всегда говорит о нем как о чистом металле наряду с другими чистыми металлами, даже когда Вулкан бросает его в печь дляковки; Ил. xviii. 474.

2. Опять же, потому что, хотя мы должны не рассуждать слишком уверенно из гомеровских эпитетов цвета, но в этом случае мы можем заложить значительную нагрузку не только на его χαλκός ἐρυθρός (с ἐρυθρός Гомера тяготеет к яркости), но на ἥυος и νύρος, что означает, яркие и блестящие. Эти эпитеты света не применимы к бронзе: точно так же Гомер не покрыл бы бронзой стены дворца Алкиноя. Также не представляется вероятным, что он подарил бы нам бронзовый рай среди впечатляющих изображений битвы, Ил. xvii. 424.

3. Похоже, Гомер вообще ничего не знал о плавлении металлов.

Таким образом, мы должны заключить, что χαλκός было медью, закаленной каким-то способом; как некоторые думают, с помощью воды; или же, что более вероятно, в соответствии с очень простым процессом, путем медленного охлаждения на воздухе. (See Millin, Minéralogie Homérique, pp. 126-32.)

РАЗДЕЛ V.[875]

Гомер и некоторые из его преемников в эпической поэзии: в частности, Вергилий и Тассо.

Мильтон и Данте по отношению к Гомеру.

Великие эпические поэты мира являются членами братства, которое все еще крайне ограничено и, насколько представляется, вряд ли расширится. Действительно, в отношении некоторых из существующих претендентов вполне может быть оспорен вопрос о том, имеют они право ссылаться на Золотую книгу или нет. Также будут расхождения во мнениях относительно приоритета среди тех, чье право появляться там признается всеми. Претензии иногда выдвигаются под влиянием временных или национальных пристрастий, которые молчаливые действия цивилизованного разума мира со временем эффективно подавляют. Среди них не могло быть ничего более явно несостоятельного, чем то, что было выдвинуто от имени Мильтона в знаменитой Эпиграмме Драйдена, которая, казалось, ставила его во главе поэтов мира и заставляла сочетать в себе все великие качества Гомера и Вергилия. Несколько похожие идеи были высказаны Купером в его застольной беседе. Строки, поскольку они менее хорошо запоминаются, можно процитировать здесь:

Прошли века, прежде чем появилась лампа Гомера,

И прошли века, прежде чем был услышан мантуанский лебедь;

Переносить неизвестные ранее расстояния Природы,

Чтобы родить Милтона, потребовалось еще несколько лет.

Но этот великий мастер также подвержен неоправданному принижению, ему льстит экстравагантное поклонение. Я сам был уверен в компании профессоров немецкого университета, которые были горячими поклонниками Шекспира, что в сфере их знаний Мильтон считался равным только Клопштоку. Я надеюсь, что это не национальное тщеславие или религиозные предрассудки, и не простое удивление, вызванное широким диапазоном его

достижений и деяний, которое заставляет Англию утверждать, что его следует причислить к первому классу эпических поэтов; в том классе, главой которого является Гомер, выделяющийся перед всеми конкурентами явным и даже огромным превосходством.

Было бы трудно провести какое-либо удовлетворительное сравнение между Мильтоном и Гомером; настолько разными, с таким недостатком точек соприкосновения являются характеры отчасти этих людей, и даже в гораздо большей степени их произведения. Возможно, величайшим и наиболее всеобъемлющим достоинством "Илиады" является ее точность и яркость как зеркала человека и видимой сферы, в которой он жил, с ее бесконечно разнообразными образами, как реальными, так и идеальными. Но что больше всего вызывает наше восхищение в Мильтоне, так это гибкость и сила гения, благодаря которым он вышел за пределы человеческой сферы и явил нам новые неизведанные миры, населенные обитателями, которые, должно быть, так неизмеримо отличаются от нашей собственной расы. Задача Гомера была из тех, которые допускали и получили то, что мы можем назвать совершенным выполнением; задача Мильтона была предприятием, превышающим силы человека, неспособным ни на что большее, чем на слабое преувеличение, и чем выше точка зрения зрителя, тем острее он должен видеть определенные недостатки, бросающиеся в глаза. Стихи Мильтона дают нам основание думать, что его представления о характере были мужественными и сильными; но субъект не допускал, чтобы они подвергались действенной проверке. Чтобы увидеть его ближайшие подходы к совершенству в своем искусстве, мы должны выйти за рамки его эпосов.

Сравнение между Мильтоном и Данте было бы несколько более практичным, но оно не соответствовало бы составу группы, которую я здесь попытаюсь представить и центром которой является Гомер. С другой стороны, Данте можно было бы сравнить с Гомером гораздо лучше, чем Мильтона; ибо, хотя в "Чистилище" и "Парадизо" он гораздо более божественен, чем Мильтон, он также на протяжении всей *"Божественной комедии"* по-настоящему и глубоко человечен. Он постоянно знаком с природой и жизнью человека; и хотя по большей части он рисует нас, как Флакسمан нарисовал его, только в общих чертах, все же силой и глубиной своего прикосновения он создал фигуры, например, Франчески и Уголино, которые в значительной степени стали общим достоянием человечества, если не как Ахилл и Улисс, то все же как Лир и Гамлет. И все же теологическая основа и внеземной театр поэмы Данте отдаляют его от Гомера, от которого он, по-видимому, мало что почерпнул и с которым, следовательно, мы можем быть уверены, он мог быть мало знаком.

Поэты, которых естественнее всего сравнивать с Гомером, - это те, кто в величайшем изобилии снабдил нас точками соприкосновения между своими собственными орбитами и его орбитами, и которые в то же время являются такими явными детьми гения, что дают им право на честь быть побежденными в таком конфликте. Я полагаю, что эти условия наиболее четко выполнены Вергилием и Тассо; и мы можем начать со старшего из пары.

Возможно, Чепмен зашел слишком далеко, когда сказал, что "У Вергилия нет ничего своего, а только ораторское искусство; его изобретение, материя и форма принадлежат Гомеру"^[876]. Однако немалую часть этого грандиозного утверждения, несомненно, можно исправить.

При необычайном количестве допущенных подражаний и очевидном внешнем сходстве "Энеида" почти во всех фундаментальных деталях резко контрастирует с "Илиадой". Что касается размера, фигур, имен, мест, лиц и времени, то эти два произведения, где они на самом

деле не совпадают, находятся в настолько близких отношениях друг к другу, насколько это кажется достижимым без абсолютной идентичности предмета; и все же можно усомниться в том, что можно назвать какие-либо две великие поэмы, которые так глубоко расходятся почти по каждому пункту, затрагивающему их внутренний дух; по всему, что относится к истине нашей природы, к законам мышления и действия и к правдивости в рассмотрении высших предметов, таких как история, мораль, государственное устройство и религия.

Контраст между формой и духом в Энеиде.

Огромная сила Вергилия как поэта была продемонстрирована еще до того, как он написал "Энеиду". Он показал их полное величие в Георгиках; хотя ἦθος, или (так сказать) сердце, даже этого великого произведения было парализовано его эпикурейской и эгоцентрической философией. Энеиды не выносят более слабого впечатления о его гениальности. Удивительно выдержанная красота и величие его стихов, впечатляющее величие его самых сложных очертаний, сила автора в раскрытии, когда он стремится это сделать, ресурсы страсти и даже, возможно, мастерство, которое он продемонстрировал в общем построении своего сюжета, не могут быть слишком высоко оценены. Но в то время как ее общая природа как эпоса (ибо эпическая поэма в высшей степени этична) позволила полнее увидеть ее недостатки, конкретная цель, которую он предложил себе, оказалась фатальной для достижения высочайшего совершенства. В то время как Гомер пел во славу нации, поэма Вергилия на всем протяжении проникнута духом придворного преклонения. Ни одна муза, какой бы энергичной она ни была, не сможет сохранить прямую походку под такой тяжелой ношей.

Каталог в "Илиаде" и "Энеиде".

И все же, что касается ее внешней формы, "Энеида", возможно, в целом является самой величественной поэмой, которую когда-либо создавал европейский ум. Мы часто слышим о возвышенном шествии "Илиады"; но хотя ее стихосложение всегда уместно и, следовательно, никогда не бывает скудным, оно приобретает величавость или пронзительную возвышенность только тогда, когда у Гомера появляется возможность собрать свои силы для усилия. Он неизменно верен своему собственному представлению о барде^[877], как о том, кто должен завоевывать и радовать душу слушателя; и поэтому, когда он натянул себя, подобно луку, для какого-то великого эпизода своего действия, 'прижал тетиву к груди, железо к дереву' и попал в цель, он сразу же снова разгибается. Таким образом, он с истинным величием представляет построение греческой армии во Второй книге, частично с помощью призыва Муз, а частично с помощью набора не менее чем шести последовательных сравнений, которые описывают соответственно блеск греческого оружия, громкий топот, роящиеся ряды, выстраивание шеренг по мере их формирования, деловитое построение командиров, величие Агамемнона, выдающегося среди них^[878]. Сделав это, он приступает к Составлению Каталога, не пренебрегая поэтическими украшениями в виде эпитетов и иногда смягчая их короткими легендами, но все же в основном как к делу, историческому, географическому и топографическому. И так он продолжает, с совершенным спокойствием, почти триста строк, пока его работа не будет закончена. Затем мы обнаруживаем, что он дал нам, вместе с подробнейшим описанием вооруженных сил, живую карту территорий, занятых греческими расами той эпохи. Но Вергилий в своем подражании Гомеровскому Каталогу (о котором у нас будет еще случай прокомментировать ниже, в связи с другими вопросами) пошел совершенно

иным путем. Отказываясь от великолепного вступления Гомера, которое из одного места изливает широкий поток великолепия на все произведение в целом, Вергилий с огромным и действительно довольно болезненным усилием ведет нас по своему длинному списку на тщательно выдержанной высоте. Чтобы разнообразить утомительную задачу, он использует все возможные обороты языка и грамматики[879]. Он переходит от именительного падежа к звательному, и от звательного падежа к именительному. Кто-то присутствовал, а затем кто-то не отсутствовал. Оружие и амуниция подобраны так тщательно, как будто он был тщательным мастером костюмов, готовившим новую драму для сцены. Чтобы мы ни на минуту не были разочарованы, он тут и там разбрасывает сравнения, накопленные Гомером во вступлении, и между рассказами о воинских контингентах вводит легенды в двадцать или более строк. В целом, уровень его стихов по Каталогу, вместо того чтобы быть, как у Гомера, явно ниже, даже выше, чем у него обычно. Я думаю, в нем нет ни единого стиха, приближающегося к *sermo pedestris*. Его читатель скучает по тому успокаивающему облегчению, столь приятному у Гомера, которое как бы изменяет игру мускулов и освежает способности для возвращения к более высоким усилиям. Вирджил, кажется, относится к нам так, как опытные погонщики относятся к лошадям на определенной стадии их упадка сил, которые поддерживают их в движении из страха, что, если они однажды позволят им остановиться или сбавить ход, они не смогут снова набрать темп. Он никогда не разгибает свой лук. Но плоскогорье может быть таким же плоским, и даже утомительным, как равнина; и орнаменты в "Энеиде" часто не являются, да и вряд ли могли быть, более декоративными, чем отрывки, которые они якобы украшают.

Разница между двумя Каталогами не может быть продемонстрирована более четко, чем при сравнении описания Гомером самого первого контингента, того, что из Беотии[880], с первым абзацем Вергилия о Мезентиусе; или с последним и почти самым простым описанием Гомера о магнетианцах[881], с описанием Камиллы (безусловно, замечательной красоты), которой замыкается сверкающее шествие итальянской армии в Энеиде.

Выдержанная величественность дикции, размера и ритма в "Энеиде" - это подвиг, и поразительный подвиг; но это больше похоже на выступление тренированного атлета, сочетающего хитрость и силу, чем на величие свободной и простой натуры, какую можно увидеть у древнего воина, у Диомеда или Ахилла; или у Гомера, единственного барда древнего воина. Разные люди, в зависимости от их темперамента, будут склонны рассматривать эту величественную дикцию как достоинство или недостаток; однако все должны признать, что это чудо. В этом отношении Тассо последовал за Вергилием с незаурядной силой, но все же не сравнялся с ним. И впечатление, создаваемое в этом отношении "Энеидой" в ее нынешнем виде, должно быть усилено, если вспомнить, что это все еще незаконченная поэма, и что автор после своей смерти никоим образом не довел ее, и, в частности, более поздние ее книги, до того уровня, который он считал надлежащим.

Огромное и невыразимое количество подражаний у Вергилия, возможно, привело к тому, что мы не совсем правильно осознали его обширные изначальные способности; а низкие и слабые эффекты, производимые характером, если мы можем назвать это характером, его Эней, вводят нас в заблуждение, заставляя предполагать, что он не мог обладать реальной силой этого высочайшего вида изображения.

Характер Энея.

Пожалуй, вряд ли возможно исчерпать темы для порицания, которые могут быть справедливо использованы против Эней Вергилия. Его моральные недостатки не скрыты (так сказать) среди достижений мужественного интеллекта, а его интеллектуальная посредственность не искуплена какими-либо свежими и подлинными добродетелями. Насколько нам известно, он не государственный деятель; более того, он не воин; ибо мы чувствуем, что его битвы и военные подвиги принадлежат поэту, а не ему; и когда он появляется с оружием в руках, нас так и подмывает спросить: "Сын Венеры, какое тебе здесь дело?" Жестокие преувеличения, с помощью которых Вергилий пытается подчеркнуть воинственный характер своего героя, вызывают только ухрюб Лонгина; холодная реакция, приближающаяся к содроганию, в сознании читателя. Поскольку, например, когда в приведенных ниже стихах поэт представляет греческих вождей[882] как трепещущих и улетающих при виде него, благородство стихов не может оправдать ни безвкусный солецизм мысли, ни профанацию памяти Гомера в лице его героев, которые действительно часто заставляли Эней трепетать, но сами никогда не трепетали перед ним. Но Вергилий идет еще дальше, когда заставляет Диомеда утверждать[883] что, вступив в единоборство с Энеем, он по опыту знает, каким ужасным воином он окажется; и что, если бы таких людей было еще двое, Троя покорилась бы Греции, а не Греция Трои. Так вот, Эней ни разу в "Илиаде" ни разу не совершил настоящего военного подвига; а что касается единоборства между двумя вождями, то Диомед сначала сбил его с ног камнем[884], а затем, после того, как его унесла и, по-видимому, привела в порядок его мать, он был трижды спасен от смертельного нападения того же воина единственным вмешательством Аполлона, который божественной силой сбил его с ног. пресекли нападение. Попутно можно заметить, что, поскольку Вергилий мог, как представляется, безнаказанно, насколько это касалось его популярности, таким образом калечить и фальсифицировать автора, из богатства которого он в значительной степени позаимствовал, либо знание греческой литературы в лице ее главы и отца, Гомера, должно было быть очень низким даже среди образованных римлян, либо уровень их вкуса должен был серьезно снизиться, прежде чем они смогли принять такие комплименты.

Принято винить Эней за его мерзкое поведение по отношению к Дидоне и за жалкое оправдание, которое он предлагает в свое оправдание, когда он встречает ее оскорбленный дух в областях Айдоны и Персефоны. Но правда в том, что это справедливо демонстрирует и иллюстрирует не только полную нереальность этого конкретного персонажа, но, как будет замечено далее, слабую и искаженную концепцию человеческой природы в целом, которую, по-видимому, сформировал Вергилий. Он относился к человеку в целом как к мелкому существу: он не постигал глубины сердца и не измерял ни силу добра, ни силу зла, которые могут в нем таиться. Виргилианский Эней - выдумка, гораздо более подходящая для того, чтобы находиться среди νεκῶν αἰώνηνα κάρηνα, чем среди людей из настоящей плоти и крови.

Твои кости лишены мозгов, твоя кровь холодна;

В этих глазах нет никаких размышлений

На которую ты указываешь с помощью[885].

Мы также не можем извлечь извинения за недостатки этого главного персонажа Вергилия из "Энея" Гомера. Дарданский принц действительно является в "Илиаде" во всем существенном молчаливой и второстепенной фигурой. Он занимает очень высокое положение и пользуется авторитетом, и, как мы видели[886], он, вероятно, мог быть, благодаря достоинству прямого происхождения, главой всей троянской расы. Но Гомер расплачивается с ним общими

фразами; ибо, поскольку ни один Поэт не превзошел его в подлинно творческой работе с персонажами, никто лучше его не понимает, как там, где этого требует цель его поэмы, взять обычную фигуру и набить ее соломой. В том, что можно назвать жизненным действием "Илиады", Эней не принимает существенного участия ни в военном, ни в политическом плане. Он действительно очень сильно отстает от благородного Сарпедона в первом качестве и Полидамаса во втором, а также от Гектора в обоих. И все же, если в гомеровском Энее нет ничего величественного, ничего энергичного, ничего глубокого, то, с другой стороны, в нем нет ничего чрезмерно выдающегося или претенциозного, а следовательно, ничего подлого, ничего непоследовательного, ничего неистинного. Все гомеровские персонажи, вплоть до Терсита, нарисованы каждый по-своему рукой мастера; Эней не составляет исключения: напротив, мы должны восхищаться мастерством, с которым на некотором среднем расстоянии заполняются его очертания, и его совершенно не путают ни с теми более великими персонажами на троянской стороне, которые были названы, ни с женоподобным Парисом. Это тем более достойно внимания, что, как любимое дитя Венеры, он имел определенное и смутное сходство с ее главным фаворитом; как мы можем видеть по некоторым чертам его крайне негативного поведения на поле боя и по тому, что Аполлон уложил его (если можно так выразиться) в постель в Пергаме[887], когда его спасли от Диомеда, точно так же, как он был спасен от Диомеда. Венера покончила с Парисом после того, как спасла его в Третьей книге от Менелая[888].

Также Вергилий не ошибся в описании своего героя, или 'главного героя', из-за простой нехватки власти, чтобы изобразить человеческий характер. Поэту Четвертой книги "Энеиды" нельзя приписать подобную нехватку. И если это правда, что среди всей бурной необузданности и интенсивности страсти Дидоны есть что-то не совсем естественное - что-то, что напоминает замечательную имитацию в 'Герцогине де Лавальер' мадам де Жанлис и заставляет нас почти теряться в догадках, кто из двух больше похож на копию, а кто на оригинал, — что мы можем сказать о подлинном и мужественном характере Турна? Весь этот набросок настолько хорош и правдив, насколько мы можем пожелать; и благородная речь, в частности, в которой он упрекает аккуратную трусость Дрансиса, - произведение такой необычайной силы и достоинства, что его впору произносить (и это я считаю вершиной всех панегириков) даже гомеровскому Ахиллесу. В энергичных рассуждениях, едком сарказме, рыцарских чувствах и негодующей страсти это представляет собой комбинацию, которую нелегко сопоставить; и в целом оно превосходно соответствует ораторской цели, ради которой, как предполагается, было произнесено. Но, действительно, от нашего первого взгляда на Турнуса до нашего последнего, мы не находим в нем ни одной черты, слабой самой по себе или недостойной мужской идеи и замысла портрета, за исключением того, что в самом последнем эпизоде его жизни свобода воли, кажется, была вырвана, так сказать, силой, из его рук.

Ложная позиция Вергилия.

Неудачу в "Энее" Вергилия нельзя сравнить ни с одним современным романом, таким как "Уэверли" или "Старый смертный" Скотта, где героем может быть безвкусный человек. Все великие современные изобретатели были вынуждены основывать свои усилия на ощутимой широте какого-либо исторического события: самым гордым отличием гомеровского эпоса было то, что у него был живой центр; он опирался на человека; у Гомера было достаточно жизненной силы для достижения этой цели: его Ахилл и его Улисс были каждый Атласом, который поддерживал мир, в котором они также двигались. Вергилий сделал свою поэму "Энейдой", вместо того чтобы последовать примеру поэтов-циклистов; таким образом, он поклялся своим

читателям, что Эней должен быть ее центром, ее полюсом, ее внутренним светом и жизнью. Но он не сдержал своего слова: он натянул Гомеров лук без гомеровской силы. Возможно, он знаменует собой окончательный переход от старого первоклассного эпоса к новому. После него у нас есть подлинные эпосы: Фарсалия, Фиваида и так далее. Но Эней стоит перед нами с притязаниями Ахилла и Улисса; и неудача велика пропорционально гигантскому масштабу попытки. Когда в итальянском романе образ идеального мужчины, показанный в "Орландо", снова стал основой новых эпических поэм, мы снова находим в главном герое действительно большую слабость по сравнению с Ахиллесом и Улиссом; но силу и успех по сравнению с Энеем Вергилия.

В целом мы возвращаемся к предположению, что этот вопиющий порок Энеиды, слабость и лживость характера Энея, были вызваны ложным положением Вергилия, который был вынужден выполнять свои функции поэта в соответствии со своими доминирующими обязательствами придворного паразита Августа. Как вся поэма в целом, так и характер ее героя были, прежде всего, инструментом прославления римского императора. Сразу же следовало, что во всех отношениях этот характер должен быть таким, чтобы не предлагать сравнения, невыгодного для человека, чье достоинство в политических целях уже было возведено даже в невидимый мир; более того, чья предвосхищенная божественность должна была сохраняться в соотношении абсолютного и широкого превосходства к образу его человеческого предка. К самому Энею в "действии Энеиды" обращаются как к

Dīs genite, et geniture deos.

Чтобы понять катастрофические последствия этого умственного рабства, сначала измерьте холодный и негероический характер Августа; затем оцените степень относительного превосходства, которое для позиции Вергилия было важно сохранять за ним на протяжении всего времени; и таким образом мы можем прийти к некоторому практическому представлению о ограниченности пространства, в пределах которого Вергилию приходилось развивать своего Энея, или, другими словами, состязаться с Гомером. Все недостатки и ущербность его стихотворения, возможно, действительно объясняются, в какой-то степени, никто не может сказать, насколько велика, этой изначальной ложностью позиции.

Из-за личностного принципа, на котором был построен древний эпос, неудача в характере героя почти неизбежно должна была повлечь за собой неудачу в поэме. Более всего это следовало бы в случае, когда, как в "Энеиде", герой никогда не исчезает из поля зрения и где действие не ускользает, как в "Илиаде", от его личности, чтобы затем усилить величие и действенность его повторного появления. Таким образом, ложность позиции Вергилия не ограничивалась отдельным персонажем, но распространялась на все его творчество. Живя также в эпоху менее естественную и более критичную, чем эпоха Гомера, он больше защищался от критики, поскольку рассматривал ее чисто технические функции, и меньше изучал природу. Он должен был создавать свой эпос для двора, причем коррумпированного двора, а не для человечества в целом; из этого следовало, что он не мог опираться на те глубокие и широкие основы самой человеческой природы, которые давали Гомеру положение всеобщего повелителя. Следовательно, как правило, он поет не от сердца и не для сердца. Его подлинные натурные штрихи редки. Те из них, которые встречаются, были тщательно отмечены и встречены аплодисментами, потому что он всегда старался подчеркнуть их выбором и мелодичной дикцией. Что касается меня, я вряд ли нахожу что-либо среди них более верным,

чем сравнение матери, трудящейся со своими служанками по ночам, которым он обязан Гомеру[889]:

Castum ut servare cubile

Сопряжение и, возможно, участие в обучении нато[890].

Что касается религии, свободы и национальности.

За редкими исключениями, читатель Вергилия оказывается в полной растерянности, не имея возможности увидеть душу поэта, отраженную в его произведении. Среди великолепной фантасмагории мы не можем сказать, где его сердце, где лежат его симпатии. У Гомера гениальный дух, веявший от самого Поэта, просвечивает сквозь все; в "Энеиде" мы тщетно ищем почти ни единого его луча. Опять же, Вергилий жил в то время, когда господствующая религия утратила все элементы реального влияния, которыми эпоха Гомера обладала либо сама по себе, либо унаследовала от древней традиции. Она была одновременно подорвана философией и распущенностью; и она существовала только как механизм, тоже механизм, уже ужасно дискредитированный, для достижения гражданских целей. Таким образом, он утратил один важный элемент истины и природы, а также возвышенности и пафоса. Исчезновение свободы полностью лишило его другого. Гомер видел перед собой и религию, и государственное устройство молодыми, свежими и энергичными; для Вергилия и то, и другое было практически мертво; и все, что есть в этом мире истинного величия, так тесно зависит от них, что не его вина, если его поэма прочувствовала и убедительно свидетельствует об этой потере. Даже сфера личной морали не была открыта для него; ибо какой принцип истины или праведности он мог бы достойно прославить, не подвергая суровому осуждению какой-либо выдающийся поступок человека, возвеличивать которого было его главной обязанностью?

И еще раз. Гомер воспел своему народу славные деяния их предков, с которыми их связывали теплые воспоминания и близкие исторические и местные связи. Это было одновременно стимулом и сдерживающим фактором; это поощряло его труд и в то же время абсолютно требовало от него изучения моральной гармонии и последовательности. Вергилий воспевал римлянам подвиги тех, кто не был римлянами и кого лишь самый пустой вымысел связывал с его слушателями, на протяжении смутной перспективы тысячи лет и при обстоятельствах, которые делали претензию на историческую преемственность не более чем смешной. Вернее, он пел так не римлянам, а их императору; он должен был помнить не о великих фонтанах эмоций в человеческом сердце, а о своем городском доме на Эсквiline и о своем загородном доме по дороге из Неаполя в Поццуоли. Имея дело с греками, с троянцами, с карфагенянами, он снова утратил двойное преимущество Гомера: у него не было ничего, что могло бы дать здоровый стимул его воображению, и ничего, что привело бы его или удерживало на уровне истины и природы. И здесь, возможно, мы натолкнемся на какой-то ключ к превосходному характеру и привлекательности Турна. Теперь поэт впервые оказался на истинно национальной почве: он был итальянским менестрелем, поющим итальянцам, неважно, в реальности или мифологии, об итальянском герое. Таким образом, у него было что-то вроде подходящих материалов для работы; и результат достоин его благородных способностей, хотя и имеет странное последствие - вызывает самые лучшие симпатии его читателей и подразумевает, что его собственные уже были настроены прямо противоположно очевидной цели его стихотворения.

Однако складывается впечатление, что этот великий и блистательный Поэт, будучи сбив с толку в отношении всех более глубоких источников интереса, от которых должен зависеть автор эпоса, таких как религия, патриотизм и свобода, вследствие этого стал безрассудным как в крупных, так и в второстепенных вопросах, в отношении всей внутренней гармонии своего произведения, и довольствовался самым неустанным и кропотливым трудом по его внешней проработке, где он мог дать простор своим необычайным способностям к стихосложению и дикции, не опасаясь наткнуться на что-нибудь неподходящее для искусственной атмосферы театра. Римский двор. Следствием этого является то, что жилка лживости пронизывает всю Энеиду, такая же сильная и примечательная, как подлинность мысли и чувства в гомеровских поэмах. Гомер гуляет под открытым небом, Вергилий при свете лампы. Гомер дает нам фигуры, которые дышат и двигаются, Вергилий обычно угощает нас восковыми фигурами. Гомер обладает всей силой и игрой драмы, Вергилий по сути своей оперный. От Вергилия до Гомера большее расстояние, чем от Гомера обратно к жизни.

Гомера неправильно понимают через Вергилия.

Но больше. Вергилий одновременно переписчик Гомера и, для большинства образованных людей, его переводчик[891]. Во всей современной Европе, вместе взятой, у Вергилия было десять человек, которые его читали, и десять тех, кто его помнил, - на одного, которого Гомер мог бы показать. Принимая это во внимание большую распространенность того, что они занимают общее место, мы можем найти основания полагать, что традиционное и общедоступное представление о произведениях Гомера во всей сфере западной цивилизации было сформировано в гораздо большей степени, чем можно было бы поначалу предположить, его вергилианскими копиями. Другими словами, это означает только то, что она была прискорбно искажена, чтобы не сказать серьезно фальсифицирована; ибо едва ли есть какой-то жизненно важный момент, в котором Вергилий верно следует Гомеру или представляет его честно или полностью. Итак, эта традиционная идея является не только общепринятой идеей, которая управляет равнодушной публикой, но это также идея, с которой начинает каждый отдельный ученик и которая управляет им до тех пор, пока он не достигнет такой точки в своем развитии, что обнаружит необходимость и, более того, осознает силу, отбросить ее. Это, однако, тот момент, которого, исходя из природы человеческой жизни и ее устремлений, очень немногие студенты действительно могут достичь вообще. В другом месте мы увидим, с каким злым и ложным эффектом Вергилий обращался с некоторыми гомеровскими персонажами. То же самое в каждой незначительной черте; и кажется странным, что такой великий Поэт не испытывал достаточного почтения к другому Поэту, еще более великому и почитаемому почти во все века, чтобы удерживать его от такого постоянного и бессмысленного, а также умышленного искажения гомеровской традиции. Однако, похоже, что не все выкидыши Вирджила были вызваны неосторожностью в общепринятом смысле этого слова. Во многих случаях, если только они не могут быть отнесены к потребностям, которые давят на придворного, может показаться, что их следует приписать оцепенению способностей или дефекту образа мыслей, по которым следовало бы ценить Гомера. Более того, иногда кажется, что он был побужден просто метрическим удобством изменить традиции Гомера. Давайте сначала рассмотрим небольшой пример, чтобы проверить это утверждение.

Ничто не может быть более заметным, чем выдающееся положение Скамандра по сравнению с Симоисом у Гомера. Симоис упоминается им всего шесть раз, и ни один из отрывков не показывает, что это был значительный ручей. В двадцать первой книге[892]Скамандр

приглашает Симоиса присоединиться к нему в излиянии потока, который должен был унести Ахилла, но его 'брат' не отвечает и не принимает участия в действии. Действительно, из географических соображений, относящихся к топографии Трояды, может показаться, что летом в Симоисе, вероятно, было сухо. Это полностью согласуется с местом, в котором эта река питает ἄμβροσιν[893], фигура, как можно предположить, из травы для лошадей Юноны. Во всяком случае, этот отрывок расходится с представлением о реке как о несущемся потоке. И снова Гомер упоминает[894] о том, что многие герои пали, он говорит не в ручье, а около него: прежде всего, он не говорит, что они упали в его воды, но в пыль у него или рядом с ним:

καὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλαιαι
κάππεσον ἐν κονίῃσι.

Опять же, Скамандр персонифицирован как бог Ксанф и играет большую роль в действии: Симоис вообще не персонифицирован. Скамандр - это δῖος, δῖοτρεφής и многое другое: у Симоиса нет эпитетов. Симозейзий - сын Антемиона, личность второстепенная; но Скамандрий - это имя, данное Гектором своему мальчику. Симоис, насколько нам известно, мог быть либо пересохшим руслом, либо немногим лучше ручья; но вооруженные люди были брошены в Скамандра, и он унес их в море. Наконец, равнина, где проводился смотр греческой армии, называется λεῖψον σκαμάνδριος, πέδιον Σκαμάνδριον. Итак, правильное представление об этих реках - дело не совсем незначительное, оно имеет существенное значение для ясности наших представлений о военных действиях в поэме. Что же тогда Вергилий сделал с ними? Он просто перевернул гомеровское представление. Ксанф для него - безымянная река, Симоис - могучий поток. Посмотрите на эти отрывки:

Mitto ea, quæ muris bellando exhausta sub altis,

Quos Simois premat ille viros. (Æn. xi. 256.)

Еще раз:

Victor apud rapidum Simoenta sub Illo alto. (Æn. v. 261.)

И, прежде всего, отрывок, который он прямо позаимствовал у Гомера и искажил его по пути (Эн. i. 104):

Ubi tot Simois correpta sub undis

Scuta virûm galeasque et fortia corpora volvit.

И зачем все это? Очевидно, как я понимаю, потому, что, хотя Скамандр был словом, которому было запрещено входить в латинский гекзаметр, Ксанф также был несколько менее удобен, чем Симоис, для построения своего звучного стиха. Теперь это образец того, что Вирджил сделал почти во всех вещах, как малых, так и великих.

Νεκυΐα Гомера и Вергилия.

Есть случаи, когда считается, что Вергилию выгодно сравнение с Гомером, и, несмотря на это, всестороннее рассмотрение может привести к отмене приговора. Например, значение νεκυΐα в

одиннадцатой "Одиссее" считается более низким, чем в шестой "Энеиде". Чтобы свести их воедино, нам, возможно, следует убрать из поля зрения философскую и пророческую часть последней[895]; но сделаем мы это или нет, мало что значит для сравнения. В любом случае, Ад Вергилия в целом представляет собой сценическую процессию величественных фигур; но она не имеет последовательного или достоверного отношения к какой-либо идее о будущем или невидимом состоянии, реально действующем среди человечества. И все же такая идея существовала, по крайней мере, во времена, о которых писал Вергилий, если не в тот период, когда он жил. Несомненно, это был предмет глубочайшего интереса и самого торжественного пафоса. То, кем мы являемся как люди здесь, во многом зависит от нашего представления о том, кем мы должны стать в будущем. Во всей истории рода Адамова нет ничего более трогательного, чем его слепое и болезненное предчувствие невидимого будущего. Нет такого очевидного свидетельства сравнительной деградации расы или эпохи, как то, что они перестали стремиться к чему-либо загробному. Гомер показал нам в "Одиннадцатой Одиссее"[896], что вместе с его острым чувством настоящего и видимого он ощущал всю силу этого таинственного притяжения к невидимому. Очевидно, что здесь он так же серьезен, как и в любой другой части стихотворений. Вергилию, с другой стороны, удастся придать своему аду почти непревзойденную пышность, временами приближающуюся к великолепию. Гомер не пытается ничего подобного; но он производит совершенное и глубокое впечатление об этих краях в соответствии с представлением, сложившимся в его собственном сознании: они темны, мрачны, холодны, прежде всего, одним словом, унылы. Вергилий ухитряется убедить читателя в том, что *он* очень великий художник: Гомер позволяет всем подобным вещам решать самим. Но в то время как Вергилий вообще не производит на ум никакого впечатления относительно Мира Теней, никакого образа робкой, расплывчатой веры, которая существовала относительно него, Гомер изложил все это перед нами с правдивостью, которой никогда не было и к которой нельзя приблизиться. И все же Вергилий изобилует деталями и измерениями, которых Гомер избегает. Глубина Тартара в два раза превышает расстояние от земли до неба[897], а у Гидры пятьдесят ртов. Однако детали одного не производят впечатления реальности, в то время как крайняя локальная расплывчатость и мечтательность другого гораздо более определены по своему эффекту, потому что он создан для того, чтобы способствовать соответствующим идеям печали, сочувствия и благоговения. Что касается отдельных отрывков, то облик Дидоны полон величия; но ее молчание, лежащее в его основе, заимствовано у Аякса; в то время как в "Одиссее" Ахиллес в молчании шагает по асфоделиевому лугу, когда он преисполняется ликования, услышав, что его сын преуспел в совете и на войне, - это, возможно, одно из самых возвышенных человеческих изображений, когда-либо созданных самим Гомером.

Этнологические отклонения.

Давайте теперь приведем пример полного безразличия Вергилия к исторической правде и последовательности. Это тем более примечательно, что, поскольку он претендовал на то, чтобы вывести семью Юлиев из рода Эней, очевидно, было бы некоторое преимущество в строгом соблюдении гомеровских различий между расами с обеих сторон в троянской войне. Но это, по-видимому, совершенно недостойно его внимания. Например, он называет гомеровских греков пеласгами[898]. Можно сказать, что он руководствовался итальянскими традициями, которые связывали греческие и пеласгийские имена первых колонистов этой страны. Но сначала следует уделить некоторое внимание Гомеру в вопросах, касающихся Трои; и довольно жестоко называть греков пеласгами, когда единственные пеласги, упомянутые Поэтом в войне, находятся на стороне их врагов. Во-вторых, поскольку его целью всегда было подавить греков,

зачем ему таким образом выставлять их в качестве одной из итальянских рас? Прежде всего, зачем делать это в случае, когда Гомер сам установил связь между Италией и Троей? Опять же, Вергилий называет греческий лагерь *Dorica castra*[\[899\]](#). Но дорийцы в период Троянской войны были совершенно незначительны, и Гомер ни разу не упоминает их в связи с этим состязанием. Опять же, Вергилий называет Диомеда и основанный им город Арпи этолийцами и заставляет его жаловаться, что ему не разрешили вернуться в Калидон[\[900\]](#), просто потому, что его отец Тидей, как сын Евейя, был этолийского происхождения; хотя он командовал аргивянами и не имел никакого отношения к этолийцы Гомера. Опять же, следуя поздней и бесцельной традиции, он называет Улисса Эолидом[\[901\]](#), хотя Гомер дал "Происхождение Улисса"[\[902\]](#) без какого-либо прикрепления это относится к линии Эолидов, совокупности семейств, происхождение которых, вероятно, из-за их исторической важности, он более чем обычно тщательно отмечает.

Со случаями простой неточности, которым я не стремлюсь придавать чрезмерного значения, мы можем связать то, как он, с другой стороны, смешивает различия троянских рас, так точно отмеченные Гомером. В Двдцатой "Илиаде" генеалогия царствующих семей Трои и Дардании дана с большой точностью. Различие между троянцами и дарданцами сохраняется в "Илиаде", хотя имя троянца иногда, но редко, используется для обозначения всей местной армии, а иногда оно даже обозначает все силы, включая союзников, которые противостояли греческой армии. Здесь мы могли бы, однако, предположить, что в интересах цели Вергилия было бы сохранить или даже заострить различие между линией Дарданов, которая была самое большее, но косвенно ущемлена греками, и линией Ила, которая фатально согрешила и пострадала в конфликте *Тройки*. Но, напротив, он все еще менее разборчив в употреблении имен здесь, чем в отношении греков. Спутниками Эния иногда были тевкры, Трояны или Троюгены, иногда Энады, иногда Дарданиды. В первом из этих имен он полностью противоречит Гомеру, который называет Тевкра выдающимся среди греков, но нигде не связывает это имя с Троей, в то время как Вергилий называет критского Тевкра[\[903\]](#) основатель троянской расы. Я допускаю, что здесь он опирается на то, что можно назвать отдельной традицией, хотя она расплывчата и скудна, о тевкрийской расе в Троаде. В двух последних наименованиях, без каких-либо полномочий, он полностью изменяет действие греческого отчества и превращает простую фамилию в национальное наименование. Затем они снова появляются как ГИПЕРССЫЛКА на род Pergamea. Но Пергам у Гомера был просто цитаделью Трои и соотносится с πύργος[\[905\]](#): англичан с таким же успехом можно было бы назвать людьми Тауэра. Еще не удовлетворившись этим, он также попросит троянцев стать фригийцами:

Фригибускуль адсис педс, дива, секундо[\[906\]](#);

хотя у Гомера фригийцы - это народ, как этнологически, так и политически отдельный[\[907\]](#) от троянских рас. Опять же, что касается самого Энейса. Его зовут Ретей герос[\[908\]](#); но если Вергилий решил таким образом обозначить своего героя, сославшись на одну точку троянской территории, это должна была быть та, с которой он был связан локально, тогда как владения его семьи находились не рядом с мысом или на побережье, а среди холмов на другом конце страны. Опять же, Эней - это Лаомедонтий герой[\[909\]](#); но Лаомедонт принадлежал к ветви Илуса, в то время как Эней принадлежал к ветви Ассарака; и, более того, был лжесвидетелем, в то время как линия Ассарака не была отмечена таким пятном. Итак, мы снова имеем...

Дардан, Подвздошная кость, первый отец урбиса и ауктор[910];

но Дардан основал Дарданию, в то время как Илион не существовал до времен его правнука Илуса. И здесь Вирджил, кажется, совершенно забывает, что он сам сделал Тевкра главой расы[911]. Описывая переселение этого героя с Крита в Троаду, он говорит:

Nondum Ilium et arces

Пергам стетерант; населенный пункт vallibus imis[912].

Здесь он не только отвергает Гомера, который помещает Дардан и первоначальное поселение среди гор, но и представляет то, что само по себе невероятно, поскольку первые колонисты обычно стремились к возвышенностям, а не к низинам, в целях безопасности. Решив отойти от Гомера, он даже не согласен с Аполлодором[913]. Наконец, он не менее пренебрежительно относится к фактической топографии; ибо он подразумевает, что Илион находится среди холмов, в то время как, согласно недвусмысленным словам Гомера и всеобщему мнению, он находился на равнине в противоположность холмам. И снова мы имеем аллюзию из Вергилия —

quibus obstitit Ilium, et ingens

Глория Дардания[914].

Вот еще один случай противостояния метра истории, и во всех подобных случаях история должна идти (как говорится) к стенке. *Илион* не допускал бы удовлетворительного употребления родительного падежа; следовательно, славы Илиона быть не могло, и по этой причине Вергилий щедро приписывает огромную известность Дардании, которая вообще не имела никакой известности. Но надо признать, что он так же готов противоречить самому себе, как и Гомеру. В Эн. ii. 540 он дает понять, что только город Троя был царством Приама, и что греческий лагерь находился за его пределами, поскольку он заставляет Приама сказать о своем возвращении из лагеря:

meque in mea regna remisit.

Но чуть дальше он призывает Приама (ст. 556),

tot quondam populis regnisque superbum

Regnatorem Asiæ.

Все рассказы одинаково неточны: у Приама было больше, чем город, но его владения ограничивались небольшим уголком Малой Азии. И снова, прежде чем оставить эту часть темы, давайте посмотрим, как в случае с Анхизом он отходит от Гомера, даже там, где цели его рассказа послужило бы более точное следование за ним. Анхис Гомера - это Ἄναξ Ἀνδρῶν; он не появляется в Трое среди δημοῦροντες города или двора Приама, что сделало бы его второстепенной фигурой; он проживает в Дардании как независимый правитель, и не кажется маловероятным, что, по крайней мере, по прямому достоинству он был даже раньше Приама. Но Анхизы Вергилия обитают в Трое[915]; и поэтому, конечно, их следует принимать за подданных Приама. Здесь изменение очень сильно понижает ранг Эния, а следовательно, и Августа.

Результатом всего этого является, без какой-либо реальной выгоды ни моральной, ни поэтической, полное замешательство в уме читателя "Энеиды" в отношении предмета, представляющего реальный интерес как исторический, так и этнологический, относительно которого Гомер оставил в записях самое тщательное и ясное представление. Действительно, следует признать, что поэты-интервенты привели много примеров подобной вольности; более того, они сделали неправильность правилом; но у них не было таких веских причин, как у Вергилия, подражать, по крайней мере в некоторых моментах, точности Гомера, и, кроме того, он, возможно, превзошел их всех во множестве и разнообразии своих отступлений от нее. С другой стороны, я признаю, что следует сделать некоторую поправку на менее гибкий характер латинского языка, из-за которого особая точность Гомера могла стать настоящей трудностью для Вергилия.

Таким образом, я подробно проследил этот путь непоследовательности и противоречивости в конкретных примерах, потому что они в высшей степени иллюстрируют характер творчества Вергилия, если не его образ мыслей. Следуя политической и куртуазной идее стихотворения, он, кажется, оставил всякую заботу, кроме его формы и звучания, и был совершенно безразличен к представлению любого правдивого, или, если это слово подразумевает слишком большую доверчивость, любого самосогласованного образца манер, мест, событий или персонажей.

Вергилий, должно быть, по крайней мере материально, насытился "Илиадой", прежде чем задумал "Энеиду", поскольку его заимствования столь же постоянны и разнообразны; и именно это делает ее настолько необычной, что он должен был сразу же подвергнуться двойному обвинению в раболепном подражании и в беспричинном искажении своего оригинала.

Если мы обратимся к действию Двенадцатой книги "Энеиды", то все это составлено из Гомера, разрезанного на куски и переделанного заново. Она начинается с идеи единоборства, заимствованной из Третьей и Седьмой Илиад. Затем следует договор и его нарушение Ютурной под влиянием Юноны, которые заимствованы из предательства Пандара, совершенного Минервой по тому же наущению. Далее, бегство Турна перед Энеем заимствовано у бегства Гектора перед Ахиллесом. После этого Турн был выведен из строя божественной волей, подобно Патроклу перед Гектором; падение произошло в том случае, как и в другом, без опасностей и без чести, так что здесь мы имеем копию даже одного из немногих мест, где "Илиада" была мало достойна подражания. Наконец, мысль о Палладе в уме Энея (однако более совершенная и очень эффективная) играет роль воспоминания о Патрокле[916] в уме Ахилла.

Неверное подражание деталям.

Как здесь, так и в других местах, подражаний в деталях слишком много, чтобы их можно было заметить. Некоторые из них даже нисходят до персонажа, который, независимо от их незначительности, приближается к смешному. Тот самый навоз, в котором теряет опору ойлейский Аякс[917], в Двадцать третьей "Илиаде", воспроизведен в Пятой "Энеиде", чтобы Найс мог в нем барахтаться. Но даже здесь мы можем отметить два характерных различия. Гомер подставляет подножку персонажу, которого у него нет особого повода выгодно выделить. Вергилий избирает объектом насмешек Найса, на котором в прекрасном эпизоде, который вскоре последует, он собирается сосредоточить все самые нежные симпатии своих слушателей. И снова Гомер оговаривает Аякса там, где, по его словам, быки только что были закланы над Патроком: у Вергилия нет такой вероятной причины утверждать о наличии

отвратительного материала[918], но говорит, что *цезис форте ювенсис*. Теперь троянцы действительно покинули гробницу Анхиса и отправились в выбранное место, чтобы отпраздновать пешие забеги[919]; так что даже его запекшаяся кровь и навоз совершенно неуместны.

Итак, опять же, из всех *формул* Гомера не очень понятно, почему Вергилий предпочел вспомнить довольно банальную строку

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδῆτοος ἐξ ἔρον ἔντο

в своем собственном, более амбициозном и звучном стихотворении,

Сообщение об исключительной семье и грядущем сжати[920];

но еще более странно, что вместо того, чтобы сказать, что голод и жажда были утолены, он вообще не упоминает о жажде и дополняет свой гекзаметр двойным упоминанием о голоде.

И все же, несмотря на силу перечисленных причин, приводящих к инвалидности, кажется немалым странным, что при таком огромном количестве материальных подражаний Вергилий не приобрел, даже случайно или просто силой использования, некоторые черты, более близкие по чувствам и этическому поведению, к своему великому оригиналу.

Его жестокое обращение с гомеровскими персонажами, пожалуй, наиболее бросается в глаза на примере Елены. Этот случай, действительно, заслуживает отдельного рассмотрения причин, которые превратили красивый, трогательный и удивительно оригинальный портрет в грубую и самую заурядную карикатуру. Но Улисс, как принц политики, имел, возможно, больше прав на то, чтобы быть понятым римлянином при дворе Августа. Однако "Улисс" Вергилия просто олицетворяет обнаженные идеи твердости, коварства и жестокости. Его никогда не называют по имени, кроме как для того, чтобы подвергнуть его оскорблению; и, хотя упоминания о нем встречаются не очень часто, из стихотворения легко составить довольно обширный каталог оскорбительных эпитетов, среди которых нет ни одного эпитета противоположного характера. He is *durus, dirus, saevus, pallax, fandi fictor, artifex, inventor scelerum, and scelerum hortator*. Однако даже физические обстоятельства, пользующиеся самой широкой известностью, Вирджил полностью игнорирует. Ничто так не противоречит женственному характеру гомеровского Париса, его бессилию в бою и его отличиям, ограниченным луком, который в то время был оружием трусов, как представление о нем как об обладателе огромной физической силы. И все же Вергилий отважился даже на это. В играх Пятой книги, когда Эней приглашает кандидатов на боксерский поединок, огромный Дарес немедленно представляет себя, и его описывают как единственного человека, который мог бы боксировать с Пэрисом[921]!

Solus qui Paridem solitus contendere contra.

Гейне в качестве извинения ссылается на авторитет Гигина, который был не более чем современником самого Вергилия; и предполагает, что Вергилий следовал авторитетам, ныне утраченным: прискорбная защита, потому что изображение несовместимо не только с фактами, но и с основной идеей Париса Гомера, и, следовательно, доказывает, что Вергилий не пытался и не заботился о том, чтобы понять характер или быть верным своему учителю.

Жестокое обращение с мифологией и этикой.

Но пришло время привести несколько примеров, которые демонстрируют полное пренебрежение как мифологической, так и моральной последовательностью.

В Восьмой Энеиде Эней и Анхис пребывают в сильном беспокойстве; и поэтому, по-видимому, они должны были продолжать,

Nî signum cœlo Cytherea dedisset aperto;

Namque improvise vibratus ab æthere fulgor

Cum sonitu venit[922].

Эта идея о *Cytherea tonans* столь же нелепа, сколь и нова. Сохранение характерных атрибутов нескольких божеств языческой мифологии способствует красоте и, следовательно, было, по крайней мере, обязанностью, налагаемой поэтическим искусством; но Вергилий не довольствуется простым отступлением от нее, забирая управление громом и молнией из рук Юпитера и высших божеств; он не может быть удовлетворен, не передав это Венере. С ее гомеровским характером и с любым последовательным представлением о ее атрибутах это совершенно несовместимо.

Но опять же, во Второй "Энеиде" Вергилий заставляет Венеру обратиться к своему сыну со следующими величественными строками, когда он собирался убить Елену посреди пожара Трои:

Non tibi Tyndaridis facies invisâ Lacænæ

Виновник Парижа: Божественная инклеменция, Божественный

Когда-либо открывал, например, кульминационный троян[923].

В котором он явно подражает словам Приама,

οὔτι μοι αἱ τίη ἔσσι , θεοὶ νύ μοι αἵ τιοί εἰ σιν,

οἱ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολὺδάκρυν Ἀχαιῶν[924].

Теперь, даже со ссылкой на оправдательный приговор Хелен, эти дела совершенно не похожи. То, что Гомер вкладывает в уста Приама, Вергилий утверждает авторитетом божества: то, что Приам говорит о гомеровской Елене, которая была похищена Парисом и чей общий характер был весьма далек от порочного, Венера Вергилия говорит как о закоренелой предательнице, так и о прелюбодейке. Опять же, то, что Приам говорит относительно самого себя: "Я не виню тебя", кажется в "Энеиде" похожим на неограниченное высказывание абстрактного предложения. Но, прежде всего, давайте обратим внимание на то, как прискорбно Вергилий искажил это чувство, введя в отрывок Париса, в моральной вине которого, если на земле существует такая вещь, как моральная вина, не могло быть сомнений, и которого Гомер с истинной поэтической справедливостью позаботился наказать, сделав его объектом всеобщего порицания и ненависти своих соотечественников[925]. Оправдывая такого преступника и возлагая обвинение в его преступлениях на Бессмертных устами человека, принадлежащего к их числу,

Вергилий впал в наихудшую форму фатализма, а именно в ту, которая уничтожает все моральные санкции и идеи, применимые к человеческому поведению.

И он сделал это без каких бы то ни было оправданий, которые можно было бы извлечь, *valeat quantum*, из остроты его стихотворения. Париса не было перед глазами Эния: Венера не отговаривала своего сына от мести Парису; он попал в поле нашего зрения вынужденно; намек столь же неуместен по отношению к цели отрывка, сколь и порицаем с этической точки зрения; и, по всей вероятности, упоминание о нем введено не по какой иной причине, как по той, что он снабдил Вергилия полустушием, чтобы заполнить пробел в чрезвычайно прекрасном отрывке и обеспечить его просодическое равновесие, которому баланс моральных санкций приносится в жертву без угрызений совести.

Как это происходит с управлением его богами, так и с его концепцией человеческой природы; Вергилий, кажется, упустил из виду ее высшие prerogatives, и особенно великую и благородную истину о том, что она восприимчива к божественным влияниям без потери своей свободы воли. Поэмы Гомера, несмотря на их обильную теургию, во всем в высшей степени и исключительно человечны. Их человеческая активность украшена и возвышена (а также, к несчастью, принижена и затемнена), она даже видоизменяется и контролируется, но никогда внутренне не калечится, не урезается и не вытесняется вмешательством Бессмертных. Но в том, что касается его отношений с божествами, Эней - всего лишь марионетка; и доблестный дух Турна на его последнем поле битвы как бы подавлен в нем главной силой с небес.

Эней и Дидона в Тени.

Так, например, Вергилий не стыдится представить нам Энея в "нижних тенях", извиняющегося перед Дидоной за свое черное предательство, говоря: "Он ничего не мог поделать, боги вынудили его; и действительно, он никогда не думал, что она примет это так близко к сердцу".

Invitus, regina, tuo de litore cessi;

Sed me jussa deûm ...

Imperiis egere suis; nec credere quivi

Я чувствую, что у меня болит живот^[926].

Сравните с этим необычайную правдивость, красоту и мужественность речи, которой Улисс произносит свое прощание с Калипсо^[927]. Вот его суть: 'Не гневайся; я знаю, что Пенелопа менее красива, чем ты; и все же изо дня в день я стремлюсь к своему дому; и если я потерплю крушение на своем пути, это я тоже перенесу, как и многое другое прежде'. В руках Вирджила вождь, вероятно, переложил бы ответственность с себя на плечи богов. Мы никогда не увидим, чтобы кто-нибудь из героев Гомера делал это ни заранее, например, говоря: 'Я не хочу этого делать, но мне приказали', ни задним числом. Есть одно исключение; это когда Агамемнон говорит, что Ἄη, богиня Озорства, вместе с Юпитером ввели его в заблуждение^[928], и что он не сам виноват. Но Агамемнон, единственный среди греческих героев, имел в своем характере сильный элемент того, что мы называем низостью; и более того, он прибегает к этой просьбе только после возмещения ущерба, а не, как это делает Эней, вместо любого другого. Чтобы возобновить, однако, этот поток. Иногда герои Гомера благочестивы, иногда непослушны;

иногда смелы, а иногда боязливы; иногда они подчиняются непреодолимой силе, иногда они борются даже с судьбой; но они никогда не предстают перед нами лишенными первого атрибута мужественности - свободной воли.

Тогда кажется, что Вергилий действительно не заботился о том, чтобы выработать привычку воздействовать на высшие пружины нашей природы, и поэтому ему обычно не хватало сил. Он кладет глину в огонь, но кувшин не всегда получается таким, каким он его задумывал; даже когда вместо того, чтобы полагаться, подобно Гомеру, на простое действие как средство выражения своего смысла, он использует меру предосторожности, описывая его.

Таким образом, он готовит нас к тому, чтобы ожидать от Мезенция чудовища нечестия, жестокости и безжалостности, судя по описанию и эпитетам, которыми он нам представлен[929]. Словами, разбросанными тут и там, этот "современник божий" создан для поддержания его нечестивого характера. *Декстра михи деус*, говорит он; и снова о божественном персонаже *улли*[930]. Но на самом деле это просто черные пятна, наложенные на характер, с которым они не согласуются; они все еще остаются пятнами, а не его частями. Практически Мезенций поступает в поэме только так, как подобает любящему отцу и доблестному воину; и настоящего нечестия в нем не больше, чем настоящего благочестия в Энее. Более того, здесь Вергилий снова демонстрирует свое презрение к последовательности. Ибо, когда Мезенций убивает Орода, который предсказал, что его победителя постигнет аналогичная участь на поле битвы, Мезенций отвечает самым благопристойным образом (копируя сам язык Ахилла, обращенный к умирающему Гектору[931]),

Nunc morere. Ast de me divûm pater atque hominum rex

Посмотреть[932].

Женские персонажи Гомера и Вергилия.

Хотя Вергилия считают женоненавистником, он использовал женские персонажи в такой степени, в какой, насколько я помню, превзошел только очень впечатлительного Тассо. Его небесный механизм в основном управляется Юноной и Венерой: нам совершенно не хватает в нем той жизнерадостной мощи гомеровского Юпитера, о которой напоминают исторические портреты английского короля Генриха Восьмого. Из смертных у нас есть, помимо немой Лавинии и второстепенных или преходящих персонажей, Дидона, Ютурна, Амата, Камилла. Все они играют очень заметную роль в поэме; более того, они являются движущими силами действия; и характеры всех нарисованы с большим воодушевлением и успехом, в то время как "Страсти Дидоны", вероятно, всегда будут цитироваться как самое великолепное свидетельство изначальной силы и гения ее автора, которое предоставляет весь диапазон поэмы. И все же даже в этих его знаковых успехах любопытно заметить различие между Вергилием и Гомером. Гомер тоже добился исключительного успеха в своих женщинах. Его более обширные исследования Елены, Андромахи и Пенелопы полностью подкреплены правдивостью и силой всех менее бросающихся в глаза образов: Гекубы, Брисеиды, несравненной Навсикаи, верной Эвриклеи, дерзкой и бессердечной Меланто. Но насколько различны произведения двух поэтов! Во всех женщинах Вергилия (поскольку, с другой стороны, его мужчины склонны к женственности) есть оттенок мужского. Многие женщины зарезали бы себя ради любви, как Дидона; но ни одна, даже во Франции, с ее пышностью, аппаратом и самосознанием. Их судьбы тоже носят жестокий характер. Амата, как и Дидона, совершает самоубийство; Камилла убита;

Ютурна действительно бессмертна, но изгнана с земли с тем, что для нее ближе всего к образу смерти; с поражением, унижением, позором. Но, напротив, женственность женщин Гомера никогда не была превзойдена. Только в Гекубе, в одном-единственном месте истории, есть очевидное исключение; и все же это не является большим насилием над природой, если мы обнаруживаем в ней после смерти Гектора дикую свирепость матери, лишенной своего потомства, и если месть затем приводит ее на мгновение в ярость каннибала. В других местах, вне всякого сомнения, даже в Меланто, женский характер не стерт полностью, но оставлен на том уровне, на котором в реальной жизни его могли бы оставить распущенность и тщеславие. В "Елене, Андромахе, Навсикае" она достигает совершенства, которое никогда не было превзойдено, разве что Шекспиром, в человеческой песне. Однако следует отметить кое-что более поразительное и характерное. Вергилианские изображения женщин абсолютно ничего или почти ничего не говорят нам о социальном положении женщин ни в эпоху Эния, ни в любую другую; вопрос, который стоял так по-разному в разные эпохи и состояния человечества, но который во все времена был одним из самых верных критериев для отличия истинной и здоровой цивилизации от пустой. Но гомеровские поэмы дают картину этого интересного предмета ничуть не менее полную, чем любая другая картина, которую они содержат. Женщина героической эпохи Греции предстает перед нами в этом бессмертном стихотворении не менее ясно, не менее верно нарисованная, не менее тщательно оттененная, чем Воин, Государственный деятель и Царь.

Это важные вопросы, но Вергилий так же небрежен, как Гомер, к мелким приличиям. Например, он описывает итальянских кузнецов, занятых изготовлением доспехов во время вторжения в Эней. Некоторые, по его словам, делают нагрудники из меди; и он продолжает:

Авторские права на имя герцога ардженто[933].

Здесь, мы предполагаем, его целью было изобразить процесс забивания тяжелой спинномозговой линией — в очевидном подражании Гомеру, который сделал это еще более полно в

θώρηκας ῥήξειν δῆϊων ἀμφὶ στήθεσσιν[934].

Но Гомер всегда достигает своих метрических целей, не ущемляя чувства; Вергилий, напротив, допустил ошибку, представив серебро (самый редкий и ценный металл, особенно во времена троянцев) как использовавшееся в больших количествах для изготовления доспехов; и более грубый солецизм, представив поножи сделанными из гораздо более тонкого материала, чем нагрудники. Возможно, к этой ошибке его подтолкнуло неосторожное воспоминание о том, что Гомер каким-то образом связывал серебро с поножами. Однако это касается не доспехов, которые обычно используются, а некоторых величайших вождей, включая Париса, чей дендизм, как мы знаем, особенно распространялся на его руки. Даже его поножи не сделаны из серебра и даже не покрыты им, а только застёжки на них:

κνημὶ δας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν

καλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφύριοις ἀραρυίας[935].

Вергилий достаточно внимателен к географии, когда имеет дело со странами, находящимися на виду у его слушателей. Но его едва ли можно извинить за то, что он перевернул гомеровский

порядок расположения гор, нагроможденных гигантами. Гомер помещает гору Пелион на Оссе, а Оссе - на Олимпе:

Ἦσαν ἐπ' Οὐλύμπῳ μέγαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ' Ἦσῃ

Πήλιον εἰ νοσίφυλλον[936].

Это описание соответствует пропорциональным высотам гор, среди которых Олимп является самым высоким, Осса - следующей, Пелион - наименьшей. Но Вергилий делает Пелион основанием, а Олимп - *вершиной*:

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam

Сцилисет, у костно-ветвистых растений встречается Олимпум[937].

Дело не просто в том, что Гомер здесь географически точен, а Вергилий наоборот. Гомер принял пирамидальную структуру, которая радует глаз и прокладывает, так сказать, твердую и очевидную дорогу к небесам. Вергилий этого не делает. Он присоединяет к своему описанию стих:

Ter pater extructos disjecit fulmine montes.

Но Юпитер мог бы избавить себя от лишних хлопот: горы рухнули бы сами собой.

Путаница природных явлений.

Прежде чем отойти от темы, возможно, было бы неплохо привести еще один пример безразличия Вергилия к связи между поэзией и порядком внешней природы как таковой. В Четвертой "Энеиде" он говорит о Меркурии, проходящем над горой Атлас по пути в Карфаген; с какого момента я сейчас не спрашиваю. Вот эти строки[938];

Atlantis, cinctum assidue cui nubibus atris

Piniferum caput et vento pulsatur et imbri;

Nix humeros infusa tegit: tum flumina mento

Præcipitant senis, et glacie riget horrida barba.

Его сосновая голова, окруженная облаками, избита ветром и дождем. Пока все хорошо. Но хотя температура воздуха на вершине такова, по мере того, как мы спускаемся, он становится холоднее, а не теплее: снег покрывает его плечи. Это второе изображение. Затем мы снова поднимаемся к его рту, из которого текут реки по подбородку: и даже здесь мы не покончили с несоответствием, потому что его борода, хотя и полита таким образом сверху, шершавая и окоченевшая от льда. Теперь, такая путаница, как здесь представлена, образов, которые природа всегда демонстрирует в фиксированном и очень внушительном порядке, является, мы можем быть уверены, не просто случайной ошибкой, но указывает на укоренившееся безразличие к вопросам, которые поэты природы изучают не только с точностью, но с точностью, которая является плодом их благоговения и любви.

Долопы Гомера являются частью мирмидонян, поскольку они являются подданными Феникса[939], а Феникс командует пятым подразделением мирмидонцев: они названы Вергилием отдельной расой[940]. Гомеровский Радамант, по-видимому, был задуман Поэтом как мягкий и доброжелательный персонаж, поскольку он помещен на Равнины Блаженных, в то время как Минос вершит более суровое правосудие в подземном мире. Но Радамант Вергилия - судья адских областей и образ строгости; в то время как его Минос[941] имеет очень мягкую и к тому же второстепенную функцию рассмотрения в преддверии Теней дел таких людей, которые были несправедливо осуждены на земле[942]. Опять же, там, где Гомер использует преувеличение для усиления эффекта, Вергилий доводит его до карикатуры. В "Илиаде" Диомед[943] поднимает камень такого веса, что "два таких человека, как в наши дни (οἱ οἱ νῦν βροτοὶ εἰ σί) едва смогли бы поднять". Он допускает короткий промежуток времени после Троянской войны и говорит, что два обычных человека его времени едва ли могли поднять то, что воины необычайной силы невероятным усилием затем подняли и швырнули. В другом месте "Аякс" бросает камень, который теперь едва ли смог бы удержать даже человек в самом расцвете сил[944]. И снова Гектор обрушивает на греческий вал снаряд, который двое сильных мужчин с трудом смогли бы поднять рычагом; но затем ему особенно помогает Юпитер[945]. Теперь, в Пятой "Энеиде", Эней дарит Мнестею в качестве приза нагрудный знак, который он сам выиграл, добычу Демолеоса. Этот Демолейос[946] не был героем, поскольку Гомер никогда не называет его по имени; опять же, Демолейос Вергилия носил нагрудник, когда преследовал троянцев, разбегавшихся во все стороны ("паланты", Кн. v. 265), так что для него, должно быть, это было легко: совсем не было времени на человеческие игры. вырождение, поскольку они все еще его современники, выступающие на сцене; и все же вес этого нагрудника был таков, что двое мужчин вместе едва могли нести его на своих плечах.

'Vix illam famuli Phegeus Sagarisque ferebant

Множественное число, плечевая кость[947].'

Пусть не думают, что разнообразные примеры, которые здесь были приведены, либо неуместны, либо не имеют серьезного значения. Несомненно, не может быть более решительной ошибки, чем относиться к точности в вопросах такого рода как к явному безразличию. Это не только неотделимо от функции первобытного поэта как историка своего предмета, но также относится к совершенству его поэтической натуры, то, что он должен обладать прекрасным чувством меры даже в образном выражении. Однако я остановился на второстепенных моментах не ради них самих, а потому, что манера, с которой Вергилий обращается с ними, по-видимому, проливает немалый свет на структуру и характер его творчества в целом, а также на более позднюю поэзию по сравнению с самой ранней.

Противоположность основных целей.

В дикции Вергилий витиеват, а Гомер прост; в метре Вергилий единообразен и выдержан, Гомер свободен и разнообразен; в изобретательской способности, для которой историческая служба ранней поэзии все еще оставляет достаточно места, Гомер неистощим, в то время как из-за ненужного накопления подражаний всех видов и размеров Вергилий дает основание подозревать, что он был беден, по крайней мере, в сравнении. Первой мыслью Гомера был его подданный, а второй - его нация; первой мыслью Вергилия были его Император и двор вокруг трона, второй - разработка его стихов. Персонажи, чувства, факты использовались Вергилием для создания в сознании эффекта сценического представления; конец Гомера, напротив,

состоял в том, чтобы дать надлежащий выход своим собственным стремлениям и симпатиям своих слушателей в этих поэтически задуманных и обработанных вещах. Духовное общение между поэтом и теми, кому он пел, не было для него жалкой погоней за популярностью; это было всего лишь выражением истины, что он основывал и свое сочинение, и свои надежды на основе огромного усилия стать органом общего сердца человечества. Все это мы можем разглядеть в его заметках, какими бы неформальными они ни были, о профессии менестреля:

ἦ καὶ θέσπιν ἀοιδὸν, ὃ κεν τέρπῃσιν ἀείδων[949].

в именах, которые он присваивает им там, где они не были историческими персонажами, - δημόδοκος и φῆμιος τέρπιάδης; в моральной прямоте, которой он наделяет их; ибо, хотя в обязанности Фемия входило радовать, его сердце никогда не принадлежало распущенной и преступной банде, захватившей дворец Улисса:

ὅς ρ' ἦειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκη[950].

И опять же, в органах опеки, которые они осуществляли; ибо Агамемнон, когда он покинул свой дом и отправился в Троию, тщательно поручил барду своего дворца заботиться о Клитемнестре; и его советы, подкрепленные ее собственным здравым смыслом, на некоторое время сослужили ей хорошую службу[951]. Таким был бард в живом описании Гомера; таким он был представлен в самом Поэте, никогда не выставляемом на всеобщее обозрение, но всегда понятным, всегда воспринимаемым через его произведения. С другой стороны, характер барда, представленный у Вергилия, можно назвать профессиональным: в нем могут быть огонь и сила гения, но они должны действовать только в общепринятых формах и для целей, предписанных в духе той более низкой и узкой полезности, которая, возможно, не логично, но все же очень эффективно, называется утилитаризмом. В случае с Вергилием получилась удивительно высокая форма внешнего искусства с радикальным невниманием к сути, как к фактам, так и к законам. И весьма показательно, что этот великий Поэт нигде не поместил на своем полотне фигуру барда среди обитателей человека; как будто сам тип исчез с лица земли в те дни упадка, и память о нем не могла быть восстановлена. Изнуренный и развращенный век больше не мог постичь разум, подобный разуму Гомера; эолова арфа была так тонко натянута, что отзывалась на малейшее движение воздуха пропорциональной вибрацией: с каждым более сильным течением ее музыка поднимается по почти неизмеримой шкале, которая начинается с самого низкого и нежного шепота и заканчивается полным раскатом органа.

Изменение представления о должности поэта.

Из-за ложной ассоциации идей мы пришли к тому, что стали противопоставлять точность и гениальность друг другу. Именно Гомер может лучше всего вывести нас из заблуждения; за исключением, конечно, того наиболее полного решения, которое разум с радостью воспринимает, когда, восходя к Творцу всего сущего, он находит в Нем одном источник и совершенство, как Порядка, так и Света; как самых мельчайших, так и самых гигантских операций. Но среди людей Гомер лучше всего иллюстрирует этот союз. На самом деле это не точность сухих фактов, заключающаяся в самой себе: это точность симпатий, симпатий к природе и к человеку, к которым следует отнести мельчайшие и скрупулезные корректировки Гомера; и эта точность, вероятно, обусловлена ни в коем случае не сознательным усилием, а спонтанными действиями души. С этой точки зрения его широко известная, но еще не до конца осознанная точность не является выводом из его величия, а на самом деле является

доказательством близкого приближения к совершенству в организации его способностей. Более поздние поэты слишком часто разрывали на части то, что в нем гармонично сочеталось. Они наделили свое искусство смертоносным даром, заявив, во-первых, об освобождении *ad libitum* от законов не только сухих фактов, но и Истины в ее высшем смысле, гармонии и самосогласованности, и всего остального, за исключением чисто внешней красоты, которая должна была быть проводником, а не заменой всех этих великих и отброшенных качеств. В этом душераздирающем произведении Вирджил не сыграл второстепенной роли.

В целом, хотя, несомненно, естественно сравнивать Вергилия с Гомером, ум поражается, обнаруживая, что ему так часто оказывали предпочтение. Мы можем объяснить его выбор в качестве проводника Данте тем, что они были соотечественниками, а также почти всеобщим незнанием греческого языка, когда писал Данте. Гораздо более ошеломляющим является то, что святой Августин настойчиво называет его[952] *Великий поэт всевышнего, преклариссимус атке оптимус*; ибо он был не чужд греческих влияний, поскольку философия Платона занимала очень высокое место в его оценке[953]. Это также нельзя легко объяснить иначе, как преимуществом, которое имел Вергилий, писавший на латинском языке, и очень сильным упадком поэтических вкусов и восприятий.

И все же давайте не причиним вреда памяти того, кто трепетал от неизмеримой любви, когда нес священные сосуды Муз; и кто столь недвусмысленно получил печать того одобрения человечества, продолжающегося веками, которое приближается к безошибочной награде. Справедливо будет признать, что мы не должны измерять относительный ранг Гомера и Вергилия просто сравнительными достоинствами их эпических произведений. Гомер жил в добродушной и радостной юности поэтического народа и поэтической религии, среди влияний души свободы; Вергилий жил среди народа, всегда скорее фактического, чем поэтического, в эпоху и при дворе, где сердца и их эмоции были охлаждены, где свобода была мертва, где религия была насмешкой, а весь высший материал его искусства из свежести превратился в увядший и пожелтевший лист. Мог ли Вергилий, проживи он жизнь Гомера в стране и во времена Гомера, сочинить "Илиаду" и "Одиссею", может быть более чем сомнительно; но бесспорно ясно, что Гомер не смог бы их создать, если бы ему не повезло жить в эпоху и в сфере творчества Вергилия.

Теперь я перехожу к некоторой попытке сравнения произведения Тассо с "Илиадой" Гомера. Но хотя связь между сюжетами, по-видимому, рекомендует выбрать для этой цели Тассо, а не какого-либо другого итальянского поэта, я должен признать, что в том, что касается человеческих качеств, и Бохардо, и Ариосто, по моей оценке, более гомеровские, чем Тассо; как более близкие к природе в ее истинном смысле, как не передающие того впечатления постоянных усилий и изощренности, как свободные от соблазна тщеславия, столь к несчастью частого в *Иерусалиме*, и в целом как работающие с более свободным и широким подходом. , и демонстрирующий более энергичные и эластичные движения.

Троянская война и крестовые походы.

Однако существует поразительное сходство между отношением Троянской войны к Греции и отношением Крестовых походов к Западной Европе. Политическое единство и коллективное существование Греции было в значительной степени обусловлено первым, а христианского мира - вторым. Сочетание рас и вождей, напряженный характер и чрезвычайная продолжительность усилий, проявленное рыцарство, дезорганизирующее воздействие на

страны, поставлявшие войска вторжения, представление в каждой из них Европы против Азии, противостояния западного человечества с восточным человечеством с оружием в руках и доказательство высшей доблести первого, устанавливают множество широких и глубоких аналогий между сюжетами этих стихотворений. В обеих битвах также предполагалось вернуть то, что Восток приобрел несправедливым путем: и в обеих то, что называется чувством, проявилось гораздо сильнее, чем это обычно бывает в истории войн, опустошивших нашу землю.

Преувеличение, используемое Гомером и Тассо.

Как Годфри - это версия Агамемнона Тассо, так и Ринальдо из Тассо занимает место в Иерусалиме, подобное месту Ахилла в "Илиаде". Итак, весь характер Ахилла, умственный и телесный, который принадлежит, по меньшей мере, к числу самых замечательных из всех произведений Гомера, колоссален и обширен, но не чрезмерно преувеличен. Хотя сын Пелея, очевидно, был большого телосложения, Гомер никогда не называет его эпитетами μέγας и τεῶνιος, но прибегает к ним для Аякса, потому что они предполагают преобладание животного начала над бестелесным, чего в случае с Ахиллом Поэт полностью избегает. Характер Ринальдо как воина (и ни в каком другом отношении он не представляет какой-либо выдающейся черты), как будет показано, чрезмерно преувеличен, но все же не оставляет впечатления необъятного или колоссального, потому что выходящее за рамки обычной природы превышение не гармонирует с остальным обликом.

Таким образом, сила Ахилла высочайшая; никто не может воспользоваться его копьем. Но Ринальдо при штурме Башни выполняет работу тарана. Он поднимает и несет балку, о которой нам рассказывают,

Nè così alte mai, nè così grosse

Шпигель антенны подает в суд на неф лигуры[954].

С этими словами он ломает прутья и выбивает ворота; и строфа продолжается:

Non l' ariète di far più si vanti,

Не бомбарда, фульмин ди морте[955].

Ахиллесу не приписывается такого избытка мускульной силы, и все же в сознании читателя остается гораздо более живое впечатление величия его боевого характера; дело в том, что простое преувеличение замораживает, в то время как выверенное представление о величии согревает.

Самый большой размер, присвоенный Гомером любому даже из его мифологических персонажей, находящихся в отношениях с человеком, и это только в нижеприведенных Оттенках, относится к Отусу и Эфиальту. В возрасте девяти лет, когда их казнили, они были девяти локтей в ширину и девяти сажень (пятидесяти четырех футов) в высоту[956]. Это были они, которые нагромодили горы до небес. Это одни из немногих фигур абсолютно гигантских, которые появляются у Гомера; но они парят лишь вдалеке, сквозь туманы Подземного мира, и

даже в их описании он строго придерживался пределов того, что можно назвать гигантским. Далее он описывает Титиуса как занимающего площадь более девяти акров; но он нигде не представляет нам такого человека в активном движении или в какой-либо связи с человеком на земле. In Il. xxi. однако здесь встречается отрывок, который легче оспорить; ибо Марс, который маршировал среди троянцев и греков в битвах, не сбивая ни друзей, ни врагов с их приличий своей массивностью, и сражался с Диомедом на равнине Трои на условиях, выгодных этому герою, когда был свергнут Минервой в битве богов, занимает семь акров (407). Хотя Гомер искусно избежал локализации конфликта, можно подумать, что это носит аспект поэтического несоответствия; потому что в Марсе Богоборчества мы не можем полностью забыть Марс равнины. Однако, как правило, Гомер не использует огромные размеры, за исключением случаев, когда они не могут предложить сравнения с объектами обычных размеров и, соответственно, никоим образом не соответствуют нашему обычному стандарту.

Но если размеры расprostертого Марса Гомера не соответствуют действительности, что мы скажем Тассо, который, тщательно излагая в деталях, что его адское собрание проводится в четырех стенах дворца Плутона, описывает подземного монарха, когда он заседает в настоящем совете, как превосходящего по массе, и это неизмеримо, любую гору?

Nè tanto scoglio in mar, nè rupe alpestra,

Nè pur Calpe s'innalza, o 'l magno Atlante,

Ch' anzi lui non paresse un picciol colle[957].

Таким образом, там, где Гомера в избытке, Тассо тысячекратно превосходит его. Это не величие, а экстравагантность; и не необъятность, а расплывчатость, впечатление от которой остается в уме. За этим отрывком следует описание облика и ущелья Плутона, которое все читатели должны помнить, но которое все читатели также должны желать забыть. Вообще любопытно сравнить весьма скупое использование Гомером простого объема как поэтического средства с его безграничной избыточностью, вызывающей тошноту не только у таких писателей, как Фортигуэрра, которые вульгаризируют все, к чему прикасаются, но даже у такого патриарха итальянского романа, как Бохардо.

Однако, если бы я стал подробно проводить сравнение между дикцией, вкусом, фигурами и всеми другими случаями поэтического обращения у Тассо и Гомера, это не окупало бы хлопот, связанных с прочтением. Лучше обратить внимание на то, что легче поддается сопоставлению, то есть на общую структуру и движение стихотворений, а также на то, каким образом высшие законы поэтического искусства применяются к соответствующим сюжетам.

Мистер Хэллэм разделяет мнение Вольтера о том, что в выборе сюжета Тассо превзошел Гомера; и добавляет, что "по разнообразию событий, по смене сцен и образов, а также по связанному с ними настроению в сознании читателя мы не можем поставить "Илиаду" на один уровень с "Иерусалимом"; что благодаря единству темы и места поэма Тассо обладает связностью и единством, которых нет в "Энеиде"; и что, хотя мы ожидаем победы христиан, "мы признаем, что "Илиада" не может быть поставлена в один ряд с "Иерусалимом"". вероятность и адекватность событий, которые его задерживают[958].'

Что касается самих итальянцев, то некоторые ставят творчество Тассо во главу всех эпических композиций; другие утверждают, что его превзошел "Орlando Фуриозо". Тирабоски, хотя и

отказывается сравнивать стихи друг с другом в целом, все же сравнивает поэтов и отдает более высокое место Ариосто[959]. Ни беспокойная, борющаяся и зависимая жизнь Тассо, ни характер времени, в которое он жил, не способствовали достижению самой вершины поэтического совершенства. Свежесть утра христианской цивилизации в Италии исчезла. Романтическая поэзия, которая казалась такой близкой этой стране и которая достигла такого высокого совершенства, теперь исчерпала себя: это было скорее усилие против природы, чем движение в ее русле, когда Тассо обратился к теме, которая требовала от него обуздать более свободную Музу своей страны и воспитать ее в историческом величии и строгости. Он оставил нам несомненное произведение великого ума, украшенное обильной и, в некоторых отношениях, экстраординарной красотой; и все же многие признались бы, что не испытали от "Иерусалима" того особого рода удовлетворения, которое любое произведение простого содержания, если оно почти приближается к совершенству в своем роде, даже если этот вид несколько ниже эпоса, никогда не перестает дарить массе своих читателей.

Допустим, это правда, что Осада Иерусалима является более благородной темой, чем "Гнев Ахилла", вместе со всем, что она включает в себя об осаде Трои, но ни Осада Иерусалима со всеми ее возвышенными элементами на самом деле не является основным сюжетом Тассо, ни Осада Трои не является реальной темой поэмы Гомера. Тассо, очевидно, со вниманием изучал "Илиаду" так же, как и "Энеиду"; и он в значительной степени позаимствовал или работал в значительной степени после обеих, но, насколько я видел, гораздо больше из первой, чем из второй. В какой подборке, несомненно, он сделал правильный выбор. Копия копии, несомненно, будет вульгарной работой. Незатрагивая в настоящее время ничего, кроме того, что управляет основным действием, можно заметить, что Гнев Ахилла воспроизводится в Оскорблении, данном и принятом Ринальдо: и отношение одного к Годфри, очевидно, наводит на мысль об отношении другого к Агамемнону.

Ахилл - герой "Илиады".

Здесь необходимо вернуться к теме, которой я уже более слегка касался. К числу главных отличий Гомера мы можем отнести то, что он сумел превратить отдельного человека в широкую основу самых героических эпических песен. Слабая нить Энеиды на самом деле поддерживается чем-то, что скрывается за фигурой Энея, а именно тем, что она висит на великолепной судьбе Рима; "Одиссея" окрашена в цвета домашней росписи; но в "Илиаде" человек Ахилл - это сила, действие которой продвигает, а бездействие останавливает всемирный конфликт перед Троей. Поэт совершил этот великий подвиг благодаря силе, которая придала характеру его героя, с одной стороны, совершенно колоссальные размеры, а с другой - тончайшие линии, какие только могла потребовать сама миниатюра.

Для усилий такого масштаба, как эта, у последующих поэтов не было необходимой силы. Они не обладали такой властью над высокородным материалом, из которого сформирован человек, чтобы сделать их способ обращения с ним в виде одной-единственной фигуры главной ставкой, от которой должна была зависеть судьба всех их работ. Люди, подобные Тассо, искали и находили основу, на самом деле менее возвышенную и великолепную, но столь же прочную и гораздо более доступную, в великих событиях истории или во множестве ассоциаций, одинаково благородных и знакомых, которые принадлежали им. Они, которые у Гомера были органично, а не механически объединены вокруг единой великой Человечности его поэмы, теперь стали центральной основой эпоса; а собственно и строго личный элемент, который был

первичным, стал не более чем вспомогательным. Но события создаются для человека, а не человек для событий; и мы едва ли можем сомневаться в том, что переход от более древнего эпоса, который сосредоточил все свои интересы вокруг человеческой души как центра, к более новому, в котором сама человеческая душа представлена в подчиненном отношении к внешней истории или судьбе, был переходом вниз. Можно сказать, что Ахилл не является героем "Илиады" в том же смысле, что и Улисс из "Одиссеи". Во всяком случае, верно, что действие "Одиссеи" более непосредственно связано с героем, чем действие "Илиады". И так точно это работает Гомера интеллект во всем, что относится к поэтической последовательностью, что различие оттенка, просто пропорции, чтобы это различие, пожалуй, приметного в очень *exordia* из двух стихов, $\mu\eta\gamma\iota\nu\ \alpha\epsilon\iota\delta\epsilon\ \Theta\epsilon\alpha$, и $\alpha\upsilon\delta\rho\alpha\ \mu\omicron\iota\ \xi\nu\nu\epsilon\pi\epsilon$, Μοῦσα , πολύτροπον . Первый, кажется, олицетворяет Гнев Человека, другой - самого Человека. Но по существу это предположение сомнительно: Ахилл, в сущности, так же верно, как и Улисс, олицетворяет жизнь и силу, главную славу и красоту его собственной поэмы.

Возможно, можно усомниться в том, что даже Освобождение Иерусалима было более важной темой для христианского мира, чем осада Трои для греческой расы. Ибо ошибочно полагать, что, поскольку Искупление человечества бесконечно превосходит все другие сделки, поэзия, слагаемая об этом, будет, следовательно, превосходной по пропорции. Но в любом случае вопрос не в этом. Темой Гомера действительно является титаническая страсть Ахилла, и каждая книга "Илиады", некоторые из них положительно, некоторые отрицательно, но каждая из них вносит свой действенный вклад в развитие этой темы; но является ли Освобождение Иерусалима истинной темой поэмы Тассо?

Тема Иерусалима более сомнительна.

Три первые песни, включая девятую, одиннадцатую и девятнадцатую, являются единственными, которые строго посвящены собственно теме Иерусалима. Пятое, пятнадцатое и шестнадцатое, а также, по крайней мере, большая часть остальных одиннадцати, сняты с Осады и отданы на откулачивание или беспорядочные и разрозненные авантюры тех, кто должен был ее вести; главным образом, двух главных христианских воинов, Ринальдо и Танкреди. Короче говоря, почти половина работы посвящена вовсе не освобождению Иерусалима, а событиям, которые отвлекают присягнувших ему поборников на выполнение поручений характера, совершенно не соответствующего великому замыслу.

Ответят ли на это, что таким же образом Ахилл исчезает из поля зрения зрителя на протяжении одной части "Илиады"? Очевидная параллель совершенно ложна. Ибо тема "Илиады" - страсти Ахилла; и все развитие поэмы в его отсутствие напрямую связано с усилением и возвышением этой темы. Это показывает нам последовательные усилия греков и их самых грозных вождей, одного за другим, компенсировать изолированность Ахилла от сражающегося войска. Для Гомера было невозможно более эффективно возвеличить своего героя, чем подробно описать эти подвиги и их неудачу. Показывая опасности и катаклизмы, вызванные его отсутствием, они глубоко впечатляют нас величием и действенностью его присутствия и готовят нас к повторному появлению чего-то большего, чем человек: чего-то, что, если бы не самый искусный подготовительный механизм, мы, вероятно, отвергли бы как неестественное преувеличение. Но порожденные любовью причуды воинов Тассо являются простыми препятствиями на пути к завоеванию Иерусалима и никак не влияют на усиление поэтического величия достижения, которое должно было увенчать работу, в то время как они серьезно уменьшают силу и

действенность, уже в случае с Ринальдо, но умеренную, характеров, приписываемых самим воинам.

Следовательно, может быть правдой, как сказал м-р Хэллэм, что события в Тассо естественным образом вытекают одно из другого; но точно так же ряд последовательных поворотов с линии дороги, по которой мы ехали, взятые по отдельности, не приводят к серьезному и даже осмысленному отклонению; однако их результатом, взятые вместе, может быть полное изменение нашего направления и препятствование нам вообще продвигаться к нашей цели. Без сомнения, каждый эпизод эпической поэмы должен естественным образом следовать за тем, что непосредственно предшествует ему; но гораздо важнее, чтобы он имел законное отношение к центральному замыслу и преувеличивал, а не умалял величие того, от чего в основном зависит вся ткань.

Но, несомненно, есть много других возражений против принятого Тассо способа препятствовать осуществлению его главного действия. Учитывая природу его темы и серьезность санкций, под которыми предпринимались Крестовые походы, хотя мы и не имеем права требовать, чтобы страсть и немощь были изгнаны из лагеря, тем не менее, массовое вовлечение самых первых воинов в любовные похождения, их массовый бросок, за немногими исключениями, кроме седоголовых из лагеря, по следам Армиды, их принуждение Годфри позволить интересам этой коварной красавицы помешать благородной цели их предприятия, а затем очень большая часть стихотворения посвящена распутыванию паутины. таким образом, запутанный дизайн, по крайней мере, на мой взгляд, представляет собой плохую поэтическую смесь навязчивости с христианскими элементами дизайна.

И пусть здесь не будет сказано, что даже в этом случае наш великий Ахилл останавливает продвижение греков к триумфу из-за любви к слабой женщине. Нам не нужно останавливаться на таких различиях, как то, что Брисеида была благородной и достойной, а Армида - недостойным объектом привязанности; что Ахилл был всего лишь одним, в то время как Тассо с одинаковой пылкостью касается всех, кто по возрасту был способен. Даже не одна эта достойная привязанность действует на Ахилла: не это является главным стрессом бури, которая так сокрушает крепкий вздымающийся дуб, когда он кричит:

ἄλλὰ μοι οἱ δάνεται κradίῃ χόλω ὀππότ' ἐκείνων

μνήσομαι, ὥς μ' ἄσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν

Ἀτρείδης, ὥς τίς τιν' ἀτίμητον μετὰνάστην[960].

В Ахилле несостоявшаяся любовь побеждается образом мучительной гордыни, пронзенной насквозь; и над этим снова возвышается его ненависть к подлости Агамемнона и его чувство Справедливости, уязвленное до глубины души. Даже если предположить, что вопрос о том, смешивал ли Гомер свои ингредиенты в должных или неуместных пропорциях, остается открытым, во всяком случае, существенного противоречия между ними нет. Но такой конфликт становится видимым и вопиющим, когда импульсам и влиянию личной страсти придается размах в армии, преданной Богу и высшей цели, чего совершенно невозможно представить, тем более предположить, в любой армии, которая когда-либо была объединена для достижения хотя бы одной из низменных целей земной политики.

Опять же, хотя поэма Тассо в высшей степени христианская по своему общему замыслу, кто не чувствует, что вместо того, чтобы привлечь наши основные симпатии и интерес с помощью вспомогательных обстоятельств вокруг своей главной темы, он слишком эффективно оторвал их от нее и оставил ее такой голой, что его освобождение Иерусалима в конце концов очень похоже на обычный захват и разграбление; очень похоже на то, каким, с *соответствующими изменениями*, должно было быть взятие его сарацинами? Мы оставляем его с мыслями, полными Танкреди и Клоринды, Ринальдо и Армиды, Гильдиппы и Одоардо; но ассоциации, которые вызывают эти имена, связаны с любым предметом, но не с освобождением Гроба Господня; и уважаемый Годфри с его планами в большинстве мест поэмы занимает в наших мыслях не больше места, чем Юпитер из "Илиады", когда он отдаленно величественно пирует на Олимпе или восседает на Иде для удобства более близкого обзора.

Относительные места Ринальдо и Танкреди.

Помимо этих возражений по поводу неуместных вставок, неуместного смешения и разделенных интересов, можно заметить, что относительная известность героев Тассо не выражена четко. Ни у кого не может быть сомнений в том, кто является первой и, безусловно, самой первой фигурой "Илиады". Ахилл всегда преследует нас, либо в воспоминаниях, либо воочию; во всяком случае, он стоит среди своих братьев-вождей и выше их, как Саул, превосходящий на голову и плечи народ Израиля. Но нелегко сказать, кто является героем или протагонисткой Иерусалима. Хотя интерес, который он вызывает, ниже, все же добродетели, интеллект и моральная сила Годфри стоят высоко и ясно над достоинствами всех других более выдающихся персонажей: он так кротко держится на своем высоком посту и в то же время так совершенно и так исключительно демонстрирует политический дух, что одним своим моральным и официальным величием он, при любом общем взгляде на поэму, является неудобным соседом и опасным соперником для двух других фигур, для одной из которых, должно быть, был придуман титул героя. Если взять, наконец, еще более серьезный вопрос между Танкреди и Ринальдо, то кто из этой пары должен вызывать наибольший интерес? Очевидно, по замыслу Тассо, это Ринальдо; потому что без него основное действие прекращается, с ним оно продолжается. И все же поэт приписал Танкреди смертельный поединок один на один с Арганте и столь убедительно описанную победу над ним, единственным действительно великим и ужасным чемпионом на стороне магометан. Как обстояло бы дело с "Илиадой", если бы Диомед убил Гектора и оставил Ахиллесу только Эней или Сарпедона?

Здесь Тассо, по-видимому, сам почувствовал несоответствие и попытался компенсировать Ринальдо количеством за (сравнительно) недостаточное качество его завоеваний. В последней атаке он убивает множество врагов, как овец^[961]; когда, как говорит поэт, в манере, безусловно, далеко не соответствующей его теме, вкус победы пробудил в нем аппетит к кровавой бойне^[962].

И не только в распределении воинской славы Ринальдо, по-видимому, пострадал в пользу Танкреда. Действительно, однажды, сразу после смерти Джернандо, Тассо унизил Танкреда в пользу Ринальдо. Ибо поэт призывает этого воина к тому, чтобы преступление Ринальдо рассматривалось в соответствии с качествами того, кто его совершил, и что не может быть такой вещи, как истинное правосудие, без уважения к людям:

Или ты соввегна

Saggio signor, chi sia Rinaldo, e quale;

... non dee chi regna

Nel castigo con tutti esser uguale.

Vario è l' istesso error ne' gradi vari;

E sol l'equalita giusta и co' pari[963].

Именно действия, основанные на мнении подобного рода, в случае с Мастером Лестницы после Резни в Гленко оставили незапятнанным глубокое пятно на памяти Вильгельма III. и из Шотландии. Несомненно, были периоды, когда даже в христианских странах подобные чувства не только исповедовались, но и практиковались на практике; но мог ли быть какой-либо период, когда высказывание их устами рыцаря, который представлен нам как образец, не вызвало бы отвращения в умах обычных слушателей или читателей?

Женщины-персонажи Тассо.

Иерусалим переполнен интересными парами; настолько, что временами нам почти кажется, что мы читаем пасторальную поэму. Взятые по отдельности, детали этих любовных историй проработаны с бесконечным искусством и красотой и являются наиболее эффектными и удачными частями всей Эпопеи; но совокупность настолько велика, что снижает общий тон, а также ослабляет более широкие эффекты. Превышение количества действительно является грубым и вопиющим. Тассо последовал за христианскими романистами, в значительной степени используя идею женщины-воина, практически неизвестную Гомеру, представленную с большим духом, но без особого возвышенного морального эффекта у Вергилия, доведенную Бохардо и Ариосто до совершенства; и, без сомнения, концепция, гораздо более соответствующая стандартам этих великих поэтов фантазии, чем высокому уровню Эпоса или высшей драмы, которые имеют дело с величайшими силами и глубочайшими проблемами нашей природы. Тем не менее, что касается способа его использования, нам не нужно отрицать, что Клоринде Тассо следует воздать высокую должное. Действительно, легко критиковать религиозные мотивы ее смерти, и нелегко понять, какое дело ей после смерти на дереве в зачарованном лесу; или почему, когда это дерево становится добычей плотников, на нее так бесцеремонно не обращают внимания в ее неуютном жилище. Но что касается главного проявления характера, то она следует Брадаманте без вырождения: чистая, прямолинейная, рыцарственная, насквозь боевая, и в то же время не слишком мужественная. Она выпадает на долю Танкреда. Но помимо Софронии, Эрминии и Гильдиппы, во второй степени выдающегося положения, на картине изображена другая личность, еще более заметная, чем даже Клоринда, а именно Армида; настолько разные, что их едва ли можно сравнивать, и все же неприятно выделяющиеся из-за сходства их отношений с великими героями поэмы. Оба тоже прекрасны; оба фигурируют в лагере. Однако, несмотря на обилие очарования, которое Тассо вызвал к жизни, чтобы подчеркнуть личность и силу Армиды, ничто не может быть более неудовлетворительным, чем сам ее персонаж, за исключением его места в поэме и ее особого отношения к Ринальдо. Когда все остальные очарованы ее всепоглощающей привлекательностью, он остается бесчувственным; и все же впоследствии, без какого-либо поэтического оправдания этой перемене, он отчаянно влюбляется в нее. Здесь мы видим ту слабость в концепции и проявлении характера, которая подавляет полет Тассо, которая лишает

его места в классе, столь же доступном для поэтов, как и для философов, классе величайших мастеров мысли и человеческой природы.

Армида Тассо.

Мы знакомимся с Армидой, прекрасной чародейкой, сначала в образе несчастной девушки, которая молит о помощи христианских героев; и это, пожалуй, самая удачная часть *роли*, отведенной ей. Тогда она предстает Цирцеей в своих собственных садах; тогда она - Дидона без Энея, ибо побег Ринальдо из позорного рабства, в которое она его заманила, не имеет никакого сходства с нежной и глубокой страстью карфагенской царицы, выросшей из благородного гостеприимства, оказанного терпящим бедствие троянцам. Несмотря на неприятное сходство в деталях, копия все же не соответствует оригиналу и теряет всю ту силу и величие напряженной страсти, до которых здесь, и только здесь, смог подняться Вергилий. Тогда вместо трагического конца Дидоны, в котором, хотя и с несколько театральной позой, мягкость и свирепость так чудесно сочетаются, что она не теряет сочувствия даже в своем самом горячем желании отомстить, Армида прибегает к совершенно низменному и вульгарному средству. Она просто предлагает себя на продажу, обещая стать добычей любого воина египетского лагеря, который отомстит Ринальдо за то, что тот сбежал из ее сетей.

И мы еще не закончили с удвоениями ее извилистого пути. Она видит, как Ринальдо проходит мимо нее в битве; и, не без бесконечных сомнений, пускает в него стрелу. Возможно, трудно определить языком, в чем заключается разница между душевной борьбой, вызванной подлинной страстью, и просто неуместными колебаниями. Первое мы видим у Дидоны; и одним из признаков этого является определенный прогресс. Там, где соблюдается закон природы, не допускаются постоянные колебания; постепенно, хотя они могут быть медленными и многочисленными, ум доводится до твердой решимости, где он и пребывает: его возбуждение и кажущийся прилив - всего лишь отступающая волна наступающего прилива; и когда однажды сильная цель полностью сформировалась после борьбы в по-настоящему могущественной натуре, будь то мужчина или женщина, ее нельзя менять. Вот чего нам не хватает в Армиде. Она постоянно играет взад-вперед. Трижды она натягивает лук, трижды расслабляет его: наконец она выпускает стрелу, но вместе с ней возникает желание, чтобы она промахнулась:

Lo stral volò; ma con lo strale un voto

Subito uscì, che vada il colpo a voto[964].

Неудивительно, что этот неудовлетворительный отрывок приводит нас к одному из худших из всех вызывающих тщеславий, которые время от времени уродуют прекрасные страницы этого стихотворения:

Tanto poteva in lei, benchè perdente,

(Или че потрия витториозо?) люблю[965].

Однако после всего этого месть снова берет верх, и ее взгляд жадно следит за стрелой, надеясь, что она поразит. Затем она повторяет кадр снова и снова, и, делая это, снова сама получает ответный выстрел любви:

Наставник эллы саетта, Любовь леи пьаги[966].

Снова повторяется то же чередование; но ее чемпионы терпят неудачу. Она летит. Она возвращается к роли Дидоны; обращается к своему собственному оружию в речи длиной почти в тридцать строк, умоляя их избавиться от нее. Затем Ринальдо хватает ее за руку; и все же еще раз, в строфах, изобилующих красотой дикции, мы имеем ту же неудовлетворительную и нерешительную смесь разнородных эмоций, лишенную силы гармонии или контраста, не основанную ни на каком естественном законе, не связанную никакими моральными или ментальными узами, не имеющую конца или завершенности. Однако он клянется быть ее обожателем, и она отдает себя в его распоряжение:

Ecco l' ancella tua; d' essa a tuo senno

Диспон, гли диссе; и ле фиа легге иль сенно[967].

И поэтому мы оставляем их. Но, к сожалению, мы не можем, оставляя их, забыть, что она магометанка и колдунья; что ее махинации были большим скандалом для армии и главным препятствием на пути к завершению ее замысла; что она никогда на протяжении всей поэмы не проявляла ни одного качества, содержащего в себе элементы справедливой моральной привлекательности; и что этот триумф простой телесной формы, без единой нотки внутренней красоты, достигается над величайшими воинами Христа, когда они заняты, под непосредственным и особым руководством Всемогущего, восстановлением Гроба Господня. из владений неверных. Учитывая все эти обстоятельства, следует признать, что более неубедительный и неудовлетворительный вклад в кульминацию великой христианской поэмы вряд ли можно было придумать. Не сильно меняет это впечатление и посвящение восьми последних строф произведения завершению "победы" Годфри. Читатель, напротив, может быть встревожен резкостью перехода и атмосферой бессознательности, с которой, собирая нити действия, Тассо расставляет по соседству предметы настолько разнородные, что они образуют своего рода моральный хаос. И это замечание относится к концу стихотворения, которое, вполне возможно, сопровождало его на протяжении всего его существования; симпатии читателя не вызываются должным образом или вообще никак не связаны с величием и благородством объектов, а, напротив, заманиваются не в ту сторону. Гомер тщательно продумал в случае Париса, что даже его необычайная личная привлекательность не поможет ему завоевать наше расположение, в то время как он выразил свои самые теплые симпатии красоте невинного, хотя и сравнительно незначительного молочая[968]. Какой ручной и плоской, напротив, Тассо сделал безупречную Эрминию, о которой он действительно совершенно забывает еще до окончания поэмы; и какие только усилия искусства он не использовал, чтобы вызвать восхищенный интерес к характеру и судьбе бессердечной, даже когда влюбленной, Армиды. Более того, за некоторыми блестящими исключениями, особенно за благородным исключением "Первого взгляда на Иерусалим", насколько холодным и вялым, насколько неинтересным для читателя является движение основного действия поэмы по сравнению с любовными историями, которые вторгаются и поглощают столь необъятный участок земли. Нам кажется, что, в конце концов, Осада Иерусалима - это не главное дело в наших руках; это задача, которую так или иначе нужно выполнить, но это не жизнь и пульс, не свет и радость поэмы. Как Осада Трои была инструментом Гомера, позволившим ему развить своего Ахилла, так и гораздо более возвышенная тема Крестового похода является инструментом Тассо, позволяющим ему демонстрировать свое мастерство, главным образом в связи с любовными историями, на очень неполноценных людях и представлениях. Относительная стоимость оправы и драгоценного камня в этих двух случаях совершенно различна.

Оскорбление со стороны Джернандо.

Помимо первого серьезного препятствия для продолжения осады в виде соблазнительной силы Армиды, когда она появляется в лагере, есть и второе, а именно убийство Джернандо Ринальдо из-за личного оскорбления. Здесь было высказано возражение против первого, что приписываемый ему эффект несоразмерен никакому примеру и всякому правдоподобию, хотя он может соответствовать страстной восприимчивости индивидуального ума Тассо; и что эта несоразмерность особенно контрастирует с более чем обычным возвышением темы. Является ли второе препятствие более удачно продуманным?

Ринальдо в Пятой песни, в отличие от своих спутников, оказался неуязвимым для атак смешанной красоты и искусства Армиды:

Ma perch' a lui colpi d' amor più lenti

Non hanno il petto oltre la scorza inciso,

Nè molto impaziente è di rivale,

Nè la donzella di seguir gli cale[969].

Он скорее стремится стать преемником павшего Дудоне в непосредственном командовании войсками. Тем не менее, даже в этом отношении его амбиции предполагают, что им руководят высокие принципы:

I gradi primi

Отличительная черта и советчик[970].

Вскоре норвежский принц Гернандо, движимый ревностью, оскорбляет его, на что Ринальдо тут же выдает его за лжеца и убивает.

Вряд ли возможно оценить неполноценность этого сочетания с точки зрения поэтического искусства и эффекта по сравнению со сценой из Первой книги "Илиады", с которой его, естественно, следует сравнить: где Ахиллес уязвлен, и уязвлен одновременно всеми фибрами своей глубокой, гордой и страстной натуры, смесью подлости и тирании Агамемнона. Оскорбление у Гомера настолько надумано, что содержит все высшие элементы провокации: алчность, тирания, несправедливость, неблагодарность, с одной стороны, созданы для того, чтобы усугубить раны, нанесенные общественным унижением, и внезапной потерей любимого объекта, с другой. Но оскорбление, нанесенное Джернандо Ринальдо, - обычное уличное оскорбление, и все же американский дуэлянт не мог бы быть более кратким в своих действиях, чем великий христианский чемпион. Жестокая провокация мгновенно разрушает как благочестие, так и моральную твердость Ринальдо. С Ахиллесом все иначе. В нем есть сознательная сила самообладания, которая абсолютно, хотя и не по отношению к его страсти, даже превосходит силу других людей; и хотя она действительно неравна, все же почти не равна контролю над этим бурным потоком гнева. Ничто не может быть величественнее картины этого его первого сильного душевного потрясения. Мы должны процитировать эти строки:

ὣς φάτο· Πηλείωνι δ' ἄχος γένετ', ἐν δέ οἱ ἦτορ

στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν,

ἦ ὄγε φάσγανον ὅξυ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ' Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
ἦ ἔχολον παύσειεν, ἐρητύσειέ τε θυμόν[971].

Затем, пока сильное течение колыхнется внутри него взад и вперед, и пока его пальцы, инстинктивно играющие на рукояти меча, делают видимым его лезвие, к нему, и только к нему, приходит предупреждающее видение Паллады. Это предостережение восстанавливает нарушенное равновесие его ума; и, успокоив свою внутреннюю рану обещанием будущей мести, которая будет нанесена ему самоосуждающимися руками причинителей и подстрекателей зла, он угрюмо отказывается от расплаты за кровь.

Такова прочная, циклопическая структура ткани, в которую Гомер встроил своих персонажей. Если бы герой Тассо действительно был наделен возвышенностью страсти, превосходящей страсть Ахилла или подобной ей, мы, возможно, не имели бы права требовать от него строгой ответственности за убийство Джернандо. Но правда в том, что у него несколько утомленный и слабый характер; и его проступок в данном случае вызван не избытком побуждения, а недостатком или, скорее, полным отсутствием сдерживающей силы.

Джоберти в посмертной работе[972]отмечает, что герои язычества более эффективны, чем герои христианства, потому что стандарт, по которому их оценивают, ниже, идея несовершенна, а не совершенна. Я полагаю, что в этом наблюдении есть много как истины, так и глубины. Это не более чем справедливость, что Тассо извлек из этого немалую выгоду.

Различные способы описания персонажей.

Однако, каковы бы ни были его герои, он принимает меры предосторожности и описывает их в общих чертах на самом раннем этапе своего творчества, а именно в строфах 8-10 Первой песни. Здесь он ставит перед нами Годфри, Болдуина, Танкреда, Боэмондо и Ринальдо и время от времени возвращается к их описанию. Боджардо и Ариосто избегают этого, но, вероятно, потому, что они имели дело с персонажами хорошо известного типа, уже знакомыми их аудитории. Гомеру, который рисовал гораздо более мастерски, было что описать, чем кому-либо из них. И все же можно сказать, что он вообще никогда не описывает персонажей, за очень небольшим исключением Нестора, в нескольких словах, а Терсита - несколько подробнее: последнего, очевидно, потому, что он хотел сосредоточить презрение и брезгливость на его качествах, для демонстрации которых в действии он не мог предоставить такому негодяю сколько-нибудь продолжительного места; первого, возможно, потому, что он счел за лучшее для пущего эффекта воздержаться от обозначения его в поэме отличительными эпитетами и смог таким образом с большей достоверностью придать фигуре определенную округлость, в высшей степени подходящую персонажу. удобство. Но, в общем, персонажи Гомера описываются только по их поступкам, с помощью выбора и характерных эпитетов, а кое-где и небольших, но метких намеков, исходящих не от них самих и не от Поэта, а из речей других людей. Таким образом, он сталкивается со всем масштабом требований драматического искусства. Другие не смогли последовать за ним. Мы не должны винить Тассо за поступок, совершенно необходимый в качестве ключа к его поэме; скорее, мы должны похвалить изобретательную манеру, с которой он достиг своей цели, проведя обзор, который Всемогущий проводит в христианском лагере; поступок, в равной степени способствующий религиозному

характеру его поэмы, о которой не всегда так хорошо заботились, и удовлетворению первых потребностей его читателей.

В деталях своих сражений Тассо - великий и искусный описатель. Возможно, только в этом пункте из стольких других его можно назвать превосходящим Гомера. По крайней мере, мы можем быть склонны думать, что в этом разделе у него нет ничего столь неудовлетворительного, как "смерть Патрокла". Может возникнуть другой вопрос, насколько он обязан наставлениями в этой области своим великим соотечественникам, особенно Ариосто, а также соответствует ли он где-либо великолепному описанию того ужасного поединка с Родомонте, который в "Фуриозо" подводит итог триумфам Руджеро.

Поскольку почти все более важные ситуации и комбинации Иерусалима и его общей структуры были предложены древними, поэтому незначительные имитации слишком многочисленны, чтобы их можно было заметить. Многие сравнения Тассо чрезвычайно красивы и законченны; и он последовал примеру Гомера, используя их, чтобы облегчить повествование о битве; но он не соблюдал той же разумной скупости в других частях своей поэмы; он, по-видимому, не воспринял общих правил Гомера в распределении этого орнамента и уж точно не следовал им, и в результате они произвели несколько приторный эффект.

Подобно Вергилию, он был вынужден подражать Гомеру в определенных случаях, когда менялась вся причина обращения: как, например, в Обращении перед Каталогом и в пожелании, выраженном для увеличения числа органов речи. Для Гомера, поэта-декламатора, составление Каталога было большим усилием памяти, и поэтому оно оправдывало особое обращение к Музе: для Тассо это, должно быть, была одна из самых легких частей его исполнения. Что касается второго пункта, что может быть более разумным в случае ненаписанного произведения? что может быть менее разумным, когда поэт работает пером и чернилами? Не намного исправит ситуацию и предположение, что Тассо имел в виду свои декламации, если только декламация не была не случайностью, а правилом, так что само стихотворение при обычном ходе мысли воспринималось бы как связанное с актом декламации.

Однако Тассо, по-видимому, допустил более серьезную ошибку, введя в свою поэму Второй Каталог. В защиту первого можно привести те же доводы, которые столь убедительно подтверждают правоту Гомера. Но какой интерес христианский мир или Италия могли испытывать к подробному списку египетской армии?

Возвращение Ринальдо.

Если в Иерусалиме Гнев ниже стандарта "Илиады", то и Возвращение тоже. Со стороны Ринальдо, действительно, было бы самым справедливым освободить его из пут соблазнительной Армиды, но со стороны Годфри наблюдается такое же прискорбное отношение ко всем моральным элементам дела. У Гомера Ахилл был справедливо и наиболее глубоко оскорблен: по всем принципам, известным языческому вероучению или греческой жизни и опыту, он справедливо возмущался нанесенным оскорблением: максимум, что ему можно вменить, - это решительное излишество в потакании совершенно праведным чувствам: и это было ужасно искуплено кровавой смертью того друга, который был для него вторым "я". Но тяжкое преступление Агамемнона рассматривается в соответствии с самыми справедливыми правилами; и он вынужден словом и подарком умиротворить человека, которого он ограбил,

оскорбил и стремился унижить. В то время как он привлечен как к возмещению ущерба, так и к извинениям, насколько отличается расположение стихотворения Тассо! Джернандо причинил Ринальдо зло; но Годфри выполнил не более чем свой долг: он был министром общественного правосудия, законной власти и военной дисциплины: по отношению к нему, а также по отношению к армии, Ринальдо был преступником, Годфри и общественное право были всего лишь пострадавшими; и все же Годфри и общественное право уступают под давлением невзгод, и преступник возвращается со своего рода триумфом.

Если в случае с Вергилием оказалось возможным провести более детальное сравнение с Гомером, то в случае с Тассо это невозможно сделать, поскольку его работа едва ли допускает сопоставление деталей. Мы уже обратили внимание на обилие реальных аналогий между темой Троянской экспедиции и темой Крестовых походов. Сам Тассо, стремясь последовать примеру Гомера, даже дополнил их, симулируя централизацию христианского предприятия, которой, боюсь, на самом деле не существовало. Но подражать - это одно, быть похожим - совсем другое; и по-прежнему по-настоящему трудно сравнивать стихи, гораздо труднее поэтов. Чтобы ясно увидеть это, давайте поднимемся на высоту и посмотрим на сцену, которая лежит перед нами. Какой огромный поток времени и событий смыл сам мир, в котором жил Гомер, и миры, пришедшие ему на смену: место рождения изменилось, между ними протянулась огромная пропасть времени, язык стал другим, религия новой, все цепочки ассоциаций были разобраны на части и перекованы заново, все старые струны чувств теперь немые, а на их место зазвучали другие, издающие иную музыку. И следует признать, что существует также большое и резкое нисхождение от уровня Гомера как творческого поэта к уровню Тассо. И все же он тоже классик Италии и классик мира; и если на мгновение мы почувствуем унижение по отношению к его стране из-за того, что она страдает от этого сравнения, пусть она успокоит свои растревоженные воспоминания сознанием того, что, хотя Тассо и не стал соперником Гомера, все же он разделяет эту неудачу с каждым эпическим писателем любой страны. С другой стороны, ни один современный поэт, занимающийся подобной тематикой, не был равен Тассо. Никто не воздвиг на подобном ему фундаменте столь возвышенное и долговечное сооружение, столь богатое красотой и изяществом: оно имеет полное право если не соперничать с величайшим достижением предшествовавших ему эпох, то, по крайней мере, бросить вызов или завоевать восхищение тех поколений, которые добились успеха. Но его поражение, в конце концов, является его величайшей победой. Проиграть матч Гомеру - более высокая награда, чем выиграть его у других своих конкурентов. Поистине, мало найдется гениальных сынов и избранных среди избранных, которых можно сравнить с этим отцом и королем стиха; и мы убеждены, что Тассо ни на кого не затаил бы зла за то, что до сих пор, по его собственным словам, ограничивал его почести:

e ciò fia sommo onore;

Вопрос о Жернандо в кара венне[\[973\]](#).

РАЗДЕЛ VI.

Некоторые основные персонажи Гомера в Трое. Гектор: Елена: Парис.

Только одному из бесчисленных миллионов человеческих существ дано было рисовать характеры силой своей индивидуальной руки линиями такой силы и напористости, что они стали, начиная с его дней и до наших, общим достоянием цивилизованного человека. Это один из них - Гомер. С тех пор, помимо того, что он нашел свой путь на обычно непроходимый Восток, он предоставил литературный капитал и доступные товары для чтения декламаторам и слушателям, авторам и читателям всех времен и из всех мест в пределах западного мира;

Adjice Mæoniden, a quo, seu fonte perenni,

Vatum Pieriis ora rigantur aquis.

Подобно солнцу, которое озаряет своим светом тесные дворы и аллеи Лондона, оставаясь невидимым для их обитателей, Гомер просветил своими идеями миллионы умов, которые никогда не соприкасались непосредственно с его произведениями, и даже миллионы других, которые едва ли подозревали о его существовании. Поскольку полный поток его гения открылся в десяти тысячах ирригационных каналов путем последовательного разделения, не может быть причин для удивления, если некоторые из них не сохранили прозрачной чистоты потока. Подобно крови из великой артерии сердца человека, возвращающейся по бесчисленным венам, она постепенно темнеет в своем течении. Сама универсальность традиции умножила причины коррупции. То, что в отношении документов является гарантией, поскольку их ошибки исправляют друг друга, в отношении идей является новым источником опасности, потому что все зависит от постоянного обращения к тончайшим штрихам оригинала, который ускользнул из поля зрения. И эта универсальность принадлежит только ему. Англичанину может быть простительно думать, что его главным соперником в изображении характера является Шекспир — британец может даже пойти дальше и оспорить от имени сэра Вальтера Скотта место в этом величественном хоре, не уступающее никому, кроме них. И все же слава Гамлета, Отелло, Леди Макбет или Фальстафа, а тем более Варни, или Рейвенсвуда, или Калеба Болдерстона, или Мэг Меррилиз еще не достигла и, возможно, никогда не достигнет всемирной известности. С другой стороны, это отличие издавна было неотъемлемо закреплено за каждым персонажем первого класса, который появляется в гомеровских поэмах. Он даровал им бессмертное наследие.

Но из-за своенравия и немощи человечество развращает то, чему оно симпатизирует, и подрывает то, чему оно повинует. Тот же закон опустошения и разложения, который изо дня в день разъедает творения природы, действует также различными способами и в разной степени на творения разума. Поскольку портреты индивидуальных характеров, которые можно найти в работах великих мастеров, обладающих способностью к воображению, относятся к числу самых высоких из этих творений, поэтому, поскольку они являются величайшими, их труднее всего перевести в другие формы и передать с помощью новых средств массовой информации. Среди древних скульптур легче найти хорошего Фавна, чем хорошую Венеру, в то время как опять же те произведения, которые воплощают самые высокие идеалы, не только редки, но и в большинстве случаев уникальны. Подобным же образом Панч и Арлекин, общие персонажи примитивных зрелищ и фарсов, легко становятся национальными и передаются, так сказать, спонтанно, сквозь века без существенных изменений; но более тонкие и благородные изображения человека, требующие больших усилий и иного склада ума для их понимания, а

также для их проецирования, быстро вырождаются в тех самых моментах, от которых зависит их особое совершенство.

Этому результату способствуют и другие причины, помимо умственного бессилия получателя. Одним из основных факторов является неспособность или нежелание человечества вернуться к истокам. Для широких масс процесс модернизации обычно востребован, легко обставляется и сам по себе снова и снова меняется от эпохи к эпохе. Всегда легче сделать вывод из того, что само по себе является производным, чем подниматься к истокам. Необходимость вгоняет свои несокрушимые тиски в бизнес любой профессии, включая (сейчас больше, чем когда-либо) профессию литератора: и βάναισος и φορτίκον, или сленг и хлопушки, ведут слишком успешную борьбу, чтобы подавить ее более высокие и благородные цели.

Причины травм гомеровских персонажей.

Нетрудно указать на причины, по которым персонажи Гомера с течением времени должны были особенно сильно подвергаться травмам. Больше всего по двум причинам: потому что они были такого экстраординарного и утонченного достоинства, и из-за формы, в которой они были переданы. Они не только несли на себе печать, которую мог наложить только высочайший гений, но и не что иное, как забота, сочувствие и мужественные усилия, могли позволить людям понять их. Ибо они не были представлены в установленных формах описательных отрывков, которые можно было бы выучить наизусть, но они были воплощены в прекрасных, а также глубоких и сильных линиях жизни и действия; и ни один из них нельзя было определить в терминах, пока они сначала не были глубоко прочувствованы изнутри. Мы должны были познакомиться с ними как друзья, прожив с ними всю их разнообразную жизнь, а не как незнакомцы, благодаря какому-нибудь рекомендательному письму, в котором указывались их рождение, происхождение, призвание и квалификация. За серьезное и сердечное внимание они давали самую богатую возможную награду; беспечные действительно могли наслаждаться ими, но едва ли могли быть восприняты. В глазах таких людей различать практически нечего, например, между Агамемноном, Аяксом, Диомедом, Менелаем и Патроклом; и если Нестор намного старше, Улисс намного хитрее, а Ахилл даже доблестнее остальных, то один штрих устраняет эти различия и позволяет нам свести всех восьмерых почти к общему типу. Предварительное изучение конкретных примеров наилучшим образом подготовит нас к тому, чтобы взвесить силу тех других причин, помимо слабости человеческой природы и превосходства произведений в общем смысле этих слов, которые способствовали угнетению и искажению гомеровских персонажей.

Итак, в настоящем разделе я предлагаю привлечь внимание к нескольким гомеровским персонажам в том виде, в каком они представлены в поэмах, которые, насколько я могу судить, пока нуждаются в дальнейшем разъяснении.

Пожалуй, нет ни одного конкретного случая, в котором полковник Мюр оказал бы такую важную услугу современным Гомеридам, как в его рассказе о гомеровских персонажах. В общем, я лучше всего выполняю свой долг, просто отсылая читателя к его страницам. Я осмеливаюсь, однако, думать, что, хотя первостепенная тема великих греческих персонажей несравненно затрагивается им повсюду, можно сделать некоторое исключение для его изображения части троянских персонажей; Гектора, например, и более конкретно (если ее можно отнести к этому классу) Елены. По крайней мере, я осмеливаюсь считать, что некоторые из них вполне могут быть представлены в другом свете, и я сразу же попытаюсь сделать это с Гектором.

Отношение Орlando к Гектору.

I. "В характере этого героя, - говорит Мюр, - добро и зло смешаны таким любопытным образом, что трудно сказать, какой элемент преобладает"[974]. "Нет ли другого взгляда на композицию качеств, которые Мюр, таким образом, поместил в равновесие?"

Это действительно в высшей степени верно, поскольку в том же месте он продолжает наблюдать, что для поддержания того, что можно назвать общепринятым балансом, или равенством сцен, которое было необходимо для придания интереса своей поэме, Гомер в общих чертах преувеличил доблесть Гектора как наивысшего трансцендентного порядка: но что в реальных достижениях он значительно превзойден ведущими греческими героями. Действительно, во многих местах "Илиады" даже кажется сомнительным, является ли Гектор вообще героем.

Насколько успешно искусство Гомера расплатилось с троянским чемпионом обобщениями, в то время как он, тем не менее, сохранил пальму первенства в воинской доблести за своими соотечественниками, мы можем, пожалуй, лучше всего судить, рассматривая эффект, который картина оказала на поэтов Италии и на европейское общественное мнение в целом в более поздние времена. В первом случае имя Гектор, по-видимому, является основным типом героического персонажа. Таким образом, Тассо прославляет —

‘Il buon Foresto, dell’ Italia Ettore[975].’

И далее. За Альпами Орlando был главным воином или главным героем, а также лучшим персонажем средневекового романа, пока его не изменил Ариосто, чьей придворной целью было возвысить Руджеро над собой. Но среди поэтов, последовавших за Ариосто, Руджеро, по-видимому, был вставлен в качестве интерполяции, а Орlando вновь занял свое первостепенное место. Теперь характер Орlando явно создан по образцу традиционного представления о Гекторе, с христианским элементом, присущим ему и пронизывающим его насквозь. То, что Гектор был выбран таким образом, отдав предпочтение Ахиллесу или любому другому греческому герою, может объясняться, среди прочих причин, следующими. Во-первых, римские поэты, особенно Вергилий, научили итальянцев смотреть на Троию как на колыбель своего величия. Во-вторых, что характер Гектора, благодаря большому влиянию в него моральных и пассивных составляющих, был лучше приспособлен для слияния с христианскими идеями. И в-третьих, поскольку роль, отводимая итальянскому патриотизму в средние века, обычно была оборонительной, в этом пункте Гектор также предложил более подходящую модель. Однако есть еще кое-что, на что следует обратить внимание; ибо можно подумать, что среди троянцев Эней предложил бы лучшую основу для итальянских поэтов. Но здесь мы можем отметить, как подлинное мужское рождение переживает ложное. Естественный Гектор Гомера отбросил в сторону бледный и болезненный автомат Энеиды, даже в Италии, стране, принявшей его. Последнее было настолько искусственным и изнеженным, что даже не выдерживало копирования; первое имело основу в истине, на которой можно было возвести структуру преувеличения. Таким образом, спустя две тысячи лет Гектор стал центральной силой новой и великолепной литературы.

Но когда мы возвращаемся к стихам Гомера и собираем воедино улики по этому делу по частям, удивление вызывает контраст между притязаниями Гектора, основанными на общих описаниях

и более поздней традиции, с одной стороны, и реальными действиями троянского чемпиона в самой "Илиаде", с другой стороны. Во-первых, это Ахилл, его известный превосходитель, от которого как от воина он находится на неизмеримом расстоянии. Но помимо этого, он терпит фактическое поражение от рук, один раз Диомеда и дважды Аякса; очевидно, что первое и, без сомнения, второе: ибо, хотя первое сражение прервано и признано ничейным, все же Аякс одержал верх на каждом этапе, и, в то время как троянцы слишком счастливы, что его противник избежал телесных повреждений, Гомер несет его в палатку Агамемнона, радуясь его победе (κεχαρτότα νίκη[976]). Еще более достойно внимания то, что Гектору никогда не позволялось в настоящем бою одолеть какого-либо значительного грека. В случае с Патроком Поэт даже слишком мало раскрыл этот факт, ибо он делает Гектора немногим, если вообще кем-то, большим, чем простым палачом, несущим смерть безоружному человеку. Менелай, стоявший в том, что мы можем назвать третьим рангом греческих героев, действительно, в одном случае отказался от конфликта с ним, поскольку был слишком низок, чтобы рисковать битвой; но конфликт за тело Патрокла[977] настолько надуман, что показывает, что даже этот принц успешно удерживает поле боя, несмотря на троянского вождя; и во время битвы отсутствие Ахилла и Патрокла в поединке, не менее девяти других греческих воинов предлагают себя встретиться с ним в единоборстве[978].

Величайшим подвигом Гектора во всей "Илиаде" является взлом ворот греческого вала[979]. Но если мы сравним это с подвигом Сарпедона, который незадолго до этого пробил брешь, разрушив зубчатую стену[980], мы должны отдать решительное предпочтение ликийскому герою; ибо он совершает свое достижение в зубах Аякса и Тевкра, которые находятся на месте; в то время как ни один греческий военачальник не присутствует, когда Гектор прорывается через ворота. Сравнительная слабость военного характера Гектора, однако, наиболее наглядно показана в Одиннадцатой книге, когда Юпитер решает привести в исполнение решение о том, что ему будет оказана честь[981]. Во-первых, он получает дружеское предупреждение держаться подальше, пока Агамемнон остается на поле. Соответственно, он вступает в битву только тогда, когда Агамемнон отступает; но он немедленно выбит из нее Диомед[982]. Когда он снова возвращается к этому, греки под командованием Махаона сводят на нет все его усилия, пока этот самый второстепенный вождь не будет выведен из строя стрелой из лука Париса[983]. И, судя по всему, троянцы должны были быть побеждены и заперты в городе греками даже без Ахилла, таково было превосходство ахейского оружия, если бы Гомер не призвал низшее оружие камней и стрел, чтобы ранить трех из четырех главных оставшихся греческих воинов, а именно Диомеда, Агамемнона и Улисса; помимо Эврипила и Махаона[984].

Единственный случай, когда Гектор предстает по-настоящему великим и доблестным воином, - это тот, когда он уверен, что им станет, и, соответственно, побежден всепоглощающей мощью и божественными руками Ахиллеса. Ибо здесь Гомер мог бы смело дать ему широкий простор, не подвергая опасности и не затемняя славы этого героя, которому с непревзойденным искусством он придал неизмеримое, но все же не вынужденное или неестественное превосходство.

Гектор второсортный герой.

Таким образом, место Гектора как героя-воина, безусловно, не более чем второсортное; но я осмеливаюсь думать, что Гомер настолько далек от того, чтобы почти в равной степени взвешивать в своем характере соответственно чаши весов добра и зла, что, за исключением его хвастовства, трудно приписать ему хотя бы один недостаток. Это хвастовство и несоответствие

между претензиями и исполнительностью присущи не только ему, но в некоторой степени распространяются и на других троянских воинов, за исключением Сарпедона; например, на Полидамаса, Эния и Париса. Некоторые из лучших греков, особенно Диомед, тоже тронуты этим[985]. И, возможно, в нашем более развитом и искусственном обществе мы не вполне справедливо оцениваем, насколько эта практика, которая, как может показаться, резко контрастирует с преобладающей скромностью гомеровских героев, могла быть для них не заменой, а своего рода украшением и вспомогательным средством к их силе души и рук. У нас это справедливо подозревается в том, что подразумевает тенденцию к отставанию в исполнении: у них это, возможно, относилось к той прямоте в выражении внутренних эмоций, которая заставляла их (например, достаточно) рыдать так свободно всякий раз, когда в них затрагивалась струна скорби.

Это качество настолько бросается в глаза, говорит Мюр, что имя главы троянцев и по сей день является синонимом в нашем родном языке "бахвальства" или "развязности"[986]. Но примечательно, что то же самое произошло и со словом 'родомонтаде', которое происходит от Родомонте, самого могущественного, после Руджеро, из всех героев "Фуриозо". Это обстоятельство, по-видимому, делает вероятным то, что без него было бы только возможным, а именно, что мы неправильно истолковываем фразы; и что, согласно истинному значению, родомонтадер - это человек, выдающий себя за Родомонте; а тот, кто нападает, - это человек, ложно выдающий себя за Гектора.

Другой очень высокий авторитет, лорд Гренвилл, близко знакомый с поэмами Гомера, являет собой яркий пример ослепляющей силы литературных традиций. Ибо в своей "Точной метрике"[987], он говорит: "Дерзкий парень ... странно искажен в его использовании для выражения значения, почти противоположного его первоначальному". И он добавляет в примечании: "Мы знаем, что гомеровский Гектор объединяет

Самые мягкие манеры при самом смелом уме.

Склонность троянского вождя к хвастовству, однако, тем более оскорбительна, что она так часто проявляется в первом лице единственного числа; потому что в случае Патрокла это, по-видимому, ассоциируется с поступком, по меньшей мере, недостойным мужчины; и потому что во многих случаях Гектор проявляет даже более чем благоразумное отношение к своей личной безопасности.

Что еще более странно, так это то, что его обычная манера хвастовства перемежается пассажами, в которых больше неподдельной скромности, чем можно найти в речи любого другого вождя с обеих сторон. Как, например, когда он признает свою явную неполноценность по сравнению с Ахиллесом;

οἷ δα δ' ὅτι σὺ μὲν ἑσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων[988].

Но прежде всего, в несравненном стихе его молитвы над своим малолетним сыном:

καὶ ποτέ τις εἴπῃ, πατὴρ γ' ὅδε πολλὸν ἀμείνων[989].

Моральный облик Гектора.

Гомер из всех поэтов наиболее свободен от всего, что можно назвать уловкой; но, возможно, та же необходимость его положения, которая заставляла его возвеличивать троянскую доблесть на словах, в то время как на деле она так далека, нашла свой путь из повествования в драматическую часть поэмы. Если это так, то в "хвастовстве Гектора" мы можем узнать Гомера, преследующего свою собственную общую цель, а не подчиняющегося с совершенной верностью традиции или завершающего идеально совершенный портрет с той силой и точностью, которые он применял к своим великим греческим героям. Тем не менее, какова бы ни была причина, побудившая Гомера проявить в Гекторе неприятный дар хвастовства, Мюр, похоже, проявляет меньше своей обычной точности, когда приписывает Гектору в одном месте частичную[990], а в другом - полное безразличие к моральной вине своего брата Париса.

Какова бы ни была причина, факт, несомненно, таков, что ни на троянской, ни даже на греческой стороне мы не находим такого проявления постыдного преступления Парижа, какое мы могли бы ожидать, впервые взглянув на нравы и чувства той эпохи. Что касается самого Поэта, мы можем прочесть его возмущение по этому поводу в портрете, который он постарался дать самому Парижу и о его дурной славе среди соотечественников; но, несомненно, хотя его поступок повсюду описывается как причина войны, о нем нигде не говорится среди тех, кто пострадал от нее, со страстью и негодованием, которые, как мы могли бы предположить, он вызвал. Из всех греков только Менелай ссылается на это как на акт вины. Для этого с большей или меньшей уверенностью могут быть названы различные причины. Вероятным из них, как мы видели[991], является то, что деяние носило характер похищения или изнасилования, при котором предприимчивость и сила подчеркивают или скрывают уродливые черты преступления. Непопулярная форма преступности могла бы тогда, как и сейчас, легче оторваться от прикрытия другой, популярной. Также, без сомнения, представляется, что другой причиной может быть промежуток времени, который, с любой точки зрения дела, должен был пройти с момента совершения деяния. Но, возможно, решение вопроса следует искать главным образом в этом соображении, общем как для современности, так и для древних времен, что причины войны склонны растворяться в ее обстоятельствах. Вступая во владение мечом, люди не выбирают фиксированную позицию, но они вступают в поток, всегда мощный и часто неуправляемый. Как только вооружение окажется на берегах Геллеспонта, у обеих сторон возникнет мотив воинской чести, и, кроме того, у троянцев - защита своих семей и жилищ, у греков - надежда на грабеж и вседозволенность. Следовательно, даже после того, как греки ослаблены и обескуражены уходом Ахилла, не от них, а от троянцев исходит предложение решить дело Елены единоборством. Следовательно, после позорного бегства Париса от выполнения этого обязательства, после его поражения от Менелая, мы находим мало выражений негодования с одной стороны и никакого признания своей неправоты с другой. Но критика Мюра, по-видимому, сводится к следующему: со стороны Гектора было серьезной ошибкой не думать постоянно о вопросе, о котором вообще редко задумывался кто-либо с обеих сторон, за исключением Париса и Менелая, лиц, заинтересованных самым непосредственным образом.

Однако очевидно, что Гомер изобразил Гектора остро чувствующим и возмущающимся не только трусостью своего брата, но и его чувственностью. Дважды он называет его обезумевшим от похоти и обманщиком женщин[992]: из его пяти речей, обращенных к Парижу, только одна не содержит упреков; и только в одной, которая простирается дальше нескольких строк, он отвергает свои упреки в трусости, полностью излагая свою вину, как моральную, так и по отношению к своей стране, в том, что, будучи преступником, он трус, он был еще и

насильником[993]. Обвинение, однако, также принимает более конкретную форму. Мы видим, что Гектор был в большом восторге, ἑχάρη μέγα, когда его упрек[994] побудил Париса предложить поставить весь вопрос на единоборство с Менелаем. Но говорят, почему, когда битва была проиграна, Гектор не привел в исполнение условия сделки? Ответ, по-видимому, таков. Мы стоим здесь на стыке поэмы, где ее теургия вытесняет человеческий механизм. Предполагается, что именно это и должно было произойти, когда по совету богов порядок событий был прерван. В свое время Агамемнон в конце Третьей книги потребовал Елену к себе. Юпитер немедленно предвидел последствия; он увидел, что, если сохранить веру, Ахилл не будет ни отомщен, ни прославлен; и поэтому он созвал собрание на Олимпе, чтобы решить, следует ли вернуть Елену или нет. Когда этот вопрос был решен отрицательно, встал вопрос о том, как это предотвратить; и это было сделано, по предложению Юноны, путем принуждения Пандара возобновить войну без ведома Гектора. Это довольно ясно показывает, что восстановление Елены должно было вот-вот произойти, если бы не вмешались боги; и, следовательно, этого вполне достаточно, чтобы избавить Гектора от упреков, который, как можно заметить, не принимает участия до тех пор, пока армии не будут долгое время в конфликте, он не будет уязвлен упреками Сарпедона (ст. 493). Если порицание связано с аранжировкой, то оно должно быть направлено против Поэта, а не против одного из его персонажей, который просто не появляется, потому что ему не отведена роль.

Его обязанности превышают его силы.

Давайте теперь перейдем к несколько более общему взгляду на характер Гектора.

Он занимает в гомеровской традиции совершенно особое место, поскольку на момент написания поэмы был единственным в высшей степени воинственным членом невоинственной семьи; генералом разделенной и неуместной армии; и как единоличный главнокомандующий отвечал за безопасность своей страны, хотя и не был облечен достоинством и властью короля. Что касается первого из этих пунктов, то у нас есть прямое свидетельство Гомера:

οἷ ος γὰρ ἔρύετο ἴλιον ἔκτωρ[995].

Из его братьев только Деифобус представлен как в какой-то степени заслуживающий его доверия или разделяющий его. Из своих родственников Полидамас, по-видимому, был соперником Энея в совете в борьбе за наследование политического господства; и это были две самые значительные личности в классе. Я полагаю, было доказано, что вполне вероятно, что Парис был его старшим[996]; и что он удержал свое место в Трое благодаря заслугам вопреки возрасту. Его непростые отношения со своими союзниками можно было бы вывести из того, что они составляли большую часть его войск, даже если бы они не были более отчетливо обозначены упреком Сарпедона и речью, в которой он сам высказывается по этому поводу. Наряду с его властью над армией, он фактически отвечал за безопасность государства, и мы видим признаки его влияния там; но все же он не руководил политикой Трои: ибо единственная важная мера, которая, как записано, была принята троянцами, а именно отклонение предложений Антенора вернуть Елену грекам, было принято в его отсутствие и без его ведома. Таким образом, в случае с Гектором мы видим обильно накопленные элементы ложной позиции. И, одним словом, чтобы правильно оценить его характер, мы должны полностью учитывать ту неполноценность троянцев, подданных не меньше, чем принцев, в том, что касается политического гения и организации, о чем "Илиада" при тщательном изучении дает достаточно свидетельств.

Под тяжестью общественного обвинения, как Агамемнон в греческом лагере, так и Гектор на стороне троянцев, кажется, шатается; так же, и даже больше; ибо в случае Гектора политическая власть подорвана тем, что он фактически не обладает верховной властью, в то время как ответственность ограничена и усилена тем, что он является не только главой, которая разрабатывает, но и правой рукой, которая выполняет. Однако ни в одном из них мы не находим сильной воли, определенности и постоянства цели или неизменного мужества. Но у Агамемнона есть преимущество как в том, что его окружают более мудрые советы, так и в том, что рядом с ним более сильные руки, чем его собственные. У Гектора мало помощников. Сарпедона единственного из троянских военачальников (ибо Эней на самом деле ничего не делает) можно назвать выдающимся воином; и его неполноценность по сравнению с Патроком, несмотря на его безупречную доблесть, скорее приукрашивается, чем скрывается сценическим механизмом божественных консультаций по поводу его смерти. Но как Сарпедон на поле боя играет роль, значительно уступающую соответствующей роли Диомеда или Аякса, так и Полидамас, троянский Нестор, не равен своему доброму и гениальному коллеге. Четыре раза он дает свой совет в полевых условиях. Дважды он предваряет его личными обвинениями (xii. 211 и xiii. 726); и когда в Двенадцатой книге (211) он рекомендует отказаться от нападения на корабли из уважения к предзнаменованию, чувства и суждения одинаковы на стороне ответа Гектора, который опровергает свое предсказание известными (хотя, как они доказали, лживыми) советами Юпитера и решительно защищает от сомнительных знаков несомненные требования патриотизма.

Его светлая сторона в привязанностях.

Пророческий дар, по какой бы то ни было причине, Гомер в значительной степени приписывает троянцам. Не вдаваясь в случай с Кассандрой, это относится к Елену, а также (xii. 238), по-видимому, к Полидамасу, который берется истолковать знамение. Сам Гектор нес тяжесть предвидения на своей груди, поскольку он говорит Андромахе[997], что он хорошо знает, что день гибели близок; и, когда он находится при смерти, он предсказывает грядущую судьбу Ахилла. Сосредоточенное напряжение его обязанностей и его предвидений слишком велико для силы характера, который, с интеллектуальной или драматической точки зрения, импульсивен, непостоянен и который поэтому, несомненно, должен быть отнесен к разряду второстепенных. Но когда мы переходим от интеллекта к нравственному тону, от δῖα νοῖα к ἥθος, мы, безусловно, находим в Гекторе одно из самых трогательных, самых человеческих воплощений мужского характера в "Илиаде". Только в нем Гомер представил нам это самое властное и трогательное сочетание женской мягкости и глубокой привязанности с воинственной и героической силой. Если рука Гектора была намного слабее руки сына Пелея, то бурные горести Ахилла не открывают нам характера, почти столь привлекательного, как глубина нежных чувств Гектора и мягкость, доведенная до блеска его боевой славой. "Твоя любовь ко мне была прекрасна; превосходящая любовь женщин"[998]. Постоянство и цепкость привязанностей Улисса проявляются в его отношениях к Пенелопе и Телемаху: но, гармонично сочетаясь с персонажем гораздо более широкого размаха и более разнообразных чувств, особый элемент нежности, соответствующий женской, - единственный, которого в них нет. Гектор не является ни воином, ни государственным деятелем по первичному, то есть ахейскому, типу: но как образец силы и мягкости в любви отца и мужа, именно ему мы должны воздать должное в несравненной сцене у скийских ворот; несравненной, если только мы не можем сравнить ее с той другой сценой, которая находится совсем рядом, где вид убитого юного Полидора, пронзивший его сердце, вознес его в его последний час на вершины героизма; и где интерес и сочувствие,

которые он вызывал все это время, были столь близки. , поглощены восхищением подлинным величием того заключительного часа, когда он решил навсегда прославиться, по крайней мере, в своей слишком верной смерти.

Вероятно, главная причина, по которой Гектор стал основой современного Орlando, заключается в том, что ни один из героев Гомера не проявляет сочетания качеств, столь подходящего для создания характера христианского героя; тон, столь ощутимо приближающийся к евангельскому. Отчасти из-за тех актов благочестия по отношению к Бессмертным, которые вряд ли могут получить в случае Гектора какую-либо, кроме благоприятной оценки, и которые вызвали почти единодушное сочувствие олимпийского собрания к его останкам; но отчасти также, и даже больше, из-за той мягкой, справедливой и нежной оценки характера, которая не только обеспечила ему постоянную мягкость поведения по отношению к Елене, но и сделала его ее защитником от язвительности других и сделала его внимательным и добрым даже к Парису^[999], как только он увидел, что тот, наконец, расположен лично участвовать в смертельной борьбе, которую он навлек на свою страну. Пожалуй, нет более сугубо христианской добродетели, чем нрав, который таким образом справедливо и мягко допускает человеческую слабость, особенно если это слабость, от последствий которой пострадали мы сами.

Однако использование Гектора для целей христианской поэзии, несомненно, привело к искажению для нас истинной гомеровской традиции. Но для того, чтобы понять это, мы должны отбросить Гектора из наших притчей или наших пьес, вернуться к "Илиаде" и начать заново с отправной точки ее великого автора. Здесь мы должны довольствоваться тем, что воспринимаем его не как чистое усилие воображения, направленное на создание идеального человека, а как часть поэмы Гомера, подчиненную, как и любая другая ее часть, своей главной цели, а также общим законам исторической последовательности. Моделируя нескольких героев, он заставил своего Гектора уступить требованиям своего Ахиллеса, у которого не могло быть реального конкурента. Также, с присущим ему тонким пониманием национальных различий между греками и троянцами, которое он повсюду демонстрировал, он не мог построить своего Гектора на тех же основаниях, что и его греческие герои, или придать ему ту силу и упорство, которые присущи европейскому и ахейскому характеру. Он не мог наделить его ни бесстрашием рыцаря в битве, ни глубокой непоколебимой проницательностью в совете, которые были свойственны королям его собственной расы и тем, кто был наиболее близок к ним в союзе. Он придал характеру главного троянского героя, не меньше, чем характеру троянского народа в целом, ярко выраженного азиатского оттенка, который видоизменяет их общность по цвету кожи с собственно европейскими расами. У таких персонажей инстинкт и чувство часто занимают место исследования и рефлексии, а импульс выполняет работу убеждения: идеи справедливости, порядка, последовательности, морального достоинства и самоуважения воспринимаются менее четко, менее симметрично. Хотя в частных случаях, таких как случай с Гектором, недостаток может быть восполнен свободным и всесторонним развитием самых нежных эмоций, сравнивая его с греками, мы чувствуем, что имеем дело с более ограниченным типом мужественности: как будто морально, не менее чем локально, мы вернулись с Гомером на целую ступень ближе к колыбели нашей расы и остановили и закрепили человеческий характер на том самом этапе, когда он не является ни ребенком, ни мужчиной.

Неравенство его характера.

Характер Гектора, как он был истолкован здесь, не дает того удовлетворения уму, которое могли бы дать полная ясность и единство. Его интеллектуальные качества и привязанности не находятся на одном уровне; его воинственный характер противоречит даже самому себе. И все же, возможно, именно в этих обстоятельствах мы, поразмыслив, найдем новую причину восхищаться мастерством Гомера и тем редко ошибающимся инстинктом, который не позволял ему забывать о целом в погоне за деталями.

Его первой целью, по-видимому, было как можно полнее и смелее подчеркнуть колоссальную фигуру Ахилла, как моральную, так и физическую, и, следовательно, смягчить все, что могло ослабить ее эффект. И здесь опасность, очевидно, заключалась в Агамемноне; слишком вероятно, что главнокомандующий армией был героем поэмы. Соответственно, он нарушил единство этого характера и приукрасил его слабостью в различных формах. Но это было еще не все: он должен был поставить греков выше троянцев, так же как Ахилла выше греков; не только для того, чтобы он мог рассчитывать на свою популярность, но и для того, чтобы он мог потакать гениальной жилке своей поэзии и следовать импульсам своего патриотизма, ставя под сомнение их интеллектуальное и военное превосходство. Однако, если бы это было все, его задача была бы легкой; тогда ему оставалось бы только подавлять своих противников во всех качествах, вызывающих восхищение. Но если бы он просто сделал это, если бы он лишил своих читателей интереса и симпатий к троянцам всеобщим порицанием, он лишил бы греческую доблесть ее самого изысканного венца. Благородная необходимость войны заключается в том, что даже в интересах соотечественников мы не можем поступать несправедливо по отношению к противникам, не чувствуя, как это преступление отразится на наших собственных головах.

Таким образом, Гомер не мог сделать своего троянского героя одновременно великим и последовательным; и если он сделал Гектора неравноправным, то лишь для того, чтобы не сделать его подлым. Сочетая свою боевую отвагу с хвастовством, а иногда и со слабостью намерений, он эффективно обеспечивал защиту от любого вмешательства с этой стороны в ущерб тем вождям, хвалу которым он должен был петь при дворах и толпах Греции. Таким образом, он оставил совершенно чистое поле для рассуждений об их военных добродетелях; и если по достаточным причинам он отступил от своего правила в случае с Агамемноном, который получает компенсацию в виде превосходства в звании и власти, то все остальные его греческие персонажи, играющие передние роли в поэме, построены в безупречном соответствии с идеей или модификацией идеи, которую он выбрал за основу каждого. В изображении Ахилла, Диомеда, Аякса, Нестора, Менелая или Улисса нет ни единого изъяна. Не то чтобы все они принадлежали к типу одинаково возвышенных или одинаково замечательных; но ни в одном из них нет ни одной вещи, которая явно не соответствовала бы своему типу, и, следовательно, ни одной вещи, которая противоречила бы какой-либо другой. Дав, таким образом, своим соотечественникам явное и заметное превосходство в том, что тогда, по крайней мере, было единственными великими и управляющими элементами человеческого общества, сильный ум и сильную руку, он делает все возможное для троянцев с тем, что осталось, то есть с более мягкими привязанностями к домашней жизни, добавляя лишь столько военного элемента, сколько было необходимо, чтобы не сделать их дискредитирующими противниками для его соотечественников. Таким образом, следуя всем своим поэтическим замыслам, он смог представить нам, не говоря уже о в высшей степени респектабельном характере Гекубы, три непревзойденных изображения Приама, Андромахи и, возможно, даже больше всего Гектора.

Характер Хелен.

II. Перейдем теперь к произведению, которое никогда не было превзойдено умом или рукой человека.

Характер Елены Аргейской занимает большое место в греческой истории и имеет чрезвычайное значение для всей структуры "Илиады". От имени первого из этих утверждений мы призываем в свидетели ее храм в Спарте и Восхваление Исократа. Что касается второго, то причина выражена в одном из самых благородных ораторских произведений Гомера:

τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσι

Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ' ἀγείρας

Ἀτρεΐδης; ἢ οὐχ' Ἐλένης ἔνεκ' ἡῦκόμοιο[1000];

Была ли она порочной женщиной и соблазнительницей или, скорее, жертвой и кающейся грешницей? Позволяют ли нам законы поэтического правдоподобия и красоты, как их понимал Гомер, предположить, что он намеревался изобразить своих соотечественников, о которых он представил нам столь возвышенное представление, как будоражащих мир, покидающих родину, проливающих свою кровь и повергающих свою страну в определенное смятение, ради низменного и никчемного персонажа? Конечно, были периоды, когда в сознании греков поклонение красоте было настолько отделено от всего, что красота должна была олицетворять, что "Илиада", построенная таким образом, могла быть одобрена. Но это было гораздо позже того, как плоть Гомера истлела в могиле.

Настоящее расследование не имеет ничего общего с мнением о том, была Елена историческим персонажем или нет. Что касается меня, то я не знаю никаких причин, кроме расхождений в простой традиционной хронологии, для того, чтобы не верить в ее существование. Они, по-видимому, полностью проистекают из практики ставить в один ряд с гомеровскими сказаниями, авторитет которых значительно ниже его собственного. Но даже помимо этого, учитывая, какой, вероятно, будет хронология доисторических времен при обычных обстоятельствах, и насколько больше шансов сохранить великие события в общих чертах, чем для тщательной корректировки их относительного времени, я не могу не думать, что трудности, возникающие из других легенд о Елене и относящиеся просто ко времени, образуют весьма недостаточную причину для всеобщего отказа от веры в ее существование. Однако, даже если бы она вообще никогда не существовала, все равно ни на йоту не менее разумно предположить, что Гомер в своих произведениях о ней руководствовался бы здесь и в других местах всеми законами своего искусства, включая законы морали.

Также сейчас не стоит вопрос о том, была ли Хелен образцом героического характера. Для древнейших времен Греции это, вероятно, несовместимо с ее прелюбодейными отношениями с Парисом, а затем с Деифобом. Но между безупречной и никчемной женщиной существует огромное расстояние. Идея Елены, представленная более поздней традицией, начиная с греческих трагиков, является строго последней идеей: и это представление, естественно, заняло массовый ум, который лишен возможности доступа к отдаленной гомеровской картине. Теперь кажется очевидным, что, если это представление по существу верно, оно является большим упреком барду из "Илиады" как барду и клеймит его как человека, который сделал все возможное, чтобы отравить мораль в ее истоках. Ибо не может быть никаких сомнений в том, что он сделал свою Хелен чрезвычайно привлекательной и что он хочет, чтобы она завоевала наши симпатии. Так это правда или ложь? Давайте приступим к изучению доказательств.

В "Илиаде" мы не раз встречаемся со строкой:

τίσασθαι δ' Ἑλένης ὀρμήματα τε στοναχάς τε[1001].

и толкователи, чтобы избежать приписывания Елене каких-либо личных обид или представления ее скорее как страдальцы, чем правонарушительницы, прибегли к принудительному построению отрывка и интерпретировали слова как относящиеся к предпринятой экспедиции и перенесенным горестям, *из-за* Елены[1002].

Намерение Гомера относительно этого.

Если эта вынужденная конструкция не соответствует замыслу Гомера, популярное представление о ней должно немедленно взорваться. Согласно прямому и естественному построению, греки развязали войну, чтобы отомстить за причиненное ей зло и за стоны, которые это зло вызвало у нее. И следует отметить, что эта строка[1003] вложена в уста Менелая, которого очень естественно представить как наиболее страстно желающего отомстить за обиды своей жены, но несколько надуманно представлять как думающего отомстить за неприятности экспедиции, которую он так усердно продвигал. Линия, на самом деле, если только эти толкователи не будут обоснованно перегибать палку, убедительно подтверждает веру в то, что единственное зло, которое справедливо можно приписать гомеровской Елене, просто сводится к тому, что она не была женщиной совершенной добродетели, подкрепленной абсолютным и неукротимым героизмом. Поуп довольно грубо приблизился к исправлению сложившегося впечатления в заметке[1004], где он отмечает, что во всем, что она говорит о себе, "едва ли найдется слово, которое не было бы наполнено раскаянием и добродушием".

Прежде чем рассматривать прямые свидетельства относительно гомеровской Елены, давайте обратимся к некоторым косвенным. И, во-первых, можно заметить, что Менелай никогда не выражает ни малейшего негодования по отношению к ней и, по-видимому, не считал, что она каким-либо образом причинила ему вред. Далее, Приам, чей характер, очевидно, призван вызывать у нас большую симпатию и уважение, относился к ней как к дочери:

ἐκυρὸς δὲ, πατὴρ ὤ, ἦπιος αἱ εἶ[1005].

И это не было простой цифрой; ибо в Третьей книге он обращается к ней как к φίλον τέκος[1006] и усаживает ее рядом с собой. В соответствии с этой фотографией, ее невестка Лаодика обращается к ней как νύμφα φίλη[1007]. Далее Приам снимает с нее в своих глазах всякую ответственность за войну:

οὔτι μοι αἱ τίη ἔσσι, θεοὶ νύ μοι αἵ τιοί εἰ σιν.

И о том, что это не касалось Париса, мы можем узнать из многих отрывков, которые показывают нам, насколько общее настроение Троя вызвало у него отвращение. Если бы Елена обладала характером, который ей обычно приписывают, такое отпущение грехов, вероятно, не было бы приписано Приаму; хотя, безусловно, в честь Гектора не было бы записано, что он всегда сдерживал тех, кто был склонен насмехаться над ней из-за бед, которые она навлекла на Трою[1008].

Она действительно описывает себя как объект всеобщего ужаса в Трое (πάντες δὲ με πεφρίκασιν[1009]). Но эти слова не более чем передают впечатление, произведенное в момент агонии на ее собственный униженный и не доверяющий себе разум: хотя, даже если бы они давали точную картину того, как к ней относились троянцы, все же их вполне можно было бы объяснить теми горестями, причиной которых она была, по крайней мере, она сама, и чувства, которые они описывают, могли бы быть столь же естественными, даже если бы она была законно приобретенной женой Париса.

Есть еще два отрывка, которые на первый взгляд могут показаться свидетельствующими о враждебном ей настроении греков. Но объяснение их просто таково, что причина горя достаточно естественно осуждается из-за несчастий, которые она повлекла за собой, независимо от вопроса, может ли это быть виновной причиной или в какой степени это может быть[1010]. Так, Ахилл называет Елену ῥυεῖδανη, 'эта ужасная Елена'; но это только тогда, когда ее похищение принесло ему горькое и мучительное горе - смерть Патрокла. Когда он упоминает ее в великолепной речи Девятой книги к посланникам, она называется Ἠλένη ἡΰκομος, "светловолосая Елена". Теперь, если бы она была мерзкой, ход его аргументации, должно быть, вынудил бы его тогда заявить об этом. Ибо он рассуждал так: могу ли я не возмущаться потерей Брисеиды, которая была мне дорога (υιμαρής[1011]), когда сыновья Атрея сделали потерю Елены причиной войны? Если бы Елена была никчемна, это значительно усилило бы убедительность его аргументации, если бы он обратил внимание на контраст между женщиной, которую отнял Агамемнон, и женщиной, которую он искал вернуть посредством судорожной борьбы нации.

Другой отрывок находится в Од. xxiii, где Пенелопа, узнав своего мужа, говорит о Елене такими словами:

τὴν δ' ἦτοι ῥέξει θεὸς ὤφρ'εν ἔργον ἀεικές[1012].

Но даже в этом единственном отрывке, где так описывается поступок Елены, следует отметить несколько моментов. Во-первых, это относится к сверхъестественному влиянию, которое не является манерой этой Поэтессы, по крайней мере, в случаях глубокого и преднамеренного преступления; во-вторых, к ней не применяется эпитет позора; в-третьих, мы должны следить за ходом событий говорящего. Пенелопа извиняется перед Улиссом за свою собственную крайнюю осторожность и сдержанность в признании его личности. Поэтому она, естественно, стремится усилить ужасную природу события, когда жена отдает себя во власть любого мужчины, кроме того, кто, как известно, является ее мужем; и это независимо от того, является ли этот акт добровольным или непроизвольным. Соответственно, она ссылается на поступок Хелен, а не на агента, и рассматривает его как ужасный; но избегает обвинять его в умышленности.

Эпитеты Гомера для Елены.

С другой стороны, мы можем заметить, что общий оттенок эпитетов, которыми награждают Елену, в целом склоняется к хвалебному смыслу.

Она такая

εὐπατέρεια, высокородный; Ил. vi. 292; Од. xxii. 227; скорее всего, совпадающий по смыслу со следующей фразой.

Διὸς ἑΚγεγαυῖ Α, "дитя Юпитера"; Ил. iii. 199; *и алиби*.

κοῦρη διὸς, дочь Юпитера; Ил. iii. 426.

δῖ α γυναικῶν, превосходная, или цветок женщин; Ил. iii. 171, 228; и Од. iv. 305; xv. 106.

καλλιπάρης "о прекрасных щеках"; Од. xv. 123.

καλλίκομος; Од. xv. 58; ἥκομος; Ил. iii. 329, *и алиби*, светловолосая.

λευκώλενος, белорукий; Ил. iii. 121; Од. xxii. 227.

τανύπεπλος, всесторонне развитый; Ил. iii. 228; *и алиби*.

И, наконец, Ἀργεῖν, Аргивянин; Ил. ii. 161; и не менее чем в двенадцати других местах.

Ни одно из этих названий не несет в себе ни малейшего налета порицания. Эпитет δῖ α, по всей вероятности, относится к ее личной красоте и величию, поскольку мы находим его употребляемым в отношении Париса и Клитемнестры. Однако, по-видимому, использование термина "аргивянин" или Argeian во многих отрывках, где он не требуется для простого описания, имеет особую силу. Ибо Гомер никогда не выставляет то, что является просто греческим, ни в каком ином свете, кроме как в почетном; и, называя Елену аргеейкой, он, несомненно, выражает нечто вроде общей симпатии к ней. Ни один другой человек, за исключением только Юноны, не называется аргеейцем. Очевидно, что воздействие его эпитетов на нее в целом совершенно не согласуется с идеями, которые более поздняя традиция связала с ее именем. Еще более заметное свидетельство в ее пользу, чем любое из них, взятых по отдельности, может быть получено из его сравнения ее во дворце Менелая с Дианой:

ἦλυθεν, Ἀρτέμιδι χρυσηλακάτωϊ κῦ α[1013].

Он, конечно, не связал бы этим сравнением ту, о ком он хотел, чтобы мы плохо думали, с целомудренным и даже суровым величием его всегда чистой Дианы (Ἄρτεμις ἀγνή).

Это относится к обозначениям, применяемым к Елене в "Илиаде" и "Одиссее". Далее, что касается ее поведения. Признается, что в том, что касается целомудрия, у нее нет никакой вины, кроме неизбежной в ее положении. Помимо других качеств, которые будут замечены позже, она предстает в свете утонченной и чувствующей, непорочной и даже взрослой особы; характер, который, как мы увидим, Парис, похитивший ее у Менелая, не лишил ее способности носить.

Мы должны остерегаться безоговорочного применения к женщинам, оказавшимся в совершенно иных условиях, идей, столь специфически христианских, как те, которые относятся к абсолютной святости брачных уз. Мы должны скорее искать моральный аспект дела в мнениях того периода и в конкретных обстоятельствах, которые сопровождали разрыв уз в данном случае, чем предполагать это на основании голого факта, что разрыв имел место.

Случай с Вирсавией.

Может показаться не лишенным справедливости сравнение случая Елены с несколько похожим случаем Вирсавии у евреев. Если, с одной стороны, мы обязаны иметь в виду низшее положение последнего персонажа, то, с другой стороны, следует помнить, что греки были еще дальше удалены от света Божественного Откровения. Сейчас мы не привыкли считать характер Вирсавии позорным, хотя она жила с царем Давидом как одна из его жен, в то время как Урия, ее бывший муж, у которого ее отняли, был отправлен из-за нее на верную смерть; и это, насколько нам известно, не пробудило в ней каких-либо особых эмоций сочувствия, печали, нежелания или раскаяния. И это, как я понимаю, в основном по двум причинам: во—первых, у нас нет признаков какой-либо страсти, и в частности какой-либо предшествующей страсти, с ее стороны к королю-нарушителю; во-вторых, она, по-видимому, была лишь пассивной участницей похищения.

Именно в качестве жены и единственной жены Париса Елена является нам в "Илиаде", где она сама говорит о Менелее как о своем *πρότερος πόσις*[1014].

Теперь предполагаемые причины, по которым Вирсавия не считалась дурно известной, почти с такой же силой применимы к Елене. Действительно, персонаж Елены у Гомера в одном отношении стоит выше, чем персонаж Вирсавии в Ветхом Завете, потому что она жила с Парисом как признанная и единственная жена, а также из-за ее мягкости и особенно из-за ее раскаяния. О них, касающихся Вирсавии, мы ничего не знаем; но те мольбы, которые говорят в ее пользу, говорят в основном и о Елене. Ни в "Илиаде", ни в "Одиссее" у нас нет никаких указаний на то, что она когда-либо испытывала страсть или привязанность к никчемному Парису. Прежде всего, как будет предпринята попытка доказать, язык стихотворений не только не подтверждает идею о том, что она добровольно покинула дом своего мужа Менелая, но и демонстрирует нечто прямо противоположное.

Но нет способа так точно оценить взгляды и намерения Гомера относительно впечатления, которое мы должны были получить от Елены, как путем сравнения языка, который он применяет к ней, с совершенно иными терминами, в которых он описывает поведение Клитемнестры совместно с Эгистом во время отсутствия Агамемнона:

τὴν δ' ἑθέλων ἑθέλουσαν ἀνήγαγεν ὄνδε δόμονδε[1015].

Говоря о своем собственном похищении, Хелен действительно использует слово *ἑθέλουσαν*[1016]. И снова в своем резком обращении к Афродите она говорит: "Что, ты отвезешь меня (*ῥῆϊς*) в какой-нибудь другой фригийский или меонский город, где у тебя может быть любимая[1017]?" Однако это ни в коем случае не означает, что она действовала свободно; слово *ῥῆϊν* обычно применяется к уносу пленников из завоеванного города, как *φέρειν* относится к вывозу неодушевленных предметов. Несомненно, в одном из своих пассажей с самобичеванием она говорит[1018]:

οὐκ εἶ σὺ ἑπόμην, θάλαμον γυναικὸς τε λιποῦσα.

Но, во-первых, ни здесь, ни где-либо еще не сказано, что ее бегство было добровольным; а с другой стороны, без сомнения, не следует делать вид, что она сопротивлялась с духом мученицы. Настоящий вопрос заключается в том, каким был первый и роковой акт ухода от мужа, было ли это преднамеренным и было ли это по ее свободному выбору. Теперь обе ветви этого вопроса, по-видимому, окончательно решаются словом *ῥπάξας* в следующем отрывке[1019], на котором говорит Пэрис:

οὐ γὰρ πώποτέ μ' ὤδ' ἔγ' ἔβωας φρένας ἀμφεκάλυψεν,
οὐδ' ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἑρατεινῆς
ἔπλεον ἄρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν.

И остальная часть отрывка подтверждает эти доказательства, показывая, что она была свободна от какого-либо акта вины в момент начала путешествия. Изображение самого Менелая в Тринадцатой "Илиаде" согласуется с речью Париса. Он обвиняет этого принца и его пособников не в том, что они развратили его жену, а в том, что они увели ее,

οἷ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ
μὰ ψ οἷ χεσθ' ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ' αὐτῇ[1020].

Опять же, в единственном месте, где Елена ссылается совместно на свою долю и долю Париса в этом вопросе[1021], она различает их соответствующие части, говоря Гектору: "Тебе пришлось потрудиться из-за меня, какой бы бесстыдной я ни была, ἢ Λεξ' Ἀνδρου ἐνεκ' ἄτην, из-за греха Париса".

Изображение Елены в Ил. iii.

Давайте теперь проследим за характером Елены, каким он предстает перед нами в жизни и движении Поэта. В Третьей книге, когда Парис вот-вот встретится с Менелаем, Ирис в образе своей невестки Лаодики объявляет об этом Елене и дает ей понять, что ее собственная судьба зависит от вопроса, который решит, будет ли она женой Париса или Менелая. Лаодика застаёт ее за вышиванием, которое должно изображать войну греков и троянцев. Выражение, νύμφα φίλη, с которым обращается к ней переодетая богиня, является признаком того, что к ней относились с уважением, и что когда она говорит[1022] в последней книге насмешек и пародий, объектом которых она была, мы должны понимать, что она использовала естественное преувеличение страстной скорби. По зову кажущейся Лаодики, движимой, по-видимому, нежностью к своему бывшему мужу[1023] Елена выходит, одетая в простое белое одеяние[1024]. Когда она подходит к стенам, Приам подзывает ее к себе, чтобы она назвала ему имя царственного воина, которым оказывается Агамемнон. Делая это, он мягко снимает с нее всю ответственность за войну. Она отвечает речью, исполненной необычайного изящества, 'которого она боится, хотя и почитает и любит его: лучше бы она умерла несчастной смертью, чем оставила свою семью, свое брачное ложе, своего младенца и своих друзей. Но этого не могло быть, чтобы она когда-нибудь изнывала в слезах.' Она называет себя здесь и в других местах[1025] как κύων, а также как κύωντις, с бесстыдным лицом; но, тем не менее, она, похоже, всегда хранила теплые воспоминания о своем доме и друзьях[1026], и прожил в серьезном и печальном уединении. Повсюду она, кажется, не только не избегает, но и ищет возможность горького самообвинения. Таким образом, когда она указала на греческих вождей, которых знала лично, она продолжает: "Но я не вижу моих братьев, Кастора и Полидевка: возможно, они пришли не из Греции; возможно, хотя здесь, но из-за моего позора и поношения, они не появятся в бою"[1027].

Парис после своего поражения удаляется Афродитой с поля боя: Менелай остается победителем. Но Елена все еще стоит на стене, очевидно, надеясь, что наконец настал час ее восстановления. Затем ей является богиня Венера, переодетая в образ престарелой служанки,

и пытается привлечь ее ярким описанием Париса, его красоты и великолепных одежд. Это обращение встревожило Елену[1028]: и ее тревога почти переросла в оцепенение, когда она увидела черты божества. Но последовала бурная реакция: она дала горький и язвительный ответ. Нежная во всех других случаях, здесь она резка и саркастична. Она[1029] упрекает Венеру в том, что она пришла помешать Менелая забрать ее домой по праву его победы; затем предлагает ей принять на себя одиозный характер, который она стремилась навязать тому, кто слишком долго терпел это, и категорически отказывается идти. После этого Венера запугивает ее, угрожая сделать ее ненавистной как грекам, так и троянцам, и таким образом обречь ее на жалкую гибель. Затем она повинувается, закрывая лицо от стыда и негодования; и когда богиня ставит ее перед Парисом в их комнате, она резко упрекает его; но настоящая деликатность ее характера сохраняется в том, что она делает это *σσε πάλιν κλίνασα*, отведя и потупив глаза. В дальнейшем она - всего лишь невольное орудие страсти, которую Гомер, по-видимому, описал в этом месте вопреки своему обыкновению с явной целью довести негодование до высшей степени и покрыть Париса презрением и стыдом, пропорциональными совершенному им преступлению и страданиям, причиной которых он стал.

В целом, этот образ Елены в Третьей книге вполне можно считать одной из самых виртуозных частей "Илиады". Чрезвычайная тонкость и деликатность его штриховки отмечают его как бессмертное произведение гения, а мягкость Елены по отношению к Приаму, ее суровость к самой себе и ее суровость как к растлителю, так и к богине, которая помогала ему и вдохновляла его, формируют моральную картину самой поразительной правды и красоты. Действительно, если задаться вопросом, где язычество ближе всего подходит к покаянному тону и проповедисамоуничтожения, присущим христианству, нам, возможно, будет трудно указать на пример столь поразительного приближения, как здесь и в других местах "Елена Гомера".

In Il. vi. Il. xxiv. Od. iv.

В трех других местах стихотворений Хелен выдвигается на первый план.

В Шестой книге, прежде чем Гектор отправляется на поле боя, он отправляется в парижский дворец, чтобы вызвать его. Он обнаруживает, что женоподобный принц бесполезно возится со своими руками, в то время как Хелен наблюдает за прекрасными работами своих женщин[1030]. Постепенно выясняется, что, чувствуя позор трусости своего мужа, хотя и не интересуясь его славой, она убеждает его выйти и сражаться; и она пользуется присутствием Гектора, чтобы предложить ему стул, чтобы он мог отдохнуть от своих трудов; ругать себя за то, что она, после своего мужа, была причиной их; и, скорбя о том, что она пережила свое младенчество, сокрушаться также о том, что, если ей вообще суждено было выжить, она не была соединена с кем-то, менее невосприимчивым к чувству чести.

Опять же, Гомер считал ее достойной третьего места с Андромархией и Гекубой в качестве плакальщиц по могучему Гектору в глубоко трогательном описании возвращения его останков в Трою[1031]. Тон этой речи выдержан в точнейшей гармонии с тем, что говорилось ранее.

Теперь мы прощаемся с Еленой Гомеровской в ее горе и позоре среди троянцев. Но Поэт снова представляет ее нам в процветании и семейном мире как царицу Менелая, которая, хотя и не была наследницей верховного трона Агамемнона, все же после возвращения пользовалась в Греции большим влиянием. Это картина, которую Гомер не стал бы представлять нам в соответствии с обычным ходом событий, если бы его ум придавал Елене характер, данный ей

более поздней традицией; ибо где же он представляет нам нечестивых в благоденствии, не навлекая на них впоследствии кару небес? Но о Елене из "Одиссеи" он не оставил ни одной ноты скорби, за исключением самой трогательной и уместной из всех, а именно той, что боги не дали ей ребенка после Гермiony, дочери ее ранней юности[1032].

После пира она выходит в зал из своих величественных покоев. Ее сопровождают три служанки, которые несут соответственно: первая - ее сиденье, вторая - покрывало, третья - рабочую корзину и прялку. Она отмечает сходство Телемаха с Улиссом и смиренно признается, что сама была причиной страданий греков. Намеки, сделанные затем на Улисса, заставляют ее вместе с остальными нежно плакать; и когда ее муж со своими друзьями возобновляет пир, она подливает им в вино успокаивающее снадобье, предположительно опиум, которое она получила из Египта, чтобы заставить их забыть о своих горестях. Затем она начинает рассказывать истории в честь Улисса: и о том, как, когда в своем платье нищего он невредимым бежал из Трои и оставил многих троянцев убитыми позади себя, она одна, среди стенаний женщин, была полна радости, ибо сердце ее стремилось к своему дому.

В речи Менелая действительно есть черта, заслуживающая внимания, о которой недавно упоминалось. Елена спустилась, чтобы обнаружить, если возможно, греков, спрятавшихся внутри Коня: следовательно, действовать в интересах троянцев. Теперь, если, с одной стороны, она вспоминала о своей стране и своем первом муже с большой тоской, все же не стоит удивляться тому, что как женщина, нигде не претендующая на роль героини, она должна быть настолько податливой к желаниям или подчиняться принуждению троянцев — особенно если вспомнить ее любовь и почтение к их главе и к Гектору, который совсем недавно погиб, защищая их, — чтобы предпринять эти усилия, чтобы разгромить уловку осаждающих. Но Менелай, упоминая об этом инциденте, заботливо щадит чувства Елены еще одним из тех проявлений чрезвычайного такта и утонченности, которыми так примечательны произведения Гомера как в целом, так и в том, что касается рыцарского характера этого героя в частности. "Туда, - говорит он, то есть Коню, - ты пришел; и, без сомнения, - добавляет он, - тебя подтолкнуло влияние какого-то небесного существа, благосклонного к Трои"; таким образом, упреждая язву, которую могли бы нанести его слова:

ἦλθες ἔπειτα σὺ κεῖ σε· κελευσέμεναι δέ σ' ἔμελλεν

δαίμων, ὃς Τρώεσσι βούλετο κῆδος ὀρέξαι[1033].

Ее брак с Деифобусом.

Традиция приписывает Деифобу Елену в качестве мужа после смерти Париса. Эта традиция подтверждается, хотя и не прямо, но в достаточной степени, "Одиссеей"; ибо, говорит Менелай, когда греки сконструировали Коня и когда Елена спустилась вниз, чтобы обнаружить тех, кто был внутри него, подражая голосам их жен соответственно, добавляется:

καὶ τοὶ Δηϊφῶβος θεοεἶκελος ἔσπετ' ἰοῦσῃ[1034].

И дальнейшим отрывком в Од. vii. 517, который изображает Улисса, направляющегося прямо с Коня в дом Деифоба вместе с Менелаем.

Следовательно, предполагая, что эта история была хорошо обоснована, можно отметить, что выбор Деифоба в качестве человека, который должен был взять Елену в жены, вероятно, был основан на его высших достоинствах[1035]. Именно под его изображением Минерва вышла на поле боя, чтобы склонить Гектора к поединку с Ахиллесом: и затем Гектор описал его как того, кого он любил больше всего среди своих полнородных братьев, детей Приама и Гекубы. Следовательно, это полностью согласуется с идеей о том, что Хелен пользовалась уважением. И пусть это не покажется странным, что ей не разрешили оставаться незамужней. Идея одинокой жизни женщин вне дома их отцов, по-видимому, была совершенно неизвестна гомеровским грекам. Достигнув брачного возраста, они поженились; когда их страна была завоевана, они, конечно же, стали придатками ложа похитителя. Самой Пенелопе и в голову не приходило настаивать на том, что, когда о возвращении Улисса не могло быть и речи, у нее мог быть какой-либо другой выбор, кроме как сделать выбор среди Женихов, женой которых она станет. Телемах размышляет о ее немедленном возвращении в дом ее отца, когда он, ее сын, должен будет принять на себя все prerogatives мужчины.

Таким образом, все гомеровские свидетельства, по-видимому, показывают, что с момента ее изгнания ни общественные обычаи, ни религиозные идеи, ни моральный кодекс не могли позволить Елене оставаться в одиночестве. Но можно сказать, что это, по-видимому, слишком многое доказывает в ее пользу, а именно, что и похищение, и последующая жизнь были против ее воли. Однако, полностью согласуясь со свидетельствами стихотворений, можно предположить, что все ее преступление заключалось в том, что поначалу, возможно, наполовину бессознательно, она позволила льстецу оказывать себе знаки внимания, который стал одновременно любовником и тираном своей жертвы. Чтобы понять героическую эпоху, нам необходимо помнить, что обязанности женщины были возложены пропорционально ее силе; и что героизм выносливости, в котором она с тех пор преуспела, является продуктом христианства.

Тот элемент слабости и легкости в характере, в остальном прекрасном, который выдает случай с Лошадью, вероятно, был одновременно источником и мерой ее оскорбления по отношению к делу войны. Это был разум расслабленной натуры, который колебался под давлением. Меньшего мы не можем предположить, и нет причин предполагать большее. Уважение, испытываемое в определенных пределах к женщинам героического века и столь убедительно доказанное "Одиссеей", возможно, противоречит предположению, что Парис увез ее без какого-либо предварительного поощрения. Я ограничиваюсь словом 'возможно', потому что оно нигде не указано в стихотворениях, и мы можем в лучшем случае лишь предполагать на этот счет. С другой стороны, кажется несомненным, что то, что она искупила в печали на всю жизнь, было, во всяком случае, не более чем первым шагом на пути безрассудства, бездумной ошибкой близорукого тщеславия, которую состояние нравов не позволило ей впоследствии искупить. Раскаяться она могла бы, но вернуться было выше ее сил.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Елена из гомеровских поэм была задумана самим автором с особой деликатностью, с большой правдивостью натуры и без намерения лишить ее доли симпатий своих слушателей; что он сделал ее женщиной, не отлитой по образцу мученицы и не возвышенной в моральных идеях до способности понимать и выносливости выше ее возраста, но все же наделенной большой нежностью чувств, высочайшим изяществом и утонченностью, а также глубоким и своеобразным чувством стыда за то, что поступила неправильно. . Вероятно, ее понимание добродетели и чести, хотя и ниже, чем у самых высоких

матрон, могло быть ни в коей мере не ниже, чем у общества в целом в ее время, и выше стандарта многих последующих эпох; более того, выше также того, что преобладало, по крайней мере локально, даже в некоторые периоды христианской эры: как, например, когда Ариосто написал замечательный отрывок —

Perche si de' punir donna o biasmare

Che con uno, o più d' uno, abbia commesso

Quel, che l' uom fa con quante n' ha appetito

Что происходит не так, не так внезапно[1036]?

Общая оценка гомеровской Елены.

О деградации Елены более поздней традицией будет рассказано ниже. Тем временем будет видно, насколько сильно я, к несчастью, расхожусь в этом вопросе с Мюром, который обычно оказывал такое большое благодеяние изучающим Гомера. С ним "Елена - женский двойник Пэрис"[1037]. Пэрис и Хелен - соответственно 'человек моды и женщина удовольствий героической эпохи'. 'Оба беспринципные приверженцы чувственных наслаждений; оба своевольные и раздражительные, но не лишенные дружелюбия и великодушия'. Он действительно находит в ней 'нежность сердца и добрый нрав" и говорит, что 'следы лучших принципов, кажется, также скрываются под общим легкомыслием ее привычек'. Этой раздражительности, этого общего легкомыслия я не нахожу; скорее, это нотки рокового падения, постоянно и глубоко ощущаемые под общим изяществом и красотой ее характера. То, что Мюр называет своим "раздражительным спором со своей богиней-покровительницей", мы воспринимаем как благородную и возмущенную реакцию души, находящейся под ярмом сознательного рабства, но все еще стремящейся к добродетели. Действительно, я получаю некоторое утешение от заключительных слов его критики, в которых, выразив свою жалость и осуждение, он говорит, что все еще 'мы вынуждены любить и восхищаться'. Во всей классической литературе, насколько она нам известна, нет, повторяю, ничего, что так близко подходило бы к тому, что христианское богословие назвало бы чувством греха, как смиренное поведение и самоосуждающий, колющий язык Елены аргейской.

Характер Париса.

III. Персонаж Париса, как и любой другой в поэмах, достоин властной руки и справедливого суда Гомера. Это не прорисовано, с одной стороны, ни слабо, ни, с другой, слишком тщательно; штрихи именно такие и их так много, как, казалось, требовал его поэтический замысел, с одной стороны, и допускал, с другой. Парис, конечно, не джентльмен, но он прекрасный джентльмен и образец сладострастия героических эпох; и всем его преемникам в этих качествах вполне можно пожелать радости от их прославленного прототипа. Искушающим или, по крайней мере, смягчающим моментом в его характере является то, что осудило бы любого персонажа с более высокими интеллектуальными или моральными притязаниями; это полное отсутствие серьезности, неукротимое господство легкомыслия и безразличия ко всем серьезным и мужественным соображениям. Он полностью соответствует идее *поко-куранте*, за исключением демонстрации своей личной красоты, наслаждения роскошью и обращения к

чувственности как к лучшему убежищу от боли и забот. Он не чудовище, ибо не свиреп и не мстителен; но еще дальше он от того, чтобы быть одним из героев Гомера, ибо у него нет ни чести, ни мужества, ни красноречия, ни мысли, ни благоразумия. То, что он без раздражения сносит упреки Гектора, объясняется той же моральной апатией и той узостью ума, которые делают его нечувствительным к упрекам своей жены. Ни один мужчина не может всерьез возмущаться тем, чего он на самом деле не чувствует. Он полностью лишен даже деликатности и утонченности, которые смягчают многие черты порока; и чувственность, которую он демонстрирует в Третьей книге[1038] в значительной степени присуща жестокому характеру, которым отмечены похоти Юпитера. Ни одно мудрое, ни одно великодушное слово никогда не слетает с его уст. Только в одном вопросе он достаточно решителен; это в том, что он не откажется от женщины, которую, как он хорошо знает, он не привязал к себе[1039], и которую он держит не как объект своей привязанности, а просто как инструмент своих удовольствий. Единственная забота, которую он лелеет, - это украсить свою персону, продемонстрировать свою красоту, тщательно украсить оружие, которое он охотно выставил бы напоказ, но у него не хватает смелости применить против воинов Греции.

В "Илиаде" есть и другие более значительные достижения, но нет ничего более прекрасного и заслуживающего нашей похвалы, чем манера, с которой Гомер описал сложный характер Париса. Было совершенно необходимо возвысить его до определенного уровня значимости; если бы он был просто достойным презрения, его место на ранних этапах троянской истории и продление войны из-за него повлекли бы за собой слишком резкое отступление от законов поэтического правдоподобия. Это значение придал Гомер, то ли благодаря воображению, то ли благодаря истории; отчасти благодаря своему очень высокому положению. Даже если бы я ошибался, полагая, что Поэт хотел представить его старшим сыном или старейшим из ныне живущих сыновей Приама, все равно, по крайней мере, было бы ясно, что он более выдающийся и заметный, чем любой другой член царского дома после Гектора; в то время как он настолько менее достоин, чем, например, Деифоб, что никто, я думаю, не мог бы усомниться в том, что его отличие обусловлено тем, что он старше этого уважаемого принца и воина и остальных своих братьев. Далее, Поэт возвел его на самую высокую высоту в двух аспектах: во-первых, в даре стрельбы из лука, во-вторых, в наделении телесной грацией и красотой. Но ни то, ни другое не предполагает ни капли мужества или какой-либо другой добродетели; ибо лучник времен Гомера не был похож на британского лучника, который стоял со своими товарищами в строю и выполнял на войне функцию, которая с тех пор перешла к мушкетной стрельбе; он был простым снайпером, всегда имевшим самую удобную возможность прицелиться во врага и всегда находившимся вне опасности. В "Илиаде" ни один лучник не был ранен; но Пандар, столь искусный в обращении с луком, был убит, а Парис опозорен, когда они, соответственно, осмелились взять в руки копье. Опять же, Поэт ухитрился, чтобы достижения Парижа, хотя и были сами по себе непревзойденными, не привлекли к нему ни малейшей доли нашего уважения, большого или ничтожно малого. Этот принц действительно делает больше, чем даже Гектор, чтобы остановить поток греческой войны; ибо в Одиннадцатой книге из-за колонны он ранит Диомеда, сражавшегося с Бессмертными, Эврипила, который также был одним из девяти принявших вызов Гектора, и Махаона, одного из двух хирургов. Таким образом, Гомер[1040] смог сделать его наиболее полезным в бою, наиболее приятным для глаз и в то же время одинаково отвратительным.

Этой цели он достигает не прирученным методом описания, которого он так сильно избегает, а тем поворотом, который он придает повествованию, и той окраской, которую он придает ему одним или несколькими словами.

Парис, хотя и женоподобен и апатичен, не отличается нежностью ни к своей жене, ни к своим врагам; и когда он ранил Диомеда, он жалеет, что выстрел не был смертельным. Ответ Диомеда ранит глубже любой стрелы, когда он обращается к нему так:

Лучник! непристойный! охотник за пышными волосами[1041]!

Опять же, Поэт сообщает нам, как бы случайно, что когда после битвы с Менелаем его не смогли найти, это было не потому, что троянцы не хотели его выдавать, ибо они ненавидели его ненавистью, которую испытывали к темной Смерти[1042]. И снова мы узнаем, как он использует подкуп, чтобы сохранить свои позиции в Собрании; как он отказывается признавать даже свою собственную военную неполноценность, но неуклюже объясняет успех Менелая, говоря, что у всех людей есть свой черед[1043]; и как он вызывает стыд у своих соотечественников и ликование у греков, когда они противопоставляют претензии на его великолепную внешность с его жалкими достижениями в этой области[1044].

Гомер, как бы он ни был полон гармонии природы, отличается в этом, как и во многих других пунктах, от большинства более поздних авторов, тем, что он не сводит на нет должной пропорции между нравственным и интеллектуальным человеком и не сочетает высокие дары ума со скупым и порочным сердцем. Он никогда не отступает от этого правила; и он позаботился о том, чтобы четко соблюдать его в случае с Парисом. Ни одна серия речей в "Илиаде" не отличается большей бедностью идей. Если он моет свое оружие и строит свой дом, что является почетным занятием, то это занятие непосредственно связано с хвастовством, которому он был так предан. Более того, Поэт сообщает нам через посредство Елены, что у него было мало здравого смысла и что он был слишком стар, чтобы исправляться:

τοὔτ' ὅτ' ἄρ' οὔν φρένες ἔμπεδοι, οὔτ' ἄρ' ὀπίσσω

ἔσσονται[1045].

Непосредственный переход в Третьей книге с поля битвы, где он был опозорен, на роскошное ложе превосходно подходит для того, чтобы запечатлеть в сознании, благодаря сильному контрасту, реальный характер Парижа. И пусть не думают, что Гомер напрасно навязал нам сцену между ним и его упирающейся женой. Это было просто для того, чтобы он назвал плохим человеком того, кто грубо, эгоистично и фатально согрешил как против Греции, так и против своей собственной семьи и страны. Это впечатление не было бы последовательным и основательным во всех своих проявлениях, если бы нам было даже позволено предположить, что, будучи утонченным, любящим и нежным мужем, он, насколько позволяли обстоятельства, загладил перед Хелен зло, причиненное ей в его горячей и пьянящей юности. Такое предположение можно было бы оправдать, и оно подкреплялось бы самой слабостью характера Париса и его ролью в войне, если бы Гомер умолчал об этом предмете. Поэтому Он, хотя и осторожно, приподнимает завесу настолько, чтобы показать нам, что в нашей разнообразно составленной природе животное желание может израсходовать и поглотить силу, которая должна возбуждать наши высшие способности, и что, поскольку нет никого более жестокого, чем робкие, нет и более жестокого, чем женоподобные.

Одна, и только одна, опора Парижа на человеческую привязанность, кажется, сохраняется в любом виде. Отцовский инстинкт Приама заставляет его содрогнуться и ретироваться, когда ему сообщают, что Парис вот-вот встретится с Менелаем один на один. Эта черта была бы необычайной и универсальной красотой, если бы объект привязанности был хотя бы умеренно достойным: замечательным доказательством унижения Парижа и того сильного ощущения, которое Гомер дает нам об этом унижении, является то, что нежный отец кажется в какой-то мере запятнанным самим теплом и силой своей любви.

РАЗДЕЛ VII.

Склонение великих гомеровских персонажей в более поздней традиции[1046].

Физические условия греческого театра.

Одним из законных способов оценить истинное величие Гомера является наблюдение за тем, что стало с материалами и инструментами, с которыми он работал, после их перехода в другие руки. Действуя по этому принципу, давайте теперь перейдем к рассмотрению жестокого обращения с убийцами, которому пришлось подвергнуться самому замечательному из всех гомеровских персонажей в более поздней традиции; частично, как я уже отмечал, по общим, а частично по особым причинам. О более общем влиянии такого рода я уже говорил. К числу особых причин следует отнести изменение фундаментальных идей морали и политики между временем Гомера и исторической эпохой. С этим мы можем считаться с тем, что, хотя и может показаться техническим, должно, по всей вероятности, было наиболее важным, а именно, физические потребности, налагаемые фиксированными условиями драматического представления у греков[1047]. Их театры были построены в масштабе, который можно назвать колоссальным по сравнению с нашим. Как государство, так и религия вошли в институт сцены. Напряженный национальный характер их жизни требовал схожего персонажа в их пьесах, а также в тех местах, где они должны были быть представлены. Следовательно, должна была быть задействована не какая-то конкретная компания аудиторов, а скорее вся общественность города, где проходило представление. В результате размеры зданий превысили обычные возможности человеческого глаза и уха; так что фигура была увеличена за счет колючек, черты лица приобрели более смелые и грубые очертания за счет масок, а голос приобрел большую мощность благодаря акустическим приспособлениям внутри масок, а также благодаря конструкции зданий. Все это было тем более обязательным условием, что пьесы разыгрывались на открытом воздухе.

Теперь это общее преувеличение черт, выходящее за рамки естественных стандартов, имело непреодолимую тенденцию влиять на способ, которым моделировались персонажи для представления; заставлять их изображаться как морально, так и физически четкими очертаниями, большими массами и сравнительно грубыми. Тонкая и тщательная отделка Гомера требовала, чтобы те, кто должен был его декламировать, сохраняли полную и неограниченную власть над тем, в какой мере должны были использоваться органы тела. Τύνη δ' ἰφιοῖν из "Ахилла Патроклу" могло бы быть произнесено громовым голосом и абсолютно потребовало бы от барда значительного напряжения легких; но сцены Елены с Приамом в Третьей книге, Гектора с Андромархой в Шестой, Приама с Ахиллесом в двадцать четвертой не допускали такой трактовки; и поскольку эти отрывки сами по себе не могли быть

воспроизведены, то и не могло быть дано ничего, что имело бы истинную аналогию с Гомером, если бы актер не пользовался полной свободой также сокращать чтобы увеличить громкость своего собственного звука, или если только он не наслаждался как легким доступом на любых условиях, которые ему заблагорассудятся, к ушам своей аудитории, так и полной пользой от той важнейшей помощи, которую глаз оказывает уху, наблюдая за игрой выражения лица, сопровождающей выступление. Король Лир, король Иоанн или Отелло не могли быть представлены в греческом театре более правдиво и адекватно, чем Ахиллес или Елена Гомера. Те, кому когда-либо случалось обсуждать с глухим человеком важную тему, требующую осмотрительного и нежного обращения, будут знать, насколько необходимость постоянного напряжения голоса ограничивает свободу выражения мысли и портит ее совершенство. Греческие актеры испытывали нечто подобное, и, конечно, дикция трагиков была, сознательно или бессознательно, приспособлена к их потребностям.

Однако следует иметь в виду, что когда мы критикуем представления о гомеровских персонажах более поздних греческих авторов, это не обязательно должно основываться на предположении, что у нас есть глаза, способные разглядеть в Гомере то, чего не видели они. Их репродукции следует рассматривать как репрезентацию не столько свободного диктата ума и суждений более поздних поэтов, сколько условий репрезентации, которым они были вынуждены соответствовать, и популярных чувств и мнений, которые, будучи популярными писателями, они не могли не принять за свой стандарт. Изобретение книгопечатания дало мысли свободу и независимость, по крайней мере в сочетании с поэзией и драмой, такими, какими она не могла обладать, в то время как поэт, например, в Афинах, не мог петь никаким другим способом, кроме одного, а именно, для народа, собранного в массы. Поэт нового времени может писать для меньшинства публики, более того, для всего лишь горстки поклонников, которым суждено, но только спустя годы, вырасти подобно горчичному зерну из притчи. Но афинский драматург был вынужден в данный момент быть поэтом большинства и плыть в потоке его симпатий, каким бы противоположным ни было его направление по отношению к тому, в котором, будь у него свобода выбора, двигался бы он сам.

Стирание более тонких различий.

Соответственно, когда мы приступаем к рассмотрению литературной истории тех великих персонажей, которых Поэт передал в вечное владение миру, мы, вполне естественно, обнаруживаем, что поток более поздних традиций давным-давно обрушился на гомеровское повествование, подобно наводнению, принесенному Нептуном и Аполлоном через стену и ров греков. Как и любой другой потоп, сметая более мягкие материалы, которые придают рисунку более утонченные линии, он оставляет сравнительно твердые и резкие изображения более твердыми и острыми, чем когда-либо. Так обстоит дело с гомеровскими персонажами, перенесенными в более позднюю традицию. Более широкие различия его персонажей друг от друга были не только сохранены, но и преувеличены: все более тонкие исчезли. Никто, черпающий свои идеи только из Гомера, не мог бы спутать Диомеда с Аяксом, или с Агамемноном, или кого-либо из троих с Менелаем, или кого-либо из четверых с Ахиллесом; но когда мы доходим до эпохи трагиков, что остается отличать их, кроме разве что должности Агамемнона, а Ахилла - превосходства в физической силе? В гомеровских поэмах сильные и

выдающиеся интеллектуальные качества даже перевешивают огромные физические и животные силы его главного героя: из-за обычного преобладания в человеке грубого над прекрасным основные и возвышенные стороны его характера впоследствии подавляются, и он становится сравнительно вульгаризированным. В "Улиссе" Гомера, опять же, интеллектуальный элемент преобладает таким образом, что даже самый поверхностный читатель не может не заметить этого. Он и Елена выделяются в "Илиаде" среди других, с кем их можно было бы спутать; первый благодаря своему самообладанию и проницательности, вторая - не только своей красотой и своим падением, но и необычайно нежными и неземными чертами своего характера. Позднейшая традиция, наложив грубые лапы на более тонкие различия, установленные таким образом, низвела этих двух великих персонажей: одного - немногим лучше сценического мошенника, другого - немногим больше сценического сладострастника, который усугубляет вину этого персонажа дальнейшими и грубыми проявлениями неверия и даже кровожадности.

Даже тогда, когда во времена авторов Циклов характер Елены начал меняться. У Гомера она - жертва Париса, унесенная из своего дома и страны и только потом уступающая его похоти. В "Κύπρις ἔπει", как у нас есть в стихотворении Прокла, она начинает с того, что получает его подарки, то есть взятки; она прелюбодействует под крышей своего мужа; и она присоединяется к его ограблению, чтобы сбежать со своим любовником.

Именно у Еврипида мы находим самое крупное и разнообразное воспроизведение древних гомеровских персонажей, и поэтому ему среди трех трагиков мы должны уделить наше главное внимание. Когда мы рассматриваем их в целом, в соответствии с его представлением о них, мы обнаруживаем, что вся их примитивная и патриархальная окраска исчезла. Манеры не являются манерами какого-либо конкретного возраста; меньше всего это манеры очень раннего возраста. И, поскольку вся компания утратила свой отличительный тип, то же самое произошло и с ее членами, взятыми по отдельности. В "Троадах", например, Менелай - просто оскорбленный и раздраженный муж; Елена - неверная жена; и она поддерживается на определенном уровне драматической значимости в глазах мира только благодаря очередному отклонению от гомеровской картины, поскольку она вооружена огромной силой аргументации и софистики. Подобным придатком остроумного исследования были перекрыты и скрыты, по сути, некрасивые и женственные качества Гекубы. Ахилл в "Ифигении" - доблестный и великодушный воин; но у нас нет ни величия его бурных эмоций, как у Гомера, ни, с другой стороны, какой-либо особой утонченности, с которой они столь восхитительным образом сочетаются и контрастируют. У Еврипида Агамемнон утратил свои колебания и дурные предчувствия и является средним и, так сказать, всесторонне развитым царем и воином, вместо смешанного и многоцветного, но ни в коем случае не банального персонажа, каким его сделал Гомер. Хотя Андромаха - страстно любящая мать, у нее нет ничего, что идентифицировало бы ее как настоящую Андромаху. Действительно, о женщинах Гомера можно сказать, что у Еврипида они перестали быть женственными; в них вообще нет ничего от того прилагательного "характер" (если можно так выразиться), от той вечно склоняющейся и цепляющейся позы, моральной необходимостью которой является поддержка извне и которая так глубоко отличает их всех у Гомера. Опять же, Ифигения, Кассандра, Поликсена, которые либо едва ли похожи на Гомера, либо вообще не похожи на него, теперь стали великими героинями с безграничным сценическим эффектом; но сценического эффекта вообще нет ни в Елене Гомера, ни в его Андромахе. Андромаха, например, нарисована не очень тщательно. Она скорее продукт характера и чувств Гомера, чем его искусства. Она просто то, что Теннисон в своей "Изабель"

называет "величественным цветком идеальной жены".⁹ В ее простоте истинное представление о ней могло бы легко сохраниться в более поздней литературе, если бы представление о женщине как таковой оставалось морально неизменным. Но Андромаха Гомера была обречена на деградацию из-за своей чистоты, как выродились его Ахилл, его Улисс, его Елена, потому что полет такого высокого гения не мог продолжаться, и более слабые крылья опустились до более низкого уровня. Как Гекуба была престарелой матроной из "Илиады", а Елена - смешанным типом женщины, так и Андромаха была молодой матерью и женой. Ее единственная мысль была о муже и ребенке; но в "Троаде", многословной и рассеянной, она самым деловым образом обсуждает вопрос, должна ли она передать свою привязанность новому сеньору, собственностью которого она стала. Она действительно заканчивает тем, что правильно решает этот вопрос; но это тот вопрос, который никогда бы не пришел в голову гомеровской Андромахе.

Однако трое из персонажей Гомера были искалечены более поздней традицией гораздо более жестоко, чем любые другие; это первые достижения его могущественного гения: Елена, Ахилл и Улисс. Первое, скорее всего, из-за удивительной деликатности, с которой оно представлено у Гомера; остальные - из-за их исключительной полноты и широты охвата. Каждый из этих трех случаев заслуживает особого рассмотрения.

Увечье Елены Гомеровской.

В случае с Еленой чрезвычайная нежность окраски, которую использовал Гомер, бесконечно увеличивала шансы на ее сохранение. Среди всех женщин древности она по своей природе самая женственная, тончайшего сложения, хотя, как и во многих других случаях, определенная легкость текстуры существенно связана с этой тонкостью. Ее природная мягкость очень сильно усугубляется двойным эффектом ее страдания и ее раскаяния. Тихая и устоявшаяся печаль витает во всем ее облике и проявляется не только тогда, когда она плачет у тела Гектора или когда присутствие мужа напоминает ей о ее проступке, но даже под добродушными улыбками и успокаивающими словами старого Приама на стене. Неистовая и мучительная страсть рисует глубокие сильные линии, которые даже в копиях можно легко уловить и легко сохранить; совсем другое дело с глубоким, хотя и приглушенным страданием, пассивное влияние которого, проникающий оттенок, циркулирует как бы в каждой жилке и проявляется в каждой поре.

Елена Еврипида, Исократа, Вергилия.

Давайте теперь рассмотрим, как образ Елены вновь появляется у Еврипида, Исократа и Вергилия.

В "Агамемноне" Эсхил обозначил ее в форме каламбура как $\kappa\alpha\lambda\lambda\acute{\epsilon}\nu\alpha\upsilon\varsigma \acute{\epsilon}\lambda\epsilon\pi\tau\acute{o}\lambda\iota\varsigma$; и эти фразы в их нынешнем виде никоим образом не могут быть произнесены таким образом, чтобы заставить нас выйти за пределы гомеровской традиции. Но в "Гекубе" она откровенно проклята Хором и представлена самой Гекубой как великий деятель, а не пассивный повод и страдающий инструмент в катастрофическом падении Трои^[1048]. В "Троадах" она - позор страны, убийца Приама, добровольная беглянка из Спарты^[1049]. Андромаха самым яростным образом осуждает ее и дарует ей в качестве предков не Юпитер, а Смерть, Резню, Месть, Ревность и все зло на земле^[1050]. Менелай в ярости, призывает своих слуг притащить ее за волосы, запятнанные кровью, не дает ей имени жены, отправляет в Лакедемон^[1051], чтобы она сама умерла там в знак удовлетворения тем, чью смерть она виновно вызвала. Когда она спрашивает, может ли она быть заслушана в свою защиту, он коротко отвечает: нет:

οὐκ ἐς λόγους ἐλήλυθ', ἀλλὰ σε κτενῶ[1052].

Затем она произносит софистическую речь[1053] и признает себя невиновной в том, что поддалась страсти, перед которой не смог устоять даже Юпитер, в то время как она мстит Менелаю за то, что он оставил ее беззащитной перед искушением. *Quantum mutata!* Однако, что касается Деифоб, то она заявляет, что уступила только силе и что после смерти Париса ее часто замечали в попытках сбежать через стену к грекам.

Более того, в "Елене" Еврипида мы имеем пример грубой манеры, в которой персонажи, непонятые и считающиеся непоследовательными эпохой, которая не смогла их понять, были разорваны на куски, и как несколько фрагментов начинались заново, каждый сам по себе, в русле традиции. У Гомера мы видим трогательный контраст между целомудрием души Елены и незаконными условиями, в которых она жила. Предполагалось, что последнее, взятое отдельно, подразумевает нецеломудренную душу; первое - законное состояние. Таким образом, вместо одного повествования у нас есть два; тень или подделка Елены играет роль прелюбодейки с Парисом, в то время как настоящая и живая Елена остается скрытой в Египте, сохраняя в чистоте постель своего мужа, так что, хотя ее имя приобрело дурную славу, ее тело может оставаться незапятнанным. Эта последняя традиция особенно ценна, потому что она отмечает способ перехода от гомеровских представлений к ложным и сознание ранних поэтов, что они не сохраняли образ, нарисованный Гомером. Однако ни один план, построенный из таких непрочных материалов, не мог выжить; и, вполне естественно, характер Елены-жены был забыт, а характер Елены-сладострастницы был сохранен.

От брани и бесчестия Елены в большинстве пьес Еврипида мы переходим к тщательно продуманному панегирику, дошедшему до нас в "Ἑκώμιον" Исократ. Хвалебная ложь не менее неудовлетворительна, чем проклинающая ложь. Сейчас, по прошествии времени, мы обнаруживаем дальнейшее снижение моральных стандартов. Мы здесь, в ее наиболее абсолютной форме, обожествление красоты[1054]; ὁ σεμνότητος, καὶ τιμώματος, θεϊότητος τῶν ὄντων καὶ ἔστιν[1055]. Но это совершенно не связано с чистотой. Он не оправдывает и не подкрепляет свою хвалебную речь Елене, возвращаясь к истинному гомеровскому изображению ее; но он смело заявляет о высокой ценности чувственного наслаждения[1056], одобряет амбиции Париса приобрести непревзойденное владение и, следовательно, близкое родство с богами, и видит в войне лишь доказательство огромной и справедливой оценки, которой обе стороны обладали столь великим сокровищем[1057], без малейших колебаний относительно средств, с помощью которых она должна была быть приобретена или храниться. От этой картины мы можем перейти к "Елене Вергилия", которая представляет разрушительный процесс на последней стадии преувеличения и больше ничего не оставляет для изобретения духа опустошения.

В Эн. i. 650 объявляется, что Елена *искала* Трои и незаконное бракосочетание, вместо того чтобы быть увезенной из дома против ее воли. В Эн. vi. 513 она представлена как использовавшая религиозные оргии в роковую ночь, чтобы пригласить греков в Трои; и, предварительно тщательно убрав все оружие для защиты, она, как говорят, открыла Менелаю комнату своего спящего мужа Деифоба в надежде, что, став соучастницей предательского убийства, она могла бы обезоружить негодование того, кому она причинила такое глубокое зло. Но даже этот отрывок, вероятно, меньше повлиял на формирование в современном сознании фальсифицированного представления о Елене, чем один из самых необычайных по

живописному величию эпизодов во второй "Энеиде"; где Эней рассказывает, как он увидел ее, общее проклятие ее собственной страны и Трои, скорчившуюся у алтаря Весты, среди зловещего пламени последнего пожара, чтобы спастись от гнева Менелая.

Illa sibi infestos eversa ob Pergama Teucros

Et pœnas Danaûm et deserti conjugis iras

Præmetuens, Trojæ et patriæ communis Erynnis,

Abdiderat sese, atque aris invisa sedebat.

Æn. ii. 571-4.

И затем на языке, сияющее великолепие которого служит для того, чтобы скрыть весьма ничтожный характер этого чувства, Эней объявляет, что он собирался убить женщину, которая, по его словам, прожила десять лет как друг среди его друзей; когда в нужный момент появилась его мать Венера и напомнила ему, что в целом ему следовало бы подумать о спасении, если возможно, своего собственного отца, жены и мальчика.

Таким образом, в Елене Вергилия мы имеем великолепную личную красоту в сочетании с совокупностью самых глубоко одиозных моральных черт. Она погрязла в чувственности, предательница как Греции, так и Трои, готовая стать жалкими жертвами других в надежде приобрести собственную неприкосновенность: все ее глубокое раскаяние и печаль, вся ее нежность и скромность стерты из ее характера, а пустые места в картине заполнены отвращением, с которым и греки, и троянцы относились, как, впрочем, и вполне могли относиться, к такому чудовищу. Но давайте пройдем дальше.

Ахилл и Улисс.

Среди множества доказательств обширного размаха ума Гомера одно из самых замечательных можно найти в двойственных характерах его главных героев или протагонистов. Создается впечатление, что он исследовал человеческую природу во всей ее предельной широте и глубине и, обнаружив, что у него нет средств установить совершенное равновесие между ее высшими силами, когда все они находятся в полном развитии, решил представить их, применительно к двум великим функциям интеллекта и страсти, в двух бессмертных образах. В каждом из этих двух элементов каждый из этих элементов был представлен с необычайной силой, но так, чтобы верховная власть принадлежала Ахиллесу в отношении одного и Улиссу в отношении другого. Но глубина эмоций в Улиссе больше, чем в любом другом мужском персонаже поэм, за исключением Ахилла; только он скрыт из виду, потому что находится во власти его мудрости. И точно так же, с другой стороны, гораздо большая сила, направленная на самообладание и самоподавление, проявляется нам в Ахилле, чем в любом другом персонаже, за исключением Улисса; но это также частично затмевается, потому что несправедливость, неблагодарность, презрение и низость, которые Агамемнон концентрирует в отнятии у него любимого объекта, так непреодолимо вызывают к страстной стороне его натуры, что проявляют ее в непомерных пропорциях.

Таковы ведущие идеи двух персонажей, и Гомер снабдил каждого из них аппаратом вполне обеспеченного человека; и, распределив каждому его долю других качеств и достижений, он добился такого распределения, которое в целом дало бы наилучший баланс и наиболее

удовлетворительный общий результат. Таким образом, ясно, что характер Ахилла, прикрывавший вулканические страсти, находился под угрозой вырождения во френсис. Следовательно, Гомер приписал ему особую утонченность. Его досуг наполнен песнями, посвященными достижениям древних героев; он обладает тончайшим тактом и, безусловно, величайший джентльмен из всех воинов поэм; даже личные украшения, подчеркивающие его трансцендентную красоту[1058] не заслуживают его внимания, черта, которая была бы неуместна в "Улиссе", нелепа в "Аяксе"., и который в Париже вызывает презрение, но который имеет свое преимущество в Ахилле, потому что это простой аксессуар, подчиненный более важным вопросам, и потому что, насколько это возможно, это гиря, положенная на чашу весов, противоположную той, которая угрожает перевесить, и испортить сильной склонностью к насилию общую гармонию характера.

Точно так же, как Улисса отличает неизменное присутствие духа, предусмотрительность и господство над эмоциями, так и опасность для него заключается в чрезмерном преобладании расчетливого элемента, который угрожает низвести его с героических стандартов на низкий уровень вульгарного утилитаризма. Здесь, как и прежде, Гомер был наготове со своими лекарствами. Он показывает нам этого великого князя и государственного деятеля как носителя характера патриархальной простоты и делает его, самого глубокого и пронизательного человека в мире, олицетворяющим само детство человеческой расы в его готовности взяться за серп или плуг[1059]. Прежде всего — и это главная черта его характера — он делает Улисса образцом для Греции, отличающегося неизменной яркостью в семейных привязанностях. Эмоции Гектора в Шестой "Илиаде" и Приама в двадцать четвертой не идут ни в какое сравнение с эмоциями Улисса, потому что их эмоции составляют центральные черты характеров, а также являются результатом больших перепадов опасностей и несчастий соответственно, в то время как его эмоции демонстрируют и действительно составляют устойчивую направленность его души. Он единственный из всех вождей, которые были под стенами Трои, полон близких воспоминаний о своем сыне, его Телемахе[1060]; его желание и амбиции никогда не выходят за пределы бесплодной Итаки, и его ежедневная мысль на протяжении долгих лет скитаний и заключения - вернуться туда[1061], чтобы увидеть сам дым, выходящий вверх из его труб, так что чары богини причиняют ему боль, потому что они удерживают его от Пенелопы"[1062].

Такова была осторожность, с которой Гомер стремился к исключительному преобладанию в каждом из этих великих и замечательных персонажей их главной черты. Но тщетно. Ахилл тоже, однако медленнее, чем его соперник, превратился у более поздних авторов в дикого зверя; Улисс одним прыжком опустился до простого лавочника в политике и войне; и странно видеть, как, когда однажды основа характера была опошлена, а ключ к его движениям утрачен, он стал изображаться в позах, наиболее противоположных даже самым широким и бесспорным из гомеровских черт.

Увечье гомеровского Улисса.

В политическом характере Улисса нет ничего более примечательного, чем его способность действовать в одиночку против толпы; возьмем ли мы его в качестве руководителя его непокорной команды во время его странствий; или в теле Коня, когда один звук погубил бы предприятие греков, так что ему пришлось положить свою сильную руку на челюсти болтуна Антикла[1063]; или в суровых приготовлениях к его окончательной мести Претендентам; или в

его войне со своими мятежными подданными; или, прежде всего, в отчаянном кризисе Второй "Илиады", когда своим бесстрашным мужеством, решительностью и активностью он спасает греческую армию от полного и позорного поражения. И все же, подобно тому, как магометане[1064] поэты Италии, да и Англии, поносили поэтов-идолопоклонников, так и Улисс у Еврипида подвергается презрению как простой официант, пользующийся благосклонностью народа. Таким образом, в "Гекубе" он

ὁποικιλόφρων,

κόπις, ἡδύλογος, δημοχάριστος.

Теперь, когда можно так смело перейти к наиболее ярким и характерным фактам повествования Гомера, едва ли есть место удивляться любому другому виду искажения. Например, когда Гекуба сокрушается в "Троадах"[1065], что ее удел - быть пленницей низкого, вероломного, злобного, всеядного творца зла. Таков постоянный тип Улисса в последующей традиции. Всякий раз, когда нужно совершить что-то плохое, жестокое и, прежде всего, подлое, он является всегда готовым и действительно насквозь сатанинским инструментом.

Второе послание Первой книги Горация очень интересно в связи с этим предметом, потому что в нем он излагает результаты своего недавнего повторного прочтения гомеровских поэм в Пренесте. И, соответственно, мы находим здесь значительное улучшение по сравнению с "Улиссом" из греческой драмы. Похоже, что в это время он поразил Горация сильнее или благосклоннее, чем любой другой гомеровский персонаж; ибо после описания в сильных выражениях того, что было не так как внутри, так и за стенами Трои, он делает этот переход[1066];

Rursus, quid virtus et quid sapientia possit,

Utile proposuit nobis exemplar Ulyssen.

Он считает этого героя завоевателем Трои и отмечает его сдержанность и неукротимое мужество в невзгодах. Таково было преимущество свежего впечатления от гомеровского текста, а не от того, что было почерпнуто из мутного источника нынешних традиций. Это не умаляет, а усиливает комплимент, когда проницательный, но эпикурейский писатель более чем полусерьезно намекает, что эти добродетели Улисса были слишком высоки для подражания, и что сам он скорее довольствовался подражанием поклонникам Пенелопы и легкой жизни юношей около Алкиноя[1067].

Но если таким образом Гораций воздал гомеровскому Улиссу хоть малую толику справедливости, то Вергилий отказался от этой милости и постарался воспроизвести, без смягчения или смягчений, худшие черты наихудшей формы характера. С ним именно Улисс выбран на роль убийцы Паламеда и предателя Синон[1068], и возглавить отряд, который под руководством Елены должен был расправиться с Деифобом в его покоях[1069]. Из-за его свирепой жестокости даже "земля проклята ради него"; Эней осыпает бедную Итаку проклятиями, когда он проходит мимо нее. Как только его называют *инфеликс*, это величайший комплимент, который он где-либо получает; но его имя в немногих случаях избегает применения какого-либо оскорбительного эпитета, заимствованного одинаково из бесчеловечности или хитрости, кажется, не имеет большого значения, из какого именно[1070].

Об Ахилле Гомера.

Характеру Ахилла повезло больше в том, как он обращался с персонажами греческой драмы, чем характеру Улисса. В "Ифигении" Еврипида герой "Илиады" предстает как верный любовник и как доблестный воин. В то же время она совершенно утратила широту восприятия и размах, с которыми она нарисована у Гомера. Мы совершенно упускаем из виду ту непостижимую мощь интеллекта, страсти, а также телесную силу, все это объединено в одной фигуре, которая по качеству абсолютного величия выводит гомеровского Ахиллеса за пределы любого другого человеческого примера и заставляет его коснуться пределов сверхчеловеческого. Нет ничего сказанного или сделанного Ахиллом Еврипида, ничего, о чем сообщалось бы о нем или что приписывалось бы ему, никакого впечатления, произведенного на читателя относительно него, которое не было бы совершенно подходящим для других воинов; например, для Диомеда Гомера. Он возвращается в класс и становится простым его членом, вместо того чтобы быть высшим и одиноким созданием; одиноким, как Олимп среди гор Греции; навсегда одиноким в своем величии, среди знаменитых воспоминаний других героев, не менее истинно, чем он был одинок в своем уединенном лагере во время продолжения Гнева.

У Пиндара Ахилл появляется в другом наряде. Здесь он задуман без разума, как юноша, изумительный по силе, выносливости и быстроте ног, вырастающий в могучего воина[1071]. Ахилл Пиндара подобен камешку, отколовшемуся от горного массива Гомера.

Катуллу в его прекрасной поэме о Бракосочетании Пелея и Фетиды представилась редкая возможность воспеть славу Ахилла. И он фактически стал главной темой брачной песни, правильно так называемой; однако на самом деле поэт ничего в нем не воспекает[1072], кроме его доблести и стремительности; все остальное - простое усиление и приукрашивание. Кажется, к этому времени было полностью забыто, что у гомеровского Ахиллеса была душа.

Проницательность Горация здесь не позволила ему, как это было раньше, освободиться от популярных заблуждений,

Scriptor honoratum si forte reponis Achillem,

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer,

Юра негет сибидата, ни в чем не обвиняемый армис[1073].

Характер представлен здесь в слабом и вводящем в заблуждение свете, поскольку его кардинальным моментом является превосходство силы над правом. Так вот, у Гомера есть ощущение, что право было глубоко нарушено, и это служит той самой основой, из-за которой возникает его раздражение. Он не рассматривает этот вопрос как вопрос о *теит* и *тиит* только или даже главным образом. Его внимание сначала приковано к совершенному грубому проступку, и только потом к нему самому как к его субъекту. Он отвергает требование Агамемнона[1074] о компенсации в самом начале, когда ее требуют, не против него, а против греков в целом[1075]; и он раздражается негодующей бранью в адрес жадного царя еще до того, как Агамемнон пригрозил захватить Брисеиду, и после того, как он только настоял на том, что, если греки не выплатят ему компенсацию, он сам заберет приз *либо* Ахилла, *либо* Аякса, *либо* Улисса. По правде говоря, он является сторонником верховенства закона над волей в гораздо

большей степени, чем силы над законом; и есть величайшая разница между тем, чтобы доводить здравый и истинный принцип даже до крайности, и исходить с самого начала из ложного. Первое, а не последнее, относится к Ахиллу из "Илиады".

Ахилл из Статия.

Поэт Статий достаточно проницательно заметил, что Ахилл Гомера был всего лишь *торсом*; что "Илиада" позволила показать его как бы в одном свете и на одном этапе его карьеры. Поэтому он решил воспользоваться нерастраченным рудником и основать поэму о всем Ахиллесе, ребенке и мужчине, о его восхождении, в зените славы и в его заходящем пламени;

Nos ire per omnem

(Sic amor est) heroa velis ...

... для окончательного вывода троянской программы[1076].

Поэтому, возможно, мы вправе ожидать от него более полного и всесторонне развитого понимания персонажа, чем это было обычно, даже несмотря на то, что повествование обрывается. Оставшиеся пять книг этого труда не приводят его так далеко, как на равнины Трои; но мы оставляем его в путешествии из Скироса в Троаду. Таким образом, они в основном посвящены его пребыванию там в переодетом виде девушки и происшествиям, связанным с его пребыванием.

Итак, история Ахилла на Скиросе и его связи с Дейдамией согласуется с одной стороной его характера, описанной у Гомера. Очевидно, что его личная красота была не менее грациозной, чем мужественной; и, по преданию, он единственный из греческих вождей носил золотые украшения. Следовательно, то, что в дни своего отрочества он носил одежду девушек и выдавал себя за одну из них, во всяком случае, соответствует определенному пункту гомеровской традиции, хотя и мало соответствует ее возвышенному тону в целом. Но этот конкретный момент - как раз то, что Статий ухитряется полностью упустить из виду. Он показывает нам Ахиллеса похожим на притворную Энн Пейдж в "Веселых женах Виндзора"[1077], 'как большого неуклюжего мальчика', не осторожного и не способного придать грации движениям своих конечностей. Ибо в танце он разбил бы сердце любому здравомыслящему церемониймейстеру:

Nec servare vices, nec jungere brachia, curat:

Tunc molles gressus, tunc aspernatur amictus

Plus solito, rumpitque choros, et plurima turbat.

Также этот автор, по-видимому, вообще не уловил основных идей гомеровского персонажа. В "Илиаде" образование, которое получает Ахилл, является обычным образованием людей его ранга, и его трансцендентные способности в загробной жизни обусловлены справедливым, но не более чем справедливым развитием его экстраординарных изначальных дарований. Но у Статия он представлен как человек, всем обязанный особому воспитанию Хирона, чью полуплодную жизнь он разделял, так что его рацион в детстве состоял из сырых львиных

внутренностей и мозга полумертвой волчицы! Его ум, действительно, не остался незамеченным среди этих жестокостей, поскольку он исчерпал длинный перечень приобретений; но Стаций, как и следовало ожидать, полностью исключил из своего политического образования то, что является его главным элементом у Гомера, а именно искусство управлять человеком с помощью слова. Вместо этого Кентавр Хирон просто учит его тем абстрактным правилам справедливости, по которым он сам привык управлять кентаврами[1078].

К тому же возрасту, что и *Ахиллеиды* Стация, принадлежат *Троады* Сенеки. Как бы ни критиковали эту пьесу, как исследование, подобное другим работам того же автора, только для "чулана", и как бы это ни выдавало выбор Еврипида в качестве образца, по концепции и использованию некоторых известных гомеровских персонажей она, по-видимому, в какой-то степени лучше, чем любая постановка со времен Эсхила. Образ Андромахи, если и не перестал быть театральным, то полон, по крайней мере, сильной привязанности, и все это по-прежнему сосредоточено на Гекторе. Улисс, хотя и поносится этой матроной в ее страстной горе, по крайней мере, совершает гуманный поступок, давая ей немного времени поплакать, прежде чем приговор Калхаса будет приведен в исполнение над Астианаксом, и тоже демонстрирует что-то от интеллекта своего прототипа[1079]. Хелен выставляется не порочной, а лишенной твердости характера. Подстрекательство толкает ее на преступление - соблазнение Поликсены для ее жертвоприношения под именем новобрачной с Неоптолемом; начинает исполнение этой фальшивой роли с самобичевания, а затем, под вызовом Андромахи, прекращает ее и признает правду[1080].

Но здесь мы обнаруживаем новую форму отхода от древней и подлинной традиции. Главный мотив, приписываемый Сенекой грекам для казни Астианакса, - это ужасное воспоминание о его отце Гекторе и боязнь, что, повзрослев, он отомстит Греции за свою страну. И снова Андромаха как бы запугивает Улисса, вызывая тень своего мужа:

Rumpe fatorum moras;

Molire terras, Hector, ut Ulyssen domes!

Полное соответствие[1081].

Странная инверсия отношений, нарисованных Гомером.

Однако в течение всего времени, в течение которого мы жили среди греков и ранних римлян, процесс разложения действовал только на каждое из гомеровских творений сам по себе, и не было никакой действующей причины, которая полностью изменила бы и извратила их коллективные отношения друг к другу.

Новое взаимное положение троянцев и греков.

Но с того периода, когда появилась "Энеида", или, по крайней мере, сразу после того, как она стала обычной поэмой римской литературы, действовала новая причина, которая, ни в какой степени не смягчая прежних порочащих факторов, ввела их новый набор и начала нарушать положение двух великих групп персонажей, греков и троянцев, относительно друг друга.

Вергилий стремился дать цезарям преимущество владения царской древностью благодаря сказочному происхождению. Перед ним стоял выбор между Грецией и Троей, которые одинаково и единственно пользовались всемирной славой. Он не мог колебаться, что выбрать.

Греческие истории были слишком близки и слишком хорошо известны. Кроме того, греческие династии, как правило, приходили в упадок еще до того, как исчезали. Величие Пелопидов, в частности, угасло в результате бедствий и преступлений, и ни одна другая из гомеровских линий не достигла величия в политическом влиянии или исторической славе. Но семья Приама славно пала в битве за очаг и алтарь: она исчезла из истории в своей полной славе, "*Великая жизнь под землей* иба имаго". Вергилий также выбрал дом, который был самым древним и который прослеживал звено за звеном, чего не было у Агамемнона, известную и названную родословную вплоть до Юпитера.

По этой причине как в самой "*Энеиде*", так и впоследствии троянские персонажи были поставлены на ходули, и грекам было предоставлено воспользоваться своим шансом. Помимо потери равновесия и допустимого преобладания более грубых элементов, о чем мы должны сожалеть в греческом обращении с ними, мы теперь видим, что у римлян они даже отошли на второй план. Диомед из Арпи - личность совершенно незапоминающаяся; и он, как и все остальные его соотечественники, рассматривается Вергилием просто как инструмент для достижения повышенного эффекта, в интересах которого он пытается сконцентрироваться на своих троянских персонажах; тогда как ключ ко всем установкам Гомера в "*Илиаде*" следует искать в воспоминании о том, что он обращался со всем троянским так, как это рекомендовалось и требовалось его греческим происхождением. С этого времени пальма первенства как в доблести, так и в мудрости полностью переходит от греков к троянцам: герои Гомера остаются, подобно неотесанным валунам на равнине, грубыми, вульгарными и, соответственно, почти неразличимыми скоплениями хитрости или свирепости.

Вергилий задал тон в этом отношении не только литературе древнего Рима, но и литературе христианской Италии. По этой причине мы можем предположить, что, помимо прочего, Орlando, главный герой итальянского романа, как я уже отмечал, создан по образцу Гектора. Он во многих отношениях представляет собой очень грандиозную концепцию. Пульчи, описывая его смерть, поднимается даже до возвышенного, когда говорит, что есть

‘Un Dio, ed una Fede, ed uno Orlando.’

Что мы можем перевести в прозе как "Один Бог, один путь к Богу, один истинный тип мужественности". Тем не менее примечательно, что у Бохардо, как и у Ариосто, по крайней мере до сих пор сохраняются более чистые следы гомеровского переложения, что Орlando, хотя и является прообразом христианского рыцарства, все же, поскольку он напоминает Гектора в благочестии и добродетели, настолько же сохраняет свое сходство в этом отношении, что он не самый грозный или доблестный воин поэм. В частности, Ариосто уступает Мандрикардо, Родомонте и больше всего, но это по личным и благоразумным причинам, Руджеро. Этих троих, возможно, можно рассматривать соответственно как "Аякса", "Диомеда" и "Ахиллеса" из "*Орlando Фуриозо*".

И теперь фантазия о происхождении от троянского предка, моду на которую ввел Вергилий, получила полное развитие. Ариосто очень подробно и самым формальным образом устанавливает эту родословную для своих покровителей, семьи Эсте. Другие последовали за ним. Юмор вышел даже за пределы Италии, на эти тогда еще отдаленные острова. Английской нации приписывалось троянское происхождение, а Драйден открыто отрицал авторитет Гомера в том, что касается персонажей и истории.

"Моя верная сцена из подлинных записей расскажет"

Чем троянская доблесть превзошла греческую:

Слава ваших великих предков восстановится,

И напрасно ропщет разгневанный призрак Гомера[1082].'

В Оксфорде, при возрождении классической литературы, имя *троянцев* было присвоено теми, кто был настроен враждебно к изучению нового греческого языка и кто, не имея ничего, кроме имени, на которое можно было положиться, несомненно, выбрал лучшее, что мог.

Подражания Тассо.

Во всем "Иерусалиме" Тассо мы находим подражания, к которым относятся с большим интересом, чем к удаленным копиям, обычно находящимся в обращении, потому что из большого вливания в сюжет поэмы многих ведущих аранжировок, скопированных у Гомера, мы можем с полным основанием заключить, что они, по всей вероятности, были взяты непосредственно из оригинала. Некоторые из этих персонажей также настолько близко подражают Гомеру, что Тассо почти ничего не потратил на них, а просто снабдил их той частью гомеровской идеи, которую считал доступной.

Наиболее успешным среди них является Годфри, созданный по образцу Агамемнона, но, возможно, и усовершенствованный им, который, на мой взгляд, ни в коем случае не является одним из величайших персонажей "Илиады", хотя Митфорд неосторожно назвал его "амбициозным, активным, храбрым, великодушным и гуманным"[1083]. Агамемнон действительно обладает тем первичным и фундаментальным качеством для своей должности, политическим духом, если можно так выразиться, и чувством ответственности, которые так хорошо развиты у Годфри; но сомнительно, имеет ли он право называться либо полностью храбрым, либо вообще великодушным или гуманным. Персонаж Агамемнона превосходно соответствует своему месту и назначению в "Илиаде"; с более общей точки зрения, персонаж Годфри стоит выше в моральной сфере и, возможно, сам по себе образует лучшее поэтическое целое.

Хотя действие Ахилла в "Илиаде", по-видимому, приписывается Ринальдо, есть основания сомневаться, имел ли Тассо в виду, что личность или характер его героя имеют соответствующие признаки сходства. В том, что можно назвать побочным текстом его поэмы, он предпринял мимолетную попытку воспроизвести Ахилла и Улисса под именами Арганте и Алете, которые предстают как посланники султана Египта во франкском лагере. В пользу первого Тассо перевел две строки, описывающие Ахилла из Горация, и добавил изюминку из Вергилиана Мезенция:

Impaziente, inesorabil, fero,

Нелл влюблена в приглашение,

D' ogni Dio sprezzatore, e chi ripone

Нелла спада, жена легге и дочь раджоне[1084].

Соответственно, Арганте оказывается лучшим воином языческой стороны, и его характер, описанный в этих строках, последовательно воплощается в жизнь.

Пожалуй, не стоит сожалеть, что Тассо не оставил никаких других свидетельств того, что он имел в виду Ахилла; ибо Арганте имеет малейшее сходство лишь с самым искаженным изданием Ахилла. То же самое относится и к Алете. Будучи скромного происхождения, он достигает высоких почестей благодаря своей изобретательности и красноречию, а также уступчивости своего характера. Расторопный в художественной литературе, искусный в расставлении ловушек, мастер замаскированной клеветы "*кого соно обвиняет, э пайон лоди*"^[1085], - он, очевидно, вспоминает карикатуры, которые в течение двух тысяч лет циркулировали под именем гомеровского Улисса. Таким образом, знакомство Тассо с текстом, каким бы он ни был, не помогло открыть ему глаза, омраченные искаженной традицией, или приблизить его к истине в отношении этих суверенных творений гомеровского гения. Настолько верно, как в этом, так и в других вопросах, что, когда давно укоренившаяся ложь привычно и безмятежно овладевает общественным сознанием, она формирует атмосферу, которую мы вдыхаем задолго до того, как начинаем осознавать. Следовательно, поддельные цвета, которыми нас таким образом тайно пропитали, надолго переживают силу или даже сам акт возвращения к первоначальным стандартам. Ибо это повторение редко происходит при такой концентрации ума, которая необходима для осуществления двойного процесса, во-первых, выпутывания себя из сетей ложной концепции, и, во-вторых, построения для себя, и притом с самого начала, истинной концепции.

Шекспир и Чосер.

В "Троиле и Крессиде", в которых Шекспир, по крайней мере, участвовал, мы видим, возможно, одну из самых низких и поздних картин средневекового гомеровщины. Солнце древней критики зашло; солнце современной еще не взошло. Следует признать, что в этой пьесе, хотя она демонстрирует четкую работу рук Шекспира в некоторых великолепных пассажах и большую часть красивой и характерной дикции, мы едва ли найдем сохранившуюся хоть одну живую черту отца всех бардов. Наш несравненный драматург, не по своей вине, оказался в самом конце той порочной линии переписчиков, для которых прогрессирующее вырождение является необходимым законом. Как сказано^[1086], он следовал Лидгейту; Лидгейт черпал вдохновение у Гвидо Мессинского, который в тринадцатом веке основал себя на Dictys Cretensis и Dares Phrygius.

Мы можем предположить, что до него Чосер черпал информацию из тех же источников. Тем не менее, его поэма 'Троил и Крессиде' свидетельствует о знакомстве английского сознания со свободными институтами при Плантагенетах. Верность, с которой сохраняются традиции, а также легкость, с которой они возрождаются, без сомнения, часто зависят больше от моральных симпатий, чем от какой-либо причины, действующей просто через интеллект человека. Хотя Чосер имеет дело с не-гомеровскими личностями или событиями, или с тем и другим вместе, и снова копирует с копий, вероятно, очень испорченных, все же, как англичанин, привыкший к английским идеям правления, он с гораздо большей свежестью и

свободой раскрывает понятие общественного обсуждения в Трое (более того, даже само слово парламент здесь не лишено смысла), чем поэты греческой литературной эпохи.

Решение о котором принималось Парламентом

Чтобы Антенор уступил под Натиском,

И это было произнесено Президентом

Хотя Гектор, возможно, часто хвалился этим;

И, наконец, что бы это значило

Это было напрасно, это должно было случиться, и должно было случиться,

Для пояснения к документу это была бы[1087].

Но давайте вернемся к так называемому Шекспиру.

Терсит превращается в современного дурака. Диомед расхаживает на цыпочках, в то время как у Гомера его скромность среди греков является своеобразным украшением его доблести. Аякс, которого Гомер изобразил неуклюжим и добродушным, полон надменных глупостей, щегольства воинов; в то время как сам факт массивности, которая в сочетании с храбростью и прямоотой составляла его особую черту, стал отличительной чертой Ахилла. Еще более прискорбно обнаружить, что отношение этого героя к Патроклу осквернено грязными инсинуациями, совершенно чуждыми "Илиаде", ее автору и даже ее эпохе. Агамемнон - всего лишь царь сцены; и неудивительно, что персонаж Нестора, который требует тонкой оценки благодаря своему мягко закругленному построению, должен был стать совершенно заурядным и пресным. Та же участь постигает Улисса, которому отведена довольно второстепенная роль. Парису, без какого-либо улучшения его моральных качеств, позволено представлять гораздо более респектабельную фигуру: Елена Гомера упрекает его в трусости; но здесь он говорит: "Я бы охотно вооружился сегодня, но моя Нелл этого не допустила"[1088]. Она предстает простой прелюбодейкой; и те, кто помнит, как с ней обращаются у Гомера, смогут оценить склонение, произведенное временем и неумелыми руками, когда прочтут речь Диомеда, описывающую ее следующим образом:

Она обижена на свою страну: услышь меня, Париж!

За каждую фальшивую каплю в ее похабных венах

Жизнь грека оборвалась: без всяких угрызений совести

От ее веса зараженной падали

Троянка была убита с тех пор, как она научилась говорить

Она не произнесла так много добрых слов

Поскольку из-за нее погибли греки и троянцы[1089].

Пальма первенства в чистом героизме теперь настолько полностью принадлежит Гектору, что Ахилл убивает его только мечами своих мирмидонцев, а не своей собственной мощью; и этого

тоже не происходит до тех пор, пока, уставший и обезоруженный, он не обратится к Ахиллесу с просьбой отказаться от своего преимущества[1090]: так что Аякс говорит с очень серьезным видом. действительно, большая пристойность,

Великий Гектор был таким же хорошим человеком, как и он сам[1091].

‘Спор Аякса и Улисса’ Ширли, независимо от других достоинств, заслуживает внимания за частичный возврат к справедливой концепции гомеровских персонажей. Тем не менее, даже здесь притязания Аякса на герб Ахилла основаны главным образом на обвинении Улисса в трусости; и ответ этого вождя основывается слишком исключительно на описании его политических заслуг и достижений, как если бы он не был силен ни в каком другом титуле.

Описание Ajax, возможно, заслуживает того, чтобы его процитировали:

А теперь я смотрю на Аякса Теламона,

Я могу сравнить его с каким-нибудь просторным зданием;

Его тело вмещает в себя обширные пространства для развлечений,

И нижние части обслуживают офисы;

Только чердак, его возвышенная голова,

Бесполезен для разумного получения, заполнен древесиной.

Драйден следовал Шекспиру в той части этой области, которую тот выбрал, и заново затронул тему Троицы и Крессиды. Он отошел одинаково и от Шекспира, и от Чосера, доказав невиновность Крессиды, - предположение, по словам Скотта, не более приемлемое в предшествующую эпоху, чем то, ‘которое должно было показать Елену целомудренной или Гектора трусом’. Здесь воспроизведены все несоответствия пьесы Шекспира, включая смешение современного элемента любви с греческим и троянским рыцарством; Аякс и Ахилл подавлены до одного и того же низкого уровня.

Аякс и Ахилл! два болвана,

Которые отличаются только степенью толщины[1092],

- говорит Терсит, и Улисс отвечает в том же тоне. Троица честно убивает Диомеду в единоборстве, а затем сам оказывается убитым Ахиллом в толпе. Гектора отправляют за кулисы под мечи множества людей[1093].

Racine's Andromaque and Iphigénie.

Незадолго до этой пьесы Драйдена Расин взял в руки персонажей Троянской войны. Его ‘Андромаха’ и ‘Ифигения’, однако, не проливают на нас нового света и вполне могли быть задуманы человеком, который никогда не читал ни строчки Гомера, хотя в различных отрывках встречаются подражания, которые, должно быть, просочились из гомеровского текста. В целом он довольствовался копированием традиций, данных Еврипидом; и, возможно, вызовет улыбку чтение извинений одного из его редакторов, Буажермена, за манеру обращения с Улиссом в

"Ифигении". Появляясь ближе к началу пьесы как персонаж очень высокой значимости, он, тем не менее, играет в сюжете совершенно незначительную роль, вместо того чтобы взять на себя, как у Еврипида, важную функцию призыва к убийству Ифигении для чести и блага Греции. Говоря о критиках, которые обвиняют эту схему, редактор говорит, что они не заметили, что Расин использовал ревность и интриги Гермiony в качестве основных движущих сил против Ифигении, и что они приводят к тому же результату, к которому в противном случае (несомненно) могли бы привести рассуждения Улисса. Работа по литературной профанации вряд ли могла продолжаться дальше: Гомер создавал свои бессмертные шедевры не для того, чтобы их так капризно перекидывали от столба к столбу. В "Андромахе", как бы ее ни восхваляли, нам не хватает, еще более вопиюще, чем в "Ифигении", всей простоты и величия греческой героической эпохи, и мы оказываемся окруженными бесконечной мелочностью просто страстных личных интриг, для которых "я" является лишь полюсом и центром. Нет ничего более неприятного, чем видеть этих архаичных греческих персонажей, одетых по последней парижской моде, с соответствующей речью и действиями. Полное отсутствие широты и глубины характера, серьезности и решимости в противовес простому насилию таково, что в некоторых частях 'Андромахи' мы почти вынуждены спросить, читаем ли мы трагедию или бурлеск? Как, например, когда Шестая "Илиада" все еще стоит перед нашим мысленным взором, мы слышим, как Андромаха говорит своей наперснице:

Tu vois le pouvoir de mes yeux[1094];

и когда Гермiona угрожает своему *писающему* любовнику Оресту по отношению к Пирру,

Здесь нет ничего странного в том, что я хочу сказать[1095].

Именно здесь мы также видим доведенное, возможно, до высшей степени преувеличения искажение относительных боевых заслуг и подвигов Гектора и его противников. Греков Гермiona, сама спартанка, описывает как

Des peuples qui dix ans ont fui devant Hector;

Qui cent fois, effrayés de l'absence de l'Achille,

Dans leur vaisseaux brûlants ont cherché leur asyle;

Et qu'on verroit encore, sans l'appui de son fils,

Импунис Редемандер Элен окс Троян[1096].

Было хорошо, что обращение к Гомеру вообще прекратилось на время, когда персонажи и сцены, относящиеся к его сюжету, стали настолько антигомерическими, что они лишь искажали то, чему должны были способствовать увековечиванию. Последовал интервал, в течение которого им было позволено отдохнуть. Было бы рискованно предполагать, после неудач стольких эпох, насколько удовлетворительно они могут быть воспроизведены впоследствии. Гете, с его сильным пониманием классической древности, было суждено проникнуть в области, граничащие с "Илиадой" и "Одиссеей", с сознанием могущества мастера. В своей 'Ифигении', например, он придал своим сценам, событиям и персонажам тон и окраску, которыми только они и должны быть наделены. И если изучение Гомера впредь будет вестись с усердием, соразмерным преимуществам нынешнего века, они не смогут не накопить материалов, которые, как нам позволено надеяться, будущие гении облекут в такие формы, которые, если только они

верны духу своего оригинала, должны одинаково изобиловать красотой, истиной и величием и одинаково приносить радость и наставление человечеству.

Заключение.

Теперь мы прошли в сопровождении и при свете великого Поэта древности долгий, но, по крайней мере, пока он является участником, а не бесплодным кругосветным путешествием. Мы начали с самых ранних легенд о нем, слабо доносящихся до нас с расстояния в сто поколений. Мы видели, как творения его ума живут и движутся, дышат и почти сгорают перед нами, подчиненные силе и волшебству его искусства. Мы обнаружили, что он сформировал великий и благородный образец человечности, действительно отделенный от нашего опыта, но связанный тысячами каналов с нашими симпатиями. Мы видели, как величие нашей расы в одно и то же время было украшено простотой ее детства и укреплено силой ее зрелости. Мы видели, как это проявляется в отношениях общества и пола, в мире и на войне, в человеческих и божественных вещах; и исследовали это в различных аспектах сравнения и контрастирования. Мы видели, как бережно хранилась память об этой великой эпохе и о ее еще более великом Поэте; как признавалось доверие, которое он завещал человечеству, и все же как несовершенно оно оправдывалось. Мы стремились проследить судьбу некоторых из его величайших творений; и, проследив за ними на протяжении многих лет вплоть до наших дней, настало время расстаться. Немезида не должна найти меня^[1097],

ἤνυν δῆθύνοντ', ἧ ὕστερον αὔθις ἰόντα.

Перейти от изучения Гомера к обычным мирским делам - все равно что выйти из волшебного дворца в холодный серый свет полярного дня. Но заклинания, которыми пользуется этот колдун, не имеют ничего общего с тем лекарством из Египта^[1098], которое погружает дух в женоподобное безразличие: скорее они похожи на φάρμακον ἑσθλόν, специфическое лечебное средство^[1099], который, освежая понимание путем соприкосновения с истиной и силой природы, должен как повысить его бдительность в отношении обмана и опасности, так и увеличить его энергию и решимость для выполнения долга.

СНОСКИ

[1] Страница xvii.

[2] Меропа; Мэтью Арнольд, стр. 94, 135.

[3] Ил. iv. 160-82.

[4] История Гроте. Греция, том ii. стр. 83.

[5] Там же. стр. 84.

[6] Там же. стр. 102.

- [7] Там же. стр. 101.
- [8] Там же. стр. 86.
- [9] Там же. стр. 90, 102.
- [10] Там же. стр. 92.
- [11] Там же. стр. 95.
- [12] История Гроте. Греция, том ii. Стр. 94, 96.
- [13] Там же, стр. 105.
- [14] Ar. Eth. Nic. i. 2.
- [15] Thuc. i. 13.
- [16] Ar. Pol. III. xiv. xv. V. x.
- [17] Ил. ix. 297.
- [18] Ил. i. 186.
- [19] Il. ix. 392.
- [20] Од. xiii. 265.
- [21] Il. xi. 709, 39, 50.
- [22] Il. xiii. 685-700.
- [23] Il. xiii. 701-8.
- [24] Il. ix. 381.
- [25] Ил. v. 707-10.
- [26] Thuc. i. 2.
- [27] В. xii. 8, 4. стр. 572.
- [28] Од. viii. 391. vi. 54.
- [29] РЕДАКЦИЯ 394.
- [30] Там же. 386.
- [31] Од. xvii. 416.
- [32] Od. xxiv. 179.
- [33] Od. xxii. 136.
- [34] См. inf. "Илиос".
- [35] Ил. vii. 469.

[36] Ил. vi. 395-7. 425.

[37] С этими городами связана *связь* идей, которая вызывает подозрение. Это соответствовало бы характеру Агамемнона - предложить их Ахиллесу, поскольку он уже обнаружил, что не может управлять ими сам. Ни один из них не указан в Каталоге. Мы также не слышим о них в Девятнадцатой книге, когда дары принимаются. Представляется, однако, вполне возможным, что обещание Менелая руки своей дочери Гермiony Неоптолему могло быть оправданием остатка долга, оставшегося после первоначального предложения Агамемнона, от которого семь городов, по-видимому, отказались по согласию всех сторон.

[38] Ил. xi. 20.

[39] Ил. xxiii. 296.

[40] Од. ii. 324, 331, *и алиби*. Эпитет, я думаю, в точности передается другим словом, которое очень трудно перевести на английский, итальянским *prepotenti*.

[41] Вряд ли мне нужно выражать свое несогласие с описанием βασιλεὺς и ἄναξ в примечании к "Истории Греции" Гроте, том II. стр. 84. В Троеде нет расы под названием βασιλεύαται. Каждый βασιλεὺς был ἄναξ; но многие ἄναξ не βασιλεὺς. Верно, что ἀν ἄναξ мог быть ἄναξ либо свободным, либо рабом; но так же он мог быть и о домах (Од. i. 397), о рыбах (Ил. xiii. 28), или о собаках (Од. xvii. 318).

[42] Ил. xvi. 386.

[43] Од. i. 391-3.

[44] Ил. ix. 155.

[45] Од. ii. 230-4.

[46] Редакция 8-12.

[47] Од. xviii. 83-6 и 114.

[48] Од. xxi. 308.

[49] Од. xx. 382, 3.

[50] Гесиод "Ἔργα". i. 39. 258. cf. 262.

[51] Ил. xviii. 556.

[52] Hes. Бог. 80-97.

[53] Thuc. i. 13.

[54] Ил. i. 231.

[55] Ил. iii. 179.

[56] Од. ii. 47.

[57] Гесиод. "Ἔργα". 17-24.

[58] Утверждается, что этот титул применялся в Аттике даже к архонтам десятилетнего периода. Tittmann, Griechische Staatsverfassungen, b. ii. p. 70.

[59] Ил. ii. 205.

[60] Ил. ii. 101.

[61] Ил. ix. 334.

[62] Ил. ii. 53 *и алиби*.

[63] Ил. xix. 309. ii. 86.

[64] Ил. ii. 487, 493. xx. 303.

[65] Ил. ii. 404 и vii. 327. О силе παναρχαοί см. Ахей, или Этнология, стр. 420.

[66] Ил. ii. 188.

[67] Ил. vii. 167-70.

[68] Ил. x. 175, соединенный с 195.

[69] Ил. x. 196, 7.

[70] Ил. ix. 607.

[71] Ил. ii. 736, 7. vii. 167. xi. 819.

[72] Ил. xvii. 51. ii. 673.

[73] Ил. xxiv. 631.

[74] Ил. ii. 674. Od. xvi. 175. Ил. iii. 224, 169, 226 и Od. xi. 469.

[75] История. том ii. стр. 87.

[76] Ил. xvii. 225.

[77] Ил. ix. 394.

[78] Ил. xvii. 520. Od. xii. 83.

[79] Ил. ii. 660.

[80] В "Одиссее" оно также не применяется к каким-либо телам, более многочисленным, чем тринадцать "королей" Схерии, Od. v. 378; и к ним в качестве королей.

[81] Редакция 386.

[82] Ил. xxiii. 653.

[83] Ил. x. 352.

[84] Ил. xxiii. 750.

[85] Il. xxiii. 670.

[86] Ил. ix. 186.

[87] Од. xviii. 366-75.

[88] Од. xix. 500-2.

[89] В Од. xxii. 417 он обращается к Euryclea за информацией, в которой ранее ему было отказано. Это после испытания Лука: второе было до того, как оно было предложено, и когда Шеф, вероятно, рассчитывал, что у него будет больше времени для наблюдений, чем оказалось на самом деле.

[90] Ил. i. 334.

[91] Ил. ix. 197.

[92] Ил. xxiv. 486.

[93] Од. ii. 33, 5.

[94] Од. viii. 159. и далее.

[95] Ил. iv. 231 и далее.

[96] Од. i. 40.

[97] Ил. x. 32.

[98] ὅ τοι γενεῇ πατρῴϊόν ἐστιν, Од. i. 387.

[99] Од. i. 396. ii. 182.

[100] Од. i. 396.

[101] Од. ii. 82.

[102] Од. xi. 254, 6.

[103] Од. xi. 281.

[104] Од. iii. 36.

[105] Од. iii. 402. Il. vi. 242-50.

[106] Од. iii. 439-46 и 454.

[107] Ил. xv. 204-7.

[108] Од. xiii. 141.

[109] Од. xiv. 74. 94.

[110] Ил. xviii. 498.

[111] Ил. ii. 204.

- [112] Ил. i. 237.
- [113] Ил. ix. 98.
- [114] Ил. xviii. 506.
- [115] Ил. xvi. 386.
- [116] Ил. iii. 179.
- [117] Ил. vi. 207.
- [118] Od. xiv. 98.
- [119] Ил. xii. 310-28.
- [120] Gen. xliii. 11.
- [121] Ил. vii. 467-75.
- [122] Od. vii. 8-11.
- [123] Ил. xviii. 508.
- [124] Od. xvii. 68.
- [125] Ил. vii. 313.
- [126] Ил. ix. 70.
- [127] Там же. 73.
- [128] Od. vii. 49, 108.
- [129] Ил. ix. 155.
- [130] Ил. x. 239.
- [131] Thuc. i. 9.
- [132] Od. iv. 584.
- [133] Od. ix. 263.
- [134] Ил. ii. 303-7. 339-41.
- [135] Там же. 308, 322.
- [136] Ил. iv. 169-72.
- [137] Od. vii. 77.
- [138] Ил. ix. 356-63, 417-20.
- [139] Ил. iv. 415-8.
- [140] Ил. i. 117.

[141] Ил. vi. 45-62.

[142] Ил. iv. 473-9.

[143] Ил. ix. 459.

[144] Ил. xxii. 485. Од. xxiv. 434.

[145] Од. xi. 85.

[146] Од. iv. 10-12.

[147] Од. xvii. 383.

[148] Ил. vi. 314.

[149] Од. iii. 267.

[150] Од. xvii. 263. xxiv. 439.

[151] Од. xix. 135.

[152] Од. viii. 161.

[153] РЕДАКЦИЯ 183.

[154] Од. xxiv.

[155] История. Греция ii. стр. 84.

[156] В редакции xvi. 248, 253, также δαίτρος, в редакции i. 141. Точно так же в Схерии было девять αἱ σὺμνῆται, которые готовились к танцам. Это были государственные служащие (δῆμοι), и их справедливо можно назвать "церемониймейстерами". (Од. viii. 258.)

[157] Од. xiv. 449-52.

[158] Од. xxiv. 498.

[159] Од. xvii. 320-3.

[160] Од. xi. 489-91.

[161] Од. xiii. 223.

[162] Ил. i. 321.

[163] Ил. xxiv. 396-400.

[164] Од. ii. 17.

[165] Там же. 474.

[166] Од. xxiv. 387. 497.

[167] Ил. ii. 110.

[168] Od. xiv. 222.

[169] Il. ix. 70-73, 330-3. i. 121.

[170] Ил. xi. 100, 110.

[171] Od. xiv. 96-104.

[172] Боги, Ил. i. 599 *и алиби*. Богатый человек, Ил. xi. 68. Од. i. 217. Счастливый человек, Од. vi. 158. xi. 482. Ил. iii. 182. xxiv. 377.

[173] Ил. vi. 236.

[174] Ил. ii. 448, 9.

[175] Il. xxiii. 702-5.

[176] Ил. xxi. 79.

[177] Od. xxii. 57-9.

[178] Agam. 37.

[179] Il. xxiii. 740-51.

[180] Раздел iii. 14. 5.

[181] Видео. Ахейцы, или Этнология, стр. 574.

[182] Даже приведенный в Il. xiii. 211 пример безымянного человека, который был просто ранен, является редким, если не единственным, исключением.

[183] Ил. xiii. 685.

[184] Ил. ii. 333.

[185] Ил. xviii. 509, 13, 20.

[186] Ил. i. 226.

[187] Ил. xiii. 276-86.

[188] Od. iv. 277-88.

[189] Il. xxiii. 791.

[190] Ил. ii. 408-9.

[191] Ил. ix. 10. 89.

[192] Ил. x. 195.

[193] Ил. i. 54. xix. 41.

[194] Ил. vii. 344, 382.

[195] Ил. iii. 146-53.

[196] Ил. xviii. 506.

[197] Од. ii. 14.

[198] Од. xxi. 21.

[199] Ил. iv. 329-63.

[200] Там же. 385-418.

[201] Ил. ix. 37.

[202] См. Од. xi. 512.

[203] История Греции, том ii. 95, 97.

[204] Гроте ii. 104.

[205] Ил. ix. 30.

[206] Там же. 50.

[207] Ил. ix. 79.

[208] Там же. 97.

[209] Ил. xix. 182.

[210] История Гроте. том ii. стр. 90, 2.

[211] Он использует эпитет для обозначения битвы в Il. iv. 225, 6. 124, 7. 113, 8. 448, 12. 325, 13. 270, 14. 155, и 24. 391.

[212] Il. ix. 438-43.

[213] Од. ii. 150.

[214] Од. viii. 170-3.

[215] Од. viii. 166-85.

[216] Ил. ii. 212.

[217] Од. iii. 23, 124.

[218] Ил. iii. 213.

[219] Ил. iii. 150.

[220] Ил. i. 248.

[221] Ил. iii. 216, 23.

[222] Ил. xi. 122-42.

[223] Od. xxii. 310-25.

[224] Версия Voss очень точная, но, как мне кажется, безжизненная. Версия Каупера на данный момент неудовлетворительна: он ослабляет, преувеличивая, деликатное выражение μεμήλη:

Взгляни вперед на ранний рассвет,

И, если такое зрелище *доставляет* хоть какое-то удовольствие,

Ты увидишь, как я рассекаю землю своими носами и т. Д.

В версии Роуэ эта строка просто опущена!

Завтра мы, благосклонные боги, умоляем:

Тогда ты увидишь, как наши расставательные сосуды будут увенчаны короной,

И слышите, как гремит Геллеспонт с помощью весел.

[225] Il. ix. 340.

[226] Ил. i. 106-244.

[227] Ил. ix. 387.

[228] Ил. i. 127.

[229] ii. 227.

[230] Ил. i. 121-9.

[231] Там же. 149-71.

[232] Там же. 225.

[233] Там же. 231.

[234] Там же. 239.

[235] Ил. ii. 213.

[236] φολκός. См. Буттманна, Лидделла и Скотта. Обычно переводится как "щурящийся".

[237] Ил. ii. 214-19.

[238] Там же. 275, 220.

[239] Ил. ix. 198.

[240] В 237 он, похоже, следует тому, что сказал Ахилл, глава 170.

[241] Ил. ii. 241, 2.

[242] Ил. ii. 229-31.

[243] xxi. 40, 79. xxii. 44.

[244] 246-56.

[245] История Гроте. Греция, том ii. 95, 6.

[246] Там же. стр. 96, 98.

[247] Ил. ii. 198.

[248] Там же. 190, 200.

[249] ст. 271-8.

[250] Ил. ii. 270.

[251] Ил. xviii. 502.

[252] Ил. vii. 381.

[253] Количество страниц 100.

[254] Od. iii. 139.

[255] Od. ii. 212.

[256] Od. ii. 239-41.

[257] Грех. Государственный архив. б. ii. стр. 57.

[258] Од. ii. 257. Ил. i. 305.

[259] Од. vii. 151.

[260] Od. vii. 189-94, 317.

[261] Од. viii. 7-15.

[262] Номер заслуживает внимания. Пятьдесят, как мы знаем из Каталога, были обычной корабельной командой гребцов. Кто были эти двое? Вероятно, командир и рулевой. Двойственное используется в обоих местах, где упоминаются числа (κρινάσθων, версия 36, κρινθέντε, 48, βήτην, 49). Есть и другие отрывки, где двойственность выходит за пределы числа два, к трем и четырем. См. Нитцша в лок. Но использование его здесь с таким большим числом примечательно, и лучше всего его можно объяснить, предположив, что оно относится к δύο, которые были главными людьми команды, и что пятьдесят не рассматриваются как составляющая часть подлежащего глагола. Если это так, то этот отрывок в очень простой форме показывает нам зачаточный морской порядок греческих кораблей.

[263] Од. viii. 38.

[264] Од. viii. 158-64.

[265] Од. viii. 157.

[266] Вероятно, строго собственным названием Ассамблеи, в отличие от места проведения собрания, является $\alpha\upsilon\upsilon\iota\rho\iota\varsigma$ или $\pi\alpha\nu\acute{\eta}\upsilon\iota\rho\iota\varsigma$ (как в Од. iii. 131), но преобладает общее для них название.

[267] Од. xxiv. 463.

[268] Од. xxiv. 546.

[269] Помимо всех приведенных подробностей, у нас есть случайные заметки, разбросанные по стихотворениям, которые имеют тенденцию точно в том же направлении. Например, когда Хрис молится о возвращении своей дочери, его прошение адресовано главным образом двум Атридам, но оно также адресовано всему телу $\alpha\alpha\iota\omega\iota$ (Ил. i. 15), то есть либо всей армии, либо, во всяком случае, всем царям; либо всем представителям ахейской расы. Это мы можем сравнить с применением молитвы Улисса в Схерии к царю и народу.

[270] Ил. viii. 28, 9. ix. 430, 1.

[271] Ил. viii. 38-40.

[272] Ил. i. 5.

[273] Ил. iv. 17-19.

[274] Од. ii. 68, 9.

[275] Ил. xviii. 497.

[276] Ил. xi. 807.

[277] Редакция ix. 112-15.

[278] Титтманн Грех. Государственный архив. б. ii. стр. 56.

[279] Ил. ix. 404.

[280] Ахейцы, или Этнология, РАЗДЕЛ ix. стр. 496.

[281] Ил. viii. 47, 8.

[282] Ил. iii. 298.

[283] Ил. iv. 48.

[284] Ил. xxi. 442 seqq. vii. 459. xii. 17.

[285] Olympus, РАЗДЕЛ iii. стр. 197.

[286] Ил. vi. 298-300. 305-10.

[287] Ил. v. 446.

[288] Ил. i. 37-9.

[289] Ил. vii. 540. xiii. 827.

- [290] Il. i. 457.
- [291] Ил. v. 49.
- [292] Ил. v. 421-5. 348-51. iii. 405-9.
- [293] Ил. v. 9. и 20-4.
- [294] Ил. xiv. 490.
- [295] Ил. iii. 103. 116.
- [296] Ил. xviii. 239.
- [297] Il. xxiv. 234-5.
- [298] Ил. vi. 289-92.
- [299] Herod. ii. 50.
- [300] Döllinger Heid. u. Jud. VI. iii. p. 411.
- [301] Рея (Ὶρα) показывает нам четвертую и космогоническую сторону той же концепции.
- [302] Olympus, РАЗДЕЛ iii. стр. 234.
- [303] Ил. xiv. 490.
- [304] Ил. xxiv. 194.
- [305] Olympus, СЕКЦИЯ v.
- [306] Il. xxiv. 347, 355, 358-60.
- [307] Ил. v. 77.
- [308] Ил. ix. 575.
- [309] Od. xv. 223 и далее.
- [310] Ил. xxi. 331 и далее.
- [311] Ил. xx. 7.
- [312] Ил. xxi. 130-2.
- [313] Ил. iv. 474, 488.
- [314] Ил. v. 49.
- [315] Редакция 445.
- [316] Il. xxiii. 144.
- [317] Il. xi. 728.
- [318] Il. xx. 221.

[319] Ил. ііі. 147-9. хv. 525-7.

[320] Ил. хіv. 271. хv. 37.

[321] Ил. 2. 751-5.

[322] Сравнить Іл. ііі. 276. хіх. 258.

[323] Ил. хх. 74.

[324] Іл. ххі. 308.

[325] Од. хііі. 356.

[326] Од. хііі. 103.

[327] Там же. 96.

[328] Од. хvіі. 208-11.

[329] Ил. vі. 21.

[330] Ил. хіv. 444.

[331] Іл. хх. 384.

[332] Іл. ххіі. 435. ххіv. 209.

[333] Ил. іх. 559.

[334] Ил. хіх. 90-133.

[335] Ил. ххіv. 602-17.

[336] Од. хх. 66.

[337] Од. ххі. 295-304.

[338] Іл. v. 697 и vіі. 60.

[339] Ил. ххіv. 220.

[340] Ил. ххіv. 223, 194.

[341] Дополнение. стр. 155.

[342] Ил. vі. 422. ххіі. 482.

[343] Редакция іх. 65.

[344] Од. хі. 51.

[345] Ил. ііі. 276.

[346] Ил. хіх. 258.

[347] Ил. хіv. 271-4, 278, 9.

[348] Ил. xv. 36-40.

[349] Od. v. 184.

[350] Ил. iii 264-75.

[351] Экскурсия Вордсворта, род. iv.

[352] Il. xxii. 171.

[353] Ил. ix. 404. Эссе Л. Д. Абердина, стр. 86.

[354] Od. xii. 345.

[355] Од. vi. 10; vii. 56.

[356] Ил. i. 39.

[357] В локализации.

[358] Терпстра, с. iii. 4.

[359] Ил. xi. 807, 8.

[360] Од. iii. 438. xii. 347.

[361] Од. xv. 224 *и далее*.

[362] Од. xi. 150.

[363] Od. xxii. 310-29. xxi. 144.

[364] Редакция ix. 197-201.

[365] Il. xxiv. 221.

[366] Il. xvi. 235.

[367] Ил. ii. 400.

[368] Ил. xi. 807, 8.

[369] Od. xvii. 384-6.

[370] Il. ix. 535.

[371] Legg. vi. 7.

[372] Ил. i. 28.

[373] Ил. i. 62.

[374] Ил. i. 15.

[375] Il. xvi. 235.

[376] Редакция іх. 205.

[377] Деллингер, имя. u. Jud. iv. 1.

[378] Платформа. Легг. vi. 7. (ii. 759.)

[379] Ил. і. 62.

[380] Ил. xxiv. 22.

[381] Ил. і. 23.

[382] Ил. v. 9.

[383] Там же. 76.

[384] Ил. і. 11.

[385] Од. xxii. 322.

[386] Ил. vi. 298.

[387] Іл. xvi. 604.

[388] Ил. xxiv. 221.

[389] Редакция іх. 196-9.

[390] Там же. 199-201.

[391] Ил. і. 458, 462.

[392] Од. іх. 205.

[393] Ил. v. 9, 78.

[394] Ил. xxii. 170. xxiv. 168.

[395] Ил. xx. 298.

[396] Ил. iv. 48.

[397] РЕДАКЦИЯ 61.

[398] Ил. іх. 523.

[399] Од. iii. 131.

[400] Там же. 164.

[401] Там же. 135.

[402] Ил. vii. 450.

[403] Там же. 459.

[404] Ил. xii. 3, 9.

- [405] Деяния XVII. 22.
- [406] Ил. iii. 451-4.
- [407] Ил. iv. 220.
- [408] Ил. iii. 444.
- [409] См. inf. Эойдос, РАЗДЕЛ vi.
- [410] Ил. ii. 589.
- [411] Дюнцер, стр. 9-16. Фрагмент. iv. xi. xv.
- [412] Ил. vi. 352.
- [413] Ил. iii. 428-36 и vi. 351.
- [414] Ил. vi. 356.
- [415] Ил. iii. 453.
- [416] Ил. vii. 354-64 и xi. 123.
- [417] Ил. iii. 46-53.
- [418] Там же. 68-75.
- [419] Там же. 351-4.
- [420] Ил. ii. 588-90.
- [421] Ил. xiii. 620-7.
- [422] Од. xxi. 146. xxiii. 67. xiii. 193. xxii. 64. См. Olympus, РАЗДЕЛ ii. стр. 162.
- [423] Од. xiii. 258 и далее.
- [424] См. Il. iii. 139. Od. iv. 259-61.
- [425] Ил. iii. 354.
- [426] Видео. Od. xxi. 22-30.
- [427] Ил. iii. 46-57.
- [428] Ил. iii. 57.
- [429] Греческая литература. том i. стр. 339.
- [430] Ил. v. 269.
- [431] Ил. iii. 105.
- [432] Ил. xi. 139.
- [433] Ил. xxiv. 30.

[434] Дополнение. стр. 162.

[435] Od. v. 121.

[436] Od. xi. 572.

[437] Редакция 128.

[438] Ил. iii. 154-60.

[439] Од. xviii. 160-212.

[440] Букв. Греция, том i, стр. 341 и далее.

[441] Ил. xxiv. 493-7.

[442] Ил. vi. 248.

[443] Смотрите, в частности, vi. 87 и далее. 364 и далее.

[444] Возможно, один из них - νόθος, незаконнорожденный: ибо они вместе в одной колеснице, как Антиф и Исус. Одним из этих двоих был возничий, который обычно, хотя и не всегда, был низшим.

[445] Ил. xxii. 51, 3.

[446] Ил. xx. 407. xxi. 79, 95.

[447] Ил. xxi. 88.

[448] Ил. v. 71.

[449] Ил. vii. 298. xi. 224.

[450] Тактический. Зародыш. с. 18.

[451] Od. i. 35.

[452] Od. xxii. 37.

[453] Ил. xxii. 370.

[454] Ил. xxiv. 632.

[455] Ил. xii. 94. и Од. iv. 276. См. Также случай с молочаем, Ил. xvii. 51.

[456] Смысл ρήτορ у Гомера, хотя и выраженный, не абсолютен.

[457] Ил. iii. 106.

[458] См. Il. v. 482.

[459] Ил. xii. 319.

[460] Ил. vi. 207.

[461] Ил. vi. 193.

[462] Ο ἄναξ ἀνδρῶν см. Ахей, РАЗДЕЛ ix.

[463] хх. 180.

[464] Идиллия. xv. 139.

[465] Ил. xxiv. 496. vi. 252.

[466] Ил. хх. 240.

[467] Ил. xxii. 56, 433, 507. xxiv. 29.

[468] Ил. vi. 402 и xxii. 506.

[469] Ил. vi. 477.

[470] Ил. vi. 313, 317, 370.

[471] Там же. 242-50.

[472] Ил. xxiv. 765.

[473] Ил. vi. 426-8.

[474] Ил. xxii. 363.

[475] Ил. xxiv. 725.

[476] Возможно, Гораций хотел выразить это мнение словами *Quid Paris? ut salvus regnet, vivatque beatus, Cogi posse negat*. Epist. I. ii. 10.

[477] Ахейский, РАЗДЕЛ ix. стр. 492.

[478] Только один из эпитетов слова *lios*, по-видимому, указывает на то, что оно также может означать район. Это εἴπωλος, используется в Il. v. 551 и в четырех других местах.

[479] Ил. хх. 230.

[480] Там же. 189.

[481] Ил. ii. 815. Точно так же ил. vi. 111. xiii. 755. xvii. 14. xviii. 229.

[482] Версия 816.

[483] Версия 819.

[484] Версия 824-6.

[485] Версия 828.

[486] ii. 681.

[487] Ил. xxiv. 543-5.

- [488] Ил. xv. 548.
- [489] Ил. iv. 99.
- [490] Стр. 585.
- [491] Ил. xiii. 463.
- [492] См. Il. iv. 197, 207. xv. 485.
- [493] Страбон xiii. 7. с. 584.
- [494] Ил. x. 428-30.
- [495] Od. xi. 519-22.
- [496] Ил. ii. 808. viii. 489.
- [497] Ил. xvii. 223-6.
- [498] Ил. ii. 795.
- [499] Ил. vii. 379.
- [500] Ил. viii. 489, 542.
- [501] Ил. vii. 414-7.
- [502] Il. xi. 138.
- [503] Там же. 123.
- [504] Ил. xii. 211-14.
- [505] Ил. xi. 37.
- [506] Il. xx. 232.
- [507] Ил. iii. 150.
- [508] Ил. ii. 796.
- [509] Од. viii. 170, 5, 7.
- [510] Ил. xiii. 726-34.
- [511] Ил. iii. 2, 8.
- [512] Ил. iv. 429.
- [513] Там же. 436.
- [514] Od. iv. 258.
- [515] Il. xv. 546-51.
- [516] Il. xx. 188.

[517] Ил. xxi. 37. 77.

[518] Ил. xi. 105.

[519] Ил. ii. 821. v. 313.

[520] Ил. vi. 25.

[521] Ил. xvi. 422.

[522] Ил. xvii. 336.

[523] Ил. v. 787. viii. 228. *et alibi*.

[524] Эн. xi. 286.

[525] Ахейцы, или Этнология; РАЗДЕЛ vii. стр. 336.

[526] Ил. ii. 645-80.

[527] Ил. xiv. 225-30. xiii. 10-16, 33. xiv. 281. xxiv. 78, 753, 434. Od. iii. 169-72.

[528] Ил. xiv. 225-30. Од. v. 50.

[529] Форбигер считает, что он в определенной степени знал южное побережье Черного моря. Handbuch der Alten Geographie, SECTION 4. p. 10.

[530] Ил. xii. 17-24.

[531] Ил. xiv. 280-4.

[532] Ил. xxiv. 543-6.

[533] Ил. vi. 184.

[534] Ахейцы, или этнология, РАЗДЕЛ iv. стр. 235.

[535] Ил. ii. 844, 5.

[536] Od. iv. 83.

[537] Od. i. 105.

[538] Дополнение. Этнология, РАЗДЕЛ iv.

[539] Там же.

[540] Od. iii. 320-2.

[541] Od. xiv. 243.

[542] На Od. iv. 354.

[543] Od. iii. 299.

[544] См. Этнологию, РАЗДЕЛ iv. стр. 304.

[545] Hes. Теог. 1011-15.

[546] Орхомен Мюллера, стр. 274.

[547] Ил. xii. 239, 40.

[548] Od. x. 190-2.

[549] Вуд ("Гений Гомера", стр. 23) говорит: "только четыре", имея в виду только четыре ветра. Но совершенно ясно, что у Гомера четыре ветра не были расположены под углом в девяносто градусов друг от друга. У Гомера нет слова, означающего строго юг или север. *Дакша*, однако, откуда происходит δεξιός, означает *южный*, а также *справа*: но, вероятно, S. E., а не S. Pott, Этимолог. Forschungen, II. 186, 7.

[550] Od. xii. 427.

[551] Ил. xxiii. 194.

[552] Od. iv. 565-9.

[553] Ил. ix. 4.

[554] Ил. xxiii. 194, 212.

[555] Ил. ii. 144-6, 147-9.

[556] Расположение этих сравнений убедительно опровергает остроумный аргумент мистера Вуда относительно места рождения Гомера. "Гений Гомера", стр. 7-33.

[557] Смотрите Закон генерала Рида о штормах и переменных ветрах. Лондон, 1849 год.

[558] Буттманн. Лексил. лос. κέλευρος.

[559] Ил. xxiii. 214.

[560] Ил. xxiii. 214, как указано выше.

[561] Od. xiv. 253.

[562] Ил. xiv. 255. xv. 26.

[563] Od. xix. 200.

[564] Od. ix. 81.

[565] Ил. ii. 144-6. xvi. 765. Od. v. 330. xii. 326.

[566] Фридрих обсуждал "Ветры Гомера" (Реальная история Ил. и Од. § 3). Его результаты кажутся мне неудовлетворительными, но ошибка, по-видимому, кроется в его основе. Ибо (1) он определяет четыре Ветра Гомера как четыре стороны света: и (2) он находит *данные* для определения Ветров в Проходах Внешней Географии, вместо того чтобы определять сами эти

Проходы по Ветрам, после того как эти последние были установлены на основании свидетельств, относящихся к сфере собственного опыта Гомера.

[567] Лидделл и Скотт *в voc.*

[568] Od. xi. 13-16. xii. 1-4.

[569] См. Фридрих, Реалии, § 9. стр. 19.

[570] Ил. ix. 362.

[571] Od. xiv. 301.

[572] Там же. 310-15.

[573] Ред. v. 249-51.

[574] Od. vii. 325.

[575] Od. xiii. 81, 86.

[576] На этой гипотезе основан гомеровский *Эрдкарт* Форбигера, Справочник по алыт. География. I. 4.

[577] Ил. xiii. 1.

[578] Od. vii. 19-26.

[579] Редакция 43-58.

[580] Ил. xiv. 225-30.

[581] Od. xxiv. 11.

[582] Od. iv. 83-5.

[583] Od. xii. 325, 427.

[584] Od. v. 485. x. 25. xii. 407.

[585] Od. xi. 13, 21.

[586] Od. X. 507.

[587] Od. xii. 3.

[588] Там же. 39, 167.

[589] Там же. 56.

[590] Там же. 109, 10.

[591] Od. i. 75. xii. 373 *и далее.*

[592] Od. xi. 104-7.

[593] Od. xii. 127.

[594] Кварта. Откр. т. 102. с. 324.

[595] Od. x. 135-9 и xii. 1-4.

[596] "Черное море и Азоф" Денби Сеймура, глава xvii.

[597] Там же. *Минимум*, по-видимому, составляет четырнадцать футов, но, по-видимому, в старые времена он был намного глубже.

[598] Od. xii. 10-13.

[599] "Орхоменос" Мюллера, стр. 269.

[600] Мимн. Фрагмент x, цитируемый у Страбона, i, стр. 67.

[601] "Орхоменос" Мюллера, стр. 272. Ницш, Издание xii. 361.

[602] Od. xii. 325, 6.

[603] Od. xii. 380.

[604] См. Olympus, РАЗДЕЛ iii. стр. 82.

[605] См. Ахей, или Этнология, РАЗДЕЛ x; и Олимп, РАЗДЕЛ iv. стр. 220, о Персефоне.

[606] Schönermann de Geogr. Хом. стр. 20. Ницш в Од. т. 50, н.

[607] Od. v. 268-75.

[608] Od. xiv. 257.

[609] Od. i. 50.

[610] Od. v. 100-2.

[611] Nietzsche на Od. v. 276-8.

[612] Редакция 50.

[613] Там же. 51-3.

[614] Cramer's Greece, i. 204.

[615] Ил. xiv. 226.

[616] Od. xii. 447.

[617] Od. xiv. 310-15. 301-4.

[618] См. дополнение. стр. 274.

[619] Od. xii. 403-8.

[620] Од. xi. 11.

[621] Od. xii. 3.

[622] В хорошо известном случае с благородным описанием в "Антикварии" Вальтер Скотт изобразил закат солнца на восточном побережье Великобритании: но *это* произошло неожиданно и не нарочно. Если бы он декламировал, а не писал, ошибка не избежала бы исправления.

[623] Od. v. 276.

[624] Ред. v. 160-70.

[625] Od. x. 190.

[626] См. Od. x. 28 и 80.

[627] Od. vi. 4.

[628] Od. iii. 318.

[629] Od. iv. 82.

[630] Od. iii. 286-90.

[631] Од. xv. 402. По поводу этого Συρίη возникло много трудностей: см. Вуд о Гомере, стр. 9-16; но, конечно, в этом нет необходимости. У нас нет необходимости переводить καθύπερθε в *транс*, πέτρην или *за* пределами. В Συρίη νῆρος, или Сирос, имеет такой же подшипник в отношении Делос, как Ψυρίη в отношении Хиос, который называется Χίοιο καθύπερθε, Од. раздел III. 170. Возможно, это может означать "*с наветренной стороны*", и это соответствовало бы идее φούρος как преобладающего ветра Эгейского моря. Еще одна трудность связана с фразой ὅτι τροπαὶ ἥελίοιο, которая интерпретируется как описывающая положение относительно Делоса. Я не знаю, почему это вообще должно представлять трудность, если Сирос находится к западу и северу от Делоса. Но в этом не было бы никаких трудностей, даже если бы Делос находился к западу от Сироса, поскольку слова ὅτι τροπαὶ ἥελίοιο могут быть грамматически применимы к любому из двух островов, если смотреть с другого.

[632] Од. xix. 172.

[633] Ил. iii. 2-6.

[634] Ил. xviii. 607.

[635] Ил. xix. 374.

[636] Ил. v. 433.

[637] Tyrt. ii. 24. Также Anthol. Græc.

[638] Plut. Лакон. Институт. (Opp. vi. 898.) изд. Рейске; Гончарный греческий. Антик. Б. iii. глава iv.

[639] Ил. x. 24, 178.

[640] Ил. xiii. 130. ix. 537. x. 15.

- [641] Ил. iii. 5.
- [642] Il. xxiii. 205. i. 423. Od. v. 282, 3.
- [643] Од. v. 275. Ил. xviii. 489.
- [644] Од. iv. 561-9.
- [645] "Путешествия Паллады", том i, стр. 320, Париж, 1805.
- [646] Од. x. 507.
- [647] Од. x. 508-12.
- [648] Уэлсфорд на англ. Язык, стр. 75, 76, 88. Персидский словарь Блика, (грамматика, стр. 170.)
- [649] См. Ахей, РАЗДЕЛ iii.
- [650] Од. i. 24.
- [651] Од. xi. 15.
- [652] Ахейцы или этнология, РАЗДЕЛ iii.
- [653] Там же. РАЗДЕЛ iv.
- [654] Описание. в *Голландии*
- [655] Версия 317.
- [656] Версия 319.
- [657] Версия 321.
- [658] См. Gramm. 103 Джелфа.
- [659] Од. v. 276, 7.
- [660] Лидделл и Скотт.
- [661] Ил. ii. 341. x. 542.
- [662] Од. ix. 25, 6.
- [663] Сравните использование слова εὐώνυμος.
- [664] Ил. xii. 238-40.
- [665] Gr. Gr. № 633-5 от Джелфа.
- [666] Од. ii. 421.
- [667] Ред. vi. 117. Ил. v. 101.
- [668] Од. iv. 132.
- [669] Il. i. 350.

[670] Од. iii. 3.

[671] Од. iv. 417.

[672] Од. vii. 332.

[673] Ил. ix. 415.

[674] Ил. i. 350.

[675] Ил. ii. 308.

[676] Там же. 318.

[677] Там же. 765.

[678] Од. xvii. 365.

[679] Итак, τὴν δε, Ил. i. 127, и особенно τὴν в Ил. i. 389, имеется в виду Хрисеида, имя которой не упоминается со ст. 372.

[680] Гимн. Мерк. 153. Ср. 418, 424, 499.

[681] Гекуба 1127.

[682] Я заметил, что δεξιὸς ὄρνις означает птица летает от левой к правой, и ἀριστερὸς ὄρνις, наоборот. Однако здесь сила эпитета проистекает из непосредственной связи с подразумеваемым движением и с доктриной предзнаменований: δεξιὸς ὤψος, конечно, означает правое плечо, а δεξιή, как мы видели, может стоять отдельно и обозначать правую руку. И так в целом с этими словами, когда они используются в качестве эпитетов, за исключением предлога, подразумевающего движение, и любого отношения к предзнаменованиям.

[683] История Греции Гроте, том ii. стр. 258 н.

[684] Там же, стр. 241 н.

[685] Там же, стр. 244 н.

[686] Там же, стр. 247.

[687] "История Греции" Гроте, том ii. стр. 210.

[688] Там же, стр. 178.

[689] Там же. стр. 260, 236, 267.

[690] Там же, стр. 269.

[691] Там же.

[692] Примечание, стр. 240-4.

[693] ὕβρις, Ил. i. 203, 214. ἐφουβρίζων, Ил. ix. 368, также 646-8.

[694] Ил. ix. 370-6: когда он снова и снова возвращается к слову: ἀπατήσιν, 371; ἀπάτησε, 375; ἀπάφοιτο, 376.

[695] Ил. i. 152.

[696] Там же. 165-8.

[697] Ил. v. 789.

[698] Ил. i. 225-8.

[699] ὅλα, ст. 300, должно быть, означает то, что он не приобрел в дар армии; поскольку в Ил. 9. 335, а также в i. 167, 356 он, по-видимому, говорит о Брисеиде как о единственной полученной им награде.

[700] Ил. v. 605, 702.

[701] Ил. ix. 26.

[702] Ил. xix. 67.

[703] Там же. 134-8.

[704] Од. viii. 390-415.

[705] Ил. ix. 336.

[706] Ил. i. 352-4.

[707] Ил. ix. 624-42. Sup. Агоре, стр. 111.

[708] Там же. 237-43 и 304-6.

[709] Там же. 357.

[710] Там же. 617.

[711] Ил. ix. 649-55.

[712] Что касается характера Ахиллеса, я рекомендую обратиться к полковнику Мюру, литератору. Греция, i. 273-91 и 304-14. Ни в одной части своей трактовки стихов этот превосходный гомеровец (если я осмелюсь так выразиться) не оказал лучшей услуги. Смотрите также Эссе профессора Уилсона "Критика iv" и "Избранное преподобного Дж. Кебла", i. 90-104. Это изысканное произведение, критикующее стихи в духе барда, послужило ранним примером, по крайней мере для Англии, повышения тона изучения Гомера.

[713] Ил. xvi. 780.

[714] Ил. vii. 93.

[715] С тех пор, как первая часть этой работы попала в печать, я обнаружил из недавней и все еще незаконченной работы Велчера, *Griechische Götterlehre*, i. 2. н.э., что, по-видимому, недавно были получены филологические доказательства тесного родства между ликийцами и греками.

[716] Il. xii. 397-9.

[717] Ил. xi. 67-83.

[718] Там же. 90.

[719] Ил. viii. 336. xvi. 569. xvii. 596.

[720] Ил. xvi. 656.

[721] Лучше всего это было бы показано списком выдающихся личностей, убитых с обеих сторон соответственно.

[722] Версия 421-38.

[723] Версия 517-20.

[724] Ил. v. 517-21.

[725] Ил. vii. 307-12.

[726] Сравните Il. ii. 768 с Il. v. 414.

[727] Ил. xi. 185-209.

[728] Ил. xi. 252, 437.

[729] Исключение. ii. ил. xxiv. с. iv. том. viii. с. 801. См., однако, также с. 802.

[730] Ил. ix. 697-709.

[731] См. Il. i. 226-8. xviii. 509-13. и особенно xiii. 275-86: и Sup. Агоре, стр. 92.

[732] Он содержит основную часть с 206 по 488.

[733] Il. xvi. 644.

[734] В его 'Исследовании основного аргумента Илиады'. Посвящается лорду Гренвиллу. 1821 год.

[735] Ил. ix. 646-8.

[736] Ил. xvi. 93.

[737] Смотрите "Основной аргумент Илиады", стр. 241-73.

[738] Il. xxiv. 483, 631. Sup. Илиос, стр. 216.

[739] Il. xx. 233-5.

[740] Например, мы могли бы процитировать Орlando Фуриозо Ариосто; и очень вульгарного поэта Фортегерру в "Риччардетто", vi. 23:

Il nettar beve, e Ganimede il mesce,

Che tanto a Giuno sua spiace e rincesce.

[741] Il. xi. 1. Od. v. 1.

[742] Гимн. ad Ven. 45-80.

[743] Ил. xxiv. 30.

[744] Ил. iii. 64, 440, 415.

[745] Od. xxii. 424-73.

[746] Од. xviii. 321-5.

[747] Od. xxiv. 496.

[748] Ил. iii. 39.

[749] Там же. 391.

[750] Ил. iii. 18. и vi. 506.

[751] Il. xv. 263.

[752] Ил. xxiv. 629.

[753] Od. xiii. 430-3.

[754] Ил. iii. 169.

[755] Od. xi. 469.

[756] Ил. ii. 671-5.

[757] Ил. ii. 867.

[758] Ил. xvii. 50-60. Сравните полный сочувствия рассказ о смерти *молодого* жениха Ифидамы (Ил. xi. 241-3).

[759] Од. viii. 167-77.

[760] Od. x. 112.

[761] Од. xvii. 327.

[762] Od. ii. 10.

[763] Il. xx. 220-9.

[764] Ил. vi. 511.

[765] Ил. xi. 158.

[766] Ил. xix. 408-17.

[767] Ил. x. 437.

[768] Ил. х. 544-53.

[769] Ил. ii. 764.

[770] Ил. v. 295.

[771] Ил. ii. 776.

[772] Ил. v. 196.

[773] Ил. х. 489-93.

[774] Od. iv. 13.

[775] Od. iv. 606.

[776] Он использует фразу δρόμοι εὐρέες. Любопытно обнаружить, что слово *gulf*так недавно было восстановлено в качестве классического обозначения больших открытых пастбищных пространств в регионах Австралии.

[777] Il. xxii. 121.

[778] Ил. ix. 228.

[779] Смотрите Эссе мистера Коупа о живописном у греков; Кембриджские очерки, 1856. стр. 126.

[780] Современные художники Раскина, часть iv. глава. xiii. стр. 189-92.

[781] Од. vii. 112-32.

[782] Ред. v. 63-75.

[783] Ил. viii. 557.

[784] Ил. xv. 80.

[785] Современные художники, часть iv. глава xiii. стр. 174.

[786] Il. xxiii. 216. i. 482.

[787] Ил. iv. 424.

[788] γηθοσύνη δὲ θάλασσα διΐσται, Ил. xiii. 29.

[789] Ил. xiv. 392.

[790] Rev. v. 11.

[791] Od. v. 306.

[792] По-русски. Prom. V. 468. смотри также Сопр. Наупл. Фрагмент. v.

[793] Од. iv. 412, 451.

[794] Ил. xxiii. 29.

[795] Od. ii. 16.

[796] Ил. v. 860.

[797] Ил. xxi. 251.

[798] Ил. vii. 571. viii. 562. xi. 244.

[799] Од. xiv. 20.

[800] Од. xiv. 93.

[801] Агоре, стр. 82.

[802] Ил. ii. 450.

[803] Ил. xxiii. 703, 5.

[804] Ил. vi. 236.

[805] Ил. xxi. 79.

[806] Ил. xxi. 42.

[807] Ил. ii. 123-8.

[808] Ил. ii. 362-8.

[809] Ил. ii. 509, 719.

[810] Ил. xix. 44.

[811] Ил. ii. 362, 5.

[812] Од. viii. 35.

[813] Дополнение. Агоре, стр. 135.

[814] Ил. ii. 577.

[815] Ил. viii. 562.

[816] Од. xiv. 13-20.

[817] Я присоединяю остальную часть этого любопытного фрагмента;

ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνος·

τρεῖς δ' ἐλάφους ὁ κόραξ γηράσκεται· αὐτὰρ ὁ φοῖνιξ

ἑννέα τοὺς κόρακας· δέκα δ' ἡμεῖς τοὺς φοίνικας

νύμφαι ἐϋπλόκαμοι, κοῦραι Διὸς αἰ γιόχοιο.

Это замечено Плинием (Нац. Hist. vii. 48.), который называет это сказочным; но, я думаю, более уместно было бы назвать это поэтическим.

[818] Ил. ii. 649.

[819] Од. xix. 173.

[820] Ил. ix. 362.

[821] ὄσσον τε πανημερίη νηῦς ἦνυσε, Ред. iv. 356.

[822] Од. iii. 322. Сравните с этим "Бурю", Акт II. Сцена 1; где, следует заметить, Шекспир рассматривает свой сюжет как Сказочный.

Ант. Кто следующий наследник Неаполя?

Себ. Кларибель.

Муравей. Та, что является королевой Туниса: та, что обитает

В десяти лигах от человеческой жизни; она из Неаполя

Не может быть никакой записки, если только солнце не было почтовым,

(Мужчина на луне слишком медлителен) до появления новорожденных подбородков

Будь грубой и податливой к бритве.

[823] Од. xi. 248.

[824] Ил. i. 250-2.

[825] Il. xxiii. 791.

[826] Il. xiii. 361.

[827] Ил. x. 157.

[828] Од. iii. 245. Возможно, это означает, что он *правил* более двух поколений, но в "Илиаде" подразумевается не более того, что он *дожил* до третьего.

[829] Букв. Греция, i. 460. ii. 139.

[830] Там же. ii. 138.

[831] Од. xii. 112, 144.

[832] Од. iv. 665.

[833] Муре, Хист. лит. Греция, том i, стр. 437.

[834] Од. xvii. 327.

[835] Ил. ix. 438. и xi. 783.

[836] Од. xi. 510-12.

[837] Ил. ix. 481.

[838] Букв. Греция, ii. 141.

[839] Ил. ii. 360.

[840] Ил. ii. 799.

[841] Ил. i. 52. ii. 302.

[842] См. [Примечание](#) в конце раздела.

[843] Там же.

[844] Знаменитый Охотник заметил, что Гомер сделал Долона единственным сыном у пяти сестер, как доказательство проницательности наблюдения Поэта: он сам обнаружил, что юноши при таких обстоятельствах обычно более или менее женоподобны. Я обязан этой информацией одному из самых выдающихся ныне живущих представителей профессии, которую сам Хантер украшал. Я полагаю, это также было любимое замечание мистера Роджерса.

[845] См. Ахей, или Этнология, стр. 383.

[846] См. Olympus, РАЗДЕЛ ii. стр. 53. Велкер (*Griechische Götterlehre*, vi. 63, стр. 300) рассматривает имя Ἀθήνη как непосредственно родственное αἶ θῆρ и идее света.

[847] Eurip. Ипх. в ауле. 213-22.

[848] Ил. xviii. 409. xxiv. 159.

[849] См. Olympus, РАЗДЕЛ ii. стр. 157.

[850] Гимн. ad Apoll. v. 172.

[851] Макбет ii. 3.

[852] Троил и Крессида, глава 3, *под* окончанием.

[853] Буря, iv. 1. Радуга упоминается как многоцветная в "Веселых женах Виндзора", iv. 5, "Зимней сказке", iv. 3, и "Короле Иоанне", iv. 2.

[854] Кельтские нации Притчарда, стр. 219.

[855] Видео. Göthe, *Geschichte der Farbenlehre*, Works, vol. 53, p. 21. (Stuttgart, 1833.)

[856] Пять врат знания Уилсона, стр. 4.

[857] Смотрите, например, 'Древние и современные цвета, Уильям Линтон'. Лондон, 1852 год.

[858] Hor. Od. I. 13. 2.

[859] Virg. *Æn.* i. 402.

[860] Видео. Göthe, *Farbenlehre*, Works, vol. 53. с. 23.

[861] Prantl's Aristoteles über die Farben, pp. 101, 3.

- [862] Там же. стр. 104, 6.
- [863] Там же. стр. 109. Ar. Metaph. I. 7. 1057 a. 23.
- [864] Там же. стр. 116. Дополнение к смыслу. 4. 442 a. 12.
- [865] Там же. стр. 118. Met. III. 4. 374 b. 31.
- [866] Сост. I. 5. 342 b. 4. c III. 4. 374 a. 27.
- [867] Лидделл и Скотт в voc. Millin, Minéralogie Homérique, p. 149.
- [868] Фридрих, Реалии, § 21. стр. 86.
- [869] Том ii. стр. 325.
- [870] Ил. iv. 510.
- [871] Н. N. xxxiv. 16. с. 47.
- [872] Ил. xviii. 474. v. 722.
- [873] Там же. 564.
- [874] Юстат. Il. i. p. 93.
- [875] Содержание этого и двух следующих разделов легло в основу двух статей в Quarterly Review, № 201 и 203, за январь и июль соответственно 1857 года. Они перепечатываются с любезного одобрения мистера Мюррея.
- [876] Комментарий к Il. ii.
- [877] Od. xvii. 385.
- [878] Ил. ii. 455-83.
- [879] Смотрите также "Лаокоон" Лессинга, с. xviii. уважая Щит в Энеиде.
- [880] Ил. ii. 494-510. Эн. vii. 647-54.
- [881] Ил. ii. 756-9. Эн. vii. 803-17.
- [882] В DanaûM proceresi т. Д.—Эн. vi. 489.
- [883] Номер. xi. 282-7.
- [884] Ил. v. 302-10.
- [885] Макбет iii. 3.
- [886] Ахейцы, или Этнология, РАЗДЕЛ ix. стр. 491.
- [887] Ил. v. 445.
- [888] Ил. iii. 382.

[889] Домашний АДРЕС. II. xii. 433.

[890] Эн. viii. 407-13.

[891] В 'Изданиях греческой и латинской классики' Дибдина мы находим девятнадцать изданий Вергилия между 1469 и 1478 годами. "*Принцепс Гомера*" был напечатан только в 1488 году. Панцер, по словам Дибдина, перечисляет девяносто изданий Вергилия в 15 веке (ii. 540.). Г-н Халлам говорит (Lit. Eur., i. 420.): "Ариосто был *после Гомера* любимым поэтом Европы'. Я полагаю, этот выдающийся писатель не имеет в виду, что Гомера читали больше, чем любого другого поэта. Могут ли его слова означать, что Гомер получил большее одобрение? Стоит задать этот вопрос, поскольку суждения мистера Хэллема подобны суждениям Миноса и простираются в будущее.

[892] Ил. xxi. 307 и далее.

[893] Ил. v. 777.

[894] Ил. xii. 22.

[895] Эн. vi. 724-893.

[896] Мы не можем с уверенностью предположить, что второе слово Νεκυΐα из Od. xxiv. не содержит интерполяций.

[897] Гомер использовал эту фигуру, но в совершенно другой связи, Ил. viii. 13-16.

[898] Эн. vi. 503.

[899] Эн. ii. 27. vi. 88.

[900] Эн. xi. 239-270.

[901] Эн. vi. 529.

[902] Од. xvi. 118.

[903] Эн. iii. 104.

[904] Эн. vi. 63.

[905] Скотт и Лидделл, в лос.

[906] Кн. x. 255. Ср. i. 618, Фригий Симоис; vii. 597, *и алиби*.

[907] Ил. iii. 184.

[908] Ил. xii. 436.

[909] Ил. viii. 18.

[910] Там же. 134. Ср. vi. 650.

[911] Эн. iii. 104.

[912] Эн. iii. 109.

[913] Приношу свои извинения. III. xii. 1.

[914] Эн. vi. 63.

[915] НОМЕР. ii. 634.

[916] II. xxii. 331-47.

[917] Ил. xxiii. 775-81. Ил. v. 333, 356.

[918] Там же. 329.

[919] Там же. 286-90.

[920] Эн. viii. 185.

[921] Кн. v. 370.

[922] Эн. viii. 523.

[923] НОМЕР. ii. 601.

[924] Ил. iii. 164.

[925] II. iii. 453 и в других местах.

[926] Эн. vi. 460.

[927] Od. v. 215-24.

[928] Ил. хіх. 86. Когда Ахилл (270) как бы подписывает это, это, очевидно, в его характере благородного джентльмена ; характер, о котором он так много свидетельствует в поэме.

[929] Эн. vii. 648; viii. 7, 482.

[930] НОМЕР. x. 773, 880.

[931] II. xxii. 365.

[932] Номер. x. 743.

[933] Эн. vii. 633.

[934] Ил. ii. 544.

[935] Ил. iii. 330.

[936] Од. xi. 315.

[937] Georg. i. 281.

[938] НОМЕР. iv. 248-51.

[939] Ил. ix. 484 и xvi. 196.

[940] Номер. ii. 7.

[941] Эн. vi. 432.

[942] Хотя это может быть отклонением от прямого пути, все же, заметив столь подробно неверность Вергилия своему оригиналу, я также приведу пример точности Горация. В седьмом Ода первой книги, он был повод сослаться на местах знаменитых гомеровских песен; и Афины с ним Палладис УРБС; так Аргос (ἰ ππόβοτον) является *aptum* Экус, Мусæпæ (πολύχρυσος) *дитесь*, Лариса (ἐριβώλαξ) *орита*. Лакедемон - это *терпеливый*, эпитет, не соответствующий ни одному конкретному слову у Гомера, но и не противоречащий ни одному; он приобрел этот характер с его времен.

[943] Ил., т. 303. См. также Ил. хх. 285.

[944] Ил. хii. 382.

[945] Там же. 445-50.

[946] Гомер называет Демолеона, сына Агенора; но он погиб, сражаясь на стороне троянцев. Ил. хх. 395.

[947] Эн. vi. 233.

[948] Цель поэта как такового тонко, но несколько чересчур эксклюзивно выражена в сонете Филикайи, *Dietro a questi ancor io*.

[949] Од. xvii. 385.

[950] Од. ххii. 331.

[951] Од. iii. 267.

[952] De Civ. Dei, i. 3.

[953] Там же. viii. 4-11.

[954] Герус. xix. 36.

[955] Там же. 37.

[956] Од. xi. 311.

[957] Герус. iv. 6.

[958] Европейская литература Халлама, ii. 268.

[959] Латинское. Итал., том vii.

[960] Ил. ix. 646.

[961] Герус. хх. 55.

[962] Там же. 54.

[963] Герус. v. 36.

[964] Герус. хх. 63.

[965] Ib. 64.

[966] Ib. 65.

[967] Ib. 136.

[968] Ил. xvii. 51.

[969] Герус. v. 12.

[970] Там же. 151.

[971] Ил. i. 188.

[972] "*Форма Каттолики*", недавно опубликованная в Турине, с прекрасным предисловием Массари.

[973] Гер. v. 20.

[974] Персонаж Гектора, букв. Греция, том i, стр. 347.

[975] Гер. xvii. 69.

[976] Ил. vii. 312.

[977] Там же. 109.

[978] Там же. 161.

[979] Ил. xii. 445-71.

[980] Ib. 392-407.

[981] Ил. xi. 186-90.

[982] Ил. xi. 349-67.

[983] Ib. 502-7.

[984] Ib. 660.

[985] Ил. vi. 127.

[986] Mure, i. 352.

[987] стр. 85.

[988] Ил. хх. 434.

[989] Ил. vi. 479.

[990] Том i. стр. 349, 60.

[991] См. дополнение. Илиос, стр. 196-205.

[992] Ил. iii. 39 и xiii. 769.

[993] Ил. iii. 46-51.

[994] Ib. 76.

[995] Ил. vi. 403.

[996] Илиос, стр. 219-23.

[997] Ил. vi. 447.

[998] 2 Царств i. 26.

[999] Ил. vi. 521.

[1000] Ил. ix. 337.

[1001] Ил. ii. 356, 590.

[1002] См. Гейне на Il. ii. 356. G. C. Crusius (Ганновер, 1845, на do.) Чепмен переводит в том же смысле; но Восс относит истечение и стоны к самой Хелен; то же самое относится и к схолиастам.

[1003] Ил. ii. 590.

[1004] На Ил. iii. 165 Поупа.

[1005] Ил. xxiv. 770.

[1006] Ил. iii. 162.

[1007] Там же. 130.

[1008] Il. xxiv. 768-72.

[1009] Там же. 775.

[1010] Ил. xvi.

[1011] Ил. ix. 336.

[1012] Od. xxiii. 222.

[1013] Od. iv. 122.

[1014] Ил. iii. 429 см. 163. См. Илиос, стр. 200, 203.

[1015] Od. iii. 272.

[1016] Од. iv. 262; Ил. xxiv. 764.

[1017] Ил. iii. 400-2.

[1018] Там же. 174.

[1019] Там же. 442-4.

[1020] Il. xiii. 626.

[1021] Ил. vi. 355.

[1022] Il. xxiv. 768.

[1023] Ил. iii. 139.

[1024] См. Damm о ἄργενός.

[1025] Il. vi. 344, 356; Od. iv. 145.

[1026] Od. iv. 184, 254.

[1027] Ил. iii. 236-42. Ср. Ил. iii. 404. и xxiv.

[1028] выражение θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν. Глагол чаще всего используется Гомером для обозначения предчувствия (как в Il. iv. 208. xv. 7. xvi. 280, 509. xviii. 223); хотя иногда это также означает другие виды возбуждения, такие как гнев или удивление.

[1029] 383-98.

[1030] Ил. vi. 321-5.

[1031] Il. xxiv. 760-75.

[1032] Od. iv. 13.

[1033] Od. iv. 274.

[1034] Od. iv. 276.

[1035] Ликофрон, 168; Schol. на Ил. xxiv. 251. В "Троадах" Еврипида она представлена, говоря, что Деифоб взял ее силой, против воли фригийцев (троянцев), 954-5.

[1036] OrL. Fur. iv. 66.

[1037] Книга ii. Глава viii. РАЗДЕЛ 20.

[1038] Ил. iii. 437-48.

[1039] Там же. 428.

[1040] Il. xi. 368-79, 581-4, 505-7.

[1041] Ил. xi. 385.

[1042] Ил. iii. 454.

[1043] Ил. vi. 339.

[1044] Ил. iii. 43, 51.

[1045] Ил. vi. 372.

[1046] См. примечание стр. 500. дополнение.

[1047] Шлегель, Лекция. iii. том. i. стр. 81; Дональдсон, Греческий театр, РАЗДЕЛ ii.

[1048] Гекуба, 429, 924-31.

[1049] Трояды, 132, 377.

[1050] Версия 770.

[1051] Версия 855-78.

[1052] Версия 900.

[1053] Версия 909-60.

[1054] Я не помню, чтобы принципы Исократа строго применялись в современной литературе, за исключением "Адриенны де ла Кардоннэ" из книги М. Эжена Сю "Странствующий юноша". Сю.

[1055] Hel. Enc. 61.

[1056] Там же. 47.

[1057] Там же. 54.

[1058] Ил. ii. 875.

[1059] Од. xviii. 366-75.

[1060] Ил. ii. 260.

[1061] Од. i. 58.

[1062] Редакция 215-20.

[1063] Од. iv. 285-8.

[1064] В доказательство существования этого любопытного употребления в нашей литературе (которое привлекло внимание Селдена) смотрите Maumet, Мауметрию в словаре Ричардсона с иллюстративными отрывками.

[1065] Tro. 285-9, 1216.

[1066] Hor. Ep. I. ii. 18.

[1067] Hor. Epist. I. ii. 1-31.

[1068] Номер. ii. 90. и далее.

[1069] Номер. vi. 628.

[1070] Номер. iii. 272. дополнение. стр. 522.

[1071] Страница. Nem. iii. 43-64.

[1072] Эпитальный. Пел. и Тет. 339-372.

[1073] Hor. A. P. 120. Следует помнить, что безжалостный Бентли вычеркнул из текста даже *honoratum* и со смелостью, превосходящей его великую изобретательность, вставил *Homereum*.

[1074] Ил. i. 122.

[1075] Ib. 149.

[1076] Статистика. Ахилл. i.

[1077] Act v. sc. 5.

[1078] Ахиллеис, v. 163.

[1079] Сенека, Трояды, 765. Там же. 609 *и далее*.

[1080] Акт iv.

[1081] Там же. 685.

[1082] Пролог к "Троилу и Крессиде" Драйдена; и снова в эпилоге, произнесенном Терситом:

- Вы, британские дураки, из древнего троянского рода.

[1083] История. Греция, глава i, РАЗДЕЛ iv.

[1084] Герус. ii. 59.

[1085] Герус. ii. 58.

[1086] Стивенс о Троиле и Крессиде.

[1087] "Троил и Крессида" Чосера, книга iv.

[1088] Акт iii. sc. 1.

[1089] Акт iv. Статья 1.

[1090] Троил и Крессида, v. 9.

[1091] Там же. v. 10.

[1092] Троил Драйдена. и Кресс-салат, акт II. часть 3.

[1093] Акт против sc. 2.

[1094] Акт iii. sc. 5.

[1095] Акт iv. sc. iii.

[1096] Acte iii. sc. 3.

[1097] Ил. i. 27.

[1098] Od. iv. 220-6.

[1099] Od. x. 287.

Примечание переписчика

Заголовки страниц в печатной книге преобразованы в примечания.

Карта в конце книги была перенесена, чтобы сопровождать ее описание в тексте.

Были исправлены следующие очевидные ошибки:

- стр. 7 "ἀρχιτεκτονική[14]; и это этично" — добавлен маркер сноски
- р. 9 "βασιλεια" changed to "βασίλεια"
- р. 20 "Βασιλεια" changed to "Βασίλεια"
- стр. 26 "αὐτός.[43]" — добавлен маркер сноски
- стр. 28 "ниоткуда" заменено на "нигде"
- р. 31 "βασιλεια" changed to "βασίλεια"
- р. 44 "πυγμαχίη ἀλεγείνη" changed to "πυγμαχίη ἀλεγείνη"
- стр. 52 "Iaolcus" заменено на "Иолкус"
- стр. 61 "ἄεικές[126]." заменено на "ἄεικές[126]",
- стр. 62 "ἄγρος" заменено на "ἀγρός"
- стр. 64 "κλέος" заменено на "κλέος"
- р. 70 "δημιόεργοι" changed to "δημιοεργοὶ "
- стр. 96 "βούλη" заменено на "βουλή"
- стр. 96 "βούλη" заменено на "βουλή"
- стр. 96 (примечание) "408-8" заменено на "408-9"
- стр. 97 "ἀγόρη" заменено на "ἀγορῇ"
- стр. 98 "ἦκε" заменено на "ἦκε"
- стр. 100 "ἀγόρη" заменено на "ἀγορῇ"
- стр. 103 (примечание) "24, 391" заменено на "24. 391"
- стр. 104 "ἀγόρη" заменено на "ἀγορῇ" (два экземпляра)
- стр. 110 "μαλὰ" заменено на "μᾶλα"
- стр. 117 "ἀγόρην" заменено на "ἀγορῇν"
- стр. 119 "Трус, который это" заменено на "Трус, который это"
- стр. 121 "самый слабый" заменено на "малейший"
- стр. 123 "визуализировать вас"" изменено на "визуализировать вас"
- стр. 131 "ἦνδανε" заменено на "ἦνδανε"
- стр. 140 (примечание) "497" заменено на "497".
- стр. 151 "ἦς" заменено на "ἦς"

- стр. 153 (примечание) "в Троаде" заменено на "в Троаде".
- р. 153 "~~Ἰφαιστος~~" changed to "~~Ἰφαιστος~~"
- стр. 162 (примечание) "Там же" заменено на "Там же".
- стр. 172 "ἀγόρη" заменено на "ἀγορῇ"
- стр. 172 "μαλὰ" заменено на "μάλα"
- стр. 179 "то же самое" заменено на "то же самое"
- р. 180 "δημιόεργος" changed to "δημοεργός"
- стр. 211 "ἐκυρῇ" заменено на "ἐκυρῇ"
- стр. 216 "αἶ δος ἀγητόν" изменено на "εἶ δος ἀγητόν"
- стр. 226 "коллеги[483]". изменено на "коллеги[483]":
- стр. 236 "βούλη" заменено на "βουλῇ"
- стр. 237 "ἀγόρη" заменено на "ἀγορῇ"
- стр. 237 "ἀγόρας" заменено на "ἀγορᾶς"
- р. 237 "βουλευτής" changed to "βουλευτῆς"
- стр. 239 "двадцать один" заменено на "двадцать один"
- стр. 239 "βούλη" заменено на "βουλῇ"
- стр. 239 "ἀγόρη" заменено на "ἀγορῇ"
- стр. 246 "Ἄδῳ" заменено на "αἶ δῶ"
- стр. 251 "маршрут" изменен на "маршрут"
- стр. 254 "произвольный" заменен на "произвольный"
- стр. 279 "ἄνέμοι" заменено на "ἄνεμοι"
- стр. 287 "~~ἦς~~" заменено на "~~ἦς~~"
- стр. 294 у указателя сноски после "течения Еникале" не было соответствующей сноски в печатной книге; сноска, приложенная к предыдущей цитате из Od. xi. 13, по-видимому, соответствует этому указателю.
- стр. 320 "(7981)" заменено на "(79-81)"
- стр. 330 "или Корфу" заменено на "из Корфу"
- стр. 353 "(95-673)" заменено на "(495-673)"
- стр. 355 "415" заменено на "415".
- стр. 357 "εὔρεν" заменено на "εὔρεν" (два экземпляра)
- стр. 358 "141" заменено на "141",
- стр. 359 (примечание) "xii, 239" заменено на "xii. 239"
- р. 363 "θωρήσσεσθαι" changed to θωρήσσεσθαι
- стр. 375 "речь" заменено на "выступление"
- стр. 384 (примечание) "персоны" заменены на "персонажи"
- стр. 393 "галантный просто" заменено на "галантный, просто"
- стр. 410 "βῆρ" заменено на "βῆρ"
- стр. 413 "короткий" заменено на "короткий".
- стр. 418 "Хотя" заменено на "Хотя"

- p. 430 "Τετρακὶ ς" changed to "Τετράκις"
- p. 437 "ἐκατόμβοι ὄν" changed to "ἐκατόμβοιοι"
- стр. 459 "и фиолетовый" заменено на "и синий"
- стр. 465 "Od x." заменено на "Od. x.".
- стр. 483 "οὐρανός" заменено на "οὐρανός"
- стр. 514 "thown" заменено на "брошенный"
- стр. 546 "exchantress" заменено на "чародейка"
- стр. 578 "отрывок" заменен на "отрывок"
- стр. 613 "Буажермен" заменено на "Буажермен",

Непоследовательная орфография, перенос, курсив и пунктуация в остальном сохранены в печатном виде.

В книге непоследовательно используются следующие термины:

- трудоспособные
- вышеупомянутые и вышеназванные
- все, что угодно
- поле битвы и прилежащее к нему поле боя
- бона и бона
- нагрудник и кираса
- банальность и общеупотребительное место
- контроль и управляемость
- кукурузное поле
- надуманный и притянутый за уши
- сквернословящий и сквернословящий
- источник и исток фонтана
- позже и запоздалее
- Внешняя география и Внешняя география
- Псевдоулисс и Псевдо-Улиссесия
- повторный вход и повторный ввод
- восстановленный и реорганизованный
- С. Е. и S. Е. (и т.д.)
- полуфабульный и полувсказочный
- завтра и послезавтра
- сторожевые костры и сторожевые кострища